



СУВОРОВ





Scan Kreyder - 19.12.2014
STERLITAMAK

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ



ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

ВЕЛИКИЕ
ПОЛКОВОДЦЫ
РОССИИ

МОСКВА
«НОВАЯ КНИГА»

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАННАХ

П. В. ВАСИЛЬЕВ
СУВОРОВ

Д. ДМИТРИЕВ
ЧУДО-БОГАТЫРЬ

МОСКВА
«НОВАЯ КНИГА»

Серия основана в 1993 году

СУВОРОВ: П. Васильев. Суворов. Д. Дмитриев. Чудобогатырь. Исторические романы.—М.: Новая книга, 1994.— 592 с. («Всемирная история в романах»: «Великие полководцы России»).

Простые слова «Здесь лежит Суворов» написаны на памятнике одного из величайших полководцев России.

Воин и христианин, герой и скромнейший из подданных российской империи, отец солдатам и слуга царям — вот неизвестный образ Суворова, о котором рассказывается в двух исторических романах этого сборника.

ISBN 5—8474—0204—X

ISBN 5—8474—0223—6

© Составление В. Козаченко, В. Нежданов, С. Тимченко, 1994

© Оформление Н. Егоров, 1994

© Название серии «Всемирная история в романах», «Новая книга», 1993

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

П. В.
ВАСИЛЬЕВ

СУВОРОВ



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I

Весна 1773 года застала русскую армию на Дунае в спешных приготовлениях к военным действиям.

Еще с февраля главнокомандующего графа Румянцева осаждали курьеры, то и дело привозившие из Петербурга требования немедленно приступить к военным действиям, но фельдмаршал медлил.

Враги,— а у кого их нет?— говорили, что фельдмаршал ревниво оберегает свою славу и боится ею рисковать, не будучи уверен в успехе, но причина медлительности крылась в ином.

После победоносной кампании 1770 г. Россия была уверена, что турки согласятся на мир. Как только открылись переговоры в Фокшанах, русская армия расположилась на отдых. В переговорах прошел 1772 и часть 1773 годы, армия отдыхала, но о положении ее не заботились, не пополняли.

Иначе повели себя турки, и, хотя Турция не была уже та грозная военная сила, которая некогда наводила страх на Европу, хотя все устои ее государственного строя были расшатаны, войска деморализованы, но все же она представляла собою живой организм, который тем упорнее боролся со смертью, чем ближе она приближалась.

Переговоры в Фокшанах и конференция в Бухаресте, как известно, не принесли желаемых результатов. Султан

обратился с фанатическим воззванием к правоверным и, казалось, умиравшее пламя вспыхнуло с энергией отчаяния.

Сотни тысяч турок собрались в крепостях и укрепленных лагерях по Дунаю, а у Румянцева было лишь пятьдесят тысяч человек, с которыми от него требовали наступательной войны.

Румянцеву предписывали перейти Дунай, разбить визиря и занять Турцию до Балкан. Считая этот план рискованным и не желая брать на себя ответственность за неисполнение предписаний, фельдмаршал собрал совет из подчиненных ему генералов. Совет признал задунайскую экспедицию преждевременной впредь до наступления весны и главнокомандующий, отписав о том в Петербург, начал деятельно готовиться.

К тому времени, к которому относится наш рассказ, все приготовления были закончены и армия готовилась к активным действиям.

Сам фельдмаршал и его главные силы находились в Яссах. На нижнем Дунае против Силистрии стоял генерал-майор Потемкин с своим отрядом; в Измаиле генерал-майор барон Вейсман фон Вейсенштейн; по направлению к Рущуку — отряд генерал-поручика графа Салтыкова.

В начале мая 1773 года в окрестностях монастыря Негоешти, выстроенного на берегу небольшой, впадающей в Дунай, речки Аржишь кипела усиленная работа. Несмотря на ранний час утра — еще не было пяти — берег небольшой речонки был усеян солдатами.

Стук топоров и визг пилы, остовы лодок еще не законченных, но уже осмоленных и спущенных на воду, говорили о том, что отряд готовится к речной экспедиции и подготавливает переправу. Разговоры солдат также убеждали в этом.

— Пехота переплывет, ну а конница как, дяденька? — спрашивал молодой рекрут у старослуживого, отирая струившийся по лицу пот.

— Эх ты, простота, конница-то как? Конь и без твоей лодки обойдется, лишь бы переправилась пехота, а в том-то и беда, что пехоты мало, у турок, почитай, что в два раза больше нашего... Ну да что рассуждать, начальство прикажет, пойдем.

— Пойдем и побьем, — вмешался в разговор старый служака с Георгиевским крестом. — Эх, братцы, не знаете

вы нашего Александра Васильевича, а я его знаю много уже лет. Не отрядом ему командовать, а армией. Мы в Польше под его начальством не раз бивали вдесятеро сильнейшего неприятеля, побьем и здесь. Вот ты вздыхаешь, что неприятеля вдвое больше, а Александр Васильевич, наверно, радуется; чем больше нехристей, тем больше их сразу и изведем,— пояснил старый унтер.

— А правда ли, Сидор Макарыч, что генерал наш заколдован? Говорят, пули его не берут, так и отскакивают.

— Заколдован? Дура, ты дура рекрутчина. Да колдовство ведь великий грех, а Александр Васильевич, дай Бог ему здоровья на сто лет, человек набожный, благочестивый, а что Бог в боях его хранит, так на то Божья воля. Бог всегда защита праведнику, а наш генерал воистину благочестивый. Вот послужите под его началом, узнаете каков Александр Васильевич Суворов.

Имя Суворова, с восторгом произнесенное унтером, заставило проезжавшего мимо молодого офицера приостановить коня.

— Здесь отряд генерал-майора Суворова? — обратился он к унтеру.

— Так точно, ваше благородие,— и старый служака вытянулся в струнку.

— А где сам генерал?

— Их превосходительство в Ольтенице.

— А астраханский пехотный полк где стоит?

— Там же, ваше благородие.

Поблагодарив унтера, молодой офицер поехал дальше по берегу речонки. Его усталый конь, запыленное платье и следовавший сзади денщик с вьюками на седле свидетельствовали, что молодой офицер проделал немалый путь.

Евгений Александрович Вольский действительно ехал издалека. Прибыв из Москвы с письмом к главнокомандующему, он пробыл в Яссах только сутки и сейчас же направился к месту своего назначения. Суворов в это время еще не был знаменит, но молва о его подвигах в Польше во время войны с конфедератами сделала его имя популярным в армии, по крайней мере среди офицеров, и мысль, что ему придется быть под начальством неустрашимого, энергичного, не знающего препон генерала, приводила поручика Вольского в восторг.

Под его начальством, думал молодой офицер, ближе к опасности, ближе к славе, а следовательно и к счастью. Слава сама по себе счастье, но для него она счастье

вдвойне, потому что даст ему любимую девушку. Только тогда, когда имя его, как храбреца, прогремит по всей армии, когда всякий с гордостью будет произносить это имя, тогда он может прийти к ней и сказать: я не только люблю тебя, но я достоин тебя... Да, не раньше. Пока он заурядный офицер, а она... она знатного княжеского роду. Она редкая красавица, редкого ума и души девушка... Правда, он богат, но ее нужно заслужить и заслужить не богатством, а личными качествами... и Вольский мечтал уже о том, как он кровью своею завоюет себе счастье. В его возбужденной голове роятся всевозможные планы. Кажется, нет ничего такого, на что он не решится, чтобы только имя его покрылось славой. Мысленно юный поручик неся уж в бой... всюду груды трупов, кровь льется ручьями, он ранен, но не обращает на рану внимания и неустрашимо рвется вперед... Бедный измученный конь чувствует состояние седока, воображающего себя в вихре атаки, и, напрягая последние силы, скачет в галоп.

Но вот и Ольтеница. Это урочище с несколькими десятками домов. На улицах оживление, всюду военные мундиры.

Вольский остановил первого встречного солдатика и приказал провести себя к командиру отряда.

Домик, в котором помещался Суворов, не отличался от своих соседей. Внутренний же вид жилища был еще скромнее, чем его внешность. Стол, три стула, в углу небольшой столик с грудой карт, планов и письменными принадлежностями и ничего больше... Такая суровая скромность обстановки неприятно поразила молодого офицера, избалованного комфортом московских гостиных и не знавшего еще походной солдатской жизни. Правда, еще с юных лет мечтал он о походах, битвах, но в своих мечтах он, как и все мечтатели, видел лишь одну сторону медали — славу. О том, что обыкновенно предшествует славе, какие трудности и лишения приходится переносить искателю ее, он и не думал. Даже возможность быть убитым или раненым, казалось ему опозитизированной. Ведь слава идет рука об руку со смертью, рассуждал он. Возможность быть убитым и раненым менее пугала его, чем очевидная необходимость отказаться от того комфорта, с которым он сжился с детства.

Когда Вольский вошел в горницу, в ней никого не было или, по крайней мере, казалось, что никого нет...

«Странно,— думал про себя молодой офицер,— я с таким восторгом принял назначение в суворовский отряд, с таким нетерпением скакал к нему, и вот я здесь, у Суворова, а на душе как-то тяжело, точно предчувствие чего-то страшного»...

Размышления Вольского были прерваны. На пороге в соседнюю комнату показался Суворов.

— Молодец, помилуй Бог, молодец,— приветствовал генерал молодого поручика и приветливо потрепал его по плечу.— Я тебя поджидал. Мой отец писал мне о тебе, как о славном образованном молодом человеке, вот я и просил главнокомандующего зачислить тебя ко мне... Ты окончил московский университет?

— Точно так, ваше превосходительство.

— Молодец, молодец. Образованные офицеры для армии нужны, вот как нужны,— и Суворов провел рукою по горлу.— Наш солдат хоть куда, умеет только его повернуть, а образованному человеку это не трудно, была бы только любовь к солдату да военному делу.

Вольский слушал Суворова и удивлялся. Прием был ласковый, на какой он и не рассчитывал. Радоваться, кажись, следовало, что начинает карьеру при таких благоприятных обстоятельствах, а у него на душе творилось что-то неладное. Худенький, маленький, некрасивый генерал производил на него неприятное впечатление. Сущая обезьяна, подумал Вольский, и правда ли то, что рассказывают про его подвиги... Что-то мало похож он на героя, скорее на воронье пугало...

Совершенно противоположное впечатление произвел Вольский на Суворова. Молодой, красивый, стройный, с открытым честным лицом, с умным и в то же время гордым выражением глаз, говоривших о силе воли, он сразу завоевал симпатию Суворова, внимательно рассмотревшего его из смежной комнаты.

«Из этого будет толк»,— подумал генерал, выходя к молодому офицеру, и сделал уже ему подробную оценку.

Вольский чувствовал себя сконфуженным. Встретив радушный и ласковый прием, он досадовал на себя, что не мог откликнуться на него сердечно, он чувствовал, что в его ответах слышится официальный тон и что тот восторг от перспективы служить под командою храброго опытного генерала, о котором он говорил Суворову, вовсе не отзывается восторгом.

— Ты брат, я вижу, устал с дороги, поди отдохни. Завтра дела будет немало. У тебя здесь есть кто-нибудь из знакомых?

— Так точно, ваше превосходительство, двоюродный брат майор Ребок.

— Майор Ребок! Помилуй Бог, Ребок герой, Ребок чудо-богатырь... Иди к нему и служи, как служит он, я зачислю тебя в его батальон,—и Вольский не успел опомниться, как Суворов заключил его в свои объятия.

— Ну, а теперь ступай и спи.

Казак, вестовой генерала, помог Вольскому отыскать квартиру Ребока.

ГЛАВА II

Квартира майора Ребока, куда казак привел Вольского, давала некоторое представление о живущем в ней.

Хозяина ее не было дома, он чуть свет уехал на реку Аржишь, где строилась флотилия для предстоящей переправы войск через Дунай, но и без него квартира, или вернее, ее обстановка, красноречиво говорила о владельце. Видно было, что здесь живет незаурядный армейский офицер. Всевозможные карты и планы Турции и придунайских княжеств, несколько современных немецких и французских военных сочинений, аккуратно сложенные на столе вместе с Лейбницем, говорили, что Ребок был образованный человек, каких в то время армия знала не много. Поразительная чистота горницы, персидский ковер, покрывавший собою громадный куль овса, заменявший диван, такой же ковер над складной кроватью и погребец с дорожным серебром говорили не только о материальном достатке, но и об известных привычках майора.

После суровой суворовской избы чистенькая, светлая, не лишенная некоторого комфорта горенка Ребока произвела на Вольского хорошее впечатление.

Денщик майора, поместив у себя денщика прибывшего офицера, подал умыться Вольскому и занялся приготовлением чая; Вольский же тем временем подробно осматривал жилище своего двоюродного брата.

— Война, однако, не мешает ему заниматься философией,— рассуждал он, увидя на столе Лейбница.— А впрочем, где же и заниматься философией, как не на войне, что и кто могут дать столько материала для разрешения философских вопросов, как не война?

И, став на философскую точку зрения, он, быть может, первый раз в жизни критически отнесся к войне. Война! Что такое война? Чем отличается она от обыкновенного убийства? Разве только тем, что убийство — одиночное, а война убийство массовое, производимое на основании известных теорий, по правилам. Люди, и притом лучшие люди, затрачивают целую жизнь на то, чтобы подготовлять себя к искусству массового убийства, именуемого войною... Ученые напрягают свои умы, данные Богом на пользу человеку, с тем, чтобы изобретать смертоносные орудия, молва произносит имя убийцы с гордостью, ему создаются памятники и кем?.. Теми, кому Спаситель сказал: «Возлюби ближнего, как самого себя», «Кто ударит тебя в правую щеку — подставь ему и левую»... Как могут люди в одно и то же время поклоняться Христу и попирать Его святые заповеди, призывая Его святое имя в свое оправдание...

Вступив на путь таких размышлений, Вольский, быть может, зашел бы слишком далеко, но его размышления были прерваны приходом майорского денщика, подававшего самовар.

— Ваше благородие, вы изволите быть братом моему барину?

— Да, а что тебе?

— Завтра, как слышно, переправа и атака на Туртукай, будьте милостивы, попросите моего барина, чтобы он взял меня с собой.

При слове «атака» у Вольского кровь хлынула в голову, сердце радостно забилося в груди... его философия мигом куда-то отошла, и он уже предвкушал то счастье, счастье попасть в бой, о котором он грезил вот уже два месяца. Такова уж двойственность человеческой природы, что сердце редко живет в ладу с головой. Разум говорит одно, а сердце другое. Разум осуждает, клеймит войну, как коварное деяние, а сердце трепещет эгоистичной радостью: бой, отличия, слава, счастье...

Вольский, однако, поймал себя на этих размышлениях.

— Какое животное человек, — вырвалось у него вслух.

— Что прикажете, ваше благородие? — обратился с вопросом денщик, слыша, что офицер что-то бормочет.

— Нет, ничего, а тебе очень хочется в атаку?

— И... ваше благородие, вечно буду молить за вас Бога, больно смотреть, как товарищи бьются с нехристями и умирают за веру Христову, а сам сидишь да посматриваешь.

— А думал ли ты, что неприятель такой же человек, как и ты, что и ему жить хочется, а ты его убивать собираешься. Убийство великий грех...

— Так точно, ваше благородие, убийство грех, да ведь здесь не убийство, а война. Если бы турки не истребляли веры христианской — живи себе на здоровье и пальцами их не тронем, а веру защищать и священное писание велит... Ведь Иван воин тоже сражался, тоже убивал, а святой же он... Да к тому же, ежели бы война была плохое дело — начальство не повело бы нас; начальство за худые дела поблажки не дает.

Бесхитростные речи солдата смутили и сконфузили Вольского.

«Черт знает, что такое творится сегодня со мной. Сам рвался на войну — приехал, расфилософствовался... Тянуло к Суворову... тот принял, обласкал, а меня что-то от него отталкивает, да в довершение всего в философские рассуждения с солдатом пустился... извращать его понятия о войне — да это прямо-таки преступление, добро бы я был прав, а ведь это под сомнением... Лейбниц навел меня на такие мысли, а между тем он ничего не говорит подобного. Напротив, по учению Лейбница, война ничто иное как проявление воли Божией... Мир, говорит Лейбниц, состоит из монад или единиц; взаимодействие монад происходит при посредстве Бога, и изменения отдельных монад регулируются предустановленной Богом гармонией... Следовательно, не будь на то Божьей воли — монады России и Турции не взаимодействовали бы, не изменялись бы... Нет, генерал прав, я не выспался, нервы напряжены и заставляют плести Бог весть какую околесицу».

Встав с места, он начал ходить по комнате. На столик возле кровати ему бросился в глаза небольшой женский портрет на слоновой кости. Вольский улыбнулся. Знакомые глаза смотрели на него с пластинки.

«Кузен счастлив, для него все ясно... Аня его любит. Кончится война и они поженятся, а я, я даже не знаю, любит ли меня Варя...»

Мысленно он перенесся в Москву, ему вспомнился последний вечер у князя Прозоровского, вспомнилась и княжна Варвара... как она была прелестна в этот вечер, как внимательно слушала она его, сколько, казалось, застенчивой любви светилось в ее прекрасных глазах... а как она горячо пожала ему на прощание руку своею маленькой дрожащей ручкой...

Но Вольскому не везло в этот день. Как только начинал он углубляться в мечты или воспоминания, его сейчас

же кто-нибудь возвращал к действительности. На этот раз это был сам хозяин, майор Ребок, возвратившийся с Аржиша.

Встреча с кузеном для него была неожиданностью, Вольский ничего не писал ему о приезде в армию, тем более радостной оказалась для майора эта встреча. Небольшая разница в годах — Ребоку не было и 28, а Вольскому 22 — и узы родства сблизили их с детства, дружба их не прекратилась и тогда, когда разошлись их дороги. Ребок поступил на военную службу, а Вольского готовили к дипломатической карьере. Но теперь и служебные пути их сошлись и, казалось, ничто не в состоянии их разлучить.

Ребок был в восторге от приезда кузена, засыпал его расспросами и сам рассказывал о своем житье-бытье, о Суворове...

— Знаешь ли, Аркадий, я ожидал от твоего Суворова больше...

— Моего Суворова, да разве он только мой! Он наш, он русский Суворов... его еще не знают, но погоди, скоро узнает его вся Россия, о нем будет говорить вся Европа, весь мир... его теперь ценят мало, но потомство его оценит и имя его станет превыше имен Ганнибала и Юлия Цезаря, ибо в его маленькой тощей фигурке скрывается не только великий полководец, но и великий христианин.

— Дай Бог, я только передаю тебе личное впечатление. Может быть, России он окажет великие услуги, но у меня есть предчувствие, что мне принесет какое-то несчастье.

— Ты устал с дороги, у тебя расстроены нервы и, кажется, Бог знает что. Ложись и отдохни. Отдых тебе нужен вдвойне, ибо не сегодня, так завтра генерал предпринимает атаку на Туртукай.

— Ты будешь в ней участвовать?

— Буду, все будем, нас не настолько много, чтобы оставить резервы дома. Ну, спи, часа через три — четыре я тебя разбужу, а теперь отправляюсь с рапортом к генералу, флотилия уже готова.

ГЛАВА III

— Поздравляю тебя, Ребок, с приездом брата, — встретил Суворов майора. — По-видимому молодец, я зачислил его к тебе в батальон. Завтра окрестишь его боевым огнем. Ну, что, лодки готовы?

— Точно так, ваше превосходительство, всего 17 лодок, могут поднять 600 человек, не считая гребцов.

— Да больше мы и взять не можем. Просил у Салтыкова пехоты, а он обещает прислать конницу... На что мне конница? За пехотой предлагает обратиться к Потемкину. Нашел к кому обращаться! Потемкин вместо пехоты пришлет баранов... Нет уж, брать, будем изворачиваться сами. Никто, как Бог... Сегодня к Ольтенице стянутся все наши силы. Немного их, но для турок требуется много. Как только пехота потянется по дороге, ты прикажи впереди гнать волов, да смотри, чтобы пыли было побольше. У страха глаза велики, турки подумают, что большую пыль поднимает большое войско... А лодки где?

— В камышах, ваше превосходительство, в устье Аржиша.

— То-то, чтобы турки их не заприметили. Нужно будет перевезти их к берегу Дуная на подводках, а то сторожевое судно не даст им войти в реку.

Ребок ушел исполнять приказания генерала, а Суворов остался рассматривать планы противоположного берега. Чем больше он углублялся в созерцание планов, тем больше сдвигались у него брови и хмурился лоб. Задача была не из легких. По собранным им сведениям, в Туртукай было стянуто в трех лагерях около 4000 турок, а он мог противопоставить им 500 человек. В Польше он решился бы атаковать с такими силами в десять раз сильнее врага; там были у него войска, им же обученные, их он знал и они его знали. Здесь же его не знал никто, кроме Ребока, и он не знал войск, а то, что он мог узнать за трехдневное пребывание на своем посту, его мало радовало. Солдаты были плохо обучены, офицеры не те, какими их хотел видеть Суворов. Но делать было нечего, приходилось действовать с теми силами, которые были в его распоряжении, тем более, что главнокомандующий настаивал, чтобы поход на Туртукай был произведен по возможности в скором времени.

Суворов намеревался начать переправу и атаку на другой день, 8 мая, на рассвете, а тем временем стягивал все свои силы к Ольтенице, стараясь замаскировать их численность.

Около 2 часов пополудни прибыл полковник князь Мещерский с эскадроном астраханских карабинеров. К вечеру все было готово и в седьмом часу Суворов отправился осматривать аванпосты. По его приказанию в аванпостную цепь были посланы старослуживые, остальным войскам он назначил ученье за урочищем.

Проехав по фронту и заметив в рядах Вольского, Суворов ласково улыбнулся.

— Я на тебя рассчитываю, Вольский, как на каменную гору,— обратился он к молодому поручику.— С такими чудо-богатырями, как они,— указал он на солдат,— мы не только четыре тысячи, а четырежды четыре разнесем... Так ли, ребятушки?

— Так точно, ваше с-тво,— громовым раскатом понеслось по рядам.

— Бьет в бою не сильный, а правый, правда же на нашей стороне, ребятушки, с нами Бог!

— С нами Бог! — гремело в рядах батальона.

Началось ученье.

Генерал строил каре, вытягивал фронт в линию, смыкал в густые колонны. Хвалил, когда перестроения совершались быстро и в порядке, хмурил брови и заставлял перестраиваться вторично, если замечал малейший беспорядок или медлительность. Уже стемнело, когда он закончил ученье и собрал вокруг себя офицеров.

— Помните, господа, что в бою каждый из вас начальник, а не рядовой. Не увлекайтесь боем и не обращайтесь в обыкновенного бойца. Плохо тот командует, у кого руки чешутся подраться. Место офицера впереди солдат не для того, чтобы драться, а чтобы лучше видеть неприятеля и, смотря по обстоятельствам, распоряжаться своею частью. Я отдал приказание, и не жди моих указаний, поступай, как сам разумеешь и как того требуют обстоятельства. На то и голову Бог дал, чтобы она работала. Я не могу все видеть и на одном фланге, и на другом, и в резерве, вам виднее. Я говорю, иди направо, а если ты видишь, что нужно идти налево — иди туда.

Вольский слушал наставления Суворова и ушам своим не верил, до того были для него новы взгляды, высказываемые этим маленьким, невзрачным генералом. В те времена о частной инициативе в бою, в войсках и помину не было. Не только офицер, но и генерал того времени и подумать не мог действовать по своему усмотрению, не получив приказаний от старшего начальника. Все делалось по команде, по указке... Форма перевешивала содержание, и армии были не живым организмом, а механизмом, заводимым ключом старшего начальника. Для успеха боя, таким образом, требовалось два неизбежных условия: и хороший начальник и хороший механизм. Плохой механизм трудно завести и хорошим ключом, а плохой ключ и хороший механизм испортит.

Суворов все это прекрасно осознавал во время семилетней войны. Он видел, как прекрасные качества солдат и таланты офицеров губились неспособностью начальников у нас и австрийцев, и как промахи прусских генералов поправлялись своевременно находчивостью подчиненных им офицеров.

Эта война была его первою практическою школою. Правда из нее он вынес впечатления отрицательного свойства, она не показала ему, что нужно делать, но зато красноречиво говорила на каждом шагу о том, чего ни в коем случае нельзя делать. Тогда он был неизвестный маленький штаб-офицер, он не мог ни учить, ни протестовать, мог только возмущаться и говорить самому себе: «а я сделал бы так-то».

Но теперь он генерал, начальник отряда, он может распоряжаться своею частью и первое, что он делает — это старается одухотворить ее, механизм обратить в живой организм, из офицеров, слепых исполнителей приказаний, создать себе помощников, которые прониклись бы его основною идеей, осуществляли бы ее всеми силами ума и сердца.

Повторяем еще раз, что такой взгляд до того был нов в армии, что поразил даже такого образованного человека, как Вольский. Маленький генерал в его глазах сразу вырос.

— Да, он не из дюжинных людей, — говорил Вольский Ребоку по дороге. — Что будет в бою — не знаю, но что такой человек может приготовить победу — несомненно. Знаешь ли, Аркадий, кого он мне напоминает? Очарователя, мага. Ты смесшься? Вглядишься в него хорошенько, когда он говорит с солдатами, взгляни на солдат... ведь они совершенно преображаются под его взглядом, они все в его власти и я уверен, что сделают все, что ему захочется... Не даром же они его считают заколдованным...

Ребок улыбнулся.

— И ты тоже.

— Нет, я далек от мысли, что он *очарователь* или колдун, я только говорю, что он подобно волшебнику магически действует на солдат. Я наблюдал за ними, когда он говорит — говорит просто, простые вещи, а посмотри, как принимает это солдат, точно невидимые нити связывают его с генералом.

— Невидимые нити... вот ты и договорился. Ты прав, его связывают с солдатом те невидимые нити, которых, к несчастью, у нас с тобою нет... Ты отмечаешь, что он

говорит просто, о простых вещах. В простоте-то и весь секрет. Суворов вырос и сложился в солдатской среде. Он сроднился с солдатом, привык мыслить, чувствовать и говорить по-солдатски. Он понятнее для солдата, чем мы с тобою. Вот почему солдат поймет его скорее, чем другого начальника, скорее душою откликнется на призыв его души... Я тебе говорил, что Суворов не похож на других генералов. Ты видел его на ученье, увидишь в бою и тогда оценишь.

— Для этого мне не нужно видеть его в бою, для меня и твоих слов достаточно, но знаешь ли, чем объяснить, он на меня производит какое-то смутное, тревожное впечатление... Мне почему-то кажется, что моя судьба связана с его судьбой...

— Если это только так, то жалеть тебе не придется.

Вольский вздохнул вместо ответа.

Темная южная ночь спустилась на землю, сотни костров зажглись на равнине, занятой войсками. Ночь была теплая и костры предназначались для комаров и мошкар, которыми изобилуют берега Дуная. Кроме того они имели и другое назначение: количеством костров определяется количество отряда, и Суворов, чтобы ввести турок в заблуждение, приказал зажечь их как можно больше. Веселыми группами рассыпались солдатики вокруг огней, кто варил похлебку, кто чинил обувь, а кто балагурил. Суворов обходил костры, беседовал и шутил с солдатами.

— А, астраханцы молодцы, помните своего старого командира?

— Как не помнить, ваше превосходительство, не командиром, а отцом были.

— Спасибо, детки, смотрите же не выдавать туркам вашего старого батьку.

— Умрем за тебя, родимый.

— Что вы, что вы, зачем умирать, а турок же кто бить будет, вы лучше турок побейте.

— Побьем, батюшка...

— Здорово, богатыри,— обращался он к группе солдат у другого костра,— здорово, кагульские герои. Славно турок при Кагуле побили.

— Славно, ваше превосходительство.

— Завтра лучше побьете. Теперь вы изловчились как нужно их бить... Трудно впервые, а потом — дело привычное, правда, ребятушки!

— Правда, батюшка.

От костра к костру Суворов обошел весь лагерь, поболтал с солдатами и всюду, где он только побывал — оставлял уверенность в завтрашней победе. О ней говорилось, как о явлении самом обыкновенном. Численность турок никого не пугала.

Суворов направился на берег Дуная к аванпостам; костры в лагере мало-помалу начали гаснуть и скоро весь лагерь погрузился в глубокий сон. Только тяжелые шаги дневальных нарушали ночную тишину и гулко раздавались в ночном воздухе. Не спал один Вольский, на душе у него было беспокойно, он пробовал молиться, но мысли у него путались, и молиться он не мог.

ГЛАВА IV

Темная теплая южная ночь усыпляюще действует на русский отряд. Крепким сном спит лагерь, спит главный караул в аванпостной цепи, дремлют и часовые на аванпостах...

Не дремлют, однако, турки. Проведав про численность русских, они решаются атаковать их. Тихо выходят они из своего лагеря, тихо садятся в лодки и еще тише отваливают от берега. Кони, точно чувствуя, что от их осторожности зависит успех предприятия, в своем поведении подражают всадникам... Не слышно ни ржания, ни фырканья, тихо входят они в воду и тихо на поводах плывут за лодками... Дунай у Туртукая не широк, не более 300 сажен... Неприятель уже на середине реки, но на русских аванпостах все тихо, ни звука, турецкие лодки приближаются все ближе и ближе, вот и берег, но на нем царит мертвая тишина. Такая тишина угнетающе действует на атакующего... Не даром неприятель безмолвствует, не даром он так беспощадно подпускает, очевидно он готовит засаду... и среди атакующих возникают уже сомнения: не вернуться ли назад, молчание не предвещает ничего доброго... Но против такого решения горячо протестует татарин. Он с вечера побывал на русском берегу, все высмотрел и уверяет, что о засаде не может быть и речи. Русских так мало, они так крепко спят, что их можно забрать живьем. Он знает даже, где находится их генерал. Он спит теперь на земле за аванпостною цепью в нескольких шагах от берега.

Уверения татарина подействовали на начальника турецкого отряда. Еще не рассвело, как турки, не замеченные русскими аванпостами, тихо высадились на берег, уселись на лошадей и с криком: «алла, алла», — бросились на аванпостную цепь.

Суворов, имевший случай убедиться как отправляется в отряде аванпостная служба, не особенно надеялся на аванпосты и потому на ночь остался в цепи, надеясь что его присутствие подтянет часовых, но, как показал случай, расчеты его не оправдались. Отряду нужен был урок, и жестокий урок.

Крики: «алла, алла» разбудили Суворова, он вскочил на ноги и при свете наступающего утра увидел несколько турецких всадников, с саблями наголо скакавших на него. Их вел татарин-лазутчик, побывавший вечером в русском стане.

Мигом вскочил Суворов на коня, стоявшего здесь же у прикола, быстро окинул взором атакующих и помчался к резервам. Аванпостная цепь была порвана, смята, на сопротивление ее рассчитывать было нельзя... Не успел генерал прискакать к лагерю, как солдаты, услышав уже тревогу, были на ногах. Пехота строилась в колонны, карабинеры кончали седлать лошадей, а турки, между тем смяв казаков, в беспорядке неслись к высотам у Ольтеницы, где были собраны все суворовские силы. Они рассчитывали застать отряд врасплох и изрубить сонных солдат.

Но расчеты оказались опрометчивы, и турки жестоко поплатились. Едва Суворов прискакал в лагерь и увидел садившихся на коней карабинеров, как крикнул им:

— Вперед, молодцы карабинеры, на выручку казакам. Ретирады нет, нет и пощады неверным. Ребок, беглым шагом с двумя ротами за карабинерами, действуй, как найдешь нужным. Остальной пехоте оставаться здесь и быть готовой на выручку товарищам.

Вихрем понеслись карабинеры, Суворов, отдав приказания, поскакал на место боя, туда же беглым шагом направилась и пехота Ребока.

— Смотри, ребята, не стрелять, работать штыками, — говорил он на ходу солдатам.

Рядом с Ребоком бежал и Вольский.

— Боюсь, опоздаем, — говорил он брату, — карабинеры и без нас покончат.

Вольский был прав. Астраханские карабинеры, увидев перед собою догнавшего их Суворова, подобно снежной лавине обрушились на не ожидавших их турок, скакавших

в беспорядке. Опомнившиеся казаки, быстро собравшись и выстроившись лавой, ударили во фланг... Видя себя окруженными и подумав, что татарин завел их в ловушку, турки потеряли присутствие духа и с криками «аман, аман,» дали тыл, но карабинеры не внимали их просьбам о помиловании и рубили беспощадно.

Оставшиеся в живых, побросав лошадей, вскочили в лодки, но казаки последовали за ними, опрокидывали лодки, рубили гребцов, да те от страха и не сопротивлялись...

Уже совсем рассвело, когда майор Ребок с своими ротами подоспел на берег Дуная. К этому времени все было кончено: берег и весь путь к нему были устланы трупами людей и лошадей, несколько галер, ускользнувших от преследования казаков, увозили в Туртукай остатки отряда, несколько турок барахтались в воде, цепляясь за опрокинутые лодки...

— Их нужно спасти,—сказал Вольский, обращаясь к Ребоку.

— Не спасти, а вытащить из воды,—и он отдал приказ нескольким солдатам вытащить тонувших.

— Генерал не велел давать пощады,—продолжал он обращаясь к Вольскому,—но это относилось к атакующим, этих же нужно вытащить хотя бы для того, чтобы допросить их о силах и средствах обороны Туртукая.

Тем временем несколько солдат, вскочив в оставленные турками лодки, извлекали из воды тонувших. Среди них оказался и начальник отряда Осман-бей...

Взошедшее солнце застало весь отряд в сборе на равнине у Ольтеницы: коленопреклоненные воины благодарили Бога за победу... духовенство служило благодарственный молебен.

ГЛАВА V

Неудачный набег турок расстроил план Суворова и в то же время показал, что медлить нельзя ни минуты.

Неприятель не мог ожидать быстрого реванша и нужно было пользоваться временем, не дать опомниться туркам; но производить атаку днем было нельзя. Турки, побывав на русской стороне, могли увидеть численность войск... Суворов решил атаковать Туртукай ночью, и не успел кончиться молебен, как он сделал уже все нужные приготовления к переправе. Прежде всего

он призвал к себе казачьих офицеров, находившихся в аванпостной цепи.

— Своим нерадением вы заслужили смертную казнь,— обратился он к ним,— но я хочу предоставить вам вместо позорной смерти смерть почетную. Сегодня ночью атака, и я не сомневаюсь, вы сумеете победой или смертью смыть свою вину.

Позвав затем адъютанта, он продиктовал ему диспозиции. «Прежде всего,— говорилось в диспозиции,— переправляется пехота, разделенная на два каре и резерв; при резерве две пушки; после пехоты конница; если можно, люди в лодках, лошади в поводу, вплавь. На нашей стороне Дуная батарея из 4 орудий. Ночная атака — сначала на один турецкий лагерь, потом на другой и, наконец, на третий. Ударить горою, одно каре выше, другое в полгоры, резерв по обычаю; стрелки разделяются на две половины, каждая на два отделения; они действуют и тревожат. Резерв без нужды не подкрепляет. Турецкие набеги отбивать наступательно, подробности зависят от обстоятельств, разума и искусства, храбрости и твердости командующих. Туртукай сжечь и разрушить, чтобы в нем не было неприятелю пристанища. Весьма щадить жен, детей и обывателей, мечети и духовных, чтобы неприятель щадил христианские храмы». Диспозиция закончилась словами: «Да поможет Бог».

В этот же день, перед вечером, Суворов с полковником князем Мещерским, остававшимся для командования на этой стороне, объехал берег Дуная, указал места для войск, сам поставил батарею, дал наставление на разные случаи. Когда же стемнело, лодки, спрятанные в камышах, вышли из устья Аржиша и подошли к месту переправы.

Ночь пала на землю, когда войска начали посадку на суда; всем распоряжался Суворов... Люди двигались как тени, тишина лишь изредка нарушалась ржанием коня, но турки следили зорко и заметили переправу... На турецком берегу блеснул огонек, раздался звук выстрела, за ним другой, третий, и огненные шары начали бороздить темное небо. Турки усердно посылали в атакующих бомбу за бомбой, но темнота ночи не благоприятствовала им. Бомбы падали в Дунай, вздымая столпы водяной пыли и не причиняли никакого вреда атакующим. Только тогда, когда флотилия подошла совсем близко к турецкому берегу,— огонь стрелков, рассыпанных на берегу, стал давать себя чувствовать... Из некоторых лодок слышались стоны, были раненые.

Батальон Ребока составлял собою резерв. Ребок и Вольский находились в одной лодке.

— Евгений,— обратился майор к Вольскому,— если меня сегодня убьют — возьми у меня в кармане письмо, сними с шей ладанку и перешли все это Ане.

Вольский пожал своему кузену руку.

— Мне посылать нечего, но если убьют меня, а ты останешься жив — подготовь матушку и сестру, а Варе... Варе скажи, что я любил ее и умер, стараясь заслужить ее.

Турецкая пуля сорвала в это время с Вольского его шляпу.

— Плохая примета,— промолвил он.

— Не совсем,— шутливо заметил Ребок, поднимая со дна лодки упавшую шляпу.— Видишь, ее не унесло в Дунай... Старые служаки говорят, что в одном и том же бою пули никогда не попадают в одно и то же место. Голова твоя, значит, застрахована.

— Ваше высокоблагородие,— обратился к Ребоку фельдфебель,— турок теперь все равно не обманешь, нас они заприметили, ишь какую трескотню подняли... разрешите закурить трубочку, может быть последнюю на этом свете.

— Кури, братцы! — крикнул Ребок.

Солдаты начали набивать трубки.

— Ишь окаянные, огня сколько посылают, нет чтобы хоть один кисет табачку турецкого послать,— острят солдаты.

— погоди, если возьмем, а теперь покури российской махорки,— отвечает фельдфебель.

Шутки и прибаутки слышатся из лодок, уже вплотную подошедших к берегу. Подчас раздается стон, крик раненого и снова прибаутки. Со стороны подумаешь: едут люди не на смерть, а на гулянку. Таков уж русский солдат: шутит он и у бивуачного костра и у жерла пушки.

Но вот одна из лодок, в которой находился Суворов, наткнулась на подводный камень и опрокинулась. Среди плившей до сего времени в строгом порядке флотилии появился переполох, но голос Суворова сразу всех ободрил и призвал к порядку.

— Выгребай, братцы, выгребай,— кричал он, выплывая на берег.— Казенное добро в огне не горит и в воде не потонет.

— Пообсушимся сейчас, батюшка, ваше превосходительство,— кричали в ответ на его слова солдаты.

Подоспевшие соседние лодки приняли к себе не умеющих плавать и через пять минут весь отряд в порядке

высадился на неприятельском берегу. Его снесло только вниз по течению. Пехота быстро построилась в две колонны с резервом и двинулась вверх по Дунаю.

Колонна полковника Батурина, при которой находился сам Суворов, направилась на ближайший турецкий лагерь; вторая колонна подполковника Мауринова атаковала правый фланг лагеря, защищаемый батареей.

Суворов не случайно остался при первой колонне. Его пронизательный глаз привык сразу распознавать людей, и то, что думал он о начальнике колонны полковнике Батурине, не говорило в пользу последнего.

«За ним нужен глаз и глаз,— думал генерал,— а не то, все дело испортит.»

Опасения Суворова оправдались: едва колонна двинулась вперед, как турки встретили ее убийственным огнем; больше всего донимала некая батарея, посылавшая бомбу за бомбой. С оглушительным треском разрывались снаряды над головами атакующих и осыпали их градом осколков, вырывая из рядов людей десятками.

— Ваше превосходительство, с нашими силами атаковать неприятеля невозможно,— сдавленным голосом проговорил Батурин, подъезжая к Суворову.

— Не атакуйте, не атакуйте, батюшка,— саркастически отвечал генерал.— Вы устали, так отдохните малость, а мы с Божьей помощью, как разобьем турок, так и для вас работы будет тогда вдоволь...

— Я, ваше превосходительство...

— Отдыхайте, отдыхайте батюшка, смотрите только, чтобы солдаты не сочли вас за poltron (труса) — закончил он по-французски, дал шпоры коню и отскакал на несколько сажен перед колонной. Главная турецкая батарея сеяла смерть в колонне и Суворов, решив оставить пока лагерь, направил атаку на батареи.

— Братцы, заставьте замолчать этих горланов,— обратился он к солдатам,— за мною, ура...

Могучее и в то же время зловещее для турок «ура», огласило ночной воздух и раскатами понеслось по Дунаю, колонна вихрем налетела на батарею, офицеры бросились на бруствер, солдаты, соревнуясь, старались опережать своих начальников. Первым вскочил на батарею Суворов. В это время раздался оглушительный взрыв и ближайшие солдаты заметили, что генеральский конь рухнул на землю вместе с седоком.

— Ребята, спасай генерала! — Раздался отчаянный крик ординарца сержанта Горшкова и несколько десятков

солдат устремились к тому месту, где лежал Суворов. Мигом освободили его из-под убитого коня, он встал на ноги, но сейчас же снова присел, легкий стон вырвался из его груди. Из правой ноги его струилась кровь. Оказалось, что разорвало турецкую пушку в то время, когда генерал вплотную продвинулся к батарее. Осколками ее перебило почти всю прислугу, убило суворовского коня и ранило его самого в ногу.

Рана была довольно сильная, но по счастью не опасная, кость оказалась не повреждена.

— Спасибо братцы,— обратился он к солдатам,— догоняйте своих товарищей, вы там нужнее, а Суворов вас сейчас догонит. Горшков мне поможет.

Достав платок и смочив его водкою из походной фляги, Суворов приказал Горшкову перевязать ему рану. Через пять минут он уже снова был на коне, взятом у горниста, и мчался в гущу боя.

Внутренность батареи представляла собою ужасную картину. Турки не отступали и только сбитые с своих мест рассыпались по всей батарее, русские колонны действовали тоже врассыпную. Выстрелы смолкли и только слышался лязг сабель и штыков, да глухие удары прикладов о человеческие черепа. Если бы кто захотел представить себе картину, как смерть, аллегорически изображаемая с косою, применяет свое оружие на манер косаря, то ничего лучше не могло бы передать воображаемую сцену, как происходившее на батарейной площадке: сабли, ятаганы и штыки без жалости устилали площадку трупами и испещряли кровавыми лужами. Ужас турок выражался своеобразно и в военном смысле не постыдно: отступление их не было бегством под влиянием паники, а представляло разбросанную силу, вытесняемую другою...

Суворов, очутившись в гуще боя, ободрял солдат:

— Я с вами, братцы, с вами, ребяташки, нам мешкать здесь не приходится, кончайте скорее, да и на отдых пора.

Турки дрались упорно и один за другим устилали собою землю, но вот на батарею врываются несколько янычар, один из них бросается на Суворова... Ослабевший от раны генерал еле парирует удары, гибель его кажись неминуема, но на батарею с криком и гиком влетают казаки... Одно мгновение, и хорунжий Осипов ударом шашки сваливает янычара с седла...

Мундир на хорунжем изорван в клочки и покрыт кровью, лицо помертвело, истекая кровью, он вот-вот свалится с седла, но он еще нужен, янычары не уничтоже-

ны, турки не выбиты из батареи, и он с полусотней казаков мчится далее, чтобы закончить то, что начала пехота... Он еще не загладил вчерашней своей оплошности в аванпостной цепи...

Но вот минута, другая и все смолкло. Луна синеватым светом освещает картину побоища, турок больше не видно, батарея в русских руках...

Разбросанные солдаты снова смыкаются в колонну. Суворов благодарит их.

— Спасибо, чудо-богатыри, теперь на лагерь.

Успех придавал солдатам свежие силы. Плотную стеною они устремляются на лагерь, но там уже паника. Лишившись своей батареи, турки теряют уверенность и в страхе ищут спасения в городе, и лагерь в руках Суворова. Мауринов в это время взял другой, меньший лагерь. Обе колонны были утомлены, а между тем предстояло взять город и третий большой лагерь... Суворов посылает на лагерь Ребока.

— Ну, Евгений наша очередь,— говорит он Вольскому.— Барабанщик, бей атаку.

Барабаны затрещали атаку, стройною грозною массою двинулся резерв на лагерь. По мере того, как учащался такт барабанов, шаги пехоты становились быстрее, отрывистее и наконец перешли в беглый шаг. Вольский не видел Ребока, он бежал впереди своего взвода, как в чаду... Свист пуль и картечи не пугал его, но странное дело, он не знал, что ему делать. «Что же мне делать, ведь я офицер, командир, должен же и в чем-нибудь проявлять свое командование, а я бегу, как и все бегут?» Но ответа он не находил и продолжал бежать. Вот он достиг уже лагеря, какой-то турок замахивается на него ятаганом, он парирует удар и валит турка на землю, бежит дальше... В общей сумятице боя он видит ее, свою Варю, она благословляет его...

— Вперед, вперед! — кричит он солдатам и сам рвется вперед...

Но вот барабан бьет отбой. Кровь приливает к голове молодого офицера. «Что это, неужели отступление, упаси Бог!..» В это время подходит к нему Ребок. Он обнимает кузсна.— Ну поздравляю, теперь ты окрещен боевым огнем.

— Не ранен?

— Нет, а турки?

— Все кончено и лагерь, и город в наших руках.

Не прошло и получаса, как кровавая драма закончилась.

ГЛАВА VI

В начале четвертого часа ночи все было окончено, отряд занял позицию на высотах за городом, и Суворов на клочке бумаги послал донесение графу Салтыкову. «Ваше сиятельство, мы победили, славу Богу, слава вам». Другое донесение было отправлено главнокомандующему. Донесение состояло из двух строк:

«Слава Богу, слава вам,
Туртукай взят и я там».

Трофеями победы были 6 знамен, 16 пушек, 30 судов и 21 небольшая лодка. Оставшиеся в живых турки бежали к Силистрии.

Как только начало рассветать, Суворов отправил в город отряд, которому было приказано огнем и порохом уничтожить все жилища и вывести на противоположный берег всех оставшихся в Туртукае христиан. Вольский с своей ротой попал в состав сводного отряда, на который было возложено разрушение города. Его рота, задержанная в пути, подошла к Туртукаю уже в то время, когда огненные языки высоко вздымались к небу и густые облака дыма закрывали собой восходящее солнце. С улиц слышались треск и грохот взрываемых каменных построек; деревянные же и без пороха уничтожались одна за одной. По мере того, как дома были освобождаемы солдатами от содержимого в них имущества, их поджигали. Горели кварталы, горели целые улицы и через два — три часа весь город представлял собою сплошной адский костер. Оставаться на улицах не было уже никакой возможности, да и надобности. Все то, что можно было взять, — было взято, христиане в числе 700 человек выведены, а остальное оставлено в жертву огню.

«Вот она, обратная сторона медали,» думалось Вольскому.

Картина разрушения, по его мнению, ненужного, варварского, сильно потрясала его.

— Ничего не поделаешь, — говорил ему Ребок. — Война с турками — не война с европейскими народами. Для пресечения жестокости нужна жестокость.

— Значит, клин клином выбивай.

— Вот послужишь в армии и сам убедишься в необходимости применения этой поговорки к туркам. В гуманности они видят слабость, в жестокости — силу. В противном их не убедишь ничем, следовательно, приходится доказывать им силу по-ихнему.

При выходе из города Ребок и Вольский заметили, что кучка солдат окружает какую-то растрепанную старуху и молодого парня. Они подошли ближе. Солдаты вязали молодого цыгана, старуха цыганка с двумя небольшими детьми голосила и умоляла отпустить ее сына.

— В Дунай его, в Дунай, каналью, вяжи получше, а то выплывет собачий сын,— кричали солдаты, опьяненные грабежом и разрушением.

Увидя офицеров, цыганка бросилась на колени перед Вольским и схватила его за руку.

— Барин, баринок милый,— говорила она ломаным русским языком,— прикажи отпустить моего Степана, голод заставил... ну накажи его, а только отпусти... детки маленькие... Бога за тебя молить будем.

— В чем дело? — обратился он к солдатам.

— Да он, ваше благородие, украл у Кравченки мешок с сухарями.

— Так вы за это его и в Дунай?

— А то куда же, ваше благородие?

— Стыдно братцы, стыдно, ведь мы христианские воины.

Молодой, бледный, исхудалый в лохмотьях цыган молчал и озирался, как загнанный зверь.

— Зачем же ты украл? — обратился Вольский к цыгану.

— Голодны,— показал он рукою на детей.

У Вольского кольнуло в сердце. В этом одном слове «голодны» слышалась целая драма.

Вольский приказал освободить цыгана и дал ему серебряный рубль.

— Грех вам, братцы, вместо того, чтобы накормить голодного человека, как велит долг христианина, вы его топить собрались. Видите, он от голоду еле на ногах держится, а дети его маленькие, вы их сиротами сделали бы. Разве у вас ни у кого нет детей, разве и вы безгрешны?

Слова молодого офицера отрезвили солдат... десятки рук потянулись к затылкам.

— Виноваты, ваше благородие, и впрямь чуть греха на душу не приняли... Ну, молодец стунай, да и сухари бери с собою... Бог с тобою... Подожди, подожди,— кричали другие,— вот возьми полотно деткам на сорочки,— давали цыгану кусок полотна, взятый из ограбленного дома зажиточного турка.

И русский солдат, добродушный и незлобный по природе, опомнившись, старался теперь загладить свою недавнюю жестокость. В несколько минут цыганская семья

была навьючена и съесным, и одеждою. Старая цыганка бросилась целовать ноги и платье Вольского и Ребока. Цыган же молчал, но во взгляде, который он бросил на Вольского, было столько благодарности, сколько нельзя было бы выразить в самых красноречивых словах.

— Правду сказал Суворов,— обратился Вольский по дороге к Ребоку,— что русский солдат поворачивается куда угодно, умеи только повернуть его.

— Ты теперь понимаешь,— отвечал Ребок,— не видят этого, к сожалению, наши генералы, а Суворов не только видит, но и знает, где и как повернуть солдата, оттого-то и имя его в истории не умрет.

Немногие, подобно Ребоку, провидели в Суворове великого полководца, иначе советы последнего принимались бы во внимание.

Взяв Туртукай и разрушив его, Суворов думал укрепиться на турецком берегу, но иначе решило начальство. Суворову пришлось снова возвратиться на свою стоянку. Никогда не видевший без дела, он и здесь усердно принялся обучать войска по-своему, чинить негоештское укрепление и усиливать флотилию.

Так прошел месяц. Турки усиленно наседали на барона Вейсмана, и Румянцев, желая отвлечь внимание туртукайских турок, которые снова собрались в большем числе, приказал Салтыкову вновь провести демонстрацию и атаковать. Это поручение опять было возложено на Суворова.

Больной, изнуренный местной лихорадкой, он ожил духом и горячо принялся за приготовления. Главнокомандующий прислал ему в подкрепление батальон, затем еще одну роту и два орудия.

Переправа была назначена в ночь с 7-го на 8-е июня, диспозиция объявлена. Войска двинулись с наступлением сумерек к берегу Дуная. Суворов выехал ближе к берегу с командирами отдельных частей...

Турки не дремали и заметили готовящуюся переправу.

— Заметили,— обратился Суворов к своим полковникам.— Беда, впрочем, не велика. Побили в первый раз, побьем и во второй.

Князь Мещерский и другие полковники молчали. Казалось, генерал хотел своим замечанием вызвать их на разговор, но лица у всех были мрачны, только Батурич в полголоса оживленно о чем-то разговаривал с товарищами.

— Что вы думаете, господа,— с более определенным вопросом обратился генерал к своим подчиненным.

— Если вы спрашиваете наше мнение, ваше превосходительство, то что касается меня, я не надеюсь на успех,— отвечал Батурин.

— Это я слышу от русского офицера, имеющего честь командовать победоносной частью?

— Ваше превосходительство, вы слышите это от благоразумного человека. Наши силы истощены прошлым боем, убыль не пополнена, нельзя же считать присланный батальон за подкрепление, там и двух рот не наберется, да из них половина больных. Турки же многочисленные, у них силы свежие, да к тому же они у себя дома за окопами.

— Ваше мнение, господа,— отрывисто обратился Суворов к остальным полковникам.

Но те вместо ответа только переглядывались между собою. Очевидно, они раздсляли взгляды своего товарища.

Генерал понял это и повернулся к князю Мещерскому.

— А вы, князь?

— Ваше превосходительство, как вначале, так и теперь я стою за атаку. Перевес турок, их укрепления, наша малочисленность,— все это не имеет значения для успеха. Я на опыте и еще не так давно убедился в глубокой справедливости вашего взгляда, что бьет не сила, а дух. Вы видели дух начальников. Кто поручится, что он не передастся солдатам.

— Вы правы,— ответил Суворов, пожав Мещерскому руку и отменил атаку.

Разбитый душевно и телесно, прискакал Суворов к себе на квартиру и заперся у себя в горенке.

— Боже мой, Боже мой, какая подлость,— восклицал он, быстро шагая из угла в угол,— и это полковник российской армии, верноподданный своей государыни...— с негодованием повторял генерал. Его била лихорадка. Всю ночь не сомкнул он глаз, а утром уехал в Бухарест, сдав команду князю Мещерскому. В посланном Салтыкову письме он говорил, что в составе присланного батальона нет и полубатальона и надо прислать еще; что накануне и маневр был прекраснейший, войска были подвинуты по их лагерям. флотилия 30 лодок для левой атаки и 4 для правой — с острова были уже в рукаве...

Далее он продолжает по-французски: «Мерзко говорить об остальном, ваше сиятельство; вы сами догадаетесь, но пусть это будет между нами. Благоволите рассудить, могу ли я снова над такою подлою трусливостью

команду принимать и не лучше ли мне где на крыле промаячить, нежели повергать себя фельдфебельством моим до стыда — видеть под собою нарушающих присягу и пожирающих весь долг службы?

Г. Б. (Батулин) причиною всему; все оробели, лица не те. Я здесь неприятеля себе не хочу и лучше все брошу, нежели бы его пожелал. Каторга моя в Польше за мое праводушие всем разумным знакома. Есть еще способ: соизвольте на время прислать к нашим молодцам подтвержде генерал-майора. Всякий здесь меня моложе, он может ко мне заехать, и я дам ему диспозицию, прикажите ему только смело атаковать. Б. между тем, как-нибудь отзовите, да пришлите еще пару на сие время штаб-офицеров пехотных... Боже мой, когда подумаю, какая эта подлость, жилы рвутся».

Суворов выносил тройную муку и от лихорадки, и от поведения подчиненных, и от опасения, что минует надобность в экспедиции...

В Бухаресте пробыл он недолго. К 14 июня он снова возвратился в Негоешти. К этому же времени прибыл туда запрашиваемый им новый батальон, тем не менее Суворов приказал вооружить карабинер пехотными ружьями, начать обучать их пехотному строю, стрельбе и атаке холодным оружием.

Переправа и атака были назначены в ночь с 16 на 17 июля. Перед вечером Суворов собрал командиров частей и передал им на словах диспозицию:

«Атаковать взводною колонною, взводам намыкать один на другой и задним напихивать на передних весьма. Арнауты Потемкина действуют в лесах и набегами и ни с кем не мешаются. Конница идет в хвосте пехотной колонны и действует сама собой. Идти на прорыв, не останавливаясь; голова хвоста не ожидает; командиры колонн ни о чем не докладывают, а действуют сами собой с поспешностью и благоразумием. Атаковать двумя линиями без замедления и мужественно. Ежели турки будут просить аман, то давать. Погоню за турками можно делать коннице осторожно, но не далеко».

В отряде всего было: 1720 человек пехоты, 855 — конницы, 680 — казаков, 100 — арнаутов, но к переправе предназначалось немного более 2500 человек, турок же было свыше 4000 человек в двух лагерях, усиленных и укрепленных батареями.

ГЛАВА VII

— Ребок, друг мой, брат мой,—говорил Суворов, встречая майора на пороге своей горницы.— Ты один, с кем я могу отвести душу, на кого я могу положиться, как на самого себя... Посмотри на наших штаб-офицеров, можно ли быть с ними спокойным?.. Отправлюсь я с первой линией—буду опасаться за вторую. Пойду со второй—душа будет не на месте, что творится в первой... Будь моим я, замени меня в первой линии, а я отправлюсь со второй. Наставлений я тебе не даю. Даже не говорю, что нужно побить турок и как—на месте ты сам увидишь и решишь.

— Батюшка, Александр Васильевич, вы видите, жизнь моя принадлежит отечеству, так располагайте же ею, как заблагосочтете.

— Спасибо, голубчик. Батурин меня беспокоит. Просил его взять—не берут, а оставить, так своею подлою трусостью все дело может испортить... Ну, да никто как Бог. Иди тем временем, распорядись... Твой брат молодец! Скажи ему, что я отцу отписал, благодарю за такого офицера.

Спустившиеся на землю сумерки застали войска на своих местах. Флотилия лодок была уже наготове, как в рядах пронеслась весть, что отрядный генерал болен. Суворова, действительно, била лихорадка, но это несколько не должно было влиять на ход событий. Суворов решил атаковать, и атака должна быть произведена.

— Скажи солдатам,—обратился он к Ребоку,—что болеть каждый может, но что царскую службу каждый нести должен. Скажи им, что через час они меня увидят и убедятся, что никакая болезнь не может помешать честному солдату сражаться за Веру, Царицу и Отечество.

Слова эти, переданные Ребоком войскам, действительно, оказали на них магическое действие. Кто знаком с нашим солдатом, тот знает, как он умеет оценить своего начальника, как умеет свою веру в него передать товарищам и как может радоваться радостями командира и печалиться его горем.

Так было и в настоящем случае.

Старый унтер Семенов, сделавший с Суворовым не один переход в Польше, получивший там под его начальством Георгиевский крест и несколько ран в придачу, молившийся на своего генерала, сумел возбудить к нему

благоговение и среди новых своих товарищей. Солдаты уже ожидали чего-то от Суворова, они ожидали того, что ждет русский солдат от своего начальника, а именно сознания, что за спиною у командира — все равно, что за каменной стеною.

Краткосрочное командование Суворова отрядом, его неустанные заботы о рядовом, его солдатская, полная лишения жизнь и, наконец, туртукайский бой, где он, израненный, продолжал командовать ими, создали ему среди солдат такое положение, которое выпадает на долю далеко не всякого генерала и как бы закрепощает душу солдата за его начальником.

Понятно, сколь должна была быть велика тревога, поднятая вестью о болезни Суворова и как успокоительно подействовали суворовские слова, переданные Ребоком.

Войска ожили духом.

Суворов, отправив Ребока и выпив рюмку водки, согрелся чаем. Хотя приступ и прошел, но генерал был настолько слаб, что еле держался на ногах. Решив выехать со второй линией, он думал первую отправить под своим наблюдением и напутствовать солдат речью, но теперь раздумал. Своим беспомощным видом только уныние на них наведешь.

— Что, Прохор, смотришь так печально? — обратился он к своему камердинеру.

— До радости ли тут, батюшка Александр Васильевич, когда лихоманка вас так извела, что и лица нет, на ногах еле держитесь.

— За то дух силен, — вскрикнул, выпрямляясь, Суворов, сверкнув глазами, и тут же решил показать силу своего духа солдатам в деле, а пока видом своим не наводит на них уныния.

Совершенно стемнело, когда войска начали посадку в лодки, но не успели они отчалить от берега, как турки открыли по ним огонь. Наши батареи отвечали туркам тем же и не без успеха. Три орудия, подбитые нашими бомбами, побудили неприятеля обратить огонь на наши батареи с целью заставить замолчать их... Завязался артиллерийский бой. Турки, забыв переправляющуюся пехоту, старались уничтожить нашу артиллерию. О пехоте вспомнили тогда, когда она была уже вблизи берега. Град пуль посыпался на лодки, но было уже поздно. Одна за другою приставали лодки к берегу, люди быстро выпрыгивали и строились в колонны... Еще минута, другая

и батальон майора Ребока стремительно бросился на высоты, на которых был расположен малый турецкий лагерь.

Если бы не ружейная трескотня и сумятица, поднятая в турецком лагере, эту атаку можно было принять за какую-нибудь игру, нежели за бой. Казалось, сотни людей собрались здесь у подножия гор, чтобы состязаться в ловкости, быстроте бега и в преодолении препятствий... без выстрела, с шутками, прибаутками бросились ребовские солдаты в перегонку... Ряды расстроились, каждый старался обогнать товарища, рвался вперед, спотыкался, падал, догонял товарища и бежал вперед.

— Что, говорил тебе, не объедаться кашей,— корил упавшего молодого рекрута дядька.— Ишь брюхо-то как набил, так и тянет к земле...

— Ничего, дяденька, потянет и к турку, а кашу страсть как люблю.

— А рис любишь? — на бегу спрашивает его товарищ.

— Рис! — умильно улыбается рекрут.

— Ну, а у турков его много... небось к ужину плову-то наготовил, да вот беда ужинать-то мы помешали... а как ты думаешь, славно было бы ужин у них оттягать...

— Оттягаем, вишь как перетрусили, какую трескотню подняли,— рассуждал рекрут; слышал он, что генерал говорил: как только неприятель посыпал пулями, что горохом — знай... струсил, бей его. И рекрут заорал во все горло. Толпа подхватила и заревела на все голоса... Что-то ужасное, стихийное было в этом реве. Силы солдат, кажись, удесятерились, они стремительно бросились в гору, бежавшие поддерживали падавших и крики: «Бей его, бей, ура!» — становились все громче, все яростнее...

Вольский потерял Ребока из виду и только по временам слышал его голос.

— Сомкнись ребята, сомкнись.

— Что же мне делать,— задавал он себе вопрос,— ведь я же офицер?

Но ответа не находил. Торопливо бежавшие навстречу опасности и смерти солдаты своим стремительным натиском красноречиво ему говорили, что надо делать и он бежал, как бежали они. Казалось, какая-то неведомая сила подхватила и несла его вперед без оглядки. Голова его работала так же быстро, как и ноги: в течение нескольких минут, когда батальон бросился в атаку, он снова пережил свою жизнь: и детство, и отрочество, и студенческие годы. Правда, былая его жизнь воскресла

перед ним в отрывистых, подчас не имевших между собою непосредственной связи, картинах, но зато как ярко были эти картины, точно наяву... Как отчетливо он видит перед собою лица, слышит голоса.

— Воображаю, как страшно в сражении...— раздается у него в ушах восклицание княжны Варвары.

«Нет, не страшно,» — думает он, а какой-то внутренний голос шепчет ему: не лги, почему же у тебя так скоро, так ненормально работает голова... ведь такая ненормальная мозговая деятельность свидетельствует о неспокойном состоянии духа.

— Нет, я должен быть спокойным,— громко восклицает Вольский и с высоко поднятой саблей, с криком: — Вперед, братцы! — несется в гору.

Но команда его лишняя. Солдаты и без нее рвутся вперед, обгоняя своего офицера.

Вольский, крикнув: «Вперед»,— сейчас же сконфузился.

«Мне ли, мальчишке, не нюхавшему пороха, учить этих старых богатырей,— подумал он.— В уменьи смотреть в лицо смерти у них поучиться нужно.— Что же мне делать, что мне делать?»

Но вот он достиг уже вершины горы... Длинный ряд белых палаток, освещенных луной, кажется близким, но еще ближе, вздымая облако пыли, несется на только что взобравшихся в беспорядке солдат эскадрон турецкой кавалерии. Эскадрон все ближе и ближе, крики «Алла, алла!» — все громче и грознее, еще минута, и от осмелившейся взобраться на высоты горсти храбрецов, останется гора изрубленного мяса.

«Вот где тебе и дело,— подсказывает Вольскому внутренний голос.— Ты спрашивал, что делать? Распоряжаться.»

— Рота, строй каре! — громовым голосом кричит поручик.

Мигом вокруг него вырастают живые стены, мигом наклоняются ружья и стальная чешуя штыков окружает каре.

Непонятное спокойствие овладевает Вольским. «Не спокойствие ли отчаяния?» — думает он. Нет, голова его работает спокойно, он наблюдает движение неприятельского эскадрона и видит, что тот мчится глубокой колонной. При лунном свете он ясно различает физиономию его командира.

Теперь пора — решает он и зычным голосом командует.
— Рота, товсь! Рота, пли!

Дружный залп оглашает окрестность... Ружья снова взяты на руку, стальная щетина снова окружает каре. Неподвижная рота стоит в грозном спокойствии.

— Молодцы, братцы, спасибо! прекрасный залп,— с энтузиазмом кричит Вольский солдатам, видя, что эскадрон в беспорядке скачет назад...

— Рады стараться, ваше благородие,— отвечают солдаты. В ожидании новой атаки поручик быстро перестраивает каре: в переднем фесе появляются люди заднего феса, ружья которых не разряжены, передний фас занимает задний и заряжает ружья...

Турки смущены, тем не менее Вольский ожидает новой атаки.

«Мало людей,— думает он,— половине не придется стрелять.» Но суворовские слова: «каждый начальник действует как разум велит» приходят ему на ум и развязывают руки. Быстро перестраивает он каре в четырехшереножный развернутый строй, погибает фланги на случай удара на них и приказывает двум первым шеренгам стать на колени.

Турки, между тем, оправившись и еще с большим ожесточением бросились в атаку.

Вольский подпустил их еще ближе.

— Рота товсь, рота пли!

Снова дружный залп, но уже из ружей всей роты и турки в беспорядке поворачивают назад и, отступая, оставляют на поле трупы.

Теперь уж атаки не будет, решил Вольский, видя, что от лихого эскадрона осталось не более двух, трех десятков всадников, ищущих спасения в беспорядочном бегстве.

— Братцы, это наш первый успех — кричит восторженно Вольский.— Ура!

— Ура,— подхватили солдаты,— ура! — кричали вновь подоспевшие роты и возле Вольского выросла уже шестирядная колонна всей переправившейся пехоты.

— Поздравляю тебя, Евгений,— радостно пожимал ему руку Ребок,— быстро же ты усвоил суворовскую тактику, а еще говоришь у тебя душа к нему не лежит. Это неправда, у вас души родственные... Ведь ты жестоко нарушил воинский устав и этим нарушением спас нас. На такую вольность может решиться душа суворовская, независимая, гордая, признающая право руководства лишь за разумом... Не встретить ты турок огнем всей роты, они возобновили бы атаку.

Тем временем выстроилась вторая колонна полковника Батурина. Вольский со своей ротой присоединился к Ребоку и отряд быстро двинулся на лагерь. Турки, потерявши самообладание, после небольшого сопротивления бежали за овраг, находившийся среди лагеря. Здесь они собрались, оправились, подождали подкреплений и готовились совершить нападение на Ребока, но тот не терял ни одной минуты и не давая врагу опомниться, быстро пошел за ним.

Рота за ротой под страшным огнем опускались в овраг и с такой же быстротою снова появлялись на противоположной стороне. Не прошло и получаса как колонна, перешедши уже овраг со штыками наперевес, неслась на турок. Ружейная трескотня становилась все чаще и чаще, длинная огневая линия свидетельствовала о том, что турецкие стрелки заняли немалое пространство, и число их внушительно.

— Ну, ребята, охулки на руку не давать,— крикнул Ребок,— барабанчики, атаку!

Зарокотали барабаны, дружно плечом к плечу сомкнулись солдаты и дружно ринулись вперед. Отрывистый бой барабанов все учащался и учащался, переходя в непрерывный грозный рокот, роты, привыкшие ходить в ногу, не шли, а бежали, скорый темп барабанов гнал без передышки, ноги едва касались земли... Но вот нога не поспекает уже за барабаном... стройность потеряна в стремительности движения, и бесформенная лавина людей обрушивается на турок.

Схватка непродолжительна. Сзади неприятеля смятение, турки бегут туда, русская колонна врывается в окопы... Ребок и Вольский первыми вскакивают на бруствер.

— Ура!— кричит Вольский... «Варя,— мысленно обращается он к любимой девушке,— посмотри на меня, я достоин тебя.»

Солдаты не отстают от офицеров. Укрепление мигом наполняется русскими, но турки отступать не думают. Напротив, они уверены, что горсть смельчаков, решившихся ворваться к ним, живьем не уйдет. С ожесточением они бросаются на атакующих... Ребок старается собрать своих людей, но массы турок разъединили уже их по группам и гибель их кажется неминуемой... Ребок ждет Батурина, у него свежие силы, он должен был бы уже прийти на помощь, но почему-то не идет.

— Держитесь, братцы,— кричит он солдатам,— помощь близка.

Но ее нет как нет. Проходят минуты, минуты томительные, ужасные, кажущиеся часами, а помощи все нет... Ребок ранен, его офицеры изранены, «ура» все слышится слабее и слабее, атакующих становится все меньше и меньше. Ребок потерял уже надежду на помощь.

«Подлою трусостью все дело можно испортить,» вспоминает он слова Суворова, сказанные по адресу Батурина, и с энергиею отчаявшегося человека кричит солдатам:

— Братцы, не давай пощады басурманам, с нами Бог.

— С нами Бог — отвечают солдаты и с невероятным ожесточением пробивают себе дорогу... Несколько секунд, и рассыпанная горсть русских удальцов смыкается вокруг своего начальника и обрушивается на турок.

— Братцы, генерал Суворов с вами — раздался в это время зычный голос суворовского ординарца Горшко-ва, — он поздравляет вас с победой, — ура!

Имя Суворова электрическим током пробежало по рядам.

Могучее грозное «ура» вырвалось из сотен надорванных грудей, и колонна с удвоенной силой бросилась на турок, а в укрепление прибывали все новые и новые силы, посланные Суворовым, прибывшим уже со второю линией... Самоуверенность турок иссякла и они бросились бежать... Вольский со своей ротою бросился вдогонку, но сделав несколько шагов, упал. Поднялся и снова упал... Левая нога его была налита точно свинцом, из нее струилась кровь.

«Ранен, — понял он — и как не вовремя.»

Несколько солдат, увидя своего офицера упавшим, подбежали к нему.

— Ваше благородие, не угодно ли на лошадь — говорил один из них, держа в поводу коня, отбитого у турка.

Но офицер не мог привстать. Солдаты посадили его на лошадь.

— Спасибо, братцы. Теперь и я не совсем инвалид, вперед! — и он помчался догонять убежавшего неприятеля.

Возбужденный успехом офицер забыл, что пеший конному не товарищ, и вспомнил об этом только тогда, когда со всех сторон был окружен конными турками. Помощи ждать было неоткуда, да ее Вольский и не ожидал и, видя неминуемую гибель, решился погибнуть с честью.

— Прости, Варя, прощай счастье! — отчаянно крикнул он и врезался в окружавшее его кольцо всадников. Но

не успел он опомниться, как был обезоружен, связан.. Турки, узнав в нем офицера, решили взять живьем и пленником привезти в Руцук. Несчастный Вольский, истощенный потерей крови, потерял сознание. Коренастый турок, взгромоздив его перед собою поперек седла, дал шпоры коню и помчался по берегу Дуная по направлению к Руцуку.

ГЛАВА VIII

Суворов, переправившись на турецкий берег со второй линией судов и заслышав ослабевающее «ура», пришел в ужас, увидя Батурина бездействующим.

Генерал еле держался на ногах, два человека его поддерживали, силы его были изнурены лихорадкой настолько, что он не мог говорить, но вид бездействовавшего в неравном бою, возвратил Суворову силы. Что Ребок в опасности, в этом генерал не сомневался.

— Коня, поскорее коня! — крикнул генерал. Окружавшие его не узнали, до того он преобразился. Казалось маленький человек обратился в гиганта. С лихорадочною поспешностью вскочил он на коня и помчался в гору. Адъютант и ординарец еле поспевали за ним. Подскакав к Батурина, он не проговорил, а прохрипел.

— Полковник, не здесь, а там получают Георгия, — указал он на поле сражения. — Торопитесь, а то опоздаете. Ребок, пожалуй, два Георгиевских креста заработает, вам ничего не останется.

— Ну братцы, — обратился он затем к солдатам, — отдохнули, собрались с силами, а теперь и за работу, на выручку товарищей, марш... Помните, братцы, мы русские, не дайте, христолюбивые воины, восторжествовать полумесяцу над святым крестом.

— Не посрадим тебя, отец родной, — радостно кричали солдаты, с нетерпением ждавшие, когда их поведут в бой.

— Знаю, знаю голубчики, потому-то я вам и доверяю, а сам поеду бить турок на правом фланге.

Послав Горшкова в редут к Ребоку, Суворов в сопровождении адъютанта возвратился на берег, ожидая прибытия последней очереди судов.

Уже светало, когда кавалерия и остальная пехота подходила к берегу... Свежие силы турок вышли из лагеря и решили во что бы то ни было помешать высадке.

Минута была критическая. Третья очередь еще не высадилась, из второй генерал значительную часть отправил в обход турецкому отряду, оставалось немного.

Впереди предстоял неравный бой — позади позорное отступление и не менее позорная смерть в волнах Дуная.

— Братцы, — обратился Суворов к солдатам, — вы называли меня отцом... а вы мои любимые дети, так спасайте же своего старого батьку от беды неминуемой.

С этими словами генерал бросился на турок.

— Стой, подожди, отец родной, — завопили солдаты и опрометью бросились за Суворовым.

— Побереги себя, а мы и сами умереть сумеем...

Штаб-горнист, вытянул коня плетью, догнал генерала и схватил лошадь под уздцы.

— Ваше превосходительство, пожалейте нас, что мы без вас будем делать... Кто нас похвалит, кто Матушке-Царице донесет, что мы честно легли, служа ей.

Солдаты тем временем догнали и перегнали генерала и со штыками наперевес ураганом неслись на турок.

Дело было сделано, и Суворов остановился.

— Спаси и сохрани вас, Мать Пресвятая Богородица, — осенял он крестным знаменем удалявшихся солдат.

К этому времени третья очередь судов пристала к берегу, войска высадились и новоингерманландские карабинеры бешенно неслись уже в атаку на турецкий фланг.

Не выдержали турки и бросились врассыпную.

Наступивший день приветствовал изнеможенные войска с полной победой.

Смолкли выстрелы и в свежем утреннем воздухе раздались звуки горна. Суворов приказал протрубить сбор. Медленно стягивались войска к начальнику отряда, подбирали убитых и раненых... Казаков и арнаутов Суворов послал преследовать бегущих турок.

К 7 часам утра все войска стянулись уже на линии большого турецкого лагеря. Суворов выехал перед фронтом, и сняв шляпу, отвесил отряду поклон.

— Именем Матушки-Царицы и Отечества, спасибо вам, братцы, спасибо, чудо-богатыри!

— Рады стараться, ваше превосходительство, — гремели солдаты, но тут же за официальным ответом раздалось:

— В огонь и воду за тобой, отец наш родной!

У Суворова на глазах блестели слезы. Радовала его победа, но не легко было у него и на душе: батальоны сильно поределели, многих офицеров не досчитывались, а остальные были все переранены, кроме Батурина.

Проезжая по фронту и не видя Вольского, Суворов обратился к Ребоку.

— А брат твой где?

Но этот вопрос мучительно задавал себе и майор. Посланные для подбирания раненых команды приносили их одного за другим, но ни между ранеными, ни среди убитых Вольского не оказалось.

Из донесений солдат роты, которою командовал Вольский, узнали, что раненый он сел на лошадь, отбил неприятельское знамя, но куда исчез — неизвестно. Спустя несколько часов, когда убитые были преданы земле и отряд готовился к обратной переправе, возвратились преследовавшие турок казаки и арнауты. Один из казаков привез подобранную им на обрыве у берега Дуная простреленную и окровавленную офицерскую шляпу, Ребок узнал в ней шляпу Вольского, и слезы брызнули у него из глаз.

«Предчувствие не обмануло беднягу» — подумал майор.

Суворов старался утешить своего любимца.

— Если нет трупа, следовательно, он жив, значит в плену. Будем надеяться с Божьей помощью освободить его, а ты пока не беспокой родных. Я сегодня же пошлю болгар-лазутчиков поразведать... Не горюй, мне и самому не легко на душе. По сердцу пришелся мне твой брат. Тебя я думаю послать к главнокомандующему с донесением о победе. Ею он тебе обязан, пусть же сам и поблагодарит.

Вечерело. Войска начали переправляться обратно.

Схваченный, связанный и положенный поперек седла Вольский сначала потерял сознание, но через несколько минут пришел в себя. Первою его мыслью было кричать о помощи, но слабого крика его никто не слышал, турок шпорил коня и они все дальше и дальше удалялись от поля сражения.

Сперва пленник не мог дать себе полного отчета, что с ним.

«В плену», — мелькнуло у него в голове и ужас охватил его. Он знал зверство турок, знал их отношение к пленным и содрогался при мысли, что ему предстоит смерть мучительная, смерть безвестная, позорная, на потеху врагам.

— О, Господи, пошли мне смерть, — молил несчастный, впадая в забытие.

Иные картины проносились перед ним. С отбитым у неприятеля знаменем он приходит к Суворову и к ногам сго кладет победный трофей... Генерал ведет его по фронту... войска отдают честь герою... «Вольский, поручик Вольский»,— слышит он в рядах восторженный шепот одобрения и радостно бьется у него сердце...

Но вот другая картина. Он капитан, Георгиевский кавалер... в Москве. Дом князя Прозоровского блещет огнями... у князя елка. Неожиданно Вольский является в зале... Все взоры обращены на него, у всех радостные лица... Княжна Варвара бросается к нему на грудь.

— Евгений, милый Евгений, желанный, дорогой,— лепечет молоденькая княжна со слезами радости на глазах... Но в это время возле них вырастает точно из-под земли какая-то фигура. Вольский всматривается— пред ними Суворов.

— А, сам генерал пришел засвидетельствовать о моих подвигах,— радостно мелькает у него в голове. Но Суворов грозно на него посмотрел. Он берет княжну за руку и уводит от него...

Вольский бросается за ним, он отнимет любимую девушку, он не отдаст ее никому, но старик Прозоровский кладет ему руку на плечо.

— Остановись. Ты брат опоздал— она невеста другого... поздно.

Крики отчаяния, негодования вырываются из груди несчастного. Он открывает глаза и снова сознание к нему возвращается.

«Слава Богу, то был бред» — думает он... а вот и действительность...— Господи помоги,— молится пленник, а турок между тем, все шпорит и шпорит коня. Он слышит за собою погоню, слышит и крики казаков... Вот, вот и они его нагонят. Теперь кусты орешника скрывают беглеца, но скоро и конец орешнику, а конь уже устал, изнемогает под тяжестью двух человек. Наконец, турок решает, что с пленником ему не уйти и что для своего спасения нужно им пожертвовать. Мигом сбросив несчастного Вольского с обрывистого берега в Дунай, он ускорил бег своего коня.

Не успели волны поглотить пленника, как какой-то человек выскочил из кустов и сорвав с себя куртку и рубашку, стремительно бросился в реку... Вслед за бросившимся показалась фигура старухи. Она пристально смотрела в воду, где нырнул молодой парень... губы ее что-то шептали, по-видимому, молитву.

Но вот над поверхностью воды показалась голова молодого цыгана, вскоре появилась и вторая голова, голова Вольского. Цыган усиленно греб правою рукою, левою поддерживал потерявшего сознание офицера. Старуха, заметив, что пловец направляется вниз по течению к более пологому берегу, с быстротою молодой девушки сбежала с обрыва.

— Что, Степан, жив он? — кричала старуха.

— Жив, только без памяти.

— Хвала Господу, — отвечала старуха.

— Только ранен, — продолжал сын. — Ты бы сбежала за кем-нибудь из наших, матушка.

— Ничего, мы и вдвоем донесем его, Степан. Помолись Богу, чтобы он сохранил нам нашего благодетеля.

Читатель, без сомнения узнал в цыгане и цыганке тех несчастных, которых Вольский избавил от жестокой смерти при разрушении Туртукая.

Старая цыганка помогла сыну вытащить из воды безжизненного Вольского.

Уложив его на берегу и убедившись, что он жив, старуха вынула из-за пазухи какой-то пузырек с мутною жидкостью и стала тереть ею раненому виски, лоб и переносицу... у раненого из груди вырвался слабый вздох. Старуха радостно улыбнулась и помазала жидкостью ноздри. Раненый чихнул раз, другой и открыл глаза, но усталые веки его снова опустились.

— Теперь он скоро придет в сознание, — сказала старуха и начала осматривать рану. Вольский застонал, но цыганка продолжала свое дело.

— Кость цела, задето мясо. Не беда, скоро заживет. — Достав из-за пазухи другой пузырек с каким-то маслом, она сперва вымыла руки, затем залила рану маслом и завязала ее тряпкой.

Окончив эту операцию, цыганка велела сыну понять раненого под руки, а сама осторожно подхватила его за ноги и они медленно начали подниматься в гору и вскоре скрылись в кустах орешника. Как ни бережно несли Вольского, но это сильно беспокоило раненого, он все время стонал. Мало-помалу орешник перешел в лес, который становился все гуще и гуще, все темнее и темнее. Медленно поднимались мать и сын с своею ношей по ведомой только им да их племени горной тропинке и часа через полтора утомительной ходьбы, во время которой они останавливались несколько раз для передышки, добрались до открытой поляны, среди которой у журчащего

ручейка раскинулся цыганский табор. Пылало несколько костров, на котором цыганки варили себе пищу.

Степан свистнул несколько раз и на его свист прибежало несколько цыган, принявших раненого на руки.

Бережно отнесли они Вольского к одному из костров, у которого старая цыганка разложила грязную тряпку. Раненого раздели, надели на него чистое белье и укутали разными лохмотьями. Несчастный посинел и дрожал. Его била лихорадка.

Степан влил ему в рот несколько капель водки и плотнее укутал в лохмотья, а старая цыганка занялась приготовлением у костра какого-то лекарственного снадобья из трав.

ГЛАВА IX

В конце восемнадцатого века Бухарест не казался уменьшенной копией Парижа, каким он стал позднее, тем не менее он все же был лучше других населенных пунктов Румынии, а русская армия, разбросанная по придунайским княжествам, оживляла его.

Где армия, там и сбор людей всевозможных профессий.

В тылу ее всегда найдутся певицы и музыканты, всевозможные аферисты и аферистки, антрепренеры и антрепренерши... Все это ютится где-нибудь побезопаснее, в таком пункте, где расположены штабы, склады, где, следовательно, бывает много военного люда. Так это теперь, так это было и всегда. Война 1773 года не была исключением, Бухарест со своим кафе, театриками, увеселительными заведениями представлял собою маленький Вавилон, куда после тяжелых военных трудов приезжала на день, на два развлекаться молодежь.

Развлекались, впрочем, не только по кабачкам, но и в семействах богатых молдавских бояр, хлебосольно принимавших русское офицерство.

Балы сменялись балами, пикники увеселительными поездками. Развлекались как-то нервно, если можно выразиться, наскоро.

После утомительной службы на аванпостах офицер, попадая в общество, с жадностью набрасывался на все его удовольствия; впереди вновь предстояла тяжелая, полная лишений и опасностей служба, почему же не повеселиться, не повеселиться, быть может, в последний

раз в этой жизни... Жизнь в Бухаресте можно было назвать бесконечной пляской, пляской на вулкане.

В такой-то разгар безумного веселья Суворов попал в конце июля в Бухарест.

Армия на Дунае бездействовала. Суворову бездействие это надоело, и он взял отпуск в Бухарест, чтобы затем съездить в Москву. Имя его уже сделалось известным в армии. Румянцев оценил его по достоинству, среди солдат и офицеров он стал кумиром, местные дамы им заинтересовались, а товарищи начали посматривать на него с завистью и затаенной злобой. Георгий 2-й степени, полученный им за второй штурм Туртукая, не давал никому покоя.

В Бухаресте местное общество радушно встретило героя Туртукая и приглашениям на обеды, на балы, не было конца. Суворов не отказывался, он и сам не прочь был отдохнуть от треволнений и суровой жизни. «Чем без дела маячить на Дунае,—думал он,—лучше здесь потолкаюсь, по крайности не буду видеть мерзостей».

— А ты Михаил Иванович,—обратился он как-то вечером за стаканом чаю к своему спутнику, бригадиру Бороздину,—как я вижу, большой балагур и бабник. Кто бы мог подумать это, глядя на тебя в ратном поле.

— Всею свое время Александр Васильевич,—добродушно отвечал бригадир, попыхивая из своей коротенькой трубочки.—Я присягал, что буду честным солдатом, а монашеского обета не давал. Вот думал с тобой общаюсь, так девичьей скромности наберусь, а вышло другое. Видно каким Бог уродил—таким и остаться приходится... А что Александр Васильевич не пойти ли нам сегодня к Эстельке... хороша кавашка...

Суворов покраснел и быстро заморгал глазами.

— Очухайся, Михайло, ты белены объелся... с какой стати мне идти к твоей Эстельке... да и сам ты того... остепениться пора... Ты говоришь, что я монах... Не правда, я не монах, а только с такими женщинами водиться грех... Женись, Михайло, зачем беспутствовать...

Суворов подбирал слова, не находил, кипятился и наконец растерялся...

Бороздин хохотал.

— Быстрота, натиск, ура!..—смеялся он.—Нет, здесь ты не тот, что под Туртукаем, горячиться—то ты горячишься, накинулся на меня стремительно, а вот на счет «ура», так это «атанде»... убедить не сумел... а знаешь быть тебе в руках, да не у Эстельки,—что Эстелька,

певичка, хорошенькая женщина и ничего больше,— а ты попадешь к... ух к какой. Знаем мы вашего брата женоненавистника...

— Попугай! — резко крикнул Суворов.

— Кто, я?

— Да, ты. Заладил одно, женоненавистник, да и только, когда я...

Бороздин продолжал смеяться.

— Когда ты... что дальше? Или и тебя какая задела за ретивое?

— Полно, Михайло, дурачиться, мы с тобою не в таких уже летах. Говорю тебе, что я женщинам не враг; враг я распутству. Брак — особая статья. Его Сам Бог установил. «Плодитесь и размножайтесь» — это я понимаю так, что брак есть обязанность каждого христианина...

— Не задумал ли ты, Александр Васильевич, жениться?

Суворов опять покраснел.

— Я? Посмотри на меня, какая женщина такого красавца полюбит?

— Вертушка, беспардонница, пожалуй, и не полюбит, а девушка степенная с душой, непременно полюбит, да и как не полюбить: герой, ума палата, сердце предоброе... а только знай-то, милый друг, вот мой тебе братский совет — женишься, брось свой характер... Человек ты добрый, великодушный, а посмотришь со стороны: ты, да не ты. Чуть что не по-твоему — ты из себя вон. С женою так, брат, нельзя... Когда и ты уступи, другой раз и она уступит.

— Сам, брат, знаю свой характер и ломаю себя немало, а что касается женитьбы, то и отец мне пишет... говорит: «пора». Сам знаю, пора, в летах уж, а как подумаю и раздумье берет: для солдата семья помеха, а с другой стороны — брак — обязанность каждого доброго христианина.

За разговорами приятели и не заметили, как на дворе смерклось. Суворов заторопился.

— Ведь я должен быть сегодня на балу у Рояновой. Эй, Прохор, одеваться...

— Да у меня мундир парадный давно уже готов, батюшка Александр Васильевич, — отвечал камердинер из другой комнаты.

Бороздин добродушно улыбался.

— Знаешь ли, друже, Александр Васильевич, — заговорил снова Бороздин, — недаром ты сегодня так распространялся о браке. Уж не задумал ли ты что-нибудь? Может статься, у тебя на этот предмет и диспозиция

готова... Быстрота, натиск, «ура! Победа!..» не так ли, ха... ха... ха... У Рояновой кого высмотрел?

Суворов посмотрел и заморгал глазами.

— Нет, брат, насчет диспозиции того... с неприятелем это дело другого рода, а ведь насчет барышень — я не мастак. Быстротой их не возьмешь, нужно кое-что другое, чего у меня нет... Беда в том, что я чересчур уж осолдачился... За три версты от меня кашей несет, а там нужны духи, брат, французские.

Бороздин хохотал, уже не сдерживаясь.

— Как я угадал... Ну, говори ее имя.

— Имя... Знаешь ли что? К своей Эстельке ты отправишься завтра, а сегодня поедем к Рояновой, ведь она тебя звала. Там я тебе покажу ее и спрошу твоего мнения... Ты их, женщин, знаешь лучше меня.

— Годится, так и быть, пойду с тобою, но с условием, завтра вечером ты должен отправиться со мною в «Мавританию». Эстелька завтра там поет.

Суворов подумал немного и потом согласился.

— Хорошо, пойду только для того, чтобы еще раз убедиться, что порядочному человеку нечего делать в твоей «Мавритании».

— Для чего бы ни было, но ты должен идти, а сегодня распоряжайся мною.

Спустя полчаса приятели вышли из гостиницы и направились к дому Рояновых, находившемуся на одной из лучших улиц Бухареста.

Обширный палаццо, залитый огнями, свидетельствовал о богатстве его владельца.

Приятели явились в то время, когда почти все гости были в сборе. В зале танцевали контрданс, преимущественно молодежь, остальные же гости, рассыпавшись по многочисленным роскошным гостиным, вели оживленную беседу.

Блеск дамских нарядов и роскошь обстановки произвели на Суворова странное действие... Он весь как будто съежился, походка его сделалась торопливою, он казался как будто сконфуженным. Бороздин же, напротив, выступал с важностью, казалось, блеск бала нисколько его не смущал, он был как у себя дома.

Хозяйка — молодая, изящная, красивая женщина, заметив новых гостей, быстро пошла к ним навстречу.

— Генерал, как я вам рада, как я вам благодарна, дорогой генерал, — говорила она по-французски, протягивая Суворову руку, которую он почтительно поцеловал.

— Неправда ли, m-г Бороздин,— обратилась она к его товарищу,— генерал не должен от нас прятаться. Он теперь не принадлежит себе. Он наш, да, наш... Герои — достояние общества, а вы, любезный генерал, чуждаетесь нашего общества.

— Я очень несчастлив, сударыня,— отвечал Суворов по-французски,— что вы меня считаете нелюдимым, быть может недостаток известных манер мешает мне выразить вам то удовольствие, которое я испытываю в вашем обществе, но в этом вас может уверить мой товарищ...

— Я вижу, что вы не только герой, но и любезный кавалер... Я вам должна сказать, что вы умеете побеждать не только турок, но и дамские сердца. Я знаю, по крайней мере, одно такое молоденькое сердечко, которое, если не ошибаюсь, вы уже победили.

Суворов сконфузился, растерялся и начал расшаркиваться.

— Я не шучу,— продолжала хозяйка,— однако, пойдем к графине Анжелике Бодени, а то она на меня рассердится, что я так долго вас удерживала... Она уже отчаялась вас увидеть сегодня.

— Она?— вполголоса спросил по-русски Бороздин, когда они пробирались среди танцующих в одну из гостиных.

— Да,— отвечал Суворов.

В гостиной, в кресле у кадки с померанцевым деревом сидела молоденькая женщина и небрежно слушала рассказ своего кавалера.

Самый требовательный художник не смог бы отказать молодой женщине в эпитете красавицы в полном смысле этого слова. Удивительно правильные, точно изваянные из мрамора черты лица, освещаемого парюю синих лучистых глаз выделяли графиню Бодени среди многочисленных красавиц, которыми изобиловал Бухарест.

Увидя Суворова, молодая графиня, казалось, скучавшая до этого времени, сразу оживилась.

— Я потеряла было надежду видеть вас сегодня, дорогой генерал,— ласково обратилась она к Суворову, протягивая ему маленькую выхоленную ручку, которую он поднес к губам.

— Вы очень любезны, графиня. Позвольте вам представить моего товарища, который поможет мне снять с себя возводимое вами на меня обвинение.

— Я вас обвинила? В чем?

— В победе над турками.

Молоденькая графиня весело расхохоталась.

— Да, вы приписывали мне то, что по праву принадлежит ему и другим моим товарищам.

— Вы очень скромны, генерал и если бы слова ваши не были так искренни, я готова была бы заподозрить вас в рисовке.

— Не верьте ему, графиня,— вмешался Бороздин.— Ни мне, ни моим товарищам, ни солдатам, а ему, Александру Суворову, турки обязаны своим поражением. Он принес к нам победу. никто больше. Солдаты и мы были те же, да только не было того, что теперь, пока его, Суворова, не случилось с нами...

— М-г Бороздин соперничает с генералом Суворовым в скромности.— улыбнулась графиня Анжелика,— и если они будут продолжать так соперничать во всем остальном, то мне придется пожалеть турок, хотя жалеть их я, как славянка. не могу.

Хозяйка увлекла Бороздина дальше, Суворов и графиня Бодени остались одни. Графиня, указав ему на соседнее кресло, продолжала:

— Вы знаете, генерал, что я по фамилии только венгерка, мой муж был венгр, я же сама славянка, единокровная вам, дорогой генерал. вот почему я так близко принимаю к сердцу успехи родного мне русского оружия. В его успехах я вижу нашу будущность... В своих мечтах я уже вижу нашу великую славянскую семью объединенною, сильною и могучею, под крылом нашей Матери, Святой Руси... Скоро ли сбудутся мои мечты, скоро ли? Скажите, генерал? От вас, от ваших победоносных войск это зависит.

Молодая женщина говорила с жаром, глаза ее горели фанатическим огнем, рука ее, когда она умоляюще протягивала к Суворову, дрожала.

Суворов опустил голову.

— Боюсь, графиня, не скоро.

— Но почему же, почему? Ведь турки ослаблены, деморализованы, а русские сильны... Ваши последние победы окончательно убили в них веру в себя.

— Одна, другая победа, графиня, не определяют результата войны, как и одна ласточка не делает весны. Что значит победа, когда кругом бездействие. Бездействуем теперь, будем бездействовать и впредь, а от бездействия нельзя ожидать действия.

— Но почему же армия бездействует? Разве она недостаточно сильна?

— Сила не в силе, а сила в духе, дорогая графиня... передайте вы ваш дух, ваш пыл, ваш жар нашим генералам, и я вам скажу, что через месяц, через год ваши заветные мечты сбудутся.

— Значит, с такой армией можно действовать? А если бы во главе ее стояли вы, генерал?..

— Если бы я! Помилуй Бог, клянусь, рождественские праздники мы встречали бы в Царьграде... Нужно только захотеть и с нашими солдатами всякое желание можно выполнить.

Суворов оживился, застенчивость исчезла, он стал красноречив.

Графиня Бодени слушала его с большим вниманием, она интересовалась подробностями туртукайского штурма, расспрашивала Суворова о его видах на будущее и тем самым приводила его в восторг.

— Знаете ли, дорогая графиня,— обратился он, наконец, к своей собеседнице,— до сих пор я думал, что не умею разговаривать с дамами, а вы убедили меня в противном... Правда, не все дамы, как вы, интересуются политикой...

— Политикой! Да я ею несколько не интересуюсь, меня лишь заботит судьба славянства, вот почему я так близко принимаю к сердцу эту славянскую войну, вот почему я всеми силами души и сердца желаю ей самого счастливого и скорого исхода.

В разговорах время шло незаметно, танцы сменялись танцами, и когда Суворов вспомнил, что он пригласил графиню на контрданс, хозяйка позвала их уже к ужину. Суворов смутился, но графиня Анжелика осветила его обворожительной улыбкой.

— Вы виноваты, генерал, и потому в искупление своей вины должны вести меня к ужину.

— Я счастлив, графиня, так искупить свою вину.

— Это не все: вы останетесь моим должником. Контрданс вы протанцуете со мною по окончании войны в моем богемском замке, в котором я буду рада видеть генерала Суворова гостем. У меня на родине нет таких изнурительных лихорадок, как здесь... Да, правда ли, что армия сильно болеет? Говорят, больных пятьдесят процентов.

— Пожалуй это много, а тридцать пять наберется.

— Messieurs и mesdames, о больных поговорим после, а теперь будем веселиться,— обратилась к гостям хозяйка...

Поздно окончился ужин. Суворов с Бороздиным возвращались домой пешком. Оба молчали. Суворов испытывал чувство неудовлетворения. Он не мог не сознаться, что двадцатилетняя вдовушка графиня Бодени произвела на него впечатление. На сегодняшней бал он отправился ради нее. Ради нее он отложил и свой отъезд в Москву, она была сегодня очаровательна, разговаривала исключительно с ним одним, а между тем в их разговоре не замечалось того, чего бы он хотел. Впрочем, он и сам не давал себе отчета, чего бы он хотел...

— Да, красавица,— прервал, наконец, Бороздин молчание,— с виду женщина, в разговоре мужчина...

«Вот оно что»,— подумал Суворов. Ему хотелось — женщину, женского разговора, а встретил лишь умного собеседника...

— Тебя не удивляет, Александр Васильевич, почему она так военными действиями интересуется?

— Я об этом не думаю.

— Знаешь ли что, я освобождаю тебя от обязанности идти завтра в «Мавританию», поезжай лучше в Москву...

Дома Суворов застал письмо от отца, звавшего его поскорее домой.

«Да, пожалуй отец прав»,— думал он.— Сердце мне говорит, что не по мне она, да и я не по ней: больно умна, ну, а двум умам трудно ладить».

Наутро он выехал в Москву.

ГЛАВА X

Графиня Анжелика Бодени, молодая богатая вдова, поселилась в Бухаресте недавно. Она быстро свела знакомство с лучшим местным обществом и с русскими генералами. Она так очаровала всех и каждого, что всякий добивался чести быть ей представленным, мужчины были от нее без ума, а дамы — удивительное дело — засыпали ее любезностями и изъявлениям дружбы. Казалось, во всем Бухаресте не было человека, который не восхищался бы молоденькой графиней, не пошел бы за нее в огонь и в воду. Легион поклонников окружал молодую женщину, она была любезна и очаровательна со всеми, но предпочтения не оказывала никому. Появившийся на горизонте бухарестской жизни Суворов был исключением. Но то исключительное внимание, которое

графиня оказывала ему со дня знакомства, объяснялось суворовскими подвигами, поднявшими дух армии и заставившими трепетать турок.

Салон графини представлял собою такой очаровательный уголок, куда считал за счастье попасть маломальски образованный офицер, прибывающий в армию или приезжающий оттуда.

Анжелика Бодени привлекала к себе сердца русских офицеров не только потому, что она была красивая, изящная женщина, но потому еще, что умела находить интерес в их жизни, радовалась их радостью, печалилась их горем, интересовалась настоящим и видами на будущее. Она, как мы сказали уже раньше, родом была славянка и всей душой стремилась к русским и России, от которой ожидала облегчения участи своего народа... Все находили это естественным и понятным, недоумевал только бригадир Бороздин и говаривал: «не бабье дело война и военные артикулы. чего ради красавица графинюшка сим так интересуется». Быть может, это недоразумение и желание как можно скорее выяснить причину интереса графини к военным делам и побудили его так скоро нанести ей визит. На другой день после бала, спустя три часа по отъезде Суворова, Бороздин входил в салон графини Анжелики.

Свежая, розовая, в роскошном утреннем платье, она с книгой в руках полулежала на софе. При появлении Бороздина она быстро вскочила и с улыбкою пошла к нему навстречу.

— Я очень несчастлив, графиня,— начал любезно Бороздин,— что пришел засвидетельствовать вам свое уважение без товарища.

— Разве генерал Суворов уже уехал? — разочарованным тоном спросила графиня.

— Уехал так рано и так поспешно, а главное неожиданно для него самого, что не имел возможности лично засвидетельствовать пред вами свое почтение и просил оправдать его перед вами.

— Что делать,— со вздохом отвечала графиня. Разве я могу обижаться, когда требования войны призывают героя на свой пост. Я могу только за него молиться...

В голосе графини слышались слезы. Она была так искренна, что тронула сердце закаленного солдата. Бороздин сочувственно поцеловал у нее руку.

— Вы ангел, графиня, но Суворов уехал не в армию — там пока нечего делать, он уехал в Москву

Старик отец по неотложным делам требовал его немедленного приезда.

— Надеюсь, в Москве он пробудет недолго. Скажите, пожалуйста, правда ли, что главнокомандующий просит подкреплений из России?

Бороздин сразу изменил свой тон. Из ласкового, сердечного он перешел в официальный.

— Не знаю, сударыня. Мы, строевые солдаты в распоряжения высшего начальства не мешаемся. Нам говорят: дерись — мы деремся. Говорят: сиди и жди — сидим и ждем.

— Но все же, что-нибудь говорят о подкреплениях, ждут их.

— Ничего не слыхал, сударыня. Да правду говоря, я и в Бухарест приехал, чтобы отдохнуть от военной сутолоки. Где только разговор о солдатчине — я сейчас же бегу к дамам. Но на мое несчастье и дамы заразились интересом к солдатчине.

В тоне Бороздина слышалась легкая ирония. Графиня Бодени, окинув его быстрым и зорким взглядом, не возражала.

— Ну Бог с вами, — сказала она, надув губки. — Если вам надоели военные разговоры, поговорим о чем-нибудь другом... Вы кажется любитель музыки и пения. Господин Вогеску частенько вас видит в «Мавритании»...

Намек графини несколько смутил Бороздина.

— Это доказывает, что господин Вогеску любитель «Мавритании».

— Хотите, я вам сыграю свое произведение... Оно называется «Вперед за Балканы», я написала его, заранее уверенная в успехе русского оружия.

И графиня села за клавикорды.

Величественные звуки марша огласили комнату. Графиня играла с большой выразительностью. Бороздин, сидевший до этого времени в кресле, встал и подошел к клавикордам. Звуки марша действовали на него возбуждающе, кровь прилила к голове, в висках стучало, казалось, минута, другая и он вообразит себя в ратном поле впереди своей бригады.

Но звуки смолкли:

— Графиня, вы не только очаровательная женщина, но и гениальная музыкантша.

— Виновата, я и забыла, что вы хотите отдохнуть от всего того, что напоминает вам солдатчину, а я вас все угощаю ею. Подождите, я сыграю вам другое...

И нежные мелодичные звуки полились из-под ее маленьких пальчиков.

Бороздин был очарован, точно во сне пожирал он глазами грациозную фигуру графини. Его предубеждение против Анжелики куда-то исчезло, он забыл, что торопил Суворова с отъездом, боясь, чтобы простосердечный товарищ, не знавший ни женщин, ни женского сердца, не попал в сети сирены и теперь сам оказался в этих сетях. Он чувствовал, что какая-то невидимая сила влечет его к этой женщине, хотя внутренний голос шепчет: «Остерегись, беги от нее, беги подальше».

Графиня давно перестала уже играть, а Бороздин, точно в полусне, сидел в кресле, ничего не слыша, ничего не замечая.

— Я не думала, господин Бороздин, что вы так впечатлительны, что музыка так действует на вас.

— Действует все то, что любишь,— отвечал бригадир, страстно целуя руку графини.

— Князь Сокольский,— доложил лакей хозяйке дома.

Появление нового лица отрезвило Бороздина. «Нет, нужно бежать, бежать от нее подальше,— решил он...— Не знаю почему, но чувствую, что близость к ней опасна... Она воистину сирена».— И он начал раскладыватьсь.

— Надеюсь, господин Бороздин, что вы у меня не последний раз,— ласково обратилась к нему хозяйка.

— Все зависит от Бога, графиня. Если буду жив — буду счастлив еще раз засвидетельствовать вам свое уважение, а сегодня я уезжаю в армию.

— И долго на месте не засидитесь,— вставил князь Сокольский, молодой гвардейский офицер, которого графиня представила Бороздину.

— Тем лучше,— отвечал бригадир,— долгое сидение расслабляет солдата, а ему нужны силы.

— Что это значит, дорогой князь: долго не засидитесь... а впрочем, об этом потом, а теперь скажите, какая счастливая случайность занесла вас сюда.

— Графиня, я солгал, что же вы удивляетесь, видя меня в армии. Удивляться должен я. Я думал, что вы в Париже, что по-прежнему украшаете собою парижское общество, по-прежнему делаете несчастными сотни, тысячи ваших поклонников... Приезжаю курьером к главнокомандующему и узнаю, что вы здесь... Дешеш сейчас же графу, а сам к вам... Бога ради, что значит ваше пребывание здесь... а впрочем, нет не говорите, не надо... лучше

скажите, рады вы мне, не считаете меня мальчиком, верите искренности моей любви?..

— Ах, князь, вы говорите о любви в то время, когда ваши товарищи дерутся с врагами славянства.

— Графиня, и я буду драться, я не уеду в Петербург, останусь здесь, я уже просил главнокомандующего, но Бога ради, дайте мне надежду, хотя бы слабый луч надежды.

— Вы все тот же милый мальчик,— ласково погладила она его по голове.— Ну, садитесь, рассказывайте о себе, что же касается меня, то пока могу вам сказать, я вдова.

— Вдова, свободна, о Боже, какое счастье! — и молодой офицер бросился к ногам графини.

В соседней комнате послышался шорох.

— Безумный, что вы делаете, встаньте, сейчас войдут...

С большим трудом остановила она бурные излияния молодого человека и усадила его в кресло.

— Не принимайте никого,— приказала она вошедшему лакею.

— Извиняйтесь за наделанные вами глупости,— обратилась она к князю, когда дверь за лакеем затворилась, и протянула ему обе руки, которые Сокольский осыпал поцелуями.

— Милая, дорогая, как я счастлив.

Графиня Анжелика поцеловала его в лоб.

— Ну, а теперь, милый мальчик, рассказывайте, что вы подделывали, как вы жили в эти полтора года, что мы не виделись... Впрочем, жили хорошо — это видно по вашей цветущей физиономии... Я рада, очень рада... Расскажите, с какими вестями, надолго ли... вы сказали, что приехали к Румянцеву курьером. Зачем? Им там недовольны?

— Недовольны его медлительностью. Я привез ему предписание немедленно переходить в наступление.

— Но как, с чем, ведь у него мало войск.

— Ему пришлют еще две дивизии... — Сокольский осмотрелся вокруг.— О таких вещах громко не говорят,— пояснил он свои движения.— Собственно, вопрос о подкреплении еще не решен, но Румянцев должен будет перейти на тот берег.

— И ты с ним, милый мальчик? — протянула молодому офицеру свои ручки графиня... На глазах у нее блистали слезы и, встав, она обхватила его голову и страстно прижала к своей груди.

— Милая, дорогая, я готов умереть за этот миг,— бормотал молодой князь, сжимая ее в своих объятиях.

— Умереть? А я? Обо мне ты забыл!.. Нет, нет, ты должен жить для меня... Беречь себя. Я попрошу Румянцева, чтобы он оставил тебя при своем штабе... Ты должен часто видеться со мною... Я тоже пойду за вами... Я богата, я очень богата, я организую медицинскую помощь, я устрою свой лазарет, ваша армия нуждается в лазаретах... Я буду с тобою, милый, дорогой мой...— и графиня, забыв свою недавнюю сдержанность, покрывала голову, лоб и лицо молодого офицера страстными поцелуями...

— А в России как? Схватили ли Пугачева.

— Нет, он угрожает Казани, его сообщники множатся.

— Какое несчастье, какое несчастье!.. Ты говоришь, привез Румянцеву приказание наступать. Какое на него впечатление произвел приказ.

— Не хорошее, не доволен. Ах, я и забыл, он приказал мне явиться к нему в один час, теперь час без четверти.

— Так ступай, дорогой Жан, ступай, а обедать приходи ко мне, вечер тоже у меня. Я сама никуда, и прикажу к себе никого не принимать... Иди с Богом.

И она обвила шею молодого офицера своими точно из мрамора выточенными руками.

Сокольский ушел.

— Бедный мальчик, милый мальчик, как мне жаль тебя,— участливо проговорила графиня,— садясь к письменному столу и начиная писать.

«Господин министр,— писала графиня,— от вас вполне зависит парализовать действия русских войск. Сегодня Румянцеву прислан приказ немедленно переходить к активным действиям. Ему обещано прислать в подкрепление две дивизии, но главнокомандующий недоволен таким приказом и подчинится ему нехотя. Русская армия хотя и не велика,— на бумаге 50 тысяч, а в строю едва 35,— много больных, но я убедилась, что и эта армия в руках энергичного опытного генерала может сделать многое. До сих пор такого генерала в армии не было и турки могли считать себя в безопасности. Теперь не то. На берегах Дуная появился генерал, который совмещает в себе таланты Аннибала, Юлия Цезаря и Александра Македонского. К тому же он неустрашим, имеет неотразимое влияние на солдат,

его боготворят, за ним идут на смерть с радостью. На турок он успел нагнать уже страх, одно имя его наводит на них ужас. Горе мне, если Суворову предоставят в армии видную роль. Пока он занимает подчиненное положение, но Румянцев его уже оценил и не сегодня-завтра он будет задавать тон всему. Для турок тогда всё потеряно: он войну закончит в несколько месяцев. От вас зависит удалить его из армии. Этим вы ослабите Румянцева. В России бунт Пугачева еще не подавлен, союзники его растут. Подействуйте через свое посольство в Петербурге на канцлера, он может рекомендовать его Императрице для подавления бунта как энергичного и храброго генерала. Теперь буду писать вам чаще и подробнее. В штабе Румянцева у меня есть друзья. До свидания, дорогой господин министр. Да, я и забыла. Нужны луидоры и чем больше, тем лучше. Переводите через Вену: скоро много понадобится денег».

Перечитав письмо, и надписав на конверте парижский адрес, графиня улыбнулась.

— Его превосходительство должен быть мною доволен.

ГЛАВА XI

На веранде господского дома подмосковного села Всесвятского сидели две молоденькие девушки. Несмотря на конец августа, день был жаркий, знойный, как и все лето 1773 года.

У девушек на коленях лежало вышивание, но они не работали и, по-видимому, углубившись в размышления, лишь изредка перебрасывались словами.

— Уж давно бы пора Кузьме воротиться из города, — сказала одна из подруг, — ты как думаешь, Зина?

— Да вот и Кузьма со своей одноколкой... Ах, как он медленно плетется по дороге, — и девушки бегом бросились навстречу въезжавшему уже в ворота дворовому, исправлявшему обязанности почтальона.

— Что, Кузьма, есть письма? — в один голос кричали подруги.

— Есть, барышни, одно. Нашей барышне Анне Петровне, — и Кузьма вынул из сумки объемистый, испачканный пакет. Видно, немало прошел он верст, побывал не в одних десятках рук.

— От Аркадия,— воскликнула Зина.— Ах, противный, что же он мне ничего не пишет...

Анна Петровна вспыхнула и с радостью схватила пакет, заключающий в себе письмо жениха. Стремительно подруги бросились на веранду. Быстро вскрыла Анна Петровна пакет и начала читать. Глаза ее искрились радостью.

— Слушай, слушай, Зина, он здоров, он отличился при взятии Туртукая, он награжден Георгиевским крестом... Просит поцеловать тебя,— и счастливая невеста, обняв подругу, звонко ее поцеловала.

— Теперь, будем читать дальше... Боже мой, Евгений...— руки у чтицы задрожали, на глазах навернулись слезы.

— Евгений, что с ним,— испуганно вскричала Зина,— что с кузеном? Он ранен? Убит? Говори же, Бога ради...— и она потянула руки к письму.

— Ничего неизвестно, тела не нашли, предполагают— в плену...

— Боже мой, Боже мой!— залилась слезами Зина.— Как сказать об этом тете Анюте и Лине. Тетю это убьет.

— Аркадий пишет, чтобы ни сестре, ни матери Евгения пока ничего не говорили. Они предприняли розыски, обещали местным жителям большую награду и надеются отыскать его... Во всяком случае, Аркадий просит не говорить ничего ни Анне Михайловне, ни Лине до следующего его письма.

У Зины Вольской градом лились слезы. Зина была единственная дочь, ни братьев, ни сестер у нее не было и всю нежность сестриной любви она перенесла на своего кузена Евгения. Они были дружны с раннего детства, она привыкла радоваться его радостями и печалиться его маленькими печальями. В свою очередь она делила с ним свои мысли, свои радости и вот теперь... теперь она одна, одинока... Правда, у нее еще есть кузен Аркадий Ребок, но не говоря о том, что отношения ее с Аркадием не были так близки, как с Евгением, ему теперь не до нее... он счастливый жених...

Невеста Ребока, по-видимому, угадала мысли своей подруги. Она нежно обняла ее и привлекла к себе на грудь.

— Зиночка, родная, прежде времени не убивайся... Евгений ведь и мне близок, ведь он кузен твой, и Аркадия, а следовательно не чужой и мне... но я уповаю на Бога... у меня есть какая-то необъяснимая уверенность,

что Евгений жив. Быть может, он ранен, даже быть может, в плену, но сердце мне говорит, что он вернется жив и невредим.

Зина безнадежно покачала головой и продолжала плакать...

— Знаешь ли что, Зиночка, ты веришь гаданьям, помнишь, ты еще зимою хотела быть у гадалки, как ее зовут... Парасковья, кажется... та, что живет на Маросейке.

— Ах да, Парасковья, едем, душечка, поедем, голубушка,— и Зина первая вскочила с кресла. В это время на веранду вышла старушка, мать Анны Петровны, Серафима Ивановна Загубина.

— Что с вами приключилось, милые мои девочки?.. Откуда слезы?

— С кузенком Евгением несчастье, Серафима Ивановна,— отвечала Зина, и со слезами на глазах рассказала содержание письма Ребока.

— Чтобы успокоить ее, мамочка, мы хотим поехать к гадалке Парасковье,— сказала Анна Петровна,— да заодно уже заедем и к Прозоровским.

— Что же, езжайте, езжайте, с Богом. Я прикажу заложить тарантас.

Через час с небольшим молодые девушки в сопровождении горничной и выездного лакея ехали по кривым и пыльным улицам Маросейки.

— Скоро, Семень?— нервно спрашивала Зина у выездного, знавшего адрес гадалки.

— Вот мы и приехали, барышни.— И коляска остановилась у старого покосившегося деревянного дома с мезонином.

Дом был очень стар, из сеней, куда вступили молодые девушки с горничной, пахло на них плесенью и сыростью. Черная кошка, испуганная появлением незнакомых гостей, стремглав бросилась вверх по лестнице.

— Скверная примета, Аня,— с дрожью в голосе говорила Зина, взбираясь на мезонин по ветхим скрипучим ступенькам...— Мне страшно...

— Успокойся Зина, успокойся дружок.— ободряла ее подруга.

— И, барышня, чего тут страшного. Не знаете вы нашей Маросейки, тут что ни дом, то стар, так могилой и пахнет, а насчет кошек-то, в других домах не одна, а десятков...

С волнением девушки вошли в комнату гадалки. Их ласково встретила добродушная и симпатичная старушка.

— Вижу родименькие, горюшко какое-то у вас на душе, Бог милостив, не печальтесь, авось горе как рукой снимет. Погадать пришли?

— Да, бабушка, погадай нам на гуще.

Старушка засуетилась, вышла в другую комнату и вскоре вернулась с оловянной чашкой, на дне которой плескалась какая-то жидкость. Усевшись в угол и взболтав чашку, старуха начала сосредоточенно смотреть в нее. В комнате наступило гробовое молчание, минуты для молодых девушек казались часами...

Наконец старуха заговорила.

— Молодой человек, вода... Он ранен... теперь в реке... большая река, не наша, и люди не наши... его вытащил из воды молодой парень... лес... поляна, костры... он у костра, пришел в себя, окружен друзьями.

Старуха замолчала.

— Дальше, бабушка, дальше,— нетерпеливо вскричали обе девушки.

— Подождите родименькие, больше ничего не вижу... все заволкло.

И, протерев очки, взболтав чашку, она снова начала смотреть в нее...

— Его ищут солдаты... да, солдаты, вижу казаков... но его нет, солдаты возвращаются сами... вот и он, бледный, высокий, молодой, красивый... он здоров, с ним говорит молодая женщина, красавица, чужеземка... пусть он остерегается ее, она не принесет счастья... скорое свидание с родными... ничего, родименькие, больше не вижу.

Лица у молодых девушек просветлели и вздох облегчения вырвался у каждой из них.

— Спасибо, бабушка, спасибо,— и Зина сунула в руку старухи золотую монету.

Гадалка, ошеломленная непривычной для нее щедростью, рассыпалась в благодарностях и даже прослезилась.

— Ты теперь спокойна, Зина? — спрашивала ее подруга по дороге на Арбат к дому князя Прозоровского.

— Да, мне легче на душе. Почему она знала, что мы приехали гадать о молодом офицере? Да притом такие подробности: большая река, не наша, не наши люди... поиски, казаки, все это так сходится с письмом Аркадия, что я уверена в правде гадалки; будем ждать Евгения.

С облегченным сердцем молодые девушки вступили в просторные сени большого дома князей Прозоровских. Дом, вся его обстановка сразу говорили, что здесь

живет знатный барин, аристократ, но внимательное наблюдение указывало, что аристократический блеск поддерживается здесь с большим трудом и вот не сегодня-завтра померкнет, и все внешние проявления барства превратятся в жалкую карикатуру. Владелец этого дома, генерал-аншеф князь Иван Прозоровский, был действительно барин с именитым родством и влиятельными связями при дворе, но с чрезвычайно скромным достатком, который с каждым годом все более и более убавлялся, а жизнь предъявляла все новые и новые требования, сократить которые было нельзя: в доме дочь-невеста, нужно подыскать жениха, а это дело куда как нелегко.

Хорошие женихи редки. Это прекрасно сознавал князь Иван и не жалел последних средств, чтобы повыгоднее пристроить красавицу дочь. А красавица дочь, княжна Варвара Ивановна и не подозревала о родительских заботах. Несмотря на свои 20 лет, а в те времена для девушки это было уже не мало, она была весела и беспечна как ребенок. Выезжала, танцевала, рисовала, вышивала, пела, играла и — зачитывалась французскими романами.

За чтением французского романа застали ее молодые девушки, приехавшие от гадалки. Князя Ивана Андреевича не было дома и княжна Варвара сидела в гостиной с матерью, занимавшейся каким-то рукоделием. Молодая княжна обрадовалась подругам и бросилась к ним навстречу.

— Что с вами, мои милые? — обратилась к ним старая княгиня, увидев грустные лица молодых девушек и заплаканные глаза Зины.

— С Евгением несчастье...

Княжна Варвара побледнела и зашаталась.

— Что с ним? Ранен, убит?.. — спросила княгиня. Отчаянный крик вырвался из груди молодой княжны и она, как подкошенная, упала на пол.

В комнату входил князь Иван.

ГЛАВА XII

Из комнаты княжны Варвары вышел доктор в сопровождении старого князя Прозоровского.

— Будьте откровенны, доктор, — спрашивал его князь, — скажите, существует ли опасность?

— Опасность, князь, миновала. Видимо, было глубокое нервное потрясение, по натура у княжны сильная, и это ее спасло. Нервная горячка миновала, и теперь ей нужно полнейшее спокойствие, все зависит от того, чтобы ее не волновали и не тревожили. Ни в чем не перечьте больной и исполняйте малейшее ее желание.

Дав еще несколько наставлений, доктор уехал, и князь снова возвратился к больной.

Шторы в комнате были спущены, княжна спала тихим и ровным сном; у изголовья ее сидела Анна Петровна Забугина, а Зина дремала несколько поодаль в кресле.

— Как здоровье княгини, князь? — шепотом обратилась Анна Петровна к князю Андрею.

— Мигрени усилились, но это ничего, все пройдет, как только увидит Варю выздоравливающей, а вот вы, милые мои барышни, измучились, бедняжки, шутка ли, три недели не отходить от постели больной.

— Пустяки, князь, лишь бы Варя выздоровела.

— Бедная, бедная, как измучилась она, — говорил он, подходя к Зине. — У нее и свое горе, а тут еще ухаживай за подругой — и старый князь осторожно поцеловал сияющую девушку в голову.

Молодая девушка проснулась и вскочила на ноги.

— Ну что, как здоровье Вари? — спросила она у князя.

— Доктор говорит, опасность миновала.

— Ну, слава Богу, Аня, ты отдохнула бы, а я теперь посижу, да и вам, князь, отдых не будет лишним.

Князь вышел проведать больную жену, и девушки остались одни. Анна Петровна ни за что не хотела ложиться, она вся находилась под впечатлением только что полученного от жениха второго письма.

— Нет, Зина, я не могу, я лучше расскажу тебе, что пишет Аркадий, вот письмо от него.

— Жив Евгений?

— В этом не сомневаются. Аркадий пишет, что труп его нигде не нашли. Следовательно, он жив, а лазутчики, посланные на разведки, видели в Константинополе среди наших пленных офицера, по всем приметам похожего на Евгения. Партия пленных прибыла в Константинополь почти одновременно с болгаринцем-лазутчиком, он видел, как их отправили в крепость и заметил, что описываемый им пленный русский офицер был в турецкой феске, а ты помнишь, шляпу Евгения нашли на берегу Дуная... Аркадий пишет, что война скоро должна окончиться, будет обмен пленными и Евгений вернется. Его,

по всей вероятности, наградят Георгиевским крестом, так как он очень отличился при взятии Туртукая. Аркадий говорит, что только благодаря его храбрости и распорядительности не погиб наш отряд при высадке на берег.

— Дал бы Бог,— задумчиво проговорила Зина,— ну, а о себе Аркадий что пишет? Грех ему не написать мне хотя бы строчку.

— Он просил расцеловать тебя. Сам был ранен, но рана зажила. Теперь они на той стороне Дуная. Пишет еще про Александра Васильевича Суворова. Говорит, что Суворов собрался было в Москву, но с дороги снова вернулся и теперь на том берегу Дуная... К зиме думают окончить войну... Ах, кабы поскорее наступила зима.

— Кабы поскорее вернулся Евгений,— ответила Зина,— тогда мы сразу две свадьбы справим, твою и Варину с Евгением.

Анна Петровна покраснела.

— Какая Варя, однако, скрытная. Нужно было случиться несчастьем, чтобы любовь ее к Евгению прорвалась наружу.

Княжна глубоко вздохнула и проснулась. Увидя подле себя подруг, она улыбнулась и протянула к ним обе руки.

— Варя, дорогая, милая,— бросилась к ней Зина,— ты совсем молодцом, поправляйся скорее... Хорошие вести... Евгений жив...

— Жив, ну, слава Богу,— отвечала княжна,— а вот ты, Зина, как исхудала... все из-за меня.

Зина была и озадачена и опечалена.

Она думала, что хорошие вести обрадуют Варю, а та ей ответила «Слава Богу», и ответила таким тоном, каким бы ответила на известие о том, что жив кучер Иван, повар Трофим. Этот тон сильно задел и обидел молодую девушку. До сих пор Зина относилась к княжне Варваре хорошо, как к подруге, но когда увидела, что Варя любит Евгения — она, в свою очередь, полюбила ее как родную сестру, привязалась к ней всей душой и в течение трех недель проводила бессонные ночи у ее изголовья. Правда, ей казалось странным, что имя Евгения очень редко срывалось в бреду с уст княжны, но Зина объясняла это скрытностью характера княжны, такую скрытностью, которую с трудом нарушал даже горячий бред. Но теперь, как она принесла весть о том, что Евгений жив — «Слава Богу» и каким равнодушным тоном: Неужели и теперь скрытность, зачем, для кого? — ломала голову Зина, не понимая, о чем говорила княжна.

Впрочем, Анна Петровна не позволяла много ей говорить и сама рассказывала о том, что творится в армии, о том, как отличился Евгений, о том, как его разыскивают.

— Что подумали обо мне, когда я упала в обморок? — не то спрашивала, не то огорчалась княжна.

— Что же могли подумать, моя милая? — отвечала Анна Петровна. — Что ты любишь Евгения. Так в этом нет ничего преступного, ничего удивительного. Он молод, красив, умен, рыцарски великодушен, богат, наконец... такая любовь вполне естественна.

— Знаете ли, мои милые, вам может покажется странным, но во время болезни я часто задавала себе вопрос: люблю ли я Евгения Вольского и, правду сказать, не могла ответить, да и теперь не знаю, люблю ли я его. К нему я привыкла, он мне нравится. несчастье. случившееся с ним, меня поразило.

— Варя, тебе нельзя волноваться. доктор не позволил, лежи спокойно, а я лучше почитаю тебе новый французский роман, — остановила княжну Зина.

Она не могла бы не подметить, что в тоне голоса Зины не было той душевной теплоты, той сердечности, которая последнее время слышалась, когда она говорила с княжной или о княжне. Зина была недовольна Варей, разочарована и не хотела дальше слушать ее рассуждений о Евгении.

«Она хорошая, добрая девушка, но Евгения не достойна, — мысленно решила Зина, — ему нужна жена с душою более возвышенной. Дай Бог, чтобы он не пленился только красотой Вари.»

Зина начала читать, а Анна Петровна прилегла на кушетку и, спустя несколько минут, уснула сном усталого человека.

Зина читала недолго, ее прервала княжна.

— Оставь Зина, лучше поговорим. Ты на меня рассердилась, Зина, не отпирайся, я это заметила и все об этом думала... Тебе показалось, что я недостаточно обрадовалась тому, что твой кузен жив. Даю тебе слово, что я всею душою рада, скажу тебе больше это известие придало мне сил и бодрости, но ты думала, что я люблю его и теперь разочаровалась. Мне порой и самой кажется, что я люблю его, он такой добрый, славный... А потом мне кажется, что я люблю князя Сокольского, помнишь того преображенца, который был у нас месяца три тому назад, а иной раз кажется, что я люблю их одинаково... Ну, а это значит, что я не люблю ни того, ни другого так,

как нужно любить жениха... Одним словом, это любовь и не любовь... Это любовь сестры, а не женщины... Ну, чем же я виновата дорогая моя? Вот ты любишь Евгения так, как нужно любить... А знаешь ли, Зина, мне кажется, что ты, сама того не замечая, любишь Евгения не как сестра любит брата... Жаль, что вы такие близкие родственники... А впрочем, митрополит может разрешить вам повенчаться.

Зина вся вспыхнула.

— Полно, Варя, говорить глупости, лучше лежи спокойно и слушай, я буду читать.

Но строчки у Зины прыгали перед глазами, чтение шло с трудом. «Любишь не как сестра любит брата» раздавались у нее в ушах слова княжны.

Что за вздор? А внутренний голос спрашивал: вздор ли? Отчего же у тебя так щемило сердце, когда ты думала о том, как Евгений женится на Варе? Отчего ты не могла радоваться полною радостью счастьем Евгения!

Зина читала без выражения, сбивчиво, подчас пропускала целые фразы, но княжна этого не замечала. Ослабевшая, утомленная разговором, она уснула под Зинино чтение. Зина это заметила, сложила книгу и откинулась на спинку кресла.

«Митрополит может вам разрешить,» — раздавались в ушах ее слова княжны.

ГЛАВА XIII

На небольшой поляне, среди густого леса на берегу Дуная, расположился цыганский табор. По тому беспорядку, который царил в цыганском стане, можно думать, что он перекочевал сюда недавно.

Действительно, свободные, но голодные дети степей забрались в эту лесную чащу только несколько часов тому назад... Гром пушечных и ружейных выстрелов гонит их в лесные дебри все дальше и дальше и не потому, чтобы звук выстрела пугал свободолюбивое племя, а потому, что эти выстрелы ставят его в затруднительное положение.

Турки, в мирное время терпевшие цыган, теперь относились к ним подозрительно, боясь шпионажа. А от боязни до уверенности, затем до жестокой расправы один только шаг. Цыганам пришлось в этом убедиться на горьком опыте и потому, удаляясь подальше от турецких

войск, они, из опасения быть заподозренными, держались вдали и от русских; к тому же и среди наших солдат они не пользовались доверием.

Табору ничего не оставалось более делать, как по мере сближения противников все более и более углубляться в лес, подчас голодать, а подчас питаться, чем Бог послал.

Табор, прибыв на лесную поляну, начал устраивать свое неприхотливое жилище; несколько молодых цыган отправились в лес пострелять дичи, а остальные принялись за приведение своего становища в порядок. Появились костры, раскинулись шатры, цыганки принялись за приготовление неприхотливой пищи.

У одного из костров сидел и задумчиво смотрел на огонь бледный, исхудалый молодой человек. Он, казалось, не замечал ничего окружающего и неподвижное лицо его лишь изредка вздрагивало и тогда он схватывался рукою за больную ногу.

Несмотря на то, что одет он был как и все, в цыганские лохмотья, с головой покрытой красной феской, никто не принял бы его ни за цыгана, ни за турка. Возле него старая цыганка жарила на вертеле дикого голубя.

— Вот, милый баринок,— обратилась она на ломаном русском языке к молодому человеку,— и завтрак тебе готов, покушай.

— Ты бы, старушка, детей накормила, а я и подождать могу, пока Степан не воротится. Он с пустыми руками не придет.

— Да, он стрелок хороший,— с гордостью сказала старая цыганка,— только сегодня он скоро не вернется, ему нужно проведать, далеко ли русские. Тебе одному идти разыскивать опасно, чего доброго, на турок нарвешься, да и где такому хилому добратся, а вот Степан как снесет твою записку к генералу, так казаки сами за тобою придут, а ты уж, милый баринок, скажи генералу, что мы туркам ни в чем не пособляем. Хотя ваши и считают нас нехристями, а мы все же ведь христиане такие же, как и вы.

— Будь покойна, старушка, ты со своим сыном и ваш табор столько сделали мне добра, что ни я, ни мои товарищи не сумеем вас отблагодарить.

— Ты, баринок, о благодарности не говори, был бы ты здоров, наш благодетель...

На опушке леса затрещали ветки валежника.

— Вот и Степан, наверно,— промолвила, оборачиваясь, старая цыганка, но она ошиблась. Из лесной чащи вышел молодой человек в высоких сапогах, серой куртке

и так с й же серой шляпе с карабином за плечами, в поводу он вел лошадь, а за ним на другой лошади ехала молодая красивая дама в черной амазонке. Молодой человек помог даме сойти с седла и они направились к костру.

— Скажи, старушка,— обратился молодой человек к цыганке на ломаном турецком языке,— далеко ли отсюда до Гирсова? Мы заблудились, не возьметесь ли кто нас проводить в русский отряд.

— До Гирсова, господин мой, далеко и если вы хотите отправиться к русским, то по этому берегу опасно, вы непременно попадете к туркам, плохо будет и вам, и вашему проводнику.. Никто не захочет вас провожать... Вам нужно ехать по русской стороне реки, а там и переправитесь... Откуда же вы едете, господа мои?

— Из Бухареста,— отвечал молодой человек.

— Из Бухареста?— цыганка подозрительно посмотрела на путников,— так вам сюда не резон. Как же вам на том берегу не сказали, что идти сюда—значит идти прямо к туркам.

Вокруг молодых людей собралась кучка цыган и цыганок.

— Согласится ли кто из вас проводить нас в Гирсово?— обратился он к цыганам.— Я хорошо заплачу.

Молодые парни и старики не отвечали и только почесывали затылки.

— По крайней мере не выведет ли кто-нибудь нас на дорогу из этого проклятого леса.

— На дорогу я выведу,— вызвался молодой парень.

— Ну ладно, а теперь мы отдохнем немного. Вы, графиня, порядочно устали,— обратился он к молодой женщине на французском языке.— Думали ли вы, что вам придется простраивать всю ночь в турецком лесу, отдыхать в цыганском таборе, скакать сотни верст верхом?

— Не думала, потому что я всегда ко всему готова, и всего ожидаю,— отвечала она тоже по-французски.— Не отдавайте, маркиз, лошадей, вы забываете, что мы у цыган, а цыган лошади не может видеть равнодушно... пусть они останутся при нас.

— Какая вы предусмотрительная, графиня. Гораздо предусмотрительнее меня, солдата.

— Вы, маркиз, тот же легкомысленный парижанин, каким я знала вас два года тому назад.

— Когда еще не состояла на службе французского министерства иностранных дел,— добавил, смеясь молодой человек

— Да,— отвечала графиня, окинув презрительным взглядом молодого человека,— когда еще я не служила целям французской политики и когда маркиз де-Ларош не промотал еще достояния своих доблестных предков и не искал счастья в турецкой армии.

— Полно, дорогая Анжелика, зачем нам ссориться,— отвечал уязвленный молодой человек.— Судьбы наши сошлись, будем же друзьями и союзниками, не станем корить друг друга тем, чего не вернешь.

— Не я первая начала,— отвечала графиня.

— Верно, я начал и усиленно прошу извинения, а теперь позавтракаем, у меня есть кое-что в запасе, вы должны были проголодаться,— и молодой человек, привязав лошадей к стоявшему поблизости дереву, разнуздал их, отпустил подпруги и достал из кобуров сверток с сыром, ветчиною, хлебом и фляжку красного вина.

Пока молодые люди усаживались возле костра, цыганята нарвали травы и кормили лошадей. Вольский, а это, как догадался читатель, был он, незаметно юркнул в шатер, из которого он мог не только все слышать, но и видеть лица путников.

Сначала, когда он услышал, что молодые люди пробираются в русский отряд, сердце у него дрогнуло от радости.

Первым его помыслом было объявить им, кто он таков и сообщить о своем желании присоединиться к ним, но выразительный взгляд старой цыганки сдержал его порыв. За время болезни и перекочевок с табором с места на место, он убедился в мудрой предусмотрительности старухи и решил держаться пока вдали и выжидать. Французский разговор, который повели между собой молодые люди, показал ему, что осторожность цыганки имела основание и он, Вольский, чуть-чуть не доверился турецким шпионам.

«Все что ни делается — к лучшему,— решил он, нужно хорошенько всмотреться в их лица, расслушать их разговор — быть может, это и пригодится. Они пробираются в Гирсово — значит он занять нашими войсками, очевидно Румянцев перешел в наступление...

— Итак, дорогая графиня,— начал молодой человек в серой куртке,— вы не только бесстрашная, но и гениальная женщина. Подумать только, поселиться в центре русской армии, сдружиться со всеми главными ее начальниками, жить ее жизнью, радоваться ее радостями и печалиться ее неудачами, устраивать для больных

и раненых лазареты, и в тоже время держать французского министра и турок в курсе дел! Да разве это не гениальность... Моя деятельность, дорогая графиня, скромнее, но зато нелегкая. Если бы вы знали, какого труда стоило обучить этих собак турок отвыкнуть от азиатских приемов и выдрессировать их на европейский лад, а потом вся эта азиатчина... ух как надоела... с каким удовольствием вспоминаешь Париж...

— И бульвары,— улыбнулась графиня.

— Бульвары, нет, даю вам слово, Анжелика, как только окончится эта проклятая война и министр заплатит мои долги—ведь я заслужил же это—когда вы сделаетесь моею женою, мы заживем спокойной жизнью буржуа... Ведь не мерзавец же я в самом деле, и если поступаю теперь против совести, так потом все заглажу... А как бы я хотел, чтобы русские побили хорошенько этих негодяев турок, да увы... не в наших с вами это интересах.

Молодая женщина сидела в задумчивой позе.

— Вы говорите, что вы не мерзавец. Нет, и вы, и я, мы оба мерзавцы.

Маркиз де Ларош весело расхохотался.

— Ну в такой компании, как вы, я с радостью готов быть не только мерзавцем, но и похуже.

— Вы шутите, маркиз, а я говорю серьезно. Быть может, вам ваша мерзость менее бросается в глаза, вы живете среди турок. Я в другом положении. Я живу среди рыцарей в полном значении этого слова, живу среди людей, с радостью жертвующих своею жизнью за идею христианства, за освобождение христиан. И я продаю этих рыцарей-крестоносцев, я жестоко обманываю их любовь, их доверие ко мне... Это ужасно, подчас мне кажется, что я сойду с ума...

— Знаете ли,—продолжала она, немного помолчав,—в Париже, да вообще в жизни, я не встречала порядочных, честных людей, или быть может в сутолоке светской жизни не замечала их, иначе, какие бы не сулило мне ваше министерство блага, я не взяла бы на себя то поручение, которое выполняю теперь. Мне не раз приходила мысль бросить мое ремесло, но как... Признаться во всем русским—они великодушны, они меня отпустят, но это значит потерять их уважение, то уважение, которым я живу, которое поднимает меня в собственных глазах... уехать из армии, тогда ваш подлый министр меня обличит... О, он умеет закабалить людей,—с гневом и горечью воскликнула молодая женщина.

Маркиз посмотрел на нее подозрительно.

— Рыцари, крестоносцы, великодушие... доверие,— тянул он, саркастически улыбаясь...— Уж не завелся ли там у вас рыцарь, дорогая графиня? Уже не тот-ли, как его, князь Сокольский, адъютант Румянцева?

— Замолчите,— гневно вскрикнула графиня и, как бы про себя промолвила по-русски,— как метко называет их Суворов, «безбожные французишки», ничего святого.

— О, вижу вы не даром провели время в русской армии, научились говорить по-русски.

— Точно так же как и вы по-турецки. Не научила ли вас этому красавица Фатьма.

— Фатьма— это вы мне за Сокольского, ну помиримся, дорогая Анжелика, не будем ссориться, поговорим лучше о деле. Итак, мы едем теперь в Гирсово, вы направляетесь к Суворову с предписанием оказать вам содействие для устройства лазарета. Я ваш управляющий, родом швейцарец, *bon, bon...*

— Если вы своим легкомысленным поведением не изобличите в себе парижанина.

— Не лестного же вы мнения, графиня, о нас, парижанах.

— Может быть, не лестного, но верного. Вы знаете, как вас называет герой Суворов— «безбожные французишки», и он прав. Скажите, что у вас святого?..

— Однако, графиня, кто бы мог подумать, со стороны глядя на нас, что мы в недалеком будущем муж и жена.

— В недалеком или далеком, говорить пока не станем. Пока мы союзники и должны работать сообща. Помните, что бедный Вогеску не должен пострадать, мало того, он не должен терпеть никаких неудобств...

— И не должен быть выпущен на свободу, пока не окончится война и пока графиня Анжелика Бодени не уедет во Францию и не сделается маркизой де Ларош, не так ли, графиня?

— Так, а пока у Суворова в лагере вы замените Вогеску... в письме Румянцева ни фамилия, ни национальность моего управляющего не названа. Могут думать, что вы едете со мной из Бухареста, а о том, что Вогеску теперь у турок в плену, говорить незачем.

— *Bon, bon...* мы поедем этой стороной Дуная. Нам проводник не нужен: натолкнемся на турок— у меня паспорт турецкого полковника и приказ визиря оказывать содействие; встретим русских— у вас письмо Румянцева... О, как глупы эти русские...

— Не смейте так говорить,— гневно вскричала графиня,— скажите лучше: «О, как подлы, как низки мы!»

— Ого, как вы, однако, обрусели, моя милая; боюсь, трудно будет обратить вас в француженку.

Молодая женщина презрительно улыбнулась.

— Об этом будет время поговорить после, а теперь скажите, что вы будете делать, когда узнаете, высмотрите и вынюхаете все, что вам нужно в русском отряде.

— Фи, какие выражения... вынюхаете...

— Не в выражениях суть, я вас спрашиваю, каким образом вы обратно переберетесь к туркам, не возбуждая подозрений?

— Каким образом? Пока я сам не знаю... в делах я поэт, графиня, и действую по вдохновению... Как-нибудь исчезну... вблизи Гирсова крупный турецкий отряд... я могу поехать на охоту, попаду в плен, вы придете в ужас, ваши рыцари крестоносцы пожалеют, пожалуй, поклянутся отомстить за меня.

— Нет, вы уж лучше не поступайте по вдохновению, а сделайте так, как я вам скажу. Это будет виднее на месте. А как приедете в Гирсово, вы ваш паспорт и приказания визиря передадите мне... у меня под корсажем они будут более скрыты от любопытных глаз, чем у вас.

— Под корсажем! Ах мерзавец визирь, мог ли он рассчитывать на такую честь...

Холодный презрительный взгляд графини остановил болтливую француза на полуслове.

— Однако, графиня, вы чертовски предусмотрительны.

Разговаривая, маркиз уплетал сыр, запивая его красным вином, графиня же едва прикоснулась к ветчине.

Солнце стояло уже высоко на небе, когда молодая женщина заметила своему спутнику, что лошади уже отдохнули и что пора продолжать путь.

— Но вы, вы, графиня, устали, путь долог, вам следует уснуть.

— Не теперь, спать еще будет время, а сейчас в путь.

Спустя полчаса молодые люди в сопровождении цыгана-проводника мелкой рысцей выезжали на проезжую дорогу.

Вольский не мог прийти в себя от сделанного им неожиданного открытия и когда опомнился путники были уже далеко.

— Ты знаешь, старушка, кто был здесь у вас? — спросил он старую цыганку.

— Нехорошие люди.

— Ты почему знаешь?

— Не даром я прожила много лет и видела многих людей... У него на лице написано, что он нехороший человек.

— А она?

— Она... она несчастна.

«Она несчастна,—повторял про себя Вольский слова цыганки,—это верно, это слышно в ее речах. Она более несчастна, чем низка...» Это он узнал из разговора ее с маркизом, но старуха, ведь она по-французски не понимает ни слова... и Вольский подивился проницательности цыганки.

— Да, ты права, старушка, а вот и Степан...

На опушке леса показался цыган. Он нес настрелянную им дичь; Вольский с нетерпением ожидал возвращения Степана. Он написал записку Ребоку, в которой уведомлял его о случившемся. Писать он много не мог — не было бумаги. Случайно у него уцелел свинцовый карандаш, которым он нацарапал несколько строк на своем платке, бережно свернул его и отдал Степану, который пошел на разведку. В случае встречи русских разъездов он должен был сообщить местопребывание Вольского и передать платок. Но разъездов Степан не встретил и привез печальные известия: русские снова перешли на ту сторону Дуная, а в Туртукае или, вернее говоря, у его развалин снова собираются турки.

Вольский приуныл. Переправиться на тот берег было невозможно. Отправляться в Гирсово — больше чем рискованно: вся местность занята турками... Но утренняя встреча навела его на отчаянную мысль. Французские офицеры, оказывается, служат в турецкой армии, обучают ее... Он, Вольский, прекрасно знает французский, молодость провел он в Париже, там же получил первоначальное образование и говорит, как парижанин...

Почему ему не явиться в турецкий отряд под видом француза, приехавшего служить туркам? По дороге он попал к русским в плен, бежал, был ранен, цыган спас его от второго плена и проводил к туркам... Идея прекрасная... Он ознакомится с положением дел в турецком отряде, а при первой стычке с русским отрядом он покинет турок и примкнет к своим... Эта мысль придала ему бодрости и он решил во что бы то ни стало привести ее в исполнение. Нужно было подождать только несколько дней, пока француз и молодая женщина не доберутся до Гирсова, чтобы не нагнать их в дороге, а тем временем он несколько оправится и соберется с силами.

Придя к окончательному решению Вольский успокоился, закусил и уснул таким сном, каким не спал уже давно.

ГЛАВА XIV

После посещения графиней Бодени и маркизом де Ларош цыганского табора прошло всего несколько дней, но в эти дни Вольский заметно оправился, силы к нему возвратились и лишь только худоба и бледность его лица говорили о перенесенном ранении. Те полтора месяца, которые он провел в цыганском таборе не остались для него без пользы. Он ознакомился с положением дел у турок и, хотя не имел никаких известий о русских войсках, расположение и численность турецких войск знал прекрасно. Молодые цыгане, с утра до вечера бродившие по окрестностям, доставляли ему все сведения не только о численности и расположении турок вдоль Дуная, но также и о тех силах, на помощь которых мог рассчитывать турецкий отряд. Цыгане народ юркий, проницательный, редко ошибаются в людях, и Вольский, благодаря этой врожденной цыганскому племени проницательности, ознакомился со всеми турецкими военными начальниками.

Раненый русский офицер, попавший на попечение табора, вскоре сделался всеобщим любимцем, и желание услужить ему подвигало молодых цыган на самые рискованные предприятия. Достаточно сказать, что к тому времени, когда Вольский задумал под видом французского офицера пробраться в турецкий лагерь и проситься на службу с целью при первом же удобном случае примкнуть к русским, он прекрасно знал положение турецких сил, их начальников, продовольственные и опорные пункты, одним словом все то, что в глазах начальника русского отряда имело особую ценность.

Он не преминул поделиться своими радостями со старою цыганкой и ее сыном.

— За то малое, что я для вас сделал, что должен был сделать всякий христианин, вы отблагодарили меня, друзья мои, сторицею. Вы спасли мне жизнь, возвратили здоровье и дали возможность принести своему начальству важные сведения.

— Милый баринок,— отвечала цыганка,— кроме сведений ты принесешь еще и вот это. Ведь ты отбил его у турка.

И старуха из груды тряпья достала большую, изорванную, зеленую шелковую тряпку.

Вольский вздрогнул от радости. В этой изорванной тряпке он узнал турецкое знамя.

— Так это был не сон, не бред, так я действительно отбил знамя,— вскричал он с радостью,— но как же оно очутилось у тебя, старушка, как турок, бросая меня в Дунай не взял знамени?

— Ты был связан, баринок, арканом и знамя было у тебя на груди. Турок хотел тебя доставить в Руцук со знаменем, а когда погоня начала настигать его — развязывать тебя было некогда и он бросил тебя в Дунай связанного.

Радости Вольского не было границ. Радовалась за него и старая цыганка, был мрачен и задумчив только Степан.

— Что, Степан, иль тебе не нравится мой план? — спросил его Вольский.

— Нет ты, барин, придумал очень хорошо. Только сделать все это трудно, вот я теперь и прикидываю, как бы все гладко вышло... Хорошо еще, что ты у нас от скуки немного по-турецки научился, а все-таки того, что ты знаешь, мало. Трудно будет объясняться с турками. Пойду я с тобой переводчиком, да как услышат они, что мы говорим по-русски, и обоим капут будет.

— Боже тебя сохрани,— вскричал Вольский,— я вовсе не хочу подвергать тебя опасности, ты только выведешь меня на дорогу и проводишь до ближайшей деревушки. В первом же турецком отряде я скажу, что направлялся в туртукайский отряд, но был взят русскими в плен и ранен. Выздоровел и снова бежал.

— Я, барин, придумал лучше. В Туртукае у меня был знакомый еврей. Когда-то я выручил его из беды, он нам поможет, нужно только разыскать его. Он говорит на чужих языках, ты тоже говоришь, вот вы и будете с ним разговаривать по-чужеземному. Не нужно только ему знать, что ты русский. Я ему так и скажу — француз... вот поискать его нужно. Завтра пойду на розыск. Теперь, как Туртукай разорен, так жители разбрелись кто куда...

Вольский одобрил план Степана, оставалось только ждать. Еврей Тохим, по предположениям молодого цыгана, должен был находиться в Руцуке, а до Руцука было далеко и возвращение Степана нельзя было ожидать ранее как дня через три — четыре.

Дни ожидания для Вольского тянулись медленно, томительно. Он горел нетерпением поскорее добраться до своих, да и судьба кузена его сильно беспокоила. Ведь Ребока и его отряд он оставил в критическом положении

От цыган он узнал потом, что турки были окончательно разбиты и бежали, но уцелел ли Аркадий, жив ли он или ранен — Вольский не знал и страдал от неизвестности не менее, чем от бездействия.

В Ольтеницу он попасть не рассчитывал, хотя был от нее вблизи: берег Дуная зорко охранялся турками и на переправу рассчитывать было нельзя. Единственно, что для него оставалось — это пробраться к Гирсову, занятому, как он узнал из разговора маркиза де Лароша и его спутницы, Суворовым. Если Суворов там, думал Вольский, значит, там и Аркадий, они неразлучны. Но как мог попасть Суворов в Гирсово? — задавал себе вопрос молодой офицер. От Ольтеницы до Гирсова несколько сот верст, там расквартирован барон Вейсман. Но разрешить эту задачу Вольский не мог.

Суворов действительно уехал в Москву, но с первой же станции вернулся назад.

Пока на станции перепрягали лошадей, он задумчиво следил за вознею ямщиков. Дело у них не ладилось: то постромка оборвалась, то хомуты были не в порядке. Нетерпеливого Суворова раздражала такая проволочка. Наконец, после долгой возни лошади были заложены и Суворов двинулся в путь, но ему сегодня не везло: не успел он отъехать и ста сажен, как ось в тарантасе подломилась и генерал, вывалившись из экипажа, попал в канаву.

«Дурная примета, — подумал он, поднимаясь и потирая больную ногу. — Очевидно не судьба мне ехать в Москву... Да, впрочем, какое сватовство во время войны... Хотя отец и требует, чтобы приехал познакомиться с подысканной мне невестой, но он должен рассудить, что не сыновнее неповиновение удерживает меня здесь, а долг солдата».

— Да, долг, — крикнул громко Суворов и вернулся обратно в армию, не заезжая в Бухарест.

Суворов оправдывал свое возвращение в армию долгом, но сам чувствовал в нем натяжку. Еще недавно он решил, что в армии ему теперь делать нечего, а теперь его тянет туда. Образ графини Бодени не выходит у него из памяти, он вспоминал каждое ее слово, каждое движение и горько вздыхал при этом.

«Разве можно, увидевши ее, жениться на другой — задавал он себе вопрос. — Жениться — нужно любить, а зная ее — разве полюбишь? А она?.. — И он снова вздыхал. Его неотразимо влекло к молодой женщине и в то же

время что-то останавливало. Очень умна? двум умам трудно ладить? — Нет, не то, он сам признавал всю фальшь такого мотива. Напротив, умная женщина и только умная могла нравиться Суворову, ни в ком не переносившем глупости. Нет, его что-то удерживало другое. в чем он сам боялся признаться себе...

Роянова дала ему слабую надежду, сама графиня как будто оправдывала слова Рояновой. Она была всегда с ним так обворожительна, так любезна, как ни с кем, в ее глазах при встрече с ним светилась такая радость, такое теплое чувство, что старый холостяк молодец на десяток лет и чувствовал себя на вершине блаженства, но тут же неотвязчивая мысль отравляла его восторженное состояние

«Уверен ли ты, — спрашивал его какой-то голос, — что все то внимание, тот ласковый взгляд, которыми тебя дарит графиня, относятся к тебе, Александру Васильевичу, новгородскому помещику, а не к генералу Суворову, приобретшему популярность в армии, генералу, на которого она возлагает надежду, как на освободителя славянства?..»

И честный Суворов не мог ответить на этот вопрос, или вернее соглашался с последним.

«Да, в ее глазах я герой, а не обыкновенный мужчина, вздыхал он. — Не всегда доля героя завидна, хотелось бы иногда и не быть им... А, между тем, ведь сам же ты добивался славы героя? — думалось Суворову, и он начал злиться, что всегда с ним случалось, когда ему приходилось вступать в противоречие с самим собой. В глубине души он не мог не признаться, что возвращается в Негоэшти, не потому, что он там нужен, а потому, чтобы быть ближе к ней...

Но Суворов ошибся. Едва он возвратился к своему посту и рапортовал об этом начальству, как сейчас же был назначен главнокомандующим в Гирсово.

Барон Вейсман был убит.

Смерть этого энергичного и даровитого генерала для армии была большой потерей. Его мог заменить только Суворов, это понимал главнокомандующий, сумевший оценить героя Туртукая. Он обрадовался возвращению Суворова и сейчас же дал ему предписание отправиться в Гирсово. Туда же в подкрепление была назначена бригада Бороздина, в которой находился и майор Ребок, награжденный за Туртукайский штурм георгиевским крестом.

Суворов не медлил и со свойственной ему поспешностью отправился в Гирсово, благословляя свое возвращение в армию.

В Гирсове его ожидали активные действия, к которым он стремился всеми силами души, там ему предстояло больше самостоятельности.

Ему предстояло расширить театр военных действий, о чем он так постоянно мечтал. «Что если бы во главе армии стояли вы, генерал? — вспомнил он вопрос графини Бодени и сейчас же поймал себя на этой мысли. Он замечал, что имя графини, нет-нет да и навернется ему на язык. А тут еще не успел он прибыть в Гирсово, как получил от фельдмаршала письмо, в котором граф Румянцев поручил ему не только укрепить позиции, но и приготовить Гирсово на случай зимовки отряда, распорядиться постройкой землянок и вообще благоустройством в войсках. Граф добавлял, что в Гирсово должна прибыть из Бухареста графиня Бодени, которая на свои средства желает устроить лазарет и перевязочные пункты и вообще организовать врачебную помощь так, как это существует в европейских армиях. Графиню сопровождает ее управляющий, и фельдмаршал просил генерала Суворова оказать ей возможное содействие. Графиня пробудет в Гирсово недолго и, устроив лазарет, снова возвратится в Бухарест.

— Опять она! — воскликнул Суворов по прочтении письма Румянцева. — Уж не судьба ли? — и радостное чувство охватило старого солдата.

ГЛАВА XV

Четыре дня томился Вольский в ожидании Степана, ушедшего на розыски Тоахима. К вечеру четвертого дня молодой цыган воротился в сопровождении старого еврея. Старик согласился сопровождать Вольского.

— Мне теперь ничего не остается делать, — сказал он молодому офицеру, — гнездо мое разорено, внучка сгорела в Туртукае...

И слезы показались на глазах старика.

У Вольского тяжело было на душе, он вспомнил разрушение Туртукая, и чувство отвращения к войне все больше и больше начало забираться к нему в сердце. Что мог он сказать в утешение несчастному старику? Разве то, что говорил ему Ребок: «клин клином выбивай». Но этой

поговоркой можно было с грехом пополам оправдать жестокость, но не утешить осиротевшего старика. Вольский молча пожал ему руку.

Наутро они отправились в путь, напутствуемые добрыми пожеланиями цыган. Не успели они выйти из лесу, как все чаще и чаще начали попадаться им турецкие разъезды. Имя французского офицера, прибывшего в турецкую службу и бежавшего из русского плена, всюду обеспечивало Вольскому беспрепятственный пропуск.

Турки встречали его любезно и даже переносили свою любезность на переводчика-еврея, что немало его удивляло.

В Силистрии паша принял Вольского не только любезно, но и радушно. Молодой человек произвел хорошее впечатление на добродушного пашу.

— Ах, как бы я хотел оставить вас у себя,— говорил он Вольскому за обедом,— как бы желал, но приказано всех прибывающих французских офицеров направлять к сераскиру в лагерь Карасу. В Гирсово теперь русские, ими командует Суворов и потому визирь желает, чтобы против него действовало как можно больше ваших офицеров... А жаль, что вы немного опоздали, если бы вы приехали днями четыремя раньше, вы застали бы у меня вашего соотечественника Ларош-бея. Он тоже поехал в Кара-су...— Вольский побледнел при этом известии. Ларош-бей, маркиз де Ларош, четыре дня тому назад бывший с графиней Бодени в цыганском таборе... Такая встреча вовсе не радовала Вольского, и вообще встреча с французами была для него нежелательна. Как хорошо он ни говорил по-французски, но боязнь быть заподозренным последнее время его преследовала беспрестанно. Он решил назваться поляком, выросшим во Франции. Лишь бы де Ларош не признал в нем цыганского гостя. Впрочем, решил он, им было не до меня, вряд ли они меня заметили.

— Соотечественник ваш,— продолжал паша,— затеял опасное предприятие: он отправляется в русский отряд с тем, чтобы ознакомиться с его расположением и силами. Он очень смел. Рассчитывает привезти визирю важные сведения...

Вольский справился о числе войск, находящихся у визиря. Паша отвечал, что под Кара-Су собрано 40 тысяч, большинством таборов командуют французские офицеры.

— Без сомнения вам дадут под командование табор, как и вашему соотечественнику Ларошу.

Сообщенные пашою сведения удручали Вольского, с французами ему встречаться не хотелось, но иного выхода не оставалось. Рубикон был перейден и мосты сожжены...

На другой день, простившись с радушным пашою, снабдившим его турецкой одеждой и деньгами, Вольский отправился в сопровождении Иоахима в лагерь визиря. Силистрийский паша кроме того снабдил его пропусками.

Молодой офицер, хотя пробыл в действующей армии недолго, но отчасти по рассказам, отчасти и на опыте узнал, как у турок отправляется аванпостная и форпостная служба. Велась она крайне небрежно и он знал, что стоит ему сделать крюк побольше — и он обойдет лагерь визиря, зайдет в тыл гирсовскому гарнизону, а на русских форпостах назовет себя...

Встреча с турецкими разъездами теперь для него не страшна — в кармане пропуска силистрийского паша. Самое большее, что может случиться, разъезды укажут ему ошибку в выборе пути и тогда волей-неволей ему придется явиться к визирю.

Чтобы этого не случилось, Вольский решил сильно свернуть в сторону и обходить турок на столь большом расстоянии, что, если бы нечаянно встретившиеся разъезды и указали бы ему его ошибку, он мог бы направиться на Гирсово, не вселяя подозрений.

Силистрийский паша облегчил ему исполнение его плана, дал ему карту местности, хотел дать и конвой, но от него Вольский категорически отказался.

Едва отъехал он десять верст от Силистрии, как сейчас же начал сворачивать направо к горам.

Иоахим, знавший прекрасно местность, заметил молодому человеку его ошибку, но тот показал ему карту, отвечал, что круг делает он умышленно; силистрийский паша поручил ему исследовать местность, затем возможно ближе подойти к русским укреплениям с тыла, чтобы доставить визирю наиболее подробные сведения.

Заметив испуг Иоахим, Вольский успокоил его.

— Не бойся, ты не подвергнешься опасности. Русские часовые не будут по нас стрелять, так как я, как только завидим их форпосты, привяжу к шашке белый платок и подниму его кверху. Меня примут за парламентаря..

Но такая мысль еще более встревожила бедного еврея.

— За парламентарера... вам ничего не сделают а с меня кожу сдерут... если бы вы знали, что было с нами в Туртукае!

— Да говорю тебе, не бойся. Без меня, может быть, с тобой что-нибудь и сделали бы. Пожалуй, кожи не содрали бы, а пейсы остригли бы наверно, ну, а со мной тебя, моего проводника, не тронут. Русские — не звери.

Иоахим повиновался, но не переставал вздыхать.

Мысль явиться с белым платком возникла у Вольского мгновенно. Если бы он и встретил турецкий отряд — ему не пришлось бы возвращаться, он сказал бы, что хочет отправиться мнимым парламентарем, чтобы по возможности ознакомиться с положением русского отряда.

Видя веселое лицо своего спутника, еврей мало-помалу начинал успокаиваться.

Вольский чувствовал себя необыкновенно счастливым. Он был уверен в успехе своего плана. Суворову привезет он не только отбитое у турок при взятии Туртукая знамя, но и верные сведения. Он собрал справки не только о численности войск в придунайских крепостях, но и проведал количество боевых и продовольственных запасов. Он знал, что сорокатысячная армия визиря разбросана, что под Кара-Су только 10 тысяч человек, остальные же в Шумле и в соседних пунктах, а самое главное, он предупредит его о шпионстве. Кабы только застать маркиза де Ларош и графиню Бодени в Гирсово.

Но чувство жалости к прекрасной молодой женщине сейчас же забралось в душу Вольского. Он вспомнил ее разговор с маркизом, ее презрительное и к нему и к своему ремеслу отношение, ее угрызение совести и высокое мнение о русских...

«Бедная женщина, — подумал он. — Бог наделил ее доброй душой, а обстоятельства и люди сделали авантюристкой.» Припоминая ее слова, он делался по отношению к ней мягче и мягче, он сожалел о ее роли.

«Нет, — решил он, — губить ее не буду. Напротив, я помогу ей отделаться от ее грязного ремесла, которым она сама тяготится... Я объяснюсь с ней, скажу, что знаю о разговоре в таборе, но эта ее тайна умрет со мною, если только она немедленно покинет армию... Вот этого негодяя маркиза, его следовало бы вздернуть, но ради нее придется пощадить и его... Не погибнет же наш отряд из-за их шпионства.»

ГЛАВА XVI

Пока Вольский в обход турецких отрядов направлялся к Гирсову, там кипела неустанная работа. Маленький русский отряд не побоялся многочисленных турецких сил и, смело перейдя Дунай, начал укрепляться на турецком берегу. Этот важный в стратегическом отношении пункт был почти не укреплен, и все заботы Суворова сводились теперь к тому, чтобы лучше его укрепить, чтобы сделать его базой для дальнейших операций русской армии.

Такой важный пост требовал и выдающегося генерала. Назначая на него Суворова, Румянцев тем самым признавал его способности. Положение Суворова, казалось, должно было бы упрочиться, значение его в армии возрасти. Но это только казалось. Румянцев, как человек умный и дальновидный, не мог не оценить Суворова по достоинству, но этим все и ограничивалось. Он назначил его на важный и ответственный пост в своих же интересах; на нем, как на главнокомандующем, лежала вся ответственность за успех войны, а кто мог лучше заменить собою покойного Вейсмана, как не Суворов?

Румянцев это знал прекрасно, Суворовым пользовался и не мог простить ему этого. Такова уж человеческая натура. Зависть во все времена порицалась, как порок, но во все времена ею страдали люди и даже люди великие, а Румянцева к ним было трудно причислить. Он понял Суворова, он увидел его превосходство над окружающими, и испугался.

Такой генерал полезен для дела, но и опасен для честолюбия главнокомандующего, и герой Кагула стал не на шутку побаиваться, чтобы Суворов не затмил его воинскую славу. Опасения его выражались в поступках, недостойных героя. Пользуясь суворовским искусством, он в то же время старался его держать, что называется, в черном теле, и близости между ними не было.

Суворов не мог этого не заметить и немало тяготился таким положением. Он не мог развернуть своих дарований, использовать своих обширных познаний и неоднократно жаловался близким людям на зависимость своего положения.

Сегодня Суворов с раннего утра находился на фортификационных работах. Он сам набросал план укреплений и сам наблюдал за их постройкой. Гирсово опоясалось уже лентой шанцев, оставалось закончить последний,

и генерал торопил людей. Наконец, последняя лопата земли была брошена на насыпь.

— Ну, слава Богу, теперь мы готовы. Хоть сейчас можем встретить турок,— сказал Суворов, отирая со лба пот и садясь вместе с бригадиром Бороздиным на банкет у бруствера.

— Читал, Михайло Иванович, цидулку, которую я получил от его сиятельства господина фельдмаршала? — спросил он Бороздина.

Тот промычал вместо ответа.

— Вот теперь и удивляйся, почему я так гонюсь зачинами. И как ты, Михайло, мой старый друг, мог заподозрить во мне такую мелочность! С тобой я не тот, что с другими, говорю по душе, неужели ты думаешь, что меня злит непроизводство до сих пор в генерал-поручики только потому, что одной ступенью становлюсь выше?.. Не то, брат, злит меня... Говорят, Суворов чудак, но Суворов турок бьет, поляков бивал, а К. дурак. Дураков и в церкви бьют, как бы К. турки не побили. Но К. генерал-поручик, а Суворов генерал-майор. Быть, значит, дураку начальником, а Суворову подчиненным. К. дозволяется изобретать глупости, а Суворову лишь приводить их в исполнение... Помилуй Бог, да это хоть у кого желтуха приключится, от такого положения... Чин чина почитай! Что и говорить, в войске это первое правило, да не нужно в войске глупых чинов держать; тогда и руководствуйся списочным старшинством. Кто по списку выше, тот и начальник. А теперь... теперь от такого старшинства страдает служба царская, вот что! Вот почему, голубчик, я хочу поскорее в генерал-поручики, да не только в генерал-поручики, а скажу тебе на ухо — в генерал-фельдмаршалы! И не потому, чтобы мне нравился фельдмаршальский жезл, а потому, что у меня тогда были бы руки развязаны. Будь я на месте главнокомандующего, да разве мы маячились бы столько времени, как теперь? Да никогда, помилуй Бог, никогда; сколько даром потеряно времени, сколько упущено прекрасных случаев... Если царица и упрекает фельдмаршала, то не напрасно. Наша матушка государыня Екатерина Алексеевна ух какого ума...

— Александр Васильевич, никогда я тебя не подозревал в женском честолюбии, я тебе советовал только спокойнее относиться ко всем неприятностям, связанным со списочным старшинством, да побольше держать язык на привязи. Язык твой — враг твой.

— Я говорю так редко и так мало...

— Редко-то, редко, да метко, а ты знаешь, как люди меткость любят... Послушал бы, что месяц тому назад в главной квартире говорили... Приехал Салтыков, был там и Каменский, зашла речь и о тебе, а фельдмаршал и преподнес им: а знаете ли, господа, наш Суворов острит от безделья и на нас с вами точит свой язык Каменский, говорит, знает военное дело, но военное дело его и знать не хочет, Салтыков военного дела не знает и оно его не знает, а Суворов дела военного не знает да зато военное дело его хорошо знает... Нужно было тебе видеть, какие физиономии были у Каменского и у Салтыкова, в особенности у Каменского... а тут еще фельдмаршал подзадоривает Я, говорит, хочу поручить вам, генерал, действовать против турок совместно с Суворовым. Вы знаете военное дело, а военное дело знает Суворова, один другого дополните, а от такой цельности нужно ждать успеха...

Суворов слушал Бороздина, ядовито улыбался.

— Новые враги,— промолвил он.

— Ты же сам, Александр Васильевич, их себе нажил, да и помимо них, а фельдмаршалу, ты думаешь, твои сравнения по вкусу? Послушал бы, как он успокаивал распетушившегося Каменского. Будьте покойны, генерал, говорил он, Суворов не на вас одних изощряется, вы думаете, что и на меня он яду не выпускает? Только мне не говорят, что он на мой счет измышляет, а что-нибудь да измышляет. Не такой он человек, чтобы не критиковать тех, кто чином постарше его. Нужно сказать тебе, Александр Васильевич, что все это говорилось при мне не без цели. Знают нашу дружбу. Знают, что о разговоре этом ты будешь осведомлен.

— Солдат, брат, я, солдат с головы до пят, и не могу удержаться, чтобы солдатскую правду-матку не резать в глаза. Не светский я человек, не умею целоваться, а за спиной подлости делать, а что касается того, что они теперь на меня злы— не беда. Бог не выдаст, свинья не съест. Веймарн тоже хотел меня проглотить в Польше, да поперхнулся. Матушка царица своего верного слугу не выдала. Он к царице с жалобами на меня, а она, несравненная, мне Георгиевский крест, а его отозвала из Польши. Счастье мое, что царица меня знает.

В это время к разговаривавшим подошли несколько офицеров. Здесь были бригадир Милорадович, князь Мочубелов и другие. Приятели переменили тему разговора.

— Я, князенька, очень рад тому, что нас свела с тобой здесь судьба,— обратился Суворов к Мочебелову.— Ты всегда желанный, дорогой товарищ и на ратном поле, и в дружеской беседе, и на пиру. Вот я на тебя ныне и рассчитываю. Помоги нам устроить графинюшку так, чтобы она не скучала в нашем лагере. Я, брат, по части обхождения с дамами того... не умею... Вот ты и помоги, как угостить, да чем потчевать...

— Да, князь,— вмешался в разговор Бороздин,— вы уж примите обязанность ухаживать за прекрасной графиней на себя, а то Александр Васильевич, пожалуй, начнет ее подчевать солдатским сухарем, редькой, да чаем зверобоя... Меня он уже извел чаем,— смеялся Бороздин.

— Ничего ты не понимаешь, Михайло, редька да зверобойный чай так пользительны для желудка...

— Может быть, да у молодой графини не наш солдатский желудок.

— Я уже распорядился,— отвечал Мочебелов,— для графини разбили прекрасный шатер, она еще поживает, распорядился уж обедом, а для ее французика приказал разбить палатку рядом с Архаровым, да наказать следить за ним позорче.

— Что так?— удивился Суворов,— не понравился тебе бедный французишка, аль приревновал его к красавице графине?.. Ну и солдаты, посмотрю я на вас,— смеялся Суворов— явилась красotka, и всех свела с ума.

Милорадович вздохнул.

— Что вздыхаешь, поухаживай,— обратился к нему Мочебелов.— Я тебе не конкурент. Где нам с таким красавцем конкурировать, а что насчет французика, так, правду говоря, он мне спервоначалу не понравился. Больно вертляв и глазаст, да и сама графиня Бодени, очевидно, им тяготится. Вчера вечером она мне говорит: будьте любезны, дорогой князь, прикажите наблюдать за моим управляющим и не допускайте его свободных прогулок по лагерю. Его я знаю мало, пришлось взять по необходимости, а доверия к себе он во мне не вселяет. Может быть он и хороший человек, а все же надо быть начеку. Он называет себя швейцарцем, а между тем сильно смахивает на парижанина... Положим, это и я заметил,— продолжал Мочебелов.— Графиня права, черт его знает, быть может и безобидный мусью, а может стать и шпион, у турок на службе не мало ихнего брата.

— Твоя правда, князь,— отвечал Суворов.— Предосторожность— мать безопасности.

— Не мешала бы эта предосторожность и в отношении к прекрасной графине,— вставил Бороздин.

— Что ты, что ты? Побойся Бога,— заговорили в один голос Мочебелов и Милорадович.

— Неблагодарный! — озлился Суворов.— Разве ты не видишь эту чистую, хрустальную душу... Молодая женщина отказалась от удовольствий света, светскую жизнь променяла на жизнь солдата, жертвует состоянием и здоровьем для нас, а ты с обвинениями.

— Ты редко бываешь так красноречив,— съязвил Бороздин.

— А ты редко бываешь так неучтив к женщинам,— отвечал Суворов.

— Да, к женщинам, а графиня явилась в армию в роли мужчины. Вот это-то для меня и странно.

— Странно потому — вставил Мочебелов,— что ты не знаком еще с европейскою женщиною. Она, брат, не чета нашим барыням,— горячился князь.

— Да,— вставил Милорадович,— пора бы и нашим барыням быть людьми, а не куклами. Конечно, наша графиня и не подумает о том, чем занята голова графини Бодени, на взгляд наших дам деятельность прекрасной графини не женское дело, а от чего? От того, что наши дамы теремов еще не забыли, вот что, голубчик. Помнишь мое слово, и у нас настанет время, когда русская женщина проснется от теремной жизни и будет помогать мужчине, а не только строить ему глазки, а пока настанет такое время, будем благодарить Бога, что судьба посылает нам таких женщин, как графиня Бодени. Авось, она и нашим дамам послужит примером...

— Околдовала она всех,— невозмутимо отвечал Бороздин.— Поймите что графиня Анжелика нравится мне не меньше вашего, но я солдат, а она иностранка, а потому я и считаю предосторожность по отношению к ней необходимой. Ведь нам же отец-командир только что изрек «предосторожность — мать безопасности».

— Осторожным ты можешь быть,— отвечал Суворов,— но любезным — обязательно,— дополнил он властным голосом.

— Когда же я был с дамами нелюбезен, Александр Васильевич?

Барaban ударил сбор.

— Пора, братцы и ко щам,— сказал Суворов, поднимаясь с места.— Быстро же мы оборудовали шанцы, теперь турок милости просим к нам в гости.

Разговаривавшие направились в лагерь.

— Удивляюсь я генералу,— говорил по дороге Милорадович Бороздину,— пехотный офицер, а любого кавалериста заткнет за пояс, по части же фортеции и инженеру за ним не угнаться... впрямь русский Вобан.

— Я, друг мой, Вобана еще с 14 лет всего наизусть знал,— повернулся к разговаривавшим Суворов, слышав имя Вобана.— Отец мой перевел его на русский язык, да и меня ему научил, а что касается кавалерийского дела, так ему меня с семи лет начал обучать старый вахмистр Кузьмич...

— У тебя, Александр Васильевич, слух не хуже зрения,— отвечал Бороздин,— только дальше не советую тебе нас слушать, я буду рассказывать Милорадовичу твои похождения в Бухаресте.

— Знаешь ли, товарищ,— продолжал он обращаясь к Милорадовичу,— прекрасная графиня сильно ранила нашего отца-командира в сердце. Нужно ее поскорее отсюда выпроводить честь честью, а то боюсь, чтобы...

Но Суворов не дал ему закончить.

— И впрямь, тебя нечего слушать, расскажи Милорадовичу лучше свои похождения у Эстельки... Что это? Никак Ребок к нам торопится... Не случилось ли чего-нибудь?

На дороге показался быстро шагавший майор Ребок. Радостное выражение лица майора успокоило Суворова.

— Здравствуй, Ребок,— в один голос заговорили Бороздин и Милорадович,— никак и ты, счастливый жених, записался в поклонники прекрасной графини и, как нежный рыцарь, караулишь ее безмятежный сон...

Но Ребоку было не до шуток товарищей.

— Караульте вы господу, а мне не до нее, и, подойдя к Суворову, он подал аккуратно свернутый платок, когда-то бывший белым.

— Вольский жив, здоров, пробирается к нам,— промолвил он с радостью.

— Рассказывай же, рассказывай! — торопил Суворов.

— Только что приехал князь Сокольский с приказами от главнокомандующего к вашему превосходительству,— начал Ребок,— он и привез этот платок, который ничто иное, как письмо Вольского. Какой-то цыган переплыл ночью Дунай у Ольтеницы, явился к князю Мещерскому и передал ему этот платок, на котором Вольский написал всего несколько строк. Он пишет, что,

раненый в Туртукае, был взят в плен, но так как за турками началась погоня, то его бросили в Дунай. Цыган спас его из воды, с матерью укрыл в своем таборе, и теперь он поправился, ждет пока мы его выручим. В письме больше нет ничего, но цыган передал князю на словах, что Вольский, потеряв надежду попасть на молдавский берег и узнав о нашем пребывании в Гирсово, стал пробираться под именем француза к нам, в сопровождении старого еврея, взявшегося быть переводчиком.

— Пробираться в Гирсово по этой стороне Дуная, да это просто сумасшествие! — воскликнул Милорадович.

— Это на него похоже, — заметил Суворов. — Нужно по всем дорогам послать разъезды немедленно; распорядись об этом, Ребок, сейчас же.

— Я только что хотел просить ваше превосходительство об этом и заранее приказал людям быть готовыми, — радостно ответил майор.

— Жив, слава Богу, жив.. Молодец, помилуй Бог, молодец. представлю к Георгиевскому кресту, — радовался и Суворов.

Известие о том, что Вольский пробирается в Гирсово, что он жив, ободряюще подействовало на всех. За короткое время пребывания молодого офицера в отряде его успели все полюбить.

Разговаривая, Суворов и его спутники незаметно подошли к лагерю. На задней линии у большого шатра стояла молодая красивая женщина и разговаривала с молодым человеком в серой куртке.

— Прекрасная графиня уже отдохнула, — сказал Суворов, и, сняв шляпу, любезно с нею раскланялся.

Его примеру последовали и его спутники. Молодая женщина грациозным наклоном головы приветствовала приближающегося генерала.

— Смотрите же, будьте осторожны, — обратилась она к молодому человеку. — Советую вам по лагерю не разгуливать... Князь Мочибелов к вам относится подозрительно, как бы чего не вышло. Вы заметили, что он поместил возле вас майора Архарова. Это неспроста... Знаете ли что, вчера мне князь сказал: «У вашего швейцарца, графиня, настоящий парижский выговор. Вероятно, он долго жил в Париже.» Вы понимаете, что это означает? Так смотрите же, будьте осторожнее, а то и себя и меня погубите. Меня-то пощадят, вышлют только из армии, а вам петли не миновать...

Суворов со своим штабом подходил уже близко к шатру графини и потому маркиз де Ларош ничего ей не отвечал. Сделав вид, что выслушивает ее приказание, он при приближении генерала почтительно поклонился графине и удалился к себе в палатку.

Графиня, говоря маркизу о подозрении Мочebelова, попросту солгала. Приехав накануне в Гирсово и находясь в угнетенном душевном состоянии, терзаясь своим позорным ремеслом, и боясь, чтобы шпионство маркиза не погубило небольшой русский отряд, она сама посеяла в Мочebelове подозрения и тем постаралась парализовать действия своего соучастника, теперь же опасаясь, чтобы легкомысленный маркиз не попал в поставленную ею ловушку, она предупредила его. Одним словом молодая женщина хотела свести деятельность маркиза к нулю и теперь придумывала, как бы поскорее спровадить его из русского лагеря.

Подошедший Суворов прервал размышления графини.

— Вы уж нас простите, дорогая графиня, чем богаты, тем и рады. Мы счастливы, что вы среди нас, но боюсь, что вам придется вынести немало лишений.

— Я не для веселья сюда приехала, дорогой генерал, и буду очень счастлива, если мое присутствие здесь принесет хотя бы немного пользы. О, как бы я хотела разделить с вами все труды и опасности солдатской жизни,— с жаром воскликнула графиня, и слезинка заблестела на ее длинных ресницах.

Суворов почтительно поцеловал руку молодой женщины. В это время к ним подошел князь Сокольский. Отрапортовав генералу по форме и вручив ему пакет от фельдмаршала, молодой офицер прильнул губами к протянутой ручке графини. Она поспешно отдернула ее и укоризненно покачала головой, бросив быстрый взгляд на Суворова, но тот углубился в чтение предписания главнокомандующего.

ГЛАВА XVII

Графиня Бодени уже неделю живет в русском лагере и удивляет всех своею неутомимою энергией. При помощи штаб-лекаря она выбирала место для лазарета. На берегу речки Боруя, среди тенистых деревьев раскинут целый ряд больших шатров, с каждым днем прибывают выпи-санные графиней из Вены инструменты, перевязочные

средства, медикаменты, белье, походная мебель, одним словом все то, что требуется для благоустройства хорошего лазарета. В то время русская армия была бедна докторами, мало-мальски подготовленных фельдшеров не было вовсе. Их обязанности исполняли простые цирюльники. Графиня обратила и на это внимание и за свой счет пригласила из Вены несколько врачей — хирургов и фельдшеров. В лазарете появились уже больные. Графиня навещала их, ухаживала за умирающими, наблюдала за чистотой и опрятностью в лазаретных шатрах и учила прислугу ухаживать за больными. Все это делалось ею так просто, так естественно, без малейшей тени рисовки, что даже недоверчиво относившийся к ней Бороздин в конце концов устыдился своего недоверия и теперь заглаживал свою вину, стараясь быть усердным помощником молодой женщины.

Товарищи подтрунивали над бригадиром, говоря, что он помолодел и смотрит петушком, но Бороздин добродушно отшучивался.

— Пробудет она у нас, братцы, еще неделю и все вы потеряете головы. Мочebelов и теперь ее потерял, Милорадович давно ходит без головы, а наш отец-командир начал уже писать стихи в честь прекрасной графини.

Присутствовавший при этом Суворов покраснел и заморгал глазами.

— Прочти нам Александр Васильевич, — приставал к нему Бороздин, ведь в обществе любителей российской словесности прочтешь, прочти и нам, не отпирайся.

— Я не отпираюсь, на досуге прочту, коли не будешь школьником. Графиня — сама воплощенная добродетель, а добродетель воспевается. Нечего удивляться ни мне, ни Милорадовичу, ни Мочebelову... Мы отдаем должное должному. Да и тебе, Михайло, лучше знать таких женщин, как графиня, а не как Эстелька.

— Твоя правда, Александр Васильевич, — серьезно отвечал Бороздин. — Да с Эстельками-то я знался потому, что таких женщин как графиня не видывал, ну а наши дамы... Нет, лучше уж Эстельки, чем наши фарфоровые куклы.

Суворов вздохнул.

Какова-то она, та, которую нашел ему отец, такая ли, как выражается Бороздин, фарфоровая кукла или нет... Отец пишет — образованна умная... Отец ошибаться не может, он сам человек образованный... только зачем я встретил графиню... И старый холостяк вздохнул снова.

Вздыхал не только Суворов, вздыхали и все старшие и все младшие офицеры.

Обворожительная графиня всех пленила, всех влюбила в себя. Была со всеми ласкова, приветлива, мила, предупредительна, но предпочтения не оказывала никому.

По вечерам, когда спадал дневной жар, у шатра графини собиралось многочисленное общество офицеров, завязывались оживленные разговоры. Всегда присутствовавший на таких чаепитиях Суворов принимал деятельное участие в беседе и обыкновенно краткий до лаконизма, он становился красноречивым. Говорили обо всем: о войне, об освобождении славян, об искусстве, литературе, и Суворов, мастер военного дела, оказался не только большим любителем, но и знатоком изящной словесности. Несмотря на условия военного времени, нарушающие аккуратную доставку корреспонденции, он получал много французских, немецких и русских газет и журналов, и чаепития у графини нередко превращались в литературные вечера...

Так незаметно шло время. Лазарет, наконец, был вполне устроен и снабжен всем необходимым и графиня, окончив здесь свою миссию, готовилась покинуть Гирсово.

Близость ее отъезда повергла всех в уныние. Радовался только князь Сокольский, задержавшийся в Гирсове более, чем ему следовало. Он ревновал графиню ко всем и боялся за ее безопасность; турецкие разъезды все ближе и ближе показывались у Гирсово, и ждали, что вот-вот неприятель обрушится на передовой пост с его небольшим гарнизоном. Однажды князь сидел в шатре у графини Бодени и строил планы о будущем, как к нему явился вестовой с предписанием главнокомандующего. Фельдмаршал требовал немедленного возвращения его в главную квартиру. Делать было нечего, пришлось покориться участи и он с болью в сердце распрощался с своею возлюбленной. При выходе из шатра, князь столкнулся с маркизом де Ларош.

Тот недобро посмотрел на него, но учтиво поклонившись, посторонился.

Как только пола шатра опустилась, выражение почтительности исчезло с лица маркиза. Он бросился на складную скамейку и молча испытующим взглядом смотрел на графиню.

— Ну-с, дорогая моя,— начал он резким тоном,— вы теперь будете утверждать, что ваши отношения к этому мальчишке князьку самого невинного свойства.

Графиня хотела отвечать, но он остановил ее.

— Не оправдывайтесь. Я от слова до слова слышал весь ваш разговор с ним. Не оправдывайтесь — вы его любовница!

— Да вы с ума сошли, как вы смеете...

— Не говорите, графиня, о том, что я смею или нет. Если бы не смел, так и не говорил бы вам. Берегитесь. Вы ведете двойную игру и с русскими, и с нашим министром, герцогом д'Эгильоном, да и со мною. Берегитесь, графиня!

Молодая женщина вспыхнула.

— Герцог д'Эгильон такой же негодяй, как и вы.

— Берегитесь, графиня, я не пощажу ни себя, ни вас. Я выдам вас.

Молодая женщина истерически расхохоталась.

— Выдадите? Посмотрим,— и она позвонила.

— Попросите ко мне генерала Суворова,— обратилась она к вошедшему лакею, недавно прибывшему из Вены в Гирсово.

Понимавший по-немецки, маркиз был удивлен этим приказанием.

— Зачем вы послали Иоганна за Суворовым,— спросил он графиню.

— Затем, чтобы сказать ему, что он оказывает гостеприимство шпионке министра Людовика XV, герцога д'Эгильона и французскому офицеру, находящемуся на турецкой службе и теперь шпионящему в русском стане.

— Да вы с ума сошли... Знаете ли, что нас ожидает — виселица,— испуганно заговорил маркиз.

— Хотя бы десять виселиц. Такая жизнь, какую веду я, хуже виселицы... Впрочем русские, хотя вы их называете варварами, рыцари более чем вы. Они женщины не повесят, а вот, насчет вас — ручаться не могу.

— Анжелика!..

— Не смейте так меня называть!

Маркиз бросился перед молодой женщиной на колени.

— Анжелика, дорогая моя, прости меня, не виселица меня страшит, ты знаешь, я храбр, меня страшит потеря твоей любви, твоего уважения.

— Теперь не время говорить об этом. Если вы не хотите мне опротиветь или попасть на виселицу, немедленно, сейчас же исчезайте. Уезжайте на охоту и не возвращайтесь.

Графиня с чувством брезгливости протянула руку, которую молодой человек осыпал страстными поцелуями

Чувство жалости шевельнулось в душе молодой женщины. Хотя она и презирала его, но ведь презрение это умерялось сознанием, что он любит ее. А кому неизвестно, что женщина многое простит тому, кто любит ее, даже и тогда, когда она сама равнодушна. К тому же графиня беспристрастно относилась и к себе. Для того, чтобы презирать, нужно самой быть безупречной, а она...

— Арман,— сказала она ласково,— бросьте вы турок, уезжайте в Париж... ведь не вконец же вы испорченный человек...

— В Париж? Вы забываете, что там меня ожидает, если герцог и дю-Бари не заплатят мои долги, а разве они заплатят, если я вернусь до окончания войны... Нет, люби меня таким какой есть. Клянусь, что я стану на честный путь, все заглажу...

Раздался голос Суворова, он приближался к шатру и по дороге шутил с солдатами.

— Уходите скорее,— шепнула графиня.

Вошедший в шатер Суворов удивился, увидя графиню взволнованной. Он привык ее видеть всегда улыбающейся, приветливой.

— Что с вами дорогая графиня, вы чем то недовольны?

— Ах, Александр Васильевич, мой управляющий ужасный человек. Бог весть о чем он думает: все напутал и нечего не исполнил из моих приказаний. Он ужасно рассердил меня.

— Вам нужно переменить его,— серьезно отвечал Суворов,— французы народ крайне легкомысленный.

— Он не стоит того, чтобы о нем говорили, Александр Васильевич. Вы простите, что я вас побеспокоила. Вы обещали покататься со мной верхом, но до сих пор нам не довелось исполнить наше желание. Не проехаться ли нам теперь, кстати жара спадает.

— Теперь, с большим удовольствием.— И генерал от радости подпрыгнул несколько раз на одной ноге, но сейчас же остановился, покраснел и сконфузился.

— Верхом, с удовольствием, с удовольствием,— проговорил он в смущении.— Я сейчас прикажу оседлать лошадей.

Графиня не раз слышала о чудачествах и различных выходках Суворова, но до сих пор не была свидетельницей

этих выходок. Суворов в ее присутствии держал себя также, как и все светские люди. Правда, манеры его были угловаты, первое время он чувствовал себя в ее присутствии неловко. Графиня увидела это впервые и ей сделалось не по себе.

«Как сочетать ум этого человека с подобным мальчишеством?» — думала она.

Было ли Суворову неловко за его выходку, угадал ли он мысли графини — не знаем, только он сам завел с нею об этом речь, едва они подъехали к берегу Боруя.

— Дорогая графиня, вас поразила выходка клоуна, которую позволил себе русский генерал в присутствии дамы?

— Вы слишком строги к себе, Александр Васильевич.

— За то вы слишком со мною любезны, но позвольте мне продолжать. Моя выходка не только вас поразила, но и не понравилась. Не возражайте графиня, — горячо продолжал Суворов, видя ее желание протестовать. — Этого и быть не могло иначе. Вы женщина умная и, следовательно, могли истолковать суворовские чудачества так, как они должны быть истолкованы умным человеком, то есть, желанием с моей стороны казаться оригинальным. Буду с вами откровенен, графиня. Не знаю почему, но только два человека — вы да Бороздин, пред которыми душа просится наружу. Быть может потому, что мне не хотелось бы, чтобы вы думали обо мне не так как есть... Видите ли, дорогая графиня, я люблю военную службу, люблю ее с детства. Люблю ее не для парадов, а для дела, дело же может делать только тот, у кого сила. У кого же сила в армии? У начальства. Чем больше, чем старше начальник, тем больше он может сделать. Если вы мне поверите, что все помыслы мои направлены к пользе Отечества, к славе моей Государыни, то поймете мое желание к достижению власти... Той власти, которая у меня теперь — мне мало. Мне нужно ее много, очень много, я сам даже не знаю, сколько... Столько, чтобы я мог, опираясь на нее, служить Родине без препон, без интриг, а власть дается с чинами... да чины то даются не всякому. Вы думаете, дорогая графиня, достаточно быть честным, умным, талантливым, храбрым? Нет, этого мало. Я десять лет тянул солдатскую лямку, а Румянцев на 22-м году жизни стал генералом, Репнин был генералом в 28 лет, Салтыков в 25 лет от роду, а я на 25-м году дослужился только до чина прапорщика. Оно и понятно: Румянцев,

Салтыков, Репнин со связями, со знатным родством. У меня ничего этого не было. Способностями меня Бог не обидел, образованием тоже: я учился долго и много и, как показала моя долголетняя боевая служба, учился не без пользы. Но способности и служба не всегда обращают на себя внимание начальства, и если оное их заметит, так только затем, чтобы воспользоваться этими способностями, а плоды их приписать себе. В этом мне не раз пришлось убедиться. Одна только матушка Царица, для которой равны все ее подданные, могла оценить способность офицера, но для этого нужно, чтобы она знала этого офицера, а кто ей представит его, неизвестного, затертого в армии? Много у нее и храбрых, и умных офицеров, да где ей всех знать! Вот я стал добиваться того, чтобы матушка Царица меня узнала; у всякого своя манера, у меня тоже была своя. О полковнике, который хорошо учит солдат, хорошо служит, не станут много говорить, а о полковнике, который нет, нет, да и закричит петухом, прыгает на одной ноге, заговорят сразу. Одни назовут чудаком, другие дураком, а такая слава, сами знаете, быстро бежит. Добежала она до матушки Царицы. Захотелось ей увидеть полковника-петуха. А мне, матушка только этого и надо было. Пускай государыня думает, что Суворов чудаком, да только она узнает, что он не дурак. Увидела раз, другой и оценила чудака Суворова... Государыне донесли, что Дюмурье в Польше разбит на голову, конфедераты рассеяны, сам Дюмурье покинул Польшу. Кто командовал войсками? — Суворов. А, это тот чудаком Суворов. Огинский и Беляк разбиты. Не чудаком ли Суворов разбил их? Он самый. Да он не только умеет кричать петухом, а и неприятеля умеет заставить выть волком. В другом конце Польши туго приходится — послать туда Суворова. Сперва узнали, что он чудаком. За чудаком начали зорко смотреть и увидели, что на войне он так чудит, что невесело от его чудачеств приходится неприятелю. А мне, матушка, только и нужно было, чтобы меня заметили. Заметному человеку легче и чины приходят, а чины мне для пользы царской нужны.

Суворов замолчал.

— Ну, а привычка, вторая натура. Привык, да нет, нет и теперь фортель какой-нибудь выкинешь...

— Александр Васильевич, вы мне рассказали только то, что я предугадывала, смутно чувствовала, — сказала задумчивым тоном графиня. — Я горжусь вашим доверием,

горжусь вашим отношением ко мне и меня ужасает мысль, что я не заслужила его, что быть может настанет время, когда вы пожалеете о том доверии, о том чувстве дружбы, которыми дарили меня,— закончила молодая женщина с отчаянием в голосе.

— Графиня!..

Но молодая женщина успела уже опомниться.

— Быть может, такого времени и не будет, может быть я заслужу и оправдаю ваше доверие, но оно для меня так дорого, что одна только мысль, что вы можете разочароваться во мне, приводит меня в ужас. Я всегда боюсь, когда люди, уважением которых я дорожу, ставят меня на высокий пьедестал, как вы, Александр Васильевич. На высоте устоять трудно... Я боюсь, что кажусь вам лучше, чем на самом деле.

Говоря это, графиня при помощи Суворова, сошла с коня и присела на камне у берега реки.

— Дорогая графиня, может быть, вы сделаете мне что-нибудь хуже, не знаю, но верьте мне, это не заставит меня разочароваться в вас, потому что сознательно вы худого ничего не можете сделать,— отвечал генерал, горячо целуя ее руку.

Молодая женщина пожала ему руку.

— Если бы я был моложе на десять лет и...— вздохнул Суворов.

— И... что? — улыбаясь, спросила графиня.

— И не так уродлив,— проговорил Суворов, краснея и запинаясь.

Молодая женщина подарила его обворожительной улыбкой и протянула ему обе руки.

Суворов упал на колени и осыпал маленькие ручки горячими поцелуями.

— Дружба, Александр Васильевич, не знает ни красоты, ни уродства,— отвечала графиня, целуя его в голову.

Суворов поднялся с колен.

— Да, дружба!— и тяжелый вздох вырвался из его груди,— дружба... Клянусь, графиня, я буду вам верным, искренним другом,— сказал он со вздохом.

Со стороны лагеря раздалась ружейная трескотня.

— Что это? — вскричал Суворов.

Барабанный бой был ответом:

— Тревога!

Он помог графине сесть на лошадь, сам быстро вскочил в седло и они вместе помчались в лагерь, где царила уже суматоха.

ГЛАВА XVIII

— Ваше превосходительство, турки наступают,— доложил Суворову дежурный по лагерю, едва он с графиней Бодени прискакали на линейку.

— Дорогая графиня,— обратился генерал к своей спутнице,— отправляйтесь в лазарет, там вы будете в безопасности от выстрелов, а теперь позвольте проститься.

— Управляющий графини,— продолжал дежурный по лагерю,— уехал на охоту, наткнулся на турецкие разьезды и, по всей вероятности, убит. Раненая лошадь прибежала в лагерь без седока.

Графиня вскрикнула, но дежурный по лагерю продолжал:

— Казачьи разьезды, высланные на поиски поручика Вольского подоспели вовремя. Он обошел турецкий лагерь в Кара-су с правого фланга, но турки выслали за ним погоню. Он был уже ранен, когда казаки подоспели на выручку. Вольский теперь в лазарете...

— Вольский ваш любимец, генерал, о котором вы мне говорили... Сейчас иду и беру уход за ним на себя,— и перекрестив Суворова, она быстро помчалась по направлению к лазарету. В присутствии генерала она чувствовала себя неловко. Исчезновение маркиза де-Лароша ее радовало и в то же время пугало. По временам он ей был ненавистен. В душе молодая женщина решила отделаться и от своего гнусного замысла и от сообщника, но как, она еще не придумала и исчезновение маркиза развязывало теперь ей руки, она решила теперь посылать французскому министру только такие сведения, которые вводили бы его в заблуждение и не вредили бы русским, а, между тем, маркиз привезет туркам ценные сообщения о численности русского отряда, о силе и расположении укреплений.. Впрочем, она успела хорошо познакомиться с русским солдатом и за него не боялась: шпионство де-Лароша не могло принести отряду большого вреда.

В этом графиня, действительно, не ошибалась. Суворов уже обучил полки по-своему, они успели узнать своего начальника, и между отрядом и его командиром образовалось то духовное единение, которое удесятеряет силу отряда, придает ему спокойствие и энергию, а в бою делает его грозой неприятеля.

Едва Суворов прискакал к передовым укреплениям и окинул взором расстилавшееся впереди пространство, как команды одна за другою понеслись по отряду, казаки были высланы вперед с приказанием завязав перестрелку,

отступать сперва не торопясь, а потом бежать в укрепления без оглядки.

— Артиллерия, молчи,—крикнул он артиллеристам,— пусть турки обрадуются бегству казаков. Нужно приманить их поближе к шанцам... Не жалея тогда картечи...

— Скачи к Мочebelову,—приказывал он дальше своему ординарцу Горшкову,— пусть немедленно перебирается с своей бригадой через Боруй и двумя каре идет на турецкий правый фланг, там сам увидит, что делать.

Пока казаки завязывали перестрелку, турки выстроились по-европейски в три линии и двигались вперед.

— Уроки французских офицеров не прошли даром,— заметил Суворов,— да только вряд ли от этого будет толк.

Турецкая пехота подошла к Гирсовским укреплениям совсем уже близко, но русская артиллерия безмолвствует. Ободренные турки поставили батарею и пока она обстреливала шанец, впереди которого Суворов наблюдал турецкое движение, они успели рассыпать часть своей пехоты.

— Что ни час, то сюрприз,— удивляется Суворов,— они словно становятся европейцами...

Не успел генерал высказать своей мысли, как турки с такой стремительностью бросились в атаку, что он едва успел вскочить за бруствер; но атакующих встретил такой жестокий картечный огонь, что они дрогнули и остановились в недоумении. Стремительность удара была потеряна, а казаки, между тем, приостановив свое мнимое бегство, перестроились лавою и охватили левый фланг турок, Мочebelов же напирал на их правый фланг. Турки здесь держались упорно... Суворов заметил это и помчался к бригаде Мочebelова.

— Молодцы, ребятушки,—кричал он солдатам, объезжая батальоны,— я уж курьера послал фельдмаршалу с донесением о вашей победе... Так, так окаянных... Пусть знают, что с кагульскими героями дело имеют.

Радостным «ура» встречали солдаты своего любимого начальника, а барабанщик одного из батальонов, увидев Суворова и, считая его прибытие сигналом к рукопашной схватке, не ожидая команды, ударил «атаку», подхватили горны и барабаны, по всей линии загремела атака, смолкли выстрелы и бригада со штыками наперевес бросилась на высоты. Упорно защищались турки, но недолго. Они были вынуждены покинуть свои позиции, но уступать поля сражения не хотели. Пользуясь крайне пересеченною местностью, они заняли рвы, рывины

и овраги. Но ободренные успехом русские батальоны выбивали их и оттуда. Не выдержали в конце концов атаманы и обратились в беспорядочное бегство. Победа была полная. И сколько же трофеев досталось на долю победителей!.. Гусары до поздней ночи преследовали бежавших турок и только полнейшее изнеможение людей и лошадей спасло остатки турецкого отряда от гибели.

Сражение это, в котором 3,000 русских одолели 12,000 турок, казалось, должно было упрочить положение Суворова в армии. Имя его с восторгом произносилось в рядах, но в верхах оно не получило должного признания. Правда, извещенный о победе Румянцев приказал отслужить во всей армии молебны, а Суворову написал: «За победу, в которой признаю искусство и храбрость предводителя и мужественный подвиг вверенных вам полков, воздайте похвалу и благодарение именем моим всем чинам, трудившимся в сем деле». Суворов, читая записку, улыбнулся при последних строках.

— Ваше сиятельство господин фельдмаршал, будьте милостивы, слушайте повеления Матушки-Царицы, да не сидите в Яссах, все мы вам будем благодарны,— язвил Суворов среди окружающих, но приказание фельдмаршала исполнил в точности и передал его благодарность войскам.

Два дня солдаты подбирали раненых и убитых турок. Их находили всюду: и на полях, и в оврагах, и в бурьяне.

Едва графиня Бодени прибыла в лазарет, как ружейная трескотня дала ей знать, что дело завязалось. При первых звуках перестрелки она опустилась на колени и с жаром начала молиться. Молитва ее была горяча, но бессвязна. Молодая женщина не могла дать себе отчета, о чем она молится, чего у Бога просит.

— Господи, прости мои прегрешения, отврати лицо твое от мерзости моих деяний... Ты, который читаешь в сердцах людей, видишь мое горькое раскаяние, научи меня выйти на путь добродетели, истины. Боже правый, пошли победу твоим воинам христианским над неверными. Спаси его...

«Там ли он, там ли князь Иван? — мелькнуло в голове графини, и мысль о князе Сокольском, опасение за его жизнь прерывает молитвенное настроение молодой женщины... Да, его здесь нет,— вспоминает она,— испуг отнял у меня память. Он теперь в главной квартире... Господи спаси его, спаси всех их... Де-Ларош,— снова вспоминает

графиня,—ведь он здесь, он среди турок. Что, если он попадет в плен или будет убит и узнан русскими?.. Тогда я погибла! О Боже, спаси и помилуй! — и молодая женщина в отчаянии ломает руки...—Господи, спаси его... он грешник как и я, но я обещаю тебе, обещаю за него, что он искупит свой грех, только спаси его!»

Отчаянный крик — «Вперед, барабанщик — атаку!» — прервал ее молитву.

Молодая женщина очнулась и увидела вскочившего с постели бледного молодого человека. Он был в бреду, глаза его горели лихорадочным огнем... Воображая себя впереди солдат, он стремительно бросился к выходу из шатра, но служители удержали его и силою уложили в постель. Повязка сползла с его раненной головы и по лицу струилась кровь.

«Вольский,— решила графиня,— бедный, как он страдает».

— Если он не успокоится, придется его связать,— заметил графине доктор,— иначе он может истечь кровью.

Но вязать больного не пришлось. После минутной вспышки энергии наступила апатия, и он лежал почти неподвижно. Доктор, сделав перевязку и наложив холодный компресс, перешел к другим кроватям, которые быстро заполнялись. Один за другим раненые прибывали в лазарет и скоро их пришлось класть на землю не только в шатрах, но и возле них. Стоны несчастных разрывали душу графини, а ружейная трескотня и гром орудий повергали ее в ужас.

— Боже, дай мне силу перенести это,— молилась графиня.

Доктор немец, видя бледное, испуганное лицо молодой женщины, успокаивал ее.

— Не беспокойтесь графиня, звук не ранит и не убивает, а пули сюда не долетят, мы далеко, вне досягаемости выстрелов.

Но добродушный немец не понимал испуга графини. Не выстрелы ее страшили, а неизвестность, боязнь, чтобы де-Ларош не возвратился в русский лагерь пленником.

— Шпионы, ваше превосходительство, шпионы,— кричал в бреду Вольский.

Графиня вздрогнула.

— Вот, вот,— указывал на нее Вольский,— нет, нет не она, она несчастное существо... вот он, в серой куртке, вот шпион, держите его..

«Это божья кара,» — в ужасе думала графиня.

Она бессознательно опустилась на колени перед кроватью раненого.

— Вы знаете меня? — спросила она у раненого по-французски, — говорите же, знаете кто я.

Но Вольский смотрел на нее уже влюбленными глазами.

— Милая, дорогая моя, — говорил он, схватив холодную руку графини и прильнув к ней пылающими губами. — О, как люблю я тебя, как исстрадался я в разлуке с тобою... Варя, милая моя, скажи же мне хотя одно ласковое слово, скажи, что ты любишь меня и я готов страдать еще больше... О...ох, как горит, как больно!..

Молодая женщина вздохнула с облегчением. Она нежно поправила повязку на голове молодого человека и поднесла ему прохладительное питье.

Выстрелы становились все чаще и чаще, — крики «алла» и «ура» долетали до лазарета и заставляли вздрагивать молодую женщину. По временам ей казалось, что русские опрокинуты, что турки вот-вот ворвутся в центр русского расположения, и она становилась тогда на колени и горячо молилась.

Бой длился 3—4 часа, но время это графине казалось целою вечностью. Мало-помалу она собралась с мыслями и вспомнила о своем назначении в лазарете. Быстро вскочив с походной скамейки и еще раз поправив повязку на голове Вольского, она начала обходить других раненых, помогая докторам при перевязке. Выстрелы между тем становились все реже и реже, все тише и тише, а раненые между тем прибывали.

— Все кончено, — сказал молодой доктор, обращаясь к графине, когда смолкали последние выстрелы. — Без сомнения мы одержали победу, хотя не дешево она нам стоит, — указал он глазами на сотни раненых.

— Победа, братцы, победа! — раздалось при входе в шатер.

Два солдата на носилках вносили в лазарет молодого офицера. Лицо его было мертвенно бледно, взор уже помутился, а побледневшие губы не переставали лепетать: «Победа, братцы, победа.»

— Ваше благородие, — обратился один из солдат, неся носилки, — посмотрите раненого, а то у их благородия нога еле-еле держится, вот-вот отвалится.

Молодой офицер полусидел на носилках. Ноги его были прикрыты шинелью. Графиня, приблизившись к раненому, осторожно сняла шинель и чуть не лишилась чувств

Носилки были полны крови, изуродованная нога молодого человека держалась лишь небольшим куском соединительной ткани кожи.

— Доктор, Бога ради скорее сюда! — крикнула она кончившему перевязку другого раненого доктору, а молодой офицер бессознательно повторял: «Победа, братцы, победа...»

Доктор подошел к раненому, посмотрел его изуродованную ногу, сосчитал пульс и безнадежно махнул рукой.

— Здесь смерть одержала победу над жизнью, — сказал он молодой женщине. — Операция здесь уже не нужна, он умирает от потери крови...

В шатер вносили новых и новых раненых.

Графиня Бодени чувствовала себя бесполезной: «Мало хотеть — надо уметь, — решила она, — а я не гожусь для ухода за ранеными...»

Вошедший в лазарет Суворов застал ее у постели Вольского и пожатием руки поблагодарил за заботы о раненом. На глазах у генерала блестели слезы.

— Вы видите, графиня, сколько пролито крови, а сколько ее еще прольется... и все напрасно. Мы одержали победу, а к чему она поведет? Нужно идти дальше, нужно идти на Царьград, а там... в Яссах об этом не думают, — и удрученный Суворов поник головою...

— Нет, — воскликнул он горячо, — я солдат, а не мясник, проливать даром кровь не хочу, и если меня посадили здесь только отстреливаться от турок да беречь сладкий сон господина фельдмаршала, я все брошу и уеду из армии. Такая война — преступление и перед Богом, и перед государыней.

Суворов молчал, молчала и графиня.

Подошедший доктор — немец прервал их молчание.

— Поручик Вольский будет жив, но для этого нужен за ним тщательный уход. Его здесь оставить нельзя, нужно как можно скорее перевести в отдельное помещение, — сказал доктор.

— Я возьму его к себе в шатер, — сказала графиня, — и будьте уверены, дорогой генерал, я буду неусыпной сиделкой.

Суворов поцеловал руку молодой женщины.

— Сохранит матери сына, а армии прекрасного офицера, — сказал он

Вскоре пришел и Ребок. Успокоившись за здоровье своего кузена, он пошел распорядиться разбивкою шатра рядом с шатром графини Бодени, куда вечером перенесли раненого.

Было решено: как только Вольский придет в сознание и в состоянии будет выдержать перевозку в экипаже — перевезти его в Бухарест и поместить в доме графини, решившей во что бы то ни стало спасти жизнь молодому человеку.

ГЛАВА XIX

— Теперь мы засели здесь надолго без дела, — говорил Суворов Ребоку. — Фельдмаршал приказывает нам готовиться к зиме и рыть для солдат землянки. Не знаю, выдержи ли я такую жизнь... а тебе здесь, Ребок, делать нечего: можешь ехать в Москву. Невеста, чай, ждет не дождется.

— Я благодарен вашему превосходительству за отпуск, точно так же, как и за представление брата к Георгиевскому кресту, но с отъездом хочу повременить, пока он не оправится. Поедем тогда вместе.

— Твое дело. А что касается Георгиевского креста, так твой брат заслужил их два. Помилуй Бог, отбил турецкое знамя. По статуту уж за одно это полагается Георгий, а все остальное прочее... Какие привез он сведения... И молодец же твой брат, помилуй Бог, молодец.

Разговор этот между Суворовым и уже произведенным в подполковники Ребоком происходил вечером. Наутро Ребок должен был уехать в Бухарест, куда графиня Бодени перевозила пришедшего в сознание Вольского, и теперь он явился к Суворову проститься и просить, чтобы отпуск был отложен, а пребывание в Бухаресте зачтено служебной командировкой.

Получив согласие Суворова, он зашел в шатер к кузне. Тот спал, графиня Бодени сидела у его изголовья и читала книгу.

Немало бессонных ночей провела молодая женщина у изголовья раненого, немало передумала и переживала она, слушая бред молодого человека. Кто ее видел две недели тому назад цветущей и веселой, тот не сразу узнал бы ее теперь, до того она похудела... Печать заботы и беспокойства легла на ее прекрасное лицо.

— Дорогая графиня, — обратился к ней вошедший Ребок, целуя у нее руку, — завтра предстоит далекий путь, вы так устали, усните хоть сегодня и предоставьте кузена моему попечению.

— Я успела отдохнуть днем, для вас же отдых необходимее. Не забывайте, что вам, господин Ребок, немало

забот будет в пути и о больном и обо мне. Итак, разделим же хлопоты поровну: сегодня я, завтра вы, тем более что мне хочется окончить вот эту книжку, которую завтра я должна оставить генералу.

Ребок повиновался. Графиня его торопила, и он, распрощавшись, ушел к себе в палатку, перекрестив спавшего кузена.

В шатре, освещаемом одной сальной свечой, наступила тишина, нарушаемая время от времени шелестом переворачиваемых графинею страниц.

Но вот раненый пошевелинулся и открыл глаза. Молодая женщина оставила чтение и наклонилась к больному.

— Как вы себя чувствуете? — спросила она его по-русски.

— Благодарю, графиня, — отвечал ей Вольский по-французски, — не знаю, долго ли я был без памяти, но она вернулась ко мне вот уже как несколько часов, теперь я чувствую только страшную слабость.

Молодая женщина вздрогнула.

— Вы меня только что называли графинею, — заговорила она тоже по-французски, — значит, вы меня знаете.

Вольский смутился. Конечно, он узнал ее несколько часов тому назад, как и узнавал в бреду, но он не решался еще приступить с объяснением и не хотел как-нибудь обидеть ее. Инстинктивно он чувствовал, что она ухаживала за ним во время болезни, измученное выражение лица молодой женщины говорило ему, что не легко было это ухаживание. Он не мог не быть ей благодарным за ее заботы и не хотел быть жестоким.

— К сожалению, я не знаю вашего имени, — отвечал Вольский, — я знаю только, что вы добрая душа, облегчавшая страдания раненого, что вы — графиня, мне тоже известно, так как во время болезни, когда сознание на минуту возвращалось ко мне, я слышал: вас называли графинею... Будьте добры, скажите, где я нахожусь? Кажется, у своих, у русских?..

— Да, вы в Гирсове, в отряде Суворова...

— Слава Богу, — медленно проговорил раненый.

— Мы все рады, что вы здесь: и ваш кузен, и генерал, и я, и товарищи. Однако вам много говорить нельзя, вот вы и устали, лежите спокойно.

Вольский замолчал, он действительно чувствовал усталость. Но молчание продолжалось недолго. Он на лице молодой женщины читал то, что творится в ее душе, и ему стало жаль ее

— Графиня,— начал он,— я имею силы настолько, чтобы сказать то, что считаю нужным. Вы меня спросили: знаю ли я вас, и я солгал. Да, я знаю вас, вы графиня Анжелика Бодени, невеста маркиза де Лароша...

Крик отчаяния вырвался из груди молодой женщины.

— Бодени — да, но не невеста де Лароша и ей не была бы никогда, даже и тогда — если бы меня пощадили.

— Ваша боязнь, графиня, напрасна. Клянусь, ваша тайна умрет вместе со мною. Вы меня спросили: знаю ли я вас, и я вам отвечаю, что знаю. Я видел вас с маркизом в лесу в цыганском таборе, близ Туртукая, где я, как и вы, был временным гостем. Там я слышал ваш разговор с маркизом и из него узнал о цели вашего пребывания в русской армии.

Графиня закрыла лицо руками и в отчаянии восклицала:

— О Боже мой, Боже мой!

— И там я от души пожалел вас...

— Вы пожалели,— с надеждой в голосе вскрикнула молодая женщина и опустилась на колени перед постелью раненого.— Вы пожалели? Так во имя этого благородного чувства, во имя той, которую вы любите и за которую в бреду принимали меня, я вас прошу, умоляю, выслушайте меня, не презирайте меня...

Вольский пожал руку молодой женщине.

— Встаньте, графиня, садитесь поближе и рассказывайте. Отчасти я знаю вас и повторяю, что не презираю, а сожалею о вас. Вы не де Ларош.— Ободренная словами молодого человека, Анжелика встала и пересела на складной стул.

— Вы говорите по-английски? — спросила она Вольского.

— Точно так же, как и по-французски.

— Тем лучше, позвольте мне рассказать историю моей жизни. Вы знаете меня как шпионку французского правительства, интригующего против России. Клянусь вам, что теперь, с того времени как я покинула цыганский табор, я больше не шпионка. Герцог д'Эгильон не получил от меня ни одного сведения, которое могло бы повредить русским; я по прибытии в Гирсово употребляла все усилия к тому, чтобы как можно больше сузить круг деятельности маркиза де Лароша, и уверяю вас, что немного привез он сведений сераскару. Но знаю, что это несколько не оправдывает меня. Я была шпионкой, я шпионила... О, если бы вы знали, как мне тяжело это вспомнить. Слушайте и судите меня.

— Родилась я в Богемии в знатной семье. Молодость я провела в роскоши и богатстве. Матери я лишилась рано, и за воспитанием моим следил отец. Собственно говоря, воспитания в общепринятом смысле я не получила. Правда, мне дали прекрасное образование, профессора пражского университета читали мне лекции. Я училась, быть может, больше, чем это нужно для женщины. Что же касается воспитания, то французенка гувернантка, заменившая мне мать, научила меня хорошим манерам, умению одеваться со вкусом и не останавливаться ни перед чем для достижения своих целей. Впрочем, в последнем помогал ей отец. Жизнь так коротка, говорил он, что и насладиться ею не успеешь, как смерть приблизится, зачем же лишать себя и без того коротких удовольствий. И он был верен себе. Вся жизнь его представляла сплошное развлечение. Живя его жизнью, я привыкла считать и свою жизнь непрерывным праздником. Цены деньгам я не знала и с ранних лет научилась тратить их без счета. Не стеснявший себя в этом, отец не стеснял и меня... Но вот в одно пасмурное осеннее утро отец не вышел из своего кабинета... его нашли в нем мертвым. Я потеряла голову, не знала, что делать. Все хлопоты приняла на себя моя бывшая гувернантка Мопе, но вскоре она заявила, что она в затруднительном положении. В доме не оказалось ни пфеннига, дворецкий заметил, что покойный отец еще неделю тому назад взял все, что можно было взять, и теперь кредиторы осаждают его... Я была беспомощна. Даже всегда находчивая madame Мопе потеряла голову... В это время к нам приехал наш сосед по имению граф Бодени. Мопе рассказала ему о нашем затруднительном положении, он похоронил отца и спустя неделю сделал мне предложение...

Графа Бодени я знала около году, с тех пор как он получил в наших краях наследство и поселился в Богемии. Я знала, что он богат, но богатству я не придавала никакой цены, я и себя считала богатой. Внешние же и умственные достоинства графа не привлекали меня, я находила его и не умным, и не образованным, одним словом, он не нравился мне.

Когда Мопе сообщила мне намерение графа сделать мне предложение, я, не задумываясь, ответила, что никогда не буду его женой.

— Так ты предпочитаешь, следовательно, сделаться нищей, — отвечала Мопе. — Пойми, что у нас нет денег даже для того, чтобы добраться до Праги.

Мне предстоял выбор: выход замуж и богатство или нищенство. Я не привыкла считаться с обстоятельствами, когда дело шло об удобствах и роскоши, к которым я привыкла и жизнь без которых не считала жизнью. Раз мне пришлось выбирать, я выбрала замужество. Через месяц я была графиней Бодени, долги отца были заплачены и замок принадлежал мне, а через три месяца мы были уже в Париже.

Здесь началось то, чем должна была кончиться моя карьера, подготовленная воспитанием отца и *madame Mone*. Вы не знаете, что за омут этот Париж, или, вернее, парижское высшее общество, куда я попала. Если бы я хотела мыслить и чувствовать иначе, чем мыслила и чувствовала тогда, я не нашла бы времени. Это не жизнь, а бешеная скачка за наслаждениями. Что за дело, что дорога испещрена рытвинами и ухабами! По ней скачут, скачут без оглядки, ни о чем не думая, ни о чем не рассуждая или думая только о том, чтобы не отстать от других, перещеголять других в умении весело жить... Веселье, какой бы ценой ни покупалось — это культ парижанина... Для меня это было ново, новизна приятна, и я ей отдалась всецело. Мой муж не отставал от меня, даже опережал во многом... Но, говоря правду, среди этого бесшабашного веселья, ни перед чем не останавливавшегося, ничем не брезгавшего, на меня подчас находили минуты, когда я пробовала относиться критически к окружающим, но должна сознаться, что никогда внутренние достоинства или недостатки окружающих не возбуждали во мне критической оценки. Критике подвергалась всегда внешность. Я попала ко двору. Графиня Дю Бари встретила меня радушно и обещала свою дружбу... Но я не встречала до того времени подобных женщин, и циничная, пошлая фаворитка короля вызвала во мне чувство отвращения. Питала отвращение к ней я не потому, чтобы поведение ее как прошлое, так и настоящее считала предосудительным, нет, а потому что грубые ее манеры уличной женщины меня шокировали. Но это продолжалось недолго. Я увидела, как всё преклонялось перед этой циничной женщиной, я была свидетельницей падения и опалы умного Шуазеля, не заискивавшего перед Дю Бари, и замены его отъявленным негодяем герцогом д'Эгильоном — другом фаворитки, и пересилила свою брезгливость. Для того чтобы занимать видное место в обществе, нужно было бывать при дворе, а бывать при дворе — нужно было быть в милости Дю Бари...

и я сделалась подругою этой куртизанки... Зато жилось очень весело, поклонников было у меня много... Муж мой изменял мне на каждом шагу. Быть верным жене — неприлично, а он был раб светских приличий. Я не изменила ему только потому, что не представлялось случая — из окружающих меня поклонников никто мне не нравился... Правда, встретила я одного русского офицера... Он был так юн, так чист, так не испорчен, что... вы меня понимаете... Он клялся мне в любви, я с ним кокетничала, и, если бы он не был так неопытен, я, наверно, не осталась бы у мужа в долгу. Он мне нравился, мне казалось, что я люблю его, но, к несчастью, он скоро уехал, его вызвали в Россию, и я опять осталась в омуте парижской жизни... Но судьба готовила мне сюрпризы. Однажды муж рано утром уехал из дому, а через три часа его привезли мертвым. Он был убит на дуэли... Я опять очутилась в затруднительном положении. Оказалось, что муж уж год как прожил все свое состояние и год уже мы жили долгами. Снова явились кредиторы, но не наши, богемские, сговорчивые, а французские, беспощадные, как Шейлок... О, вы не знаете, что значит быть должным французу... десять кредиторов евреев не стоят одного француза. Скажу вам только, что дружба Дю Бари спасла меня от долговой тюрьмы. Я заложила свои богемские поместья и кой-как расплатилась с долгами, но жизнь предъявляла свои требования, явились новые долги, и снова грозила тюрьма. От нее спасла меня Дю Бари и на этот раз, но как! — ценою моего позора. Она дала мне понять, что может помочь мне раз, другой, но помогать всегда она не может и что я сама должна о себе заботиться... Но как?

— Герцог д'Эгильон вам поможет, — сказала фаворитка Людовика XV.

На другой день я застала у нее герцога. Он был очень любезен, вызвался сам ссудить меня небольшой суммой, но при этом заметил, что сумма эта много пользы мне не принесет.

— А между тем, графиня, с вашим умом, с вашим образованием вы могли бы прекрасно устроиться, — сказал он.

— Научите, герцог.

— С удовольствием. Среди наших дам я не встречал никого с таким образованием, как вы, графиня. Вы молоды, прекрасны. За вами ухаживают все. Вы и как женщина, и как умный приятный собеседник желанны в каждом обществе...

Одним словом, он наговорил мне массу комплиментов и доказал как дважды два четыре, что лучшего агента для целей французской политики, чем я, он найти не может. Хорошие услуги государство хорошо и оплачивает... мне говорить трудно... Ну, одним словом, я согласилась... Я должна была поехать в русскую армию, мое славянское происхождение должно было открыть мне все двери... Д'Эгильон расходов на мое представительство не жалел... Я приняла его предложение, почти не рассуждая...

Герцог был прав, рассчитывая на меня. Свою роль я сыграла прекрасно... Но... он не рассчитал всех обстоятельств... Я попала в среду для меня чуждую, незнакомую... По мере того как я знакомилась с окружающей меня средой, пред моими глазами открывался новый, неведомый мне доселе мир. Я встретила людей тоже образованных, тоже знатных, богатых, тоже с человеческими слабостями, но это были не те люди, которых я знавала раньше... и тут-то я заметила ту пропасть, которая меня отделяет от них. В то время когда они жертвуют жизнью для освобождения ближнего — я гублю его и для чего?.. Для того чтобы иметь возможность иметь деньги... когда я увидела других людей, узнала другие интересы — я поняла всю низость моего ремесла, я ужаснулась... Вы удивляетесь, что гнусность моего поведения стала мне известна только здесь. Правда, вы честный человек, не можете не удивляться. Не скажу, чтобы и меня сначала не покорило предложение д'Эгильона. Но это было одно мгновение... Дипломаты не брезгают ничем, решила я, однако это несколько не роняет их в глазах общества, не лишает их почета и уважения... Дипломат шпионит за своим соседом с помощью шпиона... Ведь и дипломат, и шпион — сообщники. Раз общественное презрение оставляет в покое инициатора, почему же оно должно преследовать исполнителя... Эти софизмы помогли мне отделаться от того неприятного ощущения, которое на минуту мною овладело... А теперь, о, как я страдаю... — и молодая женщина с рыданиями снова упала на колени...

Горе ее было неподдельно, раскаяние искренне. Глядя на страдания молодой женщины, Вольский страдал сам. Слезы блестели на ресницах юного поручика, он нежно взял руку молодой женщины.

— Успокойтесь, дорогая графиня. Спаситель простил раскаявшегося разбойника, не нам судить вас, раз вы покаялись. Вы молоды, перед вами впереди целая жизнь,

и я не сомневаюсь, что в этой жизни несколько месяцев потонут как капля грязи в обширном океане. Я не осуждаю вас, да и никто не осудит, видя вашу душу, ваши терзания... но...

Графиня вздрогнула при этом *но*.

— Но,— продолжал Вольский,— что вы рассказали мне, пусть останется между вами и мною. Никто об этом не должен знать, вы должны в глазах всех оставаться тою, какой вас знают и какой, в сущности, вы есть. Все то, что было в вашей жизни гадкого, нехорошего — ведь это не ваше, это чужое, это посторонний нарост, который теперь свалился... не смотрите теперь на него, вы выздоровели, стали сами собою, какой вас создал Бог: с душой прекрасною, восприимчивою к добру. И я глубоко верю, что Бог поможет вам загладить прошлую вину... Молодая женщина с жаром поцеловала руку Вольского. Поручик смутился и вскочил с постели.

— Ах Боже мой, я забыла... что же я сделала. Бога ради ложитесь, успокойтесь, вам нужен покой, а я...

— Это волнение не повредит мне, графиня,— сказал он, целуя ее руку.— Теперь мне приходится просить вас успокоиться. Забудьте все. Утро вечера мудренее... Завтра придумаем, как бы вам избавиться от герцога д'Эгильона...— Раненый чувствовал себя утомленным и откинулся на подушки... Вскоре ровное дыхание указывало, что он спит.

Волнение и бессонные ночи сказались и на графине, она ощущала себя разбитой и душевно, и телесно. Правда, ей было теперь легче, признание облегчило ей душу, а то сочувствие, которое она встретила в молодом офицере, вселяло в нее надежду, что еще не все потеряно, что она может завоевать себе уважение людей... «Пред вами целая жизнь, в которой утонут четыре месяца, как капля в обширном океане»,— раздавались у нее в ушах слова Вольского...

Долго еще бодрствовала молодая женщина, но волнение и усталость взяли свое, и вскоре сон смежил ее веки.

ГЛАВА XX

Отец Суворова, семидесятилетний старик, генерал-аншеф Василий Иванович давно уже в отставке. Поселившись у себя в имении, он всецело занялся хозяйством, умножая свое состояние. Лето он обыкновенно проводил в деревне, зиму же — в Москве. Образ его жизни не отличался от образа жизни сына, с тою только разницею, что жизнью

Александра Васильевича руководила солдатская простота и отвращение к излишествах, отцом же порою двигала скупость, доходящая до скаредности. Он помнил дни денежных затруднений, помнил те тяжелые минуты, когда неумолимые кредиторы с молотка продавали его имущество... Ни в ком он не встретил тогда ни поддержки, ни помощи. Никто не помог ему выйти из затруднительного положения, а богатых приятелей у него было немало... Они знали, что не мотовством, не игрою он наделал долгов...

Немного получали генералы в те времена жалованья, трудно жилось тому, кто не имел достатка собственного, а еще труднее доводилось тому, на чью долю выпадала служба административная.

Василий Иванович в Семилетнюю войну был генерал-губернатором Данцига. Жалованья генерал-губернатора на жизнь не хватало, а воровать и грабить казну он не умел. Генерал-губернаторство стоило ему долгов и связанного с ними позора... Он долго хранил и передал впоследствии вместе с фамильными бумагами сыну тот номер «С.-Петербургских ведомостей», в котором публиковалось о продаже с аукциона за долги экипажей и другого имущества генерал-аншефа Суворова.

Этот пожелтевший газетный лист напоминал ему о том, что придет беда — друзья не помогут, что на мягкость кредиторов рассчитывать нельзя и чтобы с ними не знаться — нужно копить и копить.

И отставной генерал обратился в скопидома. Мания накопления всегда очерствляет человека, а у Василия Ивановича были к тому же поводы быть черствым по отношению к людям — из тех, с кем годами он делил хлеб-соль, никто не отозвался, когда он попал в беду, зачем же он будет сам церемониться с людьми?

Так он, по крайней мере, старался оправдать перед близкими и перед самим собою ту черствость, которую он проявлял по отношению к людям. Так он оправдывал свое поведение и теперь, когда мы вводим к нему в московский дом читателя.

В эту зиму 1773 года он переехал в Москву поздно, в начале ноября. Он только что возвратился из вновь приобретенной деревни. Год тому назад он ссудил под залог этой деревни ее владельцу, молодому офицеру, тысячу рублей. Срок платежа истек, и Василий Иванович, не получив обратно денег, вступил во владение деревней. Теперь он, продав лес и часть земли за 15 тыс. руб., возвратился в Москву в хорошем настроении духа.

— Шутка ли,— говорил он приехавшей к нему дочери, княгине Горчаковой,— в один год заработать на тысячу рублей пятнадцать тысяч, да еще в придачу усадьбу и несколько сот десятин пахотной земли с крестьянами! Правда, земля в Новгородской губернии плоховата, но все же земля, да притом двести душ крестьян.. Александр на меня плакаться не будет, не придется ему переживать того, что пришлось пережить отцу, достаток оставлю ему хороший, да и вам останется...

Дочь вздохнула, слушая отца.

— Чего вздыхаешь? — озлился старик.

Но дочь молчала.

— Тебе не нравятся мои заботы о вас?.. Ну, говори же, Анна, аль языка у тебя нет?

— Я не смею вас осуждать, батюшка...

— Не смеешь, а осуждаешь; ведь я тебя знаю. По-твоему я поступил неблагородно, не великодушно... а со мною кто был благороден, кто великодушничал?

— Я ничего не говорю вам, батюшка, а все-таки свое бы взяли, а лишек вернули.

— Вернули, много ты понимаешь... Ну да что об этом толковать! Не бабьего ума это дело. Вот сложу руки, тогда поступайте по-своему, а пока я жив — помните, что я отец

Молодая женщина поникла головой.

— Что пишет братец Александр Васильевич? — спросила она у отца.

— Не весело он пишет, вот что, Анна. Плохо тому живется, у кого знатного родства нет. Хорошо, что царица знает Александра, а то его совсем затерли бы... Не дают хода, в черном теле держат. Теперь отдали под команду Каменского, а чем проявил себя Каменский? Ничем. А тут еще зависть к подвигам Александра и к его Георгию второго класса не дает покоя... Пошли клеветы да доносы. Надоело все это Александру, хочет бросить армию. К нам в Москву собирается, пишет, что на днях выезжает... Может статься, уже выехал.

Лицо молодой женщины просияло.

— Ах, как я рада, батюшка. Ведь три года братца не видали... Женить бы его теперь...

Старик улыбнулся.

— Женить... дело хорошее. Ты, Анюта, угадала мои мысли,— ласково продолжал отец.— Я и сам задумал женить Александра, не все же ему бобылем оставаться... Вот ты мне и помоги. Я ему и невесту высмотрел... Знаешь кого?

— Кого, батюшка?..

— Варвару Ивановну Прозоровскую. Дочь князя Ивана Андреевича.

— Варю! — удивилась княгиня.

— Ну да, ее самое, аль не нравится она тебе?

— Нет нравится, она добрая девушка, только не такую нужно Александру. Характеры у них разные, боюсь, не сойдутся.

— Не сойдутся! Пустяки ты говоришь, Анна. Муж должен любить жену, а жена должна повиноваться мужу, вот и все тут, при чем тут характер. Священное писание велит жене повиноваться мужу.

— Так-то оно так, батюшка, да в жизни не всегда так бывает. Времена теремов давно миновали, теперь жизнь мужа и жены не та, что была прежде, да и жены не те. Наши бабушки и читать не умели, а нынче, да хотя бы, к примеру, Варю взять — на французских романах воспитана, голова у нее разными героями набита... братец Александр герой, да только не французского романа, и такой барышне, как Варя, вряд ли понравится. Да к тому же, какая она жена Александру? Братец степенный, серьезный, умный, а у нее на уме финты да прыгание. Попомните мое слово, батюшка, толка из этого выйдет мало.

— Не мели, Анна, вздору

— Не вздор, а дело говорю, батюшка, посмотрите, что братец скажет.

— Александр почтительный и послушный сын.

— И я, батюшка, послушная дочь, а только же нужно правду сказать. Да к тому же братец уж не мальчик Сорок три года, у самого и свой взгляд и опыт есть.

— Ты говоришь, опыт. Верно... на этот-то опыт я и надеюсь. Александр должен понять, что умом да горбом много не добьешься. Нужны и связи, а где их взять? Я богат, оставлю ему хорошее состояние, да у него есть уже и собственное, а Прозоровские бедны, но знатны, у них и связи, и родство. Вот ты и подумай — у нас богатство, а у них связи — соедини все это вместе, и будет сила, а сила Александру нужна... конечно, но если Александру мой план не понравится, перечить ему не стану, сам знаю, что он не мальчик, только уверен, что княжна Варвара ему понравится, не говоря о том, что он поймет все выгоды от такого брака. Я уже и с князем Иваном говорил об этом. Он не прочь с нами породниться. Понимает, что Александр жених хоть куда, таких на Москве немного: богат, умен, генерал-майор, не сегодня-завтра генерал-поручик, кавалер Георгия второго класса,

не замотыга... Ну вот ты побывай у княгини да проведай и у княжны...

В то время как отец с дочерью толковали о сватовстве Александра Васильевича, старик Прозоровский вел на ту же тему разговор с женою.

— Пора бы нам, княгинюшка, и о Варинем замужестве подумать,— говорил он жене.— Ей уже двадцать минуло, чего доброго, в девках засидится.

— Легко сказать, батюшка князь, подумать! Не мало я думала, да где женихов взять? Нет у нас с тобой того, что женихи любят... Денег нет, вот что!..

— Денег? Да Варя сама дороже денег! Посмотри, какая она у нас красавица.

— Минули те времена, когда красотой прельщали, а теперь красота красотой, а деньги деньгами, о... ох...— вздохнула княгиня.

— Ну, старуха, не вздыхай, авось и без денег дочку пристроим. У нас нет денег, зато есть связи, у жениха нет связей, зато есть деньги. Одно к одному и выйдет дело.

— Ты это про кого?— спросила княгиня.— Про Вольского? Да дал бы Бог, чтобы поправился, выздоровел... Чего лучше— молод, богат и Варя его любит, ну и с помощью родных в люди его выведем...

— Вольский? Не туда попала княгинюшка, я Варе жениха отыскал получше Вольского. Что Вольский? Хороший мальчик, и больше ничего. Правда, он богат. А тот, кого я отыскал, не только богат, но и в чинах... Генерал, георгиевский кавалер, ну угадай кто?

— И в толк не возьму.

— Александр Васильевич Суворов. Сын Василия Ивановича.

— Суворов!— удивилась княгиня.— Побойся Бога, Иван, какая же он пара Варе! Ведь он уж старик, ему пятьдесят лет...

— Неправда, всего только сорок три года, для мужчины это не старость.

— Он урод.

— Э, матушка, ты забыла нашу умную поговорку: «Не воду с лица пить». Зато добрый, умный человек, богат, на хорошем счету у царицы, и с нашей помощью далеко пойдет...

— Я против этого ничего не говорю, да понравится ли он Варе? Ведь знаешь, что она Вольского любит.

— Да любит ли Вольский ее, ты спрашивала у него об этом?.. Ну так что же рассуждать, а девичья любовь да

девичьи слезы все равно что снег. Солнышко пригрело — и растает.

— Как знаешь, — отвечала княгиня, — поговори с Варей, да вот и она.

В комнату вошла розовая, сияющая княжна Варвара. На ее жизнерадостном лице и следов не замечалось ее летней болезни. Она только что возвратилась от своей подруги Анны Петровны Забугиной и пришла поделиться к матери новостями.

— Я тебе расскажу новость, дочурка, — встретил дочь старик-князь, целуя молодую девушку в лоб.

— Я вам расскажу их несколько, — отвечала, улыбаясь, княжна. — Во-первых, Евгений Вольский совершенно выздоровел и с Аркадием Ребоком едет в Москву. Оба они георгиевские кавалеры, Ребок полковник, Вольский капитан... Анюта и Зина в восторге... На Рождество будем танцевать на Анютиной свадьбе, а как бы мне хотелось потанцевать и на другой... Зина так любит своего кузена Евгения, хотя и не сознается в этом, так любит... Как бы мне хотелось их поженить...

Князь многозначительно с улыбкой посмотрел на жену

— Зачем же дело стало, Варюша? Хотелось бы, ну и поженим. А Вольский? Любит он Зину?

Молодая девушка задумалась.

— Вот этого я не знаю... Да как можно Зину не любить! Наверно, любит, только так же, как и Зина, боится в том признаться... ведь они близкие родные — двоюродные.

— Если только за этим дело стало, так не беда. У преосвященного я выхлопочу это разрешение, только любили бы друг друга. А вот и моя новость... в Москву едет Суворов... Александр Васильевич Суворов, ты ведь его видела?

— Суворов, герой Туртукая? Ах, как я рада, я очень рада!

— Ты рада, дорогая Варюша? — спросила мать.

— Очень рада, мамочка. Он герой, он совсем не похож на других людей. Мне очень хочется с ним познакомиться.

Князь опять многозначительно посмотрел на жену.

— Познакомишься и постарайся его оценить, дочурка, — сказал князь, целуя молодую девушку в лоб.

Княжна вопросительно взглянула на отца, но тот уже шел навстречу входившей княгине Анне Васильевне Горчаковой.

ГЛАВА XXI

Насколько было знойно лето 1773 года, настолько оказалась суровою зима 1774 года. Москвичи давно не помнили таких морозов. Метели и вьюги прекратили всякое сообщение: ни обозы, ни одиночные путники не решались отправляться в дальнюю дорогу, выжидая, пока поутихнут вьюги, поспадут морозы. Январь в особенности донимал своею суровостью. Только очевидная крайность дела, не терпящие отлагательств, могли побудить двух путников пуститься в дорогу в такую стужу. На протяжении многих верст им не попадалась навстречу ни одна кибитка, ни один пешеход, но они, по-видимому, не замечали безлюдья. Оба были так поглощены своими мыслями, что им было не до окружающего.

— Много еще до Москвы осталось? — спрашивал ямщика тот, что помоложе.

— Теперь, барин, мы почитай что уже в Москве, вот-вот и Иван Великий покажется, — отвечал бородатый ямщик.

— Слава Богу, — воскликнул молодой человек — Что с тобою, Аркадий, — обратился он к своему товарищу, — ты-то что невесел? Едешь к невесте, а физиономия не жениха.

— Устал, Евгений, — отвечал Вольскому Ребок. — Я рад не менее твоего.

— Однако у тебя что-то на душе неладное.

— Ничего неладного, голубчик. Я просто размышлял, как бы оставить службу и, женившись, заняться хозяйством, да беда в том, что война еще не окончилась, а оставлять армию во время войны нельзя; конца же ей не предвидится. Вот это-то и отравляет мое счастье.

— Ты предвосхитил мои мысли, — говорил ему Вольский. — Я и сам подумывал о том, чтобы оставить военную службу, жениться на Варе и поселиться в деревне. Наши имения по соседству... то-то зажили бы мы с тобой в удовольствие... Я прежде стремился на службу, на войну, но война же меня и излечила от иллюзий. Не потому, чтобы она нагнала на меня страх, ты меня знаешь и знаешь, что мне смерть не страшна, когда я борюсь за правду, за право, но сама она ничто иное как бесправие, основанное на праве сильного, а что такое это право — ты сам хорошо знаешь. Нет, война зло, а злу я служить не хочу. Я охотно понесу свою голову под пули, когда отечеству будет грозить опасность, но нести ее для химерической

славы — нет По-моему, воинская слава — для славы, — страшное преступление перед нравственностью. И я теперь не могу простить себе того, что в армию меня толкала не мысль об освобождении славян, а мысль об отличиях, о славе. А между тем, сколько дела у себя дома... Нет, в армию я больше не вернусь. Там и без меня офицеров немало, а помещиков, которые не смотрели бы на крестьян как на рабов, которые заботились бы о них, как о детях, нет, или очень мало... Поселюсь в деревне и постараюсь быть для крестьян тем, чем должен быть дворянин... Да что же ты молчишь, Аркадий? — прервал Вольский свои мечты, — ты, право, не в духе.

— Устал, голубчик. Шутка ли, в мороз и вьюгу проскакать без передышки тысячи верст.

Ребок говорил неправду. Он не устал; в Москву он рвался не менее Вольского, не менее его предвкушал радость свидания с невестой, с родными, точно так же, как и Вольский, строил он планы своей будущей жизни, но его пугали готовящиеся в Москве события. Из писем невесты он знал, что княжна Прозоровская сосватана за Суворова, но Вольскому до сих пор об этом он ничего не говорил. Сперва молодой офицер был болен, всяких волнений следовало избегать, затем он поправился, но все же был слаб, и Ребок каждый день откладывал сообщение печальных известий. Решил, наконец, подготовить Вольского в дороге, но вот теперь они подъезжают уже к Москве, а он не знает, как приступить к делу...

Пробовал начать несколько раз и в конце концов решил оставить до Москвы.

— А что, Евгений, согласилась ли бы княжна Варвара уехать в деревню? — спросил он. — Ты смотришь на это дело так, а она, быть может, иначе. Не забывай, что ты и она — две противоположности: у вас и вкусы и характеры разные...

— Тем лучше, жизнь не будет однообразна. Нет ничего хуже, если жена представляет собою точную копию мужа или муж — копию жены. Такое супружество сейчас же наскучит У нас же не то: подчас заспорим, быть может, и поссоримся, зато примирение будет сладко.

— У вас, ты говоришь, у вас... Значит, ты объяснился с княжной.

Вольский вздохнул.

— В том-то и дело, что нет. Я только мечтал.. А что, если мечты мечтами и останутся... Противный ты, Аркадий, своей хандрой и на меня нагнал раздумье... А что,

если в самом деле я ошибаюсь и Варя меня не любит?.. Ты как думаешь, Аркадий?

— Не знаю, голубчик.

— Ах, как бы я хотел быть на твоём месте!

Ребок рассмеялся.

— То есть как это: женихом Ани?

— Да нет, не то... А вот и Москва-матушка!

Замелькали занесенные снегом домишки, кибитка въезжала в пригород. Путники сняли шапки и набожно перекрестились. Лошади, почуяв близость отдыха, ускорили бег, и тройка неслась по ухабам и выбоинам, то и дело заставляя подпрыгивать седоков.

— Ну теперь приходится молчать,— сказал Вольский,— а то, чего доброго, язык откусишь.

Тройка все мчится и мчится, но как ни быстро мчат молодых людей почтовые лошади, мысли их далеко обгоняют конский бег и рисуют им разные картины.

Путники давно уже миновали предместье, и московские дома один за другим мелькают перед кибиткой. Вольский у каждой церкви снимает шапку и крестится. Но вот у одной из церквей толпится народ, больше салопницы и простолюдины. Храм блещет огнями.

— Стой!— крикнул Вольский ямщику.— Аркадий, зайдём в церковь помолимся. Да, никак, это свадьба... Счастливая примета.

У Ребока при слове свадьба упало сердце. Он был не согласен с кузеном насчёт приметы, но не спорил и молча вышел из кибитки.

— Кто, бабушка, женится?— обратился Вольский к первой попавшейся навстречу старушке.

— Генерал, батюшка, генерал.

— Как его фамилия?

— А Бог его знает, батюшка, говорят, очень заслуженный, только с виду неказист, суцая обезьяна.

— Суворовым, говорят, прозывается,— вмешалась в разговор другая салопница.

— Суворов? На ком же он женится?

— Не знаем, батюшка, говорят, на княжне какой-то, на красавице... Бедненькая она, бедненькая.

У Ребока сразу кровь прилила к голове.

— Едем, Евгений. Неудобно нам в таких костюмах незваными, непрошеными являться на свадьбу к начальству.

— Нет, подождём, подождём здесь на паперти... подождём невесты... Аркадий, мне жутко... и молодой чело-

век схватил кузена за руку... Знаешь, когда я был ранен, мне снился сон, нет, не сон, мне мерещилось в бреду, что Суворов отнимает у меня Варю.

— Невеста, невеста,— раздалось со всех сторон.

К паперти подъезжала роскошная карета. Ребок схватил Вольского под руку со словами: «Едем, Евгений, едем», но было уже поздно. Карета остановилась, и нарядная невеста выходила уже на паперть. Крик отчаяния вырвался из груди Вольского, Ребок силою увлек своего кузена; но княжна Варвара—это была она—заметила и узнала Евгения, и его болезненный крик отозвался у нее в сердце. Бледная, но твердою поступью вошла она в церковь и приблизилась к аналою.

Она мельком взглянула на своего жениха и потупила глаза. Суворов казался ей теперь не таким, каким она, наперекор очевидности, создала его в своем воображении. Какой ничтожной, жалкой смотрелась его маленькая невзрачная фигурка по сравнению со статным красивым Вольским... В душе молодой девушки вновь поднялись прежние сомнения. «Я ошибалась,— думала она,— я люблю Евгения, я разбила жизнь и себе и ему...» Но рассуждать было некогда, через несколько минут она должна была сделаться женою другого человека... и чувство злобы, жгучей ненависти впервые зашевелилось в ее душе к этому другому человеку. А он, этот другой человек, стоял рядом с ней и горячо молился. Вознося к небу молитвы о благословении его брачного союза, несчастный жених и не подозревал того, что свое семейное счастье он строит на зыбкой почве и что этому счастью уже теперь грозит опасность.

То же самое толковали и в публике, и каждый обосновывал свое предсказание по-своему. На салопниц произвела впечатление встреча невесты с Вольским, ее испуг; на гостей разница в летах жениха и невесты; на людей, близко знавших обоих,— различие в характерах, взглядах и привычках. Но каковы бы ни были молитвы, а всеобщее мнение было таково, что «не бывать здесь счастьем».

Но вот обряд венчания окончен. Гости поздравляют молодых, молодая принимает поздравления безучастно. Пред глазами у нее туман, в котором неясными очертаниями мелькают родные, знакомые, подруги. Только исхудалое, бледное, страдальческое лицо Вольского ясно стоит у нее перед глазами, его болезненный, полный отчаяния крик отзывается у нее в сердце, а в голове неотвязчиво мелькает безнадежно: «Все кончено, все...»

ГЛАВА XXII

Александр Васильевич Суворов, не привыкший долго раздумывать на войне, точно так же поступал и в жизни.

Раз он пришел к заключению о необходимости жениться, чтобы успокоить старика отца, он поступил, как и поступал всегда, быстро, без особенных приготовлений. В Москву прибыл он в конце ноября, а в декабре, по указанию отца, он сделал предложение княжне Варваре Ивановне Прозоровской. Отец настаивал, торопил сына с женитьбой, и тот не отказывался. Правда, женясь, он не руководствовался доводами отца. После неудачной любви к графине Бодени для него было все равно, на ком бы ни жениться, лишь бы девушка была хорошая, богобоязненная. Он не мог обещать ей горячей, пылкой любви, но не всегда такая любовь служит прочным фундаментом для семейного счастья, нужно еще и нечто другое, а это другое у Суворова было, и он в себе не сомневался. Он знал, что будет верен жене, что окружит ее уважением и будет таким мужем, каким быть Священное писание повелевает. Да и от жены большого не требовал. Княжна Варвара по внешности отвечала требуемым им условиям, и он долго не задумывался.

Предложение Александра Васильевича было принято без колебаний не только родителями невесты, но и самой княжной Варварой. ореол славы, которым молва успела уже окружить имя Суворова, красил в глазах молодой девушки внешнюю неприглядность жениха, ее пылкое воображение нарисовало совсем иной портрет Суворова, который закрывал собою Суворова живого, и только в церкви, под венцом, после того как она увидела Вольского, мираж исчез, и пред нею предстал настоящий, живой Суворов.

Опытный воин в делах житейских оказался младенцем и перемену в своей жене объяснял себе новизной для молодой женщины ее положения, ее холодность — девичьей стыдливостью. То, что на первых порах женитьбы бросалось в глаза его сестре Анне Васильевне Горчаковой и близким знакомым, ускользало от внимания самого Суворова.

Поселившись с молодой женой в доме своего отца, он был принужден отказаться от некоторых своих привычек. Уступки начались с вопроса о часе обеда. Суворов привык обедать в 8 часов утра, но в это время Варвара Ивановна почивала в постели, и обеденное время пришлось перенести на 2 часа. Муж не привык к роскоши обстановки, и таким, каким мы видели его в Ольтенице и Гирсово, он

был везде: спал на сене, довольствовался столом и несколькими стульями; таков в этом отношении, хотя и по другим причинам, был и его отец, и большой московский дом Суворовых походил на казарму. Молодая женщина, привыкшая к роскоши, не могла мириться с такою обстановкой, и целая армия столяров и обойщиков наводнила квартиру, занимаемую молодыми. Старик Суворов охал, видя, как деньги уходят сотнями и тысячами, но скрепя сердце молчал, тем более что он заранее был готов к расходам. Сын же, расплачиваясь за затеи жены, денег не жалел и только удивлялся, к чему все это. Он, не признававший даже обыкновенного комфорта, совершенно не понимал, к чему вся заводимая у них в доме роскошь. Но этого хотела жена, и он не перечил. Правда, трудно было ему отказаться от некоторых привычек, с грустью расстался он с сеном, на котором привык спать, с неохотой заменил он крепостного повара Мишку французом, но жене не возражал, помня советы своего друга Бороздина: «Подчас ты ей уступай, а в другом случае и она тебе уступит».

И Суворов в ожидании уступок со стороны жены уступал ей во всем. Но вот медовый месяц на исходе, а он все уступает и уступает и порой удивляется сам себе. «Я да как будто бы и не я», — думает он про себя.

И в самом деле, он значительно изменил свой строй жизни и даже стал как будто меньше чудачить и школьничать. И здесь оказалось влияние жены. Многие выходки мужа ей не нравились, она неоднократно давала понять, что странности его ее коробят, и, наконец, когда он однажды закричал в обществе петухом, она решилась с ним объяснить.

Варвара Ивановна заметила мужу, что каждый волен поступать по-своему, но что у каждого есть свои обязанности по отношению к обществу, в котором он вращается.

— Если вы, Александр Васильевич, не признаете этих обязанностей к свету, то из уважения ко мне удержались бы от таких выходок, которые роняют меня, как вашу жену, в глазах общества. Да и выходки эти вам и не к лицу, и не по чину. Притом они вам теперь и не нужны, вас теперь знают и будут ценить по заслугам, а не по чудачествам, которые только могут вам вредить и ронять в глазах людей.

Суворов не возражал, он признавал справедливость упрека и стал сдержаннее. Впрочем, ненадолго. Сила привычки брала свое, и спустя несколько дней после

реплики Варвары Ивановны он снова выкинул фортель, поведший к более резким объяснениям.

Приехали они с визитом к графине Растопчиной, у которой собралось больше общество. Варвара Ивановна прекрасно знала, что всеобщее внимание будет устремлено на нее и на ее мужа, она знала, что ее замужество многими осуждается, что выход замуж за немолодого юродивого генерала объясняют материальными соображениями, и эта мысль ее мучила. Она боялась, чтобы муж не выкинул какой-нибудь штуки на потеху недоброжелателей. Опасения ее были не напрасны. Едва они успели войти в гостиную, как Суворов, оставив жену, направился к хозяйке дома и перепрыгнул стоявший по дороге стул.

Улыбка скользнула на губах присутствовавших и сильно задела Варвару Ивановну.

— Не удивляйтесь, дорогая графиня, выходкам мужа,— сказала она, обращаясь к хозяйке дома.— У каждого есть своя слабость, у моего мужа — своя: он всюду и во всем желает перещеголять окружающих: на поле сражения — товарищей храбростью, а в гостиной — светских людей эксцентричностью выходок...

— Я благодарен Варваре Ивановне за ее желание оправдать мой поступок,— отвечал Александр Васильевич, обращаясь не то к жене, не то к хозяйке дома,— но она забывает, что Суворов не нуждается ни в чьих оправданиях, ни в чьей защите...

По-видимому, готовился скандал, но хозяйка дома со свойственным ей тактом переменяла тему разговора, сводя его на политические события.

Суворов стал неузнаваем. Он говорил много, и говорил с энергией. Его образная речь сразу завоевала симпатии общества. Все забыли чудака и с напряженным вниманием слушали образованного генерала. Не успокоилась только Варвара Ивановна. Она не могла забыть выходки мужа и нанесенного ей им оскорбления.

— Вы, кажется, ни во что не ставите не только мои просьбы, но и меня самое,— говорила она мужу по возвращении домой.

— Всему, матушка, есть мера,— отвечал ей раздраженно Суворов.— Вы слишком требовательны и строги, вы забываете, что и у вас есть свои странности, которые, на мой взгляд, быть может, нестерпимы, однако я терплю и вам ничего не говорю.

— Вы терпите? Я и не знала, что заставляла вас терпеть. В чем же, скажите, пожалуйста?

— Да хотя бы во всем этом! — и Суворов обвел глазами гостиную.

— В чем же? — недоумевала Варвара Ивановна.

— Да во всем том, что вы видите — в роскоши... все это стоит больших денег, а на что это? Лишнее, без этого можно было бы обходиться, а деньги употребить с большею пользой.

Варвара Ивановна смотрела на мужа с удивлением.

— Не хотите ли, чтобы я жила в казармах?

— От казарм до дворцовой роскоши — дистанция большая... А ваш гардероб? Что ни день, то новое платье... Разве это не странность? Только вредная странность. От моих странностей никому нет убытка, а ваши странности, матушка, стоят денег, да каких? Тех, что мужик потом и кровью добывает, чтобы внести оброк.

Варвара Ивановна не выдержала и разрыдалась.

Муж остановился сперва в недоумении, а потом бросился перед женою на колени.

— Варвара Ивановна, дорогая моя, милая жена, прости меня, сгоряча все это, не от сердца, — умолял он жену.

Примирение состоялось, но на горизонте супружеской жизни показалось уже облачко.

ГЛАВА XXIII

Опасения Ребока не оправдались. Неожиданность встречи с любимой девушкой в то время, как она входила в церковь невестой другого, сильно потрясла Вольского, но он выдержал это потрясение, и к тому времени, когда почтовая тройка доставила молодых людей к дому матери Евгения, он успел уже справиться с постигшим его горем и покорно подчинился судьбе.

— Вот оно, предчувствие, — говорил он по дороге Ребоку. — Помнишь, мне почему-то всегда казалось, что моя судьба связана с судьбою Суворова и что он принесет мне несчастье. Предчувствие не обмануло.

Ребок молчал. Он давно уже вспоминал о предчувствиях Вольского, еще в то время — как получил в Бухаресте известие о готовящейся женитьбе Суворова. Утешать кузена он и не пытался.

Всю дорогу Вольский был мрачен и только вздыхал. Родные ожидали прибытия его из армии через несколько дней, и потому ни сестры, ни матери он не застал дома, они были на свадьбе у княжны Прозоровской

Старая ключница от радости потеряла голову, увидя молодого барина, но все-таки догадалась послать уведомить барыню и барышню, что молодые господа вернулись с войны целы и невредимы.

У Ребока родителей в Москве не было. Невеста, он знал, тоже на свадьбе, поэтому он решил остановиться в доме тетки, к тому же не хотел оставлять кузена одного в угнетенном состоянии. Ждать им долго не пришлось. Едва Анна Борисовна Вольская узнала о возвращении сына, как сейчас же с дочерью собралась домой, с нею отправились также Зина с матерью и Серафима Ивановна Забугина с дочерью Анной Петровной, невестой Ребока.

Радость свидания с родными смягчила горечь обманутой любви. Вольский крепился, и Ребок не узнавал кузена, а Зина заметила, что известие о выходе замуж княжны Варвары не потрясло молодого человека. Но молодая девушка ошибалась.

Не будем вдаваться в описание встречи Евгения с родными, такие встречи трудно описывать. Молодым человеком завладели все сразу. Сестра и Зина проявляли к нему особенную нежность, что сильно растрогало Евгения. Восторгам Анны Петровны не было конца, и семья под тихое урчание самовара мирно беседовала далеко за полночь. Молодые люди рассказывали о подробностях своей боевой жизни, о своих надеждах и планах на будущее. Решение их оставить военную службу было с радостью принято всеми родными.

О княжне Варваре никто не вспоминал, старался забыть о ней и Вольский, но напрасно: образ ее неотступно стоял у него перед глазами и терзал душу.

В эту ночь он долго не мог сомкнуть глаз и много передумал. Неукротимая злоба кипела в нем к Суворову, казнил он мысленно и изменницу. Чем больше думал он о своем несчастье, тем больше начал сознавать, что в этом несчастье никто не виноват. Справедливый и беспристрастный, Вольский не мог не признать, что обвинения, предъявляемые им и к княжне Варваре и к Суворову, неосновательны. Княжна не говорила ему о своей любви, не обещала ему ничего, не могла же она отвечать на любовь всякого, кому она нравилась. Положим, думал Вольский, поведение ее с ним было таково, что давало некоторую надежду, но так ли он истолковывал это поведение, не было ли то, что он принимал за застенчивую любовь молодой девушки обыкновенным чувством дружбы, симпатией, участием к молодому человеку, отправляющемуся на войну?

Но если он имел поводы, хотя и ошибочные, обвинять княжну Варвару, то для обвинения Суворова у него не было никаких оснований.

Придя к таким выводам, Вольский немного успокоился, и чувство злобы и негодования уступили место тихой грусти.

На другой день он проснулся совершенно спокойным и сам удивился этому. Впрочем, решил он, это спокойствие ненормальное, и, припоминая свои недавние приключения боевой жизни, отмечал, что состояние такого странного спокойствия находило на него обыкновенно в критические минуты, когда другой на его месте потерял бы голову. Это спокойствие отчаяния, думалось ему. Но Вольский ошибался. Он был слишком юн и первое увлечение принял за любовь. Что это была не та любовь, в которой, обманувшись, люди теряют голову, говорило уже то, что он мог хладнокровно рассуждать и оправдывать человека, разбившего его счастье. Будь Вольский одинок, не имея родных, не встретить такого сердечного и задушевного приема, который его ожидал в Москве, он, быть может, глубже чувствовал бы свое горе, а теперь он мог с ним сжиться, пока судьба не послала ему случая, окончательно примирившего его с обстоятельствами и не излечившего его от любви к молодой жене Суворова.

Прошло несколько дней после приезда Вольского в Москву, и за это время он нигде не был, кроме близких родных. Он должен был представиться Суворову как своему непосредственному начальнику, но боязнь встречи с молодой генеральшей все отодвигала и отодвигала его визит к Суворовым. Наконец, откладывая дальше было нельзя, и Ребок, представлявший Суворову несколько дней тому назад, торопил теперь Евгения.

— Нельзя же все отговариваться болезнью, не будешь же сидеть все дома, нужно нанести и другие визиты, ведь Александр Васильевич и Василий Иванович Суворовы знают о твоём пребывании в Москве и ждут, когда ты к ним явишься.

Делать было нечего, и Вольский, надев парадный мундир, отправился к генералу, раздумывая по дороге, как он встретится с Варварой Ивановной. Но, по счастью, он не застал ее дома.

Суворов встретил Вольского сердечно, как сына. Обнял, расцеловал его и сейчас же повел к отцу.

— Я пришел благодарить вас, батюшка, вот за этого молодца,— указал он на Вольского и поцеловал его

в лоб.— Прекрасного офицера рекомендовали мне, и не будь я Суворов, если через два года он не будет генералом.

Василий Иванович тоже обласкал молодого человека и просил не забывать старика. Вольский благодарил и поздравил Александра Васильевича с женитьбой.

— Да, брат, женился — переменялся. Обедаю теперь не в восемь, а в два часа. Милости просим к обеду. Приходи, и жена дома будет. Оказывается, вы с ней старинные знакомые. Тем лучше.

Перспектива близкой встречи с Варварой Ивановной не радовала Вольского, и он, поблагодарив Суворова за приглашение, извинился, что не может им воспользоваться, так как в этот день обручение кузена, и он обедает у матери его невесты.

— Молодец Ребок, берет пример с начальства, да и тебе не мешает последовать его примеру. Подожди, и тебе невесту отыщем.

С облегчением вздохнул Вольский, когда по выходе из дома Суворова он сел в сани, и тут же решил бывать у Суворова только в особенно необходимых случаях.

Но как ни избегал он встречи с Варварой Ивановной, судьба все-таки свела их в скором времени. У Растопчинных был бал; Вольский поехал на него с матерью, сестрой, кузиной и теткой.

На балу были и Суворовы. Здесь избегнуть встречи с Варварой Ивановной Вольский не мог, да и не хотел. «Нужно же когда-нибудь встретиться», — думал он и решил быть с нею как можно более любезным и внимательным.

Суворов, завидя издали своего любимца, сам пошел к нему навстречу.

— Существует, говорят, предание, — сказал он молодому капитану, — что когда гора не захотела прийти к Магомету, он сам к ней пришел. Ты ко мне не идешь, и я сам нахожу тебя. Впрочем, ты чувствуешь себя предо мною виноватым и потому не кажешь глаз.

Вольский удивленно посмотрел на генерала.

— Слышал я, что ты службу собираешься бросить... Знаешь, что за это не похваляю... и верно, хвалить не буду, но не буду и бранить, потому что уверен, ты передумаешь.

— Это мое твердое решение, ваше превосходительство.

— Вздор.

В это время они подошли к Варваре Ивановне.

— Хорош твой старый знакомый, Варвара Ивановна, — обратился Суворов к жене, — глаз к нам не кажет, да

еще службу собирается бросить. Пожури его хорошенько. Журить ты умеешь. Я это, брат, на себе испытал,— закончил он, обращаясь к Вольскому.

Молодая женщина покраснела и чувствовала себя неловко. Вольский постарался вывести ее из этого положения.

— Я очень счастлив,— сказал он, целуя ее руку,— встретиться с ее превосходительством и крайне сожалею, что за это время не мог представиться; но на это были причины.

— Видно; причины эти были важного свойства, если помешали вам посетить старых друзей, Евгений Александрович. Видите ли, я не забыла вашего имени, а вы забыли мое... На это, вероятно, были тоже важные причины? — спросила она Вольского.

Он укоризненно посмотрел на нее, и молодая женщина, не выдержав его взгляда, потупила глаза.

— Вашего имени я не забыл, Варвара Ивановна, не бывал же у вас, несмотря на любезные приглашения вашего супруга, потому, что не совсем оправился еще от ран, и принужден частенько оставаться дома, так и потому, что знаю, новобрачным первое время не до гостей. Но если вы позовете, то я успею еще надоесть вам своими посещениями.

Варвара Ивановна взглянула на него сияющими глазами.

— Если вы говорите это искренно, то я рада, что наши дружеские отношения снова возобновятся.

— Разве вы их считали прервавшимися? — спросил Вольский.

Молодая женщина покраснела.

— Да, мне так казалось,— отвечала она, запинаясь и следя глазами за разговаривавшим с хозяйкой дома мужем.

— В таком случае я очень сожалею, если невольно дал к тому повод.

Варвара Ивановна пристально взглянула на Вольского и отвечала с горечью в голосе.

— Вы не искренни, Евгений Александрович, прежде вы не были таким... Впрочем, прежде и я была иною,— продолжала она со вздохом.— Но прежнего не вернешь. Если я не могу сохранить вашу дружбу, то мне хотелось бы, чтобы вы не совсем плохо обо мне думали...

Вольский в свою очередь смутился. Он не ожидал такого поворота разговора, да и не хотел его.

— Я знаю,—продолжала молодая женщина,— что вы, как и все, осуждаете меня. Осуждение других я встречаю презрением, но ваше... ваше для меня тяжело.

Вольский продолжал молчать. Рана его была слишком свежа, чтобы он мог быть спокойным и находчивым.

— Вы молчите,—продолжала Варвара Ивановна,— значит, я не ошиблась, вы презираете меня...

— Варвара Ивановна!

— Вы вправе презирать. Я заслужила ваше презрение... Вы меня любите или, по крайней мере, любили, я это знаю... Я кокетничала с вами, подавала надежды и вдруг выхожу замуж за уродливого старика.

— Варвара Ивановна,— вскричал, еле сдерживаясь от негодования, Вольский,— вы говорите о своем муже, о человеке, которого боготворит вся армия, на которого возлагает надежды Россия!

— Да, о муже,— с горечью продолжала молодая женщина,— к сожалению, о муже. Что он мне муж — это мне известно без напоминаний...

Положение Вольского становилось все более и более критическим. Что мог он ответить на жалобы молодой женщины? То, что он мог бы сказать, унизило бы ее еще больше. В ее голосе было столько страдания и горечи, что добавлять их больше Вольский не мог, а потому он молчал.

— Вы молчите,— продолжала Варвара Ивановна,— вы не находите для меня ласкового слова... а прежде вы на них не скупились.

— Мне тяжело,— отвечал молодой человек,— я страдаю сам, но что я могу сделать? Прошлого не вернешь... Вот почему я и думал, что самое лучшее — нам не встречаться... На днях я уеду в армию.

— Евгений, Бога ради, не делай этого, не губи себя... если хочешь — я сойду с твоей дороги, ты больше меня не увидишь, но не губи себя, не уезжай в армию... Не презирай меня... Я не с того начала, и ты не понял меня, выслушай меня! Да, я люблю тебя, я это узнала только теперь. Не думай, что я вышла замуж только для того, чтобы завести себе любовника, нет: я мужу буду верна, хоть он и ненавистен мне... Я хотела только объясниться с тобой, чтобы ты не проклинал меня... Я видела тебя на церковной паперти в день моей свадьбы, я слышала крик твоей души, я видела полный отчаяния взгляд твой... и здесь-то я тебя полюбила всеми силами души своей... Может быть, я любила тебя и раньше, но бессознательно,

не знаю; но то, что я испытала тогда в церкви — не дай Бог испытать тебе никогда... О, что это за чувство! Сознать, что сам разбиваешь свое счастье, что сам без удержу стремишься в пропасть, сознавать и все-таки стремиться... да это просто сумасшествие... да, я была сумасшедшей, Евгений, когда приняла предложение Суворова. Родные настаивали, я под впечатлением его побед опозтизировала его, видела его лишь глазами рассудка, а ты... ты молчал. Я не была уверена, любишь ли ты меня, я согласилась... Прозрела слишком поздно, когда возврат был невозможен. Все, что я хочу — не презирай меня, я и без того страдаю.

Вольский поцеловал у молодой женщины руку.

— Варвара Ивановна, не говорите о презрении. Я далек от этого чувства и молю Бога, чтобы он помог вам нести ваш крест.

Молодая женщина вздохнула. Не такого утешения она ожидала, не то хотела услышать. Но что мог сказать ей Вольский? Он, воплощенное целомудрие, считавший чужую жену неприкосновенной!

Он не мог хорошо даже разобраться в своих чувствах. Он не знал, вызывает ли молодая женщина в нем сочувствие или унижительное сострадание. Одно он только осознал, и вполне ясно, что это не та милая, дорогая Варя, которую нужно было заслужить ценою жизни, что пред ним обыкновенная, заурядная женщина, и если он не презирал ее, так только потому, что, правдивый сам, он доверчиво отнесся к ее заявлению, что мужу своему она не изменит, но и уважать ее он уже не мог. Недостигаемая для него Варя упала с пьедестала, и он был в положении человека, видевшего хороший сон, проснувшегося и возвратившегося к серенькой будничной жизни.

Он не солгал, говоря Варваре Ивановне, что сам страдает. Да, он страдал, видя своего кумира поверженным, но это страдание было для него спасением. Оно излечивало его от более тяжелых мук безнадежной любви...

Варвара Ивановна, по-видимому, поняла то, что творится в душе молодого капитана, и не находила, что сказать, как выйти из неловкого положения, в которое поставила и себя, и Вольского своим объяснением. В этом им помогла подошедшая хозяйка дома.

— Александр Васильевич приобрел себе громкую известность и за границую, — обратилась она к Варваре Ивановне. — Мой брат вчера возвратился из Петербурга

и говорит, что французский посол на придворном балу с восторгом говорил о подвигах Александра Васильевича. В это время курьер привез известие, что с Пугачевым справиться не могут и что силы его очень велики. Государыня была опечалена этим известием, а французский посол заметил, что Пугачев свирепствует так потому, что в Поволжье генерала Суворова нет. Если только ее величеству угодно будет послать туда столь прославившего победами русское оружие генерала — пугачевские скопища в неделю рассеются как дым и сам Пугачев будет в руках правительства.

— Знаете ли, что государыня ответила на это? Она сказала: «Вы правы, я об этом подумаю».

— От души вас поздравляю, дорогая Варвара Ивановна,— продолжала хозяйка дома.— Такая оценка иностранца и императрицы очень лестна, и к тому же Поволжье — не Турция, вам не придется надолго расстаться с мужем, вы можете поехать с ним.

— А вы, Евгений Александрович, намерены возвратиться в действующую армию? — обратилась она к Вольскому.

— Я еще не решил. Военную службу я оставляю, но так как оставить ее во время войны неудобно, то, быть может, буду просить перевода в Поволжье.— Вольский перевел взгляд с хозяйки дома.— В этом отношении я рассчитываю на поддержку вашего батюшки, Варвара Ивановна, князя Ивана Андреевича.

— Можете рассчитывать и на другую поддержку,— любезно отвечал за дочь подошедший в это время старый князь Прозоровский.

Вольский горячо поблагодарил князя и посмотрел на него удивленными глазами.

— Полно прикидываться не понимающим,— смеялся князь, обнимая Вольского за талию.— Со мною, старым другом твоего отца, нечего секретничать,— продолжал он, отводя молодого человека в сторону.— Да и секреты запоздалые, мне Варя уже давно выдала...

— Ей-Богу, я ничего не понимаю.

— Ладно, это дело не такое трудное, ведь вы с Зиночкой троюродные, ну а это такое родство, что преосвященный разрешит.

Вольский понял намеки князя и покраснел.

— Ну что, видишь, я все знаю. Говорю тебе, что помогу, а теперь ступай и успокой кузину,— закончил князь, подводя молодого человека к Зиночке.

— И вы, дорогая Зинаида Ивановна, можете рассчитывать на мое содействие.

Зиночка в свою очередь вопросительно посмотрела на удалявшегося уже князя.

— В чем дело, какое он обещает содействие, Евгений?

— Представь себе, Зиночка, князю пришла мысль нас поженить.

Молодая девушка вспыхнула и опустила глаза.

Вольский почувствовал себя неловко.

— Он мне уже несколько раз намекал об этом,— отвечала Зинаида Ивановна, улыбаясь.— Выдал дочь замуж — и вошел в роль свата, ему бы хотелось на радостях всю Москву переженить.

— Если бы он сватал всех, как свою дочь — радости было бы мало. Не думаю, чтобы Варвара Ивановна была счастлива.

Вольский говорил спокойно, и это спокойствие, по видимому, радовало молодую девушку. Она незаметно переменила тему разговора, свела его на новые иностранные журналы, книги. Говорила о событиях в Европе, проводя параллель между западноевропейской жизнью и русской, коснулась и пугачевского бунта.

— Его называют карой Божией,— продолжала с увлечением молодая девушка,— беда только в том, что никто не задается вопросом: за что нас постигла эта кара?

Вольский слушал кузину и удивлялся. Такой он видел ее впервые. Неужели же он не знал ее до сих пор или она сделалась такою в его отсутствие? Чем больше он ее слушал, тем больше находил в ней изменений. Он видел перед собой уже не девочку, какой считал всегда свою дорогую кузиночку, а взрослую девушку,— красивую, изящную, умную, образованную, не похожую на московских барышень. Вот они глазки кавалерам строят, а Зиночка возмущается тем, что общество не задается вопросом, почему явилась пугачевщина.

— Ну, а ты как смотришь на бунт, Зиночка?

— Так, как, по-моему, должно смотреть. Как на протест против насилия, бесчеловечности, бесправия. Правда, протест в грубой, жестокой форме, но нужно же принять во внимание и то, кем он выражается и что побудило к такому жестокому протесту... Ты думаешь, что Пугачеву верят, считают его царем? Никогда, наш мужик вовсе не глуп и царя от разбойника отличить сумеет, а идут к Пугачеву потому, что он обещал им свободу, потому что он обещал им избавление

от помещиков. Я долее твоего жила в деревне, Евгений, и насмотрелась на многое. Правда, попадаются и добрые помещики, но попадаются и тираны, тираны бессмысленные, ужасные... наш мужик терпелив, и нужно ему вынести много страданий, чтобы он поднялся... Рассуди сам, сытый человек есть не станет, ну, а бунтовать тот, кому хорошо живется, будет? Конечно, нет. Будь мы иные, смотри на мужика иными глазами, верь мне, не было бы Божьей кары. Помещикам нужно быть не рабовладельцами, а отцами своих крестьян, и тогда вся Россия заживет спокойною, счастливою жизнью, как большая семья... Только настанет ли такое время? — со вздохом закончила молодая девушка.

— Из какой книги ты это вычитала, Зиночка? — не без иронии спросила подошедшая в это время Варвара Ивановна.

Вольский недружелюбно взглянул на молодую женщину. Взгляд его не ускользнул от кузины.

— Из той, Варя, из которой и ты можешь вычитать — из книги жизни, которая для всех открыта.

— Но которую, к сожалению, не все так правильно понимают, как ты, Зиночка, — заметил Вольский.

В разговор включились многие, вскоре к молодым людям присоединилось еще несколько гостей. Один кавалер пригласил Зиночку на контрданс; в Вольском шевельнулось какое-то непонятное для него, нехорошее чувство к молодому человеку, увлекшему от него кузину...

С этого вечера Вольский все чаще и чаще стал сравнивать Зиночку с ее подругами и все больше убеждался, что она на них не похожа.

— Да где же раньше были у меня глаза? — задавал он себе вопрос. — Я ставил на недосыгаемый пьедестал обыкновенную женщину, ничем не выделяющуюся над общим уровнем, и не замечал Зину...

Время шло быстро. Суворов уехал уже в армию, Вольский оправился совершенно, отпраздновали свадьбу Ребока и Анны Петровны, а молодой капитан и не помышлял о возвращении в армию.

Жизнь повел он в Москве тихую, в обществе бывал мало, и все свободное время он проводил с сестрой и Зиной. С каждым днем он находил в кухне новые достоинства, которых не замечал раньше.

С Варварой Ивановной он встречался редко и неохотно. Не потому, чтобы в ее присутствии он чувствовал

себя неловко, а потому, что замечал враждебное отношение ее к кузине, которая с каждым днем становилась для него дороже и дороже.

Наступила и весна. Мать Зины уехала в свою поволжскую деревню и, вскоре захворав, вызвала и дочь. Отъезд Зины для Вольского был неожидан, и здесь он впервые понял, какие чувства питал к кузине, и испугался... Князь Иван пришел к нему на память... «Он поможет», — утешал себя молодой человек.

ГЛАВА XXIV

После описанных нами событий прошло полгода. Вольский в армию не возвратился, домашние дела его задержали в Москве. Ребок женился, но вскоре принужден был отправиться за Дунай вслед за Суворовым, уехавшим через месяц после своей свадьбы. Кузина Евгения, Зинаида Ивановна, уехав с матерью в Саратовскую деревню к больной тетке, не возвращалась; вскоре к ним отправились мать и сестра молодого офицера. Он оставался в Москве один в ожидании, пока окончится тяжба по имению с тем, чтобы отправиться затем в Поволжье в отряд Михельсона, действовавшего против Пугачева. В Москве Вольский не только скучал, но чувствовал себя, как на горячих углях: самозванец приобретал все больше и больше сообщников, разграбил Казань и, перейдя на правый берег Волги, направлялся к югу, оставляя на пути своем трупы, пепел и развалины. Вольский дрожал за участь близких ему людей, бомбардировал письмами, прося возвратиться из деревни, но получал успокоительные ответы. Сестра и Зина писали ему, что они в полной безопасности, что Пугачев далеко, да если бы и подошел к Саратову, так опасаться им нечего: крестьяне любят своих господ, преданы им и ни за что не выдадут.

Уверенность родных мало его успокаивала, тем более что и Москва не на шутку начала побаиваться нашествия самозванца и его скопищ. Императрица потребовала от Румянцева, чтобы он отпустил Суворова, произведенного уже в генерал-поручики, но Румянцев настаивал на том, что Суворов необходим в армии, и удерживал его на Дунае. И он был прав: Суворов летом одержал блистательную победу над турками у села Козлуджи, и как ни стоила дорого русским войскам эта победа — Суворов сам чуть не попал в плен, — она окончательно сломила

уверенность турок и повела к Кючук-Кайнарджийскому миру. Румянцеву приказано было немедленно отпустить Суворова, и тот срочно отправился в Москву.

Повидавшись с женою и отцом, он на другой же день в одном кафтане, без багажа, на перекладных отправился на Волгу.

Удивленная такой быстротой, императрица писала Суворову: «Вы приехали к графу Панину 14 августа так налегке, что кроме вашего усердия к службе иного экипажа при себе не имели, и тотчас же отправились паки на поражение врага».

Поблагодарив его за такое рвение и быстроту, государыня пожаловала ему две тысячи червонцев на обзаведение экипажем.

Произошли за это время перемены в жизни и других действующих лиц нашего романа.

Людовик XV умер, на престол вступил Людовик XVI, и герцог д'Эгильон пал, на смену ему вновь явился из изгнания герцог Шуазель.

Известие о падении д'Эгильона привело графиню Бодени в неописанный восторг. Она пала перед образом на колени и горячо благодарила Бога за свое освобождение от ненавистного ей ига.

Да, она теперь свободна! Д'Эгильон в ссылке, да она теперь ему и не нужна, он оставил ее в покое. Маркиз де Ларош убит в сражении при Козлуджи, она сама видела его обезображенный труп, она узнала по браслету, подаренному ею маркизу, всегда носившему его на правой руке.

Свидетелей ее позора нет. Ее тайну знает один только Вольский, но он благороден и будет молчать. Она чувствовала себя перерожденной, вступающей в новую неомраченную жизнь.

Теперь она богата, страшно богата. Ее дядя, двоюродный брат матери, князь Франкенштейн, оставил ей колоссальное состояние и титул в придачу. Теперь она графиня Бодени, княгиня Франкенштейн. Она безбоязненно и смело может любить князя Сокольского, может сделаться его женою.

С окончанием войны молодая женщина переехала в Петербург, как невеста князя Сокольского. Хорошо принятая в австрийском посольстве, она была представлена ко двору и здесь, как и везде, имела огромный успех.

Молоденькая графиня обладала умением не только пленять мужчин, но и привязывать к себе дам. Женская красота и успех среди мужчин во все времена были

причиною враждебного отношения окружающих представительниц прекрасного пола, но графиня Бодени княгиня Франкенштейн оказалась вне этого мирового закона и сумела приобрести в петербургском свете немало искренних приятельниц и поклонниц. Ей старались подражать во всем, и если в ком и являлось чувство зависти, то эта зависть не была тем отталкивающим чувством, которое порицают моралисты.

Князь Иван Сокольский был без ума от своей молодой невесты и горел нетерпением в ожидании свадьбы, которую пришлось отложить на зиму, ввиду отсутствия матери. Старая княгиня Сокольская, перенеся тяжелую болезнь, пребывала теперь в Италии и, письмом изъявив согласие сыну на брак, просила подождать ее возвращения. В ожидании приезда матери князь Иван целые дни проводил у своей невесты.

— Знаешь ли, дорогая моя,— говорил он, сидя у ее ног,— я порой не верю в свое счастье, мне кажется, что я вижу его во сне и боюсь проснуться.

Молодая женщина, перебирая его шелковистые кудри, покрывала лоб и глаза поцелуями.

— Я благословляю судьбу, пославшую меня в армию,— продолжал молодой человек,— там я снова встретил тебя, и ты на этот раз не была так безжалостна, как в Париже...

— Глупый ты мальчик, ты не понимаешь, что говоришь. Ты забываешь, что в Париже я была не свободна, я была замужняя... Ты так скоро возвратился в Россию.. Кто знает, останься ты в Париже подольше, быть может, я давно была бы твоей женой, давно бы полюбила Россию так горячо, как люблю теперь, и, быть может, мне не пришлось бы испытать и выстрадать то, что я выстрадала...

— Не говори о страданиях, забудь о них, ты должна быть счастлива и сделать счастливым меня,— вскричал молодой человек, вскочив и заключая невесту в свои объятия...— Экипаж подан,— продолжал он, глядя в окно,— иди, одевайся.

Графиня не заставила себя долго ждать, и через несколько минут они были в экипаже.

— Опять за город? — спросил ее жених.

Молодая женщина отвечала улыбкою.

Быстро мчали их лошади. Тогдашний Петербург был не тот, что ныне, и не прошло получаса, как коляска, выехав за заставу, неслась по мягкой дороге, с обеих сторон обсаженной деревьями.

Молодые люди строили воздушные замки. Собственно говоря, архитектором их был князь Иван, его же невеста больше слушала, чем говорила. По временам меланхолическое настроение невесты обращало на себя внимание жениха, и он озабоченно спрашивал ее о причине грусти, осыпая маленькие ручки страстными поцелуями. Невеста его успокаивала.

— Я не грустна,—говорила она с чарующей улыбкой,—я счастлива, я так счастлива, что даже боюсь за свое счастье.

Князь Иван недоумевал.

— Ты так молод! Одних со мною лет, ты еще юн, через десять лет будешь молодым человеком, а я уже начну стареть. Что будет тогда?

Князь Иван, обхватив невесту за талию, осыпал ее поцелуями.

— Не говори о будущем, думай и живи настоящим. Ты для меня останешься всегда той же, что и теперь: дорогой, ненаглядный, несравненный... А знаешь ли, кто будет у меня шафером?—обратился он к графине.—Твой друг и мой приятель Вольский.

— Вольский, ты предупредил меня. Лучшего удовольствия ты не мог мне доставить, как пригласить его к нам шафером. Бедный, бедный мальчик, как-то он справится со своим горем. Не успел выздороветь от тяжелой болезни, как обманутая любовь...

— Обманутая любовь... знаешь ли, дорогая, лучше обмануться в любви девушки, чем в любви жены. А с Вольским это случилось бы непременно, если бы он женился на княжне Прозоровской. Она слишком ветреная, увлекающаяся, и Евгений не был бы счастлив, как несчастлив и теперешний ее муж Суворов.

— Ты, кажется, преувеличиваешь, Жан.

— Нисколько. Давно ли она замужем? А каковы ее отношения к мужу? В Москве в отсутствие Суворова я видал ее много раз. Не смею утверждать, что она неверна ему, но что очень благосклонна к юношам, больше даже, чем следовало бы это замужней женщине—несомненно.

Графиня пристально посмотрела на жениха, лукаво улыбаясь.

— Не скрою,—продолжал он, краснея,—она и со мной была любезна более того, чем мне хотелось бы, а Вольский... Он ни разу не обмолвился ни словом, но мне кажется, что она преследует его.

Молодая женщина засмеялась.

— Это твоя пылкая фантазия, Жан... Если Вольский и похож на прекрасного Иосифа, в чем я сомневаюсь, то madame Суворова не напоминает собою жены Пентефрия...

Въехав в тенистую аллею, кучер пустил лошадей шагом, молодые люди вышли из экипажа и пошли пешком, но не прошли они и двухсот шагов, как их внимание привлек детский плач. Под деревом, облокотившись на ствол его спиною, полулежала молодая женщина, находившаяся, по-видимому, в обморочном состоянии; трех-, четырехлетний ребенок, припав головой к коленям матери, горько плакал.

Князь и его невеста быстро подошли, и, пока молодой человек ласкал ребенка, графиня, достав из кармана флакон с солями, поднесла его к носу женщины... Несчастливая очнулась, открыла глаза, и слабый вздох вырвался из ее груди.

— Еще не умерла! — сказала она по-польски. — Слава Богу.

Заметив возле себя чужих людей, она продолжала по-французски:

— Благодарю вас, я думала уже, что смерть моя пришла, что не доберусь я до Петербурга, не найду защиты у императрицы.

Французская речь незнакомки и нищенское рубище, надетое на нее, столь контрастирующие между собой, обратили на себя внимание молодых людей.

— Мы вас довезем до Петербурга, и если вам нужно покровительство государыни — мы вам поможем обрести его, — сказал князь Иван.

— Я полька, — отвечала, задыхаясь, еще молодая, но поблекшая женщина, — я урожденная графиня Друщевская, вдова графа Бронского.

Молодые люди посмотрели удивленно друг на друга...

— У меня в Польше, на австрийской границе, было большое поместье, я была богата, а теперь нищая, пешком пробираюсь в Петербург, голодаю...

Несчастливая закашлялась, и кровь показалась на ее запекшихся губах.

— Конфедераты и ксендзы отняли у меня все, решительно все, и вот с этой крошкой два с половиною года держали в Кракове, в сыром подземелье... Отняли у меня все... любовь, богатство, красоту, здоровье, жизнь... да,

жизнь, я знаю... жить мне осталось недолго... Кто приютит, кто пригреет моего бедного Александра...— и несчастная мать прижала малютку к своей исстрадавшейся груди. Новый приступ кашля помешал ей продолжать...

— За что же с вами поступили так жестоко?— спросила графиня, когда несчастная мать успокоилась.

— За что? За то, что я полюбила русского офицера, за то, что я собиралась сделаться его женою... Он был грозой конфедератов... его не любили, трепетали, хотя и уважали... Он был не похож на других начальников. Насколько был неустрашим в битве, настолько великодушен с врагами... О, его нельзя было не любить...

И она снова закашляла.

Выждав, когда приступ кашля прошел, князь Иван и его невеста усадили несчастную мать с ребенком в коляску и шагом направились обратно в город.

С больною несколько раз случались сильные припадочки кашля, а когда въехали в город— кровь хлынула из горла несчастной. Когда коляска остановилась у дома Анжелики, польскую графиню вынесли из экипажа уже мертвою.

— Несчастный ребенок,— промолвила со слезами на глазах молодая женщина, лаская маленького Александра.

— Дорогая Анжелика, оставим его у себя,— проговорил, краснея, князь Иван.

Невеста молча, но горячо пожала ему руку.

ГЛАВА XXV

В селении Рогачевке, Саратовской губернии, только что окончилась обедня, народ выходил из церкви, направляясь к избе старосты Максимыча. Около избы собралась почти вся деревня, нет только самого хозяина.

— Что же это, нас-то собрал, а сам и глаз не кажет,— обиженно протестовал один из стариков.

— Не обижайтесь, дедушка,— извинялась жена старосты,— Андрей Максимыч сейчас придет, батюшка задержал его малость...

В это время на улице показался и сам Максимыч.

— Чай, догадываетесь, люди добрые, зачем позвал я вас,— начал староста, обращаясь к миру.

— Знамо дело, не на пирушку; на угощение, Максимыч, ты не тороват,— сказал молодой парень.

— Беспутная ты голова, Федька, быть тебе в кандалах, попомнишь меня... до угощений ли тут, когда нечистый, тьфу, тьфу...— сплюнул староста,— мутит люд Божий. Слыхали ль, люди добрые, Пугач окаянный с разбойниками своими к нам идет...

— Не Пугач, а царь-батюшка Петр Федорович,— крикнул тот, кого староста назвал беспутной головой.

— Да замолчишь ли ты, болтун.

— Не я болтун, а ты. Чего, люди добрые, вы его слушаете, видите, что он вас против вашего законного государя наставляет... тот вам волю несет, а он его — Пугач...

— Не царь он, братцы, а вор и разбойник... а ты, Федька, коли вздор молоть не перестанешь, в колодки закую.

— Да что с ним долго разговаривать, сейчас его в колодки,— крикнул кто-то в толпе.

— В колодки, в колодки...— заревела толпа.

Мигом схватили Федьку, связали его по рукам и ногам и уволокли в сборную избу.

— Ну, люди добрые,— обратился к миру снова Максимыч, когда порядок в толпе водворился,— мне, значит, и говорить много не придется. Вижу,— сами ведаете, что Пугач вор и разбойник, а потому начну прямо: он, окаянный, перво-наперво господ изводит. Нужно, значит, нам во что бы то ни стало не дать в обиду нашу барыню Аглаю Петровну с дочкой и с родственниками, дай Бог им много лет здравствовать!

— Знамо дело, не дадим в обиду!— подхватила толпа.

— Ну так вот что, братцы, теперь по домам и через час ко мне. Что у кого есть, тащи сюда: у кого ружье, у кого рогатина, а у кого нет ни того, ни другого, тащи косу, топор, лом... ты, Мишутка с Гришуткой,— продолжал староста, обращаясь к двум молодым парнишкам,— садитесь на коней и скачите по дороге в Воскресенское, а Павлушка с Фомкой— по дороге в Мятлевку. Как только что заметите на дороге, толпу ли или самого разбойника, скачите сейчас же ко мне на господский двор. Ну, а теперь марш.

Толпа разошлась домой, пошел к себе в избу приготовиться и Максимыч, крестясь и охая.

— Ну, баба,— говорил он жене,— видно, Бог наказывает нас за грехи наши... лихое время пришло...

Пока крестьяне расходились по домам, на веранде господского дома садились за завтрак знакомые уже нам лица: владетельница Рогачевки Аглая Петровна Вольская

с дочерью Зиночкой, Анна Борисовна Вольская, мать Евгения с дочерью Линой, молодая жена Ребока Анна Петровна, проводившая конец лета в ожидании возвращения мужа из армии, у родственников и сосед-помещик Кудрин, пожилой уже человек.

— Ведь я к вам приехал, матушка Аглая Петровна, собственно, посоветоваться,—говорил он хозяйке дома,—разбойник Пугач разорил ведь всю соседнюю губернию, теперь к нам идет, окаянный... Как тут быть? Я думаю сформировать из крестьян отряд, да вот беда, оружия-то маловато.

— А у меня, батюшка, и того нет,—со вздохом отвечала хозяйка.

— Не бойтесь, тетя,—вмешалась в разговор молчавшая до этого времени Лина,—Евгений не позже как завтра, должен быть у нас со своею ротою. Сегодня письмо от него получила.

— Дал бы Бог!

— А за наших крестьян бояться нечего,—уверенно проговорила Зиночка,—они нас любят и в обиду не дадут.

Кудрин вздохнул.

— Счастливы вы, матушка Аглая Петровна, с вашими крестьянами?

— А что, разве на своих не надеешься?—спросила помещица.—Так оставайся у нас, не так страшно будет, как-никак, а все же в доме мужчина.

— Спасибо, матушка, правду-то говоря, на своих-то мужиков я не надеюсь...

Кудрин не закончил начатой фразы и в ужасе устремил взор свой на двор.

— Что с тобой, Иван Трофимович,—удивилась хозяйка дома.

— Господи Иисусе, сохрани и помилуй,—крестился помещик.

А во двор валом валил народ. Кто с ружьем, кто с косою, а кто просто с дубиною.

Испугалась и хозяйка, испугались и остальные, вскакивая из-за стола.

— Мамочка, да это староста Максимыч,—успокаивала ее Зиночка.

— А вправду Максимыч. Что же им нужно целым миром?

Толпа между тем остановилась посреди двора, и все обнажили головы, а Максимыч, давно уже снявший шапку, подходил к веранде.

— Слышали мы, матушка-барыня,— начал он, обращаясь к Аглае Петровне,— что разбойник Пугач идет к нам, вот и порешили всем миром идти на господский двор... Будь, что Бог даст, а только, матушка наша, все сложим здесь свои головы, а тебя с родственниками в обиду не дадим окаянному, уж будь покойна.

Простая речь старосты растрогала Аглаю Петровну, на глазах у нее показались слезы.

— Спасибо, родные мои, спасибо. Бог вас наградит за вашу любовь ко мне.

— Матушка барыня, Аглая Петровна,— молвил в свою очередь растроганный староста,— ведь не барыней, а матерью родной для нас была, да и покойный барин Иван Александрович, царство ему небесное, благодетелем нашим был, так вот и посуди, как нам, детям твоим, и не защищать тебя, если не нам, то кому же... Так ли я, люди добрые, говорю,— обратился Максимыч к миру.

— Умрем за тебя, матушка барыня, а не выдадим,— как один заговорили все мужики.

Зиночка восторженными, полными слез глазами смотрела на мужиков.

— Лина,— обратилась она к подруге, сжимая ей руку,— минута опасная... разбойники приближаются, они сильнее нас, быть может, не придется увидеть завтрашнего утра, но я счастлива... Я очень счастлива... О, как приятно видеть, что есть люди, которые понимают тебя, ценят тебя, которые готовы положить голову за тебя... Кудрин убегает от своих крестьян, а наши торопятся к нам на защиту...

— Люди добрые,— крикнула молодая девушка, обращаясь к мужикам,— ни я, ни мама, мы никогда в вас не сомневались. Мы знали, что вы любите нас так же, как и мы вас, и теперь я обещаю вам, что мы вас никогда не оставим, всегда будем с вами и всю жизнь положим на то, чтобы и вы, и ваши семьи были счастливы. Да поможет нам в этом Бог,— экзальтированно закончила молодая девушка.

— Барышня милая, ангел ты наш небесный,— послышалось в толпе на разные голоса,— будь ты только счастлива, голубка наша сизокрылая, а мы за тебя хоть на смерть...

Выражение такой беззаветной преданности со стороны простых мужиков не только растрогало, но и успокоило всех обитателей господского дома Рогачевки.

Аглая Петровна приказала варить для крестьян обед и собираться всем бабам с детьми на господский двор, из опасения, чтобы бунтовщики не выместили своей злобы на женщинах.

Энергичная Зина с помощью буфетчика Ерофеича приняла на себя обязанности коменданта и пошла осматривать обширный двор, обнесенный высокою каменной оградой, с тем чтобы выбрать места для обороны. У крестьян оказалось десятка четыре ружей и барышня-комендант решила расставить их вдоль стен, вооруженные же рогатинами и косами должны были составлять резерв, на случай вторжения бунтовщиков во двор.

— Авось до этого не дойдет,— успокаивал Ерофеич.

Потом, как бы вспоминая что-то, старик ударил себя по лбу.

— Я и забыл, а у нас, барышня, ведь и пушка есть.

— Какая пушка?

— Самая настоящая, из нее при покойном барине Иване Александровиче на барынины именины палили, а я-то, старый, и забыл...

— Где же она, тащи и ее, а кто же стрелять будет?

— Прежде канониром я бывал, вспомню старину и теперь, только вот что, пороху-то бочонка четыре найдется, хорошо что на каменоломни не успел еще его отправить, а вот бомб-то и нет, ну да не беда, кирпичом да камнями палить будем.

Вскоре из сарая, наполненного разным хламом, была вытащена небольшая старая пушка на деревянном станке и поставлена у ворот, в которых для жерла проделали небольшую амбразуру. Возле пушки поставили бочонки с порохом и навалили кучи мелкого кирпича и щебня, который должен был заменить собою снаряды.

Покончив с приготовлениями, Зиночка возвратилась в дом и с веселым видом заявила, что бояться теперь нечего, что Пугачеву не поздоровится.

Веселый тон молодой девушки ободряюще действовал и на других.

— Зиночка, ты под стать Евгению,— говорила Лина, обнимая кузину,— то-то вы так и дружны, что друг на друга так походите характерами, потому-то он так и любит тебя...

Зиночка покраснела.

— Надеюсь, он похвалит меня за распорядительность, когда я сдам команду над своим гарнизоном ему,— сказала молодая девушка смеясь.

К вечеру вернулись посланные Максимычем на разведки мальчишки и донесли, что бунтовщики, разграбив господский дом в Воскресенском, повесили немца управляющего и его жену и теперь пьянствуют.

Зиночка решила не спать всю ночь; не спали, впрочем, и все обитатели Рогачевки, с минуты на минуту ожидая появления разбойников.

ГЛАВА XXVI

Еще недавно цветущая Пензенская губерния теперь носила следы варварского разорения. Всюду дымились пожарища, горели деревни, горели и помещичьи усадьбы, дороги были усеяны искалеченными лошадьми, трупами людей и животных... У деревенских околиц виднелись наскоро приспособленные виселицы, одним словом, все окружающее говорило, что здесь недавно побывал Пугачев со своими скопищами и всюду наложил печать своего пребывания.

Саратовская губерния являла путнику еще более свежие следы разбоя, здесь картины были еще грустнее, еще ужаснее. Дороги обезлюдели, и если встречалось несколько человек, то это наверняка были отставшие бунтовщики, не успевшие насытиться грабежом и разбоем.

Кучка таких разбойников мчится и теперь по дороге. Теперь ей не до грабежа, она чувствует за собой погоню и старается унести в целости лишь головы.

Кони уже измучены, а разбойники все скачут и скачут без передышки. И не мудрено: за ними вдали виднеется облачко пыли, то несется отряд солдат, вот вот он их настигнет, а местность ровная, гладкая, ни дерева, ни кустика где бы укрыться.

Мало-помалу расстояние между бегущими и преследователями становится все меньше и меньше, можно уж ясно видеть солдат и определить их численность, а кони разбойников измучены, им вряд ли уйти от погони.

— Все пропало, братцы,— говорит старший из разбойников, обращаясь к шайке.— Пришел нам конец, не уйти...

— Подожди горевать, Алеха,— отвечал ему товарищ,— направо вон балка, гони туда. Солдаты за нами не поскачут. Им не до нас, они гонятся за птицей покрупнее.

С этими словами разбойник поворотил коня направо, товарищи последовали за ним, и вскоре вся шайка скрылась в соседнем овраге.

Разбойник был прав. Солдаты за ними не последовали, хотя и видели, куда укрылась банда. Они проскакали мимо... Начальник отряда, зная, что в нескольких десятках верст от него сам Пугачев с немногочисленными силами старался догнать его. Забрав в соседней деревне всех лошадей, он посадил на них свою роту егерей и не жалел лошадей, чтобы как можно скорее догнать разбойника.

Заморенные деревенские лошаденки выбиваются из сил, а капитан не дает им передышки. Сам он далеко опередил свой отряд и скачет со сверкающими глазами, он горит нетерпением и торопит своих солдат.

— Евгений Александрович! Вольский!..— кричит ему молодой поручик.— Да дай ты хоть дух перевести, а то этак мы всех лошадей порастеряем. Будет ведь хуже, когда пешком форсировать придется.

— Нельзя,— нервно, но вместе с тем твердо отвечал капитан,— до Рогачевки ни минуты отдыха, там у меня мать, сестра, тетка и кузина... А ты хочешь, чтобы я оставил их в жертву разбойникам...

На такой довод поручик не возражал и начал хлестать нагайкой свою замученную лошаденку.

— До Рогачевки уже недалеко,— успокаивал его Вольский,— вон и Воскресенское,— указал он рукою...— Да что это, никак, оно горит,— ужаснулся он.

Густые клубы дыма действительно свидетельствовали о пожаре.

— Боже мой, Боже мой,— с ужасом воскликнул Вольский,— Рогачевка всего в десяти верстах.

Он немилосердно стегал коня нагайкой и сразу довел напряжение лошадиных сил до крайнего предела. В Воскресенское он прибыл лишь два часа спустя после ухода Пугачева. Пожар в деревне не успел еще потухнуть, от господского дома оставались одни лишь развалины да виселица с болтавшимися на ней трупами немца-управителя и его супруги. Пугачев пошел на Рогачевку. Его повел туда, как сообщили Вольскому крестьяне, рогачевский же мужик Федька, по прозвищу «беспутная голова».

Этих сведений для Вольского было достаточно, чтобы, не оставаясь в Воскресенском ни на минуту, скакать дальше.

Менее чем через час показалась и Рогачевка. Отсутствие дыма и пламени несколько успокоили Вольского, но ненадолго: через несколько минут послышалась ружейная трескотня и даже пушечный выстрел.

— Братцы, ради Бога скорее.— крикнул Вольский солдатам,— но те и без того гнали своих лошадей. Через несколько минут отряд прискакал в Рогачевку. Он поспел как раз вовремя.

Зиночка, принявшая на себя обязанности коменданта, по получении известий о разграблении Воскресенского, не ложилась спать, да в эту ночь и никто не спал, все собрались в большой столовой зале и молились Богу. Исчез куда-то один только Кудрин, пользовавшийся гостеприимством Аглаи Петровны.

Зиночка заходила в столовую только для того, чтобы успокаивать мать, тетку и кузину, остальное же время она проводила на дворе, в сопровождении буфетчика Ерофеича, обратившегося в пушкаря и в адъютанта, осматривала расставленные ею сторожевые посты и разговаривала с крестьянами.

Мальчишки-лазутчики, принесшие известие о разграблении Воскресенского, были высланы на околицу караулить.

— Как только завидите окаянных, сейчас же сюда,— давал им на прощание наставление Ерофеич,— да смотрите у меня, парнишки, не спать, а не то все уши оборву.

— Эвона,— отвечали ему шалуны и моментально скрылись из виду.

Ночь прошла, однако, спокойно. Наступило утро, близился и полдень, а Пугачев и не показывался. У обитателей Рогачевки появилась надежда, не свернул ли разбойник на другую дорогу, не оставил ли их в покое.

— Только бы сегодняшний день прошел благополучно,— вздыхала Лина,— а там не беда, сегодня должен прибыть Евгений со своими солдатами.

Но желаниям молодой девушки не суждено было осуществиться.

В начале двенадцатого часа опрометью прибежали мальчишки-лазутчики с криком:

— Идет, идет, окаянный!..

— Много их? — спросила Зиночка.

— Видимо-невидимо, барышня.

— Полно врать, коли хотите, чтобы уши были целы,— оборвал их Ерофеич,— видимо-невидимо... у страха-то глаза велики.

Однако сам Ерофеич, несмотря на свою пушку и крестьянское войско, был далеко не спокоен.

— Матушка барыня,— обратился он к Аглае Петровне,— на всякий случай я приготовил в саду на реке большой баркас. Положил туда и съедобного, и одежды разной. Коли случится беда, не осилим разбойников — садитесь с барыней и барышнями в лодку, сынишка мой Афоня с Павлухой перевезут вас на тот берег Волги... По крайности, от разбойников спасетесь, им теперь идти туда не рука.

— Полно, Ерофеич,— храбрилась Зиночка,— с твоей пушкой мы на них такого страху нагоним, что они отступятся от нас.

Тем не менее она поблагодарила Ерофеича за заботливость и снова направилась во двор в то время, когда пугачевские скопища подходили к воротам усадьбы. Все увещания Ерофеича возвратиться в дом остались безуспешны.

Разбойники были удивлены, найдя ворота запертыми и усадьбу, по-видимому, подготовившейся к обороне.

— Ну что ж,— говорил Пугачев окружающим,— защищаться хотят, посмотрим, чья возьмет... все, братцы вам отдаю.

В это время к нему приблизился молодой парень и упал на колени.

— Ваше императорское величество, государь наш батюшка, позволь рабу своему, Федьке-беспутному, слово молвить.

— Говори, говори, послушаем, что скажешь.

— Не губи, царь-батюшка, рогачевскую барыню со сродственниками, она хорошая барыня и притеснений нам никаких не делала, а бывало голод, нужда какая — последним с мужиком поделится... Не губи ты ее, а вот над старостой Максимычем да над соседним помещиком живодером Кудриным, что прячется в рогачевской усадьбе, да будет твой правый царский суд.

— Ну, ладно, я у тебя, Федька-беспутный, в долгу, а долги плачу исправно, быть по-твоему... баб не трогать, слышите,— обратился он к окружающим.

— Енерал Потемкин,— продолжал он далее, обращаясь к рябому со зверской физиономией и рваными ноздрями разбойнику, надевшему поверх кафтана через плечо синюю ленту,— поезжай к воротам да скажи им всем, что я их дарю своею царскою милостью, что никому ничего не сделаю, пусть только выдадут нам живодера Кудрина да старосту Максимыча.

Самозванный Потемкин, приложив по-военному руку к шапке, поскакал к воротам.

— Осударь наш, батюшка, император Петр Федорович, послал меня, енерала Потемкина, к вам,— крикнул он осажденным,— сказать, что жалует вас своей царской милостью и обещает всем и жизнь и свободу, да требует еще, чтобы вы выдали ему живодера Кудрина да старосту Максимыча.

Ерофеич вопросительно взглянул на Зиночку.

— Скажи ему, что никого мы им не выдадим и словам разбойника не верим, пусть лучше убирается подобру-поздорову.

Ерофеич вместо ответа приложил к пушечной затравке дымившийся у него в руках фитиль. Раздался выстрел, и самозванный Потемкин рухнул на землю вместе с лошадью... Туча мелкого щебня осыпала бунтовщиков... Под Пугачевым был убит конь.

Такая неожиданная встреча ошеломила разбойников. Они вовсе не ожидали столь энергичного отпора, не ожидали пушки и потому так близко подошли к воротам. Когда они опомнились, то с остервенением бросились к воротам, но Ерофеич, воспользовавшись их минутой нерешительности, успел снова зарядить пушку. Снова раздался оглушительный выстрел, и туча камней ударила по толпе разбойников. Они шарахнулись в сторону, оставив несколько убитых, но и осажденные были смущены не менее осаждавших. Вторым выстрелом разорвало старую пушку. По счастью, осколками ее никого не убило и не ранило, но осажденные потеряли главную свою защиту.

Разбойники, видя, что через ворота им не пройти, рассыпались вдоль ограды и начали карабкаться на нее. Мужички, расставленные во дворе на подмостках у стены, усердно стреляли по атакующим, но что могли сделать десятка два, три ружей?

Не прошло и десяти минут, как несколько бунтовщиков проникли во двор, к ним поспевали все новые и новые и во дворе завязалась схватка. Мужики пустили в ход косы, топоры, ломы и дубины...

Ерофеич силою схватил за руку не хотевшую покидать арену схватки Зиночку и увлек ее в сад, куда перебрались уже и остальные дамы.

— Барышня, ради Создателя, садитесь в лодку.

В это время раздался барабанный бой и крики «ура».

— Евгений, Евгений! Это он! — радостно вскричала Зиночка. — Слава Богу, мы спасены! — и снова бросилась во двор. Разбойники, слышав барабанный бой, выломали ворота и бросились вон со двора, но крестьяне,

ободренные подоспевшей помощью, добивали не защищавшихся уже пугачевцев. Да и сам Пугачев не думал о защите, зная, что его по пятам преследует Суворов, и приняв нападающих за суворовский отряд, он не решился сопротивляться, а собрав шайку, стал уходить по берегу Волги, готовясь в любую минуту перейти на тот берег, где мог рассчитывать на поддержку населения.

Вольский его и не преследовал. Увидя, что Пугачев уходит, он поспешил в усадьбу, полный страха и опасений за участь близких ему людей.

— Евгений, милый, дорогой,— бросилась к нему на грудь Зиночка и обвила его шею руками. Напряженные нервы молодой девушки не выдержали, и она разразилась рыданиями.

Вольский сжимал ее в объятиях, целовал глаза, волосы.

— Зиночка, радость моя,— говорил он, целуя кузину,— я только теперь понял, кто ты для меня...

Навстречу ему не шли, а бежали мать, сестра, тетка.

Все бросились обнимать и целовать молодого офицера.

Когда прошли первые восторги встречи, Вольский приказал подбирать убитых и раненых. Это дело было возложено на крестьян, а истомленной роте егерей дан был отдых, и на том месте, где накануне варился обед для рогачевских крестьян, запылали снова костры, снова варился обед и для мужиков и для солдат, а Ерофеич выкатил несколько бочонков водки.

Через час и двор и дорога перед воротами были очищены от трупов и семья рогачевской помещицы собралась снова в столовой, благодаря Бога за избавление от опасности и собираясь завтракать. Отыскали и перепуганного Кудрина, зарывшегося на сеновале в сено и выбравшегося оттуда лишь только тогда, когда слышал барабанный бой и через щель увидел убежавших пугачевцев.

Вольский представил родным товарища и своего сослуживца, юного поручика князя Курбатова.

За завтраком все взгляды были обращены на Зиночку.

— Если бы ты видел ее, Евгений,— с восторгом говорила после завтрака ему сестра,— сколько энергии, сколько хладнокровия... заправский комендант. Только благодаря ее присутствию духа мы и спасены, могли защищаться до твоего прихода... Недаром ты ее так любишь, Женя...

И Зиночка, и Вольский оба покраснели.

— И она тебя любит, Женечка,— продолжала Лина,— любите друг друга, только и сестренку свою не забывай,— и молоденькая девушка соединила руки брата и кузины.

Вольский посмотрел на Зиночку влюбленными глазами и с жаром заключил в свои объятия и ее, и Лину. В это время в комнату вошли Анна Борисовна и Аглая Петровна.

— Матушка, тетушка, благословите нас,— сказал Евгений, подводя за руку сконфуженную Зиночку.

Обе старушки с недоумением посмотрели друг на друга.

— Благословите... да как же это так, вы такие близкие родные,— начала Аглая Петровна.

— По душе, тетя,— да,— вмешалась Лина,— а по крови ведь мы троюродные.

— Что же, Анюта, благословим,— со слезами радости на глазах обратилась Аглая Петровна к Анне Борисовне.

И старушки обнялись в свою очередь.

ГЛАВА XXVII

Вечерело...

Обитатели Рогачевки собрались на веранде к вечернему чаю.

Все чувствовали себя счастливыми: опасность миновала, рогачевская помещица благодарила Бога как за любовь крестьян, так и за посланное им счастье ее дочери. Радовались и Анна Борисовна с Линой, в восторге была и Анна Петровна Ребок, получившая от мужа письмо с извещением, что на днях он возвращается из армии.

Счастье же Евгения и Зиночки было беспредельно.

Оно казалось для них неожиданным, свалившимся с неба, и они благодарили небо за столь щедрый дар.

Мрачен был один только Кудрин. Крики «выдать нам живодера Кудрина» до сих пор стояли у него в ушах и тревожно отдавались на сердце. Он чувствовал, что опасность для него вовсе не миновала и что крестьяне взвинченные бунтовщиками могут с ним жестоко расправиться, тем более что мелкие шайки Пугачева бродят по окрестностям и не только грабят, но и мутят мужиков. Долго крепился помещик, наконец не выдержал и поделился опасениями, но Вольский его успокоил.

— За ними еще идут отряды, и в скором времени во всей губернии не останется ни одного бунтовщика.

Пока семья рогачевской помещицы мирно сидела за чаем и строила планы о будущем, том счастливом будущем, которое в сбивчивых, но непременно лучезарных картинах представляется молодым влюбленным, по дороге мчался отряд казаков с двумя пушками. Их вел маленький, худенький, но энергичный генерал, скакавший тоже на солдатской лошаденке.

— Вам, молодцы-станичники, будет принадлежать честь поимки разбойника. Вас ожидает почет в станицах и благодарность нашей матушки царицы,— говорил генерал Суворов, время от времени обращаясь к казакам, то с шуткой, то с прибауткой.

Форсированный переход был утомителен, люди измучены непрерывной скачкой, и Суворов, хороший знаток природы человеческой — не давал им опускаться, падать духом, развлекая их шуткой, подстрекая казачье самолюбие и своею бодростью подавая пример. Суворов хотя и встречал на своем пути мелкие банды пугачевцев, но не преследовал их и не отвлекался от прямой цели — погони за ушедшим от него Пугачевым.

Начинало смеркаться. Во дворе рогачевской усадьбы запылали костры, вокруг которых живописными группами расположились егеря, и солдатские песни огласили окрестность... Вольский с Зиной прогуливались по тенистой аллее обширного сада, стараясь разобраться в своих мыслях.

— Как мы до сих пор не понимали самих себя, Зиночка, не подозревали того, что любим друг друга. Нужно было случиться несчастью, чтобы завеса упала с глаз.

— Я тебя давно любила, Женя,— отвечала Зиночка, опуская голову на плечо жениха.

Появившиеся в аллеях мальчишки-лазутчики не дали Вольскому ответить. С криком:

— Скачут, скачут,— неслись они по аллее.

— Кто скачут? — спросил Евгений и Зина.

— Знамо кто, разбойники.

— Куда же?

— Прямо на барскую усадьбу.

Вольский бросился во двор к солдатам с криком:

— В ружье!

В две минуты рота егерей уже выстроилась в ожидании дальнейших приказаний начальника.

Тревога оказалась ложной: у ворот остановился казачий отряд и Суворов въезжал во двор. Вольский, ско-

мандовав роте на «кра-ул», подошел к генералу с рапортом.

Суворов обнял и расцеловал Вольского, а когда узнал о подробностях дела, просил представить его Зиночке.

Пожалев, что Пугачев успел ускользнуть, Суворов не решился, однако, преследовать его в этот день: и люди, и лошади были сильно утомлены, и он распорядился дать им отдых.

Отряд расположился на ночевку в Рогачевке. Прежде чем воспользоваться гостеприимством радушной помещицы и ее семьи, Суворов озаботился размещением людей, и лишь только тогда, когда отряд поужинал и улегся на отдых, он, в сопровождении Вольского и князя Курбатова, явился в столовую господского дома. Осведомленный о помолвке молодых людей, он поздравил Анну Петровну, а Зиночке заявил, что она заслужила Георгиевский крест.

— К сожалению, милая барышня, дамам Георгиевских крестов не дают, но зато судьба вам дала обладателя этого ордена. Будьте счастливы с ним.

Грустная улыбка мелькнула на губах генерала. Вспомнил он свою неудавшуюся любовь, вспомнил он и женитьбу... В ней он думал найти то, что хотя бы несколько напоминало собою семейное счастье, но до сих пор он не нашел и этого. Найдет ли когда-нибудь? И тяжелое раздумие набрело на генерала.

Ссылаясь на усталость, он извинился перед хозяйкой дома и отправился спать. От приготовленной для него комнаты он отказался и улегся среди казаков на бивуаке, положив седло под голову и укутавшись плащом.

— Он всегда таков, Евгений? — спросили Зина и Лина.

— Всегда. Этим и объясняется любовь к нему солдат, а любовь делает все, она двигает горы, — отвечал Вольский.

На рассвете Суворов со своим отрядом поскакал вдогонку за Пугачевым, оставив Вольского с ротой его егерей в деревне на случай возможных неожиданностей.

С отъездом Суворова жизнь вошла в обычную колею, успокоенный Кудрин возвратился в свое поместье, рогачевские же обитатели начали готовиться к отъезду в Москву, где зимою должна была состояться свадьба Евгения и Зиночки.

— Как бы нам не пришлось отпраздновать и другую свадьбу, — говорила она, улыбаясь, Лине, вернувшейся после прогулки верхом с князем Курбатовым.

Молодая девушка краснела и тоже улыбалась.

Князь Курбатов был неизменным кавалером Лины, и ни для кого не было секретом, что молодая девушка нравится юному поручику.

Дни проходили один за другим, вся окрестность была очищена от пугачевских отрядов, обитатели Рогачевки собирались уже уезжать в Москву, да и роте Вольского пора было возвращаться в полк, и молодой князь задумался.

Грустно ему было расставаться с гостеприимной усадьбой, а еще грустнее было сознавать, что Лину он, быть может, никогда не увидит: она уезжает в Москву, а его полк стоит в Казани.

Объясняться как с молодой девушкой, так и с ее братом он считал неудобным — слишком мало был знаком с семьей, а потому решил просить перевода в московскую дивизию.

— Там, в Москве будет виднее, что нужно делать, — решил влюбленный.

В конце сентября семья Вольских и Анна Петровна Ребок переехали в Москву. К этому времени из армии возвратился и Аркадий. Вся большая семья переживала счастливые дни, но все замечали, что с Линой творится что-то неладное. Обыкновенно веселая, жизнерадостная, она по временам становилась меланхоличной, хотя и старалась казаться веселою. Наблюдательная Зиночка не могла не заметить меланхолического настроения кузины, не могла не знать и причины такого настроения. Впрочем, молодая девушка скучала недолго. Недели через две после переезда семьи в Москву, не успела еще Анна Борисовна устроиться и подготовить свой дом к зиме, как к ним явился летний знакомый и сослуживец Евгения, князь Курбатов. Он приехал хлопотать о переводе в московскую дивизию и теперь, заручившись обещанием начальства, посетил семью своего старшего товарища.

Лина с этого дня расцвела и повеселела.

Зина видела эту перемену и радовалась. Ее злила нерешительность юного князя, и она придумывала всякие способы, чтобы заставить юношу действовать смелее и энергичнее.

Роль свахи удалась молодой девушке как нельзя лучше, и через несколько дней после своего приезда в Москву князь Курбатов был уже женихом Лины Вольской.

Вся семья наслаждалась полнейшим счастьем. Старый князь Прозоровский выхлопотал у митрополита разре-

шение Вольскому жениться на Зиночке, и обе свадьбы должны были состояться в конце января, а в декабре Евгений собирался съездить на неделю в Петербург на свадьбу князя Сокольского и графини Бодени.

Не только семья Вольских переживала радостные дни, радовалась и вся Москва, хотя и по иным причинам. Еще не так давно грозивший ей своим нашествием самозванец Пугачев был схвачен, и Суворов вез его уже в Москву. Варвару Ивановну Суворову засыпали поздравлениями, а ее мужу готовились торжественные встречи. Имя Суворова становилось все популярнее и популярнее, и на него смотрели уже как на человека, которому судьба предназначала играть видную роль в истории государства Российского. Пока Суворов по бесплодным и безводным степям, испытывая всевозможные лишения, гонялся за Пугачевым, Варвара Ивановна вела жизнь светскую, рассеянную. Выезжала сама, принимала и у себя. Балы сменялись обедами, обеды раутами. Старинный суворовский дом, еще не так давно напоминавший собою мрачную, опустевшую солдатскую казарму, преобразился. Суворова пустота уступила место роскоши, и былая тишина стала ему незнакомой.

Много молодых людей бывало у Варвары Ивановны, и злые языки изощрялись над образом ее жизни. Былая ее дружба с Анной Петровной Ребок и Зинаидой Ивановной Вольской охладела, встречалась она с ними редко, и с тех пор как узнала о помолвке Зиночки с Евгением, она даже избегала ее.

В начале декабря Суворов доставил в Москву Пугачева; славословиям в честь его не было конца, зато и зависти выказано было тоже не мало.

Москвичи засыпали его приглашениями на обеды, Суворов отвечал им балом.

Как ни натянуты были отношения между Варварой Ивановной и семьей Вольского, тем не менее она не могла обойти и их приглашением, а Вольские не могли отклонить его.

Более всех не по душе этот бал был Евгению. Для него была тягостна встреча с Варварой Ивановной, он не забыл еще ее признания. Но, к счастью и удивлению, опасения его не оправдались. Варвара Ивановна встретила его радушно и любезно, как старого хорошего знакомого, в ее поведении, в манере обращения ничего не напоминало прежнюю молодую женщину, раскаивавшуюся в необдуманном шаге, оплакивавшую любовь

и тяготящуюся замужеством. Напротив, она, по-видимому, примирилась со своим положением, была счастлива и довольна. Множество поклонников окружало ее. Ходили, конечно, сплетни, достигали они и уха Варвары Ивановны, но она была к ним нечувствительна.

Муж, помня недавние свои столкновения с женой, оставил странные выходки и держал себя светским человеком. Был любезен с дамами, танцевал, как молодой офицер, и вообще своими манерами, не всегда, впрочем, изысканными, старался снискать себе расположение жены.

Долгожданный бал состоялся в день именин Варвары Ивановны, 4 декабря. К Суворовым съехалась почти вся дворянская Москва.

Варвара Ивановна красотой и роскошью туалета затмевала всех московских красавиц. Вольский смотрел на нее и удивлялся.

«Как странно,— думал он,— никогда я не видал ее такой красивой и эффектной, как сегодня, а между тем никогда не был к ней и столь равнодушен».

— О чем ты так задумался, Евгений, глядя на Варвару Ивановну? — спросил, подходя к нему, Ребок.

— Я сравниваю ее.

— С кем, с Зиночкой?

Вольский обиженно посмотрел на кузена.

— Как тебе не стыдно, Аркадий, разве ее можно сравнивать с несравненной Зиночкой.

— Ты прежде думал не так.

— Да, прежде... был слеп, а теперь прозрел. Знаешь ли, что мне напоминает Варвара Ивановна.

— Вот как, теперь даже что, а не кого, ты сравниваешь ее теперь с неодушевленным предметом.

— Она напоминает мне,— продолжал Вольский, не отвечая на замечание кузена,— прекрасную севрскую вазу с букетом цветов... Цветы благоухают, их ароматом упиваются, вазой любят... Но вот цветы вынуты, и в вазе осталась мутная зловонная вода...

— Твое сравнение очень меткое,— отвечал Ребок.— Знаешь ли, и я думал в это время о ней и тоже сравнивал, но только не с вазой, а с ее мужем... Какая насмешка судьбы, дать столь выдающемуся человеку в жены такую заурядную женщину.

— Ты говоришь, насмешка судьбы, а мне кажется — это месть ее. Знаешь ли, когда я думаю о судьбе, она всегда представляется мне капризною, злою, старою девою...

Ребок засмеялся.

— Смейся, Аркадий, но ты со мной согласишься. Что судьба вовсе не добра—это ты видишь из того, что немногих смертных она балует, а кого вздумает побаловать—сейчас же ему и позавидует и постарается чем-нибудь отомстить. Такие выходки судьбы я постоянно наблюдал и в жизни и в истории. Скажи, пожалуйста, кто из замечательных исторических людей, взлелеянных судьбой, был счастлив полностью и всегда? Никто. Побалует злая капризница одного—выместит на другом. Суворов—один из последних примеров. Как военачальника, судьба его страшно баловала. Его воинскому счастью не было конца. Судьба покровительствовала, но под конец позавидовала и не могла удержаться, чтобы не отомстить за то, что дарила сама—вот и женила его на Варваре Ивановне.

Ребок продолжал смеяться.

— Да, она мстит ему не только женой, но и этим французиком,—указал он взглядом на щегольски одетого молодого человека, рассыпавшегося перед хозяйкою дома.

Вольский посмотрел в указываемую ему кузеном сторону и задумался.

— Мне что-то очень знакома физиономия этого господина, не могу только припомнить, где я его встречал,—сказал он.

— Мне она тоже знакома,—отвечал Ребок,—хотя с уверенностью могу сказать, что не встречал его нигде, так как он не более месяца тому назад приехал из Парижа. Но дело не в том, почему она мне знакома, а в том, что он, насколько я могу судить, счастливый поклонник Варвары Ивановны. В этом-то я и вижу месть судьбы. Мало того, что она наделила Александра Васильевича другом дома, но дала его жене в друзья «безбожного французишку», которых он так недолюбливает.

— Но кто же он таков?

— Маркиз де Ларош.

— Де Ларош, негодяй и мерзавец,—вскричал Вольский.

— Тс... он неприкосновенен. Быть может, он трижды негодяй, но он член французского посольства, и этого достаточно для того, чтобы мы были по отношению к нему вежливы... Да ты откуда его знаешь?—спросил Ребок.

Вольский хотел было рассказать кузену о своем знакомстве с маркизом, но вспомнил, что пришлось бы выдать графиню Анжелику, и отвечал, что знает его по Парижу, где маркиз пользовался плохой репутацией.

Начался контрданс, Ребок пошел отыскивать приглашенную им даму, а Вольский погрузился в раздумье... Графиня Анжелика писала ему, что де Ларош убит в сражении при Козлуджи. Очевидно, она ошиблась. «Надо предупредить ее или лучше как-нибудь выпроводить маркиза из России, иначе он будет преследовать несчастную женщину и держать ее в руках. Но как это сделать?» — раздумывал Вольский, не замечая того, что объект его размышлений приближался к нему.

— О чем вы так задумались, Евгений Александрович? — прервала его размышления Варвара Ивановна. — Счастливому жениху не к лицу такая задумчивая физиономия.

— Вы правы, Варвара Ивановна, но вы поймете мою озабоченность, когда узнаете, о чем я думал.

— А это не секрет?

— Нисколько. Я думал, как бы избавить Россию от одного негодяя...

— Однако какими возвышенными вопросами вы занимаетесь. Боюсь, если вам повезет, то Россия обратится в пустыню, ах, простите, я забыла, что вы не знакомы... Позвольте вас познакомить.

— Мой друг господин Вольский.

— Маркиз де Ларош, атташе французского посольства. Вольский сухо поклонился.

— Я имел уже случай встречаться с маркизом.

Тот посмотрел на него удивленно.

— В турецком лесу, вблизи Туртукая, — продолжал Вольский, глядя в упор на своего собеседника.

— Очень возможно, — отвечал, смеясь, маркиз, — я вам говорил, продолжал он, обращаясь к Варваре Ивановне, — что я страстный охотник и всесветный бродяга. В каких лесах я только не охотился и в Европе, и в Америке. Помню, лет пять тому назад охотился и в туртукайском лесу... Очень приятно возобновить знакомство, — закончил он, обращаясь к Вольскому.

— Мы встречались гораздо позже... прошлым летом.

— Пройшим летом! — удивился маркиз. — Вы, вероятно, ошиблись. Пройшим летом я состоял при нашем посольстве в Персии и охотился в окрестностях Тегерана. Что за чудная охота, если вы только охотник — советую вам побывать там непременно.

Нахальство де Лароша возмутило Вольского.

Варвару Ивановну пригласили на контрданс, и молодые люди остались одни.

— Послушайте, маркиз,— обратился к нему Вольский,— вы владеете собой в совершенстве — нужно отдать вам должное, но ваше хладнокровие меня не проведет. В тысяча семьсот семьдесят третьем году, раненный при штурме Туртукая, я попал в цыганский табор. Табор кочевал по лесам, и там-то я видел вас с графиней Бодени, когда вы в качестве ее управляющего пробирались в Гирсово в отряд человека, гостеприимством которого вы пользуетесь, чтобы шпионить там. Скрытый в шатре, я от слова до слова слышал ваш разговор с графиней.

— У вас, капитан, поразительная память,— отвечал смело маркиз,— но только к чему весь этот разговор?

— К чему? Я думаю, что вы теперь покините Россию.

— Напрасно так думаете.

— Вы рискуете.

— Чем? Вы расскажете — да кто же вам поверит? Какие у вас доказательства? Вы говорите, что видели меня в туртукайском лесу с графиней Анжеликой — однако вы не ставите ей тех же условий, что и мне, напротив, ей вы покровительствуете, она выходит замуж за вашего товарища, вы будете у него шафером, зачем же такая несправедливость? Выражаясь вашим языком, мы ведь одного поля ягоды...

— Я вас попрошу быть сдержаннее относительно княгини Франкенштейн.

— Хорошо,— отвечал маркиз,— я буду в отношении ее не только сдержан, но и почтителен, но и вы в ее же интересах должны забыть, что знали меня раньше. Для вас я совершенно новый человек.

Вольский испытывал бессильную злобу. Он признавал свое бессилие, его свидетельство против де Лароша было бездоказательно и в то же время опасно для графини Анжелики. Нахальство француза возмущало его до глубины души; ставило в тупик, и он не знал теперь, как выйти ему из неловкого положения, которого де Ларош, по-видимому, и не замечал.

— Итак,— продолжал невозмутимо француз,— забудем старое и станем новыми хорошими знакомыми.

Возвратившаяся Варвара Ивановна дала возможность Вольскому не отвечать де Ларошу.

— Если вы хотите, Евгений Александрович, сохранить со мною дружеские отношения — танцуйте. Идите пригласите мою кузину,— и она указала на молоденькую графиню Панину.

— Пренеприятный господин,— сказал де Ларош вслед уходящему Вольскому.

Варвара Ивановна улыбнулась.

— Это похоже на ревность,— сказала она, смеясь.— Не беспокойся: этот тебе страшен столько же, сколько и мой муж.

Маркиз презрительно улыбнулся.

— Надеюсь, *ma chère*, что ты шутишь... могу ли я приревновать этого самонадеянного молокососа! Нет, он попросту для меня неприятен, и мне не хотелось бы встречать его у тебя в доме.

— Это мудрено: он друг моего детства, да к тому же любимец мужа и его отца, тем не менее я тебе обещаю его не принимать, но и ты должен для меня кое-что сделать.

— Для тебя... все, все, что хочешь, дорогая моя. Потребуй жизнь — отдам и ее,— горячо говорил маркиз.

— Жизнь, Бог с тобой, на что жизнь, отдай мне свое время, оставайся со мной, не уезжай в Петербург, милый, дорогой.

— Ведь я еду не надолго, на две, на три недели, много на месяц, затем я возвращусь снова.

— Ни на один день!

— Дорогая моя, ты требуешь от меня невозможного.

— Почему же, я прошу тебя остаться здесь до февраля, а затем поезжай, конечно, только ненадолго.

— Но почему же до февраля?

Молодая женщина покраснела.

— Потому,— отвечала она,— что к этому времени княгиня Франкенштейн выйдет замуж и уедет из Петербурга.

Маркиз улыбнулся.

— Ревность, оказывается, не с моей стороны, а с твоей... но уверяю тебя, клянусь честью, что княгиня Франкенштейн не страшна тебе, точно так же, как и Вольский мне... Остаться я не могу, у меня есть неотложные дела.

— Какие?

Маркиз мялся и не отвечал.

— Какие, Арман? Говори,— настаивала Варвара Ивановна, надув губки,— у тебя не должно быть от меня никаких секретов, или ты не любишь меня.

— *Chère Barbe*.

— Не любишь, не любишь...— настаивала со слезами в голосе молодая женщина.

— Дорогая моя, полно ребячиться, говорю тебе, неотложные дела... денежные.

— Денегные?

— Ну да, денежные... Мне до сих пор управляющий не высылает денег, а без них я чувствую себя связанным

по рукам и ногам. Мне нужно занять денег, пока мне не пришлют из Парижа. В Москве я это сделать не могу — не знаю, где достать, а в Петербурге я достану их в неделю.

— Только-то! — рассмеялась молодая женщина. — Ну в таком случае ты можешь оставаться в Москве. Деньги ты возьмешь у меня.

— *Chère Barbe...*

— *Cher Арман...*

— Ты жестока.

— А ты упрям или не любишь меня.

— Пощади, дорогая, мое самолюбие.

— Ложное самолюбие... сколько тебе нужно?

— Шесть тысяч, — отвечал маркиз, запинаясь.

— И прекрасно, завтра они будут в твоём портфеле, а теперь, чтобы я о Петербурге и не слыхала.

Молодой человек покорно опустил голову, но если бы Варвара Ивановна была наблюдательнее, она не могла бы не заметить лукавой усмешки, мелькнувшей на лице маркиза...

Поздно разъехались суворовские гости. Одним из последних уехал де Ларош.

— До завтра, — шепнула ему Варвара Ивановна.

А полчаса спустя, оставшись наедине с мужем, она говорила ему.

— Я весьма благодарна тебе, Александр, за твой подарок, но ты с ним поторопился, я у тебя хотела попросить другой.

— Другой, да хотя бы и третий, четвертый... дорогая Варюша, помилуй Бог, за чем же дело стало.

— Видишь ли, в твоё отсутствие у меня появились долги, правда, я виновата, не умела хозяйничать, надеюсь, в другой раз этого не случится.

— Долги? — спросил недовольным тоном Суворов. — Долги нужно заплатить... Сколько же тебе нужно?

— Шесть тысяч, — отвечала, краснея, Варвара Ивановна.

— Шесть тысяч! — ужаснулся муж. — Помилуй Бог, да ведь это целое состояние... ведь это все твоё приданое.

— Вы попрекаете меня моею бедностью! — вспылила молодая женщина.

— Не попрекаю, дорогая Варюша, — спохватился муж, — упаси Бог, а ведь это сумма большая, если мы так будем жить — скоро разоримся. Не о себе ведь думаю, а о тебе. Мне что нужно — сухарь да вязанку сена... О тебе ведь забочусь, дорогая моя... Ну не сердись,

возьми деньги, да на будущее будь осмотрительнее.. тебя ведь обманывают...

Варвара Ивановна успокоилась и поцеловала мужа в голову.

Ласка жены благотворно подействовала на мужа, и он начал мечтать, что и для него еще супружеское счастье возможно.

ГЛАВА XXVIII

Прошло четыре месяца со дня смерти польской графини Бронской. Графиня Анжелика приютила у себя осиротевшего маленького Александра и решила воспитывать его как сына. Никаких документов после себя покойная не оставила, а потому князь Сокольский и не предпринимал никаких хлопот, чтобы возвратить сыну состояние, отнятое у его матери.

— Все равно хлопоты не увенчаются успехом,— говорил он невесте.— Мы с тобой настолько богаты, что Александр бедняком не останется и в том случае, если у нас будут свои дети.

Молодая женщина вполне разделяла взгляд жениха и окружила сиротку нежным попечением.

В начале декабря возвратилась из-за границы княгиня Сокольская, и молодые люди готовились уже праздновать свадьбу и ожидали из Москвы Вольского.

— Как я ни люблю Россию, но ты должен после нашей свадьбы отправиться со мною в мои богемские поместья, там мы в тиши и уединении проведем несколько месяцев, а на лето переедем в твою деревню. Военную службу ты тоже должен бросить, займемся вместе хозяйством,— говорила Анжелика жениху.

— Ты знаешь, дорогая моя, что твое слово — для меня закон. За тобой я пойду на край света и буду делать, что прикажешь,— говорил князь Иван, страстно целуя у невесты ручки.— Ты совершенно околдовала мою матушку, и я ужасно боюсь, что она не захочет расстаться с тобою на недели.

— Зачем расставаться? Почему же и ей с нами не ехать? — спросила графиня Анжелика.

Молодые люди с нетерпением ожидали дня свадьбы и строили планы о будущем, не чуя грядущей беды.

Однажды Анжелика возвратилась от старой княгини Сокольской и не успела переодеться, как камер-юнгфера

ей доложила, что атташе французского посольства просит принять его.

— Просите,— отвечала графиня.

Но едва гость переступил порог, как молодая женщина задрожала всем телом, ноги ее подкосились, и она упала на диван.

Маркиз де Ларош, казалось, любовался произведенным его появлением эффектом.

— Неужели я так страшен,— спросил он, немного помолчав,— что графиня Бодени, княгиня Франкенштейн, чуть не падает в обморок при моем появлении?

Звук человеческого голоса вернул молодой женщине самообладание.

— Простите,— начала она,— я действительно напугалась, считая вас погибшим, я думала, что вы убиты в сражении при Козлуджи. Вы живы — и я очень рада.

— Рады... и на радостях делаетесь невестой князя Сокольского. А знает ли ваш жених, чьей невестой вы были раньше?

— Вашей я никогда не была.

— Вы станете отрицать, что не обещали мне?

— Прямого обещания я вам никогда не давала.

— Пусть будет так. Согласен, что вы не были моей невестой... А знает ли князь Сокольский, что вы были агентом герцога д'Эгильона?

— Вы этого не скажете...

— Почему?

— Потому что сами шпионили в Гирсов.

Маркиз рассмеялся.

— Сказать легко, но доказать трудно. Докажите... а у меня есть доказательства.

— Какие?

— Вы это узнаете?

И он вынул из кармана пачку писем.

— Здесь есть и ко мне, и к герцогу. Вот, например, та записочка, которой вы меня предупреждали о своем выезде в Гирсово и просили, чтобы я освободил вас от Вогеску... Письмо это компрометирует вас, а не меня. Из него не видно, чтобы вы обращались ко мне... вы начинаете *cher ami*...

Молодая женщина в отчаянии ломала себе руки.

— Говорите же, что вам от меня надо... женой вашей я быть не могу и не хочу... я презираю вас...

— Презираете? Я сожалею об этом, а знаете ли, достаточно моего одного слова, чтобы обожающий вас жених стал презирать вас?..

— Не мучьте же меня, говорите поскорее, что вам от меня надо?

Маркиз испытующе смотрел на молодую женщину.

— Хотя вы и презираете меня,— начал он, немного помолчав,— но мы друг друга стоим, а потому я буду с вами бесцеремонен.

— Мне нужно не более и не менее как триста тысяч франков. Вы богаты, чертовски стали богаты, а я как был бедняком, таким и остался, только-только с долгами расплатился и отделался от долговой тюрьмы.

— Жаль, очень жаль,— отвечала молодая женщина. Такому человеку, как вы, место только в тюрьме.

— Да, но на этот счет у нас с вами, ваша светлость, взгляды различны,— говорил, смеясь, маркиз.— Итак, угодно ли вам дать мне триста тысяч франков и получить обратно ваши письма?

— Хорошо. Вы получите требуемую сумму и не только возвратите мои письма, но и уедете из России.

— Письма возвращу, но из России уехать не могу. Вы наслаждаетесь русской любовью, почему же не наслаждаться и мне. Здешние красавицы прелестнее парижских. Но я даю вам слово дворянина, что забуду прошлое и буду молчать.

— Я боюсь верить вашему слову.

— Грех вам, Анжелика... а я не боюсь вам поверить — извольте ваши письма.

Графиня перебрала всю пачку и, присев к столу, выписала чек на триста тысяч франков.

— Благодарю,— галантно расшаркивался маркиз,— а теперь до свидания. Мы незнакомы, а завтра на балу в австрийском посольстве я буду просить чести быть представленным прелестной княгине Франкенштейн... Вам чертовски везет, Анжелика,— закончил он и вышел из комнаты.

Как только маркиз вышел из комнаты, графиня Анжелика еще раз просмотрела все письма и бросила их затем в камин.

Пламя охватило их, и в несколько секунд от мелко исписанных листочков осталась небольшая кучка пепла, но это молодую женщину не успокоило. Письма можно было сжечь, но что поделаться с языком маркиза?

— Что делать, что делать?— задавала она мучительные вопросы и не находила ответа. Выданных де Ларошу денег она не жалела. Сумма была громадна, но она богата, дело не в том, что пришлось заплатить, а в том,

оставит ли ее маркиз в покое. Как быть? Признаться во всем жениху? А если она себя этим погубит? Нет, нет, ни за что...

— Капитан Вольский,— доложила камер-юнгфера.

— Просите...— и молодая женщина бросилась навстречу к входившему.

— Милый, дорогой, друг мой, брат мой,— говорила она, падая на грудь молодому офицеру,— я погибаю, спасите.

— В чем дело, дорогая графиня, успокойтесь, потолкуем.

И молодая женщина передала ему свой недавний разговор.

— Я торопился в Петербург, но опоздал. Беда, впрочем, поправима, только успокойтесь, дорогая моя, и не говорите пока ничего Жану. Я только что от него, он экстренно вызван в Гатчину к великому князю, не мог заехать к вам и просит передать, что вернется завтра, а к этому времени мы что-нибудь и придумаем. Де Ларош не столь неуязвим. Он ошибается, думая, что нет доказательств против него. Я привез в Петербург еврея Иоахима, того самого, который был моим проводником от Туртукая до Гирсово. Иоахим переселился из Турции в Россию, приехал в Москву и случайно встретил меня. Он знает де Лароша и имеет даже его расписки. Маркиз занимал у него деньги и не уплатил... К завтрашнему дню я придумаю, что нам делать, а теперь успокойтесь и будьте веселы.

Сообщение Вольского успокоительно подействовало на молодую женщину. Она начала надеяться, что опасение разоблачения заставят маркиза покинуть Россию, тем более что она предложит ему еще столько же, сколько дала сегодня, а затем после свадьбы она поселится с мужем в деревне, и де Ларош потеряет ее из виду.

Успокоившись, она начала расспрашивать Вольского о его житье-бытье, от души радовалась его счастью и уже мечтала о том, как они в скором времени сделаются добрыми деревенскими соседями...

Де Ларош на первых порах сдержал свое слово. Встретясь на следующий день с графиней на балу в австрийском посольстве, он не показал и вида, что знает ее.

Осведомился даже об ее имени и просил представить его прелестной княгине и ее жениху.

Князю Сокольскому он не понравился: нахальство сквозило во всех движениях маркиза.

— Дорогая Анжелика, мне этот французик не по душе,— заметил он невесте,— было бы хорошо, если бы можно было избавиться от знакомства с ним, я слышал, он просил позволения быть у тебя с визитом.

— Да, но что я могла ему отвечать?

— Конечно, принять его неизбежно, но поддерживать дальнейшего с ним знакомства мне не хотелось бы: у него на лице написаны все пороки.

— Однако ты большой физиономист,— отвечала Анжелика, улыбаясь,— я знаю его несколько по Парижу и могу сказать, что ты не ошибся. Удивляюсь, как французское правительство могло назначить такого человека в посольство?

Де Ларош не замедлил с визитом, но явился не днем, а под вечер. Графиня была одна и ожидала приезда жениха и Вольского.

Де Ларош явился в возбужденном состоянии, по видимому, он не спал ночь и с бала уехал на пирушку, длившуюся до вечера.

Удивленная графиня встретила его презрительным взглядом.

— Что вам нужно?

— Вот как вы стали со мною разговаривать! Заплатили деньги и думаете, что со мною можно поступать, как с лакеем... Нет, сударыня, вы забываете, что я дворянин и представитель французского правительства.

— Я ничего не забываю и не хочу вас оскорблять. Я спрашиваю, что вам от меня нужно? Вы взяли деньги и обещали забыть меня. Вы дали мне слово дворянина.

— Да, дворянина, но дворянин тогда не знал, что вы так чертовски богаты, и продешевил. Теперь я желаю исправить свою ошибку и пришел еще поторговаться.

— Знаете ли, маркиз, я вам еще дам денег, но о них с вами сегодня говорить не буду— вы пьяны, завтра к вам заедет капитан Вольский и вручит столько денег, сколько вам понадобится, и сообщит условия, на которых вы их получите. Только берегитесь их не выполнить, вам придется дело иметь не со мной, а с капитаном. С ним шутить нельзя, а впрочем, вы сами это увидите.

— Я вашему слову верю, дорогая княгиня.

— В таком случае до свидания...

— Ты гонишь меня, как собаку...

— Замолчите, убирайтесь вон...

— Но я люблю тебя, люблю больше денег. Правда, я мерзавец,— говорил он заплетающимся языком,— но те-

бя не будет любить так твой русский князь, как я... Прогони его, дай мне свою любовь и увидишь, что я не буду мерзавцем, да и нужды в том не будет, ты так богата.

— Убирайтесь вон,— кричала графиня, убегая от ставшегося поймать ее маркиза.— Помогите! — кричала молодая женщина.

В это время вошли князь Иван с Вольским. Увидя невесту спасающуюся от объятий пьяного француза, он пришел в ярость. Схватив маркиза за ворот, он стремительно вытащил его в переднюю и вытолкнул за двери.

— Вы оскорбляете не только французского дворянина, но и французского короля, это вам даром не пройдет,— захрипел маркиз пьяным голосом.

Вольскому стоило большого труда удержать рассвирепевшего приятеля.

— Видишь ли, дорогая моя,— говорил несколько успокоившейся Анжелике князь Иван,— я был прав, считая этого негодяя олицетворением всех пороков... Явиться к молодой даме в дом с визитом в нетрезвом виде и делать наглое признание в любви, ведь это варварство...

Вспыльчивый князь Иван вскоре, впрочем, успокоился и старался успокоить невесту, мрачен был один только Вольский.

— Дуэли не избежать,— говорил он князю Ивану, возвращаясь домой.

— Что же я должен был делать? Дуэль так дуэль, по-настоящему с таким мерзавцем и драться не следовало бы, но он дворянин и член французского посольства... Если придет секундантов — я направлю их к тебе, условься с ними.

— Ладно,— со вздохом отвечал Вольский.

Тяжелое предчувствие мучило молодого человека, он вспоминал исповедь графини, в которой насильственная смерть отца и мужа являлись неожиданно... Дуэль жениха тоже неожиданность...

ГЛАВА XXIX

Через день после столкновения князя Сокольского с маркизом де Ларошем на опушке небольшой березовой рощицы у Нарвской заставы на рассвете остановилась карета. Из нее вышли четыре человека и направились в глубь рощицы.

Пройдя сажен двадцать, приезжие достигли небольшой полянки, покрытой мерзлым снегом.

— Здесь? — спросил один из приезжих.

— Здесь. Место уединенное и вообще удобное. Не расстегивайся, однако, замерзнешь, труднее будет парировать удары.

— Не замерзну, мне слишком жарко...: Кровь бурлит при воспоминании об этом негодяе, — отвечал князь Сокольский своему секунданту Вольскому.

— Вы уж, князь, успокойте вашу кровь, — вмешался в разговор доктор. — Плохо дерется тот, у кого кровь бурлит. Напротив, вы должны быть рыба рыбой.

— Легко сказать, Евгений, — продолжал затем князь, обращаясь к другу, — от этой дуэли я не ожидаю серьезных последствий, но на земле нет ничего невозможного. Может и со мной случиться несчастье... тогда ты умело подготовь матушку и Анжелику, а если мне не суждено будет остаться в живых — будь ей другом. Положим, я знаю, что ты и теперь ей предан, тем не менее прошу тебя, если бы понадобилась Анжелике в чем-либо твоя помощь — спеши к ней. — Молодой капитан молча пожал другу руку.

Вдали показалась карета.

Она остановилась там, где и первая, и маркиз де Ларош, щегольски одетый, в сопровождении своих секундантов быстро направился к месту дуэли.

Противники молча поклонились друг другу, и секунданты, обменявшись между собою несколькими словами, расставили их по местам.

По команде скрестились две шпаги. Скрестились и как бы застыли в воздухе. Никто не желал нападать первым, оба предоставляли эту честь друг другу. Было очевидно, что и маркиз и князь опытные фехтовальщики.

Но выжидательное положение не могло долго продолжаться, и нетерпеливый и горячий по натуре маркиз де Ларош первым сделал выпад.

Как ни был возбужден князь Сокольский, тем не менее рука его была тверда и взгляд верен. С замечательным искусством и легкостью парировал он удары, избегая нападения.

Такое хладнокровие и сдержанность выводили маркиза из терпения, он начал нападать с горячностью, удары его становились менее верны, и князь, отпарировав один из таких ударов, коснулся своей шпагой плеча противника.

Взбешенный неудачею, маркиз неожиданно упал на правое колено, и не успел князь опомниться, как противник вонзил ему шпагу в живот, повернул ее и быстро вытащил.

Раненый выронил из рук шпагу и со стоном упал навзничь.

Ошеломленные таким не принятым на дуэлях приемом, известным под названием иезуитского, секунданты бросились к раненому.

Маркиз посмотрел на свою жертву и затем, бросившись к своим секундантам, сказал:

— Идемте, господа, нам тут нечего делать.

Он был прав. Ни ему, ни врачам не оставалось нечего делать.

Доктор, осмотрев рану князя, печально покачал головою.

— Домой, быть может, довезем, но доживет ли он до завтрашнего утра — не знаю. Ну и негодяй же, господа, ваш французишка, — продолжал он, обращаясь к секундантам князя. — Это не маркиз, а итальянский наемный убийца.

Вольский был и возмущен, и глубоко опечален. О поступке маркиза он составил себе полное представление только тогда, когда привезли раненого домой.

Оставив князя Ивана на попечении своего товарища, другого секунданта, Вольский поспешил на квартиру, чтобы подготовить старушку мать.

Тяжелая выпала на его долю миссия, и он не знал, как к ней приступить. Что скажет он несчастной матери?.. Но ему не пришлось много говорить. Несмотря на ранний час, он застал весь дом на ногах, у подъезда стояла карета графини Бодени, княгини Франкенштейн.

Молодая женщина после столкновения ее жениха с маркизом де Ларош проводила время в смертельной тревоге. Она нисколько не сомневалась, что маркиз пошлет князю вызов. Дуэль на другой день состояться не могла, и следовало ожидать ее на третий. Как ни приставала Анжелика к жениху с вопросами, но не могла узнать ничего. На все ее вопросы молодой человек отвечал лишь поцелуями да замечаниями вроде того, что люди, подобные де Ларошу, храбры лишь с беззащитными женщинами. Но графиня слишком хорошо знала маркиза, чтобы согласиться с мнением жениха и успокоиться. Вольского расспросить она не могла, он к ней не показывался, а посланный к нему с запиской человек возвратился с ответом, что капитан уехал на три дня в Гатчину

Молодая женщина страдала невыносимо и, проведя бессонную ночь, решила утром поехать к матери князя Ивана.

От прислуги она узнала, что жених с Вольским, другим офицером и домашним доктором уехали куда-то на рассвете. Для нее отпали все сомнения. Приказав разбудить старую княгиню, она рассказала ей о происшедшей между маркизом и князем истории и выразила уверенность, что в то время, когда она говорит, где-нибудь на окраине происходит дуэль.

Старушка в отчаянии заломила руки.

— Боже мой, Боже мой... сегодня годовщина... Сегодня ровно двадцать лет прошло с того дня, как умер мой муж... Он тоже убит на дуэли...

Около трех часов мать и невеста провели в томительном ожидании... Наконец явился Вольский.

— Убит? Ранен? — встретили его обе женщины. Да говорите же, Бога ради!

Вольский молча опустил голову.

— Еще жив, — едва промолвил он.

С душераздирающим криком графиня Анжелика упала на ковер... княгиня-мать тоже лишилась чувств... вбежавшая на крик горничная не растерялась и, отправив дворецкого за доктором, начала их приводить в чувство. Первою пришла в себя княгиня-мать. Несчастливая женщина помогла привести в сознание и графиню.

— Крепитесь, дорогая моя, — утешала она Анжелику, — Бог не без милости... Жив, может быть, и останется живым, будем молиться... Успокойтесь, переломите себя, будьте спокойны для него... Ваше горе убьет его, — умоляла рыдающая мать.

Пока дома шли приготовления к приему раненого, карета медленно двигалась по малолюдным улицам; несчастный князь страдал невыносимо, но крепился.

— Доктор, — говорил он, — от таких ран не выздоравливают, вы это сами знаете, будьте же милосердны и не старайтесь поддерживать мою жизнь: тремя днями раньше или позже все равно придется умереть, а между тем сколь мучительно мне будет видеть убитых горем мать и невесту.

— Полноте, на вашей свадьбе буду еще танцевать, тряхну пятым десятком, — говорил доктор, а у самого по лицу градом катились слезы.

Раненый горько улыбнулся.

— То-то от радости и плачете, — говорил князь, пожимая доктору руку. — Вы приняли меня при появлении на

свет Божий, вы и в могилу проводите... Доктор, милый, дорогой Афанасий Иванович, вы были нашим другом, другом нашей семьи, будьте другом и моей бедной невесты. Не оставляйте ее... Уедет она, поезжайте и вы с нею...

— А матушка?

— Матушка, я уверен, с Анжеликой не расстанется, она полюбила ее как дочь...

Раненый обессилел и, когда карета подъезжала к дому, впал в забытие.

Почти в бессознательном состоянии перенесли его в комнату.

К вечеру князь Иван скончался...

Дуэль и смерть князя Сокольского произвели в петербургском обществе сенсацию... Жалели князя и жалели Вольского...

На третий день похорон князя Ивана между маркизом де Ларош и Вольским произошло столкновение. Вольский не принял протянутой ему маркизом руки, заметив, что никогда не пожмет руки убийцы, де Ларош послал капитану вызов. На этот раз судьба наказала убийцу, пуля Вольского угодила ему в лоб, и он пал бездыханным.

Как ни были обычны дуэли, но они преследовались, и Вольский был арестован.

Всеобщее сочувствие провожало молодого капитана в Петропавловскую крепость, точно так же, как всеобщее негодование вызвало предательское убийство де Ларошем князя Сокольского.

Эти две дуэли и герои их сделались предметом толков во всех петербургских гостиных. В судьбе Вольского принимал участие даже французский посланник, ходатайствовавший перед императрицей о смягчении участи молодого капитана.

Собравшиеся вечером у княгини Трубецкой гости с нетерпением поджидали приезда вице-канцлера князя А. М. Голицына, зная, что он по просьбе своего шурина, князя Прозоровского, хлопочет о Вольском.

— Что скажете нам новенького, дорогой князь? — встретила входившего А. М. Голицына хозяйка дома. — Простила государыня Вольского?

— Простила, он уже на свободе.

— А графиня Бодени, княгиня Франкенштейн? — раздалась с разных сторон вопросы.

Князь печально покачал головою.

— Все еще без сознания... Нервная горячка... доктор надеется, что при хорошем уходе молодая женщина выздоровеет.

— Бедняжка,— молвила печально хозяйка дома,— больна и одинока на чужой стороне... Знаете ли, mesdames,— закончила она, обращаясь к дамам,— наша обязанность — взять на себя уход за милой княгиней, разделим между собою дежурство.

— Прекрасно, великолепно,— раздалось со всех сторон.

— Мысль отличная,— заметил князь Голицын,— но несколько запоздалая. Из Москвы приехали мать, сестра и невеста Вольского, они не отходят от постели больной. Во время турецкой войны княгиня Анжелика своим неусыпным попечением о раненом Вольском спасла ему жизнь, теперь семья его платит таким же уходом княгине Франкенштейн.

Нет такого события, которым общество интересовалось бы долго, а в те времена сенсационные события следовали одно за другим,— о дуэлях Вольского и покойного князя Ивана поговорили, поговорили и, как всегда бывает, забыли.

Дом княгини Франкенштейн осаждался знакомыми, справлявшимися о ее здоровье. Молодость и крепкий организм выдержали борьбу с болезнью, и молодая женщина оправилась. Но кто знал ее раньше, тот не узнал бы ее теперь. От веселой, жизнерадостной Анжелики не осталось следа: печать тяжелых дум и глубокой грусти легла на ее прекрасное лицо. В России оставалась она не долго и после свадьбы своего друга Вольского уехала в Богемию, взяв с собою своего приемного сына Александра. Старая княгиня Сокольская не могла расстаться с невестой сына и поехала гостить к ней в Богемию. Домашний врач и друг ее, доктор Афанасий Иванович Коробьин, отправился с ними, помня просьбу умирающего.

По пути княгиня Анжелика заехала в Москву проститься с Суворовым. Невесело было и у него на душе: с женой начались споры да пререкания, вспомнил он жизнь на Дунае, свою любовь к прекрасной женщине и заплакал, прощаясь с нею навсегда.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА I

Ранним утром, в конце июня 1779 года, в Полтаву въезжала почтовая тройка. В кибитке сидел молодой офицер, поминутно торопивший ямщика.

— Ну, барин, ваше благородие, торопиться уж некуда, мы приехали,— флегматично отвечал бородатый ямщик, как только тарантас въехал за заставу.

— Ты знаешь, где живет генерал Суворов?

— Как не знать! Генерала знает вся Полтава, вся Опoшня да почитай и вся Россия.

— Вот как! Почему же его знает вся Россия?

— Стыдно вам спрашивать, ваше благородие,— укоризненно отвечал ямщик.— А еще офицер! Да как не знать Александра Васильевича? Турок кто бил?— Александр Васильевич, дай Бог много лет ему здравствовать, Пугача кто усмирил и в Москву предоставил?— Александр Васильевич. Ногайцев кто покорил?— он же. На Кавказе, в Крыму кто отличался?— Александр Васильевич. Это все мы, мужики— народ простой знаем, как же не знать это вашему благородию?!

Молодой офицер был сконфужен замечанием ямщика и замолчал, но ямщик не унимался:

— К тому же здесь, в Полтаве, его знают по добрым делам, даром что он подолгу здесь не живет, живет мало,

да делает много. Кому нужна — тот сейчас к Александру Васильевичу. Не любит он и потачки не дает одним только непутящим, а человеку несчастному всегда поможет... Мой брат в солдатах был, так говорит, что не генерал, а отец родной. Да другой и отец о детях так не заботится, как он о солдатах. Правда, службу уж требует во как! Непутящему пощады не даст, да зато и в обиду солдата не даст. У него солдат и сыт, и одет, и жалованье получает, а сами, ваше благородие, знаете, во всех ли полках жалованье получают? Матушка царица жалует его всем, да не до всех оно доходит, а уж у Александра Васильевича этого не бывает. Сам-то он прошел солдатскую лямку, жизнь солдатскую знает не хуже самого солдата, потому-то он так и любит его, да и солдат его не проведет. Александр Васильевич видит солдата насквозь. Перед ним не схитришь.

Пока ямщик рассказывал молодому офицеру о Суворове, почтовая тройка миновала собор и остановилась возле длинного, большого одноэтажного дома.

— Вот, барин, мы и приехали.

Офицер выпрыгнул из тарантаса, поправил на себе мундир и позвонил у подъезда. Было 6 часов утра.

— Генерал встал? — спросил он у открывшего ему дверь камердинера Прохора.

— Когда еще! Они теперь в саду цветы поливают. Прикажете доложить?

— Нет, лучше проводи меня самого к генералу.

Суворов в полотняной куртке и соломенной малороссийской шляпе, известной под названием «бриля», с лейкой в руках переходил от клумбы к клумбе, поливая цветы, подвязывая некоторые к палочкам. Увидя молодого офицера, он поставил лейку на землю и пошел к нему навстречу.

— Молодец Колчан, помилуй Бог молодец, скоро же ты прискакал из Ундола. Здорово брат. Все благополучно?

— Слава Богу, ваше превосходительство, все благополучно.

— Ну ладно, идем в кабинет.

Кабинет, в который Суворов привел Колчана, представлял собою большую комнату, почти лишенную всякой мебели. Большой стол у окна, немного поменьше в углу, четыре стула — вот все, что составляло обстановку кабинета, если не считать простые деревянные полки вдоль одной из стен, заполненные книгами и журналами.

— Ну, что привез с собою? Донесение мира привез?

— Так точно.

— Ну давай скорее, что там у них нового?

Колчан вынул из кожаной сумки и подал генералу несколько толстых листов синей бумаги, исписанной каракулями.

Суворов взял каракули и принялся за чтение.

— «Денис Никитин пойман в поле с чужими снопами; за что на сходе сечен,— читал Суворов и здесь же сделал приписку карандашом: «Очень хорошо, впредь больше сечь».— Иван Сидоров пойман с рожью в гумне и за это тоже сечен» — «и впредь не щадить»,— добавил Суворов.

— «В чужой деревне пойман наш мужик Алексей Медведев с сеном и за это сечен.— «Ништо и впредь хорошенько сечь»,— приписал генерал сбоку.— Он же, убоясь солдатства, топором себе руку отрубил». Суворов сделал нетерпеливый жест и написал сбоку: «Вы его греха причиной, за то вас самих буду сечь: знать, он слышал, что от меня не велено вам рекрут в натуре отдавать».

Окончив читать донесение, он обратился к Колчану:

— Ну что, осмотрелся в деревне? Помни, что я поставил тебя управляющим не только для того, чтобы ты управлял моим имуществом, но чтобы ты заменял меня, был как бы помещиком, а помещик должен быть отцом крестьянам. Мужик наш — темен, его просвещать нужно, учить надо как малого ребенка. Священник будет тебе хорошим помощником.

— Мир пишет, что у Калашникова умерла дочь от оспы, а он, дурак, говорит: «И слава Богу, она нам руки связывала». Так вот, как приедешь в Ундол — отправь его к священнику, пусть наложит на него епитимью, да и старосту поставь в церковь на сутки, пусть на коленях молится да впредь пусть крепко смотрит за нерадивыми о детях отцами. Оспа — большое зло, и в нем сами мужики виноваты: ребят от простуды не укрывают, двери и окошки оставляют открытыми, питают ребят плохо,— скажи миру, что таких отцов нужно сечь, а мужья с женами сами управятся.

За ложь — тоже спуску не давай, коли кто солгал — ставь на него штраф пять копеек, а то и гривенник, а деньги на церковь. В другой раз лгать не захочет.

У Сидорова, мир пишет, родился девятый ребенок. Это хорошо. Крестьянин богатеет не деньгами, а детьми; от детей ему и деньги.

— Так-то так, ваше превосходительство,— вставил Колчан,— да трудненько ему приходится, пока дети подрастут и станут помогать.

— А пока я помогу. На каждого ребенка выдавать провиант, как на взрослого, да, кроме того, на каждого новорожденного выдавать по рублю единовременно, а Полякову и его жене за то, что за детьми своими хорошо смотрят, сделать подарки.

Покончив с наставлениями, Суворов перешел к личным делам.

— Ну, а теперь скажи, в каком положении музыка?

— Все обстоит благополучно, учатся усердно, ваше превосходительство.

Суворов, не любивший праздности и распутства, боялся, чтобы эти пороки не свили гнезда среди его дворни, а потому старался, чтобы каждый был занят каким-нибудь делом. С этою целью он учил своих дворовых музыке, пению и даже драматическому искусству. «Сии науки у них за плечами виснуть не будут,—говаривал он,—театральное нужно для упражнения и невинного веселья».

— Да, вот что я тебе скажу,—продолжал он, обращаясь к Колчану,—ты мне писал, что готовишь Ваську на роли трагика. Какой он трагик! Такой же, как ты, мандарин. Он природный комик, а трагиком хорошим будет Никита. Только нужно ему хорошенько поучиться выражению, что легко по запятым, точкам, двоеточиям... В римах выйдет легко. Держаться надобно ритма в стихах, подобно инструментальному такту, без чего ясности и сладости в речи не будет. Ты все это запиши себе и как воротишься в Ундол, так и поступай.

Да запиши еще, что парикмахера Алексашку нужно обучать французской грамматике. Да помни всегда нашу музыку, чтобы не уронить концертное пение, как Бочкин уронил простое. Теперь и поправляй... Певчих нужно непременно поправить и обучить на итальянский манер. Не жалея денег и выпиши для этого из Петербурга знающего регента... а гусли куплены?

— Куплены, ваше превосходительство, и для обучения игре на этом инструменте взят, как вы изволили приказать, знающий мастер.

— Прекрасно. Теперь выпиши из Петербурга симфонии Плейеля, несколько квинтетов, квартетов и серенад Вангали, трио Кромера, двенадцать новых контрдансов, шесть полонезов, три менуэта и как можно больше церковных концертов. Ну, как поживает достойнейший сосед наш Диомид Иванович?

— Приказали кланяться вашему превосходительству.

— Спасибо. Вот как вернешься в Ундол, побывай у него, я дам тебе письмо. У него открыты разные похвальные заведения художеств и ремесел, нельзя ли к нему в эти заведения отсылать в научение и наших дворовых, чтобы от праздности в распутство не впадали, да нельзя ли и их жен приурочить туда же?

Пока Суворов давал наставления и приказания, Колчан поспешно записывал все в книжку.

— Ну что, все записал?

— Так точно, ваше превосходительство.

— Ну на сегодня пока довольно. Я просмотрю ведомости и отчеты, а ты поди позавтракай да отдохни. Прохор проводит тебя во флигель.

Колчан ушел, а Суворов погрузился в чтение отчетов и ведомостей, привезенных Колчаном от управителей его многочисленными вотчинами. Управитель недавно приобретенного Суворовым поместья во Владимирском наместничестве доносил, что число крестьян в вотчине неожиданно для него прибавилось. Много крестьян, бежавших при прежнем владельце, заслышав, что имение куплено Суворовым, стали возвращаться восвояси. Приходили они с дальних мест: из-под Астрахани, из земли войска донского, ибо про нового помещика всюду шла хорошая слава.

При чтении донесения Суворов самодовольно улыбнулся.

Просмотрев все отчеты, он встал с довольной улыбкой и затянул «Тебя, Бога, хвалим», что свидетельствовало о его хорошем расположении духа, но веселое настроение продолжалось недолго. Прохор подал ему записку. Она была без подписи и состояла из нескольких строк: «Богу помолиться успеете,—говорилось в записке,—вместо того чтобы идти к вечерне, съездите лучше к Шведской могиле. Ни попа, ни дьякона там не встретите, но зато встретите вашу супругу кой с кем...»

Суворов с яростью скомкал записку, бросил ее на пол и быстро зашагал по комнате:

«Кой с кем! Но с кем же, с кем?»—задавал он себе вопросы. В другое время он с омерзением бросил бы анонимный донос в огонь, не придав ему никакого значения, но теперь он этого сделать не мог, да и не хотел. В продолжение пяти лет его супружеской жизни он неоднократно задавал себе вопросы: любит ли его жена или нет? И ответы он мог давать себе только отрицательные. Варвара Ивановна всегда и во всем делала

ему наперекор, а последние годы она вообще держала себя не так, как подобает замужней женщине. Правда, доказательств ее неверности он не имел, но поведение ее ему не нравилось, он находил его не только легкомысленным, но и неприличным. Вспомнил он, как еще недавно изнуренный лихорадкой, в жару и полусознательном состоянии метался в постели, а жена уехала с молодежью на пикник, оставив его на попечении камердинера Прохора.

— Если не из-за любви или уважения ко мне, если даже не из-за человеколюбия, вам неизвестного, то приличия ради вы должны были остаться дома,—говорил потом Варваре Ивановне муж.

— У нас с вами различные понятия о приличиях,—отвечала она,—вы говорите, что приличия ради я должна была сидеть дома, а мое мнение таково, что приличие заставило меня ехать, так как я обещала раньше, и, оставаясь дома, я расстроила бы поездку. Ведь не умирали же вы?

— А я все-таки нахожу ваш поступок неприличным.

— Я вам повторяю, что понятия о приличиях бывают различны. Вы свои понятия получили в солдатских казармах, а я в обществе, в котором возвращаетесь теперь и вы.

— Ты, матушка, казармой меня не кори. Казарма меня воспитала на пользу и славу государства, а твое общество обратило тебя в бессердечную фарфоровую куклу.

— Зачем же вы женились на фарфоровой кукле?

— Этот вопрос я должен задать вам. Зачем вы, знатная, воспитанная барышня, выходили замуж за грубого солдата? Зачем? Скажите, зачем?

Варвара Ивановна молчала.

— Вы молчите, вы не можете ответить. Так я отвечу за вас. Это будет не упрек, а голая, неприкрытая правда. Вам нужны были солдатские деньги. Да, деньги, не падайте в обморок, это не поможет, я ваши повадки теперь знаю доподлинно. Я вас понял давно. Я знаю, что вы меня не только не любите, тяготитесь мной, но и не цените, и тем не менее видя в вас мать своей дочери, я окружаю вас уважением и полным комфортом. Вы не знаете недостатка ни в чем, так хотя бы вы из благодарности относились ко мне иначе. Ведь в семье я редкий гость. Вы живете здесь, а я—то в Крыму, то на Кавказе. Хотя бы на то короткое время, когда я приезжаю повидаться с дочерью, вы по внешности были бы моею женою. Наташа маленькая, она хотя еще и не понимает, но ее детская головка работает, и она инстинктивно чувству-

ет, что отец с матерью живут неладно... Дочери постыдились бы, сударыня.

Такие сцены все чаще и чаще происходили между мужем и женой, и мало-помалу Суворов начинал испытывать к Варваре Ивановне отчуждение.

Вспоминалась ему жизнь в укреплении св. Дмитрия, припомнил он и ухаживания там за женою молодого французского эмигранта, ухаживания, поощряемые самою Варварою Ивановной, и сделалось тяжело у него на душе.

Не радовала его служба, не находил он радостей и в семье. С тех пор как мы оставили его в Москве, прощающимся с графиней Бодени, прошло четыре года. Немало сделал он за эти четыре года для государства, а еще больше видел он неприятностей, порожденных завистью и интригой.

Не успел он уничтожить следы пугачевщины в Поволжье и умиротворить край, как его услуги понадобились в Крыму.

Россия, всегда стремившаяся к обладанию Крымом, была уже близка к цели. Кючук-Кайнарджийский мир, сделавший Крымский полуостров независимым, был первым к тому шагом; нужно было совершить второй, и последний. Дело было поручено Румянцеву, но исполнителем явился Суворов. Интрига и зависть на каждом шагу ставили ему препоны, но, несмотря на это, он оказался и хорошим дипломатом, обеспечив за Россией обладание Крымом. Чем же его за это отблагодарили? Целым рядом сплетен, доходивших до того, что утверждали, будто Суворов требовал от крымского хана красавиц. «Кроме брачного,— писал по этому поводу Суворов Потемкину,— я не разумею, чего ради много вступаюсь за мою честь. Говорят: «Требовал я персидских аргамаков» — я езжу на подъемных. «Требовал лучших уборов» — ящика для них у меня нет. «Драгоценностей» — у меня множество брильянтов из высочайших в свете ручек».

Оскорбленный гнусною клеветою, он просил наказать клеветников, но они остались безнаказанны.

Все это вспомнилось ему теперь, и грустно ему стало.

— Говорят, я счастлив,— рассуждал он сам с собою.— Да разве это счастье, что все приходится брать упорным боем и с людьми и обстоятельствами, когда усилиями одержанная победа не доставляет радости, ибо отравляется завистью и злословием. Если я бывал счастлив в сражениях, то не потому, что счастье мне покровительствовало,

а потому, что я сам повелевал счастьем,—самоуверенно закончил он свои размышления и топнул ногою.

Взгляд его упал на скомканную записку, он потер лоб и быстро зашагал по комнате.

— Посмотрим, что мне готовит Варвара Ивановна,—промолвил он, сверкнув глазами.—Так долго канитель тянуть нельзя, нужно покончить, чем скорее, тем лучше, благо дети еще маленькие.

Придя к такому заключению, Суворов приказал подать себе коня и поскакал за город на свою прогулку, от которой его никогда не удерживали ни жара, ни ненастье.

ГЛАВА II

Варвара Ивановна, встававшая обыкновенно поздно, проснулась в этот день довольно рано. Тревожные сны ее беспокоили, и она скверно провела ночь.

— Как я плохо сегодня выгляжу,—думала она, смотрясь в зеркало,—а между тем сегодня-то я и должна быть хороша. Сегодня решительный день. Борис уезжает на три месяца в Петербург, и мне надлежит окончательно с ним объясниться... Так жить дальше нельзя... я словно схожу с ума. Бог меня карает за Вольского,—думала молодая женщина,—но Вольский теперь счастлив, женат, любит жену и любим ею, а я... я несчастна. Борис говорит, что любит меня, да любит ли? Не так ли, как маркиз де Ларош? Он тоже уверял меня в любви, пока я не заплатила его долги, а потом бросил меня. Борис тоже уверяет в любви, уверяет, а держит при муже... Ох, как он мне ненавистен!—закончила она свои размышления вслух.

— Кто, мамочка, тебе ненавистен?—спросила четырехлетняя дочь Наташа.—Борис Иванович? Да? И я его не люблю, он противный такой и над папой смеется.

Варвара Ивановна покраснела.

— Ты говоришь глупости, Наташа,—заметила мать.

— Нет, мама, не глупости. Правда, он над папой смеется. Он тебе говорил, что папа старый инвалид, а я спросила Прохора, что такое инвалид, он мне сказал, что инвалид—значит никуда не годный человек, а папочка славный, милый, добрый, я очень его люблю, мамочка, и ты ведь папу любишь. Не позволяй Борису Ивановичу его так называть, если бы я была большая, я бы не позволила.

— Полно, Наташа, говорить глупости. Не смей разговаривать с прислугой, барышне это неприлично.

— Я, мамочка, Прохора люблю потому, что он папу любит... Ты знаешь, Трезор очень злой, меня он любит, лижет мне руки и Прохора любит, а Бориса Ивановича не любит, как увидит его, так и рвется с цепи.

— Ну что же? — смеясь, спросила мать.

— Если Борис Иванович будет еще называть папу старым инвалидом — я спущу на него с цепи Трезора... Я уже пробовала, я умею расстегивать ему ошейник.

Варвара Ивановна ничего не ответила и злобно посмотрела на дочь.

Маленькая девочка съежилась под этим взглядом и молча отошла прочь.

«Эту оставлю ему», — подумала про себя Варвара Ивановна.

Весь день она провела в тревоге в ожидании вечера. За обедом спросила мужа:

— Ты поедешь со мною к Балашовым?

— Нет, ты знаешь, что по субботам я бываю у всенощной, а после всенощной и спать пора. Езжай сама, — и он вскользь взглянул на жену. Появившееся на лице Варвары Ивановны удовольствие не ускользнуло от его внимания.

Раздался благовест к вечерне.

— Папочка, ты возьмешь меня с собою в церковь? — спросила, ласкаясь к нему, маленькая Наташа.

— Сегодня, голубочка Суворочка, не возьму тебя. Служба долгая, оставайся с нянюшкой дома, а завтра к обедне пойдешь.

— И на лошади покатаешь.

— Покатаю и на лошади, милая дочурка, — сказал отец, нежно целуя девочку в лоб.

Видя жену совершенно одетой к выходу, он осведомился, почему она не приказала заложить лошадей.

— Хочу пройтись пешком. У меня болит голова, от прогулки, думаю, пройдет, да и до Балашовых недалеко.

— Как знаешь. Взяла бы с собою лакея, придется возвращаться ночью...

— Балашовский лакей проводит.

— Твое дело.

— Конечно, мое, когда муж проводить не хочет... Впрочем, я это сказала так, я не хочу отрывать вас от молитвы.

У мужа готово было сорваться с языка колкое словцо, но он удержался.

Перекрестив дочь и поцеловав ее в лоб, он взял шляпу и пешком вышел из дому.

В собор он, однако, не пошел, а, свернув в один из переулков, направился на полковой двор квартировавшего в Полтаве казачьего полка, находившегося в турецкую войну под его командой. Здесь он приказал оседлать себе лошадь и, вскочив в седло, помчался в степь к известной в городе Шведской могиле.

В груди у него бушевала буря, в бешеной скачке думал он найти себе успокоение, но злоба и ревность гнали покой от него прочь. В его голове мелькали мысли одна другой ужаснее... Что, если он накроет неверную жену? Как поступит с ней, с любовником? Он не находил мести, их достойной. «О Боже, Боже, за что ты меня наказываешь? — взывал он к небу. — Сколько людей пользуется семейным счастьем, отчего же оно для меня невозможно? Если не надо мной — сжался над дочерью. Сохрани ей мать чистою и непорочною... А непорочен ли ты сам? — спрашивал его внутренний голос. — Непорочен. Видит Бог — перед женой не виновен, и жизнь вел целомудренную. Так ли? — нашептывал ему внутренний, неведомый голос. И он призадумался. Начал припоминать прошлую жизнь, ранние годы... — Помнишь графиню Бронскую?» — спрашивал его неумолимый голос совести.

«Стефания! — вырвался из его груди стон. — Да, Стефания, ты меня любила, одна только ты, но где ты, что с тобой случилось? — И он весь погрузился в воспоминания прошлого. — Мои отношения со Стефанией порочными назвать нельзя. Я любил вдову, а не жену другого. Я собирался жениться на ней, и если сошелся ранее, то только потому, что обстоятельства мешали, отодвигали брак на некоторое время. Но если и была в том моя вина, то Бог меня и наказал за нее. Он отнял от меня любимую женщину!»

Прошрое в ярких красках воскресло у него в памяти. Он был тогда полковником и командовал отрядом в Польше, сражаясь с конфедератами. Там он познакомился с прекрасной Стефанией, вдовой графа Бронского, и полюбил ее всеми силами своего девственного сердца и неиспорченной души. Он был тогда неизвестен, небогат, некрасив. А она знатна, богата, красавица, руки которой тщетно домогались магнаты. Мог ли он рассчитывать на взаимность? Никогда, он мог только любить. Любил и молился на любимую женщину. И вдруг, о чудо! он узнает, что тоже любим. Не богатства, не красоты, не знатности искала прекрасная графиня Стефания. Она искала благородного сердца, нашла его в невзрачном с ви-

ду, но великом душою полковнике, иноземце и любила его со всем пылом страсти.

Суворов потерял от восторга голову, он боялся, не верил в свое счастье, оно казалось ему сном, он боялся потерять его, торопился воспользоваться и... согрешил.

«Да, согрешил,— думал он,— брачное ложе должно быть освящено церковью, а я не дождался освящения — Бог меня покарал».

Счастье его было недолговременно. Обстоятельства войны вызвали его с австрийской границы, где находился замок графини, в Литву, а когда он через два месяца вернулся обратно, замок оказался разграбленным, графиня исчезла неизвестно куда, самые тщательные розыски были безуспешны, а года два спустя он услышал, что прекрасная Стефания умерла в одном из краковских монастырей, оставив по духовному завещанию свое имущество ордену иезуитов.

Знавшие графиню были изумлены таким завещанием. Она не только не была фанатичкой, но не любила иезуитов и орден их, но завещание оказалось в порядке, и спорить не приходилось.

Более всего поражен был Суворов. Полюбивши его, Стефания готовилась перейти в православие.

— Милый, дорогой мой, ненаглядный,— говорила она, лаская его,— я всегда и всюду желаю быть с тобою и здесь, и на том свете. Я не хочу, чтобы нас что-нибудь разделяло. Твоя вера — будет моей верой, твой Бог — моим Богом.

И вдруг такое завещание!

Суворов недоумевал, но разгадки не находил.

Годы проходили один за другим, боевая жизнь требовала напряжения всех сил ума и воли, и горечь понесенной им утраты мало-помалу притуплялась. Впоследствии он вспоминал о Стефании, как о мимолетном чудном видении, и только теперь история первой его любви воскресла в памяти во всех подробностях.

Начинало смеркаться, когда Суворов заметил, что Шведская могила осталась далеко позади за ним, он усккал верст на двадцать вперед. Между тем на небе сгущались тучи, блистала молния, вдали раздавались раскаты грома, близилась гроза...

Суворов повернул коня и пустил его галопом, но от грозы уйти не удалось. На лицо упала крупная капля дождя, за ней другая, третья, налетел вихрь, и дождь полил, как из ведра.

Хотя генерал промок, что называется, до костей, но холодная вода освежила его пылавшую голову.

Он уже проехал Шведскую могилу, дождь усиливался все более и более, а до города оставалось далеко. Вспомнил генерал о знакомом ему пасечнике, пасеку которого он частенько посещал с Наташей, и решил у него на пасеке переждать дождь и немного согреться. Для этого нужно было свернуть только в сторону, пасека находилась у опушки небольшой рощицы.

Едва он въехал в рощу, как заметил у развесистой липы маленький тарантас. Лошадь стояла спокойно, а под деревом, прижавшись к стволу, виднелись две фигуры.

По тарантасу Суворов узнал его владельца.

«Качалов, что ему здесь делать в такую пору?» Узнав потом в другой фигуре женщину, он сразу сообразил: «Так вот она с кем!» Для него теперь сделались ясны частые посещения женою Балашовых, родственников Качалова. «Так вот почему она отправилась пешком!»

В первую минуту он хотел с нагайкою налететь на любовников, но потом раздумал.

Он сошел с коня и, привязав его к дереву, медленно начал приближаться к липе, под развесистыми ветвями которой укрывались от дождя Качалов и его спутница. Шум бури заглушал и без того тихие его шаги, наступившая темнота скрывала его небольшую фигуру. Он почти вплотную подошел к роковой липе и мог слышать весь разговор.

Прижавшись к соседнему дереву, затаив дыхание, он весь превратился в слух.

В семилетнюю войну, в такую же ночь, он в темном лесу высматривал врагов, а теперь подсматривает за женою и горькая усмешка мелькнула у него на губах.

— Боже мой, Боже мой! Что я буду делать? — волновалась Варвара Ивановна. — Когда я попаду домой!.. Что я скажу мужу?

— Успокойся, Варенька, — утешал ее Качалов, — такой дождь не бывает продолжительным. Минут через десять он перестанет, и я мигом довезу тебя до города. Твой старый инвалид теперь спит и ничего не узнает. Только я тебе советую, будь с ним помягче, время от времени и поласкай, нельзя дразнить цербера.

— Я тебя не понимаю, Борис, ты говоришь, что любишь меня и в то же время требуешь, чтобы я ласкала мужа.

— Но ведь это время от времени необходимо, чтобы не возбуждать подозрений.

— Я не вижу необходимости. Раз ты меня любишь, я люблю тебя — отчего не сказать об этом мужу и не разойтись с ним мирно.

— Что ты, что ты, Варенька, подумай, какой выйдет скандал!

— Ты скандала боишься?

— Не за себя, а за тебя. Я мужчина, однако для тебя, для твоей репутации это невыгодно.

— Ведь я говорю о разводе. У моих родных большие связи, мне дозволят развод, и я могу выйти за тебя замуж.

— За меня замуж! — удивился Качалов... — Правду говоря, я не задавался этим вопросом. Конечно, это самое лучшее, я буду счастлив, очень счастлив, но этот вопрос нужно тщательно обсудить, не торопясь... я вернусь из Петербурга, и тогда мы увидим, что нам нужно делать.

— Негодяй! — закричал, выскакивая из-за дерева, Суворов и замахнулся на Качалова нагайкою, но тот быстро отскочил в сторону, и нагайка свистнула в воздухе.

Варвара Ивановна вскрикнула в испуге и прижалась к дереву. Качалов тоже остановился неподвижно, на него напал столбняк. Суворов, по-видимому, наслаждался их смущением.

— Ну, что вы скажете, сударыня? Какого вы теперь мнения о приличиях? Теперь и я вижу, что понятия о приличиях бывают различны и что вы не доросли до казарменного понятия. Казарма, по крайней мере, научила бы вас чести, а ваше хваленое общество, очевидно, учило вас бесчестью.

Впрочем, я вам теперь не судья. Вас сам Бог наказал за измену. Вы променяли мужа, детей вот на этого негодяя. Обольстить чужую жену он мог, а когда увидел, что от него требуют женитьбы — сейчас же на попятную. Полюбуйтесь, хорош ваш выбор... Ну да, впрочем, это ваше дело. Вы хотели от меня уйти — уходите завтра же, а теперь пока вы не имеете права марать мое имя. Марш домой. Эй, вы, пакостник, помогите вашей даме сесть в экипаж, да садитесь и сами, я буду ехать рядом. Пусть думают, что счастливые супруги с другом дома возвращаются с прогулки.

Качалов и жена молча исполнили приказание мужа. Суворов, отыскав своего коня, вскочил в седло и поехал рядом.

Варвара Ивановна рыдала всю дорогу.

— Плачьте, плачьте, сударыня. Слезами и покаянием можете только искупить пред Богом свою вину,— говорил Суворов,— да, впрочем, каяться вам не придется, теперь я вижу, что этот негодяй был не первый, найдутся и другие, вы успокойтесь.

По приезде домой он сейчас же отправился спать к себе в кабинет.

— Завтра, чтобы духу вашего здесь не было,— сказал он на прощанье жене.— Не оскверняйте своим присутствием невинную дочь. Пусть она не видит позора своей негодной матери. Поезжайте куда хотите, деньги на дорогу получите от Прохора, а приданое ваше я отправлю вашему отцу.

ГЛАВА III

— Ну, что ты теперь скажешь, батюшка князь?— с горечью спрашивала княгиня Прозоровская своего мужа.— Говорила я тебе, что он Варю не пара, чуюло мое сердце недоброе, так оно и вышло. Прожили несколько лет, как кошка с собакой, а под конец и выгнал, да как выгнал... кого?— урожденную княжну Прозоровскую, нашу дочь, племянницу вице-канцлера... Ну что же ты молчишь? У тебя слов теперь нет, а прежде-то, когда дочку выдавал, каким краснобаем был.

— Полно, не казни меня, и без того на душе у меня нелегко, не хотел зла дочери, добра ей хотел, а что так вышло— подождите во всем обвинять зятя, быть может, и на Вариной стороне вины немало. Вот прочти, что Александр Васильевич пишет.— И князь подал жене письмо зятя.

Княгиня внимательно стала читать.

— Не может быть!— вскрикнула она, окончив чтение, бросая письмо на пол.— Не может быть, он лжет... Застал Варю в лесу ночью с Качаловым... Придумал же.

— Да ты, матушка, не волнуйся. Порасспроси лучше Варю.

— Что же по-твоему, это правда?

— Варя не отрицает.

Княгиня удивленно посмотрела на мужа.

— Да, она не отрицает. Александр Васильевич действительно застал ее в лесу с Качаловым, но она мужу не изменяла. Она не отрицает того, что любит Качалова,

что хотела развестись с мужем и в этот вечер думала условиться с Качаловым, но тот оказался негодяем...

— Боже мой, Боже мой! — застонала княгиня.

— Ты, матушка, не плачь, слезами горю не поможешь. А Варвару во что бы то ни стало нужно помирить с Александром Васильевичем, благо Анна Васильевна в Москве, я обращусь к ней за посредничеством. Нужно правду сказать, Варя много виновата. Муж ее любит, или, по крайней мере, любил, во всем потакал, а она была строптива и своенравна.

Княгиня ничего не возражала.

— Теперь ты молчишь? Что же ты посоветуешь?

— Поступай, как сам знаешь. Поезжай поскорее к княгине Анне Васильевне, а то как бы она не уехала из Москвы.

Пока отец и мать советовались, как пособить горю, Варвара Ивановна с французским романом в руках отдыхала на кушетке в своей девичьей комнате. Книга лежала у нее на коленях. Она не читала и задумчиво устремила свой взор в пространство.

«Да, посрамлена, пристыжена, унижена! — вздохнула она, размышляя, — И как я могла увлечься Качаловым, этим гаденьким фатом. Да он ли один, все мужчины таковы: де Ларош, де Волан, Барсов, Леонтьев, Караваев, Батищев — все они друг друга стоят, ни один не любил искренне, так как мне хотелось бы». Припоминая имена бывших своих друзей, Варвара Ивановна ужаснулась... Как часто, как много она изменяла мужу и с кем? — с людьми недостойными его. И в первый раз за всю свою супружескую жизнь она почувствовала себя виноватой. Все то, что прежде она порицала в муже, что отталкивало ее от него, его причудливая выходка, иногда грубоватые манеры, все это теперь представлялось ей в ином свете. Со всем этим можно мириться. Ведь она пользовалась полнейшей свободой. Муж ее ни в чем не стеснял, немножко уступчивости с ее стороны, и совместная жизнь станет возможною, тем более что большую часть времени муж бывает в армии и семью навещает только на короткое время.

То, что ей прежде казалось тяжелым и постылым — жизнь в доме мужа, теперь стало ее мечтой. Но как вернуть утерянное? Как помириться с мужем?

Дни проходили один за другим, и этот вопрос все чаще и чаще, все назойливее и назойливее начал мучить молодую женщину.

Девушкой она не знала никаких материальных затруднений, отец тщательно скрывал от нее свое положение, и дочь ни в чем не знала нужды. По выходе замуж в этом отношении положение ее изменилось к лучшему. Цены деньгам она не знала, и узнала ее только теперь. Она ясно сознавала, что впереди ее ожидает бедность, а люди, подобные Варваре Ивановне, плохо мирятся с нуждой и готовы на всякие компромиссы, лишь бы сохранить за собою то положение, ту обстановку, без которых им жизнь не в радость и кажется прозябанием. Оставшись без средств, видя, что у родителей ничего нет, кроме долгов, она начала помышлять о примирении с мужем. В этом обещала содействовать и сестра его — княгиня Анна Васильевна Горчакова, и Варвара Ивановна решила написать мужу письмо.

В то время как родные жены старались примирить ее с мужем, в жизни Суворова произошла крупная перемена. Как только Варвара Ивановна уехала в Москву, он подал в славянскую консисторию прошение о разводе, а через несколько дней сам был вызван в Петербург.

Тогдашняя ост-индийская война между англичанами и французами невыгодно отражалась на морской торговле Индии. Многие крупные торговцы стали искать для своих операций сухопутного пути — через Персию и Каспийское море. Обстоятельство это обратило на себя внимание императрицы Екатерины II. Она понимала, что если бы эту случайную, трудно выполнимую мысль удалось осуществить, то значительная часть индийской торговли направилась бы к нашим границам. Но для этого требовалось прежде всего устранить препятствия, заключавшиеся в тогдашнем состоянии Прикаспийского края. Лишь небольшая часть каспийского побережья принадлежала России; юг находился во власти Персии, терзаемой смутами и междоусобицами. Приходилось прибегнуть к советам и предположениям Петра I, расширить наши пределы за счет Персии; завладеть на юге надежным пунктом для склада товаров, так как выполнение такого подготовительного плана расчищало путь к конечной цели — направлению ост-индийской торговли по внутреннему водному пути.

Для разъяснения обстоятельств дела и выполнения начальной части проекта, если это окажется возможным, нужен был способный человек, и Потемкин указал императрице на Суворова. «Усердная служба, искусство

военное и успехи, всегда приобретаемые,— писал Потемкин государыне,— заставляют меня остановиться на генерал-поручике Суворове».

Государыня приняла его очень ласково, оказала ему особый знак внимания, пожаловав бриллиантовую звезду св. Александра-Невского со своей собственной одежды.

Суворову было объяснено, какое поручение на него возлагается, и дан секретный собственноручный ордер Потемкина вместе с инструкцией.

Ласковый прием государыни несколько смягчил горечь расставания с женою, и Суворов, не тратя времени, сейчас же отправился в Астрахань, заехав по дороге в Полтаву за дочерью.

Среди трудов и опасностей боевой жизни он думал найти забвение терзавшему его горю. Но каково было его удивление, когда вслед за ним приехала в Астрахань и сестра его, Анна Васильевна.

Суворов обрадовался сестре, с которой он был всегда дружен, обрадовался и цели ее приезда. Хотя он и подал в консисторию прошение о разводе, тем не менее в глубине души раскаивался. Для него был неприятен скандал, затеянный этой историей, да и маленькая дочь связывала его.

Посредничество сестры и полное самообвинений, извинительное письмо жены были встречены им с радостью, чего не ожидала Анна Васильевна, знавшая упрямый характер своего брата.

— Все, что ни делается, к лучшему,— говорила она ему.— Неприятна ваша размолвка, но теперь помирились и, Бог даст, заживете хорошо. Ваша размолвка указала вам на ваши недостатки, бывшие причиною ссоры, и теперь, как ты, так и жена, воздержитесь и будете снисходительнее друг к другу в ваших слабостях. Собственно, в чем вина Вари — в том, что она хотела с тобою разойтись мирно и честно, тебя не обманывая. Ведь ты сам это говоришь. Причиною такого желания были отчасти и твои выходки, и твой вспыльчивый характер. Будь к ней снисходителен и не попрекай бедностью.

— Да я и не попрекал ее, а всегда выходило так, как будто я попрекаю. Сам знаю, что Качалов и моложе, и красивее меня, но ведь она жена мне, мать детей, должна же она помнить свой долг... Забыла, Бог с ней, я ей прощаю, нужно, чтобы и Бог ей простил.

И тут же он со свойственной ему оригинальностью предложил необыкновенную в его и его жены положении

форму покаяния. Без этого он не хотел даже видетсья с приехавшей в Астрахань Варварой Ивановной. Анна Васильевна, зная брата, не возражала.

На другой день он, по уговору, пешком, в солдатском платье, в сопровождении своего адъютанта и нескольких близких лиц пришел в церковь пригородного села Алехина. Сюда же, тоже пешком, в скромном платьице, гладко причесанная, покрытая платочком, пришла Варвара Ивановна с Анной Васильевной.

После обедни священник отслужил молебен, который муж и жена прослушали на коленях; муж горячо молился, а жена горько плакала.

Религиозный Суворов принимал эти слезы за слезы покаяния, и только одна Анна Васильевна понимала истинную причину их.

Для самолюбивой светской женщины, не переносившей в муже странностей и его причудливых выходов, была тяжела и унизительна эта сцена. С ней она мирилась по необходимости, но в сердце ее шевельнулось недоброе чувство к мужу, заставившему ее так унизиться.

После молебна священник благословил супругов, и они поцеловались.

— Начнем, Варюша, теперь новую жизнь,— сказал Александр Васильевич жене,— забудем прошлое, а главное — будем помнить о Наташе.

Жена молча опустила голову.

В этот же день Суворов пригласил к обеду астраханское общество и как бы вторично отпраздновал свою свадьбу.

Молитва и слезы жены подействовали на него благотворно, и на будущее он емотрел теперь спокойно, не опасаясь за свое семейное счастье.

ГЛАВА IV

Прибыв в Астрахань, Суворов принялся за дело, по обыкновению, горячо. Он попросил Потемкина о переводе на военную службу одного из знатоков азиатских языков и местных нравов и обычаев. Вскоре, однако, оказалось: проект перевода ост-индийской торговли на новый путь трудновыполним ввиду многих обстоятельств, а потом и совсем был оставлен, так как англичанам удалось обеспечить за бенгальскою торговлей прежний ее путь. Суворову приходилось заниматься перелива-

нием из пустого в порожнее, то есть находиться в положении тягостного безделья. «Свеженькая работа», о которой он так мечтал в Полтаве, оказалась гораздо скучнее и унылее прежней, и Крым представлялся блестящей ареной деятельности сравнительно с Астраханью.

Так прошло два года. За неимением серьезного дела нашлись в пустой бессодержательной жизни захолустья мелкие интересы. Появились на Суворова пасквили и доносы, конечно, вздорные. По людям заурядным они скользят почти бесследно, а человека из ряда вон выходящего, каким был Суворов, эти булабочные уколы глубоко задевают. Так было и с ним, он чувствовал, что болото засасывает его. Надежды на обновление семейной жизни не оправдались: с болью замечал он, что Варвара Ивановна не изменилась, осталась такой же легкомысленной. Притязания ее только несколько уменьшились и время от времени проявлялись лишь при эгоцентричных выходках мужа.

В конце второго года пребывания в Астрахани он начал просить перевода.

В Крыму брожение не прекращалось, поддерживаемое почти всеобщим неудовольствием, которое Порты втайне продолжала разжигать через своих эмиссаров в надежде довести татар до открытого восстания. Турки играли на руку России, сами того не подозревая. Руководство операциями в Крыму было передано из рук Румянцева Потемкину.

Чем крупнее возникали беспорядки, тем быстрее приближалась конечная цель.

Под турецким влиянием многие из татарских старшин отказали хану Шагин-Гирею в повиновении и избрали ханом старшего брата его Батыр-Гирея. Другой его брат Арслан-Гирей прибыл с Кубани и присоединился к вновь избранному хану. Шагин бежал из Крыма под покровительство русских. Порты стала вооружаться и принимать угрожающее положение, но это не отдалило развязки.

Русские войска вступили в Крым, в Тамань и Прикубанский край; смута в Крыму была подавлена скоро, и Шагин-Гирей снова был поставлен правителем в Бахчи-Сарае. Батыр и Арслан-Гирей были арестованы, зачинщик и глава восстания Махмет-Гирей, по приказанию хана, побит камнями и несколько других лиц казнены. Русские войска остались в Крыму под предлогом отражения турецких посягательств и уже его не покидали.

Войсками был призван командовать Суворов, но едва он прибыл на место, как ему дали другое назначение. Он был послан командовать кубанским отрядом. Корпус его предназначался, как было сказано в ордере Потемкина, «как для ограждения собственных границ и установления между нагайскими ордами нового подданства, и на кубанские орды при малейшем их колебании, дабы тех и других привести на долгое время не в состояние присоединиться к туркам».

Суворов стал стягивать войска, чтобы занять ейско-таманскую линию, особенно Ейск, где он обосновался и куда перевез свою семью. Работы ему предстояло немало, и притом тяжелой работы, говорившей о доверии к нему всесильного Потемкина и императрицы.

Учредив штаб-квартиру в Ейске, Суворов немедленно приступил к выполнению возложенного на него поручения.

Поручение же это состояло в том, чтобы склонить ногайцев добровольно принять русское подданство и переселиться в Уральскую степь. Таким переселением русское правительство надеялось отдалить ногайцев от турок и тем самым парализовать турецкое влияние среди ногайских мурз.

Дело оказалось нелегким, так как турецкие эмиссары разжигали ногайцев, помогал им в этом и бывший крымский хан Шагин-Гирей, добровольно сложивший с себя власть и перешедший в подданство России. Теперь он сожалел о своей поспешности и надеялся снова вернуть и власть, и независимость.

Но как ни трудна была задача, Суворову удалось сблизиться с ногайскими мурзами и убедить их в преимуществах русского подданства.

Задаривая одних, оказывая почести и уважение другим, он вскоре приобрел среди влиятельных ногайцев людей, к нему искренне расположенных. Во главе последних был всеми почитаемый столетний Муссабей, который, главным образом, и склонил своих перейти в подданство России.

Присяга была назначена на 28 июня — день восшествия императрицы Екатерины на престол. К этому дню степь под Ейском покрылась массою кибиток, собралось несколько тысяч кочевников. Русские войска были наготове, но не показывали и тени угрозы.

Утром в православной церкви совершилось богослужение, после которого все ногайские старшины были созваны на площадь и в присутствии Суворова на Коране

принесли присягу на верность русской императрице. Затем старшины разъехались и приняли такую же присягу от подвластных им ногайцев. Присяга была принесена без всяких затруднений, спокойно и торжественно.

Суворов, от имени императрицы, произвел многих мурз в обер- и штаб-офицерские чины русской службы, а в полдень начался пир.

Рассыпались по степи ногайцы, смешались с русскими солдатами и принялись за еду. Наш солдат хлебосол и радушный хозяин. Благодаря этому качеству, между ними и татарами вскоре завязалась дружба. Правда, при незнании ими татарского языка, а татарами — русского, приходилось объясняться мимикой, но на это русский солдат большой мастер.

Старшины обедали в большом шатре вместе с Суворовым и его штабом, здесь же находились Варвара Ивановна и все жены военных.

Большой кубок ходил вокруг, здравицы следовали одна за другой и крики «ура» и «алла» сливались с грохотом орудий, приветствовавших новых подданных императрицы.

По окончании пира начались скачки, и казаки соперничали с ногайцами в джигитовке. За скачками опять следовало угощение, и пир продолжался до поздней ночи.

Было съедено 100 быков, 800 баранов, не говоря уже о других припасах.

Во времена Магомета нашей русской водки не существовало, и он, не подозревая, что в будущем изобретут такой напиток, запретил своим последователям пить виноградное вино. Ногайцы воспользовались такой оплошностью пророка и выпили свыше 500 ведер водки. Ели и пили, как повествует очевидец, до бесчувствия, и многие поплатились за это жизнью.

Следующий день, 29 июня, был день именин, наследника престола, и ногайцам устроили новый пир. На третий день — снова угощение.

Довольные гостеприимством Суворова, ногайцы дружески распростились с ним и откочевали восвояси, сопровождаемые русскими офицерами. Там в их присутствии состоялась присяга народа, оставшегося дома.

Обрадованная императрица Екатерина благодарила Суворова и пожаловала ему недавно учрежденный орден Владимира 1-й степени.

Не радовала его, однако, эта награда. Он понимал, что формальное подчинение татар русской власти нельзя

принимать за действительное и что в будущем предстоит еще немало затруднений. Своеволие, беспорядки и внутренние раздоры ногайских орд проявлялись так часто, народ этот был так восприимчив к подстрекательству извне, и земли войска донского так сильно страдали от ногайцев, что надежда на внезапное перерождение ордынцев была бы чистой иллюзией, а Суворов в иллюзии никогда не впадал.

Того же мнения был и Потемкин. Он приказал обращаться с ними ласково до первой их вины; оказывать особенное уважение их религии и подвергать жестокому наказанию, как «церковных мятежников» всех тех из русских, кто посягнет на их веру. Опасения Суворова оказались не напрасны, хотя ногайцы и изъявили согласие на переселение в Уральскую степь, но среди них нашлись подстрекатели — сторонники Шагин-Гирея, и признаки непокорности и своеволия ногайцев обнаружались очень скоро.

Потемкин прислал предписание Суворову повременить с переселением, но предписание запоздало, переселение началось.

Не успели ногайцы отойти от Ейска на сотню верст, как раздумали, повернули назад и напали на сопровождавшую их русскую команду. Произошел бой с большим числом убитых и раненых. Был ранен и старик Муссабей, стоявший за переселение. Суворов обратился к татарам с увещеванием, но слова его не имели успеха, тогда, следуя инструкциям Потемкина, он дал им волю идти куда хотят.

Десять тысяч татар повернули назад и напали на первый встречный русский пост. Пост получил подкрепление, и после жаркого боя русские одолели. От неудачи ногайцы пришли в исступление, не знавшее предела. Они истребляли свое имущество, резали жен, а детей бросали в реку Малую Ею.

Поражение татар распалило злобу кочевников и между мурзами, недавно торжественно присягавшими и получившими офицерские чины, состоялся заговор, душою которого был Тав-Султан. Мятеж запылал, несколько русских мелких отрядов были изрублены, другие вынуждены были отступить.

Пользуясь отсутствием Суворова, не возвратившегося еще с дороги в Уральскую степь, куда он сам повел переселявшихся ногайцев, Тав-Султан со своими ордами направился к Ейску.

ГЛАВА V

В царствование Екатерины II немало иноземцев искало счастье на русской службе. Особенно много было французов, некоторые прошли незамеченными, но многие оставили по себе память в истории России.

Служили французы и в армии, и на флоте, и в гражданском управлении. Нужно отдать им справедливость, идя на русскую службу, они стремились к кипучей, сопряженной с опасностью деятельности.

Суворов, недолюбливавший вообще французов и не называвший их иначе как «безбожными французишками», дорожил, однако, находившимися на русской службе французскими эмигрантами, как храбрыми и образованными офицерами. Храбрых у нас было немало, а в деле образования корпус офицеров сильно хромал. Суворов же, высоко ставивший образование, из-за него прощал французишкам их безбожие и охотно принимал к себе на службу.

В его кубанском отряде было несколько таких эмигрантов. Дорожил ими генерал, дорожили и военные дамы. И неудивительно. Жизнь в маленьком захолустном городке на окраине России так скучна и однообразна, что вносить в нее разнообразие и веселье мог только француз с его живым и веселым характером. Французской изобретательности не было конца. Пикники чередовались с танцевальными вечерами, различными играми и забавами. Не скучало не только неприхотливое армейское общество, не скучала также и избалованная Варвара Ивановна, хотя по иным причинам

Среди эмигрантов находился граф де Ривер, блестящий молодой человек, красавец, певец и музыкант.

Русская красавица, как называл он Варвару Ивановну, производила сильное впечатление на молодого офицера, но скромный и честный, он только безнадежно вздыхал и по отношению к генеральше держал себя рыцарски

Такая застенчивая любовь молодого человека сперва забавляла Варвару Ивановну, нравилась ей, но вскоре она почувствовала, что до сих пор еще не любила и любовь узнала только теперь.

Она испугалась своего чувства. Оно не обещало ей ничего доброго. Граф де Ривер был беден так же, как и она, даже беднее ее, и жил на скромное жалованье армейского офицера. Помышлять, следовательно, о разводе с мужем и о новом замужестве было нечего. К тому

же первая ее ссора с мужем показала ей, что на поддержку родителей она рассчитывать не может, как ни любит ее отец, но присущей ему справедливости отдаст должное зятю и поступков дочери не оправдает. Никогда еще молодая женщина так не страдала, как страдала теперь, никогда еще муж ей не был так ненавистен. Бывали минуты, когда она готова была отказаться от всего: от детей, от богатства, положения в обществе, переносить нищету, лишь бы быть с любимым человеком. Но этот человек молчал, а минуты самопожертвования были только минутами и быстро проходили. Женщины, подобные Варваре Ивановне, неохотно расстаются с роскошью и богатством даже и для страстной любви. Для них любовь должна идти рука об руку с богатством, одно же без другого не составляет счастья.

Долго мучили Варвару Ивановну сомнения, в конце концов она решила будь что будет и отдалась страсти, ни о чем не думая, ни о чем не помышляя.

Де Ривер не мог не заметить любви молодой женщины. Сперва он пришел в неопишуемый восторг, но ненадолго, ужас сменил восторженное состояние. Воспитанный в строгой религиозной семье, де Ривер испугался. К чему поведет любовь его к замужней женщине, жене уважаемого им начальника, человека, отечески к нему расположенного, питавшего к нему неограниченное доверие?

От такой любви, кроме несчастья, обоюдного несчастья, молодой офицер не ожидал ничего, и в своем поведении с Варварой Ивановной он стал более сдержан.

Но чем сдержаннее был граф, тем менее стеснялась Варвара Ивановна. Забыв всякий такт, она ясно старалась дать понять ему, что он любим, что от него ждут объяснений. Но де Ривер не только молчал, но стал избегать встреч с Варварой Ивановной, сказываясь то больным, то занятым исполнением служебных обязанностей.

Избегать встреч было, однако, трудно. Ейск не столица, и волей-неволей ему приходилось встречаться с молодой женщиной чаще, чем он хотел бы.

В середине августа большое общество офицеров и дам собралось на пикнике в небольшую рощицу, расположенную в десяти верстах от города.

В степи древесная растительность так редка, что десяток-другой деревьев ценится дороже дремучего леса и служит местом прогулок.

Отказаться от поездки де Ривер не мог, так как она была предложена им самим еще давно. Пришлось ехать, что, впрочем, его не особенно беспокоило. В большом обществе он чувствовал себя с Варварой Ивановной свободнее и мог избежать всяких неудобных объяснений.

Во время пути и в самой рощице граф де Ривер старался не отставать от общества, и все попытки Варвары Ивановны остаться с ним наедине, хотя бы на несколько минут, были безуспешны.

Выехавши из города под вечер, общество весело провело время и стало собираться домой, когда на небе вошла луна. Не успели отъехать и ста сажень, как на дам и их кавалеров с криком и гиканьем выскочили из-за придорожного холма татары.

Общество прищпорило отдохнувших коней и быстро помчалось к Ейску, повернул своего коня только граф де Ривер. Он видел, что Варвара Ивановна и сопровождавший ее офицер остановились: в седле молодой женщины ослабла подпруга — нужно было ее подтянуть.

С ужасом заметил де Ривер, что знакомый офицер, кавалер Варвары Ивановны, лежит на земле с раздробленной головою, а молодую женщину схватили два ногайца и готовятся связать, чтобы связанною положить на седло Жена генерала была для них драгоценным залогом

Не помня себя, граф с яростью налетел на татар, ошеломленных такою безумною отвагою. Не успели они опомниться, как выстрелом из пистолета он положил на месте одного из них, другого свалил саблей и, посадив молодую женщину к себе в седло, дал шпоры коню.

Остальные ногайцы опомнились лишь спустя несколько секунд, когда храбрец с отнятой у них добычей был в нескольких стах шагах.

Несколько стрел понеслись за ними вдогонку; но сами татары преследовать не решались, боясь подкреплений из города.

То были разведчики Тав-Султана, шедшего к Ейску со своими скопищами.

Граф де Ривер немилосердно шпорил своего коня Молодая женщина, казалось, находилась в обморочном состоянии, но это длилось недолго. Скоро она пришла в себя и, видя себя в безопасности, обвила шею своего избавителя руками, покрывала его лицо, глаза и лоб поцелуями.

— Рауль, милый, дорогой, ведь ты любишь меня, говори. Я сама говорю тебе о своей любви.. Что же ты молчишь? Ведь я не ошибаюсь?

Долго крепился молодой человек. В висках у него стучало, голова была в огне. Ласки красавицы сводили его с ума, наконец он не выдержал...

Страстно прижав к себе молодую женщину, он отвечал на ее поцелуи горячими поцелуями.

При въезде в город их встретила казачья сотня, высланная на помощь, как только разнеслась весть о нападении.

Комендант, уведомленный о восстании и видя теперь близость мятежников, приказал запереть городские ворота, удвоить караулы и гарнизону быть наготове. Но гарнизон был до крайности мал, и население Ейска провело ночь в страшной тревоге. Только Варвара Ивановна и граф де Ривер не разделяли общих опасений, они о них не думали... Охваченные чувством взаимной любви, они забыли всякую опасность, не думая о будущем, жили настоящим. Граф де Ривер не оставлял Варвару Ивановну всю ночь, что ввиду ожидавшегося нападения ни для кого не казалось странным.

Утром ейцы увидели себя со всех сторон окруженными татарами.

— Точно саранча облепили,— докладывал денщик Варваре Ивановне о появлении татар.

Его сравнение оказалось справедливым. Более 10 тысяч ногайцев со всех сторон окружили город, но комендант его, несмотря на малочисленность гарнизона, решил защищаться.

ГЛАВА VI

Обложив город со всех сторон, Тав-Султан послал к коменданту трех мурз с несколькими ногайцами с предложением сдать город. Он обещал полную неприкосновенность отряду, если только он отступит, оставив ногайцам пушки и снаряды.

Комендант вместо ответа приказал повесить всех мурз, как изменников, а ногайцев, бывших свидетелями казни, отпустил с тем, чтобы они рассказали хану об участии его посланцев.

Но хан об этом узнал раньше возвращения своих татар, так как казнь мятежников была произведена на городском валу на виду у ногайских скопищ.

В неописуемую ярость пришли татары, видя позорную смерть своих лучших представителей. Тав-Султан

именем пророка заклинал правоверных отомстить гяурам, и ногайские орды, точно снежная лавина, обрушились на маленькую крепость. Их подпустили близко на пол-орудийного выстрела, и затем встретили залпом целой батареи.

Взвизгнула картечь, и эхом отозвался вой татар, как морской прибой отхлынувших назад. Через полчаса они снова возобновили свою попытку, но снова были встречены картечью и ружейным огнем. Снова они отступили, покрывая степь трупами. Там, где еще так недавно шел веселый пир, где ногайцы братались с русскими солдатами, там теперь лилась ногайская кровь.

В бессильной злобе татары сыпали на город тучи стрел, но боясь артиллерии, они стреляли с почтительного расстояния, и стрелы не долетали даже до городских стен.

После двукратных неудачных попыток Тав-Султана штурмовать город, население его успокоилось. Все знали, что татары вооруженные лишь саблями да луками, не возобновят попытки. Осады же ейцы не боялись: изо дня на день ожидался Суворов с отрядом, а до того времени в съестных припасах недостатка не было.

Варвара Ивановна не испытывала никакого страха, напротив, уверенная в безопасности, она благословляла дни осады, так как та давала ей возможность быть неразлучной с графом де Ривер. Молодой человек, долго сдерживавший свою страсть, теперь ни о чем не думал и весь отдался любви.

Три дня татары осаждали город. Население настолько к ним привыкло, что выходило на вал посмотреть, что творится в ногайском стане.

В полдень на четвертый день все заметили в татарском стане суету. Поспешно снимались кибитки, и столь же поспешно ногайцы удалялись в степь. Среди них пронесся слух, что Суворов возвращается, что он уже близко, и Тав-Султан, не рассчитывая на успех, торопился увести своих сообщников за Кубань. И действительно, не успели ногайцы скрыться из виду, как на дороге показалась пыль, и бой барабанов возвестил вскоре о возвращении отряда из экспедиции.

Население с радостью высыпало навстречу отряду, одному только графу де Ривер было не по себе. Возвращение Суворова его пугало.

Как он посмотрит в глаза этому честному, великодушному человеку, дарившему его своим доверием?

Смущение графа возросло еще более после того, как Суворов, узнав о спасении им жены, заключил его в свои объятия, осыпая изъявлениями горячей благодарности.

Как ни старался де Ривер умалить значение своего поступка, Суворов знал ему настоящую цену, еще больше привязался к молодому человеку и сделал его своим неразлучным спутником.

Со времен возвращения Суворова граф, по его же настоянию, сделался постоянным гостем генеральского дома.

Молодой человек невыносимо страдал: в нем боролась любовь с чувством долга и порядочности. Борьба была неравномерная, и он с ужасом замечал, что ведет эту борьбу неохотно, что к ней побуждает его только привычка к исполнению долга честного человека, что любовь осилила все и обратила его в слепого раба. И то счастье, которое приносила ему страстная любовь Варвары Ивановны, он понимал, было счастьем раба.

Невесел был и Суворов, не радовали и его обстоятельства. Неудача переселения вызвала со стороны Потемкина неудовольствия, выразившиеся в целом ряде упреков и резких писем.

Бесспорно, Потемкин был не прав. Руководя издалека, он не мог знать подробностей дела. Неудовольствия Потемкина усилились еще больше, когда сложивший с себя власть крымский хан Шагин-Гирей, проживавший в Тамани, бежал за Кубань.

Суворов долго не оставался на месте, с одной стороны возмущение Тав-Султана, с другой письма Потемкина не давали ему покоя.

Быстро сформировав отряд из воинов всех трех родов оружия, он предпринял экспедицию за Кубань с целью окончательного разгрома ногайцев, жену же свою с дочерью отправил в укрепление св. Дмитрия, не считая Ейск безопасным.

Граф де Ривер надеялся попасть в экспедиционный отряд. «Там кровью своею заглажу свое позорное поведение», — думал он. Но надеждам его не суждено было осуществиться. Суворов не только не взял его в экспедицию, но просил отправиться в укрепление св. Дмитрия, сопровождать в нее жену и быть вообще ее защитником.

Все как будто складывалось к тому, чтобы не разлучать молодого офицера с Варварой Ивановной, и граф покорился участи.

Варвара Ивановна была на вершине блаженства.

Отправив жену, Суворов распустил среди ногайцев слух, что сам уехал с семьей в Полтаву, значительная часть войск отозвана в Россию для войны с немцами, оставшиеся предназначены для войны с Персией, а ногайцев и закубанских горцев императрица приказала не трогать.

Молва эта быстро разнеслась по Закубанью, и в то время, когда Суворов со своим отрядом подвигался по ночам к Кубани, ногайцы считали его находящимся в пределах России.

Совершенно неожиданно обрушились на них русские войска, произошло побоище, окончательно сломившее сопротивление татар. Потеряв все свое имущество и более 10 тысяч убитыми, мурзы в знак покорности прислали генералу белые знамена, каялись и обещали вернуться на прежние кочевья, за исключением Тав-Султана и некоторых других, которые не надеялись на полное прощение.

Разгром ногайцев произвел сильное впечатление на крымских татар. Опасаясь такой же участи, они тысячами начали переселяться в Турцию.

Последней экспедицией закончилась боевая деятельность отряда, и Суворов, возвратившись в укрепление св. Дмитрия, занялся мирными делами, приведением войск и края в порядок.

Как ни труден был поход с его лишениями и невзгодами, но Суворову, предпочитавшему кипучую, полную опасностей деятельность мирной жизни, он принес полное удовлетворение. Он помирил его с Потемкиным, осталась довольна им императрица. Воспротивилась герою только судьба и решила во что бы то ни стало отравить ему жизнь.

С женой снова начались нелады. Характер Варвары Ивановны изменился до неузнаваемости, она стала нервной, придирчивой и сварливой.

Муж, приписывая ее нервность беременности, сносил ее выходки терпеливо, но родился ребенок, Варвара Ивановна выздоровела, а поведение ее по отношению к мужу несколько не изменилось.

— Как знаешь, Рауль, я дальше так жить не могу, — говорила она однажды графу де Риверу, — твое благородство делает несчастными и меня и тебя, наконец, и моего мужа, из уважения к которому ты пренебрегаешь моей любовью.

— Дорогая моя, я сам несчастен, мы в заколдованном кругу Я люблю тебя больше жизни и презираю себя столько же, сколько люблю тебя. Знаю, что эта двойственность ненормальна, но в настоящее время я сам человек ненормальный и нередко задаю себе вопросы, не сошел ли я с ума. Я решительно не знаю, как быть, что предпринять... а предпринять что-нибудь нужно.

— Если ты не знаешь, так знаю я. Я уже решилась. Ты не хочешь обманывать человека, которого уважаешь. Я тоже не хочу его обманывать, я уважаю его не менее тебя, хотя и сознаю, что терзаю его. Но ведь и сама я терзаюсь... Сегодня я ему скажу, что люблю тебя, что уйду от него. Насильно он держать меня не может, да и не захочет.

— Совершенно верно. Не захочу! — раздался в дверях голос.

Граф и Варвара Ивановна вздрогнули и взглянули на дверь.

На пороге ее стоял с скрещенными на груди руками Суворов, на глазах его блестели слезы, а во взгляде, брошенном на графа, тот прочел горький упрек.

Молодой человек вскочил.

— Генерал, — горячо вскричал он, — я поступил, как вор и как негодяй. Я понимаю, вам, честному, храброму человеку, требовать от меня удовлетворения — унижительно. Я слишком много причинил вам горя, чтобы причинять его больше сплетнями. Но, генерал, вы отомщены. За вас мне жестоко отомстила моя собственная совесть... Говорят, оскорбление смывается кровью оскорбителя — будьте покойны — ваше оскорбление будет ею смыто.

С последними словами граф де Ривер быстро вышел из комнаты.

Варвара Ивановна вскрикнула и упала в обморок.

Спустя полчаса после описанной сцены к Суворову вбежал с испуганным лицом его адъютант.

— Ваше превосходительство, граф де Ривер застрелился.

ГЛАВА VII

Поработав усердно четыре года на юге, Суворов отдыхал теперь в своем имении с. Ундоле Владимирской губернии. Расставшись с женою, он увез свою дочь Наташу и поместил в Смольном монастыре, сына же Аркадия Варвара Ивановна взяла с собою.

С тех пор как разошлись супруги, прошло полтора года, которые Александр Васильевич почти безвыездно прожил в деревне, занимаясь хозяйством.

В описываемый нами день он только что возвратился с прогулки.

— Что, Матвейч пришел? — спросил он у своего камердинера.

— Точно так. В гостиной дожидаются.

Степан Матвеевич Кузнецов, поручик в отставке, некогда служил под командой Суворова, по выходе же в отставку остался у него на службе в должности управителя московским домом и делами, но в сущности он был главным его управителем.

Суворов любил его, как честного и трудолюбивого человека и называл не иначе как Матвейч.

Матвейч исполнял не только хозяйственные поручения своего помещика, но и частные, интимного характера. С одним из таких дел он приехал к нему из Москвы, с таким же поручением должен был и возвратиться в Москву.

При входе генерала он встал и вытянулся по-военному.

— Ну, что, готов, Матвейч?

— Хоть сейчас в дорогу, ваше превосходительство.

— Ладно, у меня тоже все готово, пойдем в кабинет.

Кабинет, большая и светлая комната, своей обстановкой несколько не отличался от остальных комнат обширного барского дома.

Здесь у дорогого бюро красного дерева с художественной бронзой стоял простой белый некрашенный стул, на окнах висели белые коленкоровые шторы, в то время как на дверях были богатые драпировки. Дорогое, резное, покрытое кожей кресло стояло у простого некрашеного, покрытого зеленой клеенкой письменного стола и т. п.

Вся обстановка говорила о том, что владелец усадьбы по мере порчи мебели пополнял ее, не заботясь о гармонии. Наряду с серебряными кубками и вазами попадались оловянные миски и ложки. Одним словом, всюду сказывалось отсутствие в хозяине дома вкуса и полное пренебрежение к роскоши.

Войдя в кабинет, Суворов достал из бюро запечатанный пакет и передал его Матвейчу.

— Это письмо, — сказал он, — передашь высокопреосвященному Платону. Синод мне в разводе с женою отказал, да я теперь и не ищу развода. Нынче, говорят,

развод не в моде. Пусть будет так. Но только совета высокопреосвященного принять я не могу, ты так и скажи ему лично. Владыко, конечно, будет настаивать, чтобы мы опять сошлись, а ты на это ему скажи, что третьичного брака быть не может и что я велел тебе объявить ему это на духу.

— Он тебе скажет, что жена впредь не будет того делать, что делала, а ты ему отвечай: «Ожегшись на молоке — станешь на воду дуть». Он тебе скажет: «Могут, мол, и порознь жить, да в одном доме», а ты ему отвечай: «Злой ее нрав всем известен, а он не придворный человек». Смотри же, так и говори, а князю Ивану Андреевичу скажи, чтобы забрал женино приданое. Что ему тлеть? В гроб с собою не возьму; да скажи еще, что Варваре Ивановне я прибавлю содержание, буду выдавать ей не тысячу двести, а три тысячи рублей в год.

Одна только мысль о возможном возвращении Варвары Ивановны приводила Суворова в ужас и лишала самообладания.

— Не беспокойтесь, ваше превосходительство, — утешал его Матвеич. — Князь Иван Андреевич человек разумный и настаивать не будет, тем более что вы теперь хорошо обеспечили Варвару Ивановну.

— Я на тебя надеюсь, Матвеич. Самому мне недосуг теперь возиться с этим делом. Ты уедешь сегодня в Москву, а через три дня и меня здесь не будет. Светлейший вызывает в Кременчуг. Через полгода государыня едет на юг, в Новороссию, нужно приготовить к ее приезду войска. Ну, а теперь будь здоров, езжай с Богом. Да помни мое наставление и напиши всем управителям — крестьян оброком не отягощать, бедным помогать, бобылей женить и своих людей в рекруты не сдавать, а покупать на стороне. Коли миру покупка не под силу — помогать из моих денег. Ну, а теперь прощай, будь, как и был, честен — буду любить, а теперь меня ждет староста с миром.

Отпустив управляющего, помещик вышел во двор, где собрались мужики со старостою во главе.

Почти все помещики того времени признавали значение крестьянского мира, советовались с ним о делах, разделяя с ним в известной степени свою административную и судебную власть. Так же точно велось и у Суворова. У него правила делами не одни управляющие, правил и мир. Каждому была отведена своя сфера. С миром он чинился, конечно, меньше, чем с управителями, хотя его

отношения к миру были не похожи на отношения других помещиков.

Как только вышел он во двор, мужики почтительно сняли шапки.

— Староста! — грозно крикнул помещик.

Из толпы выделился степенный коренастый мужичонка. Суворов строго посмотрел на него.

— Скажи мне, человек Антипов или собака?

— Человек, барин-батюшка, — отвечал, низко кланяясь, староста.

— Человек, так за что же ты заковал его в колодки, разве это человеческое наказание?

— Он ослушник, барин-батюшка.

— Ослушник, так за это и в колодки, другого наказания божеского не мог придумать. Если бы я за ослушание в колодки сажал, давно бы ты сгнил в них. Коли не слушается — ты его усовести, на то ты и староста; не поможет — к батюшке отправь, и батюшку не послушает — накажи. Да только по-человечески: посади на хлеб на воду, поставь в церковь, заставь поклоны бить.

— Я, барин-батюшка, по примеру. У соседнего помещика за ослушание — батожем.

— Глупая ты голова, да если бы я следовал примеру соседей, так вас всех до смерти запороть нужно. Не людскому примеру следовать нужно, а словам Христа Спасителя, а где ты слышал, чтобы в Евангелии о колодках говорили. Смотри, чтобы на будущее этого не было.

Староста покорно опустил голову.

— Дозволь, барин-батюшка, рекрута не покупать, — завопили крестьяне хором, — денег нетути. Дозволь Еремку сдать. Он бобыль, ничего не делает, пользы от него нетути.

— Я сказал вам, что своих не сдавать, а покупать. Так и будет. А Еремку женить непременно. Женить и оборудовать ему хозяйство всем миром, коли не жените — сам женю на первостатейной девице.

— Денег, батюшка, на рекрута нетути, — вопили крестьяне, — двести рублей стоит.

— Ладно, семьдесят пять рублей своих дам, а сто двадцать пять сложится миром, а Еремку не трогать — женить.

— Благодарим, батюшка, покорнейше благодарим, — радостно галдели мужики.

— Ну, ладно, ладно, — отвечал Суворов. — Слышал я, у вас спорные дела с соседними мужиками завелись, сутяжничаєте. Если скоро не помириться — я тебя накажу, —

обратился он к старосте.— Стыдно и грешно ябедой заниматься. Через три дня уезжаю в Кременчуг, смотрите, о своих делах мне ежемесячно рапортами доносите. Коли в чем нужда — помогу, а озорников — накажу. Да за детьми смотреть хорошенько, чтобы были живы да здоровы. Нерадивых родителей наказывать буду сильно. А теперь марш по домам.

Крестьяне стали расходиться, а помещик, покончив с миром, отправился опять к себе в кабинет.

— Попроси ко мне Филиппа Ивановича,— сказал он своему камердинеру Прохору.

Через несколько минут явился и Филипп Иванович, молодой человек, бывший чтецом у Суворова.

— Сегодня, Филипп Иванович, нам с тобой читать не придется. Есть еще кой-какие дела по хозяйству. Позвал я тебя, чтобы только покалякать. Что ты скажешь об этой книжке,— и он подал молодому человеку известное в то время сочинение под заглавием «О лучшем наблюдении человеческой жизни».

— Книга прекрасная, ваша превосходительство.

— Я и сам так думаю. Недурно было бы почитать ее моим управителям, авось у них великодушия немножко прибавится; на мужиков станут смотреть, как на людей. В особенности нужно почитать ее Балку, а то он с мужиками зверь зверем. Давно уволил бы его, если бы не был деловой... Ох, когда я научу своих управителей видеть в мужике человека, созданного по образу и подобию Божию.

— Балк, ваше превосходительство, только кажется жестоким, а на самом деле он не жесток. Он только напускает на себя строгости.

— Толкуй. Это он тебе говорит. Наверно, он тебе сказывал еще, что поступает по поговорке: «Замахнись, да не ударь», а чего ради мужики подстрелить его хотели. Нас с тобой не подстрелят.

Молодой человек молчал.

— Ну, то-то. Молчишь... выпиши-ка шесть таких книг да разошли управителям, пусть читают. А теперь поговорим о тебе. Поступай в военную службу. Ты доктор-философ, я тебя скоро в штаб-офицеры выведу. Образование нужно в армии.

Молодой человек вздохнул.

— Чего вздыхаешь, говорю, поступай.

— И рад бы, ваше превосходительство, да отец не согласится, а послушаться его не могу.

— Отец! Я его уговорю, а вот подавай ты свое согласие.

— Да я с радостью.

— Ну, молодец, помилуй Бог, молодец, спасибо!— И генерал поцеловал молодого человека в лоб.— Через месяц ты будешь уже в моем любимом фанагорийском полку, а через год моим адъютантом, а там и не заметишь, как в секунд-майоры попадешь, дальнейшее же от тебя будет зависеть, как бы там ни было, а службу придется начинать при лучших обстоятельствах, чем мне. Я, брат, десять лет солдатскую лямку тянул. Не прыгал с молodu, зато теперь быстро шагаю. Светлейший пишет, что на днях мое производство в генерал-аншефы выйдет.

— А там и до генерал-фельдмаршала недалеко,— вставил Филипп Иванович.

— Стареть начинаю, доживу ли? — пояснил он, вздохнув.

ГЛАВА VIII

Через три дня после описанного нами разговора Суворова с Филиппом Ивановичем в барском доме селения Ундола шли спешные приготовления к отъезду. Упаковывались ящики и сундуки. Суворовский багаж главным образом составляли книги и журналы. Белья и платья возил он с собою немного, но с книгами в мирное время он никогда не расставался.

В этот день он собирался выезжать в Кременчуг и за упаковкой книг наблюдал лично сам. Сначала он хотел поручить это дело Филиппу Ивановичу, но тот отпросился в соседнюю деревню проститься с соседним помещиком, отставным адмиралом Глинским, дочери которого в течение года давал уроки изящной словесности.

В то время как Суворов перебирал книжку за книжкой, молодой человек шагал по дороге в селение Глинское, отстоящее в восьми верстах от Ундола. Большая часть пути была уже пройдена, оставалось пройти небольшую рощицу, непосредственно примыкавшую к парку, тянувшемуся за господским домом.

Филипп Иванович ускорил шаги и шел, опустив книзу голову. Он весь погрузился в размышления и не замечал окружающего. Он вступил уже в рощу, когда из-за дерева показалась изящная женская фигурка в белом платице и бросилась ему на шею

— Неисправимый философ, даже и меня не видишь,— вскричала молодая девушка.

Филипп Иванович, очнувшись, горячо прижал к груди девушку и поцеловал ее в глаза.

— А я тебя здесь нарочно поджидала, думала, что ты будешь внимательнее,— надула губки красавица.

— Прости, Линочка, я задумался, но думал о тебе, о нас... Сегодня мы уезжаем... я пришел проститься.

Молодая девушка вздрогнула и побледнела.

— Не пущу, не пущу,— вскрикнула она с отчаянием и нервно обвила руками шею Филиппа Ивановича.— Не пущу тебя, без тебя я умру,— и слезы градом полились по ее прелестному смуглому личику.

— Успокойся, Лина, радость моя, счастье мое,— говорил молодой человек, целуя ее в глаза и волосы.— Уезжаю я ненадолго. Сядем здесь и потолкуем.

И он, усадив молодую девушку на пень, уселся возле ее ног и обвил руками ее талию. Лина опустила голову к нему на плечо.

— Видишь ли, радость моя, я долго думал, что нам делать... расстояние между нами слишком большое.

— Скверный, злой...

— Подожди меня бранить. Я говорю так, как думает и как скажет твой отец. Он адмирал, богатый помещик, а я бедняк, человек без роду и племени. Я доктор философии, да какое ему в том дело? На его взгляд, что доктор философии, что его управитель — все равно: слуга, наемник. Разве он отдаст тебя, единственную свою дочь, за меня?..

— Нет. Я тоже об этом думала. Думала и надумала: сперва я попрошу батюшку, скажу, что люблю тебя, что жить без тебя не могу, что наложу на себя руки... Согласится — хорошо. А нет, так мы самовольно...

Филипп Иванович улыбнулся и горячо поцеловал молодую девушку в голову.

— Да, самовольно,— продолжала она, ободренная горячим поцелуем молодого человека.— Отец меня любит, очень любит, ведь я у него одна-одинехонька. Сперва посердится, а потом и простит.

Филипп Иванович печально улыбнулся.

— Не спорю, тебя простит, а меня сотрет с лица земли. Не забывай, он человек влиятельный. Для него сослать меня на каторгу и признать брак недействительным труда не составит.

Есть другой способ. Выслушай меня, радость моя. Генерал предлагает мне поступить в военную службу. Он

обещает, что через год я буду офицером и его адъютантом, а через два, много — три года секунд-майором. Мое положение тогда изменится. Тогда смело могу просить твоей руки, а если и тогда отец откажет, то можно будет и к своеволию прибегнуть. Как ни влиятелен твой отец, а затереть штаб-офицера не сможет.

Молодая девушка печально опустила голову.

— Ждать еще два-три года...— проговорила она сквозь слезы

— Не легко, дорогая моя, знаю, сам страдать буду, но ведь единственный исход. К тому же мы еще молоды. Тебе и восемнадцати лет еще нет, и мне только двадцать три года. Потерпим, дорогая моя, радость моя, счастье мое,— страстно говорил Филипп Иванович, припав к ножкам молодой девушки и осыпая их поцелуями.

— Три года, три года,— повторяла молодая девушка, рыдая.— В эти три года ты меня забудешь, разлюбишь...

— Лина, Лина, грех тебе, ты мне терзаешь душу. Я разлюблю тебя! Тебя, мое божество, мое счастье, мою радость! Да разве ты не знаешь меня, разве я похож на легкомысленного человека, за что ты так обижаешь меня.

Лина припала к нему на грудь.

— Люблю тебя, жить без тебя не могу. Хорошо,— вскричала она с жаром.— Я подожду эти два-три года, буду молиться, но помни, Филипп, если ты разлюбишь меня, я наложу на себя руки, моя смерть будет у тебя на совести.

Филипп стал на колени.

— Бога призываю во свидетели быть верным тебе до конца дней моих.

Молодая девушка бросилась к нему в объятия и замерла в блаженстве.

— Верна тебе, мой ненаглядный, буду ждать, только не пеняй, если от слез и бессонных ночей подурнею.

Филипп Иванович расцеловал ее.

Бодро встали молодые люди и рука об руку направились к усадьбе, строя планы на будущее. Мало-помалу молодая девушка оживилась и начала улыбаться.

— Теперь ты подожди здесь немного,— сказала Лина Глинская Филиппу Ивановичу, когда они подошли к калитке, ведущей в сад,— я побегу вперед, а ты приходи потом, чтобы нас никто не заметил.

Молодая девушка исчезла среди деревьев, а Филипп Иванович погрузился в раздумье. И тяжело и радостно было у него на душе. Радовала его горячая бескорыстная

любовь молодой прелестной девушки и тяготила мысль о предстоящей разлуке, о неопределенном будущем. Лай собаки вывел его из задумчивости. Обтерев платком вспотевший лоб, он вошел в калитку и быстро направился к дому. Александр Николаевич Глинский, бодрый и красивый старик, ласково встретил молодого человека.

— Проститься пришли, Филипп Иванович,— сказал он,— жаль, очень жаль, скучно мне будет без вас. Умных людей в деревне немного... И зачем свела меня судьба с вами, зачем полюбил я вас как родного... Не была бы мне так тяжела разлука,— вздохнул старик.

Искренность и задушевность тона растрогали молодого человека.

— И мне не легко расставаться с вами, глубокоуважаемый Александр Николаевич, я полюбил вас как отца, и верьте, нелегка будет разлука. Одно у меня утешение, что уезжаю не навсегда, время от времени будем видеться.

Глинский тяжело вздохнул и пожал ему руку.

— Я не только проститься пришел, но и совета вашего спросить. Я думаю поступить в военную службу. Александр Васильевич предлагает.

Глинский вместо ответа заключил молодого человека в свои объятия.

— Не только совета, но и мое отеческое благословение. Лучшего и придумать не могли. Военная служба вам даст то, чего недоставало теперь — общественное положение. Вы умны, образованы, добры, великодушны, в вас сочетались все качества прекрасного человека, но общество этим не довольствуется, ему нужна и внешняя, показная сторона, а военная служба обеспечит вам эту сторону. С вашими способностями вы далеко пойдете, не говоря о том, что на поддержку мою и Александра Васильевича вы всегда можете рассчитывать, у меня связи не малые.

Со слезами на глазах благодарил молодой человек благородного старика. В его словах он видел залог будущего своего счастья.

Слова отца слышала из соседней комнаты и Лина. С сияющим от радости личиком вошла она к отцу в кабинет.

— Филипп Иванович уезжает от нас, Лина, пришел проститься,— печально сказал дочери Глинский,— придется опять нам с тобою вдвоем коротать зимние вечера. Не будет у меня приятного и умного собеседника, а у тебя учителя.

Молодая девушка печально опустила голову. Слезы готовы были брызнуть у нее из глаз. Она употребила все усилия, чтобы казаться спокойною.

— Надеюсь, папа, Филипп Иванович уезжает ненадолго.

— Как знать,— отвечал отец.— Одно только могу сказать,— продолжал он, как бы вспоминая что-то,— эту зиму мы еще увидимся. Государыня едет на юг в январе—мы с тобою после нового года съездим навестить мою сестру—твою тетку. Она живет в Полтавской губернии, а Филипп Иванович будет в Кременчуге. Я повезу представлять тебя государыне, и мы увидимся с Филиппом Ивановичем.

Радостная улыбка озарила лицо молодых людей.

— А теперь, Лина, распорядись об обеде.

Пообедав у Глинских, Филипп Иванович Решетов, простившись с отцом и дочерью, отправился в Ундол.

— Подожди у калитки,— шепнула ему Лина.

Долго ему ждать не пришлось. Минут через шесть молодая девушка была уже в его объятиях.

— Смотри же, милый, дорогой, не забывай меня и носи мое благословение.

И, сняв со своей шеи образок Нерукотворного Спаса на золотой цепочке, надела ему на шею

Бодро шагал Решетов по дороге к Ундолу. Сомнения улеглись у него в душе и уступили место радостным надеждам. Счастье казалось теперь ему и возможным, и близким; терпение, терпение,— твердил молодой человек, решив во что бы то ни стало завоевать себе счастье..

Вечером того же дня он выехал вместе с Суворовым в Кременчуг.

ГЛАВА IX

В Кременчуге Суворова ждали дела. Пришлось обмундировывать, снаряжать и обучать войска. Потемкин хотел показать императрице кременчугскую дивизию в полном блеске, а дело это было не легкое. Государыня видела на своем веку войск не мало, глаз ее в известной степени был наметан, и понятия ее о военном образовании были не дамские. Кроме того, ее сопровождала огромная свита русских и иностранцев, среди которых находились настоящие военные люди. Нужно было показать войска так, чтобы видно было достоинство их,

а подготовить так войска мог только Суворов, за что он и принялся с жаром.

Императрица выехала из Петербурга в начале января 1787 года; ее сопровождала многочисленная свита в 14 каретах и 120 санях. На каждой почтовой станции ожидало около 600 лошадей. Ночью огромные костры зажигались по дороге через каждую сотню шагов; в городах и деревнях, — как повествует историк А. Петрушевский, — толпились жители, государыню при звоне колоколов встречали власти.

Целая толпа знатных иностранцев собралась в Киеве, чтобы представиться императрице. Здесь же ее ожидал и Потемкин с Суворовым.

В двухмесячный срок Суворов сумел поставить войска на боевую ногу, и в благодарность за это Потемкин произвел любимца и протеже Суворова, молодого сержанта, недавно зачисленного в фанагорийский полк, Филиппа Ивановича Решетова в прапорщики.

В качестве адъютанта Решетов сопровождал своего начальника и покровителя в Киев.

Путешествие Екатерины было как бы триумфальным шествием. Потемкин весь путь императрицы превратил в волшебную панораму. Появились не существовавшие до того времени дома, дачи, деревни; триумфальные арки и цветочные гирлянды маскировали все бедное, неприглядное; огромные стада были согнаны для оживления пейзажа; как бы по щучьему велению раскинулись сады, выросли дворцы. Ничего не было упущено, чтобы пленить взор и воображение императрицы.

В Киеве Потемкин выстроил для императрицы дворец и разбил роскошный сад, существующий и поныне, и служащий любимым местом киевлян.

Императрицу ожидали в Киеве весною, и вся иностранная знать, собравшаяся в Киеве, избрала местом своих утренних прогулок вновь разбитый сад, получивший название Царского. В один из теплых солнечных апрельских дней Суворов прогуливался со своим адъютантом Решетовым по главной аллее и внимательно слушал рассказ молодого человека. Решетов говорил о чем-то с жаром и увлечением. Наконец, он кончил и, по-видимому, ожидал ответа, но генерал быстро повернулся к нему спиной и также быстро подошел к проходившему мимо них иностранцу. На лице адъютанта отразилась и печаль и недоумение. Озадачен был и иностранец.

— Откуда вы родом? — отрывисто спросил его, не здороваясь, Суворов.

— Француз.

— Ваше звание?

— Военный.

— Чин?

— Полковник.

— Имя?

— Александр Ламет.

— Хорошо! — отвечал Суворов и так же быстро, как и подошел, повернулся спиною к будущему деятелю французской революции и снова направился к своему адъютанту.

Возмущенный такой бесцеремонностью русского генерала, Ламет крикнул ему вдогонку:

— Остановитесь!

Суворов остановился и повернулся к Ламету.

— Вы откуда родом? — спросил Ламет в свою очередь.

— Русский.

— Ваше звание?

— Военный.

— Чин?

— Генерал.

— Имя.

— Суворов.

— Хорошо, — отвечал Ламет.

Суворов, любивший находчивость, расхохотался и протянул французу руку

— Наше знакомство, — сказал он, — произошло не совсем обыкновенным образом, надеюсь, что оно будет необыкновенно прочно и приятно.

Ламет, знавший Суворова понаслышке, как боевого генерала и как оригинала, с жаром пожал ему руку и рассыпался в любезностях.

Расставшись с французом, Суворов снова подошел к своему адъютанту.

— Сперва я был благодарен тебе за то, что ты поступил на военную службу, а теперь ты должен благодарить меня за то, что я склонил тебя к ней. Я знаю Глинского хорошо — будь уверен, что не только за доктора философии, а и за докториссимуса он дочери своей не выдаст, не выдал бы прежде и за тебя, несмотря на то что сильно к тебе привязан, а за офицера выдаст. Стало быть, ты можешь быть спокойным и считать себя женихом прекрасной

Елены. Для того чтобы овладеть ее рукою, тебе не придется принимать роль Париса и, поверь, из-за вашей любви троянская война не возгорится... Хочешь, я буду сватом.

Молодой человек отвечал генералу благодарным взглядом.

— А теперь, счастливый влюбленный, не забывай службы, скоро смотр — удобный, следовательно, случай представиться государыне и получить повышение.

В тот же день вечером Решетов написал Лине, передавая свой разговор с Суворовым, его обещание и поделился своими надеждами.

В Киеве императрица провела три месяца, отдыхая с дороги. Находившийся здесь все время Суворов выехал в Кременчуг только за несколько дней до отъезда государыни.

Из Киева Екатерина отправилась в Кременчуг по Днепру, на роскошно убранной галере: ее сопровождало много судов с хорами и музыкой

В Каневе, бывшем тогда границей русских владений, государыню встретил польский король, а немного позже и император священной Римской империи.

Помимо громадной блестящей свиты, толпа знатных иностранцев окружала Екатерину в Кременчуге, где готовился смотр

Смотр был необыкновенный. Суворов провел учение, в котором наглядно показал высокие качества войск.

Эффект был произведен. Иностранцы в восторге поздравляли императрицу, говоря, что с такою армией она может завоевать целый мир.

— Чем мне наградить вас, Александр Васильевич? — обратилась государыня к Суворову.

Суворов, не видя за собой никаких заслуг и по своему честному характеру не считая себя вправе на какую-либо награду, отвечал:

— Ничем, матушка, а коли милость будет, так прикажите за меня заплатить три рубля — задолжал за квартиру

Решетов за этот смотр был произведен в поручики.

ГЛАВА X

Поездка императрицы на юг, ее смотры армии и флота, встреча ее с римским императором произвели в Константинополе глубокое впечатление. Турки знали о знаменитом проекте Потемкина, проекте реставрации Греческой империи, и заволновались.

Проект, как показали последующие события, был фантастический, неосуществимый, но тогда его таковым не считали, и Турция была готова к войне.

Поездка императрицы для осмотра южных владений была принята Турцией за демонстрацию и способствовала ускорению подготовки к открытию враждебных действий. Заклучая Кючук-Кайнарджийский мир, Пор-та смотрела на него лишь как на временное перемирие. Она собиралась, отдохнув и собравшись со свежими силами, возобновить войну с Россией, чтобы снова вернуть себе Крым. Ее угнетала не потеря небольшого клочка земли, а то падение роли султана, как халифа, которое являлось последствием потери Крымского полуострова. Чтобы сохранить уважение своих подданных, он должен был во что бы то ни стало вернуть Крым, а это можно было сделать только войною, и потому-то Пор-та изыскивала всякие поводы к объявлению войны. Россия держала себя тактично и поводов таких не давала. Пор-та не выдержала такого выжидательного положения, предъявила русскому посланнику в Константинополе Булгакову невероятные требования и, не выждав данного ею для ответа срока, выступила снова с нелепым требованием вернуть ей Крым и признать все заключенные до того времени договоры недействительными. Булгаков отказал и немедленно был заключен в семибашенный замок. К подобному образу действий Турцию подстрекала Англия и лишившаяся своего короля-героя Пруссия, но такой резкой выходки от Пор-ты и они не ожидали: все заявления их посланников о бестактности действий турецкого правительства были тщетны; ослепленная Пор-та не знала, что делала, она не соображала того, что, объявляя войну России, вызывает на бой и Австрию. 13 августа 1787 года она объявила России войну, а австрийские войска начали стягиваться уже к турецкой границе.

В конце августа 1787 года по дороге из Вены к загородному замку княгини ди Лозано катилась щегольская коляска. В ней сидели молодой человек и молодая женщина. Холодный взгляд и бледное неподвижное лицо молодого человека не выражали ничего; зато красивое, подвижное личико его спутницы, ее огненный беспокойный взгляд говорил о том, что душа ее переполнена страхом, надеждой и сомнениями.

— Прежде всего нужно быть как можно хладнокровнее,— говорил молодой человек своей спутнице,— и стараться как можно больше понравиться полковнику Асташеву. Не забывайте — он любимый адъютант князя Потемкина, а Потемкин сила не только в России, но и в Европе. Он теперь на юге России, формирует армию и, по обыкновению, среди дела скучает, ему нужны развлечения. Талантливый артист или артистка всегда встретят у него и хороший прием и щедрое вознаграждение, а вы не только талантливая певица, но и чертовски красивая женщина,— и молодой человек начал осматривать свою спутницу, но и при этом выражение его физиономии нисколько не переменилось, она по-прежнему оставалась неподвижной, бесстрастной, как и его стальные глаза.

— От вас,— продолжал он,— будет зависеть сделать себе карьеру и попасть ко двору великой императрицы.

Молодая женщина покраснела и вздохнула.

— Если бы от меня требовался лишь мой музыкальный талант, моя красота, я нисколько не боялась бы за будущее, но вы требуете от меня еще и другого.

— Непременно. Это плата за то, что я для вас делаю. Скажите, пожалуйста, каким образом вы, уличная певица, певшая под окнами и воротами венских домов, ютившаяся в грязном, сыром углу подвала, могли бы попасть в избранное венское общество, к светлейшему князю Потемкину и, наконец, ко двору русской императрицы? Разве вы могли об этом думать? Никогда. Положим, вы по рождению патрицианка, маркиза, получившая прекрасное образование и воспитание, но все это прошлое, отдаленное прошлое. Теперь вы нищая, да, нищая, по моей милости поднятая из ничтожества, ну а за это, согласитесь сами, плата, которую я от вас требую — невелика, даже если бы вам пришлось для исполнения моего поручения сделаться любовницей Потемкина...

— Да поймите же, сэр, что я нищей сделалась потому, что не желала быть ничьей любовницей. Я предпочла сырой подвал, корку хлеба и нищенские лохмотья богатству, потому что за богатство нужно было платить своим падением...

Молодой человек пристально посмотрел на говорившую, и гримаса, призванная изображать улыбку, искривила его тонкие губы.

— Я вам вполне верю, вы предпочли нищету тому, что называете падением, но уверен и в том, что вы не раз

раскаивались, не раз были готовы променять добродетельную бедность на менее добродетельное богатство, да поворот для вас был труден. Пока вы были нуждающейся маркизой, пока вы вращались еще в вашем обществе, вы не могли иметь недостатка в покровителях. Но кто заметит грязную, оборванную уличную певицу? Ее мог заметить, умыть и одеть только сэр Уильямс, а таких людей, как я, сударыня, немного.

У молодой женщины на ресницах дрожали слезы. Ее глубоко оскорбляла бесцеремонность сэра Уильямса — второго секретаря английского посольства в Вене, и в то же время она, сознавая справедливость его слов, не могла возражать. Действительно, оставшись без средств, молодая женщина с негодованием отвергла предложение одного из крезов, предлагавших ей богатство за тайную любовь; она честным, трудом решила заработать себе кусок хлеба, но молодая, неопытная, не знавшая жизни, не знала она и о тяготах труда. Покинув родной свой город, порвав связи с обществом, она очутилась на улице. Ремесло уличной певицы не давало ей умереть с голоду, но это не был заработок, о котором мечтала молодая женщина. В минуты нужды и отчаяния она не раз вспоминала предложения креза. Теперь она от такого предложения не отказалась бы, но ей его не делали... некому было делать. Уличной певице обыкновенно бросали мелкую монету, не смотрели на нее; как нищая, получала она подавание и проходила незамеченной... Правда, на нее обратил внимание один юноша, он заинтересовался ею, но то был чистый невинный мальчик.

Судьба как-то загнала ее к воротам гусарского полка; пьяные солдаты потешались над несчастной женщиной, бросая ей медные монеты и заставляя петь. И она пела, выслушивала их грубые шутки, пела потому, что давно уже не видела денег. Ей нужно было заработать, чтобы не остаться голодной и без крова. Юный гусарский корнет, почти мальчик, обратил внимание на певицу. Лицо и манеры сильно отличали ее от женщин ее профессии, наконец, и репертуар ее песен был не тот, что у них... Стрдание слышалось в ее песнях, страдание светилось и в глазах молодой певицы.

Молодой офицер с грустью слушал ее пение, «точно панихиду по себе поет», думалось ему.

— Сударыня, вам не до песен, — вежливо сказал он ей, когда она кончила петь, — я вас попрошу следовать за мною.

Певица сконфузилась и стояла в нерешимости.

— Не бойтесь, я не обижу вас и не сделаю вам ничего худого.

В голосе корнета было столько душевной теплоты, столько трогательного участия, что молодая женщина успокоилась и последовала за ним.

Офицер провел свою спутницу в находившийся при казармах сад и усадил ее на скамейку.

— Прежде всего,— начал он,— возьмите вот это,— и он, краснея, подал певице небольшой кошелек с золотыми монетами.

— Прошу вас, возьмите,— продолжал он, заметя, что молодая женщина колеблется,— я вижу, что не любовь к бродячей жизни, не призвание к ремеслу уличной певицы привели вас сюда, как приводят и к другим домам. Я это вижу по вас, читаю в ваших глазах. Безысходная нужда причиной вашего положения, так возьмите же эти деньги, а потом потолкуем, как помочь беде, как выбраться вам из вашего положения.

Молодая женщина взяла кошелек, и слезы градом брызнули у нее из глаз.

Офицер чувствовал себя неловко и, дав молодой женщине успокоиться, продолжал:

— У вас есть родные? Ведь вы не немка?

— Да, я итальянка, родных у меня нет. Я была у отца единственная дочь. Некогда богатый человек, с титулом, он разорился и выдал меня замуж за богатого, тоже титулованного человека. Через три месяца оказалось, что мой муж был главою разбойничьей шайки, его арестовали, судили и казнили... Отец не вынес позора и умер, я осталась одна без всяких средств. Общество того итальянского города, в котором я до того времени пользовалась уважением, стало чуждаться меня, мое положение было критическое... Человек, некогда бывший банкиром моего отца, предложил мне средства к жизни, даже богатство, но... я отвергла его гнусное предложение. Хотя с жизнью я и не была знакома, но в энергии недостатка у меня не было. У меня хороший и сильный голос, им я думала зарабатывать средства к жизни. Я ошиблась. Продав имущество, я скиталась по городам, но на сцену попасть не могла. В Милане судьба мне благопритствовала, меня приняли в небольшой театр в то время, когда у меня окончились все деньги, но в миланском театре я пробыла недолго. Импрессарио мне заявил, что если я хочу служить в его театре, что... ну, одним словом, та

же история, что с банкиром. Я отказала, и он выгнал меня из театра. Я очутилась на улице без всяких средств. Небольшой мой гардероб вскоре ушел на пропитание, я осталась в одном платье и пошла петть по дворам. Из города в город я добралась до Вены... Вот и вся моя история, история грустная, но не интересная.

Молодой офицер слушал певицу в глубокой задумчивости.

— Да, грустная история, но не падайте, сударыня, духом... Еще раз вас прошу, возьмите деньги, приведите свой гардероб в порядок, отдохните и дня через три приходите сюда снова и спросите меня. К этому времени я придумаю, что нам нужно делать, и посоветуюсь с матерью. Моя фамилия фон Франкенштейн.

— Фон Франкенштейн, вы сын княгини фон Франкенштейн? — взволнованно спросила певица.

— Да, ее сын, — смущенно отвечал молодой офицер. — Разве вы знаете мою матушку.

— Нет, — отвечала певица, — но я как-то встретила ее на улице и, пораженная ее замечательной красотой и траурным платьем, осведомилась о ее имени.

— Да, она никогда не снимает черного платья, — печально отвечал офицер. — Так смотрите же, приходите через три дня.

Но Аделина Франкони, так звали певицу, не пришла. Напротив, она старалась избегать тех кварталов, где находился дом княгини Франкенштейн и где квартировал гусарский полк. Встреча с молодым офицером, так участливо отнесшимся к ней, страшила ее. Что скажет она ему, как назовет свое имя, имя человека, жертвой злодеяния которого едва не сделались он сам и его мать. Несколько лет тому назад княгиня Франкенштейн путешествовала по Италии с сыном. Разбойники под начальством маркиза Рациони — ее мужа, напали на нее, и только счастливый случай спас ей жизнь. Маркиз и его шайка были схвачены.

Судебный процесс и казнь атамана шайки наделали много шума. Фамилию Франкони не забыли ни мать, ни сын. Как она явится теперь к нему, как назовет себя? «Нет, — решила молодая женщина, — не пойду даже и тогда, когда буду умирать с голоду».

Вскоре судьба свела ее с сэром Уильямсом. Заметив в уличной певице с недюжинным голосом светскую женщину, он решил воспользоваться ею для своих целей. Англия интриговала против России, сэр Уильямс, начав

шпионаж при венском дворе, старался организовать его и при главной квартире Потемкина. Зная слабость светлейшего к женщинам, он рассчитывал на успех при помощи женщины, нужно было только отыскать подходящую. Маркиза Франкони удовлетворяла всем требованиям, и он принялся за дело.

Исстрадавшаяся женщина сопротивлялась недолго, и вот теперь, преобразившись при помощи сэра Уильямса из оборванной уличной певицы в элегантную даму, она едет с ним на виллу княгини ди Лозано, где должно собраться высшее венское общество, где будет и адъютант Потемкина, полковник Асташев.

— Самое лучшее,— говорил по дороге сэр Уильямс своей спутнице,— забудьте вы вашу фамилию. Имя маркиза Франкони пользуется печальной известностью, процесс вашего мужа еще не забыли, вас же никто не знает — назовитесь вашим девичьим именем.

— Фамилия моего отца — маркиз де Риверо,— отвечала молодая женщина.

— Прекрасно, итак, вы теперь маркиза де Риверо.

Коляска остановилась у роскошной загородной виллы.

Молодая женщина нерешительно вышла из экипажа и также нерешительно вошла в дом. Гостей еще не было, и хозяйка дома встретила их одна в гостиной.

Ласковый прием княгини ободрил молодую маркизу де Риверо.

— Я очень рада,— говорила княгиня ди Лозано, еще молодая, полная женщина,— я очень рада оказать содействие соотечественнице. Сэр Уильямс познакомил меня с печальной историей вашей жизни, дорогая маркиза, и я буду бесконечно счастлива, если мне удастся заставить вас забыть печальное прошлое. Мужайтесь, дорогая моя.

— Княгиня замечательнейшая музыкантша и лучше сумеет оценить ваш голос, чем я, маркиза,— сказал сэр Уильямс не тем уже тоном, каким говорил по дороге.— Не споете ли что-нибудь?

— Я буду очень рада вас послушать,— продолжала княгиня и села за клавикорды.

Ободренная хорошим приемом, молодая женщина с уверенностью пропела небольшую арию и привела княгиню в восторг.

— С таким чудным голосом вы непременно сделаете блестящую карьеру, вами может гордиться Венский императорский театр,— с жаром говорила княгиня.— О, вы

покорите целый мир и завоюете себе вполне заслуженную известность!

Вскоре начали съезжаться гости. Министры, дипломаты, дамы, военные наполняли собою роскошные гостиные виллы княгини ди Лозано. Хозяйка долго знакомила приезжавших со своей соотечественницей, маркизой де Риверо, поразительная красота которой не замедлила обратить вокруг нее целый сонм поклонников.

— Недурную находку сделали вы, сэр Эдвард,— говорила княгиня ди Лозано, улучив минуту, сэру Уильямсу,— лучшей женщины и пожелать нельзя: молода, красива и поет восхитительно.

— Свое я дело сделал, теперь за вами очередь, княгиня,— отвечал англичанин,— употребите все силы к тому, чтобы Потемкин пригласил маркизу в Екатеринославль.

— В этом я нисколько не сомневаюсь. Посмотрите, Асташев и теперь от нее не отходит, он уже потерял голову, а как услышит ее пение — потеряет окончательно. Возвратившись в Россию, он так обрисует ее светлейшему, что не пройдет и месяца, как прискачет курьер с приглашением пожаловать в Екатеринославль... я Потемкина знаю.

Княгиня была права, молодой русский полковник, пораженный красотой маркизы де Риверо, не отходил от нее. Княгиня, чтобы окончательно вскружить ему голову, попросила маркизу спеть что-нибудь.

Молодая женщина охотно исполнила просьбу хозяйки дома и едва пропела арию, как бурные аплодисменты огласили зал. Маркизу окружили со всех сторон с горячими изъявлениями восторга, молодежь добивалась чести быть представленной прелестной женщине, один только Асташев стоял в оцепенении: он не мог прийти в себя, не мог справиться с охватившим его чувством.

Маркиза между тем, окруженная толпою кавалеров, проходила в гостиную.

На пороге стоял знакомый юный гусар.

Встретясь с ним взглядом, маркиза вздрогнула и слегка побледнела, но, быстро оправившись, проговорила:

— Здравствуйте, господин фон Франкенштейн, я виновата перед вами... вы на меня не сердитесь.

Растерявшийся офицер молча поклонился.

— Так ты с нею давно знаком? — засыпали его вопросами товарищи.— И все время молчал, нам не говорил? Ну и скромник же, а мы его считали красною девушкой,— смеялись товарищи.

Но молодой офицер не замечал шуток. Он находился под впечатлением непонятого для него явления: каким образом уличная певица, нищая, судьба которой его так беспокоила, могла в короткое время обратиться в знатную даму?

«Точно родилась маркизой,—думал молодой человек,—а впрочем, она же говорила, что родилась в богатой и знатной семье»,—вспомнил он.

Пока молодой человек предавался размышлениям, полковник Асташев вел оживленную беседу с хозяйкой дома.

— Как щедро природа наградила маркизу,—говорил он в восторге княгине,—она не только создала ее обворожительной красавицей, но и дала ей восхитительный голос. Я очень несчастлив, княгиня, и не могу поблагодарить вас за знакомство с маркизой де Риверо.

— Это мило, со старыми друзьями, значит, не церемонятся. Неблагодарный вы,—смеялась княгиня ди Лозано.

— Будьте справедливы, дорогой друг,—возразил полковник,—могу ли я быть вам благодарным за то, что вы смутили мой покой. На миг вы показали мне чудное видение, только на миг. потому что на днях я уезжаю в Россию, в армию.

— От вас самих зависит продолжить этот миг настолько, насколько вы желаете.

— Как так?—удивился Асташев.

— Очень просто. Маркиза — женщина без средств, она потеряла состояние, и вся ее надежда теперь — артистическая карьера. Вы сами видели, что она делает честь любому театру. Князь Потемкин покровительствует талантам — устройте так, чтобы он пригласил ее в Россию...

Асташев не дал княгине окончить фразы.

— Если это так, то даю вам слово, что не пройдет и месяца, как маркиза получит приглашение. Вы ободрили меня, дали надежду, милый, дорогой друг,—восторженно говорил полковник.

Княгиня улыбалась.

— Бедный, бедный мой друг, вы совсем потеряли голову.

— Потерял, не скрою, потерял,—говорил Асташев, целуя у княгини руку.

— Боюсь, как бы мне от этого не потерять старого друга,—молвила княгиня.

Асташев посмотрел на нее укоризненно.

Пока княгиня ди Лозано решала с Асташевым судьбу маркизы, молодая женщина искала случая объясниться

с корнетом фон Франкенштейном. Судьба благоприятствовала ей. Вскоре начались танцы, и Франкенштейн пригласил ее на контрданс.

— Вас поразила моя черная неблагодарность, равно как и та перемена, которую вы видите в моем положении. Не правда ли? — обратилась певица к молодому корнету.

— Не говорите о неблагодарности, — отвечал он в смущении, — если вы не пришли ко мне, следовательно, у вас были на то важные причины.

— Без сомнения. Если бы я знала ваше имя раньше — я ни за что не приняла бы от вас помощи, несмотря на то что вы предложили ее так деликатно и от души.

Фон Франкенштейн посмотрел на нее с удивлением

— Мое имя? Да разве оно связано с чем-нибудь неприятным для вас? Меня вы не знали, мою матушку — тоже.

— Дело не в вашем имени, а в моем. Вы меня знаете теперь, как маркизу де Риверо. Это мое девичье имя. Я маркиза Франкони...

— Франкони!

— Видите ли, одно имя вызывает в вас отвращение.. Могла ли я пользоваться благодеяниями того человека, который едва не сделался жертвой гнусного убийства моего презренного мужа?

Офицер задумался.

— Теперь я вас понимаю, — сказал он, немного помолчав. — Если прежде во мне говорило участие к вашей судьбе, то теперь к участию прибавилось уважение. Я понимаю, что уважающая себя женщина поступила бы так же, как и вы... Но... после того, как я вам скажу, что жена не должна отвечать за поступки мужа, что слишком много и долго вы страдали за его вину, после этого, надеюсь, вы не станете избегать меня, не оттолкнете дружеской руки, — в смущении проговорил молодой человек.

Маркиза отвечала ему благодарным взглядом.

В то время, когда молодые люди разговаривали, графиня Бодени, княгиня Франкенштейн, находившаяся в танцевальном зале, зорко наблюдала за ними.

Одетая в темное, легкого покроя платье, она была так же прекрасна, как и четырнадцать лет тому назад; когда мы в последний раз видели ее в Петербурге. Не изменилась ее фигура, по-прежнему она была стройна и грациозна, но в движениях, во взгляде, в выражении лица это была не та энергичная, жизнерадостная, юная

графиня Анжелика, какою мы знали ее на Дунае. Печать тихой скорби лежала на всей ее фигуре. Потеряв жениха, она осталась верна его памяти и всецело отдалась воспитанию своего приемного сына. «Это наш сын», — мысленно говорила она. Долгое время она безвыездно жила в своем поместье, где нередко гостила у нее старая княгиня Сокольская и доктор Коробьин. Со смертью княгини, доктор окончательно поселился в замке Франкенштейн и сделался другом ее владетельницы, как раньше был другом семьи ее покойного жениха. На глазах доброго Афанасия Ивановича вырос маленький Александр, под его же руководством изучил и русский язык, который сделался в замке Франкенштейн родным языком.

Княгиня ходатайствовала перед императором об усыновлении Александра; ходатайство ее было удовлетворено, и со смертью княгини Анжелики к нему должно было перейти не только ее состояние, но и княжеский титул.

Когда Александр вырос и пришлось подумать об определении его на службу, первая мысль у княгини была определить его на русскую службу под команду Суворова, но возникли препятствия, будущему князю Римской империи неудобно было искать, точно эмигранту, счастья в иностранной армии, да к тому же княгиня, жившая только приемным сыном, не могла с ним расстаться. Определив его в гусарский полк, она и сама переехала в Вену. Выросший на попечении женщины, молодой фон Франкенштейн и теперь продолжал оставаться под женским влиянием. Приемная мать зорко оберегала его от тех рытвин и ухабов, которыми так испещрена жизненная колея; вот почему и теперь она так пристально, так беспокойно следит за разговором его с красивой чужестранкой, как метеор, появившейся на горизонте венского света.

— Я и не знала, Александр, что ты знаком с маркизой де Риверо, — сказала она юному офицеру, когда тот подошел после танцев, — ты мне до сих пор о ней ничего не говорил.

— Напротив, матушка, говорил, даже просил у тебя для нее помощи и поддержки. Помнишь, месяца три тому назад я говорил тебе об уличной певице...

— Так это она! — авантюристка! — с ужасом вскричала княгиня.

— Не авантюристка, матушка, а несчастная женщина. — И молодой человек рассказал матери историю маркизы.

— Может быть, я и ошиблась, может быть, она и хорошая, но несчастная женщина. тем хуже это для тебя и для меня.

Молодой человек вопросительно посмотрел на мать. — Несчастье нередко и хороших людей делает плохими, заставляя их братья за то, за что они не взялись бы при других обстоятельствах. Такая быстрая перемена, какую ты видишь в этой женщине, лишь подкрепляет мои подозрения. Судьба, милый мой мальчик, капризна; из богатства в бедность она повергает нередко, но чтобы от бедности скачками повела к богатству за добродетельную жизнь — поверь мне — она этого не делает... будь с ней осторожен, милый мальчик, помни, что ты будущий имперский князь и должен беречь свою репутацию.

Молодой человек не возражал матери, он признавал справедливость ее доводов, но на сердце юноши было беспокойно... взгляд жгучих глаз маркизы де Риверо преследовал его всюду...

ГЛАВА XI

На длинной песчаной косе, вдающейся напротив Очакова в Черное море, верстах в восьми от ее оконечности, выросла со времени присоединения Крыма крепость Кинбурн. Крепость эта должна была защищать устья Днепра и Буга и вновь выстроенные на этих реках города от вторжения турок. Столь важный пост Потемкин поручил генерал-аншефу Суворову, который прибыл в середине июля 1787 года и немедленно принялся за приведение побережья и устьев рек в состояние обороны, тем более что валы и рвы Кинбурна имели слабый профиль. Со свойственной Суворову общительностью и умением привлекать к себе сердца нужных людей, он быстро установил приятельские отношения с очаковским пашою, несмотря на натянутые отношения обоих правительств и на ожидавшийся со дня на день разрыв. Дружеские связи выражались во взаимном обмене приветствиями, подарками и различными мелкими услугами.

Время от времени оба генерала встречались, беседовали, большею же частью сношения их велись через адъютантов.

Решетову, как адъютанту Суворова, частенько приходилось бывать у очаковского паши, принимавшего его всегда дружески и гостеприимно.

18 августа приехал Решетов к паше и был крайне удивлен приемом турецких офицеров. Вместо обыкновенного с их стороны радушия он встретил некоторую

холодность и сухость в обращении. Паша тоже был не тот, каким знавал его раньше молодой офицер, хотя он и принял его любезно, но в его обращении сквозила принужденность.

— Что нового у вас, господин Решетов? — спросил паша, выслушав приветствие суворовского адъютанта.

— Ничего, ваше превосходительство, надеемся, что установившаяся между русским и турецким генералами дружба явится предзнаменованием дружбы между обеими империями.

Паша вздохнул и отвел Решетова в сторону.

— А я вам сообщу печальную, неприятную новость... Мой всемилостивейший государь объявил вашей императрице войну, ваш посланник арестован и посажен в Семибашенный замок. Тяжело мне это сообщать генералу Суворову, и хотя я верный мусульманин, но не благодарю небо и пророка за то, что он поставил меня против моего русского друга. Вам здесь оставаться неудобно, прощайте. Я дам чауша, который проводит вас до лодки. Передайте мои искренние сожаления генералу и скажите ему, что если по воле Аллаха и его пророка Магомета мне и придется встретиться с ним с оружием в руках — мое уважение к нему останется неизменным.

Привезенная Решетовым весть не поразила Суворова — войны ожидали с минуты на минуту. Еще быстрее закипели фортификационные работы, флотилия начала стягиваться.

Положение Кинбурна было весьма важно. Эта небольшая крепость очень затрудняла вход в Днепр и не допускала прямого сношения Очакова с Крымом. Значение Кинбурна понималось и турками, а потому Суворов сосредоточивал на косе большие силы.

Привезенное Решетовым известие подтвердилось на другой же день. Сильная эскадра легких турецких судов атаковала русский фрегат и бот. Нападение было неудачно, фрегат и бот отбились, потопив две турецкие канонерские лодки, — таким образом, война началась.

Императрица, опасаясь за судьбу Кинбурна, писала Потемкину: «Молю Бога, чтобы вам удалось спасти Кинбурн».

Все надежды возлагались на Суворова. Императрица, допуская возможность взятия Кинбурна, писала Потемкину: «Не знаю, почему мне кажется, что Александр Васильевич Суворов возьмет у них в обмен Очаков».

Весь сентябрь турки бомбардировали Кинбурн, но безуспешно, наконец, наступило знаменитое в русской истории 1 октября.

Изо дня в день турки посылали со своих кораблей массу снарядов в крепость, но снаряды либо не долетали, либо приносили мало вреда. Солдаты так привыкли к бомбардировке, что не обращали на нее никакого внимания. Но вот в конце сентября турецкие выстрелы смолкли, несмотря на то что флотилия их значительно увеличилась.

— Наконец-то решились, — обратился как-то вечером Суворов к своему штабу, — теперь будьте готовы, господа, это затишье перед бурей: не сегодня-завтра турки сделают высадку.

Перспектива предстоящей схватки, видимо, доставляла ему большое удовольствие и оживляла его. Всегда деятельный и энергичный, теперь он словно превратился в ртуть. Одно приказание летело вдогонку другому, резервы стягивались, генерал беседовал с солдатами.

— Кто, братцы, в Гирсове со мною был в прошлую войну? — обращался он к солдатам.

Оказывалось, что старых ветеранов было немало.

— А помните, братцы, как знатно мы турок разнесли тогда?

— Как не помнить, батюшка, теперь знатнее разнесем.

— Спасибо, родные, спасибо, я в этом уверен.

— О чем ты задумался? — спрашивал генерал молодого еще солдата, задумчиво смотревшего на турецкую флотилию.

— Думаю, ваше превосходительство, что помещения у нас маловато, куда мы девать будем такую уйму пленных, ведь, почитай, для них всего Кинбурна будет мало.. придется в плен не брать, а добивать.

Решетова, сопровождавшего всюду генерала, и радовала, и удивляла та уверенность в победе, которую он замечал во всех ротах и батальонах.

— Чем объяснить такую уверенность? — спрашивал он у своего товарища. — Нахальством я объяснить не могу, наш солдат не нахален.

— Совершенно верно, он очень скромн, но уверен в себе и в своем начальнике; солдат привык к тому, что где Суворов, там и победа.

Молодые люди разговаривали, сидя на большом камне у дороги, ведущей в крепость. Длинною лентою тянулись вызванные войска, за ними следовали обозы.

— Вот и коляска какая-то едет,— заметил собеседник Решетова,— в ней какая-то дама... Кто бы это мог быть в такое неподходящее для дамского путешествия время.

Коляска подвигалась все ближе и ближе, она почти поравнялась с камнем, на котором сидели офицеры, как из нее стремительно выскочила молодая девушка и бросилась к Решетову на шею.

— Филипп, милый мой, дорогой, ненаглядный,— лепетала она, обливаясь слезами и прижимаясь к груди молодого человека,— ты у меня теперь один, я совсем сирота...

— Лина, радость моя, как ты сюда попала?— спрашивал Решетов, покрывая жаркими поцелуями лицо и голову молодой девушки.

— Видишь,— указала она на траурное платье,— отец умер, я и отправилась к тебе, чтобы с тобою, мой милый, разделять и труды и опасности, без тебя жить не могу.

Решетов, не помня себя от восторга, бережно взял на руки невесту и донес ее до экипажа.

Неожиданный приезд Лины Глинской привел Суворова в восторг.

— Молодец, помилуй Бог, молодец, адмиральская дочка вся в отца... Ну, тебя можно от души поздравить, Филипп Иванович, с такою невестой,— говорил он Решетову.

Когда же первые восторги поулеглись, Решетов и Суворов призадумались, как быть; не говоря о том, что пребывание молодой девушки в крепости во время штурма небезопасно, положение ее и в более спокойное время было бы щекотливо.

Суворов предложил своему адъютанту временно отправить невесту в Гавань глубокую или в Херсон.

— Только не в Николаев,— добавил он.— Там, где светлейший, молоденькой девушке в сто раз опаснее, чем под турецкими ядрами.

Решено было, что Лина в тот же день вечером уедет в Херсон, но она энергично воспротивилась этому решению.

— Там, где ты, там и я,— отвечала она жениху.— Твоя опасность должна быть и моею, убьют тебя— я жить не хочу, да и не буду. Здесь есть церковь, есть и священник. Завтра перевенчаемся... А кто может разлучить жену с мужем? Разве ее место не возле мужа? Разве она не должна делить его труды и лишения?— горячо говорила молодая девушка.

Суворов, взяв ее маленькую выхоленную ручку, вложил ее в руку Решетова и, благословив их, обнял обоих и поцеловал в головы...

Горячая слеза старика упала на лоб молодой девушки — Такая и моя Наташа,— промолвил он со слезами в голосе и быстро удалился в свою горенку

Слезы текли по изборожденному морщинами лицу его, и кто видел его в боях, то тот не узнал бы в этом подавленном горем и тяжелыми воспоминаниями старце бесстрашного полководца.

Долго ходил он быстрыми и нервными шагами по комнате, наконец остановился. Тяжелый вздох вырвался из груди его...

— Боже, Боже, за что лишаешь меня того, что даешь всякому другому, за что ты лишаешь меня семейного счастья, семейных радостей...

Звук орудийного выстрела заставил генерала прислушаться. За первым, последовал второй, третий... началась канонада.

Суворов преобразился, слезы исчезли, его голубые глаза блеснули энергией, он выпрямился и стал неузнаваем. Теперь он был тем, кем его привыкли видеть солдаты.

— Началось,— молвил он.— Прохор, послать ко мне на бастион ординарца. Филиппа Ивановича не беспокоить, скажи ему только, чтобы он поместил Елену Александровну в моей квартире, сам я буду ночевать на бастионе, а завтра для нее можно будет вырыть блиндаж.

Бомбардировка все усиливалась и усиливалась, и вскоре орудийные выстрелы слились в один непрерывный гул, потрясавший и воздух, и землю.

При первом выстреле Лина Глинская вздрогнула и прижалась к жениху, но быстро оправилась.

— Я не боюсь, милый,— говорила она,— с тобой мне не страшно, с тобой и смерть не страшна, ведь и на том свете мы будем неразлучны.

Вздрогнул при выстреле и Решетов. Этот выстрел призывал его на пост и страшил за судьбу любимой девушки.

— Возьми и меня с собой, милый,— просила его Лина.

— Не могу, дорогая, на бастион взять не могу, да и не имею права.

Явившийся Прохор успокоил молодых людей. Филипп Иванович остался с невестой и перевел ее в домик Суворова, находившийся в большей защищенности от выстрелов. Молодые люди не смыкали глаз почти всю ночь под гром пушечных выстрелов, не приносящих крепости и ее гарнизону никакого вреда. Они провели время в разговорах, строя планы на будущее.

— Теперь, милый, тебе незачем ждать майорского чина; завтра мы муж и жена, мы богаты, не нужно нам ни карьеры, ни славы, дал бы Бог только счастья да спокойную жизнь. Кончится война — уедем в наше Глинское. Ты по-прежнему будешь учить меня литературе и философии, только любить должен больше прежнего... Слышишь, Филипп?

Молодой человек не находил слов и только целовал ручки невесты.

Под утро смолкли выстрелы, и Лина, утомленная дорогой и волнениями встречи, уснула, жених ее расположился в нижнем этаже, в комнатке, занимаемой походной канцелярией Суворова.

ГЛАВА XII

1 октября, день Покрова Пресвятой Богородицы, был в то же время храмовым праздником церкви, располагавшейся в крепости. Все генералы и офицеры, свободные от службы, собрались в небольшом храме к обедне. После обедни должно было происходить венчание Решетова и Лины Глинской.

Суворов, как посаженный отец, явился в церковь в полной парадной форме.

Со словами диакона «Благослови Владыко» с турецкого фрегата раздался выстрел, послуживший сигналом к бомбардировке.

Под гром неприятельских выстрелов началось богослужение.

На коленях молились воины, вознося глубокие моления к Царю Царствующих, прося одоления врагов.

Было нечто величественное, возвышающее и укрепляющее дух в этой молитве.

Обедня кончилась.

Жених и невеста подошли к аналою. Гром выстрелов не смущал молодую девушку. Поступь ее была тверда, энергия и решимость светилась у нее во взоре.

— Теперь я твоя и мое место всегда при тебе, — сказала она Решетову, когда обряд кончился.

Начался молебен. В это время к Суворову подошел дежурный офицер.

— Ваше превосходительство, турки высаживаются, — доложил он.

— Не мешать им, не стрелять, пусть вылезут все, лучше сразу покончить, чем по частям.

Сделав распоряжение о сближении резервов, он остался в церкви.

План действий у него был уже готов и по основной мысли походил на принятый им в 1773 году при Гирсове. Недаром он напоминал солдатам про гирсовский бой.

Турки между тем высаживались на самой оконечности косы с шанцевым инструментом и мешками. Поспешно рыли они неглубокие ложементы, наполняли мешки песком и выкладывали их в невысокие бруствера. Ложементы протянулись поперек косы от Черного моря к Очаковскому лиману, свободное пространство загоразживалось переносными рогатками.

Между тем молебен в церкви окончился, молодые отправились в дом генерала, где был приготовлен свадебный обед.

Суворов, по выходе из церкви, осмотрел с бруствера расположение турок и, приказав дать ему знать, когда неприятель начнет наступать, сам отправился на обед, к которому собралось около 20 офицеров.

Войска были наготове и расположены в три линии. Первой командовал старый сослуживец Суворова в первую турецкую войну, герой, генерал Рок.

После полудня турки на глазах у русских сделали омовение и начали приближаться к крепости. Им не мешали, только дали знать об этом Суворову. Генерал поспешил на главный бастион, за ним последовали и свадебные гости.

— Умоляю тебя, Линочка, оставайся здесь и молись за нас,— просил Решетов, обнимая молодую жену.

Она не отвечала, молча прижалась к мужу, осеняя его крестным знаменем и покрывая лицо поцелуями.

Глаза ее были сухи, в них светилась твердая решимость.

Было уже около трех часов пополудни, когда турки менее чем на версту подошли к крепости, а передовые части под прикрытием берега шагов на 200 приблизились к стенам, тогда Суворов дал знак.

Раздался залп всех орудий. Первая линия быстро двинулась из крепости. Два полка казаков и два эскадрона регулярной кавалерии, стоявшие на другой стороне Кинбурна, обогнули крепость со стороны Черного моря и бросились в атаку на турецкий авангард. В одно мгновение весь авангард был уничтожен, а пехота тем временем гнала турок к ложементам.

Несмотря на губительный огонь 600 орудий неприятельской флотилии, Рок успел уже взять 10 ложементов.

Далее коса суживалась, двигаться было трудно. Турецкий паша, чтобы поднять в своих войсках храбрость, приказал высадившим их судам уйти далеко от берега. Туркам оставалось либо сражаться, либо гибнуть в море, и они в исступлении отчаяния бросились на русских. Сновавшие в турецких рядах с Коранами в руках дервиши подогревали фанатизм, и упорство турок достигло крайнего напряжения.

Генерал Рок, тяжело раненный, был вынесен с поля боя, в войсках произошло замешательство, и они начали отступать, теснимые несравненно сильнейшим противником.

Тщетно старался Суворов ободрить солдат. Лошадь под ним была убита, никто не видел маленького спешенного генерала, а голос его заглушался выстрелами.

Он приходил уже в отчаяние, когда увидел двух человек, держащих в поводу лошадь. Не заметив, что это были турки, он крикнул им:

— Подать коня!

Турки, заметив генерала, бросились на него, но мушкетер Новиков, услышав голос Суворова, крикнул:

— Братцы, генерал остался впереди!

Стремительно ринулся он на выручку, выстрелом свалил одного турка и заколол другого.

Слова «генерал остался впереди», подобно электрическому току, пронеслись по батальонам, солдаты повернули назад и с яростью бросились на неприятеля.

Закипел ожесточенный рукопашный бой, турки устилали трупами землю, и ложементы один за другим стали снова наполняться русскими ротами...

Но успех был непродолжителен. Патроны все израсходованы, батальоны редуют, а турки встречают их перекрестным огнем, турецкие корабли засыпают их бомбами и картечью...

Неприятель, заметив недостаток патронов, набрасывается с удвоенною яростью.

— Филипп Иванович, скачи в крепость, скачи в вагенбург, пусть присылают все, что только можно, — отдает Суворов приказание Решетову.

Но едва адъютант скрылся из виду, как под генералом рухнул конь. Суворов быстро вскочил на ноги, но, пораженный в левый бок картечью, снова падает со стоном на землю...

Нет начальника, нет руководителя, большинство офицеров ранено, и... батальоны в беспорядке, поспешно отступают.

— Боже, пошли мне смерть, чтобы не видеть такого позора!

Но солдаты не видят его, не слышат его слов и торопятся под защиту крепости...

Вдруг, среди сумятицы боя, раздается женский голос:

— Остановитесь! Забыли вы Бога и присягу... Забыли вы, где Суворов, там и победа!

Молодая жена Решетова не в состоянии была выносить мучительной неизвестности. Страшила ее не турецкая канонада, а участь мужа. Она пробовала молиться, но мысли у нее путались, молитва была бессвязна...

Солнце начинало уже садиться, как до ее слуха все громче и громче начали доноситься крики «алла, алла»!..

— Боже мой,— вскричала молодая женщина,— они разбиты, турки наступают.

Опрометью бросилась она во двор, вскочила на стоявшего на привязи казачьего коня и помчалась по направлению выстрелов и криков «алла»!.. Здесь она увидела картину беспорядочного отступления войск и своим криком отчаяния остановила солдат. Имя Суворова придало им новые силы, и они, устыдясь своей минутной слабости, повернули назад.

— Братцы,— кричал товарищам старый мушкетер,— нам ли, старым солдатам, бежать от турок, когда нынче и бабы их не боятся... Срамота, и только! И впрямь Бога забыли.

И мушкетер, бросившись в гущу турецкого строя, стал прокладывать себе дорогу штыком. Отчаянно работали штыками и другие солдаты, расстрелявшие свои патроны. Вскоре и турки и русские смешались в одну бесформенную массу. Турецкая флотилия была вынуждена прекратить канонаду. Прекращение артиллерийского огня еще больше ободрило солдат, сильнее налегли они на неприятеля и заставили его отступать, но отступали турки медленно, упорно отражая натиск.

Лина Решетова, забыв всякую опасность, объезжала место сражения, тщетно отыскивая мужа.

— Филипп, Филипп,— с отчаянием в голосе звала молодая женщина, но в ответ ей раздавались лишь ружейные выстрелы да стоны раненых.

— Братцы, помогите встать,— раздался подле нее слабый, но знакомый голос.

— Боже мой, Александр Васильевич!— с ужасом вскрикнула молодая женщина, соскакивая с коня.

На земле лежал, обливаясь кровью, Суворов.

Лина помогла ему приподняться, усадила его на земле и, взяв у убитого солдата флягу с водою, поднесла ее к запекшимся губам генерала. Старик пил ее с жадностью.

Вода придала ему силы.

— Мужа послал в Кинбурн и в вагенбург за подкреплениями,— успокоил он молодую женщину,— а сам вот...— указал генерал на зиявшую в левом боку ниже сердца рану.

Мигом расстегнула Лина мундир раненого, разорвала сорочку и начала обмывать рану.

— Помогите, голубушка, сесть на коня,— просил Суворов,— пусть солдаты видят меня, пусть знают, что я жив... от этого зависит успех боя...

— Нельзя, Александр Васильевич, вы истечете кровью...

В это время подоспел доктор с фельдшером, и вскоре облако пыли показало, что невдалеке скачет помощь... То была конная бригада, которую Решетов вел из вагенбурга, пехота бегом следовала за кавалерией.

Решетов пришел в ужас, увидя жену на поле сражения. Упав перед ней на колени, он обнимал и целовал ее ноги, умоляя возвратиться в Кинбурн.

— От тебя, Филипп, никуда; ты не понимаешь, чего от меня требуешь,— энергично протестовала молодая женщина.— К тому же ты видишь, что я здесь нужна — кто будет ухаживать за раненым генералом.

Решетов не мог возражать против таких доводов. Перекрестил жену, поцеловал ее и помчался догонять бригаду, чтобы передать ей приказания генерала.

Доктор между тем кончил перевязку, во время которой Суворов несколько раз впадал в обморочное состояние.

— Рана тяжелая, картечная,— сказал доктор,— но не опасная.

— Я могу, следовательно, на коня?— спросил пришедший в себя Суворов.— Раз вы добровольно отдали себя под мою команду, милая барыня, так извольте исполнять все мои приказания, как и все солдаты,— мягко сказал он Лине, садясь на коня, и сейчас же добавил энергично:— Я вам приказываю остаться при перевязочном пункте.

Лине в свою очередь пришлось подчиниться приказанию генерала.

Через несколько минут он был уже в чаще боя.

Войска, увидя своего любимого начальника, ожили духом, силы их удесятерились, и они еще плотнее налегли на турок, отнимая у них ложемент за ложементом. Вскоре они были вытеснены из всех ложементов. Легкоконная бригада била их с фронта, пехота теснила справа, казаки рубили слева. Суворов скакал с фланга на фланг, всюду ободряя сражающихся.

Неприятель очутился в тисках, в это время Суворов был снова ранен ружейною пулею в левую руку, но на рану не обращал внимания. Подъехал лишь к берегу, где есаул Кутейников промыл ему руку водой и перевязал своим галстуком. Несмотря на то что турки бросались на напиравших русских как тигры, они были скучены на пространстве длиною полверсты и представляли собою верную мишень для русской артиллерии.

В отчаянии они бросились в море и гибли тысячами, спустившаяся на землю ночь спасла остатки десанта от гибели, но не дешево досталось ему спасение. На другой день турецкие суда увезли 700 человек из всего десанта: он превышал во время высадки 5 тысяч человек.

ГЛАВА XIII

Взошедшее на другой день солнце застало русские войска выстроившимися на косе лицом к Очакову.

Очаковские турки, деморализованные поражением, с ужасом и недоумением смотрели на построение войск, ожидая с их стороны высадки, но правоверные ошиблись.

Войска собрались для того, чтобы на виду у неприятеля вознести Господу молитву за дарованную победу.

В это утро с Суворовым случился обморок, бывший последствием потери крови, но придя в сознание, он просил доктора дать какое-нибудь возбуждательное средство.

— Войска должны меня видеть бодрым и здоровым,— объяснял он окружающим и, действительно, бодрым явился он перед фронтом. Он поздравил войска с победою, разговаривал с отдельными солдатами и офицерами.— Видите, ребяташки, что бьет не сильный, а правый. На нашей стороне правда, с нами и Бог. Нас три тысячи, а турок до шести с лишком.

Собравшееся духовенство всех полков отслужило благодарственный молебен. Когда певчие запели «Тебе

Бога хвалим», весь отряд, точно по команде, опустился на колени, и тысячи голосов вторили певчим.

Минута была торжественная, и «Тебе Бога хвалим» далеко неслось по морю и лиману, наводя страх на очаковских турок.

Кончился молебен, и солдаты окружили со всех сторон Елену Александровну Решетову. Они целовали ей руки, платье, ноги.

— Милая, хорошая барыня, ангел ты наш, спасла ты нас, напомнила нам о присяге, да благословит тебя Царица Небесная.

Лина была и сконфужена, и тронута таким выражением солдатской благодарности, тем более что к ней присоединилась благодарность всех офицеров отряда и самого Суворова. Молодая женщина сделалась героем дня, и если ее имени не сохранила история, так это объясняется тем, что в те времена офицерские жены, переодетые в солдатское платье, нередко сопровождали мужьям в походах, нередко участвовали и в сражениях, несмотря на то что воинский устав и в те времена не допускал присутствия женщины в действующем отряде. Но ведь те времена и замечательны тем, что никогда закон так часто не обходили и не нарушали, как тогда. На такие нарушения смотрели сквозь пальцы.

Пересилив себя, Суворов крепился все утро, но в полдень слег в постель и потерял сознание. Елена Александровна не отходила от раненого и сделалась неутомимой сиделкой, помогая в то же время мужу вести служебную переписку. Турки больше не беспокоили крепость.

После описанных нами событий прошло 9 месяцев. Суворов за это время совершенно оправился от ран, успел несколько раз разбить турецкий флот, но суворовские победы не приносили много пользы, так как имели характер обороны. Для того чтобы закончить успешно войну, нужно было наступать, но Потемкин медлил, все его поступки и распоряжения отличались нерешительностью, несколько раз Суворов настойчиво предлагал ему штурмовать Очаков, но главнокомандующий не решался.

«Я на всякую пользу руки тебе развязываю,— писал он Суворову,— но касательно Очакова попытка неудачная может быть вредна...

Я все употреблю, надеюсь на Бога, чтобы он достался нам дешево; потом мой Александр Васильевич с отборным отрядом пустится предо мною к Измаилу... Подожди до тех пор, пока я приду к городу».

Позднее, когда 17 июня Суворов истребил почти весь флот Гассана-паши, он надеялся, что Потемкин предпримет штурм Очакова. Но не так думал светлейший. По его мнению, Очаков, свидетель такого страшного погрома, должен будет сам сдаться, хотя он и не подошел еще к городу.

«Мой друг сердечный, любезный друг,— писал он Суворову.— Лодки бьют корабли и пушки заграждают течение рек. Христос посреди нас. Боже, дай мне найти тебя в Очакове; попытайся с ними переговорить; обещаю моим именем целость, имения, жен и детей. Прости, друг мой сердечный, я без ума от радости!»

— Не знаю от радости или от безделья, но действительно без ума,— говорил Суворов желчно, читая письмо главнокомандующего.— Только безумный может ожидать сдачи сильной крепости, не предпринимая против нее ничего.

Однако он исполнил приказание главнокомандующего и послал Решетова для переговоров к очаковскому паше.

Турецкий комендант печально улыбнулся.

— Я понимаю, что мой друг, генерал Суворов, посылая мне через вас такое предложение, исполняет одну лишь формальность,— сказал он посланнику.— Он уверен заранее в моем ответе, тем не менее передайте генералу, что очаковский гарнизон будет сражаться до последней возможности.

Ответ очаковского паши указал Потемкину на необходимость осады, и вначале июля он, прибыв из Николаева, окружил крепость, вызвав для командования левым крылом осаждавших Суворова.

Осада потянулась медленно, вяло и была похожа скорее на блокаду.

Потемкин, в ожидании сдачи крепости, не предпринимал ничего, хотя в главной квартире его кипела неутомимая деятельность. Но деятельность эта была особого рода.

Адъютанты и, главным образом, полковник Асташев выбивались из сил, чтобы развлечь главнокомандующего, на которого хандра стала находить все чаще и чаще.

Балы сменялись балами, концертами и спектаклями. Певцы, певицы и музыканты приглашались из Вены и Парижа; целые обозы гастрономических припасов тянулись к Очакову. Можно было подумать, что светлейший собирается праздновать победу и заключение выгодного мира.

Потемкин, окруженный блестящею свитою и толпою знатных иностранцев, жил по-царски.

В описываемый нами день 25 июля, утром, в квартире потемкинского секретаря, генерала Попова, собрался за утренним чаем весь многочисленный штаб главнокомандующего. Все были в хорошем расположении духа, что свидетельствовало о бодром настроении светлейшего.

— Спасибо тебе, Асташев,— говорил один из потемкинских адъютантов молодому полковнику,— выискал итальянскую маркизу и отогнал хандру от светлейшего.

— От светлейшего отогнал, да на себя нагнал,— смеялся другой офицер.— Видишь, что сам Асташев ходит точно в воду опущенный, задела итальянка его сердце, а сама того... смотреть на него не хочет.

— Полно говорить глупости,— вспыхнул Асташев.

— С каких это пор правду стали называть глупостями? Да ты не сердись... Эх, обидное сказал: задела за ретивое. Да кого она не задела? Меня, думаете, не задела, а Горчакова не задела?... Небось и он вздыхает...— указал говоривший глазами на Попова.— Всех она, брат, задела, всем вскружила головы. Да беда — не для нас она...

— А я вам скажу, господа, как ни красива ваша маркиза де Риверо,— вмешался в разговор юный офицерик, а далеко ей до Елены Александровны Решетовой, даром что ваша итальянка соловьем заливается. Елена Александровна — русская красавица, герой... Может статья, не споеет так, как ваша маркиза, да зато в другом маркизе не угнаться за ней.

— Эх, куда хватил,— вмешался в разговор сам Попов, Елена Александровна ведь замужняя женщина, разве можно в чужую жену влюбляться...

— Влюбляться? Не знаю, а любить можно, а такую женщину, как Елена Александровна — должно. Повторяю вам, она герой. Кабы не она, чтобы с нами на Кинбурнской косе было... а маркиза...

При этом говоривший посмотрел на Асташева.

— Ну, что маркиза? Говорите молодой человек,— сказал с иронией Асташев.

— Маркиза... она враждебно относится к Елене Александровне.

— Вздор вы говорите, молодой человек.

Офицер не возражал, но улучив удобную минуту, он шепнул Попову на ухо:

— Она шпионка!

— Тс...— отвечал генерал.— Полноте, господа, пререкаться из-за дам,— обратился он к собравшимся. Хотя до вечера времени осталось еще много, да и дела у вас не мало. Смотрите, чтобы праздник вышел на славу. Фейерверки у вас готовы?— обратился он к одному из адъютантов и, получив утвердительный ответ, стал отдавать дальнейшие приказания.— Смотрите, Трофимов, чтобы повара у вас не перепились... транспорт с вином пришел?

— Пришел, ваше превосходительство.

— Ну с Богом, господа, за дело, а ты, Путилин, останься здесь, ты мне еще нужен,— обратился он к молоденькому офицеру.

Попов остался наедине с Путилиным и, убедившись, что их никто не слышит, подошел к нему вплотную.

— Ты назвал маркизу де Риверо шпионкой. У тебя есть тому доказательства или ты только так, взболтнул на ветер?

— Я в этом уверен.

— Уверенности, голубчик, мало, нужны доказательства... Доставь ты мне доказательства, и я озолочу тебя,— нервно говорил потемкинский секретарь.

— Выслушайте меня, ваше превосходительство, и судите сами. Вы знаете Бендерова?

— Ну, знаю. Это крещеный турок.

— Да, недавно крещеный. Он не успел еще привыкнуть к своему православному имени и все смотрит волком в лес... больно он мне подозрителен. Не верю я вероотступникам и изменникам. Сегодня он изменил своим, завтра изменит нам. Одним словом, у меня к нему возникли подозрения, и я стал за ним наблюдать... Мне казалось, что он по ночам бывает в Очакове, правда, поймать его не удавалось, но я стал следить за ним зорче... Третьего дня я отправился в Очаковскую бухту поудить рыбу, но не успел закинуть удочку, как вижу: Бендеров шатается по берегу... Я сейчас же спрятался между двух больших камней. Щель была глубока, я забрался подальше, чтобы он в темноте меня не заметил. На мое счастье, Бендеров подошел к камням и присел у самого входа в щель. Сажу и не шелохнусь, только слышу удары конских копыт, вскоре и женский голос.

— Я только на минутку,— говорила Бендерову маркиза по-французски.— Вот это,— и она что-то сунула ему в руку, вероятно, письмо.— Непременно нужно передать Гассан-паше сегодняшней ночью, да скажите ему,

я написать не успела, что Потемкин на днях посылает агента в Париж за планами крепости. Минировали ее французы, и он надеется купить там планы.

— Все будет исполнено в точности,— отвечал этот мерзавец.

— Торопитесь же, это в ваших интересах. Знаете, кого Потемкин посылает в Париж? Суворовского адъютанта Решетова. Если он уедет — увезет жену — ваше дело тогда пропало.

— А когда Решетов уедет?

— Не позже, как через неделю.

— Ну, до этого времени я все обделаю.

— Торопитесь же! — и маркиза пустила коня в галоп, за нею следовал казак...

Попов задумался.

— О том, что ты видел и слышал,— сказал он Путилину,— никому ни слова. За маркизой и Бендеровым смотри зорко, и если опять увидишь, что она будет передавать письмо — отними, хотя бы силою, и передай мне, а пока прощай.

ГЛАВА XIV

Стоило появиться Потемкину в степи, как в пустынной дотоле местности точно по щучьему велению вырастали дворцы, раскидывались сады. Так было и под Очаковом. В окрестностях его главной квартиры появились не только наскоро сделанные деревянные дома для свиты, но и большой деревянный дворец, известный в лагере под названием Храма Развлечений.

Здесь давались балы, обеды, концерты.

На другой день после описанного разговора Путилина с потемкинским секретарем, светлейший устраивал в Храме Развлечений бал, которым желал почтить героя Кинбурна, Суворова, на днях разгромившего турецкий флот.

Главнокомандующий, вообще ценивший Суворова высоко, оказывал теперь ему особенные знаки своего внимания. По его совету, императрица наградила Суворова орденом Андрея Первозванного, крупной денежной наградой и прислала очень любезное собственноручное письмо, в котором писала «чувствительны Нам раны ваши».

Хандривший до того времени Потемкин, желавший было отказаться от командования армией и передать ее

Румянцеву, ожил теперь духом, хотя, впрочем, злые языки объясняли перемену в светлейшем не суворовскими победами, а чарами красавицы маркизы де Риверо, итальянской певицы, приглашенной Асташевым для развлечения главнокомандующего.

Маркиза, явившаяся в главную квартиру певицей, вскоре приобрела там большое значение и совершенно подчинила влюбившегося в нее Потемкина своему влиянию. Красавица задавала всему тон, и все плясало по ее указке. Не нравилась такая жизнь старым боевым генералам, не привыкшим смешивать дела с бездельем, но перед всемогущим временщиком все безмолвствовало, один лишь Суворов изредка позволял поднимать свой голос, но безуспешно. Суровый голос храброго солдата заглушался более нежным, мягким голоском сирены.

— Я не спорю,— говорила маркиза де Риверо Потемкину за завтраком в день празднества,— что Суворов крепость возьмет штурмом, я не сомневаюсь ни в нем, ни в ваших солдатах, князь, но главнокомандующий на взятие крепости должен смотреть шире, чем его генералы — потомство и история будут считаться не с вашими подчиненными, князь, а с вами, а история неумолима, она не простит вам лишнего кровопролития. Зачем тратить тысячи человеческих жизней, когда крепость можно вынудить к сдаче осадой.

— Это и мое мнение, дорогая маркиза,— отвечал Потемкин,— но императрица настаивает, Суворов не отстает.

— Будьте тверды, князь Суворов не должен забывать, что вы его начальник... Соберите, наконец, военный совет.

Потемкин только вздыхал. Он знал, что постановление совета развяжет ему руки и оправдает его перед государыней. Но оправдает ли его перед собственной совестью?..

Он предчувствовал, что генералы, зная его мнение, ему же в угоду выскажутся в том же духе, один лишь Суворов останется при своем мнении, а мнение Суворова для него важнее всех генералов, вместе взятых... Как бы он хотел послушать совета этого храброго, честного старика; но что если на этот раз он слишком на себя понадеялся, если на этот раз военное счастье отвернется от него... и нерешительность овладевала князем, мысль о штурме он старался отгонять прочь.

— Авось турки сами сдадутся,— заметил он пришедшему во время завтрака принцу де Линю.

Тот саркастически улыбнулся.

— Не знаю, сдадутся ли,— отвечал принц,— но, по крайней мере, теперь узнал, что слово «авось» у вас, у русских, великое слово. Это та каменная гора, на которую возлагаются все надежды...

— Вам, очевидно, принц не нравится это слово?

— Не могу этого сказать, я бы охотнее слушал другое слово: courage.

Потемкин весь вспыхнул, но ничего не ответил и перевел разговор на посторонние предметы. По-прежнему был любезен с принцем, а по окончании завтрака приказал своему штабу готовиться к рекогносцировке.

— Надеюсь, дорогой принц,— обратился он к де Лию,— вы не откажетесь принять участие в рекогносцировке крепости, равно как дать ваши советы.

— Не только в рекогносцировке, но и в штурме,— с живостью отвечал принц.— Разрешите, князь, взять с собою и моего сына.

Через час Потемкин в сопровождении громадной свиты скакал к очаковским стенам. Турки открыли по скачущим губительный огонь. Гранаты и бомбы осыпали штаб Потемкина, вырывая из рядов его конвоя и людей и лошадей, но светлейший, как бы игнорируя опасность, шутил с окружающими и, подъехав на расстояние 300 шагов к крепости, внимательно начал смотреть в зрительную трубу. Несколько офицеров из его свиты было переранено и убито, но светлейший не замечал опасности, и лишь тогда, когда граната сразила наповал находившегося при нем дежурного генерала, он повернул коня к лагерю.

— Видите ли, дорогой принц,— говорил он по дороге де Лию,— слово «courage» знакомо и нам, у нас оно называется храбростью, которой свидетелем вы были только что. За свой счет я имею право быть храбрым, но за счет армии — никогда. Вы сами видели очаковские стены, видели их артиллерию и должны согласиться, что проявление храбрости с моими силами было бы безумием.

Принц хотя и не разделял взгляда главнокомандующего, но не возражал ему.

Доказав личную свою храбрость, Потемкин в хорошем расположении духа возвратился к себе. Дома его ожидала записка маркизы де Риверо, приглашающей князя к себе по неотложному делу.

— Вы знаете, дорогая маркиза,— говорил он, входя к певице,— что не только неотложное дело, но малейшее ваше желание — и я весь в вашем распоряжении.

Но молодая женщина надула губки.

— Я на вас сердита, вы совсем не думаете обо мне, да, впрочем, что я для вас — игрушка, забава минутной прихоти, обо мне говорить не будем, но вы не думаете и о ваших обязанностях...

— Бог знает, что такое, дорогая маркиза, вы действительно не в духе.

— Есть от чего. Не знаю, как посмотрели бы вы, если бы любимая вами женщина делала то, что делаете вы.

— Что же я делаю непозволительного, моя милая?

— Вы рискуете жизнью из-за того, что какой-то старый болтун вздумал делать вам туманные намеки насчет храбрости. Вы пожелали доказать ему, что вы не трус — это недостойно вас, главнокомандующего, государственного человека. Люди, подобно вам стоящие на высоте, не должны рисковать своею жизнью, их жизнь нужна государству.

Потемкин улыбался.

— Я несколько не удивлюсь, если вы завтра же пошлете всю вашу армию на штурм и положите ее на месте до одного солдата только для того, чтобы показать болтуну де Линю, что русские умеют умирать. Задача государственного человека заключается не в умении умирать, а в умении жить с пользой для своего государства и отечества.

— Полно, мой ангел, не сердитесь, — целовал светлейший ручки хорошенькой женщины, — помиритесь. Сознаю, что я погорячился, самолюбие мое было задето, но вы прекрасно знаете, что жизнью солдат я дорожу и не стану ими жертвовать, пока не настанет время, а время еще не настало.

— Дайте мне слово, что вы больше не будете рисковать собою, — со слезами на глазах говорила певица, с мольбою протягивая к нему руки.

— Даю, даю торжественное обещание, — отвечал, смясь, Потемкин, заключая красавицу в свои объятия.

— Ах, Боже мой, я и забыл, что меня ожидает Александр Васильевич Суворов.

— Опять этот противный старик, опять он будет сбивать вас с толку и, я уверена, заставит согласиться на штурм.

— У Потемкина своя голова, здесь царит только его воля, и никто не может его заставить, — гордо отвечал главнокомандующий, поднимаясь во весь рост.

По уходе светлейшего драпировки зашевелились, и из-за них вышел Бендеров.

— На сегодня опасность вы отклонили, маркиза,— сказал он фаворитке,— вы задели самолюбие князя. Но за завтра я не отвечаю. Употребите все усилия, чтобы удержать главнокомандующего от штурма хотя бы на две недели. Гассан-паша просит только две недели, в это время к нему будут доставлены подкрепления.

— Вы видите, я делаю все, что от меня зависит. Пусть же и Гассан-паша предпримет что-нибудь со своей стороны. Пусть покажет Потемкину, что не боится его. Сегодня ночью самый подходящий случай. Генералы и офицеры будут на балу, армия останется без начальников, и если Гассан-паша сделает, как я ему писала, вылазку, он отодвинет штурм на долгое время.

— Паша уже приготовился к вылазке,— отвечал перебежчик.

ГЛАВА XV

Храм Развлечений блещет огнями, звуки музыки льются в тихом ночном воздухе, в открытых окнах мелькают танцующие пары. Веселится Потемкин со всей своей многочисленной свитой, не чужая возле себя измены, один только секретарь генерал Попов чувствует не по себе и тревожным взором обводит танцевальный зал.

— Не видел Бендерова?— спрашивал он Путилина.

— Нет, видел его в начале бала, он о чем-то шептался с маркизой и вскоре исчез.

— В том и дело, что исчез,— тревожился Попов,— я посылал за ним в лагерь, но и там его не нашли.

— Голову даю на отсечение, если он, окающийся, не в Очакове,— вскричал Путилин,— готовит какой-нибудь сюрприз... Нужно предупредить светлейшего.

— Гм... Ладно, времени терять нечего, я сейчас же предупрежу князя, а ты немедленно отыщи Елену Алексеевну Решетову и, не вдаваясь в подробности, попроси ее от моего имени, чтобы эти дни она одна никуда не удалялась и по возможности держалась около мужа...

В то время как потемкинский секретарь условливался с молодым офицером, сзади них за кадкам с померанцевыми деревьями мелькнуло платье маркизы де Риверо. Она с несвойственной ей поспешностью направилась к тому месту, где Потемкин разговаривал с принцем де Линь. Ее высоко вздымавшаяся грудь, ее испуганный взгляд изобличали в ней сильное душевное волнение. «Боже мой,

Боже мой,—повторяла она про себя по-итальянски,—едва не погибла... нужно предупредить...»—и, подойдя к Потемкину, она попросила минуту разговора наедине.

— Что с вами, дорогая маркиза, вы взволнованы, что такое случилось?—с участием спрашивал главнокомандующий.

— Измена, князь, измена,—задыхаясь, проговорила певица.

— Измена! Где?

— Здесь, князь. Изменник—ваш крестник Бендеров.

— Маркиза, вас ввели в заблуждение.

Певица улыбнулась.

— Слушайте, князь, вот уже полчаса, как я ищу вас. Полчаса, может быть, час тому назад Бендеров просил меня выслушать его наедине по очень важному делу... Я провела его под померанцы. То, что он мне сказал, повергло меня в ужас... я хотела кричать, звать вас, генералов... но он достал из-за пояса пистолет и сказал, что разможжит мне голову, если я только открою рот.

— Что же он вам сказал? Говорите скорее, маркиза.

— Он предлагал мне от имени очаковского коменданта десять тысяч червонцев за то, чтобы я... ну словом, чтобы я отвлекла ваше внимание от войск, чтобы я незаметно всыпала в ваш бокал какой-то сонный порошок... а с Суворовым он обещал сам управиться... Турки утром должны сделать вылазку... Я схватила его за руку и хотела крикнуть, но он показал мне пистолет... «Я ухожу от вас навсегда, маркиза, к моим братьям,—сказал он,—но если вы скажете хотя бы кому бы то ни было слово о том, что я вам сказал, раньше как через полчаса после моего ухода—вам несдобровать... Мой сообщник здесь, он будет следить за вами и вонзит в вас кинжал...» Боже мой, не теряйте ни минуты, дорогой князь!

— Ваша светлость, нам изменили,—обратился к Потемкину подошедший в это время Попов.

— Знаю, знаю, изменник бежал, турки собираются сделать вылазку,—отвечал Потемкин, не замечая презрительного взгляда, каким Попов окинул его фаворитку.—Разыщите Александра Васильевича Суворова и предупредите его,—продолжал светлейший,—этот мерзавец Бендеров покушается на его жизнь.

Попов был озадачен таким оборотом дела и пошел исполнять приказания главнокомандующего. В это время со стороны лагеря раздались ружейные и пушечные выстрелы и вскоре заглушили звуки музыки... Через минуту

зал опустел... Главнокомандующий со своим штабом, генералы и офицеры мчались в лагерь к своим частям, в Храме Развлечений остались лишь испуганные дамы да прислуга...

Получив от Бендерова сведения о предстоящем празднике, комендант Очакова решил сделать вылазку. Он уверен был, что застанет армию врасплох, и считал победу обеспеченною... Бендеров обещал подсыпать в питье Суворову снотворный порошок, но паша, чтобы действовать наверняка, решил ударить сперва на левый фланг русского расположения, которым командовал Суворов, и разбить войско до прибытия генерала. Поэтому на рассвете, когда, по его предположению, Суворов должен был быть еще на балу, он направил на левый фланг сильный отряд пехоты.

Тихо пробрался двухтысячный отряд берегом лимана, незаметно лощинами подошел он к русским постам и стремительно напирал на пикет бугских казаков, сбил его и двинулся дальше... Но очаковский комендант ошибся в расчете, надеясь на отсутствие Суворова. Герой Кинбурна покинул бал далеко до полуночи и находился при своих войсках.

— Попрыгать и я люблю,—говорил он по дороге своему адъютанту Решетову, произведенному за кинбурнский бой в капитаны,—да только не теперь, воевать так воевать, танцы во время войны—шутовство неприличное. Вот увидишь, чем все это кончится... ты думаешь, что турки не знают, чем мы теперь занимаемся?.. Мы к ним не идем, так они к нам придут... Гасан-паша не такой генерал, чтобы не воспользоваться случаем, помнишь мое слово, а теперь нужно осмотреть пикеты.

И Суворов, объехав все сторожевые посты и наказав часовым, чтобы зорко следили, лег спать не раздеваясь...

Едва услышал он выстрелы, как вскочил на коня и, взяв два батальона фанагорийских гренадер, бросился на турок. Завязался упорный бой... Пересеченная местность благоприятствовала неприятелю, к которому все прибывали и прибывали подкрепления.

Полковник Золотухин, видя критическое положение генерала, бросился к нему на помощь с другим батальоном, за ним подоспели новые, и турки, выбитые с позиции, увидев Суворова, с ужасом бежали к своим ретраншаментам... Уже совсем рассвело... Суворов, ободренный победой, гнал турок без передышки.

— Сам Бог посылает нас на штурм, ребяташки,— кричал он солдатам...— Береги патроны, работай штыком...

— Ваше превосходительство, главнокомандующий приказывает воротиться,— кричал ему посланный Потемкиным адъютант.

Суворов показывал вид, что не слышит и не замечает адъютанта.

— Вперед, ребяташки, вперед, чудо-богатыри, кинбурнские герои... за вас матушка царица и вся Россия молится...

— Светлейший приказывает остановить бой,— кричал новый адъютант Потемкина, но и его не видел Суворов.

— Порадуйте нашу матушку царицу, ребяташки, преподнесите ей Очаков...

— Ура, ура...— кричат в ответ солдаты и рвутся вперед. Турки смущены, они не ожидали такого оборота дел... Думая разбить левый фланг русских, они теперь подвергли опасности свой правый фланг и стали поспешно стягивать к нему подкрепления... Потянулись турецкие значки слева направо, видит принц де Линь, что левый фланг турок беззащитен.

— Теперь, князь, теперь или никогда,— с жаром говорил он Потемкину, с беспокойством наблюдающим в зрительную трубу за боем.

— Атаковать, штурмовать, и через полчаса Очаков будет ваш,— говорил он Потемкину, но тот и слышать не хочет.

— Ни за что, ни за что, это напрасная трата людей... как смел Суворов без моего приказа переходить в наступление!.. Сходи к нему,— приказывает он адъютанту,— скажи, что я приказываю прекратить бой.

И скачут адъютанты один за другим, но безуспешно, бой не прекращается, а разгорается с новой силою... Вот уже русские батальоны у турецких ретраншаментов.

— Боже мой,— вскрикивает Потемкин,— да он с ума сошел, штурмовать хочет!.. Скажите к нему и скажите, что я спрашиваю, как он осмелился не исполнить моих приказаний,— обращается главнокомандующий к дежурному генералу Рахманову.

Между тем батальоны подошли к ретраншаменту вплотную; еще минута, и они бросятся на штурм... в ретраншаменте суматоха.

— Вот он, вот он, стреляй в него,— указывает беглец Бендеров стрелку на Суворова. Турок приложился,

раздался выстрел... Суворов пошатнулся в седле и схватился за шею, из которой текла кровь... Пуля, пройдя через шею, остановилась в затылке.

— Пожалуй, рана смертельная,— сказал он Решетову.— Господи, помилуй и спаси армию... скажи генерал-поручику Бибикову, что я передаю ему команду и прошу отводить батальоны в лагерь.

Отдав приказание, Суворов поскакал на перевязочный пункт и послал за священником, но доктор, осмотрев рану, успокоил его. Она была хотя и тяжела, но не опасна. Усадив раненого на камень у ручья, доктор принялся за перевязку.

Не успел еще он окончить ее, как прискакал генерал Рахманов с грозным вопросом светлейшего.

Суворов, выслушав посланного, отвечал ему:

Я на камушке сижу,
На Очаков я гляжу...

А батальоны между тем, узнав о тяжелой ране своего любимого начальника, отступали в полном беспорядке.

ГЛАВА XVI

Так кончилась турецкая вылазка 27 июля. Потемкин не воспользовался удобным случаем, пренебрег советом принца де Линь и не только потерял возможность взять Очаков, но и лишился такой крупной боевой силы, какую представлял из себя Суворов.

Едкий ответ героя Кинбурна привел его в ярость, он послал ему резкое письмо, после которого Суворов оставаться под Очаковом больше не мог и переехал в Кинбурн, как объяснял в официальном донесении, чтобы иметь наблюдение за турецким флотом и по взятии Очакова не пропускать его в Лиман. Рана была тяжелая, тем не менее выносливый старик быстро поправлялся, хотя и испытывал душевные муки. Все попытки его примириться с Потемкиным были безуспешны. Всесильный временщик чувствовал себя уязвленным; задетый в своем властительном самолюбии, он не мог примириться даже с таким полезным для него человеком, каким был Суворов. Он даже не отвечал на суворовские письма. Видя, наконец, что примирение с Потемкиным невозможно, Суворов решил уехать на воды, чтобы окончательно поправить здоровье, но и этому не суждено было осуществиться, его ожидали новые раны, новые страдания.

18 августа, едва раненый успел оправиться, в Кинбурне раздался утром страшный удар, за ним последовал другой, третий, и густая туча порохового дыму повисла над крепостью. Взорвало лабораторию, где без ведома Суворова, по приказанию коменданта, изготовлялись бомбы для очаковской армии. Бомбы и гранаты разбросало во все стороны, и они начали разрываться одна за другой.

Вскочив со стула, Суворов побежал к двери, в это время в комнату влетела бомба, разорвалась, своротила часть стены и разбила в щепы кровать, кусками оторванной щепы ранило больного.

В крепости в это время происходил страшный переполох, всюду были убитые и раненые...

Генерал был вынесен в поле, там сделали ему перевязку.

Не воспользовался Потемкин удобным случаем, и осада пошла черепашьим шагом. По-прежнему всемогущий временщик развлекался, и, казалось, осада Очакова являлась только одним из номеров увеселительной программы светлейшего. Омрачали его настроение лишь письма раненого Суворова. Незлопамятный по природе Потемкин не мог, однако, простить Суворову его самостоятельности, и на письма героя Кинбурна не отвечал. Правда, и Суворов в своих письмах, стараясь умиловать разгневанного Потемкина, нет-нет и ввертывал резкое словцо правды, а правду известно, как любят... отношения их не улучшались, и Суворов, потеряв надежду на примирение, едва поправился, как уехал лечиться в Кременчуг.

Маркиза де Риверо хотя и избежала грозившую ей опасность, все-таки чувствовала себя как на вулкане. Правда, Путилин был убит, но генерал Попов, лицо, приближенное к Потемкину, был жив и мог погубить ее в любое время. Пока он ничего не предпринимал, но молодая женщина чувствовала, что он за ней наблюдает, действия ее были связаны, и она поджидала только случая, чтобы покинуть лагерь. Но случай представился не скоро. Прошло лето, наступила глубокая осень, сырая, дождливая, а осада не несла успеха. Ненастная погода начала разгонять собравшихся при главной квартире иностранцев и дам. Потемкин, рыцарски относившийся к дамам, согласился с тем, что маркизе

неловко оставаться одной в лагере, и отпустил ее, взяв слово, что весной она снова возвратится.

Опустела главная квартира. Утром и мрачен стал Потемкин, по целым дням он не говорил ни слова, и несмотря на то что бреши и обвалы в крепостных стенах сами приглашали его на штурм, он все медлил. Наступила, наконец, лютая зима, которой не знавали раньше старожилы. Снега выпали глубокие, морозы доходили до 20 градусов, и солдаты коченели в своих землянках... Потемкин все медлил. Не выдержали, наконец, пострадавшие воины, дождались посещения лагеря главнокомандующим и сами обратились к нему с просьбой вести их на штурм.

— Не беспокойтесь, ваша светлость,— кричали ему со всех сторон,— не посрадим славы отцов наших, не запятнаем знамен российских, Очаков будет наш... генерал-аншеф Александр Васильевич Суворов, дай Бог ему много лет, и не стольких турок бивал...

Достаточно было Потемкину услышать восторженные отзывы солдат о Суворове, чтобы не внять мольбам солдат. Уж больно он чувствовал уязвленным себя в своем властительном самолюбии... Осада продолжалась...

5 декабря к главнокомандующему явился генерал Попов.

Секретарь светлейшего был очень взволнован...

— Ваша светлость, я только что из лагеря... Ропот всеобщий, с минуты на минуту нужно ожидать бунта... Офицеры ничего не могут поделать с солдатами, они...

— Что они?

— Называют вашу светлость изменником.

— Меня?! Дураки, они не понимают того, что их же жизнь берегу.

— Им это говорят и офицеры, но солдаты и слушать не хотят; при штурме, говорят, столько не погибнет, сколько мрет теперь от стужи и болезней.

Потемкин молча ходил по комнате.

— Вот что, нужно отступать на зимние квартиры. Посмотрим, что принесет весна.

— Ваша светлость, солдаты раздеты, провианта осталось на два дня, а до зимних квартир на сотни верст растянулась обледеневшая степь... по ней теперь гуляют снежные бураны...

— Что же по-твоему делать?

— Штурмовать крепость,— глухо произнес Попов,— там и одежда, там и провиант.

— Ладно,— отвечал, подумав, Потемкин,— напиши приказ — завтра штурм...

На другой день, 6 декабря, при двадцати трех градусах мороза был произведен штурм. Он длился только час с четвертью, но был беспощадный, кровавый... Очаков обратился в громадную могилу.

Штурмом и закончилась кампания 1788 года. Как ни враждебно относился в это время Потемкин к Суворову, но при представлении отличившихся к наградам не обошел его. Собственноручно он написал: «Командовал в Кинбурне и под Очаковом, во время же поражения флота участвовал не малодействием со своей стороны», и здесь же пометил: «Перо в шляпу». Суворов получил бриллиантовое перо большой ценности с буквою К, а сам Потемкин долгожданный орден св. Георгия 1-го класса и 100 тысяч рублей.

ГЛАВА XVII

24 апреля 1789 года у Зимнего дворца был большой съезд. В этот день государыня принимала представлявшихся ей лиц, и поэтому приемный зал был полон. Преобладали по преимуществу военные мундиры, шли военные разговоры. Темой было возобновление турецкой кампании. Потемкин после очаковского штурма приехал в Петербург и до сих пор оставался еще в столице, несмотря на то что турки предприняли уже наступление как на русских, так и на союзных нам австрийцев.

— Как вы думаете, что задерживает светлейшего в столице? — спрашивает немолодой уже генерал у своего соседа.

— Вероятно, «больной зуб», — отвечал тот с усмешкою, — все собирался его выдернуть, да, верно, крепко сидит, не поддается.

— И не поддастся, — тоже с усмешкою отвечал генерал. — Стареть начинает его светлость, а тот — кровь с молоком, — указал он глазами на проходившего молодого красавца, флигель-адъютанта графа Платона Зубова. — Ну, где ему тут управиться...

— Да-а-а-с, — протянул собеседник генерала, — новая восходящая звезда, да только далеко ему до светлейшего... А слышали, как он старика Суворова обидел.

— Как так, да ведь они в дружбе великой.

— Да, были, а вот с прошлого года светлейший и слышать о нем не хочет. Весь генералитет распределил

по обеим армиям, а Суворову не дал никакого назначения...

— Не дело делает светлейший... Что ни говори, а Суворов сила, которой пренебрегать нельзя...

— Да, вот и сам Александр Васильевич,— указал генерал на входившего в приемную Суворова.

Входивший в это время Суворов почтительно раскланялся с проходившим мимо истопником.

На губах присутствовавших мелькала презрительная улыбка.

— Александр Васильевич, отец родной, здравствуйте,— встретил его приветливо только что защищавший генерал.— Что это вы так низехонько с истопником раскланиваетесь, вы меня уж простите, а только генералу-аншефу и кавалеру, герою и с истопником...

— Нельзя, батюшка, нельзя,— отвечал Суворов, пожимая приятелям руки,— я здесь человек новый, меня никто не знает. Нужно заручиться знакомствами. При дворе без поддержки ничего не поделаешь, а мне поддержка нужна, в армии обижают...

— Так не в истопнике же искать поддержки...

— Сегодня он истопник, а завтра — во какой большой человек, и князь, и граф, генерал-адъютант... так лучше уж заблаговременно.

Суворов говорил серьезно, только в его голубых глазах светилась ирония.

— Во многих боях, братцы мои, я бывал, уж и не счесть в скольких, а при дворе мало. Да только в боях я не получил столько ран, сколько получил здесь... вот и стараюсь снискать себе благодетеля.

В зале раздался сдержанный смех, который неожиданно оборвался. Дверь из кабинета государыни отворилась, и вышедший Платон Зубов подошел к Суворову:

— Ее величество вас ждет, Александр Васильевич,— обратился он к Суворову и провел его в кабинет императрицы.

Государыня, бывшая уже в преклонном возрасте, сохранила прежнюю энергию и веселость.

— Рада, рада вас видеть, дорогой Александр Васильевич,— встретила она поклонившегося ей до земли Суворова.— Не жалуете вы нас, Александр Васильевич, редко показываетесь, ну, а редкий гость в два раза дороже. Мне тем приятнее вас видеть, что лично могу вас поблагодарить за ваши труды и победы.

— Матушка государыня, превыше заслуг награжден я щедростью вашего величества и приехал принести вам мою всеподданнейшую благодарность.

— Я рада, Александр Васильевич, видя вас здоровым. Суворов вздохнул и повалился государыне в ноги.

— Матушка, я прописной,— сказал он жалобным тоном.

— Как это?— спросила, улыбаясь, императрица, сама поднимая старика генерала.

— Меня нигде не поместили с прочими генералами и ни одного капральства не дали в команду.

Императрица задумалась. Хотя она и не оправдывала Суворова за его самовольный поступок под Очаковым, тем не менее знала ему цену и не хотела лишаться на театре войны такой внушительной фигуры, какую представлял собою Суворов.

— Я вас помирю, Александр Васильевич, с князем Григорием Александровичем, а теперь пока назначу в армию фельдмаршала графа Румянцева... генерал Суворов нам нужен, Александр Васильевич, он еще не одну услугу окажет отечеству, дал бы только Бог ему сил да здоровья,— ласково сказала государыня.

— Всемиловитейшая!..— только мог выговорить со слезами на глазах Суворов...

С высоко поднятой головой, радостно сверкающими глазами проходил он приемную императрицы.

— Не выдала матушка царица своего верного солдата,— говорил он, приехав к начальнице Смольного монастыря, т-те Лафон, и обнимая свою пятнадцатилетнюю дочь.

— Люби ее, Суворочка, люби ее, дорогая Наташа, и будь ей предана, как я, ее верный солдат.

Маленькая, худенькая девочка, напоминавшая собою больше отца, чем красавицу мать, прижималась к отцовской груди, рассказывая о своей институтской жизни.

— Вот вы, папенька, скоро опять уезжаете, когда-то я вас опять увижу, опять останусь одна.

— Мы с тобой никогда не расстанемся, дорогая Суворочка, всегда будем вместе. Я уезжаю завтра, а все-таки мы будем вместе, ты почаще пиши мне, пиши каждый день, я тоже буду тебе писать. Вот мы и будем каждый день говорить. Ты ведь знаешь, Наташа, моя милая, что тобой одной я живу, твоими письмами... как они облегчали мои страдания, когда я был болен, ранен. Ангел мой, пиши почаще, люби свою начальницу Софью Ивановну— она тебе все равно что мать... Советуйся

с двоюродной сестрицей Грушей, худого она не пожелает, а мне пиши и пиши,—говорил старик, покрывая лицо и голову дочери горячими поцелуями.

На другой день, 25 апреля, он уехал в армию.

В середине июля небольшой отряд австрийских гусар скакал по дороге от молдавского местечка Аджуша к Бырладу. Молодой офицер — начальник отряда — не давал своим гусарам отдыха и лишь менял аллюры с галоп на рысь. Времени терять было нельзя, сильный корпус Осман-паши быстро приближался к Фокшанам, чтобы напасть на австрийцев, силы которых были значительно слабее, и австрийский главнокомандующий, принц кобургский, послал молодого гусарского поручика к Суворову, стоявшему в Бырладе, просить помощи. Турок ожидали с часу на час, оттого посол принца так спешно скакал, не разбирая пути, выбрав кратчайшее расстояние. Отряд уже был вблизи Бырлада, как из-за небольшого пригорка раздались выстрелы и крики о помощи.

Офицер дорожил временем, но, услышав выстрелы, он поскакал со своим конвоем по тому направлению, откуда слышались крики.

Едва гусары обогнули пригорок, как человек восемь конных вооруженных людей, окружавших коляску с проезжими, стремительно бросились в лес. Гусары и не преследовали бегущих. «Очевидно, разбойники,—подумал начальник конвоя, на турок не похожи». И, ускорив аллюр лошади, он поскакал к коляске.

В дорожном экипаже сидели две молодые дамы и молодой человек с рыжими бакенбардами.

— Мы подроспели, кажется, вовремя, сударыни,—сказал офицер, подъехав к экипажу и прикладывая руку к киверу.

— Господин фон Франкенштейн! Вы ли это? — раздался из экипажа радостный крик, и одна из дам приподняла вуаль.

— Маркиза... Маркиза де Риверо! — вскричал с радостью офицер,—сам Бог послал меня к вам...—и он, соскочив с коня, целовал руки молодой женщины.—На вас напали разбойники... Как вы очутились здесь?

— Прежде позвольте вам представить — господин Ричардсон — мой секретарь. Я ехала из Ольвиополя, куда была приглашена, как певица, князем Потемкиным. И вот, когда была уже вблизи ваших войск, австрийской границы, на нас напали разбойники... К счастью, подо-

спели вы — и мы спасены; грабители успели увезти небольшой дорожный багаж господина Ричардсона и ридикюль моей компаньонки, — указала она глазами на сидевшую рядом с нею молодую женщину.

— Я счастлив, маркиза, я благодарю Бога, что он послал меня... но дальше вам ехать нельзя. Вы рискуете. Вы должны возвратиться и некоторое время выждать при наших войсках, а затем я похлопочу, чтобы вам дали конвой. Теперь же я тороплюсь к русскому генералу Суворову за подкреплениями, и вам придется ехать со мною.

Маркиза сначала протестовала, но молчавший до этого времени Ричардсон поддержал поручика фон Франкенштейна.

— Возвращение теперь бесполезно, — сказал он маркизе по-английски сердитым тоном, как только офицер отъехал от коляски. — С чем мы приедем в Вену? Эти мерзавцы все увезли — все документы были в багаже... Может быть, это и к лучшему... Отряд Суворова для нас будет важнее главной квартиры бездеятельного Потемкина.

— Да, но вы забываете, что Суворова влюбить в себя нельзя, а следовательно, и нельзя заставить действовать так, как это вам надо.

— Кто знает!

Пока австрийские гусары со спасенными ими путниками скакали к Бырладу, разбойники, забравшись в чащу леса, сошли со своих лошадей и начали рассматривать добычу.

Маркиза была права, не признав в них турок. Если бы она была повнимательнее и не так испугалась, то заметила бы, что ограбившие их люди были некто иные, как запорожцы.

— Ну, хлопцы, — сказал, по-видимому, старший из них, — добре мы зробылы, що взяли цю торбу.

— Що же тут доброго, Максыме? Чому ты рад? Одно пысанье, да и тылько... погани цесарци, трясця их матери, не дали забраты и гроши...

— Дурню ты, Иване, гроши туточка, — указал старший на ворох исписанных бумаг.

— Енерал Попов казав, щобы забраты только бумаги, и бильше ничего, — отвечал старший. — Привезем це писанье, енерал даст кучу грошей.

— Енерал енералом, а нимци нимцями, тоди б грошей було бы ще бильше... — вздыхал молодой казак, набивая трубку.

ГЛАВА XVIII

Потемкин нервными шагами ходил взад и вперед по своему кабинету в Ольвиополе, секретарь его, генерал Попов, в почтительной позе стоял у стола.

— Да, теперь нет никаких сомнений,— сказал светлейший, останавливаясь перед Поповым.— Но почему вы не предупредили меня раньше?

— Как я мог, ваша светлость? Доказательств у меня не было, были одни только подозрения... В критическую минуту я решился вас предупредить, но маркиза повернула дело так ловко, что я принужден был замолчать. Если вы изволите припомнить, двадцать седьмое июля прошлого года на балу я доложил вашей светлости об измене, но оказалось, что маркиза, подслушав мой разговор с Путилиным и увидя, что изобличена, сама вас предупредила... Что мог я делать... вы мне не поверили бы...

— Да, не поверил бы, ловко она провела меня... но что с ней делать... Того мерзавца, ее секретаря— повесить, но ее, женщину... нельзя... впрочем, я подумаю, как ее наказать, а пока, Василий Степанович, пошли к Суворову приказ задержать их обоих и содержать под строгим караулом впредь до моих распоряжений.

— Это уже сделано, ваша светлость,— отвечал Попов.

— Отлично... но как к вам попали эти документы?

— Будучи уверен, что маркиза прислана к нам шпионить и, уезжая, увозит с собою нужные для английского правительства и турок документы, я выслал вперед Максимчука с десятью запорожцами и приказал им изобразить из себя разбойников.

Светлейший рассмеялся...

— Ну, теперь понимаю, ее попросту ограбили.

— Не совсем, ваша светлость, австрийские гусары помешали, но дорожный мешок вот с этими документами успели захватить.

— Василий Степанович, жалко мне эту женщину,— сказал своему секретарю задумчиво Потемкин,— но... наказать ее я должен... Тебе ее не жалко?

— Нет, ваша светлость, шпионов жалеть нельзя.

— А ее все-таки жалко. Кабы ей удалось убежать!

Попов улыбнулся. Он прекрасно понимал своего начальника, но делал вид, что не понимает.

— Вряд ли ей удастся убежать из-под стражи... У Александра Васильевича караульная служба несется строго.

Потемкин не отвечал на замечание своего секретаря и отдал приказ готовиться к выступлению на другой день к Бендерам.

Суворов в ожидании выступления, чтобы его офицеры не скучали от безделья, надумал с ними вести общеобразовательные беседы.

— Как ты думаешь, Филипп Иванович, не дурно было бы познакомить наших офицеров с военной историей да и со многим другим.

Решетов вполне соглашался со своим генералом, что ознакомление офицеров с историей путем бесед принесет немалую пользу, и вскоре у ставки Суворова начали ежедневно собираться не только офицеры, но и генералы. Читалась не только военная, но и всеобщая история, география и даже журналы. Сначала такое времяпровождение очень нравилось офицерам, но когда Суворов стал экзаменовывать слушателей, чтобы убедиться в их внимании и интересе к прочитанному, удовольствие исчезло и обязанность посещать чтения и беседы превратилась в тяжелую повинность.

Суворов, не любивший «немогузнаек», с ними не церемонился и распекал, не обращая внимания на чин «немогузнайки», был ли то прапорщик или генерал — солоно ему приходилось от едких сарказмов Суворова.

— Говорят, яйца курицу не учат, вздор, — говорил Суворов. — Быть может, это прежде было, да не теперь, когда куры поглупели... Учи их, Филипп Иванович, учи, — говорил он Решетову, указывая на генералов и бригадиров.

В другой раз, когда один бригадир не мог ответить на один суворовский вопрос, то Суворов его спросил:

— Какая разница между вами и солдатом?

Бригадир молчал.

— Не знаете, так я вам скажу: солдат мужик, его ничему не учили, зато теперь он учится, а вы — дворянин, вас тоже ничему не учили, да и теперь вы ничему не учитесь... Смотрите, как бы солдат учнее вас не сделался... Командовать неученому над ученым — не рука.

Вскоре образовательные чтения так опротивели многим офицерам, что они пускались на разные хитрости, только чтобы избежать генеральской беседы.

Во время одной из таких бесед Суворову доложили, что прибыл посланник от принца кобургского.

Ко всеобщему удовольствию офицеров, чтение было прервано, явился поручик фон Франкенштейн.

Суворов пошел к нему навстречу и вдруг остановился в недоумении.

— Ваша фамилия?

— Поручик фон Франкенштейн.

«Фон Франкенштейн, Франкенштейн,— задумчиво повторил Суворов...— а как похож, как похож... вылитая Стефания,— закончил он мысленно.

— Извините, пожалуйста, вы мне напомнили одно знакомое лицо, но... это игра случая... Да вы немец, а говорите по-русски, как русский?

— Моя приемная мать, графиня Бодени, княгиня фон Франкенштейн, говорит по-русски, у меня был русский воспитатель, да и я по крови славянин.

— Вы сын графини Бодени...— и генерал заключил молодого человека в объятия.

ГЛАВА XIX

16-го июля, ночью, форсированным маршем двигался русский отряд по дороге к Аджушу. Дорога была тяжелая, вернее говоря, дороги не было никакой. Отряд торопился и потому должен был идти по кратчайшему направлению, пренебрегая рытвинами и оврагами, ручьями и речонками. Мостов наводить было некогда, реки переходили вброд.

Впереди отряда ехал Суворов с поручиком фон Франкенштейном.

Послав в день прибытия молодого офицера принцу кобургскому лаконичную записку: «Иду. Суворов», он оставил поручика при себе.

Вспомнились ему былые годы, жизнь на Дунае, прекрасная графиня Анжелика, и он находил теперь утешение в беседах с ее приемным сыном. Впрочем, молодой поручик располагал к себе боевого генерала поразительным сходством со Стефанией Бронской.

Полюбился сразу и старик молодому офицеру. Он чувствовал непонятное для него влечение к чужеземцу, что и высказал Суворову со свойственной юности откровенностью.

— Видите, дорогой Александр, что симпатия вызывает всегда симпатию, недаром же имя мы носим с вами одинаковое. Скажите, пожалуйста,— продолжал он, немного помолчав,— нет ли у вас родственников в Польше?

— Не знаю, кажется, нет, хотя я родом поляк. Мать моя умерла в Петербурге, я смутно ее помню... Меня взяла на воспитание княгиня фон Франкенштейн... Так как документов после смерти матери не осталось никаких, то мы и не знаем, есть ли кто у меня из родных или нет... Знаю только одно, что по рождению я дворянин и что желание моей матери было — воспитать меня в России, но судьба распорядилась иначе... Тем не менее я люблю Россию, как свое отечество, и рад сражаться бок о бок с русскими.

Суворов слушал рассказ молодого офицера молча.

Темнота ночи скрывала струившиеся по его лицу слезы... «Похоже на нее, — думал он, — воспитать сына, если он будет, в России и в православии — было ее мечтою...

Неужели... Но нет, она умерла в Кракове, а эта в Петербурге...»

О, как бы он хотел видеть графиню Бодени, как бы хотел расспросить ее о матери молодого человека, наверное, он знает не все, от графини он узнал бы больше...

Неужели это сын милой Стефании... Как бы он был тогда счастлив, он посвятил бы ему всю свою жизнь.

Положим, у него есть сын Аркадий, но его ли это сын — старик нередко сомневался и иногда прямо-таки не верил и не хотел видеть его... Неужели же судьба сжалась над ним и на старости лет посылает утешение в лице сына любимой женщины, который будет и для него любимым сыном?

В то время как едущий во главе отряда Суворов разговаривал с австрийским поручиком, в коляске, двигающей в арьергарде, шел оживленный разговор между маркизой де Риверо и секретарем ее Ричардсоном.

— Теперь вы видите, — говорила молодая женщина, — что Суворов — не Потемкин. Как он нас принял?! Я уверена, что он подозревает нас, и хотя он заявил, что сказал в виде шутки, что скоро нас не выпустит, но будьте уверены, что за шуткой у него скрывается какая-нибудь задняя мысль... Я даже боюсь, что на нас напали не разбойники, а подосланные им люди.

— Вы говорите, моя милая, глупости, — раздраженно отвечал сэр Эдвард Ульямс, вместе с чужими бакенбардами принявший на себя и чужое имя.

— Вы говорите глупости! Вы помните, как были одеты напавшие на нас люди?... Я таких же людей, в таком же одеянии и так же говорящих видела в суворовском лагере.

Сэр Эдвард задумался...

Всю ночь и весь следующий день отряд шел без передышки, и, наконец, к 10 часам вечера, пройдя за 28 часов 50 верст самой дурной дороги, прибыл к Аджушу.

Мигом запылали костры и отряд расположился на ночлег.

Поручик фон Франкенштейн немедленно явился к принцу кобургскому с донесением.

— Вы слишком устали,— сказал принц,— я вас теперь беспокоить не буду.

И на следующий день отправил к Суворову другого своего адъютанта с просьбою сообщить, когда он может принять его, чтобы договориться насчет взаимных действий. Но в ответ получил записку, повергшую его в недоумение. Русский генерал хвалил австрийских гусаров, писал, что счастлив предстоящим знакомством с принцем, но о свидании умалчивал.

Принц послал другого офицера, но того не приняли.

— Генерал Богу молится,— сказали ему.

Выждал принц немного, посылает третьего офицера.

— Если генерал не кончил молиться, подождите, пока кончит, но ответ привезите непременно,— приказывает он.

Но и этот посол возвратился ни с чем.

— Генерал спит,— сказали ему.

Принц выходил из себя. Позвав фон Франкенштейна, он велел ему отправиться к Суворову.

— Вы были счастливее ваших товарищей,— сказал принц,— понравились этому русскому чудаку, быть может, он вас примет... Намекните ему, что я оскорблен его поведением...

Но Франкенштейну ехать не пришлось. В то время, когда принц давал ему инструкцию, от Суворова была получена следующая записка:

«Войска выступают в 2 часа ночи тремя колоннами; среднюю составляют русские. Неприятеля атаковать всеми силами, не занимаясь мелкими поисками вправо и влево, чтобы на заре прибыть к реке Путне, которую и перейти, продолжая атаку. Говорят, что турок перед нами пятьдесят, а другие пятьдесят — дальше; жаль, что они не все вместе. Лучше было бы покончить с ними разом».

Такая записка, почти приказание, поставила Кобурга в тупик. Он созвал совет из своих генералов и прочитал им записку.

— Суворов осмеливается приказывать вашему высочеству,— с негодованием сказал старший из генералов.— Он забывает, что чином ниже вашего высочества.

— Не в чинах дело,— заметил принц.— Суворов опытнее меня и вправе давать указания, не для этого я вас созвал, господа. Я хочу знать ваше мнение, не увлекается ли русский генерал, быть может, он не знает наших сил, считает их большими, чем они на самом деле?..

Генералы переглядывались между собою.

— У Суворова пять полков пехоты, восемь кавалерий и тридцать орудий,— заметил один из генералов,— а этих войск вместе с нашими для наступления мало. Нам нужно обороняться.

— Суворов слишком самонадеян,— говорил другой.

— Как же быть?— растерянно спрашивал принц.

Генералы молчали.

— Ваше высочество,— начал, краснея, молодой фон Франкенштейн,— если вы позволите говорить...

— Говорите, говорите, дорогой поручик.

— Суворов не самоуверен, а уверен. Если ваше высочество не согласитесь на наступление, Суворов атакует турок с одними своими полками... я видел его солдат, на лицах у них написано: «Победа»,— с жаром закончил он.

— Вы правы, фон Франкенштейн,— отвечал принц,— Суворов хотя и чужак, а прислушиваться к нему надо.

И он отдал приказ готовиться к выступлению, согласно распоряжению русского генерала.

Глубокой ночью выступили союзные войска из лагерей тремя колоннами. Перешедши реку Тертушь, продолжали наступление двумя колоннами: правую составляли австрийцы, левую — русские, которым был дан авангард из австрийских гусар под начальством полковника Карачая.

По просьбе Суворова принц кобургский оставил при нем поручика фон Франкенштейна.

Осторожно двигалась русская колонна, пробираясь по лощинам, время от времени Суворов в сопровождении своего молодого австрийского адъютанта выезжал далеко вперед для изучения местности.

Утром показался конный турецкий отряд. Суворов выслал против него сотню казаков, а как только союзные войска сблизились — перешли в общее наступление. Завязалась кровопролитная схватка. В конце концов турки отступили за реку Путну.

Совершенно стемнело, дождь лил ливня, когда русский отряд подошел к реке.

Суворов приказал наводить мост, что при вздувшейся реке было делом нелегким. К тому же турки открыли неумолкаемую стрельбу.

Солдаты работали молча и спешно. Наблюдавший за работами Суворов шутил с солдатами и всячески ободрял их. Спокойствие русских поражало молодого фон Франкенштейна.

— Наши солдаты тоже не трусы,— говорил он Суворову,— но в их поведении в бою нет того спокойствия, той уверенности, какие я вижу у русских. Наш храбрый солдат пренебрегает опасностью, а ваш—вовсе ее не видит, или, вернее, опасность не считает опасностью... Наш солдат, наводя под пулями мост, работает нервно, поспешно, ваш же работает скоро, но спокойно, он уверен в своей работе, как уверен и в победе.

Суворов улыбался, слушая оценку молодого иностранца.

— Люди все, более или менее, одинаковы, дорогой Александр,— отвечал он,— или, по крайней мере, рождаются одинаковыми, различными же делает их воспитание. Солдата нужно воспитывать так, чтобы он чувствовал себя сильнее врага, и тогда только, когда вы привьете в нем это чувство, он действительно станет непобедимым, тогда у него явится и спокойствие и уверенность в бою...

Молодой офицер вздохнул.

— Легче быть храбрым, чем умным и умелым начальником, для того чтобы воспитывать солдат в вашем духе, нужно научиться, как это надо делать. И я благодарю Бога, что он исполнил заветное желание моей матери и дал мне с первых дней моей боевой службы такого великого учителя..

Мост к полуночи был готов. Карачай перешел его со своими гусарами, а за ним двинулся и русский корпус.

Перейдя реку, союзные колонны в боевом порядке двинулись к городку Фокшанам, до которого оставалось 12 верст, но турки начали упорно преследовать их конными атаками. Особенно налетали они на корпус Суворова, но русские батальоны, обстрелянные в турецких войнах, встречали неприятеля хладнокровно, близким огнем.

Отражая атаку за атакою, войска подошли к фокшанским укреплениям.

Не более 1000 шагов оставалось до турецких редутов, из амбразур которых грозно глядели пушечные жерла.

Суворов перекрестил молодого фон Франкенштейна и поцеловал его в лоб.

— Настала решительная минута,— сказал он.

Затем он обратился к солдатам, громким, казалось, не свойственным его маленькой, невзрачной фигурке голосом:

— Ну, ребяташки, чудо-богатыри, кинбурнские герои, три четверти дела вы сделали, всех турок загнали в реду-ты, теперь осталось самое легкое — всех их сразу и уничтожить...

— С Богом, вперед! — и, перекрестившись, он дал шпоры коню.

Ураганом бросились солдаты за своим любимым начальником, и фон Франкенштейн не успел оглянуться, как какая-то волна внесла его в турецкий ретраншамент... Колонна на штыках ворвалась в окопы, и в них уже шла рукопашная схватка.

Австрийцы смешались с русскими, и чувство соревнования доводило солдат до иступления...

Не выдержали турки такой яростной атаки и побежали во все стороны.

Янычары засели было в монастыре св. Стефана, находившемся вблизи турецких укреплений, но попытка их защищаться была безуспешна. Суворов окружил монастырь с одной стороны, принц кобургский с другой, и в конце концов храбрые защитники пали до одного под развалинами монастыря.

Бой продолжался 10 часов; войска были очень утомлены, но победа маскировала их усталость.

Оба военачальника съехались, сошли с лошадей и крепко обнялись. Их примеру последовала и свита, всюду слышались взаимные поздравления и пожелания.

Там, где час тому назад раздавались громы выстрелов и победные клики союзников, где лились потоки крови, — запылали теперь костры, живописными группами теснились солдатики, перемешавшись с австрийскими товарищами. Усталость не замечалась, и русский солдат, охотник попеть и поплясать на досуге, в песне воспевал теперь свои подвиги.

Что не сизый орел на лебедушек
Напускается из-за синих туч,
Напускается орлом батюшка
На поганых, на турок нехристей
Сам Суворов, свет батюшка.

Заливались солдатики, оглашая молдавские равнины прославлением своего начальника.

Пока войска готовились к обеду, принц кобургский приказал разостлать на земле ковер, и здесь, за наскоро поставленным обеденным столом, сошлись военачальники.

— Мой вчерашний поступок поразил ваше высочество,— говорил Суворов за обедом принцу.— Усердно прошу меня извинить и поверить, что у меня были основательные причины избегать встречи с вами до боя.

— Сами вы, ваше высочество, только что сказали, что согласились на мое предложение только потому, что опасались, чтобы, в противном случае, я не увел свои войска обратно. Что бы было, если бы мы встретились? Я доказывал бы необходимость наступления; вы — обороны. Мы бы непременно заспорили и все время провели бы в прениях, в дипломатических, тактических... ваше высочество меня загоняли бы, а неприятель решил бы наш спор, разбив тактиков.

Суворов говорил с таким добродушием и юмором, что принц хохотал от души.

— Могу ли я сердиться на вас, мой дорогой, мой несравненный учитель,— говорил он, горячо пожимая руку своего русского товарища.— Ведь вы, одни только вы принесли нам победу и научили нас, как побеждать.

— Если вашему высочеству угодно утверждать, что я принес победу, то позвольте поблагодарить вашего храброго офицера, который привел всех к победе и всю тяжесть боя вынес на своих плечах.— При этом Суворов встал и подошел к австрийскому полковнику Карачаю.

— Вот кому обязаны мы победой,— сказал он восторженным тоном, обнял и расцеловал полковника.

Благородным признанием заслуг союзника и подчиненного Суворов тронул сердце молодого полковника.

— Ваше превосходительство,— сказал он со слезами восторга на глазах,— его высочество называет вас учителем, позвольте мне называть вас отцом.

Суворов еще раз горячо обнял Карачая.

— Сегодняшний день для меня счастливый день. Сегодня я приобрел в рядах доблестной австрийской армии двух сыновей,— сказал Суворов, беря за руки Карачая и фон Франкенштейна.

Юный поручик с восторгом поцеловал руку старого генерала. С восторгом делился он с товарищами своими впечатлениями о русских солдатах.

— Сколько в русской солдатской семье привлекательного,— говорил он с жаром.— Сколько мужества и спокойной храбрости, храбрости естественной, без театраль-

ных поз и эффектов. С каким стоицизмом выносит русский солдат невзгоды и довольствуется малым.

Суворов, в свою очередь, в лестных выражениях отзывался об австрийских войсках.

Кобург слушал, улыбаясь.

— Они, мои солдаты,— говорил он,— сделали уже вам оценку по-своему и дали вам прозвище...

— Хромой генерал? — спросил, улыбаясь, Суворов.

— Нет. Вас называют: «Генерал — вперед».

— Такое прозвище для меня дороже всякой награды... Помилуй Бог, мы друг друга поняли.

Обед уже кончался, когда прискакал от Потемкина курьер к Суворову с пакетом.

По мере того как генерал читал письмо светлейшего, брови его сдвигались и добродушная веселая физиономия принимала суровый оттенок. Подозвав Решетова, он дал ему прочитать письмо и затем отдал какое-то приказание... Хотя он говорил по-русски и шепотом, до слуха фон Франкенштейна донеслось имя маркизы де Риверо и название монастыря св. Самуила. Решетов быстро ушел исполнять приказания.

«Что бы это могло значить?» — мысленно задавал себе вопросы молодой поручик. Не находя ответа, он решил сейчас же после обеда разыскать маркизу...

На душе у него было беспокойно.

ГЛАВА XX

Батальон австрийской пехоты, выбив остатки турецкой армии из монастыря св. Самуила, расположился в нем на отдых.

Надо отдать справедливость австрийцам, они почтительно отнеслись к православному святыне и, прежде чем отдыхать, привели в порядок храм и уничтожили следы недавнего пребывания неверных.

На монастырский двор были перевезены денежные ящики и поставлены часовые. Командир батальона, убедившись, что все в порядке, готовился уже отправиться в занятую им келью, как ему доложили, что адъютант принца, поручик фон Франкенштейн, желает видеть арестанток.

Майор немедленно пошел навстречу молодому офицеру и сам провел его по темному коридору к одной из келий, у дверей которой стоял часовой.

— Здесь,— сказал майор.— Чертовски хороша, и не будь я комендантом, я первый способствовал бы ее побегу.. Положим, она шпионка, да много ли она принесла вреда, побили же мы турок, несмотря на ее шпионство.. Походатайствовали бы вы, фон Франкенштейн, перед принцем...

— Она арестована не принцем, а генералом Суворовым.

— Жаль... а впрочем, Суворов мне не начальник...

— Что вы этим хотите сказать?..

— То, что я могу, не опасаясь его гнева, быть более вежливым с маркизой и ее компаньонкой... Я сперва выделил ей арестантское помещение... Ну, а если она не наша арестантка — ее можно перевести в лучшее место, вот хотя бы в эту келью,— указал он на дверь.— Не хотите ли, посмотреть, поручик,— и он толкнул дверь.

Келья, куда вошли майор и поручик, была больше и светлее других.

— Здесь, вероятно, жил настоятель,— сказал майор, осматривая комнату...— Э... да здесь и потайной ход, даже и не прикрыт. Очевидно, монахи уходили по нему от забравшихся в монастырь турок...

Говоря это, комендант прикрыл отверстие в подземелье большой иконой, заменявшей дверь.

— Быть может, в подземелье остались уцелевшие турки?— спросил фон Франкенштейн.

— Вряд ли. Это подземелье нечто иное, как подземный ход, ведущий за монастырскую ограду,— отвечал комендант.— Впрочем, в этом можно убедиться.

Он открыл дверь и спустился по каменным ступенькам в темный сырой проход. Поручик последовал за ним. Долго они ощупью пробирались по сырому и темному коридору, пока не показалась узенькая полоска света. Полоска расширялась все более и более, наконец, солнечные лучи ярким снопом ворвались в подземелье.

Комендант и его спутник вышли в овраг, находившийся далеко за восточной стороной монастырской ограды.

— Видите ли, я вам говорил,— сказал комендант.

Оба офицера молча возвратились в келью.

— Как же быть? Это самая лучшая комната, но в ней подземный ход...— задумчиво говорил комендант...— Впрочем, ничего. Арестантка не догадается, что этот образ служит дверью. Я переведу ее сюда. А теперь не угодно ли вам, поручик, пройти к прелестной арестантке,— закончил комендант, провожая молодого офицера.

Когда дверь за вошедшим к арестанткам фон Франкенштейном закрылась, майор потер себе руки с довольным видом...

«Ну, теперь приобрел себе влиятельного друга... Он ей покажет дверь, я отвечать не буду, не могу же, черт возьми, знать потайных ходов монастыря, в котором состою комендантом два часа... а в результате, в благодарность он выхлопочет мне полк».

И довольный своею находчивостью, майор отдал приказ перевести арестанток в новую келью, как только адъютант принца выйдет от них.

В небольшой и мрачной келье два часа уже содержалась маркиза со своей компаньонкой; сюда ее доставил Решетов по приказанию Суворова.

Молодая женщина металась из угла в угол, осыпая проклятиями и судьбу, и сэра Эдуарда Уильямса.

— Боже мой, Боже мой! Что делать? — повторяла она бессознательно.

— Молиться, — методичным тоном отвечала компаньонка.

— Молиться?.. Не могу... молитва не идет в голову... я забыла все молитвы... о, проклятие... проклятый предатель.

— Молитесь, маркиза, — тем же методичным, но строгим тоном продолжала компаньонка. — Предательница вы, Бог вас и карает за это.

— Да замолчишь ли ты, проклятая немка! Тебе хорошо так рассуждать, тебя не ожидает виселица.

— И вас она не ждет, — раздался мужской голос. В дверях показался фон Франкенштейн.

— Вы меня желали видеть, что вам угодно? — спросил он деловым тоном.

Маркиза упала перед ним на колени.

Молодой человек поднял ее.

— Успокойтесь и скажите, что вам угодно.

— Спасите меня, спасите от позорной смерти.

— Смерть вам не угрожает.

— Если не смерть, то ссылка в Сибирь, на Камчатку... Это хуже смерти!

Молодой офицер молчал.

— Спасите, умоляю вас... Спаси меня, и я твоя, — вскричала с пылающим взором молодая женщина и обвила шею офицера руками.

С некоторым чувством брезгливости фон Франкенштейн отнял ее руки.

— Послушайте,— сказал он по-итальянски,— спасти я вас не могу. Я могу помочь вам бежать, но с условием: вы навсегда покинете пределы не только России, но и Австрии.

— Я на все согласна.

— Я дам вам средства как на дорогу, так и на первые годы вашей жизни.

Молодая женщина с жаром схватила руку офицера и хотела поднести ее к губам, но он отдернул ее с брезгливостью, не ускользнувшей от маркизы.

Молодая женщина в смущении опустила голову.

— Вас переведут сегодня в другую келью. Обратите внимание на большой образ в раме. Это дверь в подземный ход. Никаких пружин и ключей нет: стоит только раму потянуть к себе — дверь отворится. Как только стемнеет — откройте дверь и идите по подземному ходу, он выходит в овраг. Там я буду ожидать вас с лошадьми. Мой камердинер отведет вас до ближайшего города, а там вы найдете проводника, который проводит вас до границы. Пока до свиданья.

ГЛАВА XXI

В лагере союзных войск пробили вечернюю зарю...

С последним звуком горна на воздух взлетела ракета, и залп всей союзной артиллерии огласил окрестность. За залпом раздался новый залп, но более сильный, дрогнула земля, и тучи камней и кирпича понеслись в воздухе...

Все недоумевали...

Вскоре выяснилось, что взорвался монастырь св. Самуила...

В монастыре расположился австрийский батальон, и Суворов, стоявший со своим корпусом к монастырю ближе, чем австрийцы, поспешил с батальоном фанагорийских гренадер на помощь пострадавшим союзникам. Гренадеры беглым шагом направились к развалинам, они были уже совсем близко, как на дороге показался какой-то всадник, державший на руках другого, по-видимому раненого.

Суворов узнал в нем камердинера фон Франкенштейна. Сердце у старика дрогнуло, предчувствуя несчастье. Он дал шпоры коню.

Предчувствие его не обмануло. Слуга держал на руках своего раненого господина. Лицо молодого офицера было залито кровью, он был без чувств.

— Мертв? — спросил Суворов у камердинера.

— Жив, только ранен, кажется не опасно, — отвечал слуга.

Оставив четырех солдат, генерал отправил батальон к монастырю, а сам, уложив раненого на свой плащ, отправился на бивуак, присматривая за гренадерами, несшими молодого офицера.

Судьба решила покарать шпионку.

Едва маркиза в сопровождении своей компаньонки выбралась через подземный ход в овраг и готовилась сесть на приведенную фон Франкенштейном лошадь, как раздался оглушительный взрыв и туча камней взлетала на воздух.

В подвалах монастыря были большие запасы пороха, о них австрийцы не знали. Кашевар, собираясь варить ужин, отправился с факелом в подвал в надежде найти что-нибудь съестное, поджег нечаянно полуистлевшую рогожу, которой был прикрыт порох, и таким образом вызвал катастрофу.

Когда слуга фон Франкенштейна опомнился от испуга, он увидел своего господина и обеих женщин лежащими на земле.

Первым делом он бросился к своему молодому барину и увидел, что он жив, но ранен, обе же женщины лежали с раздробленными головами.

Маркиза была изуродована до неузнаваемости.

— Бог справедлив, — сказал, крестясь, набожный католик. — Он покарал грешницу...

И, взяв своего господина на руки, сел на коня и медленно двинулся в путь.

«Что же сказать в лагере? — думал он по дороге. — Скажу, что барин ехал навестить коменданта».

ГЛАВА XXII

— Рана не опасна, — сказал доктор, осмотрев офицера. — Череп цел, на коже только несколько царапин, рука слегка ранена... Потеря сознания... быть может, сотрясение мозга, быть может, контужен, — продолжал доктор вслух свои размышления.

— Сотрясение мозга! — с ужасом вскричал Суворов, не отходявший от раненого. — Да ведь это смерть.

— Все в руке Божьей,— невозмутимо отвечал доктор, разрывая на раненом рубашку,— бывает, что и от сотрясения мозга выздоравливают, а от простой лихорадки умирают.

— Я требую от вас определенного ответа, доктор.

— Что я могу сказать вам определенного, ваше превосходительство? Как добросовестный врач я могу лишь повторить выражение вашего любимца, Сократа: «Я знаю, что ничего не знаю».

— О проклятые «немогузнайки»,— вспыхнул Суворов, но доктор пожал только плечами.

— Одно я могу сказать положительно,— заметил он,— что этот молодец влюблен и что вот в этом медальоне— портрет его милой.— При этом доктор снял с шеи раненого золотую цепочку с медальоном. Цепочка упала на пол, и медальон открылся.

Суворов нагнулся, чтобы поднять его, и вскрикнул в ужасе:

— Боже мой, это он... это она...

Доктор в недоумении смотрел на генерала, глядели на него и из медальона точно живые глаза графини Стефании Бронской...

Старик бросился на колени перед постелью раненого, покрывал его бесчувственное тело поцелуями.

— Доктор, спасите его, ради Бога спасите,— умолял он врача и сейчас же со свойственной ему горячностью переходил от просительного тона к повелительному.

— Вы собственной головой отвечаете за его жизнь,— кипятился генерал, но доктор невозмутимо пожал плечами.

— Спасен, будет жив и здоров,— довольным тоном сказал он, видя, что раненый открыл глаза и тяжело вздохнул.

— По глазам вижу, что все обошлось благополучно, а могло бы быть и хуже... Вот теперь я могу сказать вашему превосходительству определенно,— весело тараторил доктор, но Суворов его не слушал. Вне себя от радости он со слезами на глазах целовал молодого человека.

— Ах, Александр, что я вынес в течение этого часа,— говорил он,— что я выстрадал, ты и представить себе не можешь... Ну, теперь все, слава Богу, прошло, поправляйся теперь поскорее... Ты мне теперь вдвойне дорог, ведь ты сын ее, сын моего друга.

— Вы знаете мою мать?

— Знаю, но об этом потом, теперь лежи спокойно, волнения тебе вредны...— Но хотя Суворов и считал волнения вредными для раненого, тем не менее сам был взволнован и тревожил его.

— Если бы ты знал, Александр, какой ангел была твоя мать! Вот оно предчувствие, недаром я так и любил тебя, любил как сына.

Молодой человек с жаром поцеловал его руку.

— Да, отныне ты будешь моим сыном, сын графини Бронской не может быть мне чужим человеком.

— Недостоин я, батюшка, вашей любви,— смущенно отвечал молодой человек.— Я поступил гадко, очень гадко... Вы арестовали шпионку, а я... я старался освободить ее. Я показал ей подземный ход...

Старик задумался.

— Так это ты,— сказал он строго.— Ну, что делать! Ты действительно поступил нехорошо, поддавшись влиянию доброго сердца. Не всегда можно быть добрым... Сам перст Божий наказал тебя. Покайся перед Всевышним, и я прощу тебя,— закончил он мягко.

— Надеюсь, тобою руководило только сострадание к несчастной?— спросил старик, немного помолчав, тревожным тоном.

— Клянусь, только сострадание.

— Верю и теперь спокоен,— отвечал Суворов.— Бог судил иначе, чем ты. Он наказал предательницу и ее сообщников: они все трое мертвы.

— Да простит ей Бог ее прегрешения,— набожно перекрестился молодой человек.— Она не столько преступна, сколько несчастна, батюшка, и фон Франкенштейн рассказал ее историю, равно как и предупреждение своей приемной матери.

Была глубокая полночь, когда уснул молодой человек, но не спал сидевший у его изголовья Суворов. Он весь погрузился в воспоминания, в минувшем он находил себе утешение и забывал безотрадное настоящее.

«Да, судьба...— думал он,— сына одной любимой мною женщины пригрела и воспитала другая... Ко мне судьба повернулась только спиною. Как бы я мог быть счастлив со Стефанией или Анжеликой—судьбе было неуютно. Видно, на роду мне написано быть бобылем... Наташа, милая моя Суворочка, ангел мой,— закончил он свои грустные размышления.— Не бобыль я, нет, у меня есть семья. Нет жены, зато есть дети, для них буду жить...»

И старик сел писать письмо своей ненаглядной Суворочке. Писал он ей долго и много, во всех подробностях изображал перипетии Фокшанского боя. Солнце взошло уже высоко, раненый проснулся свежим и бодрым, когда Суворов заканчивал письмо. В эту ночь он не сомкнул глаз.

ГЛАВА XXIII

Фон Франкенштейн поправился скоро. Через два дня он был уже на ногах, хотя продолжал оставаться еще в русском лагере при Суворове. Всех поражала привязанность русского генерала к молодому австрийцу. Сорвавшиеся у Суворова слова «этот... это та» стали известны благодаря нескромности доктора и послужили темой пересудов, но как ни докапывались офицеры, как ни старались угадать причину сближения своего генерала с австрийцем, сближение это оставалось для них загадкой.

— А я разгадал эту загадку,— говорил довольным тоном молоденький офицерик в товарищеской среде.

— Коли отгадал, так говори,— спрашивали другие.

— Суворов Александр и фон Франкенштейн Александр. Когда с Франкенштейном я был вчера на охоте, я наблюдал его. Когда он разгорячится—по манерам вылитый Суворов. Да присмотритесь-ка хорошенько: у него и глаза суворовские...

— Эх ты, угадчик, попал пальцем в небо,— расхохотался старый майор. Смеху его вторили и другие.

— Это все равно как хохлы говорят: «В огороде бузина, а у Киеви дядько, ты мне полюбив, що на руки перстень...» Суворов и в Австрии-то никогда не бывал!

— Смейтесь, смейтесь, господа,— обижался молоденький офицер,— а почему фон Франкенштейн говорит по-русски так же, как и мы.

— А почему ты говоришь по-французски, как француз? Аль, может, и ты побочный сын Людовика Шестнадцатого?

Взрыв смеха окончательно сконфузил молодого офицера, но хотя товарищи и скептически отнеслись к его предположениям, тем не менее они стали темой частых разговоров среди офицеров.

Пересуды его не доходили ни до Суворова, ни до Франкенштейна. Впрочем, продолжались они недолго. Вскоре русский корпус возвратился к Бырладу, а австрий-

цы к Аджушу. Суворов и его приемный сын расстались, но ненадолго, так как судьба снова свела их на ратном поле. Как и прежде, фон Франкенштейн прискакал к нему гонцом от Кобурга с просьбой о помощи. На этот раз австрийский корпус был несравненно в худшем положении, чем прежде. Теперь ему угрожал со стороны Рымника сам великий визирь, под командой которого находились многочисленные войска.

Принц со дня на день ожидал атаки, а русские войска не прибывали. Ужасная дорога и ненастье делали передвижение затруднительным, и, как ни быстро двигались суворовские солдаты, не знавшие усталости, принц устал ждать, и он посылал к генералу гонца за гонцом.

Наконец 10 сентября русская кавалерия прибыла к австрийскому лагерю и с восторгом была встречена союзниками. Вскоре прибыл с пехотою и Суворов. К полудню весь русский отряд был уже на месте. Для Суворова разбили шатер и постелили сена. Но отдохнуть старику после утомительной дороги не пришлось.

Принц Кобургский, с нетерпением ожидавший прибытия русских войск, прискакал в русский стан и бросился к Суворову на шею.

— Дорогой друг, несравненный учитель, избавитель, — восторженно приветствовал принц русского военачальника.

Суворов, не любивший тратить напрасно времени, когда впереди предстояло дело, предложил Кобургу прилечь на сено.

— До вечера отдыхать, — начал он, — когда стемнеет — выступать, а утром — атаковать.

— Возможно ли? — удивился принц.

— Ничего нет невозможного, было бы желание и твердая воля.

— Только не в этом случае, у великого визиря войска множество, он в пять раз сильнее нас, ваши солдаты изнурены. Вместо атаки я предложил бы оборону.

— Может быть, у великого визиря войск в пять раз больше нашего, но он не сильнее нас. Сила не в числе, а в умении.

— Но и за численностью нужно признать некоторое значение.

— Не признаю никакого. У турок войска много — это и лучше. Я знаю турецкие порядки, обилие войск умножит и беспорядки среди них.

— Едва ли. Во всяком случае я признаю атаку невозможной.

— Если ваше высочество не решается на атаку, так я атакую турок собственными силами и разобью их,— уверенно и в то же время раздраженно ответил Суворов.

Принц хотя и принял слова русского коллеги за браваду, тем не менее, задетый в воинском самолюбии, больше не перечил. Было решено атаковать. Суворов снова увлек австрийцев в бой, снова, помимо их воли, повел к победе, победе славной, прогремевшей по всей Европе и сломившей главные силы турок.

Великий визирь наступал медленно, не торопясь. Он рассчитывал без труда управиться с австрийцами и был страшно поражен, узнав о присутствии Суворова. Сначала он не хотел верить, что Топаль-паша, как звали турки хромавшего Суворова, с австрийцами. На уверения пленного казачьего офицера, что Суворов прибыл, великий визирь отвечал, что пленник ошибся, что Суворов умер от ран в Кинбурне. Поверил только тогда, когда турецкий лазутчик заявил, что сам видел Суворова и ручается за верность сообщения головою.

— Что же мне делать?— растерянно спрашивал визирь, в испуге роняя перо.

Душевное настроение начальника передалось и его подчиненным. Таким образом, одно имя Суворова уже способствовало победе.

Однако нелегко далась победа союзникам. Турки дрались с упорством отчаяния. Семь раз бросался Карачай в атаку и семь раз был отбит. Суворов подкрепил его двумя батальонами, и турки были наконец вытеснены со слабого пункта в войсках союзников.

Каждую пядь земли приходилось брать с боем, каждую пядь турки отстаивали упорно.

Рытвины, овраги, даже лес преграждали путь союзникам к турецким позициям, но препятствия эти еще более усиливали энергию нападающих и не спасли обороняющихся.

Ураганом влетели союзные колонны в ретраншементы, и здесь уже пощады никому не было. Дрались живые, дрались раненые, дрались умирающие. Не выдержали турки, побежали к Мартинешти на р. Рымнике. Визирь, желая остановить бегущих, приказал собственной артиллерии стрелять в них картечью, но и это не помогло. Страх турок был так велик, что они, не помышляя о защите, бежали без оглядки. Победа была полная.

ГЛАВА XXIV

Более 15 тысяч турок лежало на полях Рымника и в Крынгумейлорском лесу. Бой был упорный, а потому пленных оказалось мало. Австрийцы с трудом верили победе... Нелегко она далась союзникам, были моменты, когда Кобург отчаивался в успехе, но в такие минуты в самом опасном месте появлялся Суворов и личным своим примером увлекал сражавшихся.

Боготворившие его солдаты теперь окружили его ореолом праведника.

— Теперь праведнику Бог может даровать такую победу над супостатом,— говорили они, а многие утверждали, что собственными глазами видели в разгаре боя архистратига Михаила, щитом своим прикрывающего их любимого вождя и огненным мечом поражающего неверных.

— Ну, братцы,— говорил старый унтер, увешанный медалями,— лгать не буду. Чего не видел — не скажу, а что видел, то — правда, головой поручусь. Как подошли это мы напоследок к окопам, как брызнули турки на нас картечью, так и скосили ряды, потом в другой, третий раз... ух!.. и теперь жарко становится, как вспомнишь... Не много, братцы, нас осталось, да и те легли бы, не пошли Бог чуда... Гляжу, откуда ни возмись, точно с неба свалился, какой-то всадник на белом коне, а сам с головы до ног в красный плащ укутан... Прямо к батюшке нашему, Александру Васильевичу. Нагнулся к нему, что-то сказал, замахнулся на турок рукою и бросил камешком в окопы... Крикнул нам генерал: «Не робейте, ребятушки, с нами Бог!», и бросился в ретраншемент, красный всадник не отстает, все с ним... Не знаю, что на турок нашло, только они ошалели и залпа нового не дали... Ворвались мы в ретраншемент, а что там дальше было — вы знаете, только красного всадника я больше не видел... он точно рассеялся в воздухе...

— А и я, дяденька, видел красного,— подхватил молоденький рекрут.

— И я, и я,— вторили другие солдаты.

— Видел и я,— сказал молчавший до того времени седой гренадер.— Под командой Александра Васильевича я давно служу, почитай — с полковничьего чину, когда он еще в Польше полком командовал... Не раз я видал красного всадника, он всегда является тогда, когда батюшке нашему Суворову туго приходится... и всегда из беды выручает...

— Кто бы это мог быть? — недоумевали солдаты.

— Кто? — переспросил старый гренадер. — Святой благоверный великий князь Александр Невский, — закончил он с уверенностью.

На этом солдаты согласились, вскоре в русском корпусе говорилось об участии в бою св. Александра Невского как об истине непреложной.

Под вечер союзники расположились на отдых бивуаками под Мартинешти. Принц Кобургский, в сопровождении огромной свиты, приехал к Суворову. Молча бросились они друг другу на шею и крепко обнялись. Офицеры и генералы следовали примеру своих предводителей; взаимные приветствия, объятия и поздравления были тем искреннее, чем труднее далась победа. Суворов и на этот раз отличил перед всеми Карачая, назвав его истинным героем, больше всех других содействовавшим победе.

Принц в горячих выражениях благодарил Суворова.

— Мой добрый друг, мой милый друг, несравненный учитель, вы дважды привели меня к победе, — говорил он. — К моему благоговению перед вами присоединяется благоговение австрийской армии, которая с гордостью будет рассказывать на родине о своих подвигах под начальством вашим.

Принц в порыве благородной признательности преувеличивал. Австрийский корпус не был подчинен Суворову, бывшему чином ниже Кобурга.

Австрийский военачальник и его свита остались ужинать у Суворова. Возбуждение было так велико, что ели меньше чем говорили. Упорный бой вспоминался в мельчайших подробностях, говорили о всех мелочах, и за здравные тосты следовали один за другим.

К концу ужина возвратились казаки и арнауты, преследовавшие бежавших турок. Им удалось захватить богатую ставку визиря и взять в плен его адъютанта. Среди добычи оказалась и масса железных цепей, назначение которых для всех было непонятно.

— Спросить пленного, — приказал Суворов.

— Эти цепи предназначались для заковывания пленных австрийцев, — отвечал адъютант великого визиря.

Суворов засмеялся.

— Поторопились слишком, — сказал он, — или так в победе были уверены?

— Не было причин сомневаться, спокойно и с достоинством отвечал пленник. — В прошлом году мы два раза разбили австрийцев, почему же не ожидать было победы и теперь.

Свидетель этого разговора, принц Кобургский, покраснел.

— Да, но тогда генерала Суворова не было с нами,— промолвил он не без некоторого смущения.

На другой день Суворов собственноручно написал реляцию о бое, но Потемкин, извещенный уже о победе, не ожидая реляции, писал к нему: «Обнимаю тебя лобызанием искренним и крупными словами свидетельствую мою благодарность. Ты, мой друг любезный, неутомимо своею ревностью возбуждаешь во мне желание иметь тебя повсеместно... Если мне слава, слава, то вам честь, честь...»

Государыня была еще в большем восторге. В придворной церкви был отслужен благодарственный молебен при огромном стечении приезжих; архиереи говорили речи, императрица цитировала окружающим письмо Суворова, полученное его дочерью, где говорилось, что в самый день рымникской победы он очень много лет назад разбил Огинского.

Всегда щедрая государыня на этот раз особенно благоволила победителю, хотя главные награды были ею даны по совету Потемкина.

«Ей, матушка, он заслуживает вашу милость,— писал светлейший императрице про Суворова,— и дело важное: я думаю, что бы ему, но не придумаю. Петр Великий графами за ничто жаловал; коли б его с придатком Рымникский».

В следующем письме он просит государыню наградить Суворова Георгием первого класса.

Императрица пожаловала героя титулом графа Русской империи с прозванием Рымникского, распорядилась вручить ему орден Георгия I класса, бриллиантовый эполет и весьма ценную шпагу.

«Хотя целая телега с бриллиантами уже наложена,— ответила императрица светлейшему,— однако кавалерии Егория большого креста посылаю по твоей просьбе, он того достоин... осыпав его алмазами, думаю, что казист будет...» Но этим Екатерина не удовольствовалась и послала еще для Суворова бриллиантовый перстень.

Сообщая ему о монарших наградах, Потемкин писал: «Вы, конечно, во всякое время равно, приобрели славу и победы, но не всякий начальник с равным мне удовольствием сообщил бы вам воздаяние, скажи, граф Александр Васильевич, что я добрый человек, таким буду всегда».

Заслуги Суворова были признаны и австрийским императором, пожаловавшим ему титул графа Священной Римской империи. Принц же Кобургский был пожалован чином фельдмаршала.

ГЛАВА XXV

Прошел год после описанных событий. Дела изменились, Австрия вышла из союза.

С глубокой горестью Суворов простился с принцем Кобургским, в особенности горевал принц. Прощание их было самое сердечное. С дороги принц писал своему русскому другу:

«Моя полнейшая вам преданность, мой дивный учитель, не уменьшится никогда, ни от пространства, ни от времени. Я умею ценить вашу великую душу. Нас связали великие события, и я беспрестанно находил поводы удивляться вам, как герою, и питать к вам привязанность, как к одному из достойнейших людей в свете. Судите же, мой несравненный учитель, как тяжело мне с вами расставаться».

Заканчивая письмо, принц заверяет, что, несмотря на свою высокую должность фельдмаршала, продолжает состоять в его распоряжении и это послужит только к укреплению дружбы, которая родилась на Марсовом поле и окончится в полях Елисейских. «Одобрение целого света для меня не так приятно, — писал принц, — как ваша похвала, мой несравненный, уважаемый друг. Вам я обязан наибольшей долей своей боевой репутации».

Грустил и Суворов. Огорчала его разлука с принцем Кобургским, с которым он сблизился, печалило расставание и с фон Франкенштейном, который сделался для него дорог, как сын любимой женщины. Но пришлось покориться участи, и старик в первый раз в жизни стал желать скорого окончания войны. Кончится война, думал он, Наташа выйдет к тому времени из монастыря, возьму ее и поеду отдыхать к прекрасной графине Анжелике.

Война действительно окончилась быстро благодаря ему же, хотя мечтам посетить прекрасную графиню суждено было исполниться не скоро.

Суворов стоял со своим корпусом под Галацом и ожидал прибытия адмирала де Рибаса, чтобы совместно с ним и его флотилией начать действия. Адмирал же с генералами Гудовичем и Самойловым осаждали в это время Измаил.

На дворе стояла промозглая погода. Была середина октября. Топлива не доставало, солдаты мерзли и голодали, болезни косили их все больше и больше, и осада не подвигалась. Правда, войск было мало, а Измаил был крепостью сильной, первоклассной.

Потемкин ясно видел, что без Суворова не обойтись, и послал ему приказ принять командование осадным корпусом.

«Моя надежда на Бога и на вашу храбрость,— писал светлейший,— поспеши, мой милостивый друг... Много там разночинных генералов, а из того выходит всегда некоторый род сейма нерешительного... Огляди все и распорядись и, помоляся Богу, предпринимайте».

В то время, когда Потемкин посылал такое письмо к Суворову, генералы под Измаилом собрались на военный совет. Де Рибас попробовал было послать сераскиру предложение сдаться, но тот надменно отвечал, что не видит кому.

Потолковали генералы на совете, потолковали да и решили, что результаты штурма будут сомнительны, для блокады мало войск да и провианту, и разумнее отступить.

Такое решение совета Потемкин получил после отправки своего письма к Суворову и призадумался. Ответственность была слишком велика. Не желая брать ее на себя, он уведомил Суворова о постановлении совета, закончив свое письмо следующими строками: «Предоставляю вашему сиятельству поступать тут по лучшему вашему усмотрению, продолжением ли предприятия на Измаил или оставлением оно».

Предписание главнокомандующего о назначении Суворова под Измаил было получено там 27 ноября. Де Рибас, готовившийся в тот вечер отплыть к Галацу, остался, сообщив об этом Суворову, добавив: «С таким героем, как вы, все затруднения исчезнут». Между тем часть сухопутных войск уже выступила, осадная артиллерия тоже.

Электрическим током разнеслась по войскам весть о назначении Суворова, все ожили духом, подняли головы.

— Теперь Измаил будет взят штурмом,— с радостью говорили солдаты и офицеры, поздравляя друг друга.

Ожил духом и сам Суворов. Получив письмо главнокомандующего, он, больной лихорадкой, как будто выздоровел и немедленно отвечал: «Получа повеление вашей светлости, отправился я к стороне Измаила, Боже, даруй вам свою помощь». Приготовления его были

недолги и несложны. Приказав идти к Измаилу любимому своему гренадерскому Фанагорийскому полку, двум сотням казаков, 150 охотникам Апшеронского полка и тысяче арнаутов, распорядился заготовкою и отправкою туда же 30 лестниц и тысячи фашинов; сам выехал верхом с небольшим конвоем. С дороги он послал приказ генерал-поручику Потемкину (двоюродному брату главнокомандующего) вернуться с войсками к Измаилу.

Времени терять было нельзя, и Суворов, оставив свой конвой, с удвоенной скоростью поскакал к крепости.

ГЛАВА XXVI

Все Суворов обсудил,
Все взвесил и, готовясь к битве славной,
Учил солдат штыком владеть исправно,
Учил он рекрут, как простой капрал,
Нигде минуты даром не теряя:
Водил их через рвы и приучал
К огню, их в саламандры превращая;
По лестницам их лазить заставлял.

.
Убрав фашины алыми чалмами,
Приказывал солдатам он своим
Те чучела атаковать штыками,
Вступая в бой, как бы с врагом самим,
Он шел к победе разными путями.
Иные мудрецы, труня над ним,
Усматривали в этом лишь нелепость
Суворов прервал споры, взявши крепость...

Байрон (из «Дон-Жуана»).

Ранним холодным утром, 2 декабря, к русским аванпостам под Измаилом подъехали на казачьих лошадях два всадника. Один великан, другой маленький, худенький старичок.

— Здорово, чудо-богатыри! — крикнул старичок, как только подъехал к пикету.

Вздогнули солдатики, радостно засияли их лица, и бодро крикнули они ответ:

— Здравия желаем, ваше сиятельство!

Крик их подхватили на соседних постах, и стремительно пронесся он по всей аванпостной цепи.

— Наш батюшка Суворов приехал! — кричали солдаты, потеряв от радости и голову, и, забыв всякую внешнюю дисциплину, бежали гурьбой к нему навстречу.

— Батюшка, отец наш родной, истомились мы здесь без тебя! — кричали они на разные голоса.

В этой восторженной встрече ничего не было похожего на воинскую дисциплину, но красноречиво говорило, что никакая образцовая дисциплина не даст тех результатов, каких можно ожидать от солдат, так бурно, так искренне проявляющих свои чувства к военачальнику.

И здесь, как при Рымнике, одно только появление Суворова подготовило уже победу.

С батареи раздалась салютационная пальба. Пушечными выстрелами приветствовали вождя, приносящего с собою победу.

Генералы спешили навстречу к нему, а он, чье имя было уже прославлено и гремело по всей Европе, как синоним победы, скромно въезжал на казачьей лошаденке. Сопровождавший его сзади казак вез в небольшом узелке весь генеральский багаж. Но ни один полководец, въезжавший в стан на триумфальной колеснице, не был так горячо, так сердечно приветствуем, как Суворов, своими чудо-богатырями.

Едва поздоровался он с генералами, как сейчас же начал объезд войск. Радостным, солнечным лучом было появление его среди батальонов, начавших падать духом от бездействия и однообразной жизни впроголодь; все воспрянули духом, у всех были праздничные лица.

— Сегодня молиться, завтра учиться, а там и на штурм, — радостно раздавалось среди солдат любимое изречение Суворова, но, как оказалось, до штурма было еще далеко. Объехав войска, Суворов отправился осматривать крепость. Чем ближе он к ней подъезжал, чем внимательнее всматривался он в грозные ее бастионы, тем более хмурилось его чело, тем беспокойнее становился его взгляд.

Вот он объехал почти всю линию стен и в глубокой задумчивости остановился против каменного бастиона Табия. Турки осыпали его градом пуль и картечи, но Суворов не замечал ни выстрелов, ни опасности. Он стоял в глубокой задумчивости, почти в оцепенении. Было отчего задуматься.

Измаил была крепость сильная, первоклассная. За его грозными стенами собралась многочисленная неприятельская армия, усиленная гарнизонами капитулировавших крепостей. Армия эта будет сражаться не на жизнь, а на смерть. Ей другого ничего не остается делать, так как в случае неудачи ее ожидает гнев султана и массовые казни.

Командует армией Айдос-Мехмет, старый боевой опытный генерал. Все это взвесил Суворов и задумался. Штурм представлялся теперь ему не таким легким, как вначале; и в сердце старого воина шевельнулось опасение за его воинскую славу, за боевую репутацию... выдержат ли они теперь это тяжелое испытание.

Долго стоял в задумчивости старый воин, наконец тяжелый вздох вырвался из его груди:

— Победа или смерть! — воскликнул он с энтузиазмом. — А я жить хочу... я еще полезен армии, — закончил он свои размышления и, осенив себя крестным знаменем, повернул коня к лагерю.

Когда генерал снова проезжал среди солдат, на лице его не было следов недавнего его волнения. Он был весел и шутил с солдатами.

— Объезжал я, ребяташки, всю крепость, — говорил он солдатам. — Рвы Измаила глубоки, стены высоки, а все-таки его нужно взять. На то воля нашей царицы-матушки.

— Возьмем, отец наш родной, возьмем, ваше сиятельство! — радостно кричали солдаты.

В их кликах не было тени хвастовства, в них слышалась твердая уверенность. И немудрено.

Солдат, привыкший соединять имя Суворова с победой, считавший его непобедимым, посланным самим Богом на поражение врагов веры Христовой, не мог допустить мысли, как можно не взять под его командой какой-либо крепости.

— Не только Измаил, Царьград возьмем с тобой, батюшка, — с восторгом кричали солдаты. — Под Кинбурном куда было хуже — и то разбили поганых. А Туртукай, Гирсово, Козлуджи, — раздавалось со всех сторон. Так ветераны, старые сподвижники героя, вспоминали дни былой воинской славы и в воспоминаниях этих обретали твердость и черпали уверенность в успехе настоящего.

Совершенно успокоенный возвратился Суворов в приготовленную для него землянку, но не для отдыха. Сейчас же он собрал военный совет; собрались не только все генералы, но и бригадиры.

В землянке царило гробовое молчание.

Суворов обвел всех испытующим взглядом, казалось, он хотел проникнуть в душу каждого, узнать, что в ней творится.

Его пристальный, полный огня взор магически действовал на собравшихся военачальников.

— Господа,— начал он громким голосом,— только что я объехал все войска. Солдаты в отчаянии. Они боятся за свою былую славу. Отступление считают позором и полны уверенности, что не только Измаилу, но и десятку таких крепостей не устоять перед победоносными воинами российскими... Я состарился в боях и до сих пор не знавал ретирады. Ретирада и позор одно и то же... Неужели теперь, на старости лет, военный совет предложит мне запятнать позором мои седины?

— Никогда! Штурм,— крикнул с энтузиазмом бригадир Платов.

— Штурм, штурм,— раздалось со всех сторон.

Через 15 минут всеми генералами было подписано постановление военного совета, которым отступление от крепости признавалось постыдным для победоносных российских войск.

Штурм был назначен на 11-е число.

Не знал устали Суворов, не знали ее и солдаты.

С утра и до вечера в русском стане кипела неустанная работа: возводились брешь-батареи, обучались войска.

Чтобы турки не могли заметить, далеко за расположением войск были вырыты рвы, насыпаны валы, и Суворов учил солдат переходить рвы, по лестницам взбираться на стены, колоть штыками и преодолевать всякие препятствия.

Наконец близился день штурма. Суворов отправил коменданту письмо Потемкина, в котором светлейший предлагал сдаться, обещая целостность имущества и безопасность жителям. К этому письму Суворов прибавил и от себя записку: «Я с войсками прибыл: 24 часа на размышление — воля; первый мой выстрел — уже неволя; второй выстрел — смерть, что и предоставляю сераскиру и старшинам на рассмотрение».

Комендант отвечал, что 24 часа — короткий срок, что он просит 10 дней, в течение которых испросит разрешение великого визиря, а на это время просит заключить перемирие.

Прекрасно понимал Суворов, что предложение это нечто иное, как уловка. Турки не раз к ней прибегали, и прибегали удачно, но теперь они ошиблись. Под Измаилом был не Потемкин и не принц Кобургский.

Штурм было решено не откладывать.

Красным пламенем горели бивуачные костры в сыром туманном воздухе; от костра к костру переходил Суворов, беседуя с солдатами, вспоминая старые походы и победы, всюду внося уверенность в завтрашнем успехе.

Добрался он наконец и до казачьих сотен.

Дрогнуло сердце у старого закаленного воина при виде казачьего вооружения.

Укороченные пики и ничего больше.

Понимал он, что трудно сражаться таким оружием с хорошо вооруженным противником, но лучшего оружия взять негде. Армия плохо обмундирована, плохо вооружена, артиллерия почти без снарядов...

Но задумываться было нельзя, да и некогда.

Солдаты не должны были видеть его беспокойства, и не видели.

К плохому вооружению казаков он отнесся с шуткой.

— Донцам-молодцам и пик по настоящему-то не надо,— говорил он смеясь,— они и кулаками с турками управятся.

— Управимся, батюшка, ваще сиятельство,— с уверенностью отвечали станичники.

Обойдя войска, он не возвращался в землянку.

Душно казалось ему в блиндаже, и он остался ночевать у одного из костров, возле которого собралась многочисленная свита, иностранцы и многие из придворных.

Генерал не разговаривал ни с кем и был погружен в раздумье, молчала и свита, разговоры велись шепотом.

Близость торжественной минуты, казалось, чувствовалась всеми.

Наконец генералу доложили, что прибыл курьер с письмом от австрийского императора.

Старый воин оживился.

Оживление его возросло еще более, когда в цесарском курьере он узнал фон Франкенштейна, произведенного в штаб-ротмистры.

— Я не только курьером к вам, батюшка, но и волонтером,— говорил радостным голосом юноша.— Примите, дайте докончить военную школу, под вашим руководством начатую.

Старик со слезами на глазах обнимал молодого человека.

— О, как бы я хотел, чтобы ты всегда был при мне,— говорил он с волнением.

Письмо императора он повертел в руках, посмотрел адрес и, не распечатывая, положил его в карман.

— Не теперь, после... Теперь у меня голова готова лопнуть,— докончил он, обращаясь к фон Франкенштейну.— Завтрашний день ты будешь при мне, а теперь ложись и отдохни. Ты устал, а для завтрашнего дня нужны силы.

Но молодой человек не лег, как не лег и сам Суворов. Собрав генералов и начальников колонн, он вторично во всех деталях начал разрабатывать детали штурма...

Не спали в эту ночь и солдаты.

Было не до сна. В три с половиной часа ночи на воздух взлетела ракета — войска встали. По второй — построились, а по третьей — двинулись к Измаилу несколькими колоннами.

Турки подпустили близко атакующих и встретили их шквальным огнем, но войска не теряли времени. Быстро спустились они по лестницам во рвы и начали взбираться на стену.

Ночь и мешала атакующим, и сослужила им службу немалую. Она скрывала от них ту опасность, которая грозила им на каждом шагу. Солдаты действовали смелее и упорнее.

В короткое время колонна Львова завладела крепостною оградой, очищая ее от турок, но осажденные защищались отчаянно и подобно зверю, преследуемому охотником в его логовище, упорно отстаивали каждую пядь земли.

Правда, они обильно устилали своими трупами крепостные валы, но рядом с ними ложились и сотни русских. Львов был ранен, половина офицеров переранена и убита, а турки стояли крепко, им шли на подкрепление все новые и свежие таборы.

Но вот наконец удалось завладеть крепостными воротами, они открыты, и резерв атакующих врывается в крепость на подмогу своим обессиленным товарищам.

С прибытием резервов картина боя изменилась.

Подкрепленные батальоны снова начали овладевать оградой, захватили бастион, но комендант Измаила усилил защитников крепостной ограды свежими войсками, и они сами решились на вылазку.

Плохо досталось казакам, едва спустившимся в ров. Почти безоружные, они гибли под сабельными ударами турок.

— Ваше сиятельство, казаки во рву гибнут, — доносит Суворову ординарец.

— Послать туда батальон фанагорийцев и апшеронских охотников, — приказывает генерал.

— Ваше сиятельство, генерал Кутузов еле держится, — доносит другой адъютант, — дважды он оттеснял турок, а теперь сам прижат к валу, войск у него совсем мало.

— Скажи генералу Кутузову, что я назначаю его комендантом Измаила, — отвечает граф, и адъютант скачет с лестным известием, но без подкреплений.

Мало-помалу начинает светать, ясно обнаруживается неравенство сил, атакующие истощены, изнемогли, батальоны поредели, а неприятеля, как говорят казаки, видимо-невидимо.

— Теперь может спасти только одно присутствие духа,— сказал Суворов фон Франкенштейну.— Скачи, Александр, на левый фланг и скажи солдатам, что я отдаю им в полное распоряжение весь город, со всем имуществом, на три дня, а ты,— обращается он к другому адъютанту,— скачи на правый фланг и скажи то же самое.

Отдав приказание адъютантам, он рассылает ординарцев к начальникам колонн с приказом не врываться в город и не допускать грабежа, пока турки не будут сломлены окончательно.

Быстро развозили адъютанты и ординарцы приказания, и одно только имя Суворова магически действовало на изнемогших уже солдат.

Во рву между тем шла отчаянная схватка между турками и казаками. Несмотря на помощь гренадеров и апшеронцев, неприятель имел перевес... Минута, другая— и горсть храбрецов погибнет... Уныние, близкое к панике, охватило станичников... В то время, когда они уже готовы были бежать, на гребне вала показывается всадник на белом коне... Юноша весь в белом, с непокрытою головою, с развевающимися русыми кудрями, прекрасным лицом, озаренным лучами восходящего солнца, он прямо скачет на турок... в правой руке у него высоко поднятый меч, а в левой крест...

— Братцы, Георгий Победоносец! — крикнул один из станичников, увидев всадника.— С нами Бог! Ура!..

Взоры всех обратились на вершину вала, откуда чудный юноша спускался в ров.

— Братцы, он нас благословляет! Ура!..— и казаки, забыв всякую опасность, с яростью бросились на неприятеля.

Турки опешили. Они не ожидали такой перемены, да и белый всадник смутил их немало. Безумная отвага юноши подействовала на них деморализующе, а всадник, держа крест высоко над головою, рубил справа налево, прокладывая себе дорогу. Ошеломленные турки не защищались. Атаки казаков и гренадер делались все стремительнее и ожесточеннее, и через полчаса ров был в их руках, ни один турок не вернулся в крепость, все легли под ударами атакующих.

— Братцы, граф Суворов отдает город на три дня в ваше распоряжение,— кричит белый всадник победителям.

Казаки в недоумении.

— Да это австрийский адъютант генерала,— говорят фанагорийские гренадеры, увидевшие фон Франкенштейна.— Он с генералом и под Фокшанами и на Рымнике был...

Белый конь и белый австрийский мундир сослужили большую службу.

Молодой человек еще в начале боя сбросил с себя плащ, когда же поскакал исполнять приказания генерала, ветром сорвало с него шляпу и рассыпало по плечам его русые кудри. Он объехал уже левый фланг, когда заметил критическое положение казаков и помчался к ним. Он не разбирал дороги и скакал по трупам, валявшимся грудками.

Среди убитых были и раненые. Он слышал их стоны и мольбы, но что мог сделать... Вдруг из груды трупов приподнимается обезображенная фигура в священнической рясе и умоляюще протягивает к нему крест.

— Спаси святыню,— жалобно молил умирающий полковой священник.

Молодой человек моментально остановил коня и, спрыгнув на землю, преклонил колени.

— Благослови, благочестивый отец,— сказал он, с благоговением принимая святой крест и целуя подающую его руку.

— Именем Всевышнего, благословляю тебя... Сим победиши...— слабым голосом проговорил умирающий и упал бездыханным.

Религиозный юноша в благословении священника увидел благословение Божье. С чувством глубокой веры в помощь Божию вскочил он на коня и с высоко поднятым крестом помчался на турок...

«Сим победиши...» — звучали в его ушах слова умиравшего.

Слова священника сбылись. И крест Господень повел к победе, победе полной, славной. Ураганом ворвались казаки в крепость. Не выдержали турки напора такой стихийной силы и начали отступать в город.

Приказание Суворова исполнялось в точности: солдаты не зарились на добычу и не покидали строя. Тесным кольцом русские войска сжимали турок, которые упорно отстаивали каждую пядь земли. Завязался упорный бой, перед которым ночной штурм был ничто. Каждая площадь превратилась в поле сражения, взятие каждой улицы, каждого переулка стоило русским войскам сотен

смертей и увечий. Летели пули, ручные гранаты, летели и камни. Большие дома и гостиницы превратились в крепости, которые пришлось штурмовать с помощью лестниц, выламывать ворота или разбивать их пушечными выстрелами.

Но упорство турок не могло уже изменить положения дел. В город вступили уже все резервы, и к 1 часу дня он был в русских руках.

Комендант Айдос-Мехмет не пережил этого дня. С двумя тысячами янычар засел он в гостинице, но ненадолго. Фанагорийские гренадеры выбили ворота, и после непродолжительной, но кровопролитной рукопашной схватки янычары сдались.

Их вывели из гостиницы и начали обезоруживать. Богатый кинжал Айдос-Мехмета очень понравился пробежавшему мимо егерю, и он выхватил его из-за пояса паши. Один из янычаров выстрелил, но промахнулся и попал в офицера, отбиравшего оружие.

В суматохе выстрел был принят за проявление вероломства, и разъяренные солдаты ударили в штыки. Почти все янычары легли на месте. Айдос-Мехмет умер от 16 штыковых ран. Офицерам с трудом удалось спасти часть Мехметовой свиты.

К 4 часам пополудни все было кончено.

Двукратная неудача под Измаилом, невзгоды осадного времени, крайнее озлобление солдат вследствие дорого доставшейся победы — все это сделало измаильский штурм в высшей степени кровавым. Солдаты расшвыряли; под их ударами гибли все: и упорно обороняющиеся и безоружные, и женщины и дети; обезумевшие победители криками поощряли друг друга к убийству. Офицеры не могли удержать их от бесцельного кровопролития и слепой ярости. Наряду с убийством повсеместно шел грабеж. По улицам и площадям валялись груды человеческих трупов; лавки, гостиницы, богатые дома стояли полуразрушенными, внутри было все разбито, разломано, приведено в полную негодность...

Кутузов, назначенный еще во время штурма комендантом, вступил в исполнение своих обязанностей. В важнейших местах расставил он караулы, разослал по городу патрули, а Суворов между тем писал Потемкину: «Нет крепче крепости, отчаяннее обороны, как Измаил, падший перед высочайшим троном се императорского величества кровопролитным штурмом. Нижайше поздравляю вашу светлость».

ГЛАВА XXVII

Всю ночь, до утра, раздавалась трескотня ружейных и пистолетных выстрелов. Всю ночь шел грабеж.

Наутро одна из площадей была очищена от трупов, на ней собрались войска, был отслужен благодарственный молебен, и «Тебе Бога хвалим» заглушалось орудийными выстрелами салюта.

Суворов, в парадном мундире, объезжал войска, хвалил их за храбрость и именем императрицы благодарил героев.

Особенно трогательна была встреча его с любимыми фанагорийскими гренадерами. Они служили в главном карауле. Суворов отправился к ним, поздравил с победой, хвалил их храбрость, мужество и бесстрашие.

— Жить и умереть хочу с вами, чудо-богатыри,— говорил он в восторге, вызвав из рядов одного из гренадер и обнимая его.

В городе был устроен обширный лазарет, куда свозились раненые, а тела убитых русских воинов были вывезены за город и преданы христианскому погребению.

Турецких трупов оказалось двадцать девять тысяч, предавать их земле не было никакой возможности, и их бросали в Дунай.

Несколько дней очищали городские улицы от мертвых тел и попутно грабили дома.

Солдаты не знали, что делать с награбленным добром, и продавали его за бесценок.

Суворов, по обыкновению, ни до чего, добытого грабежом, не дотронулся, отказавшись от всех представленных и поднесенных ему вещей. Гренадеры привели к нему чудного коня в богатом уборе, прося взять на память о славном дне, но и от этого старый воин отказался.

— Донской конь привез меня сюда, на нем же я и уеду,— сказал Суворов.

— Теперь донскому коню тяжело будет везти вновь добытые вашим сиятельством лавры,— заметил один из присутствовавших генералов.

— Донской конь всегда выносил меня и мое счастье,— отвечал Суворов.

— Наш Суворов в победах и во всем с нами в паю, только не в добыче,— говорили солдаты, боготворившие вождя.

Девять дней провел Суворов в Измаиле, приводя город в порядок. Победа праздновалась и солдатами,

и офицерами. На другой день, после молебна де Рибас давал обед у себя во флотилии, а через несколько дней Суворов обедал у генерала Потемкина.

Устраивались парадные обеды и для солдат. Музыка гремела с утра и до ночи, песни оглашали пустынные улицы.

Русский солдат любит песню, в ней он изливает свои и горе, и радость, в ней прославляет своих вождей и победы. И вот однажды, когда Суворов обедал со своим полевым штабом и генералами, под окнами его квартиры раздалась новая солдатская песенка о вороне:

Я летал, летал, полетывал,
По белу свету погуливал...
Я видел диво, диво дивное,
Диво дивное, чудо чудное:
Как наш батюшка Суворов-граф
С малой силой соколов своих
Разбивал полки тьмучисленные,
Полонил пашей и визирей.
Брал Измаил, крепость сильную,
Крепость сильную, заветную.
Много пало там солдатушек
За святую Русь — отечество
И за веру христианскую.
Я принес тебе и весточку.
Что твой милый друг на приступе
Пал со славой русска воина.

Старый генерал прослезился, слушая бесхитростное выражение солдатских чувств.

Не успел Суворов встать из-за стола, когда ему подали два письма. Одно было от принца Кобургского, в восторженных выражениях поздравлявшего с победой, другое от принца де Линя.

Принц благодарил Суворова за внимание его к сыну и писал, что графов было бы немного, если бы каждый из них сделал только сотую долю того, что сделал граф Рымникский, и что дружба такого человека приносит честь и служит знаком достоинства.

Поздравительные письма и послания сыпались со всех сторон, Суворов сделался предметом всеобщего внимания. Даже императрица, рискуя оскорбить Потемкина в его очаковских воспоминаниях, писала ему, что «почитает измаильскую эскаладу города и крепости за дело, едва ли где в истории находящееся».

В своем мнении императрица, конечно, руководствовалась тем леденящим впечатлением, которое произвели измаильские известия на врагов и недоброжелателей России.

Путь к Балканам лежит теперь перед русскими открытым; из Мачина все стали уходить, из Бобадача также; в Браилове, несмотря на двенадцатитысячный гарнизон, жители просили пашу не медлить со сдачей, как только русские покажутся.

Но русские показываться не думали. Суворов писал Потемкину, что предпринимать теперь что-либо в Браилове поздно, что надо усилить войска на реке Серете, что ему необходимо туда спешить.

Приведя в порядок расстроенные штурмом войска, занявшись организацией помощи раненым и возвращением в прежние жилища христианского населения Измаила, Суворов решил поехать на короткое время в Галац, а оттуда в Яссы с подробным донесением к главнокомандующему. День отъезда был назначен, и Суворов простился с войсками. Не думали ни солдаты, ни сам Суворов, что им придется расстаться надолго, что войну придется кончать без победоносного вождя.

Собираясь оставить Измаил, Суворов еще раз хотел взглянуть на крепость, покрывшую его имя неувядаемой славой. В сопровождении фон Франкенштейна он вошел на главный бастион и пристальным взором окинул стены и город.

— Да, на такой штурм можно пускаться только один раз в жизни,— промолвил он задумчиво и опустил голову на грудь. Такая задумчивость была не в характере живого, подвижного генерала, и, видно, причины ее были основательные. Фон Франкенштейн стоял возле своего приемного отца безмолвно, боясь нарушить ход его мыслей... А они... они обгоняли одна другую, производя в голове непобедимого воина сумбур.

«Вот точно как после Рымника,— думал Суворов,— голова словно лопнуть готова, вот-вот, кажется, сойду с ума».

И было отчего. Теперь он стоял лицом к лицу с роковым вопросом: быть или не быть?

Он все получил, все завоевал, что только было возможно. Одна мыслимая для него теперь награда — фельдмаршальский жезл. Но получит ли он ее? Вот вопрос, который так мучил Суворова. Он заслужил фельдмаршальское звание, но не всегда заслуги награждаются по достоинству.

Правда, до сих пор для него наград не жалели, сыпались они как из рога изобилия, но награды эти не мешали честолюбивому Потемкину. И граф и андреевский

кавалер, он все же оставался подчиненным Потемкина. Фельдмаршальское же звание приблизит его к нему, поставит его в равное положение. А потерпит ли это светлейший? Как ни думал над этим вопросом Суворов, а в конце концов рассудил, что главнокомандующий не потерпит возле себя равного, он и Репнина оттер от армии, боясь, как бы тот не попал в фельдмаршалы, и Румянцев благодаря ему жил теперь чуть не в опале под Яссами.

«Нет, от светлейшего мне ждать теперь нечего. Он может снисходить, но равенства никогда не допустит. Одна надежда теперь на матушку царицу. Из ее рук я получу фельдмаршальский жезл».

Бедный старик был в этом уверен, да и кто не был уверен, была в том уверена вся армия.

«Изменит ли он, по крайней мере, теперь свое обращение, перестанет ли теперь благодетельствовать и дарить халат со своего плеча,— продолжал думать Суворов.— А ведь принял,— сказал он вслух с саркастической улыбкой, вспоминая присланный ему в подарок вместо халата старый потемкинский плащ.— Принял, да еще поблагодарил.— И тяжелый вздох вырвался из его груди при воспоминании о тех письмах, какие он писал всесильному фавориту. На душе у него стало как-то гадко.— Боже мой, Боже мой,— думал он.— Истинных заслуг, знания, храбрости мало для достижения власти, нужно еще заискивание, угодничество. Как бы все это хотелось забыть, не помнить».

Но настойчивая память не дает забыть. И чем выше поднимается он в чинах, чем больше получает наград, чем известнее становится его имя, тем острее, тем больнее воспоминания. Как унизительны, как обидны для него все милости Потемкина...

«А все-таки ты их принимал и благодарил»,— смеется над ним кто-то незримый.

— Не для себя, для отечества, для славы своей родины!— желчно воскликнул старик, поворачиваясь к фон Франкенштейну.

Молодой человек смотрел на него удивленными глазами.

— Я только что припомнил всю свою жизнь, всю свою службу... Ты видишь вот эту картину смерти и разрушения,— указал он рукою на город,— среди этих развалин я мог бы найти себе могилу, таких случаев в моей жизни было немало, но горя они мне никогда не причиняли. Если и приходилось скорбеть, то о человеческих

страданиях, о вдовах и сиротах, но все это неизбежно; пройдут века, когда люди прекратят между собою войны. Но когда я вспоминаю другую сторону своей службы: главную квартиру, двор, грустно мне становится. Ты говоришь, что в бою я похож на орла, ну, а при дворе или при главной квартире знаешь на кого? Противно и говорить.

— Будь, Александр, таким же храбрым солдатом, но не будь никогда царедворцем. Там ты карьеры не сделаешь. При дворе нужны только три качества: гибкость, ловкость и вероломство. У тебя их нет.

— Подумаешь,— продолжал он, как бы размышляя вслух,— всесильные государи бессильны, чтобы искоренить эти качества среди своих придворных. И на троне есть тернии, а на нашем пути смертных как им не быть. Поедем, Александр,— и генерал быстро вскочил в седло. Казалось, он успокоился и повеселел.

Фон Франкенштейн сел на коня и поехал рядом с ним.

В Яссах между тем Потемкин готовил герою блестящую встречу. По улицам были расставлены сигнальщики, которым полагалось бы предупредить адъютанта главнокомандующего, в свою очередь долженствующего сообщить о въезде в город победителя светлейшему.

Но сигнальщика прозевали. Суворов въехал в Яссы поздно вечером на казачьей лошади в сопровождении фон Франкенштейна и казака, по обыкновению везшего его багаж. Его никто не узнал, и незамеченным проехал он на квартиру к своему приятелю, ясскому полицеймейстеру, у которого и остановился.

На другой день, утром, надев парадный мундир и засунув за шарф строевой рапорт, поехал он к главнокомандующему в старинной молдавской карете своего приятеля.

Из жителей никто и не подозревал, что в медленно плетущейся по городу колымаге едет победитель Измаила.

Однако адъютант Потемкина, зная причуды Суворова, увидев въезжавшую во двор колымагу, догадался и предупредил главнокомандующего. Потемкин с сияющим лицом вышел на крыльцо и встретил героя с распростертыми объятиями. Оба генерала дважды поцеловались.

— Чем я могу вас наградить, дорогой граф Александр Васильевич,— сказал он ласково, пожимая ему руки.

«И теперь тон протектора»,— мелькнуло в голове у Суворова. Он побледнел. Лицо его было строго, и резкая холодность звучала в его ответе:

— Ничем, князь. Я не купец и не торговаться приехал. Кроме Бога и государыни, никто меня наградить не может,— ответил он желчно.

Потемкин побледнел в свою очередь. Повернулся и пошел в зал. Суворов последовал за ним. Здесь он подал строевой рапорт, который Потемкин принял холодно. Оба военачальника молча рука об руку несколько раз прошли по залу, не будучи в состоянии выжать из себя ни слова.

Молча они раскланялись и разошлись.

Долго Потемкин задумчиво смотрел вслед удалявшемуся Суворову.

«За что, за что? — повторял он про себя.— Мало ли я ему благодетельствовал».

Недоумевал светлейший, ему и в голову не приходило, что не в благодеяниях нуждался славный витязь, гроза врагов, кумир воинов; ему нужна была справедливая оценка, воздаяние должного, а не милость всесильного вельможи, в которую Потемкин обрекал всякую заслуженную награду. В тот же день оскорбленный Потемкин написал императрице: «Если последует высочайшая воля сделать медаль Суворову, то этим будет награждена его служба при Измаиле. Но так как из генерал-аншефов он один находился в действии в продолжение всей кампании и, можно сказать, спас союзников, ибо неприятель, видя приближение наших, не осмелился их атаковать, то не благоугодно ли его отличить чином гвардии подполковника или генерал-адъютантом».

Полковником Преображенского полка была сама государыня, следовательно, назначение в этот полк подполковником для всякого почетно, но не более того. Отличия этого удостоивались обыкновенно старые заслуженные генералы. Таких было уже десять, Суворов являлся одиннадцатым. Государыня понимала, что продолжительная служба и взятие штурмом крепости с уничтожением неприятельской армии — две несоизмеримые заслуги. Она сама видела, что любимец ее кривит душой и поступает нечестно. Но... ей пришлось делать выбор, и она назначила Суворова подполковником Преображенского полка, приказала выбить в честь его медаль. Офицеров измаильского корпуса наградила золотыми крестами, а солдат серебряными медалями.

Недоброжелатели и завистники радовались, все прочие недоумевали...

Обо всем этом он узнал уже в Петербурге, куда поехал из Ясс после свидания с Потемкиным.

ГЛАВА XXVIII

У графа Салтыкова давался бал, на котором собралось все высшее петербургское общество.

— Что-то запоздал граф двух империй,— говорил озабоченно хозяин дома в кругу близких людей,— уже не заболел ли?

— Есть отчего заболеть! — мрачно заметил один из генералов.— Рымникский Измаил взял, а Таврическому все почести воздаются.

— Так всегда бывает,— вздохнула хозяйка дома, графиня Салтыкова.— На себе, мы с мужем, это не раз испытали. Обожжешь руки, вытаскивая из огня каштаны, а поедят-то их другие.

— Но все же с графом Александром Васильевичем поступили несправедливо. Фельдмаршальский жезл-то он заслужил во всяком случае,— говорили гости.

— Фельдмаршальский жезл не уйдет от него,— вставил молчавший до того времени Безбородко.— Рано ли, поздно, а Суворов понадобится. Суворовых у нас немного. Годом позже, годом раньше, а быть ему фельдмаршалом.

— Так-то оно так, да теперь старику обидно,— заметил хозяин дома.

— Согласен, но и Александр Васильевич отчасти виноват,— отвечал Безбородко.

— Как так?

— Как? Гм... я вам расскажу, господа, наш хохлацкий анекдот. Дело было под Полтавой или да же в самой Полтаве. Была там старая-престарая и богатая церковь. В притворе висели иконы, а на стене нарисован черт, соблазняющий человека. С рожками, хвостиком, с копытами, ну совсем такой, каким черту быть надлежит. Ктитор был человек набожный. Как придет, бывало, в церковь, станет в притворе на колени, помолится усердно на образа и поставит по свечке, а потом повернется к черту. «А тебе на вот»,— и покажет кукиш. Терпел черт, терпел, надоели ему наконец кукиши, говорит: «Я же тебе отплачу, собачий сын». И отплатил. Приходят однажды в церковь, смотрят: ни сосудов, ни риз, ни денег, ничего... вся церковь обворована. Искали, искали—нигде нет. Не украл ли ктитор? Пошли к нему и все отыскали на чердаке. Побелел несчастный, клянется, что ему подбросили, а ему и говорят: «А ключи от чердака зачем у тебя?» Ктитора посадили в тюрьму,

а чердак пока опечатали, да еще часового приставили. Сидит ктитор в тюрьме, горькими слезами заливается. Откуда ни возмись сам черт. «А что, будешь шиши показывать?» Понял тогда ктитор чертову проделку и взмолился: «Чертик, голубчик, прости, никогда больше не буду...»

Смиловался черт и говорит: «Ну, ладно, будешь на свободе, только коли свечей мне ставить не хочешь, так кукишей хотя не показывай».

Пообещал ктитор. На другой день все были удивлены. Чердак ктитора опечатан, часовой стоит, а на чердаке хоть шаром покати. Церковное имущество и деньги опять в церкви, на прежнем месте. Поохали, поохали да и выпустили ктитора.

С тех пор как придет, бывало, ктитор в церковь: сперва Богу помолится, свечу поставит, а потом к черту повернется и в пояс ему поклонится... И пошла с тех пор поговорка: «Бога моли, да и черта не гневи». Так-то, господа.

После минутной паузы в зале раздался взрыв неудержимого смеха.

Все поняли анекдот хитрого и остроумного Безбородко.

— Не мешало бы его рассказать графу Рымникскому перед поездкой его из Измаила к светлейшему, — заметила хозяйка дома, — был бы он теперь фельдмаршалом.

— Ну что делать, на будущее время он будет, наверно, подражать моему ктитору, — отвечал, смеясь, Безбородко, — а вот и он, легок на помине...

В зал входил граф Александр Васильевич Суворов с только что вернувшейся из Смольного дочерью Наташей и фон Франкенштейном.

Многие из петербургского общества помнили еще прекрасную графиню Анжелику Бодени, княгиню фон Франкенштейн, и приемный сын ее встретил в свете прекрасный прием, чему немало способствовала также близость его к Суворову.

Появление Суворова было встречено гостями с восторгом, хотя среди них и были завистники и недоброжелатели обойденного героя, но они должны были подчиниться общему настроению, а настроение это было в пользу графа, тем более что хозяин дома, граф Салтыков, имел на него виды и прочил ему в зятя своего двоюродного брата.

— Недолго мне осталось жить в Петербурге, — говорил он хозяйке дома, поздоровавшись с нею и гостями, —

на днях уеду либо в Москву, либо в деревню. И без того три месяца здесь промаялся. Суворов, видно, уже не нужен больше,— с горечью говорил старик.

— Полноте, Александр Вильевич, зачем так мрачно смотреть, турецкая война еще не кончилась, поговаривают о коалиции против французов, а вы говорите, что Суворов больше не нужен. Конечно, вас мало ценят, но...— графиня замаялась.

— Я сам виноват, графинюшка.

— Нет, не то. Я хотела вам попенять... Государыня пожаловала графиню Наталию Александровну во фрейлины, поместила во дворце, а вы взяли ее к себе... вы думаете, государыне это понравилось? Она вам ничего не сказала, но осталась очень недовольна, а недоброжелателям это на руку. Суворов, говорят, пренебрегает царскими милостями... А государыня, сами знаете, хотя и очень умная, справедливая, но все же она человек, а главное, женщина... то есть с большим самолюбием,— закончила, улыбаясь, графиня.

— Нравы, нравы, дорогая графинюшка, не будь там Потемкина и его распущенности— живи себе на здоровье, а то ведь Наташа еще ребенок, долго ли ее погубить... а я, графинюшка, отец... ею одною только и живу; счастье мое, вся радость в ней, в моей Наташе, вот и посудите сами.

Графиня молча слушала своего гостя. Она соглашалась с ним, что нравы двора опасны для молодой девушки, но, глядя на танцующую контрданс графиню Наталию, тут же мысленно прибавила: «Только не для нее».

Маленькая, худенькая, не отличавшаяся ни красотой, ни представительностью, молодая графиня могла бы безопасно вращаться в придворном обществе; ее никто не заметил бы, никто не обидел бы. Много было красавиц, для тех потемкинские нравы были действительно опасны, но не для Суворочки.

Так мог рассуждать, конечно, посторонний, но не отец, для которого его ненаглядная Наташа была идеалом красоты и совершенства.

— Знаете ли что, Александр Васильевич,— прервала молчание хозяйка дома, вы человек, что называется, походный. У вас есть дома,— деревни, но нет оседлости... Молодая графиня связывает вам руки... выдайте ее замуж, а я и жениха подыщу,— закончила графиня Салтыкова, улыбаясь.

— Замуж! — испугался Суворов. — Помилуйте, дорогая графинюшка, Наташа еще совсем ребенок.

— Да, ребенок для своего отца, — улыбалась графиня, — в этом я не сомневаюсь... ведь ей шестнадцать лет... да посмотрите сами, вот она разговаривает с фон Франкенштейном. . Он, кажется, говорит ей комплименты... дети так не слушают.

Суворов глазами отыскал в зале свою дочь. Молодая девушка, полузакрыв глаза, по-видимому, с удовольствием слушала то, что ей с жаром рассказывал молодой человек.

Кровь ударила старику в голову. Он вздрогнул.

«Боже мой, неужели я просмотрел... Нет, этого не должно быть, — думал он, волнуясь, — они должны любить друг друга, как брат и сестра...»

Волнение гостя не ускользнуло от хозяйки дома. Она истолковала его по-своему. «Он и вправду считает ее ребенком», — думала графиня.

— Уверяю вас, Александр Васильевич, Наташа ваша не ребенок.

— Так будьте свахой, дорогая графинюшка, — отвечал старик. В голове его моментально созрел план совершенно противоположный тому, что был час тому назад.

— Смотрите же, не отказывайтесь.

Графиня ошибалась. Наташа была действительно еще ребенок, и то, что так испугало отца, говорило о ее ребяческом возрасте.

Молодой фон Франкенштейн, полюбивший Суворова, как отца, перенес любовь свою и на Суворочку. С нежностью любящего отца он заботился о своей названной сестрице и развлекал ее различными рассказами, а подчас и сказками, которые доставляли молоденькой графине особое наслаждение. И теперь он рассказывает ей одну из богемских сказок, где фигурируют и разбойники, и чародеи. Сказка доставляла Наташе большое удовольствие, и она слушала ее, забыв все окружающее...

Но веселое настроение молодой девушки продолжалось недолго. К ней подошел молодой подслеповатый, невзрачный гвардейский офицер и начал рассыпаться в любезностях.

Молодая девушка, потупив глаза, слушала его с видимым неудовольствием. Но вот раздались звуки вальса, она умоляюще посмотрела на фон Франкенштейна. Тот встал и пригласил ее.

— Я вас, кажется, понял, сестрица,— сказал он с улыбкою, сделав несколько па.

— Благодарю, на некоторое время вы меня освободили от несносного Салтыкова, но ненадолго, не могу же я все время его избегать... Ах, как мне хотелось бы уехать отсюда,— закончила молодая девушка со вздохом,— далеко, далеко отсюда... в ваши богемские горы, где живут добрые феи.

— Но ведь там живут и разбойники, сестрица,— смеялся молодой человек.

— Разбойников и в Петербурге немало,— отвечала серьезным, совершенно недетским тоном Наташа,— они только не грабят на больших дорогах... зато добрых фей здесь нет.

Не успели молодые люди сделать тур вальса, как молодой Салтыков снова вынырнул возле Наташи.

«Так вот почему графиня так пристает ко мне со сватовством,— думал Суворов,— глядя на ухаживания за дочерью подслеповатого Салтыкова, вот кого она прочит в женихи Наташе, ну нет, этому не бывать»,— решил он и пошел разыскивать Хвостова.

Отыскав его в одной из гостиных, Суворов взял своего племянника под руку, вышел с ним в соседнюю комнату.

— Если тебе будут делать намеки о замужестве Наташи— говори всем и каждому, что она еще ребенок и что о замужестве раньше как через два года и говорить нечего.

— Аль жених уже объявился?

— Кажется, молодой Салтыков.

— Что же, партия не дурна: отец его управляет военной коллегией.

— Наташе не с отцом жить, а с мужем, а какой он муж?— совсем плюгавый, слепой мальчишка.

— Ну, а если женихи найдутся получше?

— Все равно, рано, год, два подождать можно, а впрочем... там видно будет.

И, точно желая отогнать от себя назойливую мысль, старый воин отправился в танцевальный зал, и вскоре гости увидели победителя Измаила, несущегося в вихре вальса.

Шестидесятилетний старик в легкости и в ловкости не уступал и юноше.

Хотя он принимал живейшее участие и в танцах и в разговорах, тем не менее зорко наблюдал за дочерью,

только что начавшею выезжать в свет. Итогом его наблюдений был длинный разговор с Суворочкою по пути домой.

— Нравится тебе, сестрица, молодой Салтыков?

— Он мне противен, батюшка.

— Так ты с ним не церемонься, покажи вид, что его присутствие для тебя неприятно, он тогда и перестанет надоедать тебе своими любезностями... А что тебе говорил старый граф Уваров?

Молодая девушка покраснела.

— Глупости, батюшка, он обращается со мною как с девочкой...

— И прекрасно, голубушка, пусть думает, что девочка. А только руки своей целовать не давай... Как только заметишь, что какой старик намеревается поцеловать твою руку, покажи вид, что хочешь поцеловать его руку... С молодежью тоже будь сдержана. Избегай краснобаев, остряков, это люди большею частью нехорошие... Впрочем, теперь мы с тобою проживем вместе долго, еще будет время поделиться с тобою жизненным опытом.

Но старик ошибался. Он не знал, какой готовится ему сюрприз. Потемкин находился в Петербурге уже около месяца, и императрица собиралась праздновать измаильский штурм роскошным праздником. Присутствие Суворова на празднике Потемкину не нравилось, о чем он не преминул сказать государыне. Строптивного старика нужно было во что бы то ни стало убрать из Петербурга, и его убрали.

Празднество происходило во вновь подаренном Потемкину Таврическом дворце 25 апреля, и дня за три перед этим Суворову был вручен высочайший рескрипт, в котором ему предлагалось немедленно объехать всю шведскую границу и изложить свои соображения относительно ее укрепления.

Суворов понял значение этого рескрипта, вздохнул и немедленно приготовился к отъезду.

В то время, когда в залах Таврического дворца давался роскошный праздник в честь измаильской победы, виновник торжества скакал в чухонских санях и таратайках по ухабам и рытвинам Финляндии.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА I

Прошло около четырех лет со времени падения Измаила. Потемкин давно уже покоился могильным сном, его сменил граф Платон Зубов, но положение Суворова не изменилось. Видно, наветы светлейшего были живы в памяти состарившейся уже императрицы. Они заслоняли собою истинные заслуги и отодвигали в тень генерала, популярность которого была слишком велика не только в России, но и далеко за пределами ее.

Вторая война окончилась без Суворова, без него же началась и окончилась польская война, поведшая ко второму разделу Польши.

Особенной немилости Суворову не высказывалось, напротив, по случаю окончания польской войны ему были пожалованы: похвальная грамота, в которой перечислялись все заслуги полководца, бриллиантовый эполет, ценностью в 60 тысяч рублей и прислан орден Георгия 3 класса для возложения по его усмотрению на одного из штаб-офицеров, наиболее отличившихся во вторую турецкую войну.

Несмотря на все эти милости, его держали все-таки в тени. Почти два года проработал он в Финляндии над постройкой крепостей. Затем его послали в Херсон для укрепления черноморского побережья и турецкой границы.

Со свойственной ему горячностью Суворов принялся за возложенную на него задачу, но она оказалась не так легка. Проекты его одобряли, а денег на осуществление их не давали.

Попав в «Вобаны», старый воин не переставал бомбардировать Зубова и управлявшего делами военной коллегии Турчанинова письмами, в которых говорил, что он не Тучков (заведовавший в то время инженерной частью), а полевой офицер и зовут его не Вобаном, а Суворовым, по прозвищу Рымникским. Но письма не достигали своей цели. Полевого дела ему по-прежнему не давали, а заставляли генерал-губернаторствовать в Херсоне.

В Европе шла война: коалиция безуспешно действовала против республиканской Франции, в России затевалась своя война — в Польше вспыхнула революция, и старому солдату не сиделось спокойно на месте.

Дело в том, что осуществленный в 1793 году второй раздел Польши заставил поляков ужаснуться. Они увидели свое отечество на краю гибели, востребовались и решили во что бы то ни стало спасти его.

Многочисленные и влиятельные польские эмигранты, рассеянные по всем государствам Европы, поднимали своих соотечественников, поддерживали во всех патриотические чувства и жажду мести. Восстание было уже подготовлено. Не было только смелого человека, который дал бы толчок. Но такой вскоре нашелся.

Литвин по рождению, Фаддей Костюшко был даровитый человек с чистою, незапятнанною репутацией. С энергией горячего патриота он принялся за дело. Прибыв в марте 1794 года из-за границы, он поднял в Кракове восстание. Пожаром охватило восстание всю страну и начало распространяться за пределы Польши, в отторгнутые от нее, по второму разделу, области.

Суворов, начавший свою боевую службу в Польше, выдвинувшийся там же своими военными дарованиями, был уверен, что ему поручат командование войсками на западной границе. Так думали все, но все, как и Суворов, ошиблись. Императрица поручила действовать против поляков генералу князю Репнину.

Такое назначение удивило военных людей, знавших Репнина как медлительного, нерешительного генерала, ему приходилось действовать против энергичных, пылких, полных патриотизма польских войск, и никто не ожидал успеха.

Назначение Репнина тем более поражало военные круги, что еще не так давно императрица разговаривала

с Репниным о неудачно законченной союзниками кампании против Франции и, выслушав отзыв, что союзные генералы, отретировавшись, поступили мудро, ибо спасли свою армию — отвечала насмешливо:

— Не желала бы, чтобы мои генералы отличались бы такою мудростью.

Как ни критиковали назначение Репнина, но с ним мирились, как со свершившимся фактом, не мог только помириться Суворов и 24 июля послал государыне следующее прошение:

«Всеподданнейше прошу всемилостивейше уволить меня волонтером к союзным войскам, как я много лет без воинской практики по моему званию...»

Отправляя государыне прошение, Суворов написал о своем намерении и племяннику Хвостову, бывшему его поверенным. Граф в волонтерстве не находил ничего унижительною для своего чина и звания, так как и царственные особы нередко состоят волонтерами. В заключение он поручил племяннику сделать заем в 11 тысяч рублей у частных лиц и выслать ему копии с высочайших рескриптов и грамот.

Ранним утром, в конце августа 1794 года, к Херсону подъезжала тройка.

В почтовой телеге сидели фельдъегерь и купец средних лет.

— Уж как я вам благодарен, как благодарен, и сказать не могу,— говорил купец, обращаясь к фельдъегерю,— кабы вы не взяли бы к себе— не быть бы мне сегодня дома, а ныне жена у меня именинница. Не побрезгуйте хлеба-соли откусать, милости прошу на пирог, как только освободитесь у графа Александра Васильевича, пожалуйста к нам... Домик у меня вместительный, к тому времени и светелку вам приготовлю.

— Спасибо, родной, гостеприимством твоим воспользуюсь, а что, как у вас, графа любят?

— Да как же, почитай что каждый, не то что солдат, а наш брат купец, мещанин, жизнь готов за него отдать. Правда, начальник строгий, ни солдату, ни обывателю поблажки не дает, зато и заботится, как отец родной... Вот хотя бы три года тому назад от разорения спас и меня и других. Граф только что прибыл в Херсон укрепления строить. Ну, сейчас же заключил подряды с одним, с другим... Взял и я подряд. Материалов

заготовили, денег поизрасходовали немало, а тут из Петербурга бумага: денег, мол, в казне нет, чтобы все сразу строить; строить постепенно, а с подрядчиками контракты разорвать... Вишь, нашли их незаконно заключенными, а мы-то и материалы заготовили... Банкрот банкротом, да и только.

Что же сделал граф Александр Васильевич, дай Бог ему много лет здравствовать. Он заложил свои деревни, да из своих собственных денег возвратил всем все наши убытки, почитай, свыше ста тысяч рублей.

— Так-таки и заплатил? — удивился фельдъегерь.

— Так и заплатил. Правда, потом в Петербурге устыдились да и вернули ему деньги.

— Чудной он человек, — продолжал удивляться фельдъегерь, — на себя тратит не больше прапорщика, а тут сотнями тысяч швыряет.

— Да это не раз. При нем подполковник Курис состоит, так тот говорит, что если граф будет так помогать другим, как теперь помогает, то у него скоро у самого ничего не останется. Если бы вы знали, сколько инвалидов-пенсionеров на его счет живет... Тому сто рублей в год, а другому — триста, третьему двести, так и сыплет. А самому понадобятся деньги — занимает. До него в Херсоне от солдат житья не было. Больно уже обижали они нашего брата, а приехал — так солдатики шелковыми стали. Да и солдатам жилось не сладко; сотнями бежали к туркам, а почему? Командиры больно круты были, чуть какой пустяк — смотришь, всыпали бедняге двести палок. Граф-то, Александр Васильевич, жестокость эту повывел, ну и бегать перестали, да еще и бежавшие раньше стали с повинною назад приходить. Ну, а известно, повинную голову меч не сечет. Простил их граф, посмотрели бы, какие из дезертиров хорошие солдаты стали... первый сорт.

— Говорят, для комиссариатских граф гроза? — спросил фельдъегерь.

— Как вам сказать? Гроза он для воров, мошенников, кровопийц, а для людей хороших — он душа-человек. Если бы вы знали, что тут творилось? Грабили казну, что называется, среди бела дня, без зазрения совести. Приехал только что граф в Херсон, взял к себе ординарцем поручика Зыбина. Побыл там неделю или две, приходит к генералу и просится, отпустите, ваше сиятельство, в батальон.

— Разве у меня тебе плохо? — спрашивает граф.

— Помилуйте, ваше сиятельство, в роте у меня в год, почитай что, тысяча рублей доходу.

— Откуда?

— С мертвых солдат, ваше сиятельство.

— Как так?

— Солдат умрет, а я год или два из списков его не выключаяю. А на него идет и жалованье, и провиант, и амуничные, и одежда.

— Да ведь это преступление!..

— Помилуйте, ваше сиятельство, какое же это преступление, коли это с разрешения начальства. Ведь я половину отдаю полковому командиру.

Вот что здесь у нас прежде было, ну а теперь, слава Богу, быльем поросло. Все эти мерзости граф Александр Васильевич повывел... Да вот сами увидите, каков наш граф Александр Васильевич, только я должен вас остеречь. Страсть как не любит он слова «не могу знать». Что бы вас ни спросил, только не говорите: «Не могу знать». Хотя и взаправду не знаете — придумайте какой-нибудь ответ, только ответьте, а то осерчает. Что уж с подполковником де Воланом — строителем Хаджибейским — какие друзья-приятели, а намедни чуть до ссоры не дошло. Сидят это они за обедом и говорят о том, другом, граф все спрашивает де Волана. На один вопрос тот отвечает, а на другой говорит «не знаю». Если бы вы видели, как осерчал граф. Я тот раз у его камердинера Прохора был в буфетной, все слышал.

— Терпеть, — говорит, — не могу «немогузнаек». А де Волан в ответ ему:

— Что же, граф, не терпите меня, это моей работе не помешает.

Граф вскипятился пуще прежнего.

— Кто не знает, тот и работать не может.

— Не всегда, свою работу я знаю, а всего знать не могу, я не Бог, а впрочем, коли находите, что я дела своего не знаю — могу и в отставку, сегодня я вам пришлю прошение.

Опомнился граф и стал мириться:

— Конечно, — говорит, — человек не Бог, знать всего не может, а требую я ответа от подчиненных почему? Разве я не знаю, что на вопросы, на которые не умеют правильно ответить, врут. И пусть врут, да только умно, находчиво, чтобы я видел, что малый со сметкой нашелся... Для солдата находчивость великая вещь, вот я и приучаю подчиненных к находчивости.

— И ко лжи тоже, — ответил де Волан, — находчивый солдат хорош, спору нет, зато лживый — не доведи Бог иметь со лживым дело.

Генерал снова вскипел, снова заспорили, да как!.. Слушал, слушал де Волан крик графа, да как вскочит со стула, прямо в окно, и ну бежать к себе домой. Граф тоже в окно, за ним, догнал его на дороге и говорит:

— Полно сердиться, ведь приятели же мы с тобой, коли не прав — извини.

Помирились, вернулись дообедывать и смеются.

Смеялся от души и фельдъегерь.

— Чудной ваш граф, право.

— Чудной-то чудной, а только душа-человек. Все для друга и ничего для себя, и любят же его солдаты и офицеры, больше отца родного, да так-таки отцом и называют. Знают, что балует, балует, а когда нужно — такую острастку задаст, что жарко станет...

Совсем рассвело, было около пяти часов, когда почтовая тройка с купцом и фельдъегерем въехала в город. На повороте в одну из улиц купец вылез из телеги, еще раз поблагодарил фельдъегеря и взял с него слово быть на пироге.

— Я здесь живу, — указал он на угловой дом, — а вам прямо, ямщик генерал-губернаторский дом знает.

ГЛАВА II

— Ишь как заспался барин, — рассуждал, входя в спальню Суворова, его камердинер Прохор, — скоро уж пять часов, а ему хоть бы что, добро бы мне, ну, так я был пьян вчера как стелька... да и то не проспал...

— Ваше сиятельство, вставать пора... Ишь, и не слышит!.. Ваше сиятельство, Александр Васильевич, пора вставать, пять часов утра.

Но Суворов что-то проговорил и перевернулся на другой бок.

— Нет, тут, видно, добром ничего не поделаешь, — пробурчал Прохор и, схватив графа за ногу, начал тащить с постели. — Пора вставать, — орал он уже во все горло, — из Петербурга фельдъегерь приехал.

— Да отстань ты, окаянный, ногу оторвешь, — озлился проснувшийся Суворов.

— Сами приказывали тащить за ногу, коли вставать не будете, не по своей воле, — ворчал недовольным тоном Прошка.

— Ну да, тащить, а ты и рад совсем оторвать,— смеялся вскочивший уже на ноги граф. Увидя на столе небольшую тетрадку, он схватил ее и начал бегать по комнатам.

— Умываться, Проша, а я тем временем займусь арабским,— и он начал заучивать написанные в тетрадке арабские слова.

— Из Петербурга от матушки царицы фельдъегерь с письмом приехал,— говорил Прохор, окатывая барина ведром холодной воды.

— Что же ты мне, дурак, раньше не сказал, зови его скорее сюда.

— Как не говорить, говорил, да до того ли вам было.

— Ты у меня грубиянить, пьяная рожа!

— Был пьян, да не сегодня, а вот вы и пьяны не были...

— Пошел, скотина...

— Иду, иду... Хоша и крепостной, а все ж не скотина. Вот и поди, когда — Проша, голубчик, а когда и скотина,— ворчал Прохор, направляясь в переднюю, но Суворов его не слушал.

Он ждал с нетерпением курьера. Ответ на прошение, думал он. Какой?

С живостью схватив пакет государыни и поднеся его к губам, он сломал печать. По мере того как читал он царские строки, лицо его принимало сияющее выражение. Государыня писала ему: «Объявляю вам, что ежедневно умножаются дела дома, и вскоре можете иметь, по желанию вашему, практику военную много. Итак, не отпускаю вас поправить дела ученика вашего (принца Кобургского), который за Рейн убирается, по новейшим вестям, а ныне, как и всегда, почитаю вас отечеству нужным».

— Жив курилка, жив, ку-ка-ре-ку! — закричал вдруг Суворов, окончив чтение высочайшего рескрипта и обвиняя недоумевавшего фельдъегеря.

— Проша, голубчик, порадуйся! — кричал он вошедшему камердинеру. — Нас не совсем забыли, отечеству еще понадобились! — И старый генерал в одном белье, в туфлях на босую ногу, начал прыгать по комнате.

— Теперь и голубчик, а две минуты назад — пьяная рожа,— ворчал Прохор.

— Ну что ж, и пьяная рожа, сегодня на радостях, наверно, пьян будешь.

— Коли ваше сиятельство позволите,— уже более мягким тоном начал Прохор.

— Ты и без моего позволения нализешься. Слава Богу, знаю тебя не один десяток лет, не в один поход с тобой ходил... Смотри готовься к новому... Теперь долго здесь не засидимся.

Приказав угостить фельдъегеря и выпив наскоро чаю, он отправился осматривать инженерные работы.

— Кончать, кончать, чтобы ничего не оставлять недоконченного,— говорил он, идя быстрым шагом по направлению к берегу Днепра.

«Давненько здесь не был,— думал он,— подвинулась ли работа?». Но каково же было его удивление, когда он увидел, что добрая половина его приказаний не приведена в исполнение. Хорошего расположения духа как не бывало. Он грозно набросился на полковника.

— Виноват, ваше сиятельство, я приказал капитану Языкову, но он по нерадению не исполнил.

Суворов схватил валявшуюся на земле хворостину.

— Не вы виноваты,— сказал он с сердцем полковнику,— а вот кто,— и он начал хлестать хворостиной по собственным сапогам, приговаривая:

— Не ленитесь, не ленитесь, кабы не ленились да сами почаще ходили, все было бы сделано!

Сконфуженный этою выходкою, полковник покраснел и опустил голову.

— Виноват, без оправданий, ваше сиятельство,— говорил он.

Сорвав злость и видя смущение виновного, граф успокоился и отправился дальше.

По возвращении домой его ожидал сюрприз. Подполковник Курис, посланный им в Петербург по личным делам, возвратился и ожидал его с лестною вестью.

— Ну и наделали же вы, ваше сиятельство, переполоху в Петербурге своим прошением.

— Что так? — улыбался Суворов.

— Государыня была очень недовольна.

— А мне рескрипт прислала милостивый.

— Потом и граф Безбородко и Турчанинов убедили, что вы из ревности к военному делу, а то сначала обиделась. Говорит, что вы насильно хотите заставить ее назначить вас на польскую границу.

Суворов задумался.

— А потом обошлось?

— Обошлось, слава Богу, де Рибас изо всех сил старался выставить вас, как вы есть.

— Ну, а Наташа, Дмитрий Иванович, Груша.. здоровы?

— Слава Богу, здоровы, кланяются, я и письма привез.

— Ну, что говорят про графа Эльмта?

— Супруга Дмитрия Ивановича говорит, что какой же он жених, коли не православный.

— Дурит баба, да и только, не православный, а верато его христианская. Что ей еще нужно?

— Говорят, да и Дмитрий Иванович вторит, что князь Щербатов был бы лучшим женихом для графини Натальи Александровны.

— Князь Щербатов богат, и только. Взрачность не мудрая, но паче не постоянен и ветрен, чего в Эльмте не замечается. К тому же граф молод, полковник. Мать добродушна и скупа, тем они и богаты. Юноша тихого характера, с достоинством и воспитанием; лица и обращения не противного; в службе беспорочен и в полку без порицания; в немецкой земле лучше нашего князя; под Ригой имеет деревни.

— К тому же, говорят,— продолжал Курис,— рука у него больна.

— Вздор! Больна — поправится. Это от раны на поединке. Ну, а Наташа что говорит?

— Графиня Наталья Александровна, говорят, согласны, коли государыня разрешит.

— Отчего же ей и не разрешить, ну да об этом после. До обеда отдохни, а я пока прочитаю письмо.— И граф ушел в кабинет.

«Беда со взрослою дочерью, с женихами,— думал Суворов,— война теперь, война на носу, а она у меня еще не пристроена. Не могу быть спокоен, пока не устрою... Наташа правит моей судьбой...»

Замужество дочери за последнее время сделалось заветною мечтою старика, ей шел уже двадцатый год, а отцу шестьдесят четыре, возраст, как он и сам признавал, немалый.

Женихов подворачивалось много, но Суворов не хотел выдавать дочь, лишь бы отделаться от обузы, он желал ей счастья, и потому был разборчив, не гонясь за богатством и связями, требуя только от жениха нравственных качеств. Он отказал графу Салтыкову, зная, что отец его, управлявший военным департаментом, будет ему мстить, и действительно мстил. Сватался молодой

и богатый князь С. Н. Долгорукий. Суворов готов был выдать за него дочь, но узнал, что жених безбожник — и отказал. Подворачивался князь Трубецкой, единственный сын отставного генерал-поручика, владельца 7000 душ, но тот оказался мотом. Искал руки графини царевич Марианн грузинский, но отец не хотел отдавать дочь в дикую страну. Графа Эльмта рекомендовал ему П. И. Турчанинов, женатый на сестре графа; молодой человек понравился старику, а тут племянник Хвостов строит препятствия...

— Нет, этому не бывать, — решил Суворов, — коли Наташа не прочь — он жених.

В этом духе он стал писать письмо к Хвостову. Не успел он окончить письма, когда ему был подан пакет из Риги.

— Все делается к лучшему, — сказал, улыбаясь, старик, — дело зашло теперь так далеко, что им упираться больше нельзя.

Полученный пакет был письмом от старого графа Эльмта.

Молодой граф, видя, что его ухаживания принимаются благосклонно, написал об этом отцу, генерал-аншефу, а тот немедля послал к Суворову по-французски весьма любезное и вежливое письмо, в котором писал, что не колеблясь ни минуты дает сыну разрешение на брак с графиней Натальей Александровной и выражает свое искреннее удовольствие по случаю сделанного им выбора. «Все свидетельствует, — писал граф, — в пользу такого решения — происхождение, общественное положение, возраст и личные качества невесты, вместе с обоюдным сочувствием двух молодых сердец». Радость его, Эльмта, увеличивается еще тем, что он делается родственником старого друга, который своими блестящими качествами приобрел бессмертную репутацию и уважение всей Европы.

Суворов, дочитав письмо Эльмта, с которым был знаком давно, вздохнул с облегчением.

— Теперь я готов на войну, — спокойно воскликнул он с сияющим взглядом.

ГЛАВА III

Польская революция 1794 года, вызванная разделом Польши, подготовлялась весьма искусно и долго сохранялась в строгой тайне, но польский темперамент сказал-

ся... Нетерпением горели патриоты и не выдержали до конца, пока все будет организовано и подготовлено. Один из польских генералов выступил со своей бригадой из Варшавы, напал на встреченный им по дороге русский полк, разбил его, разбил и прусский полк, направился к Кракову, пополняясь по дороге мелкими польскими отрядами.

Костюшко, избранный народной радой главнокомандующим, видя, что восстание вспыхнуло, поспешил в Краков. Быстро организовав войска, он двинулся по направлению к Варшаве, по дороге напал на генералов Денисова и Турмасова, разбил их отряды, отняв несколько знамен и 40 пушек.

Быстро разнеслась по Польше весть о победе генералиссимуса над москалями, поднимая патриотизм населения и вселяя в него надежду на победу, на восстановление отечества.

Поляки не замечали ни вражьих сил, ни опасности, они только видели унижение своей родины и не жалели ни достоинства, ни жизни, чтобы только спасти ее от позора побежденного.

С быстротой молнии вспыхнуло восстание по всей Литве и Польше, грозя затянуться на долгое время.

Призадумался старый фельдмаршал граф Румянцев и, рискуя навлечь на себя неудовольствие императрицы, вызвал на театр войны Суворова. В нем одном он видел залог победы, скорое окончание войны. Получив предписание фельдмаршала, Суворов немедленно выступил в поход.

В Варшаве в описываемый период было сосредоточено до 8000 русских войск. Хотя в городе с виду все казалось спокойным, но в воздухе чувствовалась гроза...

— Быть буре,— говорил генерал Воропанов начальнику отряда Игельстрему.

— До бури еще далеко, для нас, по крайней мере, она не опасна. Мы слишком сильны для того, чтобы опасаться ее последствий.

— За себя я не опасаюсь,— отвечал Воропанов,— а вот за жену и дочь боюсь... Вы не знаете, что значит восстание черни... Она не ведает пощады, не разбирает ни женщин, ни детей...

— Вы преувеличиваете опасность, Николай Петрович. Восстания никакого не будет... Нужно, чтобы среди

поляков явился новый Самсон, разбил все наши войска, иначе Варшава не поднимется, ну, а в появление Самсона я не верю.

— Ваши соображения вытекают из логических рассуждений, а когда же толпа руководилась логикою? К тому же у меня есть некоторые основания предполагать, что в Варшаве затевается что-то недоброе... Вы знаете молодого графа Олинского? Этот благородный юноша, друг моей семьи, бывал у нас довольно часто, а теперь вот уже две недели, как не показывается...

— Не вижу никакой связи между готовящимся, по вашему мнению, восстанем и тем обстоятельством, что граф Олинский перестал посещать ваш дом.

— Вам, конечно, это обстоятельство ничего не говорит, а мне оно говорит многое. Молодой граф, как я вам сказал, благородный, честный, в самом широком смысле этого слова, юноша. Ни лгать, ни лицемерить он не может. Этим и объясняется прекращение его посещений...

— Все-таки я ничего не понимаю.

Воропанов нетерпеливо пожал плечами.

— Граф — в то же время патриот, он любит свое отечество, да если бы и равнодушно относился к судьбе Польши, то в силу своего общественного положения он не мог бы не принять участия в инсurreкционном движении. Даже если бы он и уклонился от участия, то про инсurreкцию не знать он не мог. Для графа, следовательно, предстоял выбор: продолжать бывать у нас, сохранять добрые отношения и не предупреждать о готовящейся опасности или же предупредить обо всем. Как благородный человек он не мог сделать ни того ни другого, следовательно, он вынужден был прекратить с моим домом всякие сношения.

Игельстром улыбался, слушая предположения Воропанова.

— Ваши опасения, дорогой, напрасны, повторяю вам. Варшава не поднимется, да если бы и поднялась, мы слишком сильны для того, чтобы усмирить строптивых.

— Как знаете, я вам свое мнение высказал. По-моему, предосторожность — мать безопасности.

— Все, что можно было сделать из предосторожности, я сделал: стянул войска; польские войска разоружаются, медлит и под разными предлогами оттягивает время один только генерал Мадалинский, но и тот на днях будет вынужден распустить свою бригаду... Не тре-

бовать же мне новых войск из Петербурга в то время, когда три четверти дела сделано.

Разговор этот происходил в квартире Воропанова, после обеда, в кабинете хозяина. Было начало Великого поста, и в Польше было еще все тихо. Имя Костюшко еще не было известно русским военачальникам, заговор держался в строгой тайне.

Поляки не выказывали недружелюбия, и только опытный взгляд, которым Игельстром не обладал, мог подметить в толпе какое-то особенное, приподнятое настроение.

Вежливое обращение варшавян с русскими как бы говорило: распорядитесь, господа, распорядитесь, не долго вам осталось здесь хозяйничать. Скоро и на нашей улице будет праздник.

Воропанов был наблюдательнее своего товарища.

В то время, когда в кабинете хозяина дома происходил описываемый нами разговор, Анна Михайловна Воропанова беседовала в гостиной с дочерью, красивой молодой девушкой восемнадцати или девятнадцати лет.

— Не понимаю,— говорила старая генеральша,— чего ради граф Олинский не кажет глаз. Я думала, не захворал ли он, нет, вчера видели его на Медовой улице, в экипаже... Не поссорилась ли ты с ним, Ниночка?

— Нет, я с ним не ссорилась,— грустно отвечала молодая девушка.

— Так чем же объяснить его отсутствие?

— Охота вам, мама, ломать над этим голову. Не ходит и не надо. Я и думать о нем забыла.

Мать недоверчиво взглянула на дочь и подавила вздох. Грустный вид девушки опровергал ее слова. Наверно поссорились, думала старушка, вот теперь и грустит. Мать угадывала правду только отчасти. Нина Николаевна Воропанова была грустна, но с Олинским не ссорилась. Ее, как и других, поражало то обстоятельство, что молодой граф, бывавший так часто у них в доме, вдруг перестал бывать безо всяких видимых причин. Долго молодая девушка ломала себе голову, стараясь объяснить поведение графа, и пришла наконец к печальному выводу: старый граф подметил чувство сына к русской и, опасаясь, как бы молодой человек не зашел слишком далеко, запретил ему посещать дом русского генерала. А он, как покорный сын, повиновался... А как еще недавно он говорил о своей горячей любви...

— Слова, слова и слова! — с сердцем воскликнула молодая девушка, топнув ногой.

Придя к такому заключению, Нина Николаевна решила больше не думать о графе Олинском. Но решить и исполнить не одно и то же. Чем больше она уверяла себя, что она не должна думать о легкомысленном, скверном мальчишке, тем больше о нем думала. Мало того, она желала знать, что делает вероломный, не вскружила ли какая красавица ему голову. Старая няня Ильинишна пришла своей милой барышне на помощь, и за молодым графом был учрежден негласный женский надзор.

До сих пор все наблюдения не имели никакого успеха. Хотя Ильинишна и уверяла, что крестник ее Степка как гончий ходит по пятам графа Казимира, но на след измены напасть не может. Никогда он не видел его ни с одной женщиной, а из тех дам, которые бывают в доме его родителей, нет ни одной молодой... Что-то принесет он сегодня? Ильинишна говорит, что Степан напал, кажется, на след. Вчера вечером у Казимира было назначено с кем-то тайное свидание... Пора бы ему было прийти...

Молодая девушка в беспокойстве вышла в сад. Стояла ранняя весна, деревья еще не распустились, и аллеи сада были еще сыры от недавнего снега. Молодая девушка не обращала внимания ни на сырость, ни на резкий ветер. Она углублялась в сад все больше и больше... Шорох в кустах привлек ее внимание. Она остановилась и стала прислушиваться. Голос был знакомый.

— Где пропадал так долго? — сердито спрашивала Ильинишна.

— Раньше никак не мог, крестная, — отвечал молодой голос с польским акцентом. — Ксендз задержал, уйти было нельзя, а то он стал бы подозревать.

— Какой ксендз?

— Э, да вы ничего не знаете, правда, я вам не рассказывал; некогда было... Встретил я как-то на улице ксендза Колонтая, он знал мою покойную мать, а потому и остановил меня и стал бранить за то, что я принял православие. Сперва я хотел было вспылить, а потом вспомнил, что Колонтай духовник графов Олинских, днюет там и ночует, думаю, ссориться с ним не следует... от его ругани хуже я не стану, пускай ругается. Дал ему отвести душу, а потом бух ему в ноги. «Прости меня, благочестивый отец, согрешил я, проклятый, и каюсь теперь, молод был, сирота, ну и сбили меня схизматики с толку». Говорю ему я это, а сам заливаюсь горячими слезами и полы

его кафтана целую. Вижу, ксендз мой ласковым становится. «Бог милосерд,— говорит он,— он кающуюся грешницу простил и тебя простит, покайся только и вернись в лоно святой католической Церкви».— «Ох, святой отец,— говорю я,— я осквернил святую Церковь, Бог не простит меня».— «Простит, покайся».— «Научите, святой отец».— «Что ты теперь делаешь?»— «Ребят малых учу грамоте».— «В свободное время приходи ко мне». Вот с тех пор я то у ксендза, то в лакейской графов Олинских. С камердинером молодого графа, с Яном, мы большие приятели. Он так обрадовался, что я перехожу в католическую веру снова, что не знает, где меня посадить, чем потчевать.

— Да ты с ума сошел, Степка,— озлилась старуха,— снова в католическую.

— Да вы, крестная, не сердитесь. Не сума же я переметная. Что мне ксендз, знаю я им цену, а Колонтаю в особенности, если бы я мог, я бы старого развратника в порошок стер, да не в том дело. Мне нужно было сделаться в доме графа Олинского своим человеком, а как было сделать это? Колонтай подвернулся и помог, а почему? Потому что я прикинулся кающимся грешником... Ну так вот, только не перебивайте меня, крестная, а то я путаюсь. Начал ксендз меня наставлять, доказывать, что наша вера, сто чертей ему в зубы, все равно что языческая, а католическая—божеская. Заставлял меня читать литании, а потом мало-помалу начал меня расспрашивать, бывал ли я у вас, знает ведь, что вы моя крестная. Я ему ответил, что я прежде бывал, а теперь перестану бывать и... вы уж меня извините, крестная, ругнул вас ксендзу в угоду, старой ведьмой назвал... Простите, ведь я не от сердца,— и молодой человек стал целовать руки старухи.

— Ладно, ладно,— отвечала Ильинишна,— зови меня хоть и горшком, в печь только не ставь.

— Ну вот, как сказал я, что у вас больше бывать не буду, а ксендз мне и говорит: «Напрасно, если хочешь, чтобы Бог тебя простил, ты должен заслужить это. Я накладываю на тебя епитимью, и доколе ты ее не выполнишь, святая Церковь не примет тебя в свое лоно».— «Что же я должен делать, благочестивый отец, научите меня».— «Господин твоей крестной русский генерал. У него бывают другие генералы. Сам знаешь, что они враги нашей отчизны, они строят против нас козни. Ты должен бывать у крестной почаще, узнавать,

что говорят господа, сам подслушивать и обо всем докладывать мне. Крестная, конечно, не должна знать, что ты вновь стучишься в дверь святой католической Церкви; в ее глазах ты должен оставаться схизматиком».

— И глуп же твой ксендз, коли поверил такому плуту,— сказала старуха.

— Нет, крестная, не глуп. Я так плакал, так рыдал, так каялся, по целым часам кшижем (крестом) лежал у распятия... так ругал русских... Видите, вот этот нож... я просил ксендза, чтобы он освятил его и благословил резать им русских.

— И что же, ксендз благословил?

— Нет, он сказал: «Подожди, время еще не пришло. Я скажу тебе, когда настанет время».

Нина Николаевна, слушавшая разговор из-за кустов, побледнела при последних словах молодого человека и схватилась за сердце... «Так вот до чего дошло,— думала она,— опасения отца основательны, один лишь Игельстрем ничего не видит и не хочет видеть...»

— Ну, так вот,— продолжал Степан,— с той поры Колонтай мне верит. Правда, я и тут соврал ему, сказал, что был у вас и слышал, что из Петербурга шлют еще новых солдат. Ксендз засуетился, написал записочку и приказал мне снести ее бывшему генералу Зайончеку. С тех пор он часто стал посылать меня, с записками, то к одному, то к другому, а чаще всего к старому графу Олинскому, с тех пор я стал там своим человеком. Как же, думаю себе, выследить мне графа Казимира? Думал, думал и надумал. Пили мы как-то с Яном пиво, я и спрашиваю его: — «Ян, ты любишь своего молодого пана?» — «Люблю ли? Да я жизни своей для него не пожалею». — «И я тоже,— сказал я,— ну, так коли ты его любишь, так должен оберегать. Случайно я узнал, что он влюблен в одну пани, фамилии ее только не расслышал, и что поганая пани эта хочет погубить пана графа. Стал я с тех пор следить за молодым графом, чтобы на случай беды быть при нем, да только что я один могу сделать? Я не всегда свободен, то у ксендза, то на посылках, а то на работе...» У Яна кружка выпала из рук, всего меня пивом облил, вытаращил на меня глаза, да потом как стукнет по столу кулаком и говорит: — «Не бывать тому, сдохну, а выслежу эту мерзавку». Вот с той поры мы с ним поочередно за молодым графом, как собаки, да ничего не выходит, никакой панны у него нет, а если и есть, то...

— Что то? — нетерпеливо спросила старуха.

— Слушайте. Вчера ксендз дает мне записку и говорит: Снеси пану графу Казимиру Олинскому», — а сам бледный и как будто бы дрожит. Пошел я с запиской, а самого так и подмывает прочитать, что в ней написано. Много раз носил я записки и ни разу не читал, а тут точно кто подбивает: прочти, прочти... Повертел я конверт, попробовал печать, смотрю, отстаёт, я осторожно и сорвал ее, не сломавши. Читаю; в ней несколько слов: «Сегодня, в 8 часов вечера, в костеле Марии Магдалины. Зайончек вас проводит». И больше ничего, даже не подписался... Ну, думаю, в костел, да еще на кладбище... Этот костел на старом кладбище, вероятно, не с дамами будет граф разговаривать... Виноват, в конце записки было приписано карандашом: «В маске, спросят: кто он? ответь — «пан Фаддей». Запечатал я осторожно конверт и снес графу Казимиру. Тот прочитал и тоже побледнел. Говорит: скажи пану «хорошо».

Пошел я поскорей к своему приятелю Яну. Посидели, поболтали, только граф зовет к себе Яна, а через минуты две выходит Ян и говорит: «Есть у тебя время?» — «А что?» — «Граф меня посылает с запиской, так я ему сказал, что если что понадобится, ты останешься». — «Ладно, ладно, иди». Ян ушел, я остался. Подошел к замочной скважине и смотрю, а граф бледный, бледный ходит по кабинету и сам с собою говорит: «Как быть, как быть?» — повторяет он, а потом что-то не по-нашему, а затем опять по-польски: «Не могу, не могу», кричит он и рвет на себе волосы... вынул потом из кармана маленький кожаный портфель и смотрит на какой-то портрет, все его целует, а сам плачет, а потом как застонет, точно его уколол кто и говорит: «О, отечество, отечество, дорого ты мне стоишь, как счастливы те, у кого нет отечества!» Спрятал портрет в карман, остановился перед большим портретом свсего деда, долго, долго на него смотрел, а потом и сказал: «Не бойся, дедушка, граф Олинский подлецом не будет, он разобьет себе жизнь, истерзает свое сердце, но не изменит отечеству». Сказав это, он быстро отошел от портрета, посмотрел на часы и сказал: «*Alea jacta est*», это значит: жребий брошен. Снял с себя кафтан, надел серую куртку, высокие сапоги, достал из шкафа черную маску, накинул на себя черный плащ и позвал меня.

«Скажи Яну, что он мне не нужен до двенадцати часов ночи».

Сказал, а сам ушел. На дворе совсем уже стемнело. Решил и я отправиться на кладбище к костелу св. Марии Магдалины. Место я знаю хорошо, пароль мне тоже известен, вот только бы добыть черную маску. Видел я, что граф держал в руках их несколько. Я, недолго думая, к нему в комнату, прямо в шкаф, вижу еще две маски и такой же черный плащ, как на графе.

Недолго думая, взял я и плащ, и маску, потом, мол, все Яну отдам, и решил было уж идти, да вспомнил, что граф Казимир все на какой-то портрет смотрел да плакал. Портрет в кожаном портфеле, а портфеля он с собою не взял. Долго колебался — положить ли его в карман или нет, потом как будто пересилил себя и сказал: «С нею — это богохульство» — и положил его бережно в стол.

Стол был не заперт, я осторожно выдвинул ящик, открыл портфель, и как же я был удивлен! Знаете ли, чей там портрет?.. вашей панны, Нины Николаевны, ей-Богу правда...

Слышавшая рассказ Степана Нина Николаевна чуть не вскрикнула, но успела совладать с собой. Чувство радости наполнило ее душу, но ненадолго. На смену этому чувству сейчас же явилось другое — опасение. Что за таинственные собрания с переодеванием, с паролем? Что за непонятные клятвы перед портретом деда?

Отец опасается, отец предполагает.

Но дальнейший рассказ Степана прервал размышления молодой девушки, она вся превратилась в слух.

— Окольными путями, — продолжал крестник Ильинишны, — добрался я до кладбища раньше других. Было без десяти минут восемь, но на дворе уже стемнело. Кладбище старое, никого там уж не хоронят, потому и сторожей почти нет, а тот, кто стоял у калитки, видя, что я смело иду, даже не спросил меня, кто я, но зато когда я подходил к столу, из-за могильных крестов, точно из-под земли, явились две фигуры в черных масках, с головы до ног укутанные в плащи. — «Кто он?» — спросил тот, что повыше. Я так и обомлел, голос был ксендза Колонтая. Но, знаете, я теряюсь редко, не потерялся и теперь. Изменил голос и отвечал: «Пан Фаддей». — «Пожалуйста», — отвечал ксендз и указал рукою на полуотворенную дверь склепа, что под костелом.

Спустился я вниз по каменным ступенькам, и грустно мне стало: точно в могилу попал, так и пахнуло на

меня могильным холодом. Весь большой склеп освещался одним лишь тусклым фонарем, возле которого на могильной плите сидел какой-то человек, тоже весь в черном. При моем появлении человек поднялся и пошел прямо на меня. «Кто он?» — спрашивает этот.

Черт возьми, думаю себе, и этот знакомый, башмачник Килинский. Что за оказия такая, что им тут делать? Генерал, граф, ксендз, башмачник... все одеты одинаково. Я уж начал догадываться, в чем дело. Килинский еще на прошлой неделе ораторствовал на базаре и предлагал вырезать всех русских, тогда над ним только смеялись и говорили «попробуй». «Что же, и попробую» — отвечал башмачник. Злой он человек, крестная, да и на человека не похож, волк волком.

— Ну, ну, продолжай, что же дальше было.

— Вот, как ответил я ему то же, что и Колонтаю, он отошел от меня и снова сел на могилу, я же под видом того, что осматриваю склеп, начал прохаживаться и выбрал себе такое местечко, откуда меня трудно было бы видеть, но чтобы я мог видеть и слышать других. Не знаю, сколько времени я просидел на корточках, прижавшись за маленькой плитой, но показалось мне очень долго. Только вижу, склеп мало-помалу наполнился людьми. И страшно мне стало, крестная, ну что, думаю себе, как Колонтай считал проходивших, да и оказалось, что по счету одним больше, чем следует, пропал я тогда. Собрались все и расселись на могильных плитах, смотрю, Колонтай начал считать... У меня сердце и оборвалось, пропал, думаю, начнут искать, отыщут, Колонтай и Килинский пощады не дадут, не такие люди. Наконец, Колонтай сосчитал и вздохнул. «Наконец-то сегодня все в сборе», — сказал он, и у меня на душе отлегло, сразу повеселел. Осел ты, осел, думаю себе, все в сборе... Еще раз вздохнул каноник, перекрестился и снял маску. «Мне она не нужна, — сказал он, — мне нечего бояться и не от кого скрывать своей любви к родине. Панове, час настал. Пан Фаддей Костюшко все медлил, а между тем к схизматикам, как я узнал из верных источников, идут из Петербурга новые войска... (Из верных источников, крестная, это из моего-то вранья...) Когда в Варшаве будет тридцать — сорок тыс. русских войск, действовать тогда будет трудно. Нужно действовать теперь же... Выслушайте, что скажет пан генерал Мадалинский, говорите, пан генерал...» Мадалинский встал с могилы, снял с себя маску и начал: «Мне она тоже не нужна. Слушайте,

панове, я до сих пор не распустил своей бригады, не сдал оружия Игельстрему, как другие»,— продолжал самодовольно генерал, покручивая усы, но продолжать дальше он не мог, в подземелье послышался сперва ропот, а потом страшный гам. Кто-то назвал Мадалинского хвастунишкой, другие нахалом, и пошла перебранка... То бранились обиженные Мадалинским генералы. «Перестаньте, панове, ссориться, теперь не до того. Пан Мадалинский оговорился, а панам генералам обижаться нечего. Иначе поступить они не могли, они сделали разумно, распустив свои бригады и сдав оружие русским. Все это до поры до времени. Продолжайте же, пан Мадалинский.— «Прошу меня извинить, панове, я никого не хотел обидеть. Итак, моя бригада в сборе. На рассвете я с нею выступаю к Кракову, по дороге соединюсь с другими, не распущенными еще нашими полками и ударю по русским. Это заставит пана Костюшко поспешить к нам, и тогда мы объявим русским, пруссакам и австрийцам форменную войну, а вы, панове, действуете уже в Варшаве».

Мадалинский замолчал, начал говорить Колонтай.

«Панове, как только прибудет в Краков пан Фаддей, Варшава должна подняться. Килинский,— обратился он к башмачнику,— у тебя все готово?» — «Все, пани ксенже, хоть сейчас». — «Видите ли, панове, Килинский говорить... на ветер на будет, простой народ у него готов. По его сигналу на русских нападут и перережут. Нам же нужно ему помочь... Народный ржонд рассчитывает на вас, граф Олинский, и на вашего сына». — «Я в полном распоряжении отечества»,— отвечал граф. «Ваш сын, граф Казимир хорошо принят в доме генерала Воропанова, его там все любят... Он попросит руки дочери генерала, ему не откажут...»

«Просить руки дочери и ковать козни ее родителям! Никогда!» — вспылил граф Казимир, вскакивая с надгробной плиты. «Молчи, пан, ты еще молод. Слушайся своего духовного отца и родителей»,— продолжал Колонтай.— Итак, граф Казимир сделает предложение и получит согласие, у вас, пан грабя, будет обручение... можете даже позвать схизматического попа, пригласите к себе всех офицеров и генералов, а солдатам пошлите в угощение несколько бочек водки и меду, да прикажите побольше подсыпать в них дурману... Когда солдаты перепьются, а перепьются они скоро, дурман хоть кого с ног свалит, Килинский сделает свое дело, а пан генерал Зайо-

нчек, будущий комендант Варшавы, арестует всех генералов и невесту с ее родителями».

«Дельно, дельно, умно, славно»,— слышалось со всех сторон.

«Не бывать этому никогда! — снова вспылел граф Казимир.— Я патриот, люблю свое отечество, но не подлец. С оружием в руках я буду сражаться с врагами отчизны, но подличать, быть предателем, никогда!» — «Молодец, Казимир, молодец,— раздалось одобрительно несколько молодых голосов.— Мы патриоты, но не разбойники, пан ксендз не на тех напал». — «Да замолчите же вы, мальчишки! — крикнул сердито каноник.— Пан грабя, урезоньте же вы вашего сына».

Но старый граф Олинский молчал.

«Я совершеннолетний,— начал снова граф Казимир,— урезонивать меня нечего. Повторяю публично: как солдат, я весь в распоряжении ржонда народового, но не как Иуда. Мне здесь больше делать нечего, прощайте»,— и пан Казимир скорыми шагами направился к выходу. Его никто не удерживал, только вижу, Колонтай переглянулся с Килинским. Тот что-то ощупал под плащом, встал с своего места и начал пробираться за графом. У меня сердце дрогнуло: быть беде, решил я и, недолго думая, направился за Килинским.

Граф скорыми шагами шел к калитке, а Килинский пробирался за ним как кошка, я не отставал от башмачника и готов был уже схватить его за шиворот, как он на повороте бросился с ножом на графа Казимира...

В кустах послышался душераздирающий крик и падение какого-то тела.

Ильинишна и Степан бросились в кусты, старуха вскрикнула в ужасе:

— Боже мой, барышня!..

ГЛАВА IV

Обморок Нины Николаевны был непродолжителен. Молодая девушка скоро пришла в себя.

— Убит граф Казимир? — спросила она, приходя в себя, стоявшего здесь же Степана.

— Жив, жив, целехонек,— быстро отвечал крестник Ильинишны.— Я вовремя успел схватить Килинского за шиворот. Бог силой меня не обидел, и не сладко

пришлось поганому башмачнику. Я так его швырнул, что он отлетел на несколько шагов и попал в старую провалившуюся могилу. Я еще бросил вслед за ним старый сгнивший крест и сказал: «Шей, подлец, башмаки на том свете, коли не хотел шить на этом».

— А граф Казимир?

— Целехонек, говорю вам, милая барышня; когда он увидел, что я спас его от злодея, спросил меня, кто я? Я и повинился ему и снял маску. Он сперва удивился, узнав меня. «Как же ты сюда попал?» Я рассказал ему, что мы с Яном решили его караулить, чтобы не стряслась какая беда. Граф пристально на меня все смотрел и сказал: «Спасибо, теперь пойдём домой». Как только вышли мы с кладбища, сейчас же сняли маски. Я повел графа кратчайшей дорогой, а он мне и говорит: «Смотри, никому не говори, что видел и что слышал,— а подумав немного, сказал:— А впрочем, как знаешь: можешь говорить или не говорить, это от тебя зависит. Хорошо бы, если бы этот мерзавец башмачник пропал бы там, в могиле. Лучше одному погибнуть, чем тысячам...» Сказал граф это и замолчал, так молча прошли мы всю дорогу, а когда подходили к дому графа, он и говорит: «Коли ты меня так любишь, как говоришь, так ты мне будешь верно служить, а верные слуги мне скоро понадобятся. Теперь прощай, иди к ксендзу, да смотри, чтобы он не узнал твоей проделки. Если ксендз будет посылать тебя с записками к генералам Зайончеку, Макрановскому или кому-либо другому, заноси их прежде мне, а теперь плащ свой отдай мне. Ян ничего не должен знать». Попрощался я с графом и пошел к себе, то есть к проклятому канонику Колонтаю, у которого живу уже вторую неделю.

Дома мне пришлось дожидаться пана пробоща. Домой он явился в первом часу ночи, злой-презлой. По комнате все ходил да ругался: и лайдаки, собаки... чего, чего он только не говорил. Видно, разругались они на тайном совещании.

Сегодня утром говорит мне: «Сбегай к Килинскому и скажи ему, чтобы к обеду зашел ко мне». Как ни хотелось, а делать было нечего, пошел. И рад же я был, как увидел, что собачий сын лежит в постели и охает. «Скажи пану пробощу, что не могу прийти, попал вчера ночью в яму и вывихнул ногу, встать не могу.»

Ксендз опять озлился, когда я принес ему ответ. «Теперь с этим история, опять задержка»,— пробурчал он сквозь зубы... Ксендз куда-то ушел, а я к вам, крестная, вот и весь мой рассказ.

— Обо всем этом нужно сейчас же доложить отцу,— заметила Нина Николаевна.

— Как обо всем,— засуетился Степан,— я думал, барышня, что вы только расскажете о совещании на кладбище, о заговоре; а о том, как я подсматривал за графом Казимиром, говорить не будете.

— Не беспокойтесь, об этом говорить не буду,— улыбнулась молодая девушка.— Даже попрошу вас не подсматривать, а следить за молодым графом Олинским, чтобы с ним какой беды не случилось, а то от Колонтия теперь следует ожидать мести.

— Уж будьте покойны, барышня.

— Ну, а теперь ты можешь идти,— сказала старуха Ильинишна,— и смотри, уведомляй нас почаще, а вам бы, Нина Николаевна, пора и в дом, а то, чего доброго, простудитесь.

Дочь застала отца в кабинете разговаривающего с Игельстромом.

— Что с тобою, Ниночка, на тебе лица нет.

— Ужасные вещи узнала, папа; в Варшаве существует заговор; готовят резню русских,— и молодая девушка рассказала все, что слышала от Степана о тайном сборище в склепе кладбищенского костела, умолчав, конечно, о графах Олинских и о предложении Колонтия устроить ее обручение.

Игельстром хохотал от души.

— Ну и плут же этот крестник вашей нянюшки, милая барышня, придумать такую фантастическую историю... кладбище, склеп, темная ночь, черные плащи и маски... словно из романа.

— Это не фантазия, генерал, а правда,— серьезно отвечала молодая девушка.

— И я склонен верить этому,— поддержал ее отец.

— Да помилуйте, какая же правда: вы говорите, что генерал Мадалинский собирается вести свою бригаду к Кракову, ну и я вам скажу, что вчера вечером, в то время, как вы говорите, происходило собрание заговорщиков, у меня был адъютант Мадалинского. От

имени своего генерала он просил меня прислать сегодня к нему офицера для приема оружия, которое бригада складывает.

Отец и дочь с недоумением посмотрели друг на друга, Игельстром, довольный произведенным впечатлением, от души смеялся.

— Нет, Николай Петрович, верна поговорка: «Что с воза упало, то пропало». Польше больше не воскреснуть. Ни Костюшко, ни трое Костюшек не могут.

Игельстром долго еще развивал свои мысли о будущности Польши, как денщик доложил о приходе капитана Громова.

— Вот кстати,— сказал Игельстром,— Громов, вероятно, уже принял оружие от Мадалинского и сам вам расскажет.

Но у вошедшего капитана выражение лица было далеко не спокойное...

— Ну что, приняли оружие? — спросил Игельстром.

— Ваше превосходительство, Мадалинский со своей бригадой и легкими пушками выступил еще на рассвете по дороге в Пултуск.

Физиономия у Игельстрема вытянулась.

— Что вы мне говорите! — вскричал он.

— Генерал Мадалинский выступил, ваше превосходительство, и оставил вам вот эту записку.

Ошеломленный Игельстром схватил записку. В ней были только две строчки. «Скоро мы с вами встретимся, генерал. Надеюсь, наши роли переменятся и не мне, а вам придется слагать оружие», — писал польский генерал.

— Негодяй,— пробурчал сквозь зубы Игельстром.

— Кроме того, ваше превосходительство,— продолжал капитан Громов,— еще неприятное известие. Только что из Пултуска приехал лютеранский пастор и рассказывает, что Мадалинский напал на шедший к нам наш полк, разбил его, отнял знамена и пушки...

Игельстром засуетился.

— Послать вдогонку за негодяями казаков... Денисова и Тормосова...

— По-моему, нужно безотлагательно арестовать ксендза Колонтая, Килинского и всех бывших польских генералов,— заметил и Воропанов.

— Арестовать?! Нет, эта мера слишком крутая, и на нее я без явных улик решиться не могу.

ГЛАВА V

После описанных нами событий прошло несколько недель. В Варшаве с виду все было спокойно, и, несмотря на то, что Мадалинский сильно увеличил свои войска за счет присоединившихся к нему мелких польских отрядов, разбил даже пруссаков, Варшава не поднималась.

На этот раз ее бездействие не успокаивало Игельстрема, он стянул все батальоны в одно место и расположил их казарменным порядком. Вблизи же казарм поместились генералы и офицеры со своими семьями.

Нина Павловна переживала мучительные дни. Граф Олинский не показывался, и молодая девушка никак не могла понять, как можно любить и обречь на гибель любимую девушку. Положим, он принес свою любовь в жертву отечеству, но ведь он знает о готовящейся резне, ей он не сочувствует... Почему же он под тем или другим предлогом не предупредит ее о надвигающейся опасности, не посоветует уехать из Варшавы?.. Она, конечно, не уедет, не оставит одного отца, но все же он должен был предупредить... «Нет, не о такой любви мечтала я,—заканчивала со вздохом молодая девушка свои размышления,—такая любовь мне не нужна, знать ее я не хочу!»

Более спокойное настроение духа царило в солдатских казармах. Там не унывали и ничего не боялись. За последнее время между солдатами и местными жителями установились даже добрые отношения. Как-то загорелся деревянный дом, принадлежавший банкиру Капустасу. Солдатики живо его погасили, отстояли соседние постройки, а из сгоревшего дома вынесли имущество. Капустас в благодарность прислал батальону, тушившему у него пожар, три бочки водки.

— Ишь, как расщедрился,—смеялись солдаты,—одним не выпить, нужно пригласить и товарищей. Кстати и напиваться-то грех, нынче страстной четверг.

Думали, думали и поделили, по совету начальства, водку между тремя батальонами.

Отстояли солдатики всеобщую, пошли ужинать, да за ужином и распили банкирскую водку.

— Только одна крышка и досталась,—жаловался плюгавенький солдатик.

— Будет с тебя и одной,—отвечал ему товарищ,—меня-то и от одной в голову ударило...

— А что я вам скажу, братцы,—говорил заплетающимся языком унтер-офицер,—выпил я всего полторы крышечки, и точно неделю без просыпу пьянствовал, так и мутится в голове...

— У меня тоже,—говорил другой.

— И у меня,—сплевывал третий,—ну и злющая же водка.. да и пахнет чем-то, как будто зельем каким.

Мало-помалу разговоры начали прерываться, многие стали дремать, с трудом поднялись с мест, а на перекличке еле держались на ногах.

Никогда так рано не засыпал солдатский квартал, как сегодня. В 9 часов всюду слышался храп, храпели даже и дневальные, отведавшие капустасовской водки.

Дурман сделал свое дело.

В 12 часов ночи по улицам Варшавы понесся гул колоколов.

Во всех костелах били в набат, народ толпами валил на улицы и площади; все были возбуждены и вооружены.

В толпе то и дело мелькали рясы ксендзов, призывавших верных католиков к избиению схизматиков, к освобождению отчизны от врагов.

С криком и ревом устремилась толпа к русскому кварталу. По пути, подобно снежному кому, она увеличивалась все больше и больше, но русский квартал безмолвствовал, крепко спали солдатики, отведавшие Капустасовой водки.

Разъяренная толпа без сопротивления ворвалась в дома, занимаемые солдатами, напала на сонных и поголовно перерезала. Захватив ружья и патроны, она, уже хорошо вооруженная, направилась дальше. но здесь ее встретили ружейными выстрелами.

К счастью, капустасовскую водку поделили между собою только три батальона. Остальные ее не пробовали, и это спасло их. Набат и рев толпы поднял в казармах тревогу, батальоны мигом построились и думали дать отпор, но вскоре выяснилось, что говорить о сопротивлении и подавлении восстания невозможно: поднялась вся Варшава. Прибывший к войскам Игельстром приказал, отстреливаясь, отступить за город.

Дом, в котором жил генерал Воропанов с семьей, находился вблизи казарм. Каменный, двухэтажный, окруженный высокой каменной стеной, он представлял собою

надежную защиту на случай нечаянного нападения. Ожидая грозы с минуты на минуту, генерал отвел весь нижний этаж взводу солдат, таким образом, семью свою он считал в безопасности.

Услыхав набат и крики, генеральская семья поняла, в чем дело.

Мигом все были на ногах, взвод в ружье и занял места вдоль ограды, готовясь к отражению бунтовщиков.

Перекрестив жену и дочь, генерал в сопровождении вестового, через садовую калитку выехал на улицу, в которой квартировали батальоны его бригады. Улица эта еще не была занята толпой, резавшей сонных солдат в соседних улицах. Воропанов слышал уже бой барабанов, сзывавших солдат в строй, видел строившиеся роты и вздохнул с облегчением. Собрав бригаду, он думал вести ее к своему дому, но едва он прибыл к выстроившимся уже войскам, как в улицу стремительно, подобно горному потоку, ворвалась толпа...

Озверелая чернь, обагрившая уже руки кровью, неистово неслась на солдат... Несколько удачных залпов охладили на время ее пыл, но не надолго. Народ все прибывал и прибывал, крики становились все сильнее и яростнее, огненные языки начали уже лизать крыши домов, отданных под казармы.

Старый воин с ужасом думал о положении своей семьи и решил во что бы то ни было штыками расчистить себе дорогу, но тут получил приказ Игельстрема отступить...

— Не могу,—с жаром говорил ему Воропанов,— у меня здесь, сами знаете, семья, я должен забрать ее...

— Делайте, как знаете, но только отступайте немедленно... А впрочем, сил наших дробить нельзя,— отвечал Игельстрем.— Сначала всем к вашему дому, у меня на квартире никого, а затем отступить...—И он приказал бить атаку.

Затрещали барабаны атаку, и разъяренные солдаты с ожесточением бросились в штыки. Не ожидала толпа такого натиска и подалась... Через пятнадцать минут все уцелевшие войска были уже у дома генерала Воропанова... У старого солдата закружилась голова при виде ужасной картины: ворота были снесены, дом в огне, во дворе груды трупов... Поляки лежали вперемежку с русскими.

При появлении солдат поднялся на ноги неподвижно лежавший на земле унтер-офицер.

— Один я уцелел, ваше превосходительство,— доложил он Воропанову,— да и то ненадолго,— указал он на зияющую в груди рану.

— А жена, дочь?

— Живы... Когда народ ворвался, начали грабить... Прискакал граф Олинский, отняли у них барыню, барышню и няню, посадили в карету и куда-то увезли. Слышал только, как граф говорил барышне: «Слава Богу, поспел вовремя, вы спасены... жизнь свою отдам за вас».

Сообщение унтер-офицера несколько успокоило несчастного отца. Слезы брызнули у него из глаз, и старик, перекрестившись, покорно промолвил: «Буди Твоя святая воля...» Войска начали отступать.

ГЛАВА VI

Рано утром, в четверг на Страстной неделе, к монастырю Кармелиток, стоявшему в большом саду при выезде из Варшавы, подъехала карета с опущенными шторами. Сидевший на козлах лакей соскочил на землю, позвонил у калитки и вскоре исчез в ней. Прошло около десяти минут, пока он снова возвратился, но уже не через калитку, а через ворота, которые привратник открыл для въезда кареты.

Карета въехала во двор. Судя по низким поклонам, которые старый привратник отвечивал неизвестному, можно было думать, что сидевший за спущенными шторами был важным лицом. Карета остановилась у дома, занимаемого игуменьей, и из нее вышел молодой граф Олинский.

— Что тетушка, встала? — спросил он у послушницы.

— Давно уже, пан грабя.

Игуменья, старая, но бодрая еще женщина, с добрым лицом, носившим следы былой красоты, ласково встретила приезжего на пороге своей кельи.

— Казю, милый, очень рада тебя видеть, совсем забыл было свою старую тетку.

— Не сердитесь, кохана тетя, по целым дням был занят по поручениям ржонда народоваго.

— То-то ты так рано и приехал? Чего хочешь...

Молодой человек поблагодарил и стал ходить по келье. Старушка видела его волнение и не тревожила расспросами, пока сам племянник не успокоится...

Наконец молодой человек остановился и заговорил:

— Тетя, знаете ли, какой сегодня день?

— Великий четверг.

— Нет, я не о том. Сегодня ночью восстание. Сегодня вся Варшава берется за оружие... Костюшко с войсками уже идет к нам, он разбил уже русские войска, отнял много пушек и знамен. Через несколько дней будет в Варшаве.

— Слава Богу, слава Богу,—радостно крестилась старушка.

— Я сам рад, тетя, вы знаете, что я зачислен офицером, сам я буду сражаться с врагами отечества, но быть убийцей, стрелять из-за угла, никогда!

— Из-за угла! Да когда же графы Олинские поражали своих врагов из-за угла! Я тебя не понимаю, Казю,—удивилась старушка.

— А ведь Колонтай хочет заставить меня так действовать. Он затеял, а ржонд народовой одобрил резню, и сегодня ночью чернь нападет на спящих русских и перережет.

— Матерь Божия!—с ужасом вскричала игуменья.—Что делает этот нечестивец! Он хочет покрыть пятном позора нашу рыцарски благородную нацию! Но что же смотрит ржонд народовой!

— Видите, дорогая тетя, вы возмущаетесь, точно так же возмутился и я, когда он предложил мне сделаться предателем, а он за это послал ко мне убийцу—башмачника Килинского. Если бы не преданный мне слуга, вы больше меня не видели бы.

— О, Колонтай, Колонтай! Он всегда верен себе, и как Бог терпит еще этого злодея!.. И это служитель алтаря... Удивляюсь твоему отцу, моему брату,—продолжала, помолчав недолго, старушка,—как может он быть близок с таким негодяем...

— Но, тетя...

— Ты его не знаешь, а я знаю его давно... Ты слыхал про тетю Стефанию?.. О ней, впрочем, в нашей семье говорить не любят, потому что никто ее никогда не понимал...

— Я что-то слышал.

— Так слушай же. Графиня Стефания Бронская была нашей дальней родственницей, но я с ней была близка... О, если бы ты знал ее... Как она была прекрасна не только наружностью, но и душою. Это было давно, ты был тогда еще совсем мал. Невлюбил ее Колонтай

и начал интриговать среди родных, а невзлюбил потому, что Стефания поняла его. Она видела, что под маской благочестия и любви к родине кроется корысть и все пороки; бедняжка не скрывала своего мнения о канонике и его товарищах... Знаешь ли, дорогой племянник, хоть я и ношу духовную одежду, но не могу не сказать тебе, что одежда эта зачастую служит ширмой для негодяев. Если бы ты спросил меня, кого я могу уважать из нашего духовенства, я затруднилась бы тебе ответить. Такого же мнения была и Стефания. Она разочаровалась в духовенстве, потеряла к нему уважение и стала помышлять о переходе в православие. Своих намерений она не скрывала от родных, и это дало возможность Колонтаю обвинить ее в измене отечеству... Бедная Стефания! Любил ли кто из ее обвинителей свое отечество наполовину так, как любила его Стефания! Но как бы то ни было, родные от нее отвернулись, после того как узнали, что она собирается выходить замуж за русского офицера... А я, я до сих пор молюсь у алтаря за этого русского, жениха моей несчастной кузины.

— Кто же это такой, тетя?

— Александр Суворов, он теперь генерал.

— Это тот офицер, который взял в плен вашего израненного сына и отпустил его?

— Да, тот самый. Это было во время барской конфедерации. Несчастный Карл, израненный, упал с лошади, казаки с пиками бросились на него, чтобы приколоть, но один из русских офицеров прикрыл его своей грудью и остановил рассвирепевших казаков. Осторожно доставил он раненого Карла к Суворову и с нежностью любящего брата ухаживал во время болезни за моим милым мальчиком, а когда он выздоровел, Суворов обласкал его, похвалил за мужество и дал ему свободу, а мне через Карла прислал письмо, в котором писал, что мать может гордиться таким сыном, так доблестно, так рыцарски сражающимся за свою родину... Письмо это я храню до сих пор, как большую память. Впоследствии Стефания познакомилась с Суворовым. Как могла она, честная, благородная, впечатлительная, не полюбить такого же благородного человека. Она полюбила и погибла. Колонтай похитил ее из ее же собственного замка, поместил ее в один из краковских монастырей, где несчастная страдала умерла, оставив по завещанию все свое состояние иезуитам. Если завещание и не было подложным, то во всяком случае вынужденным. Как я узнала впоследствии,

немалая доля его перепала Колонтаю... Так вот какой Колонтай.

— Как звали, тетя, того офицера, который спас Карла и ухаживал за ним во время болезни?

— Николай Воропанов... Я и за него молюсь.

— Сам Бог за меня,— с радостью вскричал молодой человек.— Тетя, двадцать с лишком лет Воропанов спас жизнь вашему сыну, спасите теперь жизнь его дочери.

— Разве ты его знаешь?..

— Да, он теперь здесь, в Варшаве. Он генерал... Тетя, тетя, я люблю его дочь, а если бы вы знали, что это за девушка, это воплощенное благородство... ей теперь угрожает опасность. чернь ночью нападет на них...

— Так вези ее с матерью ко мне,— с жаром вскричала старуха,— у меня они будут в полной безопасности!

— Спасибо, тетя, спасибо, дорогая,— целовал граф руки игуменьи.

— Вези их поскорее...

— Тетя, сейчас нельзя... Я у них не был уже целый месяц. Как я мог бывать, зная о готовящемся восстании? Что я скажу ей теперь? Предложить ей ехать к вам с матерью и няней сейчас — зачем? Нужно указать причину, а указать — значит изменить ржонду народному. Сам генерал будет при войсках, войск чернь не одолеет, а страшит меня участь семьи генерала. Я придумал вот что: как только стемнеет, я пошлю к дому генерала карету с преданными мне людьми; когда раздастся колокольный звон — они повяжут на себя шарфы жандармов ржонда народоваго, я же с своими товарищами, не сочувствующими резне, буду находиться поблизости. Как только чернь ворвется во двор — я сейчас же подоспею на выручку, именем ржонда арестую дам, усажу в карету и отправлю к вам, а вы их уже успокоите.

— Благослови тебя Господь и его Пресвятая Мать,— отвечала монахиня, крестя своего племянника.— Будь покоен, несчастные будут в полной безопасности...

Радостным и сияющим вышел граф Олинский от тетки и уехал домой, раздумывая о предстоящей ночи.

ГЛАВА VII

Весь день граф Казимир Олинский провел в крайне возбужденном состоянии. Он проклинал и Колонтая и судьбу, поставившую его в такое двусмысленное

положение, но проклятия делу не помогали, и потому он решил действовать энергично.

Он еще ничего не говорил друзьям о своем решении, но на поддержку их рассчитывал безусловно.

Вечером они должны собраться у него на квартире, тогда он их и посвятит в свою тайну, теперь же нужно приготовить свою прислугу. И он позвал к себе в комнату камердинера Яна и его приятеля Степана.

— Оба вы уверяли меня в своей преданности,— обратился он к приятелям,— могу ли я положиться на вас, могу ли рассчитывать на вашу помощь, даже и в том случае, если бы вам угрожала смертельная опасность?

— Мы головы положим за вас, пан грабя,— отвечали с жаром приятели.

— Спасибо, я вам верю. Так слушайте же. Сегодня весь день не отлучайтесь из дому. Ты, Степан, не ходи к Колонтаю. Как только стемнеет, вы станете на запятки кареты, в которой я ездил сегодня в монастырь, и поедете к месту, которое вам укажет граф Счесновский, он поедет с вами. Когда вам приведут трех дам — осторожно отвезите их в монастырь Кармелиток и передайте игуменье...

Степан побледнел при словах графа.

— Трех дам... каких?

— Это тебя пока не касается,— отвечал граф.

— Ваше сиятельство,— с жаром начал Степан,— Бог мне свидетель, я сказал правду, что голову готов отдать за вас, но у меня есть другие близкие люди, за безопасность которых я пожертвую своею жизнью. Эти люди — семья генерала Воропанова, и если эти три дамы...

Степан не кончил, граф перебил его.

— Ты догадался, но все же ты глупый человек,— сказал он.— Ты знаешь все, знаешь, что я ответил Колонтаю на его подлое предложение, как же ты можешь думать, что я желаю зла семье генерала. Напротив, я хочу спасти ее, и если ты любишь эту семью, так постарайся доставить дам в монастырь. У моей тетки, игуменьи, они будут в полной безопасности.

— Разве опасность так близка?

— Совсем близка. Сегодня ночью Килинский примет свое гнусное дело.

— Килинский! Как жаль, что я тогда не придавил этого собачьего сына.

— Запоздалые сожаления, смотри, делай теперь хорошо свое дело.

— Не лучше ли их теперь предупредить об опасности?

— Предупредить — значит погубить. Куда они денутся? уедут — так погибнут на дороге; слушайся лучше меня и не смей отлучаться из дому. Вечером я вам дам шарфы, которые вы повяжете через плечо, что будет означать, что вы жандармы ржонда народового, и толпа вас не тронет, а если остановит, то скажите, что ведете арестантов, арестованных по повелению ржонда. Ну, а теперь можете идти.

Угрюмым вышел Степан от графа. Слова его мало успокоили Степана. Граф заботился только о безопасности семьи генерала, Степана же беспокоила также участь всех русских вообще. Он знал, что русских войск в Варшаве немного и что неожиданное нападение ночью стотысячной толпы погубит их. Но как быть?!

Как ни думал Степан, а другого выхода, как предупредить генерала теперь же, он не находил.

«Предупрежу непременно, — решил он, — нужно только улучшить минутку, чтобы сбегать к крестной».

Но это ему не удалось.

Как ни глуп был Ян, но, видя беспокойство Степана, догадался, что в голове его созревает какой-то план. Какой, он не знал, знал только, что приятель собирается сделать что-то такое, что не понравится графу. Придя к такому заключению, задумался и Ян. «Как бы остановить приятеля, чтобы он не наделал глупостей, — думал преданный слуга графа. — Словами его не убедишь, нужно, следовательно, заставить насильно».

— О чем задумался, Степан? — обратился он к товарищу.

— О чем? О поручении графа.

— Об этом еще будет время подумать, а теперь лучше помоги мне. Сегодня у графа соберутся приятели, нужно приготовить вина — сходим в погреб и притащим ящик: одному мне не под силу. Да перестань хандрить; разопьем лучше бутылочку. Граф в наше распоряжение дал три. Одну разопьем теперь, две вечером, для храбрости.

— Ладно, пойдем.

— А ведь мы, что называется, с пустыми руками, — заметил Ян приятелю, как только они спустились в подвал. — Приготовь-ка ты пока ящик, а я сбегаю за стаканами, да кстати притащу хлеба и сыру.

Степан молча направился в угол подвала, где стояли ящики и где в песке были зарыты бутылки с вином, а Ян,

быстро взбежав вверх по лестнице, захлопнул дверь и начал запирасть; стук двери и щелканье замка вывели Степана из задумчивости.

— Что ты делаешь, Ян?

— Не сердись, дорогой приятель, спасаю тебя.

— Меня? От кого и от чего?

— От твоей глупости.

— Да ты с ума сошел, отопри.

— Нет, не отопру, голубчик. На винных ящиках ты найдешь и хлеб и сыр, которые я тебе приготовил, и посидишь здесь до вечера, пока не поедем по приказанию графа.

— Отопри, сумасшедший,— неистовствовал Степан.

— Сердись или нет, а не отопру. Сам потом благодарить будешь. Я вижу, что ты что-то затеваешь, что графу не понравится, а так как я тебя люблю, то не хочу, чтобы граф на тебя сердился. Посиди здесь, голубчик, а пока до свиданья,— и Ян быстро ушел, оставив приятеля взаперти.

Граф Казимир Олинский со своими товарищами поспел к дому Воропанова вовремя.

Чернь, выбив ворота, только что ворвалась во двор, некоторые проникли уже и в дом, как явился граф Казимир.

— Именем ржонда народового остановитесь,— крикнул он озверевшим ремесленникам, размахивавшим окровавленными ножами. Толпа, увидя на графе шарф ржонда, притихла.

— По повелению ржонда,— продолжал граф,— я должен арестовать этих женщин,— указал он на застывших на коленях перед образом мать, дочь и старуху няню...

Толпа молчала.

— Сударыни, прошу следовать за мной,— обратился граф к дамам по-польски и сейчас же продолжал по-французски:— Слава Богу, я явился вовремя. Не беспокойтесь, я пришел, чтобы отвести вас в безопасное место.

— В тюрьму или в ссылку?— отвечала Нина Николаевна с презрением.

— Пощадите меня, Нина Николаевна, не говорите со мною таким тоном. Ведь вы сами не верите тому, что говорите. Я отвезу вас к моей тетке, настоятельнице монастыря Кармелиток. Если я вам скажу, что ваш батюшка двадцать с лишним лет тому назад спас жизнь ее сына, моего двоюродного брата, и что тетя теперь молится о здравии вашего отца, вы поверите, что у нее вы будете в безопасности.

— Что бы там ни было,— прервала его генеральша,— теперь мы в вашей власти, делайте с нами что хотите, но если у вас осталась хоть капля благородства, скажите, что случилось с моим мужем?

Граф Казимир страдал невыносимо от того презрения, какое выказывали ему и мать и дочь, но иного он и ожидать не мог, и потому скрепя сердце мирился с своей участью.

— Генерал жив, толпа не посмела напасть на вооруженных солдат и перерезала только спящих. Я не сочувствую этой гнусной резне, я не принимал в ней участия, но... я поляк. Мог ли я не принять участия в восстании для освобождения своего отечества... Войска отступают теперь... Я даю вам слово, что скоро постараюсь вас доставить к Николаю Петровичу; нужно только выждать несколько дней, пока в городе несколько успокоится. Торопитесь же Бога ради поскорее, пока чернь еще не одумалась, да захватите с собою ценные вещи.

Сборы дам были недолги, через несколько минут они выходили в сопровождении графа и его друзей из дому, и вскоре карета увезла их к монастырю Кармелиток, окруженная конвоем из друзей графа Казимира. На запятках стояли и переругивались между собою Степан и Ян. Отсидевший весь день в погребе Степан не мог простить приятелю его проделки и всю дорогу бранил его, приправляя брань пинками.

Пока самозванные жандармы увозили дам, настоящие жандармы ржонда производили в городе аресты русских дипломатических чиновников и тех из поляков, которые подозревались в симпатиях к России.

ГЛАВА VIII.

Варшавская резня послужила началом к восстанию во всей Польше и Литве. Костюшко, прибыв в Краков, объявил всеобщее вооружение, польская армия быстро организовалась и, разделенная на корпуса, сосредоточилась в разных местах, сам же Костюшко, разбив генералов Денисова и Турмасова, двинулся к Варшаве. Весть о победе возбудила энергию инсургентов, и всюду начали вспыхивать восстания: в Вильне, Гродно и других городах.

Костюшко же, прибывший в Варшаву, первым делом принялся за ее укрепления; всюду кипела оживленная работа, польский король оставался как бы праздным

зрителем. Не сумев отстоять целостность и независимость государства, он мирился теперь с переходом своей верховной власти в руки народной рады (ржонда). Положение его было поистине печально. Он мог только слушать, исполнять, но не приказывать.

Костюшко для Варшавы был все. Одно имя его вселяло энергию и пробуждало патриотизм среди населения.

Все с жаром принялись за фортификационные работы, и город быстро начал опоясываться точно выроставшими из земли укреплениями.

Работали все: и войска, и народ. Здесь были представители всех сословий и состояний: простые мещане и магнаты. Приезжали и светские дамы; они не только подбодряли работавших, но и сами брались за лопаты и тачки.

Король не отставал и почти ежедневно появлялся на укреплениях в качестве простого работника, но это нисколько не делало бедного Станислава популярным, напротив, вызывало со стороны магнатов насмешки и колкие замечания.

— Лучше бы, ваше величество, отправились к себе во дворец,— заметила ему однажды светская дама,— лучше и не беритесь за работу, потому что где вы приложите свои руки — там не жди успеха.

Король молча сносил оскорбления.

Русских войск в Польше было в то время очень мало, прусские же и австрийцы действовали так вяло, что дали возможность Костюшко и укрепиться и организовать.

В конце июня прусский король подошел к Варшаве и осадил ее, но осада велась настолько вяло и безыскусно, насколько энергична и умела была оборона. В прусских войсках между тем обнаружился недостаток в боевых снарядах, начали ходить болезни и возрастать дезертирство, и король мало-помалу свел осаду на простую блокаду, но для блокады у него было мало войск.

Попробовал прусский король запугать Варшаву и послал королю Станиславу грозное письмо, в котором обещал взять город штурмом, если он не сдастся добровольно, но польский король вежливым письмом отвечал, что он бессилен, что власть не в его руках, а в руках революционеров, то есть у организатора революции — верховного совета, что же касается штурма, то король замечал, что между прусским лагерем и Варшавою находится армия Костюшко, с которым нужно считаться.

Как и следовало ожидать, король на штурм не решился, вскоре же вспыхнуло восстание в тылу прусской ар-

мии в отошедших к Пруссии областях, и король, сняв блокаду, поспешно отступил.

Отступление пруссаков вызвало в Варшаве взрыв небывалого восторга, теперь все уже были уверены в победе, в скором восстановлении Польши в прежних ее границах.

День отступления пруссаков Варшава ознаменовала целым рядом празднеств, закончившихся громадным роскошным балом в здании магистрата.

В то время, когда знать и шляхетство веселилось в залах магистрата, чернь пировала на площади. Город был иллюминирован огнями, всюду раздавались песни и радостные клики.

Во время разгара веселья на площади показался всадник. Конь был измучен, лицо и одежда всадника в пыли, видно было, что скакал он издалека. В толпе пронесся слух, что прискакал гонец от генерала Сераковского. Толпа окружила всадника с криками «виват Сераковский, долой москалей», но всадник не отвечал на восторженные клики. Лицо его было хмуро, и он молча прокладывал себе дорогу сквозь толпу.

Внимательный наблюдатель не мог бы не заметить на лице гонца беспокойства и некоторого смущения: радость и ликование народа не гармонировали с теми вестями, что он привез генералиссимусу.

Наконец всадник добрался до дверей магистрата.

Звуки мазурки неслись вниз по лестнице и вырывались на площадь, шляхта с одушевлением танцевала любимый танец, когда Костюшко доложили о прибытии гонца от Сераковского. Генералиссимус в сопровождении своего штаба удалился в отдельную комнату и велел позвать гонца.

— Что нового? — спросил его озабоченно Костюшко, видя невеселое лицо курьера.

Тот молча подал генералиссимусу пакет.

Костюшко читал недолго.

— Господа, Сераковский сообщает нам недобрые вести. Против нас выслан Суворов. При Двине он разбил уже авангард Сераковского, и Сераковский изо дня в день ожидает сражения с ним. Унывать, господа, не следует, нужно собрать всю свою энергию и нравственной силе полководца противопоставить такую же силу со своей стороны... По войскам нужно объявить, что это не тот Суворов, который бил турок и взял Измаил, а другой, его однофамилец.

Слава Суворова так выросла в последнюю турецкую войну, даже раньше взятия Измаила, что в Польше имя его сделалось легендарным и в состоянии было навести панику на польские войска. Костюшко это знал и потому для ободрения своих войск поспешил отдать приказ о введении их в заблуждение. То же самое сделал он и с публикой.

— Россия хочет нас напугать, панове, именем,— сказал он, входя снова в танцевальный зал, окружившим его магнатам,— Суворов — победитель турок — умер, его послать не могли, так выискали среди генералов однофамильца и послали сражаться с нами.

— Жаль, жаль, что умер Суворов-Рымникский, мы и его не побоялись бы, увидел бы победитель Измаила, что поляки не турки, проплясал бы он у нас краковяка под нашу дудочку,— раздавались хвастливые голоса.

— Увлекаться, панове, до самозабвения не следует,— холодно заметил генералиссимус,— конечно, мы не пожалеем своей жизни для защиты отечества, но не нужно забывать, что мы имеем дело с войском обстрелянным, постаревшим в боях, и потому должны быть осторожны, поступать благоразумно, а главное — строго соблюдать дисциплину. Только дисциплинированная армия может одержать победу, при отсутствии же дисциплины и храбрость и другие прекрасные качества войск окажутся бесполезны.

Генералиссимус завел речь о дисциплине неспроста. Хотя он и не долго пробыл еще в Варшаве, но не мог не заметить, что как и в армии, так и в гражданском управлении все хотели быть начальниками, но никто не хотел быть подчиненным. Между генералами нередко происходили столкновения на почве личного самолюбия и заносчивости, и если главнокомандующему удавалось примирять страсти, он во всяком случае не был уверен, что вражда между генералами не возгорится, если он будет убит или почему-либо на время отлучится из Варшавы.

Обаяние Костюшко, еще молодого человека, было столь велико в польском обществе, что магнаты не только мирились с его поучительным тоном, но клялись забыть все свои личные счеты и помнить лишь об одном: о спасении отечества. Уверения панов мало, однако, успокоили генералиссимуса. Он знал живой и непостоянный характер своих соотечественников и мало придавал цены их клятвам.

Беспокоило его и другое обстоятельство. Он сообщил своему штабу не все содержание письма Сераковского. Конец письма касался лично его.

В Варшаве после знаменитой резни была арестована вся русская дипломатическая миссия. В Петербурге боялись за их судьбу, и Суворову дан был приказ арестовать и доставить в Петербург сестер Костюшко и несколько знатных дам. Сестры генералиссимуса проживали в окрестностях Бреста-Литовского, в местности, отрезанной русскими войсками от корпуса Сераковского. Судьба сестер сильно беспокоила нежно любившего их брата, и генералиссимус напрягал все усилия, чтобы скрыть от публики свое беспокойство. Проходя по залам, он увидел молодого графа Олинского, которого успел оценить и полюбить, как брата. Граф Казимир был мрачен, не принимал участия в танцах и унылым взглядом окидывал зал.

— Что пан грабя так грустен? — с участием спросил главнокомандующий своего офицера.

Граф Казимир тяжело вздохнул.

— Не до веселья, когда на душе тяжелое горе, — отвечал он печально.

Костюшко участливо пожал молодому человеку руку.

— У меня, милый друг, тоже горе немалое, — и генералиссимус облегчил свою душу, рассказав молодому человеку о своих опасениях.

Граф некоторое время молчал, как бы что-то соображая, потом вдруг оживился, печаль исчезла из его глаз, и он с радостью проговорил:

— Я берусь доставить ваших сестер в Варшаву целыми и невредимыми.

Костюшко печально улыбнулся.

— Я вам сказал, что все воеводство занято русскими войсками.

— Это ничего не значит. Я даю вам слово, что сделаю, как сказал, говорю это не на ветер, у меня есть веские к тому основания. Притом мне не угрожает никакая опасность, только пусть пан главнокомандующий даст мне за своею подписью приказ всем польским властям, чтобы мои приказания исполнялись точно и немедленно.

Костюшко посмотрел на графа удивленными глазами.

— Пока я не могу, да и не имею времени открывать вам план моих действий, но прошу мне верить, что я не злоупотреблю вашим доверием.

— Я вам верю безусловно, и в доказательство этого вы сейчас же получите просимый вами приказ.

Генералиссимус оставил молодого человека и вскоре возвратился к нему с приказом.

— Извольте, да хранит вас Бог.

Из здания магистрата раздавались еще звуки мазурки, по залам неслись танцующие пары, а молодой граф Олинский в сопровождении нескольких товарищей скакал к монастырю Кармелиток.

ГЛАВА IX

Небольшой русский отряд, силою тысяч в десять — тринадцать, выступил рано утром из Кобрина по дороге к с. Крупчицам.

По скорости марша, и тому порядку, в котором он совершался, нетрудно было узнать, что ведет его Суворов.

Войска шли быстро и молча. Ни песен, ни музыки, полнейшая тишина нарушалась топотом солдатских ног да конских копыт.

Суворов объезжал войска и молча кивал им головою, сопровождая свои кивки одобрительною улыбкою.

Очевидно, отряд соблюдал полнейшую осторожность, стараясь подойти к неприятелю незаметно.

Авангард отряда успел уже нанести полякам несколько поражений, но теперь ему предстояло более серьезное дело — атаковать сильный корпус Сераковского.

До сих пор движение русского отряда производилось при соблюдении лишь одного условия — быстроты, но теперь, ввиду больших сил неприятеля, требовалась еще и скрытность.

Прежде, бывало, при объезде Суворова батальоны встречали его дружными приветственными кликами, раскатывавшимися по всему протяжению походной колонны. Генерал подъезжал то к одному, то к другому полку, ехал шагом, беседуя с солдатами и офицерами, узнавал старых сослуживцев, вспоминая с ними про былые походы, давал солдатам одобрительные прозвания: «Орел», «Огонь», «Сокол». Но теперь, когда неприятель был близко — кроме быстроты требовалась скрытность движения, и поход производился в полнейшей тишине, не давалось даже сигналов. С отдыха или ночлега поднимались по крику петуха. В таких случаях, Суворов,

не назначая времени для подъема, выжидал, пока люди отдохнут, затем, хлопнув три раза в ладоши, пел пестухом.

Сераковский занимал крепкую позицию у с. Крупчиц. Позицию его отделял от русских ручей, вдоль берега которого тянулась топь шагов в двести шириною.

Свои невыгоды Суворов старался вознаградить быстротою и неожиданностью, которые хотя бы отчасти уравнивали положение сражающихся. После непродолжительного похода русские перешли р. Муховец и были в трех верстах от неприятеля.

Русский отряд подошел к ручью и был встречен залпами польской артиллерии. Стоило только взглянуть Суворову, чтобы увидеть, насколько сильна неприятельская позиция. Вправо и влево от нее возвышались лесистые возвышения, перед фронтом было выставлено шесть батарей, да и к тому же фронт защищали широкая топь и ручей. Атака с фронта грозила большими потерями, а для обхода не хватало войск, но раздумывать было некогда, польские артиллеристы с каждым снарядом посылали в русский отряд смерть.

— Прекрасная артиллерия,— заметил Суворов,— но все же нужно заставить замолчать ее.— И он приказал возводить с своей стороны батарею.

Пока пехота принялась за возведение батарей, Суворов приказал конноегерскому полку атаковать часть польской кавалерии, отходившей к правой высоте их позиции. Отважно понеслись конные егеря под командой самого Суворова, но через топь перебраться не могли, и польская кавалерия успела уйти.

Пришлось вести атаку с фронта, но, приказав атаковать неприятельскую позицию, генерал направил атаку на левый фланг, часть кавалерии он направил через топь вблизи того места, где первая попытка оказалась неудачной, а остальной кавалерии приказал произвести обходное движение вправо, верстах в двух-трех.

Под прикрытием огня из четырнадцати орудий на только что возведенной батарее пехота под начальством Буксгевдена стремительно бросилась в атаку.

Но что это была за атака! Это был самоотверженный подвиг, солдаты являли собою движущиеся мишени для польской артиллерии. О быстроте и стройности нечего было и думать. Перед пехотой лежало глубокое, топкое

болото, которое ей приходилось проходить под убийственным артиллерийским огнем.

Солдаты разбирали попутные избы, заборы, доски и бревна бросали в болото и, балансируя по ним, как акробаты, подвигались вперед. Задние, пройдя по бревнам, брошенным передними, в свою очередь несли бревна, передавали их передним, те бросали и двигались все дальше и дальше.

Медленно подвигалась пехота, солдаты срывались с настилок, падали в болото, их вытаскивали товарищи, а неприятельские снаряды вырывали их рядами.

Целый час переправлялась под картечным огнем пехота, неся на руках четыре полковые пушки.

Солнце стояло уже высоко на горизонте, был полдень, когда пехота перебралась через болото. Мигом перестроилась она в боевые колонны и с такой стремительностью и оживлением бросилась в штыки, что поляки, не ожидая такого удара, сперва дрогнули, но ненадолго. Вскоре они оправились, и завязался ожесточенный бой. Поляки стояли крепко, но вдруг на обеих сторонах неприятельской позиции неожиданно появляется русская кавалерия.

Неожиданность, однако, не смутила поляков, и Сераковский, увидя себя обойденным, приказал лишь отступить.

Медленно и в порядке отступали, отстреливаясь, польские каре.

Атаки пехоты и кавалерии делались все чаще и стремительнее, польские ряды таяли, но смыкались и продолжали отступление к лесу, в котором и скрылись, оставив на поле до трех тысяч трупов.

Русские войска не преследовали. Они были слишком утомлены, да и к тому же преследование в лесу было бы крайне затруднительно. Суворов решил дать солдатам отдых.

Еще в середине боя, когда победный исход его стал ясен, он послал приказание обозу и артельным повозкам, оставленным под Кобрином, спешить к полю сражения. Едва кончился бой, как подоспели повозки, и тотчас же началось приготовление пищи для усталых солдат. Устал и сам Суворов, не спавший несколько ночей, принимавший деятельное участие в бою. Он не был простым зрителем, отдававшим лишь приказания, он переносился с места на место по полю сражения и появлялся всюду, где замечал колебание или недостаточную энергию; всюду ободрял сражавшихся.

По окончании сражения он въехал на небольшой холм, снял каску и, перекрестившись, произнес: «Слава в вышних Богу»; выпил стаканчик водки, съел сухарь и, завернувшись в плащ, лег на землю под деревом.

Заснув немного и подкрепившись сном, он встал. Камердинер Прошка подал приготовленный крепостным поваром Мишкой неприхотливый обед.

Пообедав, генерал начал объезжать войска. С восторгом встречали батальоны любимого своего вождя; теперь скрывать своего присутствия от неприятеля не надо было, и солдаты громко и радостно приветствовали генерала.

Суворов останавливался в каждом полку, он благодарил солдат за одержанную победу и в кратких, но горячих, доступных пониманию солдат словах поощрял к новым подвигам, рассказывая про дела давно минувших дней. Солдаты и офицеры окружали его вплотную, так что лошади его негде было повернуться.

Вечером уже, когда кончился объезд отряда. Суворов скомандовал «к заре». Как только барабан пробил молитву, генерал снял каску и, стоя впереди своего отряда, громко и внятно прочитал вместо «Отче наш» «Всемогущий Боже, сподобившись святым Твоим промыслом сего ночного достигнути часа». Объехав затем перевязочные пункты, на которых производились еще перевязки раненых, Суворов сделал все необходимые распоряжения относительно пленных, погребения убитых и возвратился к бивуаку.

Генерал Потемкин, видя из распоряжений начальника отряда, что он думает немедля двигаться дальше, заметил:

— Ваше сиятельство, у нас хлеба мало, не мешало бы теперь подождать прибытия транспорта с мукою и заняться печением...

— Хлеба? А разве его у поляков нет? — отвечал вопросом Суворов. Потемкин понял намек Суворова и не настаивал.

— Австрийцы метко прозвали его «Генерал-вперед», — заметил Потемкину генерал Шевич. — Нет, брат, под командой графа Александра Васильевича об остановках не думай, да в сущности он и прав: хотя Сераковскому нанесен удар сильный, но все же он не уничтожен, и чем скорее мы повторим удар, тем лучше, иначе поляки оправятся и тогда хотя начинай все сызнова.

Войска расположились на отдых, но ненадолго.

Суворов вскочил около двух часов ночи, окатился холодной водой, и вскоре «ку-ка-реку» понеслось по бивуаку.

Солдаты, заслышав знакомый им крик, быстро поднимались на ноги с улыбкою. Между тем ординарцы Суворова развозили по полкам приказание:

— Патронов не мочить

— Это значит — будет переправа вброд, — говорили старослужилые, прошедшие с Суворовым не один поход, молодым солдатам. — Патронные сумки, значит, подвязывать повыше, чтобы не намокли.

Через полчаса весь отряд в походной колонне двигался уже к Бресту.

ГЛАВА X

Темною ночью расположился суворовский отряд бивуаком у д. Трещин. До Бреста, у которого Сераковский занял довольно сильную позицию, оставалось верст шесть, не более. Отряд был утомлен, и начальник его поместил солдат под прикрытием лесистого холма и приказал варить еду.

Едва только отряд расположился на отдых, как казаки из авангарда привели к Суворову встреченного в лесу еврея.

Несчастный еврей дрожал от страха: казаки, заподозрив в нем шпиона, сначала поступили с ним крутенько, но, узнав, что это посланный от еврейского населения Бреста к начальнику отряда, привели его к Суворову.

Большого труда стоило успокоить бедного еврея и заставить говорить связно. Но отличительная черта Суворова была располагать к себе всех, с кем он имел дело и кого желал расположить к себе. Рымникский граф заговорил с евреем по-немецки, умышленно придавая словам еврейский акцент. Еврей обрадовался и упал ему в ноги.

— Будьте милостивы, ваше сиятельство, мы люди маленькие, бедные еврейчики, просим вашей защиты. Меня послали к вам мои земляки... если что нужно, хлеб, мясо, — мы вам все доставим. Если нужно, я проведу вас к Бресту самыми лучшими дорогами.

— Ладно, а бунтовщики где? — спросил Суворов.

— Они у самого Бреста, только не в городе... за городом разбили палатки и отдыхают, потому что на днях идут в Варшаву.

— Кто начальствует над ними?

— Пан Сераковский

— А много поляков?

— Тысяч десять — одиннадцать будет.

— Неужели Сераковский думает уйти в Варшаву без боя? Еще недавно он хотел атаковать нас, — удивился Суворов, обращаясь к Потемкину.

Еврей понял сказанную по-русски фразу и ответил русским же ломаным языком.

— Поляки так устали, что о бое не думают, они торопятся теперь в Варшаву, так как узнали, что прусский король осаждает ее. Пан Сераковский уже и повозки свои туда отправил, не сегодня-завтра и сам туда уйдет.

— Нужно торопиться, — заметил Суворов Потемкину, и, отпустив еврея и велев накормить его, он пригласил к себе генералов.

— Господа, Сераковский хочет уклониться от боя, — обратился он к ним. У некоторых из генералов мелькнула презрительная улыбка. Суворов заметил это.

— За всю свою жизнь я ни разу не уклонялся от боя, — продолжал он, — быть может потому, что мне почти никогда не приходилось быть атакованным, я сам всегда атаковал, но будь я в положении Сераковского, быть может, и я поступил бы так же, как и он. Во всяком случае он поступает умно, и потому мы должны ему помешать. Поляки не трусы. Если мы навяжем им бой — они примут. Следовательно, от нас теперь требуется: заставить их драться и совершенно их уничтожить.

Генералы выразили полную уверенность в уничтожении корпуса Сераковского.

— Ну, а теперь, следовательно, мы должны помешать их отступлению, — закончил Суворов и приказал, изменив направление, идти в обход, откуда Сераковский не ждал появления русских.

Солдаты успели тем временем поужинать и расположились на отдых. Прилег и Суворов на земле, укутавшись в свой плащ, но уснуть ему не удалось. Вскоре из аванпостной цепи ему донесли, что прибыл из Люблина офицер с письмом от австрийского генерала.

Сердце у старика дрогнуло от какого-то смутного предчувствия.

— Скорее его сюда, — приказал он, а через десять минут держал уже в своих объятиях ротмистра фон Франкенштейна.

— Дорогой Александр, как бы я рад был тебя видеть при других обстоятельствах, на другом театре войны,— говорил Суворов, усаживая фон Франкенштейна у костра на барабан.

— А я рад всегда и во всех обстоятельствах видеть вас, батюшка,— ответил молодой человек.— Я вас понимаю, вы щадили мое чувство национального самолюбия, но...

Молодой офицер несколько замялся.

— Попал я на театр войны нечаянно,— продолжал он,— мой полк не входил в состав действующих войск и был назначен неожиданно. Тяжело мне было отправляться в поход. Вы знаете, не опасность меня страшила, ее я не боюсь, но мысль проливать кровь моих соотечественников приводила меня в ужас. Но время и обстоятельства делают многое. Во все время пути я старался выяснить свое отношение к Польше, и, сколько я ни убеждал себя в том, что я поляк, что Польша мое отчество, по отношению к которому у меня существуют известные обязанности, я не мог не прийти к тому заключению, что к Австрии у меня обязанностей больше. Положим, Польша моя родина, но родина в смысле лишь места моего рождения. Сколько я ни старался убедить себя в том, что у меня существуют с нею связи духовные,— я не мог. Что мне дала моя родина? Она сделала мою мать несчастной, выбросила меня с нею за борт, как двух нищих, и, не найдись добрые люди, я, граф Бронский, был бы теперь человеком без роду и племени... Нет, мое отчество, в том смысле, как его понимают люди, проливающие кровь за родину,— Австрия. Ей я всем обязан и ей должен служить.

Молодой человек замолчал и поник головою.

— А по временам,— продолжал он,— все же какой-то внутренний голос нашептывает мне: «Ты-поляк и ты будешь проливать польскую кровь...» Опять в душе зарождаются сомнения... разрешите их, батюшка, порой мне кажется, я готов сойти с ума.

Суворов некоторое время молчал, как бы что-то обдумывая.

— Допустим,— начал он,— что ты родился в Польше и не покидал ее, что Польша твое отчество в полном значении этого слова, но как бы ты поступил, если бы в Польше вспыхнуло восстание и если бы власть твоего законного государя старалась бы захватить в свои руки кучка безумных людей? Чью ты принял бы сторону?

— Конечно, государя.

— И тебя не смущала бы мысль, что, поддерживая права государя, ты проливаешь кровь своих соотечественников?

— Нисколько, правда, перспектива братоубийственной войны меня не радовала бы, но что делать, печальная необходимость...

— Не то ли самое ты видишь теперь? Польский народ, даже не народ, а кучка людей недовольна правлением своего государя. Она восстала против его власти, захватила власть в свои руки и распоряжается ею по своему. Ты мне скажешь, что все это делается на глазах у короля, что он молчит и молчанием как бы поощряет к войне. Но что же ему делать? Ведь у него нет ни средств, ни сил восстановить свои права. Бунт произошел на его глазах, и он бессилен. Если бы этот бунт не затрагивал интересов России, Австрии и Пруссии — наши войска не вошли бы сюда, но, бунтуя против королевской власти, бунтовщики нарушают заключенные королем договоры; они варварски, предательски режут сонных... Вступая в пределы польского края, мы вступаемся не только за свои права, но и за права польского короля. Ты видишь, следовательно, если бы тебе и пришлось сражаться против соотечественников — ты сражался бы только против бунтовщиков...

Суворов замолчал. Очевидно, и в нем происходила внутренняя борьба, но колебаться долго он не мог, это было не в его характере. Помолчав немного, он продолжал:

— Как бы там ни было, я очень рад, Александр, что судьба свела нас снова. Я уже стар, хвор, к могиле иду скорыми шагами. Бог весть, удалось ли бы нам с тобою свидеться, теперь же ты останешься все время при мне. Ответ генералу повезет мой офицер, он же и передаст ему мою просьбу о прикомандировании тебя к моему отряду.

Молодой офицер очень обрадовался перспективе провести несколько дней или месяцев вблизи человека, к которому неотразимо влекла его какая-то таинственная сила. Он и не подозревал о том, что его названный отец решил освободить его от всяких сомнений и тревог.

Долго еще беседовал Суворов с молодым ротмистром, подробно расспрашивая о житье-бытье его приемной матери. Луна взошла уже высоко на небосклоне и синеватым светом обливала лощину, придавая фантастический

вид бивуаку с его полупотухшими кострами и с лежавшими вповалку солдатами.

Суворов взглянул на часы и сказал:

— Уже второй час.

Ударив затем три раза в ладоши, он запел петухом.— Молодой офицер был поражен не генеральской проделкой генерала.

— Тебя удивило мое подражание петуху? Вот видишь, указал он на поднимающихся и строящихся в походные колонны солдат,— петушиный крик заменил им бой барабана. Барабан услышал бы и неприятель — он совсем близко, крик петуха, если услышит — не догадается. Мало ли в деревне петухов.

В подтверждение суворовских слов из деревни раздался петушиный крик, ему ответил второй, третий... Начался петушиный концерт, а отряд между тем, вытянувшись в походную колонну, форсированным маршем шел к Бресту.

Быстро и без труда перешли солдаты Муховец, на рассвете были уже и у Буга.

Как ни незаметно подвигались русские войска, но переправа их через Буг была замечена и с колоколен брестских церквей раздался тревожный набат.

ГЛАВА XI

— Ишь, как трезвонят,— говорили между собою солдатики, спешно переходя реку вброд.

— За упокой своих душ,— острил ротный остряк.

Последние слова долетели до слуха Суворова, и он немедля разослал ординарцев и адъютантов с приказанием солдатам не трогать мирного населения под страхом строгой кары, не врываться в дома и щадить безоружных. Генерал опасался жестокости солдат. С одной стороны войны с турками, приучившие солдат к грабежу, с другой варшавская резня, возмутившая войска, пугали его и вселяли опасение. Во все время похода он старался заставить смотреть на войну в Польше, как на усмирение только бунтовщиков; он, не прибегающий никогда к жестокости, теперь не останавливался перед нею, чтобы наказать солдат, обижавших мирных жителей. Мародеров он прогонял сквозь строй беспощадно, а теперь через адъютантов предупреждал солдат, что уличенные в насилии над мирными обывателями будут расстреляны. На-

селение, конечно, не знало об этих заботах русского восначальника и, опасаясь возмездия со стороны солдат, спешило под защиту храмов.

Поляки, вопреки ожиданию, не отступили. Узнав о приближении русских, Сераковский решил принять бой и заблаговременно построил свои войска в боевой порядок, а у бугского моста выставил сильную защиту из двух батальонов при двух орудиях. Но Суворов перехитрил его. Польский генерал, заметив свою ошибку, не растерялся, не растерялись и его хорошо обученные батальоны. Быстро и в полном порядке они начали перестраиваться и вскоре примкнули левым флангом к Тирасполю, а правым — к лесу.

Суворов, все время наблюдавший перестроение поляков, восклицал с восторгом:

— Молодцы, помилуй Бог, какие молодцы, как жаль, что бунтовщики, а какие хорошие солдаты!

Обратившись затем к фон Франкенштейну, он сказал:

— Тебе, Александр, я хочу дать важное поручение: ты со взводом драгун отправляйся за Буг и наблюдай, чтобы кавалерия Сераковского не зашла нам в тыл.

Молодой ротмистр молча приложил руку к шляпе. Он понял всю важность даваемого ему назначения и в душе не мог не быть благодарным Суворову за его деликатность. Он прекрасно понимал, что опасаться русскому отряду обходного движения польской кавалерии было нечего и что генерал умышленно удаляет его с поля сражения, щадя его национальное чувство.

Ротмистр хотел было протестовать, но не мог. Не трусость, конечно, была тому причиной.

Едва фон Франкенштейн поскакал исполнять приказание генерала, как русские войска стали перестраиваться в боевой порядок.

Суворов готовил удар с фронта с охватом флангов конницей, но едва войска двинулись, как были встречены метким огнем польской артиллерии. Однако Сераковский, видимо, был недоволен позицией, которую заставил занять его Суворов, и польские войска быстро, в порядке, свернувшись в три колонны, начали отступление.

Заметив отступление поляков, Суворов приказал кавалерии немедленно атаковать их и пехоте спешить на помощь.

Беглым шагом двинулись вслед за кавалерией четыре егерских батальона и пехотный полк, остальная же пехота двигалась за ними уступами. Сераковский между тем

успел занять за деревней Коршин, на высотах, вторую позицию, на плотине выставил три батареи, а своею третьей колонной атаковал русский левый фланг, но вовремя подоспел генерал Исленев с кавалерией и в свою очередь атаковал ее. Два раза он бросался на поляков в атаку и два раза не имел успеха, так как песчаная, изборожденная рытвинами и усеянная плетнями местность слишком стесняла движение кавалерии. С болью в сердце Исленев намеревался уже отступить, как увидел с противоположной стороны несущихся на польскую колонну казаков Исаева.

Ободренные кавалеристы с новым порывом бросились в атаку, на этот раз удачно. Врубившись в колонну, они сильно ее потрепали, но неудача не обескуражила поляков.

Сильно поредевшая колонна отступила к деревне Коршану и, остановившись на высоте, стала выстраиваться.

Исленев был слишком слаб, чтобы атаковать остальные две польские колонны, а Сераковский, видя поражение своей третьей колонны и быстрое приближение егерских батальонов, потерял уверенность и, решив сохранить остаток своего отряда, быстро перешел в отступление. Лес был недалеко. Лес спас уже Сераковского от полного поражения при Крупчицах; в лесу он и теперь видел свое спасение. Видел это и Суворов и отдал приказ Шевичу во что бы то ни было отрезать Сераковского от леса.

Под страшным артиллерийским огнем обскакали поляков русские кавалеристы и врубились в их колонны. Поляки дрались с мужеством отчаяния. Никто не просил пощады, и почти вся первая колонна полегла рядами. Той же участи подверглась и вторая колонна, из нее только одиночные люди добрались до леса. Особенное упорство выказала третья, еще раньше пострадавшая колонна, но и ту постигла та же участь.

На протяжении пятнадцати верст беглецов преследовала русская кавалерия, и немного поляков с Сераковским добралось до Варшавы.

Этот бой сразу вычеркнул из списков польских вооруженных сил целый корпус.

Большая часть пехоты подоспела на место сражения, когда все было уже кончено, кавалерия гналась за бегущими, а егеря отирали вспотевшие лица...

Прибывшие батальоны, окидывая взором поле сражения и видя его покрытым грудами польских трупов, поздравляли товарищей с победой.

— И поработали же вы,— говорили прибывшие солдаты своим товарищам.

— Да, поработали немало,— отвечали те, и в словах их звучала не только гордость победой, сколько сожаление и сочувствие.

— Да кто же и виноват,— продолжали егеря,— сами же они и виноваты... Прости нас Господи, Боже наш, а покойникам дай царствие Твое небесное,— заканчивали они, набожно крестясь.

Не успел кончиться бой, как солдаты, рассыпавшись по полю, начали разыскивать среди убитых раненых. Раненых как русских, так и поляков относили к лекарям, другим здесь же на поле сражения солдатики оказывали помощь, останавливая кровотечение; разрывая свое чистое белье, они перевязывали раны, не разбирая того, были ли это русский или поляк; поили раненых водою, делились сухарями.

Работа далеко не была еще окончена, как по полю промчался со своим штабом Суворов. Не останавливаясь, он благодарил солдат за победу и, прискакав в свое помещение, первым долгом написал и отправил фельд-маршалу Румянцеву следующую записку: «Брестский корпус, уменьшенный при монастыре Крупчиц на три тысячи сего числа, кончен при Бресте... Поляки дрались храбро; наши войска платили их отчаянность, не давая пощады... Но сему происшествию и я почти в невероятности. Мы очень устали».

Суворов, расположившись в Тирасполе в том самом доме, где за несколько часов перед тем квартировал Сераковский, отправив к Румянцеву донесение, лег спать.

ГЛАВА XII

В начале сентября по дороге из Варшавы к Бресту мчалась карета, запряженная четверкою. Видеть сидевших в карете было нельзя: хотя окна дверц и были спущены, но отверстия прикрывались шелковыми занавесками.

Впереди кареты скакал красивый молодой человек, по костюму и внешности принадлежащий, по-видимому, к высшему польскому сословию, по сторонам же кареты скакали двое молодцов, один в костюме мелкого шляхтича, другой — в платье слуги богатого польского дома.

Скакавший впереди красавец был грустен и молчалив, спутники же его время от времени перекидывались словами. Шляхтич иногда наклонялся к дверце кареты, но вслед за этим отъезжал в сторону со вздохом.

— Эх, крестная, понапрасну на меня сердитесь... потому сами оцените мою преданность и рассудите, был ли я виноват.

Но каждый раз, как он произносил эту фразу, из окна кареты ворчливый голос старухи награждал его собачьим сыном или подобным же эпитетом.

— Что, съел? — смеялся товарищ.

— Не я, ты собачий сын, огрызался шляхтич. — Не запри ты меня в погреб, не был бы я в собачьих детях.

— Да были бы тогда живы твои господа? Дурак ты эдакий, — отвечал товарищ, в котором читатели, без сомнения, узнали Яна.

Пока приятели переругивались между собою, вдали на горизонте показалось облачко пыли. Облачко все увеличивалось и увеличивалось, а мелькавшие в нем три движущиеся точки стали обрисовываться, и путешественники могли уже ясно различать трех всадников, по-видимому польских кавалеристов.

Всадники все приближались и приближались, скоро можно было различать запыленные лица. В одном из всадников, скакавшем впереди, граф Олинский узнал генерала Сераковского.

Бешеная скачка генерала в сопровождении лишь двух всадников все разъяснила молодому графу.

«Разбит, — решил он, — корпус его уничтожен, сам спасается бегством».

Предположения графа Казимира вскоре подтвердил лично сам Сераковский.

— Разбиты, уничтожены, — с отчаянием говорил генерал молодому графу, — русские надвигаются тучей... Боже, что будет с нашей отчизной! — вскричал он со слезами в голосе и, махнув безнадежно рукой, поскакал дальше.

— Да, — задумчиво проговорил граф Казимир, — дело обструкции никогда не стояло прочно, а теперь и совсем близко к гибели... Погиб тринадцатитысячный корпус. Это не шутка... уничтожена почти треть армии.

Вблизи показалась корчма.

Граф приказал кучеру остановиться у нее. Нужно было подкормить лошадей, так как до Бреста оставалось верст тридцать.

Дамы вышли из кареты и расположились под деревом.

В то время, когда кучер распрягал лошадей, граф Олинский, подзвав Яна, дал ему записку.

— Скачи в Раховицы, они не далее пятнадцати верст, передай эту записку раховицкому пану, а сам скачи обратно, меня найдешь в русском отряде. Чего глаза выпучил? Разве не видишь, что везем русских дам.

Слуга свернул на проселочную дорогу и пустил коня галопом. Долго и задумчиво смотрел молодой граф вслед удаляющемуся слуге. Быть может, долго простоял бы он неподвижно, если бы его не окликнула генеральша Воропанова. Нерешительно направился молодой человек к дереву.

— Куда вы везете нас, граф? — спросила она.

— Вы скоро убедитесь в моих намерениях, дорогая генеральша, вы убедитесь, что я ваш искренний друг, я везу вас в русский отряд. К вашему мужу я, к сожалению, вас отвезти не могу. А теперь я везу вас к графу Суворову, который в скором времени соединится с генералом Игельстромом. Корпус Сераковского разбит, путь к Варшаве свободен, и русские войска не замедлят появиться под ее стенами. Вы через несколько дней встретитесь с вашим отцом и мужем, а я... я увижу свою родину побежденною, если сам к тому времени не сложу своей головы.

— Куда же вы отсюда отправитесь? — с живостью спросила Нина Николаевна.

— В Варшаву.

— Но вы не верите в успех вашего дела, зачем же подвергать себя напрасному риску?

— Не следовало бы начинать, а раз начали — нужно доводить до конца, каков бы он ни был. Если бы от меня зависело, я не поднимал бы знамя революции. Но раз оно поднято — могу ли я, поляк, уходить из-под этого знамени? Не презирали ли бы вы меня за это, Нина Николаевна?

Молодая девушка молчала. За нее отвечала мать:

— Надеюсь, граф, что вы вступили в ряды революции не для напрасного кровопролития, а для восстановления прав вашей родины. Восстановление их вы сами признаете невозможным, что же вам остается? Одно лишь кровопролитие. Не будете ли вы отвечать за него пред Богом и собственной совестью?

— И близкими вам людьми, — едва слышно добавила, краснея, молодая девушка.

— Что же мне делать? Сложить оружие? Но графы Олинские никогда его не слагали. Мне ли покрывать позором незапятнанное имя? Если вы беспристрастно отнесетесь к моему поведению, то оправдаете меня. Согласен, что война преступление перед Богом, но дуэль еще большее преступление. Война есть средство для восстановления народных прав и интересов, нарушенных другим народом, война — неизбежность, потому что нет такого судьи, который восстановил бы нарушенное право. Война, хотя бы и без уверенности в победе — не то, что дуэль. Дуэль тоже средство к восстановлению своих прав, но неизбежное ли средство? Ведь обиженный может найти себе удовлетворение не только в общественном порицании обидчика, но и в приговоре над ним суда государственного. Казалось бы, что можно удовлетвориться тем или другим и не прибегать к кровавой расправе. Так ли это на самом деле? Не отвернется ли общество от обиженного с прсзрснием, если он не вызовет обидчика, даже в том случае, если будет уверен в неудачном для себя исходе поединка?.. Нет, пред совестью я отвечать не буду, Бог милосерд, а близкие... меня пожалеют,— закончил молодой человек с грустью.

Генеральша тяжело вздохнула и набожно перекрестилась.

— Спаси вас Господи и помилуй. Мы вас, дорогой граф, не осуждаем; если Нина и я выказали вначале недоверие, то теперь его уже нет. Ваши о нас заботы и заботы вашей милой тетушки окончательно его рассеяли, и я буду усердно молить Бога, чтобы он сохранил вашу молодую жизнь...

Граф Казимир с жаром поцеловал руку генеральши.

— А вы, Нина Николаевна? — обратился он к молодой девушке.

У Нины Николаевны на глазах блестели слезы. Она вместо ответа протянула ему руку.

— Не сердитесь на меня за прошлое, я очень несчастна...

Граф был вне себя от радости.

— Сердиться? Я счастлив бесконечно, счастлив, что вы поняли меня, не считаете предателем, каким считает ваша добрая нянюшка.

— Не вас, ваше сиятельство, вы особая статья, а вот Степка негодяй, он должен был предупредить, ему я никогда этого не забуду, пусть забудет, что я была его крестной.

— Эх, крестная, вы все свое, ей-Богу же, я не виноват: Ян по глупости продержал меня целый день в погребке. Ну как я мог вас предупредить? А вечером я явился с графом как раз вовремя.

— Мы с тобою разочтемся после,— отвечала старуха,— не при господах же задавать тебе встрепку

— Хотя десять встрепок, крестная, только не считайте меня негодяем,— и Степан схватил руку старухи, желая поцеловать, но та сердито ее отняла.

— Негодяй был—им и останешься,— сказала старуха с сердцем.

— Что делать,— с притворным вздохом отвечал Степан,— авось когда-нибудь перемените обо мне ваше мнение. Человек я терпеливый, буду ожидать.

— А ты куда же отсюда, тоже в Варшаву?

— А мне что там делать? Я останусь при вас.

— То-то же,— проворчала старуха.

— Перестань, няня, сердиться, твой крестник совсем не виноват,— вмешалась Нина Николаевна.

— На ком же, милая барышня, мне и злость сорвать, как не на нем.

Простодушное заявление старушки вызвало у всех улыбку, первую за все время путешествия.

Вскоре экипаж был готов, и граф Олинский помог дамам сесть в карету. Не успел он захлопнуть дверцы, как мимо промчались покрытые пылью и кровью два всадника. Нина Николаевна вздрогнула и с немою мольбою во взоре посмотрела на графа. Тот молча опустил голову.

Вечерело, когда путешественники достигли русских аванпостов. Граф назвал себя и просил дежурного офицера проводить его к начальнику отряда. Суворов квартировал в Тереспеле, и путешественников повезли с завязанными глазами в главную квартиру.

— Никак, похоронное пение,— сказала, прислушиваясь, Ильинишна.

Действительно, издали доносилось пение, по мере того как карета подвигалась вперед, пение становилось слышнее и слышнее, ясно можно было различить печальные мотивы. Тысячи голосов пели вечную память.

— Хоронят убитых,— пояснял провожавший карету дежурный офицер.

— А много их?— спросила генеральша.

— Наших не особенно много, а все же будет несколько сот, поляков же тысячи. А вот и главная квартира,— продолжал офицер,— теперь вы можете снять повязки

с глаз. Граф, по всей вероятности, спит, он очень устал, вам придется несколько подождать.

Предположение офицера оправдалось. Суворов действительно спал, и путешественников встретил фон Франкенштейн, исполнявший обязанности дежурного адъютанта. Встретившись, молодые люди вздрогнули и отшатнулись друг от друга. Казалось, два двойника встретились и испугались, так поразительно они были похожи друг на друга. Некоторое время они стояли молча. Первым заговорил граф Олинский.

— По мундиру вы австриец, а между тем, встретить вас кто-нибудь из моих друзей, вас приняли бы за графа Олинского.

— Моя фамилия фон Франкенштейн.

— Странная игра судьбы,— удивился граф.

— Да, странная,— согласился суворовский адъютант и поспешил переменить тему разговора. Для него она казалась менее странною, чем для графа. Под первым впечатлением встречи он хотел было спросить, не состоит ли граф Олинский в родстве с графинею Бронской, но удержал свой порыв, сообразив, что не время при таких обстоятельствах считаться родством, и предложил графу и его спутницам поместиться в ожидании Суворова в соседнем доме.

«Несомненно родственник,— рассуждал фон Франкенштейн,— и близкий родственник.— Какое-то непонятное чувство, похожее на радость, охватило молодого человека. Но чувство это было мгновенно, оно сейчас же прошло.— Родственник, а что дало мне это родство? Избавило ли оно мою мать от нищеты и страданий? Нет, родственники у меня там, здесь их нет».

Ординарец позвал его к Суворову.

— Батюшка, здесь, в Польше, я встретил своего двойника. Вы сами убедитесь, приняв его.

— Кто такой?

— Граф Олинский. Он прибыл из Варшавы и доставил жену и дочь генерала Воропанова, которых спас во время резни.

— Воропанов, да это мой старый сослуживец. Узнай, отдохнули ли дамы, могут ли они меня принять? А графа Олинского пригласи сейчас же.

С Суворовым случилось то же, что и с его адъютантом. Едва только граф Олинский переступил порог, как граф Рымникский вскочил со стула; недоумение было написано на его лице. Некоторое время он молчал, по-

переменно всматриваясь в лица то графа, то своего приемного сына.

— Кто бы вы ни были, мирный ли житель или офицер инсурекции, я рад приветствовать в вашем лице избавителя семьи моего товарища,— прервал он неловкое молчание.

— Я офицер польских войск,— начал граф Олинский, но Суворов перебил его:

— Польских войск? Я таких не знаю, вы, вероятно, хотели сказать: польских инсургентов?

— Как вам угодно, граф, в названиях я спорить не стану. Дело не в них; явился я к вам в качестве друга семьи Воропанова, которую мне удалось спасти от зверской расправы черни. Генерал Воропанов находится в Гродно, туда я дам доставить не мог и потому выбрал вас, по просьбе моей тетушки графини Олинской, ныне настоятельницы монастыря Кармелиток. Она считает себя у вас в долгу, и потому она, рискуя навлечь на себя гнев всесильного и кровожадного члена народной рады, ксендза Колонтая, скрывала дам у себя, дольше скрывать их было невозможно: ищейки Колонтая рассыпались по всей Варшаве и не сегодня-завтра могли открыть их убежище. Мы испугались за близких нам людей, Колонтай много лет тому назад погубил уже любимую кузину моей тетки, графиню Стефанию Бронскую, мы боялись, что та же участь постигнет жену и дочь Воропанова. Состоя при нашем генералиссимусе адъютантом, я выхлопотал свободный пропуск из Варшавы для двух родственников и их экономки, желающих посетить умирающую под Брестом мать. Под видом родственниц я провез русских дам. Никто не посмел потребовать от родственниц генералиссимуса, чтобы они подняли вуали. Теперь же, если вы не задержите меня у себя, я увезу в Варшаву действительно двух своих родственниц, но должен вас предупредить, граф, что хотя я не верю в успех нашего дела, тем не менее буду сражаться до последней капли крови вместе с моими соотечественниками. От вас, граф, будет зависеть — оставить ли меня пленником или сохранить Варшаве одного лишнего защитника.

Суворов не отвечал на последние слова графа, он их и не слышал. Бледный, с каплями холодного пота на лбу, еле держался он на ногах. Фон Франкенштейн тоже заметно изменился в лице, и лишь военная дисциплина удерживала его от вмешательства в разговор.

— Вы сказали,— начал с волнением Суворов,— что графиня Бронская кузина вашей тетушки, следовательно, она и ваша тетка. Как же могли вы, люди с влиянием, допустить, чтобы какой-то ничтожный ксендз ограбил вашу родственницу и, как нищую, выбросил на улицу?

— Никто из моих родных не знал о проделках Колонтая, и лишь когда тетя Стефания умерла в краковском монастыре и когда Колонтай представил духовное завещание, тогда только выяснилась роль этого человека. Но что могли сделать мои родственники? Доказать похищение тети и насильное пострижение было невозможно, опровергнуть по всем правилам составленное завещание тоже, да к тому же Колонтай восстановил против тети Стефании всех родных. Одна только тетя Агнесса, приютившая теперь семью генерала Воропанова, всей душою любившая свою несчастную кузину, пробовала было затеять процесс, но из этого ничего не вышло...

— Вы говорите, что ваша тетушка умерла в монастыре. Нет, она бежала оттуда и умерла в Петербурге, на улице...

— На улице? Боже мой! Какой удар для тети Агнессы...— с непритворным горем вскричал молодой человек.— Боже мой, Боже мой!

Неподдельная скорбь видна была на лице молодого графа, слезы блестели на его ресницах.

— Я был мал и тети Стефании не помню, знаю ее по рассказам тетушки Агнессы, но любил ее всею душою. Она была идеалом человека...

— Свою любовь вы можете перенести на ее сына, вашего брата. Вот он,— и Суворов взял за руку Александра.

— Кузен, дорогой брат!— вскричал граф Казимир, с восторгом заключая фон Франкенштейна в свои объятия.

Нервы Александра не выдержали, он с рыданиями упал на грудь кузена.

— Батюшка, как я счастлив. У меня не только отец, но и брат...

— И сестра и тетя, дорогой кузен. О если бы ты знал, какая у нас прелестная тетя Агнесса...

И молодые люди, и Суворов, на некоторое время поддавшись впечатлениям встречи, забыли о настоящем. Забыл граф Казимир о цели своего путешествия, забыл и Александр свои сомнения. Для него, считавшего себя круглым сиротою, было слишком большою ра-

достью узнать о существовании родственника, любившего его мать.

Рад был и Суворов, но скоро пришлось возвратиться к действительности. Пришел вестовой с докладом, что генеральша Воропанова ожидает графа Александра Васильевича.

Суворов ушел к дамам, и молодые люди остались одни.

— Какая насмешка судьбы,— начал фон Франкенштейн,— мы так обрадовались нашей встрече, но надолго ли? Не сегодня-завтра мы враги, не сегодня-завтра нам придется встретиться с оружием в руках, а между тем мы могли бы служить под одним знаменем, одной родины...

— Для меня, дорогой кузен, обстоятельства сложились несравненно хуже, меня судьба заставила быть равнодушным зрителем того, против чего возмущалась моя душа, я видел позор моей родины, видел, как несколько негодяев, прикрываясь любовью к ней, преследовали свои корыстные цели и пятнали ее варварским убийством горсти беззащитных русских... В довершение всего, та же судьба заставила меня полюбить русскую... О, ты не знаешь, как тяжела борьба чувства с долгом к родине. Один я с несколькими моими товарищами не мог предотвратить резни, я должен был подчиниться решению большинства, не мог даже предупредить любимую девушку, не став изменником. Если бы ты знал, сколько пришлось вынести мне душевных мук, пока не удалось вырвать из рук разъяренной черни дорогих мне людей, теперь они вне опасности, но мое горе уменьшилось лишь наполовину; религия и политические события разделяют нас... Политические события ставят между нами непреодолимую преграду...

— Политические события — да,— возразил фон Франкенштейн,— но не религия. Политические события и меня разъединяют с родными и родиной, но события эти переходящи. Пройдут они, и преграда рухнет.

Долго молодые люди беседовали, знакомя друг друга со своею-прошлой жизнью. Фон Франкенштейн подробно рассказал кузену свою историю, насколько он ее знал, не преминул поделиться и своими сомнениями.

— Я вижу, дорогой Александр, судьба связала нас с русскими неразрывными узами. Твоя мать была невестою твоего приемного отца при таких обстоятельствах, в каких находимся мы в настоящее время. Тогда в Польше, как и теперь, кипела война, и тогда, как

и теперь, русские войска сражались с конфедератами. Тогда, как и теперь, Суворов был одним из главных военачальников, и тогда-то тетя Стефания полюбила его. Теперь тоже война, война национальная, а я полюбил дочь русского генерала... да и сына любимой тети своей, своего кузена нахожу на русской стороне...

Фон Франкенштейн был поражен сказанным.

— Теперь для меня понятна та любовь, которую я встретил со стороны моего приемного отца. Вот почему меня так влекло к нему с непонятною силой... то был отголосок материнской любви.

Суворов застал молодых людей беседующими. Грустные мысли бродили у старика, вспомнились ему молодые годы, вспомнил он трагическую судьбу любимой женщины, и в незлобивой душе его впервые зародилось чувство мести к человеку, разбившему его жизнь, убившему его невесту.

— Сама судьба послала тебя, Александр, на твою родину, чтобы отомстить за твою мать. Ты теперь знаешь имя ее убийцы, ты слышал, граф Казимир говорил, что этот мерзавец теперь один из вершителей судеб твоей родины. Какую участь может подготовить ей этот низкий корыстолюбец? — сказал Суворов.

— Батюшка, во время сегодняшнего боя вы, щадя мое национальное самолюбие, умышленно удалили меня с поля сражения. Я это понял и не настаивал: тяжело было поднимать руку на соотечественников... Но теперь убедительно вас прошу дать мне возможность участвовать в штурме Варшавы. О, с каким я удовольствием задушу этого негодяя собственными руками! — вскричал фон Франкенштейн с жаром.

При упоминании о штурме Варшавы граф Олинский вздрогнул.

— Я надеюсь, — сказал он, — что до этого не дойдет. Среди народной рады все больше и больше начинает преобладать сознание, что дальнейшая борьба бесполезна и что дело революции проиграно. Правда, Колонтай имеет большое влияние в столице, — продолжал граф Казимир. — Но его и в совете не любят, его лишь боятся как интригана, сегодняшнее же поражение Сераковского окончательно подорвет его значение, и я уверен, Варшава сдастся на милость русской императрицы, и тогда, дорогой кузен, я помогу тебе наказать этого негодяя, хотя бы мне пришлось поссориться с моим отцом, всецело находящимся под влиянием Колонтая, а пока мы

все-таки люди противоположных лагерей, если я только не пленник,— закончил граф Олинский, взглянув на Суворова.

— Нет, граф, вы свободны,— отвечал генерал,— вы можете уехать от нас во всякое время. Я знаю, ненадолго: вы здесь оставляете самого себя и скоро сами вернетесь. Молодой человек покраснел.

ГЛАВА XIII

Три дня провел граф Казимир в брестском лагере Суворова в ожидании возвращения Яна из Раховиц. В эти три дня он часто виделся с Ниной Николаевной и ее матерью, добрые отношения между молодыми людьми мало-помалу восстановились, и граф Казимир с радостью замечал, что не презрением к нему, а любовью переполнено сердце молодой девушки.

Под вечер третьего дня возвратился Ян, и отъезд графа Казимира был назначен на следующий день. Нина Николаевна была грустна, и слезы не раз навертывались у нее на глазах.

— Забудьте, что я вам говорила под впечатлением горя и раздражения; вполне понимаю ваше положение, иначе вы поступить не могли, я знаю, что немало горя вы пережили за это время, не причиняйте же его другим. Исполняйте ваш долг настолько, насколько это необходимо, но не рискуйте своею жизнью, если вы действительно любите меня...

Граф упал перед молодою девушкою на колени.

— О, дорогая моя, если бы вы знали, с каким нетерпением я ожидаю конца этой кровавой развязки. Даю вам слово навсегда уйти от политики. Если вы сделаете мне честь стать моею женою, мы уйдем далеко, далеко от всякой политики, всю мою жизнь я посвящу всецело вам, дорогая моя,— говорил с жаром молодой человек, покрывая руки Нины Николаевны поцелуями,— скажите мне только одно слово, дайте луч надежды.

— Я вас люблю,— тихо промолвила Нина,— но говорить теперь о замужестве, вы сами понимаете, нельзя. Я буду молить Бога, чтобы поскорее настали лучшие времена, чтобы Он сохранил вас здоровым и невредимым, а пока возьмите это на память,— и молодая девушка сняла с шеи образок и подала его графу.— Надеюсь, различие вероисповеданий не помешает вам принять

нашу святыню, это образ Скорбящей Божьей Матери. Он сохранит вас в опасностях и будет напоминать, что о вас скорбят, что за вас молятся.

Граф с благоговением надел образок на шею.

— Он мне вдвойне дорог: и как святыня, и как полученный от вас. Если бы вы знали, дорогая Нина Николаевна, что творится у меня теперь и в голове, и в сердце. По временам мне кажется, что я схожу с ума: в Варшаве у меня долг перед отечеством, а здесь — моя жизнь. Да, если бы действительно был долг, с этим можно было бы мириться, но дело в том, что долг не настоящий, а искусственный, созданный безумными людьми, и я против воли, вопреки разуму должен признать этот долг только потому, чтобы имя графов Олинских не запятнали именем изменников.

— Я видела, Казимир, причину вашего участия в инсурекции не в опасении, что скажет о вас толпа, а в любви к вашей родине, — сказала как бы с грустью Нина Николаевна.

— Нет, дорогая моя. Лгать не хочу. Родину свою я люблю, и потому-то я против инсурекции. Я смотрел на дело хладнокровнее других и потому-то был против революции; силы наши слишком неравны: мы, дезорганизованные, затеяли борьбу с тремя сильными и могущественными государствами. Исход такой борьбы нетрудно было предвидеть, не видели его лишь экзальтированные люди, да не хотели видеть люди бесчестные, вроде Колонтая, желавшие ловить рыбу в мутной воде. Тем не менее я должен был подчиниться общему течению. Будь я простой шляхтич, я мог бы оставаться в стороне простым зрителем, но граф Олинский не мог быть безучастным в то время, когда все высшее дворянство несло на алтарь отечества и жизнь, и достояние. Я сознаю всю бесцельность этой жертвы и все-таки приношу ее, — закончил граф со вздохом.

— Что даст эта неравная борьба? Прольются потоки крови, — продолжал он, — останутся тысячи вдов и сирот, страна будет разорена, и в конце концов положение Польши, и теперь печальное, ухудшится еще больше.

Появление генеральши переменяло тему разговора. Вскоре пришел и фон Франкенштейн и Суворов. Граф Казимир отвел кузена в сторону.

— Дорогой Александр, на твое попечение я оставляю Нину Николаевну, будь ей братом.

Александр молча пожал ему руку

На другой день рано утром он уехал в сопровождении Яна в Раховицы. Степан остался в лагере при дамах, он успел уже помириться со своею крестной.

Сражение под Брестом, уничтожив почти третью часть польских вооруженных сил, подорвало революцию в корне. Настроение варшавян изменилось, и недавнее ликование уступило место полному унынию. Костюшко немедленно поскакал в Гродно, чтобы стянуть свои войска к Варшаве. Он был так подавлен событиями, что ни с кем не говорил, и генералы, имевшие к нему дело, три дня не могли добиться, чтобы он принял их.

Не менее сильное впечатление произвел разгром корпуса Сераковского и в Петербурге, хотя впечатление это было несколько иного рода. Победив Сераковского, Суворов победил и многих из своих недоброжелателей и завистников, по крайней мере внешне. Его восхваляли, его превозносили, рассказывали про него анекдоты, цитировали его письма. Сделалось известным его письмо к Плутону Зубову, в котором, поздравляя его «со здешними победами», он писал: «Рекомендую в вашу милость моих братцев и деток, оруженосцев великой Екатерины, только в них прославившейся».

Екатерина пожаловала ему дорогой алмазный бант к шляпе и три пушки из числа отбитых им у поляков, а племянника его, полковника князя Горчакова, произвела в бригадиры.

Румянцев вдвойне был рад его успеху, ибо выбрал его и послал на свой страх. Теперь этот выбор оправдался таким блистательным образом. Фельдмаршал неоднократно благодарил Суворова в самых любезных выражениях, отнеся причину успехов к высшим дарованиям предводителя. О брестской победе он выразился: «Она важна столько по существу, сколько редка в своем роде и подтверждает истину, что большое искусство и горячая ревность предводителя и подражания достойный пример в подчиненных преодолевают все в воображении возможные труды и упорности».

Но брестский успех завершил победоносное движение Суворова на долгое время. Прежде всего надо было спустить с рук обузу — трофеи, пленных и польских дезертиров, которых накопилось около пятисот человек. Суворов рассортировал пленных и беглых. Не возбуждавших подозрений распустил по домам, а остальных вместе с отбитою артиллериею отправил под конвоем в Киев. Надо было выделить и для других целей

несколько отрядов, и под ружьем осталось не более 6000 человек. С такими силами нечего было и думать о продолжении наступательных действий, и Суворов остался в Бресте; разбили лагерь, вырыли землянки, и таким образом возник правильный городок с шатрами и бараками маркитантов и лавчонками евреев. Во всем необходимом было изобилие и дешевизна: фунт мяса продавался по копейке, курица по пять копеек, а ведро водки по пятьдесят копеек.

Скоро начались учения и производились ежедневно по два раза, исключая праздников и суббот. Они никогда не продолжались более полутора часов, зато отличались большою быстротою движения и содержательностью. Суворов находился каждое учение непременно при каком-нибудь полку, сам учил и командовал, но никогда не сердился и не бранился, в несколько дней раз устраивалось общее учение всему отряду. Пехота обучалась драться против конницы, ходить в штыки и работать ими, конница обучалась рубке. Насыпались правильные земляные укрепления, вооружались пушками и получали по несколько рот в гарнизон. Укрепления эти ночью штурмовались. Ото всех требовалась ловкость, проворство и тесно сомкнутый строй. При учениях Суворов говорил свои афоризмы и наставления: «Полк — подвижная крепость, дружно плечом к плечу — и зубом не возьмешь». После учения он произносил выдержки из своего катехизиса, дополняя их пояснениями и наставлениями, разбирал произведенный маневр, объяснял, что было хорошо и что худо, учил, как поступать впредь. Утреннее ученье заканчивалось разводом, на котором Суворов находился постоянно, присутствовал он также на вечерней заре и сам читал «Отче наш». Накануне праздников бывал у всенощной, а на праздниках у обедни в походной церкви какого-нибудь полка, становился у правого клироса и пел вместе с певчими по нотам, которые иногда держал перед ним регент певчих, офицер; читал также Апостола. Ежедневную жизнь вел он деятельную: кроме обширной переписки по службе и занятий с войсками, наблюдал лично за чистотою и порядком в лагере, ездил в госпиталь навещать больных и раненых, даже по два раза в день отведывал их пищу, то же делал и в ротах, и если замечал злоупотребления, то поступал с беспощадною строгостью. Несмотря на такую неустанную деятельность, он находил время для чтения, преимущественно по вечерам, имея в своем походном багаже

книги, и между ними комментарии Юлия Цезаря, своего любимого героя.

Так проходили дни за днями, спокойно и безмятежно для подчиненных, в волнении и нетерпении для начальника, остановленного на половине победного пути. Долгим и скучным показался ему месяц такого бездействия, но все это забылось в день желанного выступления в поход.

Во все время брестской стоянки генеральша Воропанова с дочерью находились в лагере. Думать о поездке к мужу она не могла, так как Гродно был отрезан от Бреста польскими войсками, тем не менее Степан свез к генералу от жены письмо и привез на него ответ. Семья, казалось, успокоилась, оставалось только ждать, тем не менее Нина Николаевна с каждым днем становилась грустнее и грустнее. Ни веселый нрав Суворова, ни заботы матери и старания фон Франкенштейна развлечь молодую девушку интересными рассказами не смягчали ее грусти, и Александр пришел к тому заключению, что любовь не знает ни политики, ни национальности и что единственное средство возратить молодой девушке покой и веселье — прекращение войны — не в его власти. Между тем незаметно для всех конец войны приближался, а вместе с ним приближались и важные перемены в жизни наших героев.

ГЛАВА XIV

С отступлением прусского короля из-под Варшавы корпус генерала Ферзена, занимавший правый фланг расположения пруссаков, отделился от них и направился левым берегом вверх по направлению к Пулавам для переправы, и хотя польский генерал Понинский употреблял все меры, чтобы помешать ему переправиться и соединиться с Суворовым, тем не менее Ферзен не только переправился, но при Мацеювицах атаковал Костюшко, шедшего на соединение с Понинским, разбил их наголову, и раненый Костюшко попал в плен.

Победа Суворова при Бресте произвела в польской войне переворот, а победа при Мацеювицах этот переворот, по словам Безбородко, закрепила.

Победа Ферзена была для Суворова сигналом к выступлению. Не дожидаясь соединения с Ферзеном, он послал ему приказ идти немедленно к Праге,

а Дерфельдену, хотя и не находившемуся в прямом ему подчинении, требование именем Румянцева, пользуясь победой Ферзена, бить и гнать литовских инсургентов и идти на соединение с ним. Князь Репнин, прямой начальник Дерфельдена, не зная ничего случившегося и думая заканчивать кампанию, отдал ему приказание располагаться по зимним квартирам. Дерфельден был в недоумении, как поступить, но начальник его авангарда Валерьян Зубов убедил его идти по зову Суворова. Совет такого лица, как брат фаворита, значил многое и снимал значительную долю ответственности в случае каких-либо недоразумений, кроме того, Дерфельден сам понимал фальшь всякого другого решения и выступил из Белостока.

После поражения и плена Костюшко польские корпуса и отряды стали поспешно стягиваться к Варшаве. Макрановский торопился достигнуть Буга, Дерфельден следовал за ним по пятам. Авангард его имел несколько стычек с польским арьергардом, в одной из них графу Зубову последним пущенным польским ядром оторвало ногу. Поляки уходили форсированными маршами, и уходили успешно. Макрановский успел проскользнуть к Варшаве, что несколько расстроило первоначальный план Суворова: он вынужден был изменить первоначальное свое направление.

До Варшавы оставалось недалеко. По доходившим известиям, поляки сильно укрепляли Варшаву и готовились к отпору. Суворов не только не скрывал этого от солдат, а, напротив, заранее внушал им, что Прага даром в руки не дастся. По своему обыкновению, объезжая ежедневно на походе войска, он останавливался у каждого полка, здоровался, балагурил, называл по именам знакомых солдат, говорил о предстоящих трудах. Чуть не весь полк сбегался, где ехал и беседовал с солдатами Суворов: это беспорядком не считалось.

— Нам давно туда пора,—говорил он,—помилуй Бог, пора; поляки копаются, как кроты в земле.

— Был бы приказ, батюшка, ваше сиятельство,—отвечали солдаты.— Будет приказ взять — так будет взято, кто сердит да не силен, тот козлу брат.

— Другого Измаила не выстроят,—кричали измаильские герои,—Измаил был крепок, да и тому не поздоровилось!

Дух войск как нельзя был лучше: брестское сидение не сопровождалось праздностью и безделием, последующий

поход был далеко не из трудных, переходы невелики, отдыхи частые, особенных недостатков ни в чем не ощущалось. Больше всего приходилось терпеть от холода, так как в холщовых кителях пронизывало насквозь особенно по ночам, но и это горе вскоре миновало — было подвезено теплое платье. Верный самому себе во всем, Суворов мерз в холодном кителе вместе с войсками и надел суконную куртку только тогда, когда все облачились в зимнее платье. Это обстоятельство не ускользнуло от внимания солдат (да и записано оно солдатом), было оценено ими по достоинству.

Поход этот был непродолжителен: вскоре бой под Кобылкой окончательно надломил польские силы и совершенно очистил путь к Варшаве.

Пять часов только длился бой при Кобылке, но бой был кровавый: не много ушло поляков в Варшаву.

Теперь при защите Праги должны были поляки сосредоточить свою энергию, собрать все средства, ибо Польша с ее революцией сконцентрировалась теперь в Варшаве, а с потерей Праги погибла и Варшава, и Польша, и революция.

Суворову надо было завладеть Прагой во что бы то ни стало, а выбор для того средств был невелик. Для правильной осады время было слишком позднее, и русские не имели ни одного орудия осадной артиллерии. Блокада Варшавы вместе с Прагой, может, и повела бы к желанному результату, так как продовольствия там запасено было немного, но для этого требовались большие силы, помимо другого препятствия — позднего времени. Оставалось одно — штурмовать. Средство было рискованное, так как, по сведениям, укрепления Праги были обширны, вооружены крупнокалиберной и многочисленной артиллерией, а гарнизон превышал 30 тысяч человек.

Но могло ли это остановить Суворова, которому всегда приходилось иметь дело с неприятелем, по численности всегда превосходящим его силы. Он никогда не задумывался над рискованными предприятиями, нередко ставя на карту свою будущность и приобретенную репутацию. Он твердо верил прежде всего в самого себя, затем в свои войска. Теперь, после блестящей кампании, такая уверенность могла только возрасти. Он решился сделать последний шаг. Он решил штурмовать Прагу...

Присоединился наконец и Дерфельден и расположился на правом фланге, Ферзен стал на левом. Общая

численность всех трех корпусов достигала 25 тысяч человек при 86 полевых орудиях. Суворов собрал военный совет и передал ему свой взгляд на дело. Было вынесено постановление идти к Праге и брать ее приступом, несмотря ни на какие укрепления. Началось приготовление штурмовых лестниц, фашинов и плетней.

На другой день на рассвете русские войска появились под стенами Праги... Запылали вокруг Варшавы маяки, понеслись во все стороны гонцы стягивать отряды с прусской границы, столица Польши пришла в смятение, да и было отчего: половина защитников уничтожена, главнокомандующий в плену, нового еще нет, в верховном совете начались раздоры, а русские войска с непобедимым Суворовым стоят уже под стенами и ждут только приказа, чтобы войти и испепелить все в отместку за предательскую резню русских.

Поляки были правы: действительно, солдаты ожидали только приказа и дорого обошлась бы населению Варшавы апрельская резня, если бы Суворов не решил пощадить Варшавы.

Положение Варшавы было критическое, тем не менее польские генералы проявили немало надменности. Командующий в Варшаве генерал Зайончек прислал к Суворову через трубача письмо, в котором требовал возвращения обоза Костюшко. В своих выражениях Зайончек не только обошел общепринятые формы приличия и вежливости, но и обращался к русскому генералу свысока. Суворов был в этом отношении щекотлив, выходка польского генерала задела его самолюбие, и он послал в ответ Зайончеку короткое, но энергичное резкое письмо, указав на неприличность его тона и на кичливость вождей польской инсurreкции по отношению к России. Письмо Зайончека возвратил обратно с предупреждением, что никакие послания не будут принимаемы, кроме тех, в которых будет говориться о раскаянии и забвении прошлого.

Между тем все приготовления к штурму были окончены, все необходимые рекогносцировки сделаны, и войска с распущенными знаменами, с барабанным боем и музыкой, тремя колоннами двинулись к Праге и вступили в назначенные им лагерные места, несколько дальше пушечного выстрела. Были еще два посланных из Варшавы: один от польского короля с просьбою отпустить в Варшаву для лечения его генерал-адъютанта Бышевского, раненого и взятого в плен, другой — от верховного совета с экипажем и врачом для раненого Костюшко.

Генерал-адъютанта Бышевского Суворов тотчас же отпустил, поручив засвидетельствовать королю его глубочайшее почтение, послу же верховного совета ответил, что Костюшко далеко и в лечении не нуждается, так как находится на попечении русских докторов.

Еще Суворов был сравнительно далеко от Варшавы, когда в ней начали обнаруживаться признаки волнения и внутренних раздоров. Не стало Костюшко, не стало той сдерживающей силы, которая сохраняла порядок и общее согласие. Поводом к взаимным неудовольствиям и распре послужил вопрос о выборе нового главнокомандующего. Когда зашла о том речь в верховном совете, Колонтай предложил Зайончека, которого Костюшко, уезжая из Варшавы, оставил вместо себя командовать войсками, но за последнее время всеобщая нелюбовь к Колонтаю пересилила тот страх, который он сумел нагнать на членов верховного совета, и влияние его пошатнулось. Игнатий Потоцкий предложил генерала Вавржецкого, и кандидат Потоцкого был принят почти единогласно, но совет встретил оппозицию со стороны вновь избранного главнокомандующего. Вавржецкий считал дело бесповоротно проигранным и от командования войсками упорно отказывался, несмотря на все просьбы членов совета. В бесплодных переговорах прошел целый день, близилась ночь, а у здания верховного совета бушевала чернь, угрожая анархией.

Старик граф Олинский отвел Вавржецкого в сторону.

— Вы видите,— указал он в окно на бушующую толпу,— если вы не примете командования и не восстановите порядка, толпа разорвет нас на куски. Из двух зол нужно выбирать меньшее: если вы не надеетесь отстоять Варшаву от врагов внешних — защитите ее от врагов внутренних, спасите от анархии.

— Вы можете, генерал, спасти отечество и от врагов внешних,— вмешался в разговор подошедший молодой граф Олинский,— если вы не верите в успех вооруженной борьбы, то вы можете в качестве главнокомандующего послать кого-нибудь к графу Суворову с просьбой о приостановке военных действий, а в Петербург — с мирными предложениями, и все наши силы обратить против Пруссии.

Вавржецкий молчал, по-видимому что-то обдумывая. Мало-помалу к нему стали подходить другие члены

верховного совета с настоятельными просьбами спасти всех и принять командование.

Вавржецкий согласился.

— Но вы, граф,— обратился он к Игнатию Потоцкому,— возьмите на себя труд отправиться к пленным русским дипломатическим чиновникам, барону Ашу и Дивову, и попросите их съездить к Суворову с предложением о приостановке военных действий.

Польские войска принесли присягу новому главнокомандующему, и волнения поулеглись, впрочем ненадолго. Игнатий Потоцкий заявил, что русские чиновники наотрез отказались быть посредниками в переговорах, тем временем и русские войска показались у стен Праги. Колонтай, недовольный ни верховным советом, ни главнокомандующим, строил интриги. Он образовал новый клуб для поддержания революции и краковского акта, но Вавржецкий заявил, что не допустит никаких нововведений против костюшкиного времени, тогда ксендз стал требовать, чтобы он принял делегацию от народа в состав верховного совета и управления вообще, но главнокомандующий отвечал, что с народом не будет иметь никаких сношений, помимо установленных властями. Колонтай не уgomонился и пустил слух, что будет объявлено равенство, и чернь начала собираться у дворца. Вавржецкий поскакал туда и разогнал сборище в самом начале.

Вся эта неурядица происходила накануне кровавой катастрофы, которая назревала без шума и надвигалась, как туча.

В русском отряде все приготовления к штурму были окончены, выбраны в полках стрелки, назначены рабочие, роздан шанцевый инструмент, объявлен по войскам приказ. Приказ был прочитан вечером 23 октября во всех ротах, батареях и эскадронах по три раза, чтобы каждый солдат подтверже его запомнил. В приказе, между прочим, говорилось: «Лезть шибко, пара за парой, товарищу оборонять товарища. Коли коротка лестница — штык в вал, и лезь по нем, другой, третий. Без нужды не стрелять, а бить и гнать штыком. Работать быстро и храбро, по-русски. Держаться своих в середине, от начальников не отставать, фронт везде. В дома не забегать, просящих пощады — щадить, безоружных не убивать, с бабами не воевать, малолеток не трогать. Кого убьют — царство небесное, живым — слава, слава, слава».

Кроме этого общего для всех приказа Суворов дал дополнительную инструкцию Ферзену. При малейшем сопротивлении он приказывал атаковать и действовать наступательно, не давая опомниться, а если неприятель стоит спокойно на месте, то прежде всего окружить его конницею и кричать ему: згода, пардон, отруц бронь. Кто послушается — тех отделять и отпускать на свободу, кто же вздумает обороняться — бить. Операцию вести быстро, действовать холодным оружием, принуждать к сдаче и не отдыхать до тех пор, пока все не будут забраны.

Прага — обширное предместье Варшавы, расположенное на правом берегу Вислы, — была обнесена большим валом, впереди которого находился прекрасно вооруженный ретраншемент, построенный под наблюдением искусных инженеров, над сооружением его все лето трудилось население Варшавы. С городом предместье сообщалось деревянным мостом, охраняемым батареей, кроме того, Прага защищалась батареями с острова и с того берега Вислы. Такие укрепления, принимая во внимание численный перевес варшавского гарнизона, могли бы быть названы неприступными, тем более что треть русского отряда состояла из кавалерии, осадной же артиллерии совсем не было. Но на стороне русских прежде всего было резкое преимущество в главном элементе победы — в высшем предводителе, а затем и в войсках. Закаленные не только в боях, но и в победах русские полки, уверенные в себе и в своем начальнике, представляли собою силу, неизмеримую числом рядов. Не то было у поляков. Бесспорно храбрые и воодушевленные любовью к родине, они, однако, вынесли немало ударов, нравственная сила их надломилась, между ними прокрадось уныние и с каждым днем усиливалось желание окончить эту тяжелую, неравную борьбу. Вследствие громадной убыли в предшествовавших сражениях, состав польских войск значительно изменился: на смену хорошо обученным и дисциплинированным солдатам явились молодые, неопытные. Легче стали сдаваться в плен и больше дезертировать. При таких условиях численный перевес не мог иметь значения.

Темная, мглистая ночь окутала землю.

В русском отряде запылали костры. Солдаты надели чистое белье, осматривали оружие, молились перед ротными и полковыми образами, поставленными у костров. Во втором часу ночи одна из штурмующих колонн

двинулась на указанное ей по диспозиции место, за нею последовали другие. Шли в гробовом молчании. В молчании же становились русские войска на места в ожидании сигнала. Слышались оклики польских часовых, да доносился отдаленный шум со стороны Праги из польского лагеря. Русские колонны точно замерли в неподвижном положении. Ни звука, ни шороха. Каждый стоял и думал свою думу: одного волновала жажда мести за предательски пролитую русскую кровь, другого осаждали мысли о семье, оставленной далеко-далеко, молящейся о нем и ждущей его возвращения... Возвратится ли он? И тысячи рук тихо поднимались кверху, творя крестное знамение. Фон Франкенштейна пробирал внутренний озноб. Как ни кутался он в свой плащ, все-таки он дрожал от холода. Молодой офицер знал, что не холод физический, не лихорадка тому причиной. Но и не трусость, думал он, за свою непродолжительную службу не раз я бывал в кровопролитных боях... Рымник, Фокшаны и Измаил со всеми их ужасами восстали в его памяти... Отчего же я там не испытывал того, что испытываю здесь? Во время измаильского штурма ночь была куда как холоднее, а мне было жарко... С треском взлетевшая на воздух ракета прервала размышления фон Франкенштейна. Да не его одного. У всех мелькнуло в голове: «Вот сейчас...» И действительно, с треском ракеты четыре колонны в грозном молчании быстро двинулись вперед.

В то время, когда русские колонны уже двинулись на штурм, за стенами Праги между польским главнокомандующим и генералом Зайончеком шел оживленный разговор. Разговаривавшие не ожидали столь быстрой развязки.

— Погибнет Прага и Варшава — Польша и революция еще не погибнут, — говорил Вавржецкий, — но если будет уничтожена армия, все тогда погибло.

— Значит, нужно сохранить армию, разбить русских, ей угрожающих, — отвечал с улыбкою Зайончек.

— Плохое средство вы рекомендуете для сохранения армии. Вы знаете, что я не малодушен. Я только не увлекаюсь и трезво смотрю на вещи: с нашими силами, достаточно уже надломленными, нам русских не разбить; погибнет Прага, и под ее развалинами погибнут остатки нашей армии, — с грустью говорил Вавржецкий. — Я послал верховному совету предложение капитулировать, войска же вывести из Варшавы и уговорить короля последовать за армией в пределы Пруссии.

— Что вы, Бог с вами! Как же можно уступать столицу без боя, да это значит на веки вечные покрыть позором польское оружие. В Праге русские, Бог даст, найдут себе могилу.

Вавржецкий тяжело вздохнул.

— Позор — трусость, а не благоразумие, я же предлагаю благоразумие, а не трусость, за зиму войска отдохнут, укомплектуются, обучатся и окрепнут духом. Тогда мы снова возобновим кампанию, тогда мы можем надеяться отобрать и Варшаву, можем надеяться спасти наше отечество, теперь же всякая попытка будет не только бесполезна, но и губельна. С кем мы будем теперь защищать Варшаву? Уж не с этими ли? — указал он на проходивших мимо солдат еврейского полка.

Евреи, отвернув полы своих длинных лапсердаков и стараясь принять по возможности воинственный вид, проходили мимо генералов.

— Напрасно вы так пренебрежительно отзываетесь о евреях, — возразил Зайончек, — правда, они народ далеко не воинственный, даже, можно сказать, трусы, но отличительная черта труса — это та, когда он не видит для себя спасения — набрасывается на врага с яростью дикого зверя. Он перестает быть не только трусом, но и человеком. В нем не остается присущих мыслящему существу слабостей и добродетелей. Это кровожадный зверь, не замечающий более опасностей и стремящийся только растерзать своего врага. Такими будут и наши еврейчики, отстаивая свои родные лачужки. Ведь Прага населена исключительно евреями. Недаром же они добровольно сформировали свой собственный полк. Для них их пожитки дороже, чем для иного поляка все его отечество и слава польского оружия, — с саркастической улыбкою закончил Зайончек.

Вавржецкий вспыхнул от негодования, резкое слово готово было сорваться с его уст, как треск ракеты, взлетевшей над русским отрядом, и выстрелы польских орудий с ретраншемента прервали двух генералов и предотвратили разгоравшуюся ссору.

— Штурм! — вскрикнули оба военачальника.

— Теперь не время считаться, — сказал, крестясь, Вавржецкий, — теперь нужно спасать если и не Варшаву, то честь армии. Пожав товарищу руку, он поскакал к левому флангу, а Зайончек к правому.

ГЛАВА XV

Ружейным и артиллерийским огнем с острова и с ретраншементов встретили поляки две первых русских колонны генерала Ласси и полковника князя Лобанова-Ростовского, но измаильские герои не замаялись: стойко выдержав огонь, они накрыли волчьи ямы плетнями, закидали ров фашишиком и стремительно бросились в атаку. Постоянные суворовские учения принесли здесь немалую пользу: с помощью штыка лезть на вал для солдата не было в диковинку. Приобретая в преодолении препятствий ловкость и сноровку, они с поразительной скоростью овладели гребнем вала, но здесь их ожидало упорное и отчаянное сопротивление; польскими войсками командовал генерал Ясинский, горячий патриот, храбрец и энтузиаст, незадолго перед тем говоривший, что или вернется в Варшаву победителем, или не вернется вовсе. Он сдержал свое слово и с саблей в руках пал под ударами атакующих.

Бой был жестокий. Поляки не просили пощады и сами ее не давали. Земля обагрилась кровью, покрылась грудями трупов. С не меньшим ожесточением происходил бой и на остальных пунктах пражских укреплений. Порыв всех штурмующих колонн был так стремителен, что все преграды переходили в их руки последовательно, одна за другою. Поляки не ожидали так скоро штурма, и он явился для них неожиданностью, что немало благоприветствовало штурмующим. Колонны генералов Рахманова и Тормасова в один миг завладели главным валом и батареями. Чем упорнее было сопротивление, тем ожесточеннее закипал бой.

Генерал Зайончек, за полчаса так уверенный в гибели русских, теперь, раненный пулею в живот, ускакал в Варшаву. Польские войска, теряя начальников, одного за другим, мало-помалу начали приходить в расстройство, недавняя их энергия и воодушевление начали уступать место унынию, перешедшему затем в панику. Смешавшись, польские полки начали искать спасения за валом Праги, сильное сопротивление до конца оказали лишь полки евреев, сражавшихся с замечательной храбростью. Все до одного легли они с оружием в руках.

Между ретраншементом и пражским валом русские войска были встречены свежелою польскою кавалериею, но она не в состоянии была уже остановить стремительного и бурного потока, и русские на плечах поляков ворвались в Прагу.

Кровь лилась рекою; стоны, вопли, проклятия, мольбы и боевые крики стояли гулом, сопровождаемые барабанным боем, ружейной трескотней и пушечными выстрелами. Кровопролитие было страшное, каждый шаг на улицах свидетельствовал о взаимном ожесточении; все площади были устланы телами, а последнее и самое страшное истребление было на берегу Вислы на виду у варшавского населения. На беду для своих же многие, спрятавшись в домах, не исключая и женщин, стали оттуда стрелять, бросать камнями и всем тяжелым, что попадалось под руку. Это еще больше усилило ярость солдат; бойня дошла до апогея, врывались в дома и били кого попало: и вооруженных, и безоружных, и оборонявшихся, и прятавшихся. Все гибло под ударами разъяренных солдат. В ужасе бросались с моста в надежде найти спасение на том берегу Вислы, но ужас спасавшихся увеличился еще больше, когда они увидели, что мост уже занят русскими егерями.

В отчаянии бросились в лодки, но они, будучи переполненными, тонули. Некоторые пускались вплавь, но погибали под пулями, посылаемыми им вдогонку. Никто не спасся. За несколько минут до занятия моста русскими едва успел ускакать по нему в Варшаву польский главнокомандующий.

Вавржецкий, увидев на мосту русских, ужаснулся за участь Варшавы. Он считал ее уже погибшею.

Не менее Вавржецкого ужаснулся и сам Суворов, наблюдавший за боем с близлежащего холма, по той страсти, с какой войска появлялись на польских укреплениях, по донесениям ординарцев и начальников; он видел, что войска сражались не только с особенной энергией, но и с крайним ожесточением. Хотя, по его приказанию, мост и оберегали егеря, хотя он отдал приказ никого не пускать на мост, тем не менее он не был уверен, что при том возбуждении, какое охватило войска, его приказание будет исполнено. Он вовсе не желал разгрома Варшавы и отдал приказание немедленно разрушить мост с нашей стороны. Мост запылал, и путь в Варшаву разгоряченными войскам был закрыт.

Солнце высоко стояло уже на небосклоне. Прага представляла собою обширную, не закрытую еще могилу, залитую кровью и наполненную трупами. Бой уже кончился, но между Прагою и Варшавой грохотала еще канонада. Вавржецкий не считал еще дела вконец проигранным и, пользуясь тем, что русские войска сбились в тесную кучу в Праге, осыпал их градом бомб и ядер,

вырывавших солдат десятками. Не оставались в долгу и русские, отвечая на выстрелы выстрелами.

Материального вреда русские выстрелы Варшаве почти не приносили, но производимое ими впечатление было ужасно. Свист ядер и треск гранат наводил ужас на жителей польской столицы; унылый набатный звон с колоколен костелов раздавался по городу и усиливал тяжелое впечатление. Варшавяне прятались в домах, погребах, устремлялись в костелы, искали спасения у иностранных посланников.

Верховный совет собрался на совещание, и не успел председатель открыть заседания, как влетевшая русская граната убила секретаря. В совете не было ксендза Колонтая, и так как он был казначеем рады народной, то отправились его разыскивать и не нашли. Колонтай бежал, в его квартире нашли лежащего без признаков жизни в луже крови молодого графа Олинского.

ГЛАВА XVI

В ночь, в которую Суворов повел войска на штурм, граф Казимир Олинский был свободен от службы и по примеру многих офицеров остался в Варшаве. Но в эту ночь ему почему-то не спалось; тяжелые предчувствия давили ему грудь и гнали сон от глаз. Проворочавшись до двух часов ночи с боку на бок, он встал и приказал седлать коня, чтобы ехать в Прагу. Конь уже был оседлан, когда в кабинет графа вбежал, запыхавшись, Ян.

— Ясновельможный пан грабя, ксендз Колонтай собрался в дорогу и сейчас уезжает из Варшавы.

— Куда?

— Не знаю, брат прибежал ко мне на минутку и говорит, что ксендз час тому назад приказал ему собираться в дорогу и никому об этом не говорить, сейчас он должен выехать на прусскую границу.

Кровь бросилась молодому человеку в голову.

— Теперь, негодяй, я тебя изобличу, ты хочешь украсть народные деньги, ограбить отечество, как ограбил и погубил мою тетку, нет, на этот раз тебе это не удастся! — с жаром вскричал граф Казимир, вскочил в седло и понесся карьером к дому Колонтая.

Он соскочил с лошади, когда со стороны Праги затрещали ружейные выстрелы и вскоре канонада потрясла землю.

«Началось,—подумал граф,—как быть?—Он пожалел, что не взял с собою силача Яна, который мог бы задержать ксендза, но сожаления были поздны.—Туда я еще поспею,—решил он,—а теперь нужно свести счеты с ксендзом».

С виду небольшой домик Колонтая у костела был погружен во мрак, казалось, что обитатели его спят безмятежным сном, не обращая внимания ни на ружейную трескотню, ни на канонаду, только во дворе изредка слышалось фыркание коней.

Со злобной улыбкой граф толкнул дверь.

«Не ожидаешь, пан пробощ,—думал он,—вместо Пруссии угодишь в тюрьму».

Дверь от толчка открылась, и граф на пороге столкнулся с Колонтаем.

— Добрый вечер, пан пробощ,—сказал он вызывающим тоном, не ускользнувшем от наблюдательного Колонтая.—Что это, в дорогу собрались,—указал он на дорожный мешок, который ксендз держал в левой руке.

Колонтай вздрогнул, но не растерялся и отвечал строгим голосом:

— Да, в дорогу.

— Можно любопытствовать: куда?

— Туда, где вы, граф, должны давно быть,—отвечал он еще строже, указывая свободною рукою по направлению Праги, откуда раздавались выстрелы.

— Вы правы, святой отец,—говорил граф Казимир, язвительно улыбаясь.—Я скачу теперь в бой, заехал за вами только, в надежде, что вы, как горячий патриот, тоже отправитесь на валы и, как духовный отец, своим словом и примером будете поддерживать малодушных, а раз вы собрались туда сами, так мне остается предложить себя в ваши спутники. Так в дорогу, пан пробощ, только сперва заедем в верховный совет.

— В совет? Зачем?

— Вы там оставите вот это,—указал граф на мешок.—Не забывайте, что мы едем в бой, неровен час нас убьют и народные деньги пропадут, так нельзя.

— Про какие деньги вы говорите, граф?

— Про те, которые лежат у вас здесь в мешке, которые поручены вам, как казначею рады народной, и которые вы хотите увезти с собою.

Ксендз злобно сверкнул глазами.

— Безумец, опомнись, что ты говоришь своему духовнику.

— И убийце моей тетки, графини Стефании Бронской, не так ли?

— Убийце твоей тетки? Да ты с ума сошел. Разве ты не знаешь, что она умерла в краковском монастыре.

— Монастыре? Морочьте этим других, но не меня. Умерла она в Петербурге, куда приехала искать защиты у русской императрицы. Но у нее остался сын, он жив, как жив и тот человек, который любил мою тетку. Он здесь, он командует русскими войсками. С ним и мой кузен. Он отомстит тебе, негодяй, за смерть и разорение своей матери, а я не позволю тебе обворовать отечество... В Пруссию ты не уедешь, ты отсюда не выйдешь! — не говорил уже, а кричал, не владея собою, граф Казимир и наступал на пятившегося в глубь коридора ксендза.

— Граф, мне жаль вас, вы больны, у вас расстроены нервы, вам наговорили про меня Бог весть что такое и вы поверили, — ласковым уже тоном заговорил ксендз. — Как мне ни горько слышать от моего духовного сына такие тяжкие обвинения, как ни унижительно для меня оправдываться, тем не менее я вам сейчас же докажу, что все это клевета. Вы подозреваете меня в желании похитить народные деньги... Вы сейчас раскаетесь в своих подозрениях и устыдитесь. Народные деньги я еще третьего дня сдал на хранение военному караулу, я сейчас же открою вам мешок, и вы увидите, что в нем; только не здесь, пожалуйста в комнату, — и Колонтай пошел вперед. При последних словах ксендза графа Казимира взяло сомнение: уж не погорячился ли он, не завела ли его антипатия к ксендзу Колонтаю слишком далеко, и он молча пошел за ксендзом. Подойдя к дверям, Колонтай открыл их и, предупредительно уступая графу дорогу, сказал вежливым тоном.

— Милости прошу.

Не успел молодой человек переступить порог, как ксендз, выхватив из-под рясы нож, всадил его графу Казимиру в спину между лопаток.

Несчастный повалился на пол.

— Удар, кажется, верный, от таких ударов не оживают, — пробормотал про себя ксендз, выходя во двор и спешно усаживаясь на коня.

Через час он подъезжал уже к заставе. Улицы были запружены народом, земля дрожала от гула выстрелов, над Прагою трепетало пламя пожара, по улицам неслись стон, никто не обращал внимания на беглеца.

Варшава была пощажена, но несчастная Прага испила чашу бедствий до дна. Пламя с моста перекинулось на

ближайшие постройки и, ничем не стесняемое, пошло гулять дальше. Помогали распространению пожара и бомбы, посылаемые с варшавских батарей. Не прошло и часу со времени занятия Праги русскими войсками, а она представляла собою сплошной адский костер, вид которого наводил ужас на варшавян, ожидавших той же участи и для своей столицы.

В 9 часов утра все уже было кончено, продолжался лишь пожар, да шел грабеж. Хотя Суворов в приказе и не упоминал о добыче, но таков был уж обычай времени, да и в суворовском катехизисе говорилось: возмешь лагерь — все твое, возмешь крепость — все твое. Грабеж продолжался весь день и всю ночь, но разжились солдаты на нем немного — грабить было нечего, так как еврейское население Праги отличалось бедностью, а если у кого и было что поценнее, то его припрятали заблаговременно.

Как только кончился бой, Суворову разбили простую солдатскую палатку, куда собрались начальники отдельных частей и знатные волонтеры, а их было при армии немало. Нервы у всех были до того натянуты, что некоторые истерически разрыдались, видя Прагу горящею, а себя победителями. Несмотря на очевидность, как-то не верилось, что все уже кончено. До чего было сильно общее напряжение, можно судить по тому, что сам Суворов в день штурма страдал жестокою лихорадкою, Шевич с трудом передвигал ноги, бригадир Поливанов, хворавший со дня выступления из Бреста, с трудом мог говорить, но в минуту штурма все хворости и болезни были забыты: Поливанов первым врубился в неприятельские ряды, а Шевич с несокрушимой энергией производил атаки одну стремительнее другой. Так умел Суворов передавать свою энергию подчиненным.

Собрались генералы в палатке предводителя, и начались взаимные поздравления, поцелуи и объятия. Не весел был один только фон Франкенштейн. Он не мог забыть, что он поляк, и хотя не чувствовал никакой духовной связи с Польшей, тем не менее какая-то скрытая боль гнездилась у него в сердце при виде позора того, что должно было бы называться его отечеством и что было родиною его матери, не мало беспокоила его также участь только что найденного двоюродного брата, которого он оценил и полюбил в течение трехдневной жизни с ним под Брестом. Жив ли он или пал, как многие из благородных его товарищей?

Суворов потребовал к себе пленных польских генералов, пожал им руки и обошелся ласково, выразив крайнее свое сожаление, что обстоятельства сводят их при такой грустной обстановке.

Между тем собрали кое-что закусить, и Суворов пригласил к завтраку пленных штаб-офицеров. Фон Франкенштейн за завтраком усердно расспрашивал всех пленных о графе Казимире Олинском, но сколько-нибудь определенных сведений добиться не мог. Завтрак уже окончился, когда к нему подошел молодой офицер.

— Я слышал, вы интересуетесь судьбою графа Олинского?

— Да, он мой двоюродный брат.

Поляк широко открыл от удивления глаза.

— Вас это удивляет? Порою удивляюсь этому я сам, но Бога ради, скажите, что с кузенком: жив ли он?

— С уверенностью могу сказать: жив. Сегодняшнюю ночь мы не ожидали штурма. Мы знали, что граф Суворов организатор штурма, и штурмом закончит, но не думали, чтобы так скоро, и потому в пражском лагере были далеко не все войска. Многих офицеров не было. Олинский, как свободный от службы, оставался в Варшаве и за два часа до штурма прислал мне ящик с вином.

Сообщение пленного офицера несколько облегчило фон Франкенштейна, и он спокойно отправился отдохнуть.

Улегся после завтрака и Суворов на принесенном ему сене. При палатке был поставлен караул, а поблизости расположились батальоны, но не было ни движения, ни шума. Солдаты соблюдали полную тишину и говорили даже вполголоса, чтобы не потревожить сна своего любимого вождя.

— Он не спит, когда мы спим,— поясняли они,— и в жизнь свою не проспал еще ни одного дела.

Отдохнув, Суворов отправил Румянцеву следующее донесение: «Сиятельнейший граф, ура! Прага наша».

Начинало свежить, и для генерала разбили калмыцкую кибитку.

После пробития вечерней зари Суворов еще раз взглянул на дымившиеся окровавленные развалины Праги.

— Пролилась река крови,— сказал он окружающим,— но устранилось гораздо большее зло затянувшейся войны со всеми гибельными ее последствиями.

Суворов был прав: не прошло и суток после пражского побоища, и в русском лагере явилось посольство от капитулирующей Варшавы.

ГЛАВА XVII

В бесчувственном состоянии привезли графа Казимира домой; немедленно явился доктор, а раненый продолжал оставаться в обморочном состоянии.

— Потеря крови, — сказал доктор, внимательно осмотрев рану. — Удар был нанесен неуверенной рукой, — продолжал он, — иначе бы граф не был теперь жив. Нож скользнул по лопатке, это ослабило силу удара и изменило его направление. Рана тяжела, но опасности не представляет.

Уверенный тон доктора успокоил старика графа и его дочь.

Вскоре и граф Казимир открыл глаза. Ему дали глоток шампанского, силы к молодому человеку возвратились, и он мог в коротких словах рассказать свой разговор с Колонтаем и свои предположения о похищении им денег народной рады.

Предположения молодого человека сейчас же подтвердились. Председатель верховного совета заехал проведать молодого графа и сообщил, что деньги Колонтаем похищены и что за ним уже послана погоня.

Председатель, однако, сомневался, что Колонтая задержат, он не надеялся даже на возвращение погони, так как паника охватила все население Варшавы, и кто только мог бежать — бежал в ту же ночь.

Сомнения председателя оказались справедливы. Не только Колонтай не вернулся в Варшаву, но не вернулась и погоня.

Офицер, посланный арестовать бежавшего ксендза и отобрать у него деньги, не только не исполнил приказа, но предупредил его об угрожающей опасности. Деморализация начиналась общая, и люди, еще не так давно с готовностью жертвовавшие жизнью за отечество, теперь забыли о нем и думали только о том, как бы лучше устроиться.

Но обо всем этом узнали потом.

Граф Казимир не мог допустить, чтобы офицер решился не исполнить приказа начальства, и тем более, воспользовавшись случаем, не возвратиться в город, осажденный неприятельскими войсками, а потому сообщение, что за ксендзом послана погоня, подействовало на всех успокоительно.

«Теперь он не уйдет от заслуженной кары», — думал раненый. Но как он ни бодрился, потеря крови делала

свое дело: вскоре силы молодого человека ослабели и он уснул.

— Ложись, отец, спать, я посижу возле брата, тебе предстоит немало дела завтра,— говорила старому графу дочь, молоденькая семнадцатилетняя девушка.

— Хорошо, только если Казимир проснется, ты лучше с ним не разговаривай и ему не позволяй говорить. Он должен собраться с силами.

Не успел старик подойти к двери, как раздался оглушительный шум и треск — в комнату влетела граната и разорвалась на мелкие куски. Со звоном посыпались оконные стекла, и комната наполнилась пороховым дымом.

В ужасе смолк старый граф, прислонясь к дверному косяку.

Он боялся пошевелиться, боялся взглянуть внутрь комнаты, где находились дочь и сын. Голос молодой девушки вывел его из оцепенения.

— Отец, ты не ранен? — спрашивала она с испугом.

— Что такое случилось? — спрашивал в недоумении граф Казимир.

— Ну, слава Богу, все целы,— отвечал со вздохом отец.— Русские берут Варшаву... Погибла Польша, погибла навеки,— и старик в изнеможении опустился в кресло.

— Колонтай и те, кто его слушал, погубили ее,— отвечал желчно раненый.

— Перестань, Казимир, не упрекай, теперь не время сводить счеты, нужно действовать.

Через несколько минут приехал адъютант короля.

— Я к вам, граф, по поручению его величества короля,— начал адъютант.— Во дворце собрались на совет все генералы и члены рады народной, ждут вас... Боже мой, Боже мой, сжался над несчастной Польшей!

— Русские вошли уже в город? — в ужасе спросила вся семья Олинских.

— Нет, но теперь их ничто не удерживает, Прага взята, и они обстреливают Варшаву. Удивляюсь только их глупости и варварству, представьте себе: вместо того чтобы воспользоваться мостом, по которому могли бы беспрепятственно войти в город, они сами подожгли его.

— Подождли? — вскричал молодой Олинский.— О, я узнаю графа Рымникского, этого рыцаря без страха и упрека. Вы говорите, капитан, по глупости и по варварству, а я вам скажу — по великодушию и благородству Суворова. Он обещал пощадить Варшаву и пощадил. Знаете, что было бы, если бы он не приказал сжечь мост?

От Варшавы остался бы лишь пепел. Разъяренные солдаты в отместку за апрельскую резню не оставили бы от города камня на камне. Суворов это понимал и приказал сжечь мост. Страсти поулягутся, Варшава будет капитулировать — ей больше ничего не остается делать — и тогда он введет свои войска спокойно.

Адъютант короля слушал объяснения графа Казимира с удивленным взором.

— Может быть... Может быть, я слишком невысокого мнения о русских... Но дело в том, нам надо спешить, — обратился он к старому графу, — нас ждут.

— Я к вашим услугам, — отвечал граф.

Во дворце, куда прибыл граф Олинский с адъютантом короля, шла суматоха. Лакеи бесцельно слонялись по коридорам; немногочисленные придворные, собравшись в одной из гостиных, боязливо перешептывались между собою. Во всем замечалась растерянность, на лицах у всех было написано беспокойство за свою судьбу. Не менее растерянными казались и члены верховного совета и городского магистрата, да и сам король. Один только Вавржецкий сохранял спокойствие духа и проявлял твердость. Он не верил в успех дела, он отказывался принять начальство над армией, но раз его побудили к этому, навязали командование, он с честью хотел выйти из своего затруднительного положения и не терял головы.

— Со сдачею Варшавы, ваше величество, — говорил он королю, — Польша еще не погибла, у нее есть армия, которая отдохнет, укомплектуется и еще покажет себя русским. Варшаву надо сдать, армия должна уйти на зимовку в Пруссию. Пруссаки, занятые своими домашними неурядицами, оставят нас в покое, только умоляем ваше величество следовать с армией.

Король медлил с ответом. Упорная борьба была не в натуре слабохарактерного Станислава. К тому же, против предложения главнокомандующего восстали все члены совета. Они не могли согласиться на отъезд короля. Тогда все присутствовавшие на совете генералы заявили, что они не признают теперь народной рады, показавшей полную свою неспособность, и будут подчиняться только королю и главнокомандующему, а потому теперь ждут приказаний его величества. Но король медлил с ответом, а с площади между тем все слышнее и слышнее стали доноситься крики бунтовавшей толпы. В нее проникло как-то известие, что генералы силою хотели увезти короля из столицы, и чернь, еще так недавно не признававшая

королевской власти, глумившаяся над ней, в короле теперь видела свою защиту.

Так бывает всегда.

Когда угрозы разогнать генералов и совет достигали зала, в котором происходило совещание, Вавржецкий вышел, чтобы разогнать толпу, что ему удалось без труда при помощи полка улан.

Во время отсутствия главнокомандующего городской магистрат и верховный совет одержали над ним верх, было решено послать на другой день депутацию для переговоров о капитуляции. Историки обращают внимание на тот факт, что как только вопрос о капитуляции был решен, продолжавшаяся все время канонада смолкла и не возобновлялась, а утром, в 8 часов, от варшавского берега отвалила под белым флагом лодка с депутатами от населения Варшавы, вверявшего себя великодушию победителя.

ГЛАВА XVIII

Под свежим впечатлением пражского штурма верховный совет, в виду пожираемого пламенем предместья, немедленно выслал из Варшавы свой архив в корпус Понятовского, куда отправил и народную казну, конечно, кроме денег, похищенных Колонтаем. Приверженцы русской партии или подозревавшиеся в этом были сейчас же выпущены из тюрем. Еще недавно им грозила серьезная опасность наравне с русскими пленными: Колонтай собирался внести в верховный совет предложение о предании их казни, теперь же самые заклятые враги России и русских ухаживали за ними.

Хотя городской магистрат послал к Суворову депутацию с мирными предложениями, тем не менее многие из жителей Варшавы сочли более благоразумным убраться подобру-поздорову заблаговременно, и с самого раннего утра 24-го числа потянулись из Варшавы длинные вереницы экипажей, обозов и пешеходов. Все те, кто не верил в благоприятный исход дела, а таких было немало, торопились избегнуть участи, постигшей население Праги. Уезжали не только обыватели, но покидали столицу и многие офицеры. Даже генерал Зайончек ускакал с невынутой из живота пулею.

В то время, когда беглецы спешно покидали город, депутация магистрата входила в лагерь.

Прежде чем принять депутацию, Суворов продиктовал дежурному генералу условия капитуляции, заключающиеся в следующем: оружие, артиллерию и снаряды сложить за городом в условленном месте, поспешно исправить мост, чтобы русские войска могли вступить в Варшаву немедленно, дается торжественное обещание именем русской императрицы, что все будет предано забвению и что польские войска по сложении оружия будут распущены по домам с обеспечением полной свободы и имущества каждого, то же гарантируется и мирным обывателям. Его величеству королю всеподобающая честь.

Варшавские депутаты, не ожидавшие такой умеренности, предвосхищавшие иных условий, которые мог предъявить победитель, от радости прослезились и отправились с дежурным генералом к Суворову. Будущий фельдмаршал, сидевший перед своей калмыцкой кибиткой, заметив, что депутаты подходят нерешительно, как бы волнуемые сомнениями, вскочил со своего места и, бросив саблю на землю, бросился к представителям Варшавы с распростертыми руками, крича по-польски: мир, мир. Обняв депутатов, он ввел их к себе в кибитку и начал угощать.

Переговоры велись в виде приятельской беседы и продолжались недолго: полякам нечего было выговаривать: им предложили более того, чего они ожидали сами.

Масса народа толпилась на варшавском берегу Вислы в ожидании возвращения депутатов и решения своей участи. Наконец лодка с возвращавшимися депутатами приблизилась к берегу, и с нее раздались радостные возгласы: «Мир, мир!»

Дрогнул берег от радостных кликов народа, выносившего депутатов из лодки на руках. Хотя все население Варшавы было очень довольно продиктованными русским главнокомандующим условиями, тем не менее переговоры этим не кончились и к Суворову являлось еще несколько посольств. Дело в том, что Вавржецкий ни за что не соглашался на разоружение армии и на настояния верховного совета отвечал, что не следовало начинать революцию, если хотят так подло ее окончить. Суворов согласился и с удалением армии из Варшавы, но требовал скорейшего ее выступления. Но Вавржецкий категорически заявил, что не может выступить ранее подготовки транспорта, на что понадобится несколько дней. Король снова прислал

к Суворову письмо с просьбою повременить со вступлением. Посланный, привезший письмо, был уполномочен королем вести переговоры не только о капитуляции Варшавы, но и для трактования о мире. Суворов возвратил письмо нераспечатанным, сказав посланному, что войны между Россией и Польшею нет, что он, Суворов, не министр, а военачальник, присланный для сокрушения мятежников, и что, кроме отправленных уже в Варшаву бумаг, ни о чем другом трактовать не станет.

Дав такой категоричный ответ, Суворов пожалел потом короля, поставленного в затруднительное положение, и, чтобы дать ему возможность умиротворить партии, в конце концов изменил свое первоначальное решение и отложил вступление войск в Варшаву до 1 ноября.

28 октября к Суворову снова прибыли прежние депутаты с просьбою поскорее вступать в город, так как они опасались за спокойствие и за короля ввиду возможных неожиданностей со стороны недовольных капитуляцией.

Это сообщение несколько беспокоило Суворова, и он предложил депутатам распорядиться, чтобы в день вступления в Варшаву войск двери и окна в домах были заперты. Предосторожность эта была далеко не лишняя: одна сумасбродная выходка фанатика, один предательский выстрел, и солдат не удержала бы никакая дисциплина, они разгромили бы Варшаву, а военный разгром польской столицы не входил в планы Суворова. По армии был отдан строгий приказ входить в Варшаву с незаряженными ружьями и орудиями.

Накануне вступления русских войск выступил из Варшавы Вавржецкий. Уходя, он просил короля ходатайствовать перед русской императрицей о милосердии, а перед Суворовым, чтобы допустил остаткам польского войска беспрепятственно уйти, не нападая на них и не преследуя.

В назначенный день с музыкою и развернутыми знаменами потянулись по заново отстроенному мосту русские войска в Варшаву. Суворов сам их объехал, наказывая солдатам вести себя добропорядочно и не отвечать на выстрелы, если бы таковые и были. Хотя приказ был отдан в категоричной форме, а Суворов был начальник строгий, тем не менее начальник головной колонны Буксгевден на свой страх и риск велел зарядить ружья и пушки.

К счастью, слушание это не имело дурных последствий.

Современник рассказывает, что войска выступали, как на парад, даже у казаков Исаева были вычищены лошаденки, что случалось очень редко, и то в особо торжественных случаях. Суворов, окруженный многочисленной свитой, но без орденов и знаков отличия, ехал впереди войск. Варшавский городской магистрат в полном сборе в парадной черной одежде ожидал его в начале моста. При приближении русского главнокомандующего старший член магистрата поднес ему на бархатной подушке городские ключи, а также хлеб-соль и благодарил за пощаду столицы. Суворов принял ключи, поцеловал их и громко поблагодарил Бога, что они куплены не такою ценою, как Прага. Передав ключи дежурному генералу, он по-братски обнялся с членами магистрата и пожимал окружающим руки...

На лице его было написано непритворное волнение.

ГЛАВА XIX

Прошло 17 дней после занятия русскими войсками Варшавы, и Польша была обезоружена. Вавржецкий не далеко ушел со своей армией. Воевать не хотелось никому: ни солдатам, ни офицерам; никто в успех войны больше не верил, все видели, что главнокомандующий ведет их на верную гибель, не видел этого только Вавржецкий, спасая свою воинскую честь. Армия далеко не разделяла взглядов своего главнокомандующего и не успела пройти от Варшавы несколько десятков верст, как среди нее стало обнаруживаться явное неповиновение начальству. Стоило послать разъезды в сторону русских, как разъезды, целые даже батальоны не только слагали оружие, но и переходили на русскую или на прусскую службу, смотря по тому, вблизи кого находились. Немало, конечно, способствовало сделанное Суворовым объявление об амнистии. Мало того что поляки сдавались русским целыми батальонами, но сдавшиеся наводили казаков на оставшихся под ружьем, чтобы только поскорее приблизить развязку, артиллеристы отпрягали лошадей, бросали пушки и на лошадях уезжали по домам, русским приходилось только подбирать брошенные орудия. Понятно, при таких условиях Вавржецкий не мог дольше сопротивляться, упрямство его было сломлено,

и он послал к Суворову генерала с заявлением, что польская армия готова сложить оружие: ничего другого ему не оставалось делать.

17 ноября Суворов доносил Румянцеву: «Виват великая Екатерина! Все кончено, сиятельный граф, Польша обезоружена».

Эта короткая, но в высшей степени блестящая кампания не только в России, но и во всей Европе произвела очень сильное впечатление. Когда генерал-майор Исленев привез в Петербург хлеб-соль и ключи Варшавы, при дворе на другой день был назначен большой сбор; граф Безбородко читал объявление о причинах войны с Польшею, затем был отслужен молебен при пушечной пальбе с коленопреклонением. Императрица, отведав варшавского хлеба и соли, собственноручно поднесла их дочери Суворова. В тот же день при дворе был большой парадный обед, во время которого императрица объявила о возведении Суворова в фельдмаршальское звание и сама подняла бокал за его здоровье. С верков Петропавловской крепости раздались в это время пушечные выстрелы: 201 выстрелом приветствовали нового фельдмаршала. В своем к нему рескрип императрица писала, что не она, Екатерина, а он сам, Суворов, своими победами произвел себя в фельдмаршалы, нарушив старшинство, от которого государыня отступать не любит.

Через племянника фельдмаршала, князя Алексея Горчакова, императрица послала ему фельдмаршальский жезл стоимостью в пятнадцать тысяч рублей и богатый алмазный бант, пожалованный к шляпе за Крупчицы. Кроме того, Екатерина, награждавшая всегда заслуги с истинно царскою щедростью, подарила Суворову в потомственное владение имение польского короля Кобринский Ключ с семью тысячами душ крестьян. Римский император и прусский король старались выказать фельдмаршалу свое внимание и благосклонность, постоянно ухаживая за ним, награждая орденами его ближайших сотрудников, родственников и даже курьеров. Король прусский Фридрих Вильгельм прислал Суворову ордена Черного и Красного Орла, как «свидетельство его ненарушимого почтения и особого уважения, хотя Суворов не нуждается в этих орденах для возвышения своей славы и, конечно, их не ищет»; австрийский император прислал ему свой осыпанный бриллиантами портрет, не скупился ни на рескрипты, ни на комплименты, поздравляя с фельдмаршальством, называл оконченную кампанию блестящею и, упомянув

про недавние успехи австрийских войск против французов, изъявил уверенность, что Суворов порадуетя «за своих старых учеников и товарищей по оружию»; и император, и король соперничали с русскою императрицею, награждавшей своего генерала широко, по-царски.

Осыпанный наградами Суворов не забывал и своих подчиненных, посылая в Петербург одно представление к наградам за другим и надоедая графу Платону Зубову просьбами то за одного, то за другого. Императрица, получая массу таких представлений, улыбалась, но ходатайство фельдмаршала удовлетворяла.

— Подумаешь,— говорила она, смеясь,— что все делали дело и только сам граф, по его словам, был простым зрителем.

Гриму же государыня писала: «Граф двух империй расхваливает одного инженер-поручика, который, по его словам, составлял план атак Измаила и Праги, а он, фельдмаршал, только выполнял их, вот и все, молодому человеку 24—25 лет, зовут его Глухов».

Имя Суворова, давно уже пользовавшегося в Европе почетною известностью, теперь стало знаменитым. Генерал Фаврат, начальствовавший над прусскими войсками, настолько был поражен быстрым исходом кампании, что прислал Суворову восторженное письмо, в котором сознавался, что, несмотря на свою добрую волю, прибыл к Петрокову так поздно, что ему оставалось только удивляться подвигам «великого Суворова». Письмо свое он начинал словами: «г. граф, генерал-аншеф, великий генерал, великий человек, великий рыцарь», заканчивал же его словами: «тот, который вам удивляется, который вас чтит, который вас уважает».

Еще более восторженно приветствовал его наш венский посланник граф Разумовский; он писал, что все солдаты в мире хотели бы быть его подчиненными и что все монархи были бы рады вверить ему свои армии. Русский посланник в Константинополе доносил в Петербург, что польская кампания Суворова произвела изумительный эффект в Константинополе, в глазах турок русская армия выросла еще больше, мусульмане напуганы, и Порта заявила о своем полном невмешательстве в дальнейшее решение польских дел. Посланник добавлял, что он обязан Суворову признательностью, благодаря ему Порта стала питать к петербургскому двору удвоенное почтение.

В Германии обаяние Суворова было тоже очень велико. Коалиция вела войну с Францией очень неудачно,

и в Берлине говорили, что только Россия может изменить положение дел. Где теперь армия в 60 тысяч человек оказывается недостаточною, там будет вполне довольно 30 тысяч при Суворове. Если Фридрих Великий ценил Шверина в десять тысяч человек, то за Суворова, говорили, можно дать втрое. Имей немецкие войска своим начальником пол-Суворова, говорили другие, немцы не были бы прогнаны до Майнца. Курьеры Суворова, говорили третьи, привозят известия о победах, курьеры же императорские спрашивают: можно ли побеждать?

Одним словом, Суворов сделался героем всей Европы.

ГЛАВА XX

24 ноября граф Головин роскошным балом праздновал именины своей жены. В больших хоромах графа собралась вся знать того времени. Здесь были и управляющий военным департаментом граф Салтыков, и граф Безбородко, князь В. В. Долгоруков, и П. Салтыков, граф Николай Зубов, князь Оболенский, граф Панин и другие. Каждый вновь прибывающий подходил к хозяйке и, поздравив ее с днем ангела, обращался не то с вопросом, не то с восклицанием:

— А, каково? Граф двух империй — фельдмаршал, ожидали вы?

— Да, этого никто не ожидал. Да что и удивляться, когда сам управляющий военным департаментом об этом узнал только за высочайшим обедом, — отвечал за хозяйку дома язвительно граф И. П. Салтыков по адресу своего брата.

— Желал бы я, чтобы ты был на моем месте, — отвечал тот.

— Не желаю, да и на службе оставаться не хочу, я уж подал просьбу об увольнении.

— И я тоже, — добавил князь В. В. Долгоруков.

— Недовольные, — шепнул граф Безбородко Николаю Зубову, саркастически улыбаясь.

— Я понимаю, — говорил, как бы оправдываясь, управлявший военным департаментом граф Салтыков, — что производство Суворова в фельдмаршалы обидно для старших по службе, но не моя в том вина. Польская война — не война, это военная прогулка, за которую графу Рымникскому достаточно было бы и генерал-адъютантского звания. Я так и докладывал госу-

дарыне, но ее величеству благоугодно было рассудить иначе.

— Для него и графского титула было много, и титул-то ему дали Бог весть за что,— ворчал старый генерал.— Скажите пожалуйста, что это за граф? Он и ступить в приличном обществе не умеет, от него солдатской кашей несет за три версты, а от каждого слова казармой отзывается.

— Я нахожу также эту награду неуместной,— начал докторальным тоном маленький человек в расшитом золотом мундире, в звездах и орденах,— по-моему, вообще награды—нелепица. Награждать можно за то, что человек не обязан был делать и сделал, награждать же за исполнение долга равносильно тому, что благодарить за то, что он мог бы совершить преступление, но не совершил.

— Конечно, ваше превосходительство, присутствующих вы исключаете из общего правила? — обратился к нему с язвительной улыбкою граф Безбородко, в упор смотря на его увешанную орденами грудь.

Хозяйка дома, видимо недовольная той завистью и враждою к герою, которыми были преисполнены ее гости, приветливой улыбкою поблагодарила Безбородко.

— Мне кажется, господа,— обратилась она к завистникам,— что обойденным старшим генералам должно быть обидным не то, что Александру Васильевичу государыня пожаловала фельдмаршальский жезл, а то, что судьба послала не их на штурм Праги и таким образом лишила жезла. Ведь он пожалован Александру Васильевичу не лицепрития ради, а за государственную заслугу. Недаром же заслуга эта оценена по достоинству и королем прусским, и императором австрийским, и нашими учеными и поэтами, и всем русским народом. Державин в своем письме к графу Александру Васильевичу коротко, но метко характеризует его, жаль, я не помню этого стихотворного послания, не помните ли вы, граф,— обратилась она к Безбородко.

— Помню от слова до слова. Вот оно:

Пошел, и где тристаты злобы?
Чему коснулся, все сразил:
Поля и грады стали гробы,
Шагнул — и царство покорил.

— Слишком высокопарно,— заметил, презрительно улыбаясь, член иностранной коллегии Морков, тот

самый старичок, который только что считал награды неуместными вообще, а по отношению к Суворову в особенности.

— Нашел к кому обращаться в стихах,— небрежно заметил князь Долгоруков,— много Суворов в поэзии понимает? Столько же, сколько и его крепостной камердинер Прошка. Как еще до сих пор не нашлось среди его поклонников музыканта или певца, который написал бы ноты для его петушиного пения. Это был бы подарок по нем.

Долго, быть может, перемывали бы завистники кости Суворову, но приход Державина, вошедшего уже в моду поэта, привлек общее внимание и на время прекратил излишнее злобы и зависти.

— Вы легки на помине, Гаврило Романович,— приветствовала входившего хозяйка дома,— граф Александр Андреевич только что читал нам ваше стихотворное послание к графу Александру Васильевичу.

— На это послание я сегодня получил ответ, тоже в стихах,— отвечал Державин.— Вот он,— продолжал поэт, вынимая из кармана лист бумаги.— Письмо длинное, если позволите, я вам прочту его начало.

Царица, севером владея,
Предписывает всем закон,
В деснице жезл судьбы имея,
Вращает сферу без препон.
Она светила возжигает,
Она и меркнуть им велит;
Через громы гнев свой возвсещает,
Через тихость благость всем явит.

— Дальше граф пишет прозой,— закончил Державин.
Граф Безбородко язвительно улыбнулся.

— Оказывается, князь,— обратился он к Долгорукову,— вы камердинера Прошку знаете лучше, чем его господина.

Долгоруков вспыхнул, но от ответа воздержался: в гостиную входила графиня Наталья Александровна Суворова со своим кузенком Хвостовым и его женою.

С появлением дочери Суворова в гостиной графини Головиной все сразу изменилось. Член иностранной коллегии Морков, незадолго перед тем находивший неуместною награду отца, рассыпался теперь перед дочерью. Не отставали от него и другие, и там, где полчаса тому назад раздавались порицания по адресу фельдмаршала, где злоба и зависть отравляли атмосферу, там теперь востор-

женные похвалы сыпались по адресу графа двух империй. Граф Безбородко, на глазах которого так быстро совершалась вся эта перемена, только добродушно улыбался.

— Не были бы они людьми, если бы поступали иначе,— говорил он Николаю Зубову.— Все мы люди, все человеки, а человек — животное, правда, разумное, а потому и более злое.

Граф Зубов почти не слушал своего собеседника. С приходом Натальи Александровны Суворовой он сделался нервен: его раздражала толпа льстецов, окружавшая молодую девушку. Раздражали они его не только потому, что лицемерно лгали, но и потому, что мешали ему остаться наедине с графиней. Но вот раздались звуки оркестра, Зубов вздрогнул и поспешно направился к молодой девушке приглашать ее на контрданс.

— Императрица согласна и в случае надобности будет ходатайствовать за меня перед вашим батюшкой,— сказал он, обращаясь к графине, когда они заняли свои места.— Теперь я жду вашего слова?..

— Я вам уже сказала,— отвечала молодая девушка, покраснев, едва слышным шепотом,— я вас люблю,— добавила она еще тише.

— Так вы мне позволите переговорить с вашим кузеном сегодня же?

— Поговорите, он против вас ничего не имеет, а со стороны кузины вы встретите поддержку, уж по одному тому, что являетесь соперником графа Эльмта, которого не любит за его лютеранство.

— Да, но его любит ваш батюшка, а это много значит,— сказал со вздохом граф.

— Но меня он больше любит,— отвечала, улыбаясь, графиня Наталья,— да к тому же ваш брат намекнул ему, что государыня не одобрит моего брака с Эльмтом, а воля государыни для моего отца — все.

— В таком случае, я могу считать себя вполне счастливым и сегодня же буду говорить с вашим кузеном.

Молодая девушка потупила взор.

Посторонний наблюдатель, глядя на молодых людей, никак не подумал бы, что пред ним почти жених и невеста, люди, готовящиеся навсегда связать свою жизнь вместе. Разговор велся так чинно, без увлечений, точно сговаривались насчет завтрашней прогулки.

Танцы кончились, и граф Николай Зубов, проводив графиню Наталью Александровну на место, отправился разыскивать Хвостова...

На обратном пути домой Хвостов поздравлял кузину.
— От души поздравляю тебя, дорогая Наташа, жених хоть куда, да и отец согласится. Чего ему надо? Молод, красив, по службе радив, брат Платона, а это много значит...

Рада была и жена Хвостова.

— Слава Богу, по крайней мере с немчурой развяжешься, а то дался же твоему папеньке сухорукий немец.

ГЛАВА XXI

Суворов в нервном возбуждении ходил взад и вперед по комнате. По миганию его глаз и подергиванию нижней губы видно было, что фельдмаршал не только взволнован, но и сильно озабочен.

Камердинер Прошка уже несколько минут стоит в комнате, в ожидании, пока граф остановится, но тот не замечает выжидательной позы своего старого слуги.

— Ваше сиятельство, генерал-поручик Потемкин дожидаются.

— Генерал Потемкин? Проси.

Через несколько минут вошел Потемкин.

— Мы с вами здесь работаем, а там, в Петербурге уничтожают нашу работу,— встретил фельдмаршал генерала.— О, эти ненавистные кабинетные дельцы, желающие управлять Россией с собственного просиженного дивана.

— Что случилось, ваше сиятельство?

— Что? То, что все, что я здесь делал, пошло на смарку. Я именем императрицы дал полную амнистию всем, не взял контрибуцию, восстановил законную власть и успокоил Польшу, а там этого мало. Зачем я миловал именем императрицы? Наши дипломаты мною недовольны, говорят, Суворов не нашелся... Дипломаты, пусть их, но ведь они окружают матушку царицу... Прочтите, что она пишет,— и Суворов подал Потемкину высочайший рескрипт.

«Преследовать вышедших из Варшавы инсургентов, не изнуря войск; вести затем войска на зимние квартиры по правому берегу Вислы, от устья Вепржа, куда прикнет линия австрийцев, до устья Нарова, где начнется линия пруссаков. Все военное имущество отобрать и послать, так же как и пленных, в русские пределы; гарантированную неприкосновенность лиц и имущество соблюсти, но главных деятелей апрельских событий и всех

чинов бывшего верховного совета арестовать и отправить в Петербург; короля препроводить в Гродно; иностранным посланникам объявить, что миссия их кончена. Взять с Варшавы сильную контрибуцию деньгами или предметами, полезными для войск, понуждая в случае надобности военною силою; арсеналы и все принадлежащее королю отобрать в казну; также регалии королевские, бунчуки, знамена, печати, маршальские жезлы и проч., равно публичную библиотеку, называемую Залусского, и все архивы, произведя тщательный осмотр монастырских архивов под предлогом отыскивания оружия. Управление краем производит, по праву завоевания, военною властью, от имени русской императрицы, уничтожив введенные последнею революцией советы и департаменты, и никаких протестов и манифестаций не допускать. Так как удержание Варшавы требует большого числа войска, которое нужно продовольствовать, особенно ввиду заботы о продовольствовании городского населения, то вследствие близости города к прусской границе, предложено прусскому королю взять ее на свое попечение и занять своими войсками; если же, по извещению русского посланника из Берлина, окажутся к тому с прусской стороны препятствия, то разрешается в крайности просто оставить Варшаву, предоставив ее собственному жребию. Окончательное решение участи Польши будет принято с общего согласия союзников».

— Ну, что вы на это скажете? — спросил Суворов Потемкина, когда тот окончил чтение. — Говорят, Суворов не нашелся, а того и не знают, что благодаря ненаходчивости Суворова Польша в месяц совершенно успокоилась. Требуют, чтобы я отправил в Петербург главных виновников революции, но как после этого поляки будут верить обещаниям, даваемым именем русской императрицы?.. Нет, я хотя и не дипломат, но уверен, что таким образом действий не расположишь поляков. А король? Как я ему передам письмо и повеление государыни ехать в Гродно? Ну да, впрочем, я церемониться не буду: раз дипломатия задумала учинить окончательный раздел Польши, не мешало бы и меня предупредить об этом или, на крайность, дать какую-нибудь инструкцию. Не дали, пусть пеняют на себя. Вот что я пишу им в ответ, прочтите, — и он подал заготовленный в Петербург ответ.

«При сдаче Варшавы, — писал фельдмаршал, — объявлена императорским именем всем покоряющимся свобода и забвение, потому что эта мера успешнее всяких

других способна умиротворить край и прекратить в нем всякие замешательства. От прощенных взяты реверсы в том, что они будут жить спокойно и воздержатся от вредных для России и союзников замыслов. Лица эти уволены с паспортами по домам, а некоторые остались жить в Варшаве. Из них, согласно полученного повеления, президент верховного совета Закржевский и наличные члены Игнатий Потоцкий и Мостовский будут отправлены в Петербург, но он, Суворов, счел нужным обнадежить их помилованием. Высочайшая воля будет объявлена королем по учреждении почтовых станций от Варшавы до Гродно, Варшава так оскудела, что едва пропитывается, а потому не только сильная, но и самая малая контрибуция ее разорила бы. На этом основании контрибуция не была наложена и ныне не налагается, а взамен ее приказано собирать скарбовые доходы. Высшее польское правительство упразднено, но городской магистрат восстановлен, он действует под наблюдением генерала Буксгевдена, отличаясь приверженностью к русской императрице. Протесты и манифестации и такого же направления книги воспрещены. Архивы, библиотеку Залусского и прочее приказано тайному советнику Ашу отыскивать и приготавливать к отправлению. Артиллерия, оружие, амуниция и другие предметы военной потребности забраны без остатка и перевозятся в русские пределы. По сношению с прусскими и австрийскими властями открыт ввоз из-за границы жизненных припасов, а потому жители Варшавы и квартирующие в ней войска будут иметь средства к пропитанию без особенной нужды. К тому же теперь зима, перемещать отдыхающие на винтер-квартирах войска с левой на правую сторону Вислы было бы затруднительно и для них беспокойно, а потому все они оставлены на своих местах, с которых и не тронутся впредь до нового повеления. На том же основании сообщено и прусскому королю, что русские войска остаются, и чтобы он для занятия города своих войск не посылал».

— Не произведет ли, ваше сиятельство, самостоятельный тон донесения нежелательного впечатления в Петербурге? — спросил Потемкин, прочитав ответ фельдмаршала.

— Я забочусь прежде всего о пользе дела и службы царской, а потом уже о тех впечатлениях, которые в других вызывают мои поступки, — отвечал раздраженно Суворов.

— Я получил сегодня из Петербурга от двоюродной сестры письмо,— продолжал Потемкин,— и потому пришел к вашему сиятельству. Ваши завистники не знают покоя.

— Старая песня,— улыбнулся фельдмаршал,— а что нового пишет ваша сестра?

— Зложелатели распространяют слухи о беспорядках у нас по хозяйственной части...

— Да я и сам не ожидаю особенного порядка. Когда же было видно, что во время войны хозяйство велось в образцовом порядке? Есть и злоупотребления, есть и невольные промахи. Без этого не обойтись. Злоупотребления будут наказаны, а что касается промахов невольных, то думаю — взятие Варшавы и замирение края важнее тех небольших недочетов, которые являются последствием спешности. Ведь благодаря этой спешке война закончена в несколько дней, да, в сорок дней... Я думаю, что такая быстрота дала государству экономию немалую.

— Вас обвиняют, ваше сиятельство, в беспорядках. Говорят, что вы окружаете себя скверными людьми, которые злоупотребляют вашим доверием...

— Скверными, а где взять хороших? За неимением хороших я привыкаю к плохим,— отвечал улыбаясь фельдмаршал.

Вошел адъютант с докладом, что явилась депутация от жителей с просьбой.

— С какою?

— Барон Аш отобрал в некоторых монастырях старинные книги для отправки их в Россию. Варшавяне очень дорожат этими памятниками церковной старины и пришли просить ваше сиятельство оставить книги в монастырях.

Суворов тяжело вздохнул и вышел в зал, где его ожидали депутаты.

Раскланявшись с ними, фельдмаршал высоко поднял руку кверху, подпрыгнул насколько мог высоко и сказал:

— Императрица Екатерина вот какая большая.— Затем, присев на корточки, продолжал:— А Суворов вот какой маленький,— и, раскланявшись с депутатами, поспешно вышел из зала. Переглянулись между собой депутаты, поняли, в чем дело, и отправились восвояси.

— Не одна будет еще подобная законная просьба, и не раз придется мне в ней отказывать,— говорил Суворов Потемкину, вернувшись из зала.— Кабы поскорее освободили меня от гражданских обязанностей, я солдат,

а не чиновник, и никогда не поймет меня чиновный мир Петербурга, точно так же как и я его не понимаю.

Но не скоро ему пришлось покинуть Варшаву. Хотя в Петербурге и были недовольны первыми его административными распоряжениями, тем не менее год целый находился он во главе управления краем.

ГЛАВА XXII

Граф Казимир Олинский быстро поправлялся. Бегство Колонтая и внутренние раздоры партий разочаровали старого графа. Он ясно теперь видел, что затевать революции не следовало, что революция принесла Польше новое горе, новые испытания, и покорился участи, начав искать сближения с русскими. Старый граф был один из немногих, если не единственный из варшавян, кто предвидел участь своего отечества.

— Погубили мы Польшу, — говорил он в кругу близких людей, — русские ее из своих рук не выпустят, отстоять силою мы не можем, так постараемся же установить хорошие отношения с русскими, чтобы не отягощать и без того тяжелого положения нашего отечества. Только при искренности с нашей стороны возможны добрые отношения.

Остановившись на такой мысли, граф начал действовать в этом направлении, и небезуспешно. Не прошло и месяца, как он был уже в хороших отношениях с Суворовым. Близость польского магната и русского военачальника весьма способствовала быстрому умиротворению края, благодаря чему тяжелое положение Варшавы было облегчено, контрибуция не была взята.

Суворов, знакомый уже с молодым графом, часто теперь посещал раненого, а фон Франкенштейн совсем поселился в доме Олинских, не оставляя кузена. Любезно встречавший его старый граф полюбил его теперь как сына. Вспоминая далекое, казалось, забытое прошлое, старик испытывал угрызения совести.

— Благодаря этому ханже, негодяю, мы принесли столько горя несчастной Стефании и ее сыну, мы оторвали его от родины и сделали его врагом ее. Что Польша может требовать от Александра, безжалостно выброшенного на пыльную дорогу?

И чем сильнее мучили угрызения совести старого графа, тем сильнее, тем горячее дарил он ему свои ласки.

Александр фон Франкенштейн переживал лучшие дни своей молодой жизни. Никогда он не чувствовал себя таким счастливым и довольным, как теперь. Никогда он не чувствовал такого подъема духа, как теперь, хотя видимых причин его приподнятого настроения, казалось, и не было; но если бы кто его видел с молоденькой кузиной Ядвигой, тот понял бы причину жизнерадостного настроения молодого человека. С юных лет находясь в походах и только на короткое время являясь гостем в замке своей приемной матери, Александр не знал ни женщин, ни любви. Теперь это чувство подкралось к нему незаметно и охватило его всего. Он в нем не разбирался и не рассуждал, он не знал, любит ли сам и любят ли его, он только чувствовал, что ему хорошо, очень хорошо, как никогда, и не хотел даже раздумывать, чтобы не нарушать того сладостного покоя, которым наслаждался уже около месяца.

Граф Казимир, как сторонний наблюдатель, больше был способен к анализу и к критическому отношению к окружающим. Он не мог не заметить, что его кузен со всем пылом юности полюбил его сестру и что молодая девушка, подметившая это чувство, принимает его благосклонно. Сделанное графом Казимиром открытие несказанно порадовало его: во взаимной любви молодых людей он видел забвение прошлого, в ней он видел тот мост, который соединяет графов Олинских с графом Бронским и уничтожает между ними пропасть, созданную ханжеством одних и корыстолюбием других. Своими мыслями он как-то поделился с отцом. Старик обрадовался открытию не меньше сына, даже больше. Брак молодых людей сделался его заветною мечтою, он снимал с его души горькие воспоминания и мирил его несколько с его совестью. Все чаще и чаще отец и сын оставляли молодых людей наедине, и в конце концов, когда Суворов приехал однажды навестить вставшего уже с постели графа Казимира, Александр обратился к нему:

— Батюшка, в Варшаву я вступал с нехорошим чувством, с жаждой мести, я не ожидал, что здесь, где столько выстрадала моя покойная мать, я найду свое счастье. Да, я здесь его нашел. Я люблю графиню Ядвигу, и она отвечает мне тем же. Благословите, батюшка.

Суворов молча заключил молодого человека в свои объятия.

— Благословляю и от души поздравляю,— сказал растроганный старик.— Порадуйся и за меня, поздравь

меня и нашу сестричку Суворочку, она тоже нашла свое счастье, она помолвлена с графом Николаем Зубовым. Он человек хороший, хороший служака и будет любить мою Наташу. Твоя невеста — девушка тоже хорошая, как и ее семья.

Этот вечер семья Олинских дольше засиделась за вечерним чаем. Свадьбу решили отпраздновать как можно скорее, и невеста взяла с фон Франкенштейна слово, что он оставит военную службу.

— Я слишком близко видела войну со всеми ее ужасами и потому не хочу, чтобы вы, Александр, подвергались опасностям, часто не вызываемым необходимостью. Я не хочу заставлять вас отказываться от защиты того, что судьба сделала для вас отечеством, но всегда ли военные проливают кровь, защищая отечество? До сих пор вы рисковали своею жизнью и здоровьем не для защиты отечества, а для расширения пределов его. Ну, а от этого вы можете отказаться без ущерба вашей воинской чести.

— Вы, дорогая Ядвига, предупредили мои желания. Несколько месяцев тому назад я решил оставить военную службу и поселиться у себя в Богемии. Теперь от вас самих зависит осуществление моих планов.

— Уступка за уступку, я готова поселиться с вами в вашей Богемии, не только в Богемии, но и на краю света, — отвечала, улыбаясь, молодая девушка, протягивая жениху руку, которую тот с жаром поцеловал.

ГЛАВА XXIII

Генерал Воропанов и его семья встречали рождественские святки в Гродно. Как были не похожи эти праздники на недавнюю Пасху, пережитую в страхе и волнении, с опасениями за жизнь. Край теперь был умиротворен, старое забыто, а новое приносило счастье и радость. Нина Николаевна была счастлива, и, казалось, ничто не могло теперь нарушить ее счастья. Граф Казимир Олинский совершенно выздоровел, его приезда ждут с минуты на минуту. Свадьба уже решена, медлить с нею не будут, генерал взял уже отпуск, чтобы ехать в Варшаву, поджидают только приезда жениха. Сначала хотели было отпраздновать свадьбу в Гродно, но семья графа и Суворов восстали против такого решения: отцу хотелось видеть счастье своих детей, а Суворов желал лично благословить

невесту, с отцом которой его связывала долголетняя служба и приятельские отношения, да и мать Агнеса, игуменья монастыря Кармелиток, у которой мать и дочь нашли убежище и защиту в тяжелые и опасные дни, полюбила молодую девушку и в свою очередь хотела быть свидетельницею счастья своего племянника. Семья Воропановых охотно подчинилась общему желанию.

В рождественский сочельник прибыл граф Казимир в Гродно и провел там праздники, а Новый год семья его невесты встречала уже вместе с ним и его семьей в Варшаве. Ожидались две свадьбы, шли спешные приготовления, в которых и Суворов принимал немалое участие. Чем ближе знакомился он с графиней Ядвигой, тем более радовался за Александра: молодая девушка отвечала тому идеалу женщины, которую он желал бы в жены своему приемному сыну. В счастье и радости молодых людей он находил и себе некоторое утешение и на время забывал те неприятности, которыми не переставали угощать враги его из Петербурга.

Наступил наконец давно желанный молодыми людьми день, и обе свадьбы были отпразднованы вместе. Недавние кровавые события были свежи еще у всех в памяти, и новобрачные, чтобы забыть ужасное прошлое, сейчас же после свадьбы уехали из Варшавы: фон Франкенштейны в богемское поместье графини Бодени, а молодые Олинские в рязанскую деревушку бабушки Нины Николаевны. С отъездом Александра Суворов почувствовал себя одиноким, забытым и захандрил. Управление краем по указке людей, незнакомых с положением дел, немало раздражало его и еще более усиливало хандру. Со всех сторон осаждали его просьбами, которые по зависимо- му своему положению от Петербурга он не мог исполнить; чем законнее и основательнее бывала не удовлетворенная им просьба, тем более он раздражался и готов был уже проситься из Варшавы в какое-нибудь другое, более спокойное место, тем более что приближался апрель, а вместе с ним и свадьба Наташи. Но мечтам старика не суждено было осуществиться: он был нужен в Варшаве, если и критиковались иногда его распоряжения как администратора, то его услуги как военачальника высоко ценились и могли еще понадобиться, быть может, в недалеком будущем. Вопрос о разделе Польши, решенный в общих чертах, был далек еще от решения по существу: с Австрией соглашение насчет новых границ было достигнуто без труда, но Пруссия, успевшая заклю-

чить мир с Францией, противилась плану раздела, представленному Россией. По выражению тогдашнего канцлера графа Безбородко, приходилось показать ей не только деятельность и твердость, но и зубы. Решено было заключить с Австрией союз против Пруссии, продолжая убеждать последнюю в сговорчивости, а Австрию к уступчивости, так как соглашение не достигалось из-за будущей австро-прусской границы. Но дело подвигалось все-таки медленно и угрожало уже дурным оборотом. В день свадьбы своей дочери, 29 апреля Суворов получил от императрицы рескрипт, в котором говорилось: «Вероломство берлинского двора, заключившего мир с Францией, заставляет нас быть настороже, ибо участь Польши не окончена, и наши предположения на этот счет еще не приняты». Поэтому в рескрипте объявлялось новое распределение войск и главного начальства над ними, причем войска в Варшаве и окрестностях подчинялись Суворову, другие две армии были образованы под начальством Румянцева и Репнина, Суворову было приказано готовиться к войне, иметь дружеские отношения с австрийскими войсками, но не подавать повода к охлаждению и с прусскими, разведывать, что в прусских областях будет происходить, и разрабатывать с Румянцевым и Репниным общие мероприятия. Понятно, при таких обстоятельствах Суворов не мог помышлять об отъезде, и свадьбу дочери отпраздновали без него.

Военные приготовления русских не остались в тайне от пруссаков и оказали свое влияние. Пруссия стала сговорчивее и наконец согласилась на русский план дележа.

Прошел год мирной деятельности Суворова в завоеванном крае. Акт о разделе Польши был уже подписан, приходилось выводить войска с занятой ими территории. Суворову было приказано поручить вывод войск Дерфельдену, самому же ехать в Петербург, где его ожидало новое назначение. Императрица писала ему, что познает пользу его службы, и далее продолжала: «Вы будете в других употреблениях, вам свойственных, или на иных пределах империи, где мы в спокойствии не столь уверены». Быстро покончив с делами и сдав войска Дерфельдену, выехал Суворов из Варшавы. Население Варшавы и члены магистрата провожали его с грустью. Участь Польши была уже решена, и варшавян страшило неизвестное будущее. Расставаясь с Суворовым, они расставались с человеком, которого знали, который показал

миролюбие и гуманность, уважение к личности побежденного, и расставались с ним с сожалением. Магистрат, прощаясь с фельдмаршалом, еще недавним врагом, вконец разгромившим Польшу, поднес теперь ему от имени населения Варшавы золотую табакерку с надписью: «Варшава своему избавителю». Прощаясь с Суворовым, варшавяне своим подношением благодарили его за сожжение пражского моста после взятия Праги. Они понимали, что если бы мост не был уничтожен по приказанию русского военачальника — несдобровать бы столице, не пощадили бы ее разъяренные солдаты, жаждавшие мести за смерть своих товарищей.

Подарок магистрата заставил Суворова прослезиться, он примирял его со всеми пережитыми неприятностями. Действительно, что может быть приятнее выражения признательности побежденного, выражения не вынужденного, так как Суворов и его войска навсегда покидали Варшаву, передавая ее пруссакам.

В морозный день покинул Суворов город, в котором немало потрудился. С удовольствием смотрел он по сторонам, замечая, что ужасные следы войны начинают сглаживаться и на месте недавнего пожара возводятся уже новые здания.

— Слава Богу, кажется, забыто прошлое, — говорил он крестясь.

Проехал он Прагу и много раз еще оглядывался назад, подолгу глядя на то место, где была после штурма разбита для него калмыцкая кибитка и где он принимал польских депутатов.

— Волчьи ямы еще не заросли, — указал он адъютанту, проезжая через линию передовых укреплений, — и колья остались в них до времени, но милостив Бог к России, разрушатся крамолы, и плевелы исчезнут, — закончил он, набожно крестясь.

Варшава и Прага вскоре исчезли в мгlistой дали, потянулась белая однообразная дорога.

Впереди скакал курьер, заботясь о лошадях и ночлеге. Суворов скакал без передышки. Всюду для нового фельдмаршала готовились торжественные встречи, но он послал уведомление с просьбою не устраивать в честь его ничего экстраординарного. В иных местах просьба фельдмаршала была принята за приказание, и ее исполнили в точности. В других же на нее взглянули, как на выражение скромности, и пожелали устроить Суворову торжественный прием помимо его воли. Фельдмаршал, узнав об этом на

последней станции перед местом торжественной встречи, пересаживался в кибитку курьера и проезжал незамеченным; так он проехал и Гродно, где его ожидал с почетным рапортом генерал-аншеф князь Репнин.

Длинный путь от Варшавы до Петербурга не обошелся без курьезных приключений. В одной белорусской деревушке приготовили фельдмаршалу избу для ночлега. Вычистили ее, вытопили, но хорошо не осмотрели и не заметили, что в запечье спала дряхлая старуха. Суворов, прибыв на ночлег, по обыкновению, окатился холодной водою и, чтобы расправить одеревеневшие от долгого сидения члены, начал прыгать по горнице, напевая арабские стихи из Корана. Проснулась старуха, увидела скачущим незнакомого голого старика, испугалась и заорала во все горло: «Нечистая сила, ратуйте, люди добрые»; испугался и Суворов, увидя выскочившую из-за печки старую ведьму. Долго потом он смеялся этому случаю, но старуху не так-то легко было успокоить. Она была в полной уверенности, что видела черта, и на все доводы близких людей отвечала: какой же граф станет голышом плясать да распевать чертовщину. Весь остальной путь прошел без приключений. В Стрельне фельдмаршала ожидала придворная карета, высланная по повелению императрицы с конюшенным эскортом. Здесь же его встретил и зять, граф Николай Зубов. Надев парадный фельдмаршальский мундир и ордена, Суворов без плаща, держа шляпу в руке, сел в карету. День был холодный, мороз превышал 20 градусов, но Суворов, не обращая на это внимания, проехал всю дорогу от Стрельны до Петербурга без плаща и шляпы. Зубов, генералы Арсеньев и Исленев, ехавшие с ним в одной карете, из уважения к фельдмаршалу были тоже в одних мундирах и дрожали от холода. Суворов был задумчив и почти всю дорогу проехал молча.

ГЛАВА XXIV

В Петербурге для Суворова и его штаба был приготовлен Таврический дворец. Государыня приказала узнать все привычки фельдмаршала и сообразно с ними устроить весь его домашний обиход. В комнате, смежной со спальней, была поставлена громадная гранитная ваза с холодной невскою водою и серебряный ковш с тазом для обливания, в спальне же — пышная постель из души-

стого сена. Зная нелюбовь Суворова к зеркалам, государыня в день приема приказала завесить их во дворце.

Победителю Варшавы оказывались всевозможные знаки внимания, на которые он и не рассчитывал. Государыня милостиво и долго беседовала с ним и в разговоре коснулась предполагаемой персидской экспедиции, предлагая ему руководство ею. Суворов попросил некоторое время на размышление и, откланявшись государыне, счастливый и радостный поехал в Таврический дворец. Выскочив из кареты, он быстро пробежал через все комнаты в спальню, разделся и, окатившись холодной водою, уселся возле ярко пылавшего камина и потребовал варенья.

Вскоре начались визиты. Одним из первых приехал Державин, которого Суворов принял дружески, в спальне. Вслед за ним приехал и граф Платон Зубов. Узнав о приезде временщика, Суворов быстро сбросил с себя куртку и встретил его на пороге спальни в одном нижнем белье. Державин, бывший свидетелем этой встречи, широко открыл глаза от удивления, что не ускользнуло от внимания Суворова. Платон Зубов был поражен такой встречей, он покраснел от гнева и негодования, но сделал вид, что не замечает выходки Суворова, и любезно его приветствовал. На любезность Суворов отвечал любезностями, и, поболтав немного, временщик и фельдмаршал любезно же расстались.

— Как аукнется, так и откликнется,— пояснил он удивленному Державину.

Дело в том, что когда Суворов приехал из Стрельны во дворец, то прежде чем представиться государыне, зашел обогреться к Платону Зубову. Тот встретил фельдмаршала не в парадной форме, а в повседневном костюме. Суворов принял это за неуважение и отплатил ему тем, что встретил его теперь в одном нижнем белье.

Новый фельдмаршал сделался предметом всеобщего внимания. Злоба и зависть на время притихли; все теперь старались заслужить его внимание и расположение, но Суворов знал людей, знал и цену их ухаживаниям. Его острый язык нет-нет да и язвил кого-нибудь больно. В своих суждениях он бывал слишком откровенен, а известного рода откровенность не нравится никому. Мало-помалу впечатление торжественной встречи изгладилось, злоба и зависть снова выползли из своих щелей, и враги подняли голову. Даже один из сановников, беспристрастно относившийся к Суворову, защищавший его от

нападок, как бы соглашаясь, говорил: да, действительно, чин по заслугам, а не по персоне. Государыня, высоко ценившая своего знаменитого полководца, хотя и знала его беспредельную преданность, тем не менее тяготилась его неуместной откровенностью, лагерною бесцеремонностью и своеобразными взглядами на приличия. Короче говоря, Екатерина не знала, как отделаться от причудливого старика. Она и прежде находила его около своей особы не на месте, а теперь тем более. Растопчин писал в это время, что в Петербурге не знают, как отделаться от Суворова. Скучал и тяготился бездельем и сам Суворов. Вскоре для него нашлось дело: он был назначен командовать войсками на юге и, избрав себе штаб-квартирою Тульчин, разослав войскам расписание их будущих квартир, сам в середине марта 1796 года выехал к месту службы.

В Тульчине Суворов встретил давно знакомую ему картину: неустройство войск было полнейшее, умирало огромное количество, особенно на работах в одесском порту, где годовой процент умерших доходил до четверти всего штатного состава войск, одна отдельная команда перемерла целиком. Причины тому были тоже не новые: многие генералы занимались подрядами на войска, строитель же Одессы, адмирал де Рибас наживался безбожно, рекруты приходили на укомплектование босые, полунагие, со всех сторон обиженные и изнуренные. Казармы были сырые, без бань, солдаты, находившиеся на работах и в жару, и в ненастье, не могли после работы ни обсушиться, ни согреться. Воды в Одессе не хватало даже и на приготовление пищи. Все наставления и приказы, данные Суворовым два года тому назад, были забыты, всюду царил полный беспорядок...

Суворов со свойственной ему энергией принялся за искоренение зла.

ГЛАВА XXV

6 ноября 1796 года скончалась императрица Екатерина II, и на престол вступил император Павел.

Внезапная кончина императрицы произвела на всех потрясающее действие: гвардия рыдала навзрыд, рыдания раздавались и в народе, и в храмах. Столица оплаки-

вала не только прославившуюся мудрым царствованием монархиню, но и свою судьбу. Все знали взаимные отношения цесаревича Павла Петровича с императрицей и опасались, что, вступив на престол, он все повернет по-новому. Боялись в особенности люди, близкие к покойной императрице. Опасения начали оправдываться с первых дней царствования. Была изменена политика, как внешняя, так и внутренняя. Война с Персией прекращена, приготовления к войне с французами приостановлены. В то время, когда приближенные покойной императрицы со страхом ожидали опалы, милости императора Павла лились широкой рекою. Несколько генералов было пожаловано в генерал-фельдмаршалы. Графские титулы и крестьяне раздавались щедрою рукою, но жизнь двора и высшего общества изменилось до неузнаваемости. Государь вставал рано и того же требовал от других. Уже в 7 часов утра он принимал доклады, в 9 часов утра присутствовал на разводе, подтянулись и правительственные учреждения, всюду с утра кипела работа, и горе было тому, с чьей стороны было замечено упущение: гнев государя обрушивался на того без милосердия.

В армии до восшествия императора Павла на престол творились безобразия: при производстве в офицеры и при дальнейших повышениях принимались во внимание не заслуги и личные качества, а протекция и покровительство. Чины раздавались даже и тем, кто вовсе не служил: Потемкин произвел в офицеры однажды одного булочника в Бендерах за то, что тот угодил ему булками, в Хотине он произвел в поручики портного за хорошо сшитое платье княгине Долгорукой. Многие служили только по спискам, находясь постоянно в отпусках. Император Павел сразу положил всем этим безобразиям конец. Был учрежден строгий контроль, власть генералов, а равно и фельдмаршалов была значительно ограничена, производство в офицеры сделалось прерогативой императорской власти. Изменено было обмундирование и снаряжение войск, был также изменен и воинский устав, было положено начало учреждению у нас Генерального штаба.

Реформы государя встретили много недовольных. К числу их принадлежал и Суворов. Ему не нравилось не только обмундирование солдат, крайне неудобное, но и подчинение такого живого организма, как армия, мертвой регламентации все предусматривающего, но, в сущности, многого не могущего предусмотреть устава. Более

всего ему, конечно, не нравилось ограничение фельдмаршальской власти.

Из всех недовольных Суворов больше чем кто-либо выражал свое недовольство новыми веяниями. Он не скупился на сарказмы и остроты, которые с удовольствием передавали друг другу.

— Пудра — не порох, а коса — не пушка, — говаривал старый фельдмаршал по поводу введения в армии кос и пудры.

Остроты Суворова, переходя из уст в уста, доходили, конечно, и до государя, мало-помалу поселяя в нем недовольство к чудаковатому фельдмаршалу. Недовольство это отчасти поддерживал и сам Суворов, не исполняя некоторых требований императора. Действовал так Суворов не от неповиновения, а на том основании, что считал повеления государя общими, от которых не только можно, но и должно отступать, если того требуют обстоятельства для пользы дела. Не так смотрел государь на своеволие фельдмаршала, приписывая его исключительно строптивости «старого чудака». Немного, конечно, способствовали и недоброжелатели, распуская про Рымникского графа невероятные сплетни.

Результатом таких обостренных отношений явился в приказе по армии выговор Суворову, за первым вскоре последовал и второй...

Суворов увидел, что при таких условиях служить он не может, не может быть полезным ни России, ни армии. До сих пор он бил турок и поляков, потому что воспитывал и подготовлял к победам войско по-своему. У него существовал даже свой военный катехизис. Теперь же воспитательная система и суворовская система обучения войск упразднились, всякое отступление от устава грозило немилостью государя, а новому уставу фельдмаршал не сочувствовал, его не признавал. Приходилось либо отречься от самого себя, или оставить службу. На первое правдолюбивый Суворов был не способен, а потому избрал второе. Он подал прошение об отставке. Но каково было его удивление и горе, когда он получил уведомление из Петербурга, что государь предупредил его желание и уволил от службы задолго до получения прошения об отставке...

Известие это было для старика равносильно громовому удару. Крепя сердце он, однако, примирился с царской немилостью и, сдав командование войсками старшему после себя генералу, решил переехать из Тульчина на

жительство в свое Кобринское имение и заняться там хозяйством. Отставка фельдмаршала повергла войска в уныние. Обаяние Суворова было слишком велико, и в армии заговорили о несправедливости и обиде русского героя, покрывшего Россию и российские знамена неувядаемою славою... Более десяти офицеров подали в отставку и просили Суворова, чтобы он принял их на службу. Растроганный фельдмаршал с радостью согласился исполнить их желание и, отправив их в Кобрин, собирался выехать туда сам, но его ожидал новый и более тяжелый удар.

В Тульчин приехал от генерал-прокурора князя Куракина коллежский советник Николев с сообщением, что государь назначает отставному фельдмаршалу местом жительства селение Кончанское в его новгородском имении, откуда он не вправе без высочайшего разрешения отлучаться. Николев должен сопровождать его в Кончанское и там при нем оставаться.

Это была ссылка.

И в ссылку покорно отправился старый герой, ему было позволено только на час заехать в Кобринское имение.

ГЛАВА XXVI

Среди лесов и болот Новгородской губернии затерялась небольшая деревушка, которой впоследствии суждено было приобрести громкую известность в русской истории.

В деревушке этой вот уже полтора месяца живет отставной фельдмаршал граф Суворов-Рымникский.

В описываемый нами день опальный владелец деревушки только что возвратился из церкви, где пел на клиросе, вместе с ним пришел и маленький седенький священник в полотняной рясе. Камердинер Прошка возился у чайного стола, заваривая любимый графом зверобойный чай.

— Так-то, батюшка,— говорил граф, присаживаясь к столу,— прежде пел Марсом, а теперь пою басом; пулями да калеными ядрами, бывало, перебрасывался с турками и поляками, а теперь с деревенскими мальчишками да бабками... Да и за то спасибо, что в бабки играть позволяют,— продолжал, немного помолчав, старый фельдмаршал, боюсь,— что и это скоро воспретят... Поехал на днях за семь верст к соседке, так Николев сейчас же тут как тут. Вам, мол, не позволено по гостям разъезжать.

Священник тяжело и сочувственно вздохнул.

— И подумаешь, как попираются истинные заслуги,— сказал он.— Другие весь век свой кроме вреда ничего не приносили, а посмотришь— живут в свое удовольствие... Иной и пороху не нюхал, а в генерал-адъютанты, в графы, в андреевские кавалеры попал, к примеру хотя бы взять графа Кутайсова...

— Э, батюшка, генералы бывают двух родов: одни рождаются генералами, другие ими делаются. Одни отличаются на поле сражения, другие на паркете... Поле-то сражения далеко от Питера, пойдя, доберись до него, да посмотри, что там делается, а паркет под боком. Кто половчее да поподлее, тот на нем и герой, а героев награждают. Ну, да Бог с ними, дали бы мне умереть спокойно да убрали бы отсюда Николева. Просил о том государя, ответа нет никакого, а тут одна беда за другою как снег на голову валится. С графиней Варварой Ивановной разошлись мы давно. Сами знаете— не по моей вине, дал я ей приличную пенсию— три тысячи рублей в год. Можно, кажется, жить. Так нет же, наделала долгов свыше двадцати тысяч рублей— просит заплатить. Откуда я возьму? Денег у меня свободных нет, разве вотчины закладывать? Так ведь у меня дети есть, сын и дочь, ну, конечно, отказал. Она на высочайшее имя с жалобой. Приказали и долги за жену уплатить, да и пенсию ей до восьми тысяч увеличить. Ну, куда ни шло, как-никак, а все же она жена. Послушайте, что дальше. Есть такой майор Чернозубов. Подал он жалобу, что по моему словесному приказанию израсходовал в Польше восемь тысяч двадцать один рубль на покупку фуража и денег до сих возврат не получил. Слыханное ли дело, чтобы такие приказания отдавались на словах, а тем более исполнялись? А между тем поверили ему на слово, меня даже не спросили и деньги с меня взыскали. Во время последней польской войны в Бресте были взяты вместе с трофеями лес и поташ. Как военная добыча, все это было продано, и деньги поступили в казну. Теперь владелец леса и поташа обратился к государю с жалобой, и с меня приказано взыскать двадцать восемь тысяч рублей. Дело даже дошло до того, что майор бывших польских войск Выгановский подал прошение о взыскании с меня тридцати шести тысяч рублей за опустошение во время войны его имения. Дело было так: Сераковский, отступая от Крупчицы, укрылся за местечком Выгаковским. Что же я должен был делать? Не стрелять по неприятелю, пото-

му что он спрятался в имении своего же офицера? В таком случае и воевать не надо. Одно из двух: война или мир? Правда, с меня не взыскали, но не взыскали только потому, что, как выяснилось из расследования, все имение Выгановского не стоило тридцати шести тысяч. Но достаточно и того, что по такой жалобе расследование производилось.

Словом, дело дошло до того, что я получаю от разных офицеров требования прислать то две, то три тысячи рублей с угрозами, что в противном случае будут жаловаться, что по моему словесному приказанию израсходовали деньги на казенные надобности и в возврате не получили. Тянут с меня все, кому только не лень. Без суда, без следствия меня разоряют.

Этого мало, держат меня здесь, как арестанта. Не только самого никуда не пускают, но и ко мне не допускают никого. Не знаю, разрешат ли ко мне приехать дочери и сыну?

Долго беседовали Суворов и старенький священник, вспоминая славное прошлое, критикуя не укладывавшееся в русскую мерку настоящее. В разговорах со старым священником отводил опальный фельдмаршал душу.

— Я не наемник, да и русские не наемники, а государь вводит в нашей армии порядки прусских наемников, забывая о том, что армия наша национальная, а не наемная. Россия не Пруссия, нельзя переносить в нее прусские порядки, не ломая национальности. Только национальная армия может быть столь непобедимою, какою была до сих пор наша. Почему пруссаков бьют тысячами, а наши сотни всегда выходят победителями? Над этим стоит подумать... Ну да, впрочем, посмотрим — время покажет, к чему поведут все нынешние реформы и кто был прав. Что станут тогда говорить и делать нынешние советники государя — вновь испеченные князья да графы?

— Правда ли, ваше сиятельство, что блаженной памяти императрица Екатерина Алексеевна оставила после себя духовную, которою устраняла от престола Павла Петровича и преемником после себя назначила великого князя Александра Павловича? Говорят, что духовная была скреплена вашим сиятельством и графом Безбородко.

— Если бы такая духовная и существовала, то скреплять ее я не мог. Я солдат и в дворские интриги никогда не вмешивался. Я сам слышал про такую духовную и не нахожу ничего невозможного. Покойная императрица и ныне царствующий государь никогда не сходились во

взглядах на государственные дела, императрица всегда опасалась, как бы Павел Петрович по вступлении на престол не уничтожил того, что она с большим трудом сделала и что почитала полезным. Опасения ее, как видно, были основательны. На внука, ею самую воспитанного, она надеялась больше. Есть и другое основание придавать этим слухам вероятность. Вам известно, что редко кто из лиц, близких к императрице, остался у власти. Кто и остался — тот не пользуется никаким доверием и доживает последние дни. Граф же Безбородко не только уцелел, но и в гору пошел, на него в месяц посыпалось столько наград, сколько не выпадало за все прошлое царствование: и княжеский титул, и деревни, и деньги, и бриллианты. Чем все это объяснить, как не тем, что хитрец Безбородко передал завещание императору, не допустив до обнародования его.

Священник тяжело вздохнул и промолвил:

— Нигде нет правды, кроме как там, — указал рукою на небо и, боязливо оглянувшись по сторонам, заторопился и стал собираться домой.

Фельдмаршал взял крестьянскую соломенную шляпу, в которой обыкновенно ходил, грушевую палку и пошел провожать гостя. Всю дорогу священник больше слушал, чем говорил, и боязливо озирался по сторонам. Суворов как будто заметил опасения старого священника и переменял тему разговора, заведя речь о сельском хозяйстве. У околицы хозяин и гость распрощались.

— Не забывают меня, батюшка, — говорил на прощание Суворов, — вы единственный, с кем мне разрешается видеться.

Священник обещал часто навещать старика и со вздохом выразил надежду, что Бог даст, времена переменятся, и, подобрав рясу, засеменил к порогу. Быстрою ходьбою думал заглушить деревенский священник то чувство страха, которое напало на него после слишком вольных суждений о реформах государя, но скорая ходьба только больше усиливала его душевное волнение. А что, как весь разговор подслушали да передадут Николеву? Пропал он тогда, не миновать ему Соловков. Да что Соловки, при строгости государя и в Сибирь упечь могут. Сколько раз давал себе слово старый священник в разговоре с фельдмаршалом не касаться ни государя, ни правительства, а между тем сам же всегда и начинает. Нет, это было в последний раз, решил он мысленно и ускорил шаги.

Опасения священника имели свое основание. Он знал, в каких условиях живет опальный фельдмаршал, он знал, какой за ним существует в лице Николева надзор, как следят за каждым его шагом, за каждым словом и обо всем доносят в Петербург, как старается Николев окружить фельдмаршала шпионами. Может быть, что тот же самый старый солдат, что помогал Прохору прислуживать, в то же время и подслушивал, чтобы передать затем Николеву.

Все это так и было. Приставленный для присмотра за Суворовым чиновник Николев всячески старался, угождая своему начальству, отравить жизнь фельдмаршалу, но не всегда его старания достигали цели. Благодаря отданному распоряжению на почте, он перехватывал все письма и по прочтении передавал лишь те, которые генерал-прокурор разрешал передавать, старался окружить графа шпионами, но это ему не удавалось, и он сам жаловался в Петербург, что прислуга графа груба и пьяна, говорит ему одни лишь дерзости и от нее ничего не узнаешь. Таковы и крестьяне. Действительно, и прислуга и мужики боготворили своего барина и, видя в Николеве его тюремщика, относились к нему грубо и даже дерзко. Не раз жаловался Николев в Петербурге на враждебное отношение к нему крестьян, на то, что ему отказывают в найме избы, в продаже жизненных припасов. В ветхом господском домике, в котором жил Суворов, помещения не было, и пристав вынужден был жить на конце села.

— Как до сих пор мужики собаками меня не травят,— жаловался он новгородскому губернатору Митусову.

Задумчивым возвращался домой Суворов. Со священником только он отводил душу и с его уходом снова чувствовал себя одиноким, заброшенным, пришибленным судьбою. Медленною, непривычною для него походкою шел он, опустив на грудь голову, направляясь к усадьбе. В голове его неотвязчиво гнезвился вопрос, разрешат ли дочери и сыну посетить его в Кончанском? На деревенской улице его окружили мальчишки.

— Барин-батюшка,—вопили они хором,—а ведь сегодня воскресенье.

Суворов остановился и очнулся от задумчивости.

— А и правда, что же, в бабки захотелось поиграть, ну, давайте их сюда,—и, порывшись в карманах своей полотняной куртки, он вытащил горсть конфет и стал раздавать их ребятишкам. Вскоре появились бабки, и старый фельдмаршал в увлечении игрою не отставал от деревенских мальчишек.

Выдав дочь замуж, Суворов не освободился от родительских забот: дочь заменил сын. Расставшись с женою, он оставил при ней и сына Аркадия. Одиннадцатилетним мальчиком он за заслуги отца был назначен камер-юнкером к великому князю Константину Павловичу и, таким образом, перешел на попечение от матери к отцу. Нужно было заботиться об его образовании и воспитании. Назначение графа Аркадия камер-юнкером совпало с отъездом отца в Тульчин, да к тому же педагогических способностей в себе Суворов не чувствовал, а потому оставил его в Петербурге на попечение замужней сестры, надзор же за образованием принял на себя граф Николай Зубов. Учителей у Аркадия было много, но обучение производилось отрывочно и без всякой системы. Будучи занят делом, Суворов мало мог уделять внимание сыну, но теперь он думал о нем все чаще и чаще. Былые сомнения в нем исчезли, и в мальчике он видел своего собственного сына: в чертах его детского характера он узнавал самого себя, и это старика радовало немало: ведь он его наследник, он будущий носитель его доблестного, прославленного имени. Свидания с ним он ждал с нетерпением, не меньше чем со своей Суворочкой и только что родившимся внуком.

Графиня Наталья Александровна Зубова, которую ссылка отца поразила как громом, сама с нетерпением ждала встречи с ним, но это было не так-то легко: нужно было просить разрешения государя, а для этого выбрать удобный момент. Наконец такой момент был выбран и разрешение дано. Письмо дочери о том, что она приезжает из Петербурга, пришло к Суворову одновременно с донесением из Кобринского имения о страшных беспорядках: имение грабили и расхищали все, кто только не ленился. Суворов взял к себе на службу бывших своих офицеров, наделив их землею и крестьянами, в полной уверенности, что они будут ему верными и преданными помощниками, но расчеты его не оправдались, и отставные офицеры стали расхитителями его имущества. Как ни неприятны были эти известия, в особенности после того, как ему пришлось выплатить без суда по различным, неосновательным претензиям крупные суммы, тем не менее он забыл все неприятности, получив письмо от дочери. Забыв хворости и недуги, одолевшие его за последнее время, он энергично принялся за приведение дома в порядок.

Вскоре приехала и Суворочка с сыном и братом, муж по службе остался в Павловске. Два месяца провел ста-

рик в семье, забывая всякие невзгоды, он помолодел душою и примирился с настоящим. Но прошло лето, наступила сырая дождливая осень, графиня Наталья Александровна собралась в Петербург. Проводив семью, Суворов загрустил снова, теперь он отпустил бывших при нем отставных солдат, и уединение его стало еще глуше, еще безжизненнее. Все реже и реже видели его на улице, деревенские мальчишки забыли, когда играли с барином в бабки, а барин по целым дням не выходил из своей горницы, погружаясь в книги. Только в воскресные и праздничные дни он исправно ходил в церковь, звонил на колокольне да пел на клиросе. Бывало, прежде в торжественные дни надевал он фельдмаршальский мундир, а теперь канифасный камзольчик никогда не сходил с его плеч. Так прошло около полугода. В феврале месяце 1798 года неожиданно прискакал в Кончанское племянник Суворова князь Андрей Горчаков, подполковник и флигель-адъютант государя. На дворе бушевала вьюга, ветер насквозь продувал ветхий домишко, хозяин которого, сидя за вечерним чаем, кутался в старый военный плащ.

— Ты опять сегодня плохо натопил печь,— ворчал он на камердинера Прошку.

— Топи не топи, все одно не стопишь, в щели все тепло поуйдет, новый дом нужно строить, ваше сиятельство.

— Подожди, придет весна — и за стройку примемся, а теперь как-нибудь и в этом решете перебедем... Никак, колокольчик, кто бы это мог быть, посмотри-ка, Прохор.

К крыльцу между тем подкатила почтовая тройка, а через несколько минут фельдмаршал держал в своих объятиях племянника.

— Андрюша, милый, дорогой, какими судьбами? Как ты решился приехать ко мне, не боясь государева гнева? Молодой человек улыбнулся.

— Да я к вам по повелению государя, дядюшка.

Суворов широко открыл глаза от удивления.

— Вот прочтите, это записка государя, полученная мною третьего дня.

«Ехать вам, князь, к графу Суворову,— читал фельдмаршал государевы строки,— сказать ему от меня, что если было что от него мне, я сего не помню, что может он ехать сюда, где, надеюсь, не будет повода подавать своим поведением к наималейшему недоразумению».

— Передай государю мою глубочайшую благодарность,— отвечал старик, возвращая записку,— но в Петербург я не поеду.

Горчаков был поражен. Он не ожидал от дяди такого ответа.

— Дядя, подумайте, что вы делаете? Ведь это только в записке дается вам разрешение, на словах же государь приказал мне во что бы то ни стало уговорить вас приехать в Петербург, он ищет примирения с вами, он хочет, чтобы вы опять служили, но так как считает вас виновным в неисполнении его приказаний, то хочет, чтобы вы первый заговорили о службе. Просьбы для этого не нужно, достаточно, чтобы в разговоре с государем вы намекнули, что вы желаете служить.

— Но я не хочу делать таких намеков.

— Дядя, от вас ли я это слышу? Вы отказываетесь от военной службы, вы, который для нее созданы, без которой вам жизнь не жизнь?

— Твоя правда, мой милый, только скажи мне, что ты называешь службой? По-моему, служить — значит приносить пользу, ну, а приносить ее при нынешних условиях я не могу. Если бы тебе связали руки и заставили плавать, поплыл ли бы ты? Вот точно так же и со мною. От меня требуют службы, а служить не дают. От меня как от военачальника могут требовать результатов, но заставлять добиваться этих результатов путем для меня чуждым, мною не признаваемым, не могут. А ведь этого требуют. Скажи, пожалуйста, если бы тебя заставили написать красиво записку и в то же время потребовали, чтобы твоей рукою водил другой человек — был ли бы ты уверен, что записка будет красиво написана? Не отказался ли бы ты от такого поручения? Почему же ты требуешь от меня того, от чего отказался бы сам? Ведь, предлагая мне службу, ждут от меня и дела. Ждут, что в мирное время я хорошо подготовлю войска к войне, а в военное время с этими войсками буду побеждать неприятеля, и при этом требуют, чтобы я готовил войска не так, как я до сих пор это делал, а иным способом. Но в этот иной способ я не верю. Моя подготовка, мое обучение войск имеют уже за собою прошлое, и славное прошлое: Фокшаны, Рымник, Туртукай, Гирсово, Измаил, Кинбурн, Крупчицы, Брест, Прага. А что имеет за собою та прусская система, которую навязывают мне? — ряд позорных неудач в Семилетнюю войну, неумелые действия в Польше и, наконец, позорная война с французами. И по этой-то системе хотят заставить меня готовить войска к победам. Могу ли я, оставаясь честным человеком, принять подобное предложение?

Князь Горчаков сознавал справедливость слов своего дяди и молчал.

— Ты молчишь, ты чувствуешь, что я прав. Так и скажи государю, что говорил со мною и что я тебе ответил.

— Дядя, вы знаете государя. Могу ли я это ему сказать? Вы можете в разговоре с ним высказать ваш взгляд на службу, и он выслушает вас, наконец, вы можете отказаться и от службы, как ему это будет ни неприятно, он все-таки отнесется с уважением к вашим взглядам, но отказаться от поездки в Петербург в то время, когда государь желает примириться с вами,— значит вызвать страшный гнев его, а каковы будут последствия царского гнева—один Бог ведает. Если вы не заботитесь о себе, то вспомните, то у вас есть сын и дочь, на которых может тяжело отразиться навлеченная вами немилость государя.

Суворов задумался. Он вполне разделял опасения племянника и видел, что поездки в Петербург ему не избежать. Он слишком любил своих детей, чтобы рисковать их будущностью, да и судьба племянника, бывшего при государе флигель-адъютантом, беспокоила его немало. Он решил отправиться в Петербург, но от разговора о службе всячески уклоняться.

— Хорошо,— отвечал он Горчакову,— в Петербург я поеду, но поеду на долгих: лета мои старые, я болен и скакать на почтовых не могу, да и нужды в том нет: не к спеху, не на войну. Что же касается службы, то так и знай, словом о ней не обмолвлюсь. Предложит сам государь—ладно, тогда я скажу ему, при каких условиях считаю для себя службу возможною. Только, думаю, толку из этого не выйдет никакого.

— Там, дядя, видно будет,— со вздохом облегчения промолвил племянник,— вы сняли с души моей страшное бремя.

— Ну ладно, об этом будет еще время потолковать, а теперь садись пить чай, верно, промерз: на дворе вишь какая стужа.

Прохор развел в камине огонь, и дядя с племянником уселись возле самовара, и под тихое урчание его завязалась мирная беседа. Суворов расспрашивал о родных, о петербургских новостях, о награжденных и опальных. Долго беседовали дядя и племянник, и старик лег спать много позже обыкновенного и, против обыкновения, провел ночь почти без сна. Целый рой мыслей теснился у него в голове и не давал ни на минуту покоя:

и самолюбие его было удовлетворено — о нем вспомнили, он понадобился, и радость свидания с близкими его сердцу, и, наконец, что его радовало и волновало больше всего — это то, что племянник привез Николеву приказание отправляться восвояси. Что будет впереди, он не знал еще, но от своего тюремщика освобожден.

Льстя себе тем, что он понадобился, Суворов ошибался, войны не предвиделось, и вряд ли государь руководствовался этим мотивом: были причины поважнее: опала Суворова — человека с громким, популярным именем могла только увеличить общее к опальному сочувствие, а потому представляла большие неудобства: государь желал положить конец борьбе двух волей, борьбе, носившей не совсем красивый характер, и желал, чтобы Суворов повинился.

Рано утром, на другой день после приезда своего в Кончанское, князь Горчаков снова выехал на почтовых в Петербург. Вслед за ним собрался в дорогу и Суворов, но поехал, как и говорил, на долгих.

Выехал немедленно и Николев, а крестьяне отслужили благодарственный молебен за освобождение своего барина от злого тюремщика.

ГЛАВА XXVII

— А что, приедет граф? — встретил вопросом государь Горчакова, только что прискакавшего из Кончанского.

— Он уже выехал, ваше императорское величество, но извиняется, что по слабости здоровья не может ехать на почтовых.

— А как он принял мое приглашение?

— С величайшей радостью, ваше величество.

— Во всяком случае, когда он может приехать?

— Через пять дней, ваше величество, — отвечал, немного подумав, Горчаков, зная, что государь не любит неопределенных ответов.

С тех пор государь каждый день справлялся у Горчакова: скоро ли приедет граф, как его здоровье. Очевидно, государь ожидал приезда старого фельдмаршала с нетерпением. Наконец Суворов приехал поздно вечером. Горчаков немедленно поскакал во дворец и доложил государю. Государь собирался спать и уже разделся, но, узнав

о приезде Суворова, надел шинель и вышел к его племяннику.

— Я принял бы вашего дядю сейчас, если бы не было так поздно, а потому попросите его завтра утром, я буду ждать его в девять часов.

Суворов был отставлен от службы без мундира, а потому Горчаков спросил государя, в какой форме явиться его дяде?

— В общей армейской,— отвечал, подумав немного, император.

Эту ночь юноша провел почти без сна: он знал государя, знал и своего дядю. Не сговориться им никогда, думал он, а мне придется все это расхлебывать, государь так мне и сказал — вздыхал он. Добро, если дядя воздержится завтра во дворце от своих выходок, а что, если... И при одной мысли о возможности скандала он с испугом вскочил с постели.

Опасения юного флигель-адъютанта (ему было 19 лет) оправдались: Суворов остался прежним Суворовым. Начать с того, что он не взял с собою военного платья и, отправляясь во дворец, надел мундир племянника. Во дворце, в приемной, в ожидании государя, он не мог воздержаться от проявления своей неприязни ко всему придворному и выражал ее в едких шутках и остротах в разговоре с находившимися в приемной придворными. Государь был на прогулке, и Горчаков ожидал его на подъезде. Первым вопросом государя было, приехал ли граф? Милостиво поздоровавшись с фельдмаршалом, государь под руку ввел его к себе в кабинет. Разговор длился целый час, в продолжение которого Горчаков был как на иголках.

— Ну, что, дядюшка?— спросил он Суворова по выходе его из государева кабинета.

— Ничего особенного, вспоминали старину; вези меня теперь на развод, я ваших нынешних порядков не знаю,— говорил он племяннику.

Тот тяжело вздохнул: предстояло новое испытание. Войска — больное место как государя, так и Суворова, взгляды на обучение их у императора и у фельдмаршала были разные, и здесь-то могли произойти недоразумения. Опасения Горчакова начали сбываться, едва подошли к экипажу: садясь в карету, Суворов запутался в прицепленной сзади наискось шпаге, не мог пролезть в дверцу, обходил карету, пробовал войти в нее через другую дверцу, но безуспешно: шпага мешала ему.

— Ты говоришь — поступать на службу — сперва нужно привыкнуть к новому обмундированию и снаряжению, а то как же я буду с неприятелем сражаться, когда с нынешней шпагой и в карету сесть не могу?

Прочудачив с четверть часа, Суворов уселся наконец в карету. Его выходки в тот же день были переданы государю. Хотя это было напрасно: Суворов не переставал блажить и в высочайшем присутствии. Государь, желая сделать фельдмаршалу приятное, производил учение батальона не так, как обыкновенно, а по-суворовски, водил его скорым шагом в атаку, но это нисколько не подкупило Суворова. Он отворачивался от мимо проходивших взводов, посмеивался, выказал видимое пренебрежение к учению. Наконец, все это ему надоело, и, подойдя к племяннику, он сказал: «Нет, не могу, поеду домой». Как его ни уговаривал Горчаков, доказывая, что его отъезд оскорбит государя, Суворов был непреклонен. «Не могу, брюхо болит», — сказал он и уехал.

Мрачным возвратился государь с развода и сейчас же потребовал к себе Горчакова.

— Целый час я разговаривал с вашим дядюшкой, — начал император Павел, — делал ему разные намеки с целью убедить его подать прошение снова на службу, но граф умышленно не понимал этих намеков, он даже как будто не заметил моего предложения. Потеряв надежду, я сам предлагал ему поступить на службу. Правда, мое предложение не носило прямого характера, но вызывало с его стороны ответ, а ответом могла быть лишь просьба, которой он не выразил. Вспоминая Измаил, граф долго рассказывал про его штурм, я терпеливо слушал его рассказ, а когда заметил ему потом, что он снова мог бы оказать неоцененные услуги отечеству, опять поступить на службу, то граф, вместо ответа на мое замечание, кидался на Крупчицы, то на Прагу. Так прошел целый час, потом странное поведение его на разводе... Извольте, сударь, ехать к вашему дяде, — закончил государь взволнованным голосом, — спросите у него самого объяснение его поступков и тотчас привезите мне ответ; до тех пор я за стол не сяду.

С беспокойством поскакал Горчаков на Крюков канал, где в доме Хвостова остановился его дядя.

Суворов лежал раздетый на диване и, разговаривая с Хвостовым, издевался над Петербургом и его порядками.

— Я к вам снова по поручению государя, дядя. Его величество обижен тем, что вы умышленно не поняли его

приглашения поступить на службу, и послал меня к вам спросить категорически, согласны ли вы?

— Ты мог также категорически государю ответить, не приезжая для этого сюда. Я тебе еще в Кончанском высказал свой взгляд на службу и его не изменю. Государя я люблю, я ему предан больше, чем все окружающие его льстецы, и моя преданность заставляет меня отказаться от службы, на которой я при нынешних условиях полезным не буду. Вступить на службу я соглашусь только с полною властью времени покойной государыни, с правом награждать, производить в чины до полковника, увольнять в отпуск. Я, мой милый, был подполковником и быть им снова не хочу, лучше поеду опять в деревню.

— Дядюшка, как я могу передать ваш ответ государю?

— Отвечай ему, что знаешь, а от своего я не отступлюсь,— отвечал старик раздраженно.

В страхе поехал Горчаков во дворец.

— Что ответил ваш дядя? — спросил его с нетерпением ожидавший государь.

Смущенный флигель-адъютант отвечал, что дядя растерялся в присутствии его величества, хорошо не помнит, что говорил, и крайне огорчен своей неловкостью. С радостью подчинится монаршей воле о поступлении на службу, если на то последует высочайшее соизволение.

Горчаков лгал от начала до конца, потому что другого выхода не видел. Государь не поверил ни одному его слову, хотя и не обнаружил своего недоверия.

Прощаясь с ним, государь, однако, заметил:

— Помните, князь, вы будете отвечать, если не вразумите вашего дядю.

Много раз после этого приглашал государь Суворова и на обеды, и на разводы, но старик был тверд, как камень. Несмотря на благосклонность императора, терпеливо сносившего все его причуды, несмотря на прозрачные намеки, на службу он не просился и продолжал по-прежнему блажить. После каждой выходки Суворова государь звал к себе Горчакова, грозно требовал от него объяснения; несчастный молодой человек скакал к дяде, просил его, умолял, получал прежние ответы и, возвращаясь к государю, по-прежнему давал объяснения.

— От слова до слова вы, князь, говорите неправду,— сказал ему как-то государь.— Я вас не виню, вы считаете неудобным передавать мне то, что говорит ваш дядя.

Будьте откровенны, скажите, почему он не хочет поступить на службу? Я никак этого не понимаю.

Горчаков, видя государя в хорошем расположении духа, откровенно изложил ему взгляд старого фельдмаршала на службу, его уверенность, что пользы он не принесет, подчиняясь тому уставу, который осуждает его ум. Государь задумался и потом промолвил: «Да, старик прав. Бог с ним». И когда Суворов попросил разрешения уехать снова в Кончанское, государь милостиво отпустил его.

Но в деревне граф пробыл недолго. Вскоре государь снова позвал его на службу, на этот раз старый фельдмаршал принял приглашение с радостью.

ГЛАВА XXVIII

Зима 1798/99 года застала Австрию в крайне критическом положении: воюя с Французской республикой, она теряла своих союзников одного за другим. Пруссия давно уже вышла из коалиции, папа и итальянские государи принуждены были заключить с Францией мир, и Австрия истощала свои силы в продолжительной войне. Много раз австрийский император обращался в Петербург за помощью, но безуспешно. Екатерина II, долго не соглашавшаяся, решила наконец послать свою армию, но смерть ее приостановила военные приготовления. Восшедши на престол, император Павел отменил все распоряжения прежнего царствования и категорически отказался от участия в войне. Австрийский император умолял спасти его государство, но Павел был непреклонен: он хотел дать России отдых после непрерывной сорокалетней военной тревоги. Французы, разбив австрийские войска, угрожали уже Вене, от которой были в двенадцати переходах. Заключив наскоро с французами перемирие, император снова обратился в Петербург. На этот раз свою просьбу он подкреплял существовавшим договором, по которому Россия обязывалась послать в Австрию двенадцатитысячный корпус в том случае, если наследственные земли австрийского дома будут подвергаться опасности. Опасность теперь им грозила. Император Павел, свято соблюдавший договоры, начал готовить вспомогательный корпус. Этим, быть может, и ограничилось бы, если бы французы были более тактичны и сдержанны, но какая-то роковая сила толкала их в пропасть: присоединяя Ионические острова, они аресто-

вали на острове Занте русского консула. Император Павел отвечал им конфискацией всех находившихся в России французских кораблей, товаров и капиталов. Предприняв под начальством Бонапарта экспедицию в Египет, они заняли остров Мальту, принадлежавший Мальтийскому ордену, гроссмейстером которого был император Павел. Оскорбленный этим поступком, император решил принять деятельное участие в войне и послать на помощь Австрии семидесятитысячную армию.

Весть о согласии русского императора послать в Австрию свои войска привела венский двор и венское общество в неописуемый восторг. Все ожили, всюду явилась уверенность в сокрушении силы республиканской Франции. Но среди всеобщей радости была немалая забота, всех беспокоил вопрос, где взять главнокомандующего? Эрцгерцог Карл командовал войсками на Рейне, а для Италии, как ни выбирали, среди австрийских генералов не находили подходящего.

В начале января 1799 года в венском салоне графини Бодени, княгини фон Франкенштейн собралось многочисленное высшее общество.

Разговор вертелся вокруг текущих событий и, главным образом, вокруг согласия русского императора послать на помощь Австрии свои войска. Но кто будет командовать союзною армией? Как ни судили гости графини Бодени, а найти подходящего главнокомандующего не могли. Все австрийские генералы не выдерживали критики. Их осуждали сами же австрийцы. Единственный хороший боевой генерал, эрцгерцог Карл, командовал на Рейне, и для Италии не оставалось никого. Приехавший барон Тугут — глава кабинета, удовлетворил всеобщее любопытство.

— Главнокомандующий уже избран. Император остановился на эрцгерцогe Палатине, — заявил он.

— Но эрцгерцог совсем юн, — раздались со всех сторон возгласы.

— Молодость не недостаток, — отвечал самоуверенно Тугут, — мы дадим ему опытного руководителя.

— Но кого же? — раздавались вопросы. — Руководитель — тот же главнокомандующий. Если нет подходящего генерала на пост главнокомандующего, то где же взять руководителя молодому эрцгерцогу?

— Найдем, — так же самоуверенно отвечал Тугут.

Пока гости перебирали всех австрийских генералов, ища среди них руководителя молодому эрцгерцогу, английский посланник горячо разговаривал с хозяйкою дома.

— Я и мое правительство давно предвидели то, о чем все только что узнали от барона Тугута, то, что Австрия из ложного самолюбия не допустит назначения на пост главнокомандующего русского генерала, она способна скорее вверить судьбу государства неопытному мальчику, чем иноземцу, хотя бы он был непобедимым Суворовым...

При упоминании имени Суворова княгиня с жаром пожала руку английского дипломата.

— Вы предупредили мои мысли, сэръ. В то время, когда все ломали себе голову, кто мог бы командовать союзною армиею, я не видела никого другого, кроме русского фельдмаршала графа Суворова-Рымникского. Он дважды уже привозил австрийские войска к победе, его солдаты наши знают, в их мнении Генерал-вперед стоит выше собственных генералов, прославившихся чрезмерною осторожностью и нерешительностью.

— Мы с вами сошлись, дорогая княгиня, во взглядах; тем лучше, тем охотнее вы мне поможете.

— Если вам нужна моя помощь в этом направлении, то вы смело можете рассчитывать на меня.

— Конечно, ваша помощь нужна и будет весьма ощутительна. Я в свою очередь буду сейчас же говорить с бароном Тугутом. Я категорически заявлю ему, что если главнокомандующим не будет назначен русский фельдмаршал граф Суворов, то Англия выходит из коалиции. Это не мое заявление, а заявление моего правительства.

— И я уверена, что будет весьма внушительно,— с жаром отвечала княгиня.— Национальное самолюбие барона Тугута для меня непонятно,— продолжала она,— в его самолюбии нет последовательности: за помощью обращается в Петербург с мольбою, в то же время не хочет вверить командования русскому генералу. Кончится тем, что вспыльчивый и самолюбивый император Павел не даст своих войск.

— А этого никак нельзя допускать, дорогая княгиня, помогите мне.

— Хорошо, я сделаю свое дело, а вы ступайте сейчас же к Тугуту.

В то время как английский посланник о чем-то горячо разговаривал с бароном Тугутом, хозяйка дома мирно беседовала с баронессою. Молодежь танцевала, и посторонний наблюдатель никак не догадался бы, что в этом светском салоне решается важный политический вопрос. Барон Тугут уехал домой раздраженный, в скверном на-

строении духа, хозяйка же дома и английский посланник торжествовали: им удалось сломить упрямство надменного барона.

Прошел год с тех пор, как Суворов, побывав в Петербурге, отказался от поступления на службу. Год этот произвел в старике большие перемены. Видя практическую деятельность для себя закрытою, он стал помышлять о посвящении последних дней своей жизни Богу. С энергией принялся он за приведение своих дел в порядок, а в декабре 1798 года он отправил государю просьбу, в которой писал: «Ваше императорское величество, всеподданнейше прошу позволить мне отбыть в Нилову, Новгородскую пустынь, где я намерен окончить мои краткие дни в службе Богу. Спаситель наш один безгрешен. Неумышленности моей прости, милосердный государь. Всеподданнейший богомолец Божий раб Александр Суворов».

Отставной фельдмаршал нисколько не сомневался, что просьба его будет исполнена, и готовился уже к отъезду. Дни проходили, однако, за днями, а ответа от государя все не было. Камердинер Прохор ходил как убитый: решение графа надеть монашескую рясу так его убивало, то он не рад был и вольной, которую обещал ему барин. Всегда пьяный, он теперь с горя не брал водки в рот, говоря приятелям, что ему не до выпивки и что его горе не потопить в вине.

Было начало февраля. Как и год тому назад, на дворе бушевала вьюга, как и год назад, сидел Суворов за вечерним чаем, беседуя с камердинером.

— Вот и вольную тебе написал, в день ухода в монастырь и подпишу ее, да жаль мне тебя, Прошка, и теперь ты пьяница горький, а тогда и совсем сопьешься.

Прохор упал, рыдая, на колени.

— Не надо мне вольной, барин-батюшка, не хороните себя только в монастыре. Богу и здесь молиться можно, церковь новую каменную выстроим, авось еще царю и отечеству пригодимся. Слышно, про войну опять поговаривают, а какая же война без вашего сиятельства?

Старик печально улыбнулся. Вспомнился ему прошлогодний приезд племянника, его поездка в Петербург, и он тяжело вздохнул. На дворе раздался звук почтового колокольчика. Прохор выскочил на крыльцо и через несколько минут ввел в горницу флигель-адъютанта императора Павла, полковника Толбухина.

— Высочайший рескрипт вашему сиятельству,— сказал флигель-адъютант, подавая графу письмо государя.

Разрешил или нет, думал фельдмаршал, вскрывая конверт. Но как он был поражен, прочитав царские строки. «Сейчас получил я, граф Александр Васильевич,— писал государь,— известие о настоятельном желании венского двора, чтобы вы предводительствовали армиями его в Италии, куда и мои корпуса Розенберга и Германа идут. Итак, посему и при теперешних европейских обстоятельствах, долгом почитаю не от своего только лица, но и от лица других предложить вам взять дело и команду на себя и прибыть сюда для отъезда в Вену».

Суворов преобразился. Вскочив с места с ловкостью юноши, он обнял Толбухина.

— Проща, ты прав, пьяница, ведь мы с тобой пригодились, нас царь не забыл, на французов посылает. Сейчас, государь мой,— продолжал он, обращаясь к Толбухину, я сочиню его величеству ответ, а вы отдохните да и скачите чуть свет обратно.

Присев к столу, он написал, что, исполняя монаршую волю, выезжает в Петербург немедленно. Два часа спустя Толбухин уехал в Петербург с письмом фельдмаршала, а на другой день граф, принеся в своей маленькой церкви горячую молитву, выехал в Петербург. Теперь он скакал уже на почтовых.

Государь, как и в прошлый раз, ждал его нетерпеливо: он не был уверен, примет ли старый причудливый фельдмаршал посланное ему приглашение, после того как в прошлом году он так решительно уклонился от службы. Государь не совсем верно понимал Суворова: тогда он не мог принять мирной службы на невыносимых, по его мнению, условиях, теперь же он не мог отказаться от службы боевой, бывшей его призванием, его жизнью. 8 февраля Толбухин возвратился в Петербург.

Прочитав привезенное от Суворова письмо, государь приказал его тотчас же отнести к императрице и сказать австрийскому послу, что Суворов приезжает и венский двор может рассчитывать на него.

На другой день приехал и Суворов.

ГЛАВА XXIX

«Да, судьба — Гелимерово колесо,— думал Суворов по приезде в Петербург.— Давно ли меня, заброшенного, забытого, старались всячески уязвить, унижить, а теперь...

вельможи считают за честь и счастье представиться старому фельдмаршалу...— И горькая улыбка мелькнула на его старческих губах.— Нет, теперь я цену людям знаю... жаль, что познал ее на закате дней, но лучше поздно, чем никогда...»

— Ваше сиятельство, в приемной вас ожидают,— прервал его размышления Прохор.

— Кто?

— Много разных таких, кого и на порог пускать не следует; даром что в расшитых золотом мундирах.

— Ну, ну, поддержи свой язык на привязи. Достаточно, что мой не в авантаже, а коли и ты начнешь еще, тогда нас совсем съедят,— полушутя-полусерьезно заметил Суворов, выходя в приемную.

Там его ожидало действительно многочисленное общество: и придворные, и дипломаты, и генералы. Злоба и зависть притихли, и вчерашние враги спешили теперь на поклон с изъявлениями своих чувств дружбы и преданности. Суворов не только выслушивал, но и отвечал очень любезно, хотя и не старался скрывать, что ни на волос не верит уверениям. Многие чувствовали себя не по себе под пытливым взглядом старого фельдмаршала, но, подавив свои чувства, надели личину любезности и доброжелательства.

Николев, недавний тюремщик Рымникского графа, и тот счел нужным явиться с изъявлением своего уважения.

Суворов весь вспыхнул при появлении Николева, краска негодования покрыла его лицо.

— А, и ты, мой благодетель, вспомнил меня,— встретил он его с саркастической улыбкой.— Чем же мне тебя угощать и потчевать?.. Эй, Прохор, посади этого господина выше всех, он того достоин.

Николев, принявший слова графа за чистую монету, рассыпался в благодарностях, а смекнувший в чем дело Прошка стал громоздить на диван стул, а на него скамейку. Когда была устроена эта эстрада, Суворов заставил Николева усесться на нее при общем смехе присутствовавших.

Правда, впоследствии Суворов стыдился своей выходки, но бестактность Николева была для него так неожиданна, что он не нашел в себе достаточно великодушия, чтобы не ответить на нее.

Со стороны петербургской публики посевший под лаврами герой встретил самый восторженный прием. За

ним теснились толпы народа. Стоило ему показаться на улице, как отовсюду раздавались приветственные клики. Почтение и уважение высказывались при всяком случае.

В армии и в особенности в войсках, предназначавшихся к походу, весть о назначении Суворова главнокомандующим произвела магическое действие.

Оба русские корпуса, отправляемые в Италию, были отданы в полное подчинение Суворову, ему разрешено требовать усиления русских войск под его начальством, когда он найдет то нужным. Рескрипты государя следовали один за другим с выражениями благоволения и благосклонности. В заключение государь, требовавший во всем подчинения уставам, на просьбу Суворова о некоторых изменениях в войсках отвечал:

— Веди войну по-своему, как умеешь.

Доверие государя к Суворову было, однако, не полное. Как только он отправил в Кончанское Толбухина, к генералу Герману послал рескрипт, в котором на Германа возлагались обязанности: «Иметь наблюдение за предприятиями Суворова, которые могли бы повести к вреду войск и общего дела, когда будет он увлекаться своим воображением, заставляющим его иногда забывать все на свете. И так хотя он по своей старости уже и не годится в Телемаки, тем не менее, однако же, вы будьте ментором, коего советы и мнения должны умерить порывы и отвагу воина, поседевшего под лаврами».

Герман, как человек с громадным самолюбием, не постеснялся принять этого предложения. Но осуществиться ему не пришлось: государь скоро понял Германа и оценил по достоинству Суворова.

ГЛАВА XXX

14 марта Суворов уже прибыл в Вену. По словам очевидца, как рассказывает биограф фельдмаршала А. Петрушевский, вся Вена словно преобразилась. О Суворове только и было речи; его оригинальность, жесты, слова, разбирались в мельчайших подробностях, перетолковывались, извращались до невероятного. Радость, доверие и надежду внушало присутствие Суворова всем от последнего горожанина до вельможи; казалось, новая жизнь прихлынула широким потоком. Даже в императоре заметили перемену: удовольствие светилось в его глазах, он был весел, как не бывал дотопе. Да и было отчего:

он получил в свое распоряжение вождя, доселе не побежденного, получил войска, сроднившиеся с победой. Последние нововведения нового царствования — полезные — принесли свою долю пользы, а вредные не успели еще проникнуть глубоко.

Русские войска все еще были войсками Рымника, Измаила, Праги; предводитель их оставался прежним Суворовым. На следующий день после приезда фельдмаршал поехал вместе с нашим послом графом Разумовским, у которого остановился, к императору. Теснившийся по улицам народ горячо его приветствовал, и восторженные виваты в честь императора Павла и Суворова оглашали воздух. Граф отвечал виватами в честь императора Франца. Около часа беседовал император наедине с русским фельдмаршалом. О чем они говорили, для всех осталось тайною. На другой день он представлялся императрице и французским принцессам. Сначала все шло хорошо. Чтобы подчинить Суворову старых австрийских генералов, его назначили австрийским фельдмаршалом, обещали полную свободу действий на театре войны, но взаимные отношения вскоре начали портиться. И император, и придворный военный совет желали, чтобы Суворов высказался, чтобы изложил свой план; старый фельдмаршал уклонялся. Всякий план, детально разработанный, как делали это австрийцы, в глазах Суворова не имел никакого значения. Он, как боевой генерал, прекрасно знал, что малейший непредвиденный маневр противника обесценит заранее тщательно приготовленный план и что потому такого плана быть не может; все зависит от обстоятельств. Не понимали этого австрийские цеховые тактики, привыкшие действовать по указке из кабинета. Ряд поражений, казалось, должен был доказать им всю непригодность их военной системы, но они были неисправимы в своем педантизме. Как ни приставал к Суворову военный придворный совет, чтобы он изложил ему свой план, фельдмаршал отвечал, что плана у него покамест нет и что он его составит на месте сообразно с обстоятельствами. Видя упорство русского фельдмаршала, придворный военный совет представил ему свой план, с просьбой от императора высказать свое мнение и исправить его. Суворов перечеркнул всю записку и написал внизу, что начнет кампанию переходом через Адду, а кончит, где Богу будет угодно. Последствием такой неподатливости между Суворовым и привыкшим властвовать безраздельно

бароном Тугутом установилась холодность, не предвещавшая ничего хорошего. Бывший свидетелем этих переговоров Разумовский опасался, что взаимные недовольствия отразятся на деле, и передал как-то свои опасения Суворову.

— Что же мне делать? Они требуют от меня невозможного. В кабинете они постоянно врут, а в поле их бьют, разве можно составлять подробный план войны, не видя противника? Ведь не с манекенами нам придется иметь дело, а с живыми людьми, которые не станут делать то, что нам нужно, чтобы дать нам возможность разыграть изготовленный заранее план как по нотам. План войны—это нелепость: могут быть лишь общие соображения—детали же предвидеть нельзя.

— Какие же ваши общие соображения?

— Перенести войну из Италии во Францию.

— Почему бы вам, граф, не сказать о своих общих предположениях придворному военному совету? Это несколько успокоило бы как его, так и императора,—говорил Суворову Разумовский.

— Во-первых, общие предположения их не удовлетворят, они захотят подробностей и, получив от меня маленькую уступку, сделаются более требовательными, а что я им могу сказать?.. Одно только обещаю: не следовать примеру других, не обращаться с французами так деликатно, как с дамами. Я уже стар для подобных любезностей.

24 марта Суворов уже выехал из Вены. На прощальной аудиенции император по-прежнему принял его весьма благосклонно и хотя заявил ему о полном своем доверии, тем не менее вручил инструкцию, в которой говорилось, что целью первых наступательных действий должно быть прикрытие австрийских владений и постепенное устранение от них опасности неприятельского вторжения, для чего надлежит обратить все усилия в Ломбардию и в сторону по левому берегу р. По. Достигнутые успехи оградят Южный Тироль от вторжения неприятеля, освободят от французов полуденную Италию и дадут возможность усилить союзную армию в Италии частью тирольских войск. Соображения свои о дальнейших действиях Суворов должен был затем сообщить императору. Наконец, чтобы внимание его не было отвлекаемо от главных военных соображений побочными заботами, генералу Мелассу поручено вести с придворным военным советом переписку о продовольствии и других потребностях.

Таким образом, эта инструкция явилась тем, во избежание чего Суворов не хотел обязываться перед придворным военным советом никакими заранее составленными предположениями.

В заключение инструкции проглядывало к Суворову, как к иностранцу, недоверие, ибо хозяйственная часть передавалась в ведение Меласса.

Таким образом, было сделано то самое, что перед этим было поручено членам придворного военного совета, но отвергнуто Суворовым, даже больше, потому что его мнения теперь не спрашивали. Пристрастие к системе и бумаге закрыли от венского двора живого и даровитого человека. Суворов принял инструкцию, заранее решив придерживаться ее настолько, насколько это будет нужно. Герой Рымника, Измаила и Праги никогда не стеснялся отступить не только от инструкций, но и действовать вопреки им. Он был того мнения, что успех все покроет, все извинит.

Из Вены Суворов ехал быстро, обгоняя форсированным маршем шедшие русские войска. В начале апреля он уже подъезжал к Вероне, куда уже успел вступить русский авангард под начальством Багратиона.

Навстречу главнокомандующему выехал австрийский генерал-квартирмейстер, маркиз Шателер. Суворов пригласил его к себе в карету, где маркиз развернул карту и стал объяснять расположение и движения войск, наводя фельдмаршала на мысль изложить его соображения и планы, но Суворов слушал рассеянно, время от времени произнося: штыки, штыки.

Въезд Суворова в Верону был триумфальным шествием цезаря. Народ со свойственным итальянцам энтузиазмом живо выражал свою радость и уважение к русскому полководцу, устраивая ему ряд горячих оваций.

Недалеко от города карету Суворова остановили многочисленные толпы народа, укрепили на ней принесенное из города знамя и с криками восторга провожали его до самых ворот, где прибавились новые и новые толпы народа. В воздухе носились виваты в честь Суворова, толпа шумела и волновалась, всячески выражая свой восторг.

Суворов был растроган до глубины души. Он понимал, что эти восторженные встречи и приемы не могли быть выражением благодарности за прошлое, как в России, но давали твердую надежду на будущее, выражая уверенность, что победная слава русского вождя будет светить и под южным небом Италии.

Правда, находились скептики, выражавшие сомнение насчет будущих побед Суворова, говоря, что французы не поляки и не турки. Не злоба и не зависть подсказывали это сомнение: французы успели нагнать страх на все окружающие народы своею неустрашимую храбростью и умением применяться к местности и обстоятельствам; подобно Суворову, они не придерживались ходячих тактических правил, как слепой стены, в чем повинны были австрийцы, они не составляли заранее детальных планов кампании, а действовали сообразно с обстоятельствами. При таких условиях они победили половину Европы; старая осмотрительная, выжидающая, с робко рассчитанными шагами тактика не могла устоять, и австрийцам приходилось утешаться, что французы побеждали их не по правилам. И действительно, склонность атаковать во что бы то ни стало обнаруживала во французах не только большой перевес над противником в духовной силе, так как атака имеет громадное преимущество перед выжидательною обороною, сбивая с толку нерешительного противника. Когда нельзя было обойти неприятеля, охватить его фланг или ударить его в тыл, французы без колебания шли на прорыв, били в лоб, несмотря ни на какие потери. Они переправлялись через реки днем, в виду неприятеля, зачастую вплавь, мосты наводили под огнем.

Горы переходили они с конницей и артиллерией, неся орудия на руках, взбирались на кручи и спускались в пропасти, увязая по плечи в снегах. Зимние кампании, нигде и никем в Европе не признаваемые, у французов вошли в правило. Палаток не было, бивуакировали на снегу, без одежды, полунагие. Форсированные марши производили без обуви, в атаку ходили впроголодь. Французский солдат считал себя обязанным делать все, что от него требовала война, и был убежден в своей годности на все. Он усвоил себе привычку — не иметь ни к чему привычки. Одним словом, французы делали то, что для дюжинного благоразумия считалось невозможным. Такой противник грозен был для Европы, скептики считали грозным его и для Суворова, забывая, что французы являлись лишь последователями его системы, по которой русские войска воспитывались уже давно и благодаря которой на протяжении сорока лет одерживали блистательные победы. Недаром не один из иностранцев говорил, что русские батальоны тверды и несокрушимы, подобно каменным бастионам.

ГЛАВА XXXI

Не успел Суворов приехать в Верону, как в доме, где он остановился, в приемном зале собрались все русские и австрийские генералы, местное высшее духовенство администрация и представители сословий. Выйдя к ним в зал и приветствовав собравшихся общим поклоном, фельдмаршал подошел под благословение веронского епископа. Приняв благословение, он обратился к присутствующим с краткой речью, в которой заявил, что прибыл в Италию, чтобы изгнать французов и восстановить веру и трон, попросив молитв у епископа, причем рекомендовал верность и повиновение законам, поклонившись присутствующим, он вышел. Все стали расходиться. Когда в зале остались лишь русские и австрийские генералы, Суворов снова вошел и попросил Розенберга познакомить его с сослуживцами. Розенберг стал представлять генералов.

Когда он называл фамилию ранее служившего под командой фельдмаршала, Суворов с ласковым приветом вспоминал старое время, сулил доброе будущее. Молодого генерала Милорадовича обнял и расцеловал как старого знакомого.

— Давно ли разъезжал верхом на палочке, размахивая деревянною саблею, а вот теперь молодецки действуйешь и настоящею на боевом поле,— говорил Суворов.— А какими вкусными пирогами угощал твой отец, когда я был у вас в деревне, ты был тогда совсем маленьким мальчиком.

Встрепенулся Суворов, когда увидел старого своего знакомца-сослуживца в турецкую и польскую войны, князя Багратиона.

— Князь Петр, дорогой товарищ, помилуй Бог, ты ли это?— говорил он, обнимая Багратиона и целуя его в лоб, в глаза и в губы.— Господь Бог с тобою.

У растроганного генерала показались на глазах слезы. Кончив прием, Суворов обратился к Розенбергу:

— Ваше высокопревосходительство, пожалуйста мне два полка пехоты и два полка казачков.

— Вся армия в распоряжении вашего сиятельства,— отвечал, не понявши приказания, Розенберг.

Тень пробежала по лицу фельдмаршала. Он еще предложил Розенбергу несколько вопросов, но ответами остался недоволен, от них веяло не суворовской школой. Фельдмаршал нахмурился и, отвернувшись, промолвил

ни к кому не обращаясь: намек, догадка, лживка, краткомолвка, краснословка, немогузнайка... от немогузнайки много, много беды.—Поклонившись генералам, он ушел. Розенберг недоумевал, не понимая сделанного ему замечания.

Всю ночь в городе горела иллюминация, народ всю ночь шумно праздновал на улицах прибытие русского фельдмаршала и русских войск. Прибывшие войска Суворов смотрел на другой день утром. Горячо и сердечно приветствовали солдаты своего богатыря, своего легендарного героя.

Возвратившись со смотра домой, Суворов застал у себя в приемной всех генералов. Он снова обратился к Розенбергу со вчерашней просьбой на счет двух полков. Тот снова дал ему вчерашний ответ. Князь Багратион лучше других знал фельдмаршала и потому понял его приказание. Он вышел вперед со словами: «Мой полк готов, ваше сиятельство». Суворов обрадовался, что его приказание понято, и велел Багратиону готовиться к выступлению. Тот вышел, предложил нескольким начальникам отдельных частей идти под его начальством в авангарде и доложил Суворову, что отряд к выступлению сейчас будет готов.

— Бог тебе в помощь,— сказал фельдмаршал, целуя князя,—иди как можно скорее по направлению к Валеджио.

Задолго до полудня Багратион выступил из Вероны. Бодро, с песнями, шли войска. Горожане всех сословий, пешком и в экипажах, провожали их, многие втискивались в ряды, пожимая руки, предлагали солдатам вино, хлеб и табак. Уставших подвозили в своих повозках и экипажах. В тот же день выехал в Валеджио и Суворов, издав прокламацию к народам Италии. Этой мерой до сих пор австрийцы пренебрегали, а между тем, как показали последствия, она оказалась очень полезной. Суворов призывал итальянцев к оружию за Бога, веру, законные правительства, на защиту собственности каждого, частного и общего спокойствия. Он указывал на чрезмерные налоги, поборы и насилия французов, на горести и бедствия, внесенные революционерами в мирные долины под предлогом свободы и равенства. Обещая освобождение Италии от всех этих бед, он требовал содействия всех сословий и предостерегал, что сторонники французов, которые будут упорствовать в своих замыслах, будут расстреляны, а имения их будут секвестрованы. Воззва-

ние упало на подготовленную почву, какую являлась большая часть итальянского народа, в особенности сельское население. Народные восстания стали вспыхивать одно за другим повсеместно и вскоре охватили всю Италию.

Прибыв в Валеджио и познакомившись с австрийскими генералами, Суворов пожелал посмотреть и австрийские войска. Все, что можно было собрать из окрестностей было собрано. Более часа внимательно всматривался русский фельдмаршал в австрийские войска и, когда смотр закончился, сказал:

— Шаг хорош — победа.

С генералами он обошелся ласково, да и они, как и австрийские солдаты, поджидали фельдмаршала с большим нетерпением и доверием. Они знали, что победа шествует по пятам старого фельдмаршала, что с ним она будет сопровождать и австрийские войска.

Первым делом по прибытии к австрийским войскам Суворов поспешил познакомить их со своими требованиями, в полки были разосланы русские офицеры в качестве инструкторов, послан был в них и суворовский военный катехизис, известный в русской армии под названием «Наука побеждать». Начались ученья, которые проводились два дня. В это время Шателер предложил Суворову произвести рекогносцировку, но фельдмаршал предложение это встретил далеко не благосклонно.

— Рекогносцировку? — спросил раздраженно Суворов. — Не хочу, рекогносцировки нужны только для робких, они предостерегают противника. Кто захочет найти неприятеля, найдет и без них... Штыки, холодное оружие, атаки, удар — вот мои рекогносцировки.

Шателер был крайне удивлен, но повиновался. Впоследствии он, умный человек, понял Суворова и его систему. Назначение русских офицеров инструкторами к австрийцам произвело среди них некоторое недовольство. Австрийские офицеры, гораздо образованнее русских, смотрели на них свысока. Помимо уровня офицерского образования, русская армия уступала австрийской и во многом другом: у нее не было генерального штаба, не было правильно организованных штабов для больших частей войск и т. п. Но как ни были австрийцы недовольны распоряжением Суворова, а должны были ему подчиниться.

Через два дня прибыла русская дивизия и отряд двинулся в путь. В голове отряда были посланы казаки,

к австрийскому авангарду присоединен Багратион, к русскому корпусу Розенберга было присоединено несколько австрийских эскадронов.

Через несколько дней русские войска совместно с австрийскими одержали первую над французами победу: ими был взят хорошо укрепленный город Брешиа с цитаделью. После нескольких часов канонады французский комендант, видя приготовления союзных войск к штурму, сдался безусловно. Французы не привыкли видеть австрийцев штурмующими, и приготовления к штурму немало их поразили. Союзникам досталось 46 орудий. Хотя бой был и не из крупных, тем не менее первая победа в нравственном отношении была важна: не следует забывать, что австрийцы до сих пор привыкли только к поражениям и не знали побед. Весть о победе произвела как в Вене, так и в Петербурге хорошее впечатление. Император Павел Петрович приказал отслужить в придворной церкви молебен с провозглашением многолетия «победоносцу Суворову-Рымникскому». Молебен был отслужен и в Петербурге. Фельдмаршала государь удостоил милостивым рескриптом. «Начало благо,— писал он,— дай Бог, чтобы везде были успехи и победа. Вы же, умея с нею обходиться, верно, и в службе нашей ее из рук ваших не выпустите, в чем поможет вам успеть особенная и давнишняя личная привязанность ее к вам самим». Наградив всех представленных Суворовым офицеров, государь писал в конце рескрипта: «Дай Бог им здоровья, а бить неприятеля мы станем, этого дела они были и будут мастера». Милость императора простиралась значительно дальше. Когда при провозглашении фельдмаршалу многолетия, после молебна, молодой граф Аркадий, растроганный, бросился перед императором и поцеловал его руку, то государь похвалил его сыновние чувства и велел ехать в Италию к отцу, сказав: «Учись у него, лучшего примера тебе дать и в лучшие руки отдать не могу».

Первая победа, легко доставшаяся союзникам, дала им в руки литейный завод и обеспечивала сообщение армии с Тиродем и, самое главное, произвела нравственное впечатление на весь край в ущерб французам и их приверженцам. Союзная армия продолжала наступление к реке Меле. Наступление производилось по-суворовски быстро, но быстрота не понравилась не привыкшим к тому австрийцам: среди австрийских солдат и среди офицеров начал раздаваться ропот. Генерал Мелас поддержи-

вал недовольных и как-то решился даже не выполнить назначенного Суворовым маршрута. Суворов написал ему грозное и в то же время крайне едкое письмо, начав его словами: «До моего сведения дошли жалобы, что пехота промочила ноги». Дальше он говорил, что за хорошею погодою гоняются женщины, петиметры и ленивцы, что большой говорун, который жалуется на службу, будет отрешен от должности, а у кого здоровье плохо — пусть тот остается назади... В заключение фельдмаршал говорил, что ни в какой армии нельзя терпеть таких, которые умничают; глазомер, быстрота, натиск — на сей раз довольно.

ГЛАВА XXXII

Хотя друзья и недруги Суворова недоверчиво отнеслись к будущей его деятельности в Италии, но французы взглянули на назначение русского фельдмаршала несколько иначе: они увидели в нем страшную для себя угрозу и поторопились силе противопоставить силу: Бонапарта в это время не было в Европе, и они, сменив Шерера, назначили главнокомандующим в Италии находившегося там же при армии генерала Моро, отличавшегося военными способностями, умом и энергией. Суворов очень ценил этого генерала, и когда узнал о его назначении, высказал удовольствие.

— Гораздо приятнее, — сказал он, — иметь дело не с шарлатаном, а с противником настоящим, с истинно военным человеком.

Но назначение последовало слишком поздно, Моро не успел исправить тех ошибок, которые наделал его предшественник, и французы поплатились новым поражением при Ваприо-Кассано. Это сражение, в котором участвовали главным образом австрийские войска и русские казаки, было посерьезнее взятия Брешиа и произвело сильное впечатление в Париже. Победою при Ваприо-Кассано начался и кончился переход войск союзников через Адду.

— Рубикон перейден, — сказал Суворов, улыбаясь и показывая после сражения на Адду, добавил: — Так будем переходить и другие реки.

Австрийцы поняли значение суворовских слов, поняли они, что только благодаря Суворову они, перейдя реку, одержали такую блестящую победу. Под командою другого генерала если бы им и удалось победить, то вряд ли

победа обошлась бы им так легко. Дело в том, что Суворов всю свою жизнь придерживался теории невозможного. То, что другие находили невозможным, то для него было возможно. Моро собрал на своей стороне реки довольно значительные силы; для того чтобы разбить их, нужно было, во-первых, появиться неожиданно, во-вторых — разрезать неприятельские войска. Французы были бдительны, их главнокомандующий предусмотрителен. Эти качества французов нужно было парализовать во что бы то ни стало, и Суворов выбрал такой шаг, который казался бы безумием, — он приказал производить переправу ночью в таком пункте, на который французы не могли никогда рассчитывать: в крутом изгибе реки с отвесными каменистыми берегами, где трудно даже днем спуститься к воде одиночному путнику, приказал он переправляться армии. Понтонерный австрийский офицер, которому была поручена наводка понтонного моста, прибыв на место и осмотрев берег, донес, что наводить мост он не может, так как не в состоянии спустить понтоны со скалы. Доложили об этом Суворову. Грозою налетел фельдмаршал на австрийского генерал-квартирмейстера Шателера:

— Маркиз, вы любитель рекогносцировок, вам представляется редкий случай произвести блестящую рекогносцировку оттуда, откуда противник нас совсем не ожидает: нужно только навести для этого понтонный мост поскорее.

— Но, ваше сиятельство, в этом месте нельзя: сколько офицер ни пытался, не в состоянии ничего сделать, понтоны срываются у него со скал и гибнут в быстрине. Место самое неподходящее для переправы.

— Вы так думаете?.. Ну, значит, мы думаем различно, очень жаль... а вы все-таки, ваше превосходительство, скачите к вашему понтонерному офицеру, и от моего имени прикажите навести мост непременно, и притом как можно скорее. Если у него понтоны сваливаются в реку — пусть держит их зубами, но чтобы мост был, в противном случае он отвечает головой.

Маркиз Шателер успел узнать Суворова и потому, не возражая, молча, поскакал исполнять его приказание... Мост, несмотря на невероятные трудности, был наведен, и войска, перейдя незамеченными, снежной лавиной обрушились на французов, отрезав их главнокомандующего от главных сил, что и решило победу.

После сражения фельдмаршал позвал к себе понтонерного офицера и горячо благодарил за самоотвержен-

ную наводку моста, забыв все прошлое. Офицер был сконфужен.

— Не мною и не солдатами наведен мост, а вашим сиятельством,— говорил он, краснея,— вы научили нас не признавать невозможного и в том, что другие называют невозможным, видеть залог победы.

Так думали в этот день все австрийцы, начиная с генерала и кончая солдатом. В сражении участвовали главным образом австрийские воины, следовательно, честь победы относилась к ним, к победам не привыкшим. И эту-то победу им навязал Суворов своим талантом, своею энергией.

Еще больший фурор, чем первая, произвела эта победа в Вене и Петербурге. Австрийский император благодарил победителя рескриптом, император Павел—двумя. Посылая фельдмаршалу в подарок бриллиантовый перстень, государь писал: «Дай Бог вам здоровья, о многолетии вашем вчера опять молились в церкви, причем были все иностранные министры. Сына вашего я взял к себе в генерал-адъютанты со старшинством; и с оставлением при вас мне показалось, что сыну вашему и ученику неприлично быть в придворной службе».

Со всех сторон продолжал получать Суворов поздравительные письма и пожелания. Он не скупился на представления к наградам. Первым был им представлен понтонерный офицер. О Меласе он в самых лучших выражениях отзывался в своих представлениях и австрийскому императору, и императору Павлу I. Особенно хвалил донских казаков и их атамана Денисова.

Французы быстро отступали на Павию и через Милан на Буфалору, но весть о их поражении опережала отступавшие войска и произвела в Милане—столице Цизальпинской республики—страшное смятение. Члены директории, французы, их приверженцы и вообще горячие республиканцы бросились бежать в Турин под защиту французских войск. В Милане в цитадели остался лишь небольшой гарнизон около двух с половиною тысяч человек. Не успели французы очистить город, как сейчас же показались казаки. Выбив ворота, они ворвались в город... Несколько французских офицеров и солдат не успели укрыться в цитадели, и на улицах завязались схватки, но не долго; французы успели укрыться в цитадели. В городе осталось около 400 больных и раненых французов. Прибытие казаков вызвало в городе восстание: противники французов бросились уничтожать все то, что

напоминало их недавнее пребывание и республиканское правление, жестоко преследовали не успевших выехать республиканцев и сторонников французов. Казакам же пришлось оберегать и охранять своих недавних врагов от разъяренной черни... Окружив цитадель, они расположились на ночь в ожидании прибытия австрийских войск, которые не замедлили явиться. Через несколько часов после прибытия казаков город восторженно встречал уже Меласа... Была Страстная суббота...

.....
Теплая, весенняя южная ночь спустилась на землю. На итальянском небе зажглись мириады звезд... Казалось, в воздухе веяло миром и тишиною, и трудно было думать, чтобы войска, только что расположившиеся на ночлег и готовящиеся с молитвою встретить Светлое Христово Воскресенье, еще не так давно пролили потоки крови, мешая свою с неприятельской, готовятся к новым кровопролитиям, к новым победам... Ночь Страстной субботы застала русские войска в поле, в одном переходе от Милана. Расположившись на бивуаке, они не думали о сне и готовились к заутрене. Посреди бивуака разбит был шатер — походная церковь, духовенство всех полков собралось на торжественное Богослужение... Солдатики надевали чистое белье, чинили изношенное платье, но вот раздался призывный звук небольшого колокола, и все потянулось к церкви. Батальоны выстроили каре и обнажили головы. Из шатра раздалось пение, и десятки тысяч голосов подхватили его.

Торжественную картину представлял многочисленный и коленопреклоненный русский отряд, молящийся на полях Италии... В первый раз от сотворения мира православное русское пение оглашало итальянский воздух...

В лице русских войск православие явилось спасать католицизм от атеизма, троны католических государей от упраздненной религии республики... Раздалось «Христос Воскресе», и гром сотен орудий заглушил ответное и радостное «Воистину Воскресе». Со всех сторон раздавались взаимные поздравления и пожелания, но среди них слышалось и сожаление, что победоносный фельдмаршал отсутствует.

В то время как русские войска встречали Светлое Христово Воскресенье в нескольких десятках верст от Милана, Суворов с австрийцами находился под стенами его. Прибыв поздно к Милану, он остановился на ночлег в поле, отложив торжественное вступление до утра. На

другой день, чуть солнце озолотило верхушки миланских церквей, густые толпы народа повалили за город с духовенством, крестами и хоругвями. Австрийские войска уже двигались к городу, когда их встретила процессия. Оглушительные клики народа приветствовали победителей французов. Архиепископ крестом благословлял фельдмаршала. Суворов, сойдя с коня и приняв благословение архиепископа, поцеловал его руку и приложился к распятию. В сопровождении ликующего народа вступили войска в город, где их ожидала еще более торжественная встреча. Не только балконы и окна, но и крыши домов были усеяны народом, гул голосов сливался с трезвоном колоколов, Суворова забрасывали цветами, пальмовыми ветвями и лавровыми венками. Восторг был всеобщий и искренний: Суворов принес дворянству и духовенству восстановление их прав и привилегий, торговое сословие видело в нем освобождение от непомерных налогов и насильственных займов, другие — восстановление порядка. Такой же прием оказали миланцы три года тому назад и Бонапарту: им казалось, что, внося республиканское правление, свергая законных государей с их тронов, он несет им свободу, равенство и братство, но прошло три года, и итальянцы жестоко разочаровались: не свободу, не равенство и братство дала им республика, а грубый произвол и насилие, во имя свободы уничтожилась всякая свобода личности, всюду царил произвол сильного и жилось хорошо только тем, кто сумел приспособиться к власти, а отсюда до анархии оставался только шаг. Шаг этот остановил Суворов, разбив французов и изгнав внесенные ими порядки. С прибытием Суворова и союзных войск миланцы ожидали возвращения своей прежней ровной и спокойной жизни, при которой имущество и достояние каждого обеспечивалось законами.

Любопытство тоже играло не малую роль в той встрече, какую население Милана оказало Суворову. Имя Суворова было давно известно в Италии, его блестящие победы над турками и поляками, его оригинальные манеры и причуды окружили ореолом легендарного героя, и теперь итальянцы могли увидеть его воочию. Хотелось им увидеть и русских, о которых в Италии, как и вообще в Западной Европе, сложилось довольно оригинальное понятие: северные люди в понятиях итальянцев являлись великанами с внешностью дикарей, средневековыми варварами. Каково же было их удивление, когда в русских офицерах и солдатах они встретили

самых обыкновенных людей и притом очень набожных, перед каждою церковью снимающих шапки и творящих крестное знамение.

Суворов остановился в том же доме, в котором за несколько дней перед тем квартировал Моро. Хозяйка дома в тот же вечер устроила в честь Суворова бал, на котором собралось все высшее общество Милана. Суворов принял приглашение и очаровал всех любезностью, обходительностью, остроумием, меткостью суждений и сарказмом. Не обошлось, конечно, и без причуд, но к ним он так привык, так сказать, сроднился с ними, что представить Суворова без его чудачества казалось невозможным.

С наступлением ночи город запылал тысячами разноцветных огней: была зажжена иллюминация, и народ праздновал до утра.

На другой день в парадной раззолоченной карете поехал фельдмаршал в кафедральный собор, где был назначен торжественный молебен. Войска стояли вдоль улиц шпалерами, народ, как и вчера, запрудил собою улицы, покрывал балконы и крыши домов, виваты в честь Суворова гремели повсюду... С крестом и в полном облачении встретил Суворова на паперти архиепископ миланский. Благословляя фельдмаршала, архиепископ призывал Божье благословение на предстоящие ему труды и подвиги. Отвечая архиепископу по-итальянски, Суворов просил его молиться как за него, так и за предводимое им воинство. В храме фельдмаршал преклонил колени и, несмотря на настояния, отказался от приготовленного ему, на обтянутой красным сукном эстраде, почетного кресла. Большую часть совершаемой с необыкновенною торжественностью службы Суворов простоял на коленях, набожность иноверца растрогала католиков, устроивших ему по выходе из храма бурную овацию: дамы бросали ему под ноги цветы, тысячи шляп летело в воздух, оглашаемый приветственными кликами. Многие бросались перед фельдмаршалом на колени, ловили и целовали его руки.

Такая встреча растрогала Суворова, он прослезился и, обращаясь к итальянскому народу, благословлял его, советуя молиться Богу и просить у него спасения.

— Как бы не затуманил меня весь этот фимиам,— говорил он по возвращении домой своему старому знакомцу, барону Карачаю,— теперь ведь пора рабочая, помилуй Бог...

Не таков был Суворов, чтобы восторги толпы могли вскружить ему голову. Он верил в искренность выражаемых ему чувств, но был также уверен и в том, что эти чувства — чувства минуты, следствие экзальтации легко воспламеняющихся и также легко остывающих итальянцев. В тот же день у Суворова состоялся парадный обед, на который собрались все австрийские генералы и почетные жители Милана, были приглашены также три пленных французских генерала, в том числе начальник дивизии Серюрье. Пленники встретили со стороны победителя ласковый и сочувственный прием, он похристосовался с ними, заставляя отвечать по-русски: «Воистину Воскресе».

— Жаль только, что наших войск не было при вступлении в город, — сказал он, садясь за стол, Меласу, но в это время вошел Розенберг и заявил, что русский корпус прибыл и расположился лагерем за городом.

Французских генералов Суворов очаровал своей любезностью и поразил подробным знанием всех последних кампаний, которые французам пришлось совершить.

— Наше поражение для нас тем не извинительнее, — говорил Серюрье фельдмаршалу, — чем блистательнее ваша победа, граф, так, нападение ваше на войска моей дивизии при тех обстоятельствах, при которых оно было сделано, слишком смелое.

— Что поделаете, генерал, — отвечал Суворов, — мы, русские, без правил и тактики, я еще из лучших...

Серюрье печально улыбнулся.

Ни один из гостей не ушел от Суворова, чтобы он не сказал ему ласкового слова, не подал бы надежды на лучшие времена. С французскими генералами он прощался тоже любезно, хотя и не преминул сказать Серюрье, пожимая ему на прощание руку:

— Я не говорю вам, генерал, прощайте, потому что в Париже я надеюсь свидеться с вами снова.

Серюрье молча поклонился. Если бы он услышал эти слова от другого, он счел бы его бахвалом, но от такого человека, как Суворов, он мог всего ожидать, даже самого невероятного, каким и казалось взятие Парижа. И сам Суворов, говоря о встрече в Париже, нисколько не сомневался, что через полгода победоносно закончит кампанию в столице Франции... Судьбе, однако, было угодно распорядиться иначе...

В этот же день Суворов объявил Цезальпинскую республику не существующею и учредил временное

управление впредь до получения указаний из Вены, поручив устройство управления Меласу, который сейчас же ввел не только австрийские порядки, но и билеты австрийского банка. Населению было запрещено носить цезальпинские плащи и народная гвардия была обезоружена.

Дни проходили в торжествах и празднествах, которыми миланцы чествовали Суворова и союзную армию, но ни горячий прием населения, ни торжества не затуманили голову фельдмаршалу. Собственно говоря, он и не считал этот прием искренним, не постеснявшись, намекнул об этом миланцам, когда благодарил за прием. Он тогда выразил пожелание, чтобы их чувства отвечали бы внешним проявлениям. К тому же Суворов далеко не был удовлетворен тем, что ему удалось сделать за неделю со времени открытия военных действий, и ему теперь было не до торжеств. Принимая у себя и принимая приглашения других, он не переставал заниматься гражданскими и административными делами, и среди забот и развлечений, навязываемых ему восторженными итальянцами, приходилось обдумывать план будущих действий.

Собираясь как-то на парадный обед к архиепископу, он пригласил маркиза Шателера к себе за полчаса до отъезда с тем, чтобы вместе ехать.

— Пока у нас есть время, маркиз, поговорим о деле, — встретил он своего генерал-квартирмейстера. — Хотя и мой государь и ваш император выражают нам свою благосклонность за наши победы, но я ими, между нами говоря, не вполне удовлетворен. Это победы частные, нам нужно одержать победу генеральную. На соединение с Моро идет с юга генерал Макдональд. Наша задача теперь должна состоять в том, чтобы, не допустив соединения обоих генералов, разбить каждого из них порознь. Удастся нам это — тогда мы господа положения. Тогда итальянская армия французов существовать больше не будет и через полгода мы будем диктовать республике мир в Париже.

Развив затем план дальнейших действий в мельчайших подробностях, насколько это было возможно, чтобы удовлетворить австрийского императора и не поступиться своими принципами — не предрешать ничего из кабинета, Суворов приказал Шателеру изложить все это на бумаге для отправки в Вену.

Австрийский генерал был изумлен, слушая русского фельдмаршала. Он не постигал, как мог Суворов, заня-

тый административными делами, устройством гражданского управления и отвлекаемый празднествами, обдумать все это.

— Прошу извинить, ваше сиятельство,— сказал он, обращаясь к главнокомандующему,— но я бесконечно поражен, когда вы успели обдумать и взвесить так тонко рассчитанный и сейчас изложенный вами план? Насколько мне известно, за последнее время вы не имели времени для отдыха...

— Потому-то оно и нашлось у меня для выработки плана будущих наших действий,— отвечал, улыбаясь, Суворов.— Итак,— продолжал он,— нужно уведомить командующего тирольской армией, что сущность плана такова. Не ожидать взятия крепостей в тылу: для них можно оставить часть наших сил, а с остальными продолжать наступление, препятствуя соединению Макдональда с Моро. Для этого надо перейти реки Тичино и По, двинуться на Макдональда, разбить его, а затем обратиться к Турину, к армии Моро. Связь же между действующей и союзной армией поддерживать двумя отрядами. После же взятия Мантуи и Песчьеры большую часть армии двинуть вперед и обложить Тортону, другому же отряду овладеть Генуей. Северную Италию должны прикрывать со стороны Швейцарии два отряда тирольской армии, которые должны содействовать в выступлении французов с верховий Рейна и Ина.

В Вене думали иначе, чем думал Суворов. План его нашли рискованным и послали приказание ограничиться сперва взятием крепостей, не перенося действий на другой берег По. Но Суворов не дождался этого приказа и 20 апреля выступил из Милана, взяв исход дальнейших операций на личную свою ответственность.

ГЛАВА XXXIII

После невероятных усилий союзная армия переправилась через реку По. На ней лежала довольно трудная задача, численность ее и ранее не превышавшая 100 000 человек, теперь значительно уменьшилась, так как пришлось часть ее выделить для осады крепостей, а часть для содержания гарнизонов. Осадных орудий не было, перевозочных средств мало. Неприятель же действовал у себя дома — преимущество немаловажное.

Тем не менее 26 апреля Суворову удалось занять весьма важную стратегическую позицию, город Вогерзу. Только что расположился он у себя на квартире, не успел снять каску, как ему доложили, что из России приехал граф Романов.

Под этим именем был послан императором Павлом I в Италию в науку «славного победами» графа Суворова-Рымникского великий князь Константин Павлович.

Суворов выскочил из спальни и в приемной встретил великого князя.

— Сын нашего природного государя,— сказал он, низко кланяясь великому князю.

Константин Павлович обнял его.

— Что это с вами, дорогой граф Александр Васильевич?— указал он на подвязанный глаз.

— Ах, ваше высочество, вчера проклятые немогузнайки опрокинули меня в ров и чуть было всех моих косточек не разбили.

Подойдя затем к выстроившейся в ряд свите великого князя, Суворов промолвил:

— Не вижу!

Константин Павлович понял намек главнокомандующего и начал представлять ему лиц своей свиты.

Первым стоял один из лучших русских генералов того времени, старинный сослуживец и приятель Суворова, Дерфельден, Суворов горячо обнял его, перекрестился и, поцеловав на груди его орденский крест, сказал:

— Нам должно его высочество, сына нашего природного государя, беречь больше своих глаз, потому что у нас их два, а великий князь здесь один.

При этом он отвесил великому князю низкий поклон.

Присутствие великого князя в армии имело и хорошую сторону и в то же время вызывало у Суворова много хлопот.

Появление среди войск государева сына, привезшего им царский поклон и поздравления, подняло дух их, но с другой стороны—присутствие в армии высоких особ стесняло главнокомандующего, возлагая на него нравственную ответственность.

На другой день Суворов обедал у великого князя.

Представ перед ним в полной парадной форме, он представил строевой рапорт о состоянии как австрийских, так и русских войск. Долго беседовал великий князь наедине, и когда возвратились в приемную, Константин Павлович представил главнокомандующему собравших-

ся к обеду, в том числе австрийского графа Эстергази, провожавшего великого князя из Вены.

— Прошу вас, граф, донести его величеству,— сказал, обращаясь к нему, Суворов,— что австрийскими войсками я очень доволен. Они дерутся почти так же хорошо, как и русские.

Эстергази вспыхнул от злобы и молча поклонился.

Суворов только что получил из Вены инструкцию с уведомлением, что план его отклоняется, и хотел хоть чем-нибудь выразить австрийскому императору свое неудовольствие.

Он достиг своей цели: слова его были переданы императору и австрийское самолюбие уязвлено.

В этот же день великий князь объезжал русские войска и передавал им поклон и благодарность государя.

В нескольких верстах от Валенцы, на живописном холме, среди лавровых и померанцевых деревьев, с незапамятных времен высится древний замок, настолько древний, что самые старые старожилы, рассказывающие подрастающему поколению про времена Александра Борджиа, не знают, когда он выстроен. Несомненно только то, что этим замком много веков владели герцоги Касиньяно, имя которых в разные времена и эпохи произносилось народом то с любовью, то с ненавистью и проклятием, смотря по тому, какие отношения владельца были к вассалам и простым обывателям. Но что бы ни было в прошлом, все это становилось достоянием истории, так как и самое имя герцогов Касиньяно в скором времени должно было исчезнуть с лица земли, оставив свой след только в истории края. Последний из герцогов умер, не оставив после себя мужского поколения, девятнадцатилетняя дочь герцогиня Элеонора была его единственной наследницей. Молодая девушка была не только чрезмерно богата, но и поразительно красива, а это было залогом к тому, что не долго осталось уже существовать имени герцогов Касиньяно, что близок тот день, когда герцогиня Элеонора у алтаря переменит свое древнее имя.

Окрестные поселяне ждали этого дня со страхом. Каков-то будет их новый господин. И страх их был не напрасен. Молодая герцогиня отличалась такою доброю, такою ласковостью и приветливостью, так горячо и близко входила в нужды крестьян, деля с ними и горе

и радости, что, казалось, как бы добр ни был ее будущий муж, все же ее не заменить.

В тот день, когда русские войска появились на том берегу реки По, в кабачке деревушки Касиньяно, раскинутой у подножья холма, на котором высился замок, собралось народу больше обыкновенного. На этот раз поселянина тянуло в кабачок не столько желание выпить кружку красного вина, сколько потолковать с соседями и сговориться, как им держать себя по отношению к русским и австрийцам.

— А ведь в Милане, в Брешиа, да и в других городах, где прошли московы, и горожане и поселяне приняли их сторону и поднялись против французов,— говорил старый крестьянин, пытливый взором обводя присутствующих.

В кабачке царило молчание. Старик, по-видимому, ждал ответа или вообще какого-либо замечания, но односельчане предпочитали дать высказаться старику Паоло.

— Да, не того мы ожидали, когда два года тому назад пришли к нам французы... Где та свобода, равенство и братство, которые они сулили нам? Они не дали нам того, что обещали, а взяли то, что обещали сохранить нам же. Вот уже восемьдесят лет я живу на свете, видел не мало бед, но таких, как теперь, видывать не приходилось... Правда, бывало и прежде, брали большие налоги, но тогда и не говорили нам, что «ты свободен». Не располагали мы ни собой, ни своим достоинством, и брали с нас столько, сколько находили нужным, а все же до разорения не доводили, а теперь — теперь мы люди свободные, могущие как угодно располагать самим собою, но не нашим достоинством: им могут распоряжаться господа французы, давшие нам свободу,— продолжал с горькой улыбкою старик Паоло.

— Да, в прошлом году у меня было пять коров,— заметил один из крестьян, почесывая затылок,— а теперь осталось только две, когда-то я был богатым человеком, а вот с тех пор, как стал свободным гражданином... эх, да что и говорить, быть может, на будущий год в это время с семьею придется просить милостыню... французские солдаты и их лошади все съели.

— А все потому, что мы Бога забыли и нашего государя;— заметил один из стариков, сидевший в отдалении и, по-видимому, не интересовавшийся разговором.— Где нет Бога, там нет и счастья, а у французов Бога нет, они уничтожили веру и с безверием пришли к нам. А что мы сделали? Вместо того чтобы ополчиться

на врагов веры и нашего законного государя, которому присягали на верность, мы встретили французов как братьев; вот теперь Бог наказал клятвопреступников.

В комнате раздался не один тяжелый вздох.

— Что же делать, Джиованни?

— Что делать? То же, что сделали в Милане.

— А я вам скажу, друзья мои,— заметил деревенский старшина,— что мы должны поступать так, как скажет наша госпожа. Герцогиня, сами знаете, худого совета не даст.

— Герцогиня да; но что скажет ее тетушка, маркиза Турхано, ведь она опекунша герцогини,— заметил старик Паоло. Староста собрался было что-то ответить, как под окнами раздался стук конских копыт и через минуту в кабачок вошел молодой иностранец, по-видимому офицер. Его сопровождали несколько крестьянских парней.

— Друзья мои,— начал незнакомец,— я русский офицер, еду в нашу армию, посланную моим государем на защиту вашей родины и веры от безбожных французов. Проводник мой предательски завел меня в местность, занятую французскими войсками, и скрылся. По счастью, я встретил этих добрых молодых людей, ваших односельчан, которые избавили меня от опасности, а теперь у вас прошу на эту ночь гостеприимства, наши войска находятся вблизи отсюда, и утром с Божьей помощью мне удастся пробраться к ним:

Старики, которых называли Паоло и Джиованни, горячо приветствовали приезжего.

— Синьор, защитник нашей родины и веры Христовой всегда может рассчитывать не только на гостеприимство, но и на нашу преданность. Завтра мы проведем вас в вашу армию, что же касается гостеприимства, то не такому важному синьору ночевать и в кабачке, мы проведем вас к нашей госпоже, герцогине Элеоноре ди Касиньяно, у нее в замке для вас найдется почетное место.

Все присутствующие одобрительно отнеслись к словам двух уважаемых поселян, и через несколько минут офицер в сопровождении стариков поднимался на вершину холма в замок.

В то время как крестьяне провожали случайно заброшенного в их деревню русского офицера, а оставшиеся в кабачке окончательно решили принять сторону союзников и ополчиться против французов, французский авангард входил с противоположной стороны в деревню и генерал Моро въезжал в ворота замка. Заблудившийся

русский офицер и его провожатые были встречены у ворот французскими часовыми. В ужасе старик Джиованни схватил за повод коня офицера, желая его повернуть назад в деревню, но было уже поздно. Не гостем, а пленником юноша был доставлен в замок герцогини Элеоноры.

В то время как у ворот замка происходила схватка, в гостиной сидел только что прибывший генерал Моро.

— Хотя прекрасной герцогине, не любящей республиканскую Францию, и не понравится наша энергия, тем не менее мы не пустим русских на этот берег, дорогая маркиза,— говорил он маркизе Турхано, красивой женщине средних лет,— вы можете быть спокойны, что русская нога не ступит на земле Касиньяно и владения вашей племянницы под охраной республиканских войск будут в полной безопасности.

— Не слишком ли вы самонадеянны, генерал?— с иронией спросила сидевшая несколько поодаль от разговаривавших герцогиня Элеонора.— Вы забываете, что союзной армией командует граф Суворов, а это имя, как знают все— синоним победы. Вы, кажется, могли убедиться, что сражаться с русскими не то что с австрийцами.

— Вы, кажется, прекрасная герцогиня, предвкушаете удовольствие нашего поражения?

— Я несколько этого не скрываю, я откровеннее вас, вы обещаете безопасность моих владений, а сами их разоряете, как разоряете и всю Италию, мои крестьяне, благодаря вашим поборам, беднеют не по дням, а по часам. Как христианка, как патриотка и как патрицианка, я не могу сочувствовать тому народу, который вносит в страну космополитизм, безверие и дух плебейства. Мои предки проливали свою кровь на полях Палестины за веру Христову, они слагали свои головы за своих законных государей, они высоко держали знамя патриция, как же вы хотите, чтобы я, их дочь, сочувствовала людям, попирающим то, что им было свято и дорого? Достаточно и того, что вы нашли сторонницу ваших идей в моей тетушке. От кого вы собираетесь защитить мои владения? От русского полководца, который под знаменем святого креста несет защиту тому, что мне свято и дорого, что вы попираете?

Моро вспыхнул.

— Герцогиня, вы злоупотребляете правами гостеприимства, вы забываете, что по праву завоевателя и я здесь не совсем гость.

— Наконец-то вы заговорили своим языком,— иронизировала молодая девушка.

Хладнокровие герцогини еще более раздражало Моро.

— Я не хочу сказать, что я господин здесь, в вашем замке, но, как стоящий на защите итальянских республик и интересов Франции, я вправе ожидать содействия, а не сопротивления со стороны граждан и гражданок.

— Со стороны гражданок — может быть, но вы забываете, генерал, что я не гражданка, я герцогиня,— гордо промолвила молодая девушка, поднимаясь с кресла.— Мне чужд плсбейский дух вашей Франции, все мои симпатии там,— указала она рукою по направлению противоположного берега По.— Там, где признают Бога и законных государей, где под личиною свободы, равенства и братства не уничтожают личности, не отнимают достоинства.

— Вы слишком смелы, герцогиня. Вы не хотите видеть во мне друга, следовательно, считаете врагом, а врагу, облеченному властью главнокомандующего, говорить такие слова рискованно. Это значит произносить свой смертный приговор...

Герцогиня презрительно улыбнулась.

— После того как вы убили свою королеву, может ли какая другая женщина рассчитывать на вашу снисходительность? Я от вас иного и не ожидаю, убить вы меня можете, но осудить на смерть — нет. Судить может тот, у кого совесть чиста, а у вас и совесть и руки запятнаны кровью, вы можете только убивать, как уже и убили тысячи невинных.

Моро вскочил с кресла, он весь побагровел.

— Герцогиня,— едва мог он выговорить, задыхаясь.

В разговор вмешалась маркиза Турхано.

— Генерал, Бога ради успокойтесь, можно ли обращать внимание на слова ребенка... Элеонора, ты положительно не в своем уме, я не узнаю тебя, ты забыла правила гостеприимства, ты оскорбляешь гостя...

— Как хозяйка дома, я не права, и если генерал принял мои слова как мой гость, то я усердно прошу извинить меня. Гостя я не обижу и не дам в обиду другому. Все то, что я только что сказала, генерал должен принимать как политический деятель, а в политике, как он и сам неоднократно говорил, для оскорблений не может быть места.

Несколько остывший Моро хотел было отвечать, но в это время со двора донеслись выстрелы, а через пять минут явившийся офицер доложил ему, что у ворот замка взят в плен русский офицер.

Моро приказал привести пленника.

Под конвоем двух солдат был он введен в зал. Пленнику было не более 22 лет. Высокий, стройный, блондин с выразительными глазами, он был в полном смысле слова красавец. Спокойною, уверенною походкою направился он к тому месту, где сидел Моро, и, поклонившись дамам, остановился в нескольких шагах от генерала.

— Кто вы такой?

— Поручик российской императорской гвардии Александр Вольский.

— Каким же образом вы сюда попали?

— Я ехал из России в свою армию, мой проводник обманул меня, завел в местность, занятую вашими войсками, и бросил. Местные крестьяне обещали мне гостеприимство в этом замке и привели меня к вам в плен.

— Вас не обманули, обещая гостеприимство,— горячо вскричала герцогиня Элеонора,— хозяйка здесь я, и вы не пленник, а мой гость....

Моро саркастически улыбнулся.

— Вы забываете, герцогиня, что со времени появления французской военной силы на вашей земле хозяином становлюсь я. Не обещайте пленному того, что исполнить не можете.— Обращаясь затем к Вольскому, он продолжал: — Я не верю ни одному слову, что вы сказали, вы едете не из России, а с противоположного берега реки По, вы, милостивый государь, шпион, ваши расчеты были верны, в этом замке вы встретили бы и гостеприимство, и сочувствие со стороны владелицы, не опоздай вы на несколько минут. Но вы опоздали, я прибыл раньше, и вы как шпион будете расстреляны.

— Нет, не будет,— вскричала герцогиня,— клянусь памятью моих предков, я не допущу этого, вы не решитесь, генерал, на такое злодеяние.

Моро усмехнулся.

— Вы правосудие называете злодеянием,— отвечал Моро.

— Правосудие без суда? Я такого правосудия не знаю,— гордо сказал Вольский.

— Вы требуете суда? Вы можете доказать, что вы не шпион?

— Да, могу.

— Посмотрим, я слушаю, говорите.

— Эти письма свидетельствуют о правдивости моих слов. На них есть даты, и вы можете убедиться, что я в Италии всего несколько дней. Это рекомендации к графу Суворову от его родных и от моего отца.— При этом пленный офицер подал Моро письма.

— Для меня они не понятны, они написаны по-русски,— отвечал Моро, возвращая письма. Вольский поблел, но, вспомнив, по-видимому, что-то, достал из кармана камзола другой конверт.

— Это письмо от графини Бодени княгини фон Франкенштейн к нашему главнокомандующему,— оно написано по-французски несколько дней тому назад в Вене, в чем вы можете легко убедиться, ознакомившись с датой письма.

Моро внимательно прочитал письмо и, складывая его, обратился к Вольскому:

— Это слабое доказательство. Письмо вы могли написать заблаговременно, тем не менее, во избежание нареканий, я завтра утром наряжу военный суд, но предупреждаю вас, что он отнесется к вашему доказательству так же, как и я, и если у вас нет более веских, то с вами поступят как со шпионом.

Положив письмо графини Бодени в карман, Моро приказал увести пленника и приставить к нему на ночь строгий караул.

— Генерал, неужели вы решитесь на столь жестокий поступок,— с мольбою в голосе говорила герцогиня Элеонора по уходе Вольского.— Ведь вы сами не верите тому, что этот несчастный юноша шпион.

— Я в этом нисколько не сомневаюсь, герцогиня,— отвечал Моро холодно и, откланявшись дамам, удалился.

— Если с этим молодым человеком случится несчастье — ты сама в том будешь виновата. Зачем раздражать Моро? Теперь он расстреляет этого русского только для того, чтобы отомстить тебе,— сказала маркиза Турхано племяннице.

— Посмотрим,— энергично отвечала молодая девушка и вышла из зала.

Дежурный офицер, уведя пленника из зала, потребовал от кастеляна замка, чтобы тот отвел ему помещение для арестантов.

Старик кастелян длинными коридорами повел офицера и пленников в противоположный конец замка.

— Лучшего места, чем здесь,— указал он рукою на массивную железную дверь,— не найти для арестантов во всей Италии. Отсюда никто, никогда не уходил.

С этими словами он отпер тяжелую дверь. Сыростью пахнуло из темного отверстия, казавшегося могилою, и, действительно, комната, в которую ввел кастелян офицера и его пленников, была похожа на склеп: в ней не было ни одного окна, пол и стены были выложены железными, заржавевшими от времени плитами, уйти отсюда было положительно невозможно.

— Ты прав, старик, не только в Италии, но и во Франции лучшей тюрьмы не придумать, покойной ночи товарищ,— обратился он к Вольскому,— жаль, что нам пришлось встретиться не на ратном поле, а в этой скверной дыре, ну да я фаталист и верю в предопределение, хотя мы и упразднили религию, тем не менее во мне осталось еще кое-что и я верю в книгу судеб... Очевидно, ваша участь в ней записана. Как добрый христианин, подчинитесь воле провидения и спите спокойно.

Цинизмом отдавало от слов полупьяного француза. Вольский посмотрел на него с презрением.

— Недолго вам осталось бесчинствовать, скоро от вашей безбожной республики не останется камня на камне. Вы сделали свое дело, а теперь убирайтесь вон.

Француз вышел с проклятиями.

— Посмотрим, что ты запоешь завтра,— бормотал он себе под нос.

— Синьор, не тужите,— обратился старик Джиованни к Вольскому,— не смотрите на то, что эта комната сплошь из железа. Старик кастелян недаром привел нас сюда. Он верный слуга своей госпожи и так же любит французов, как и она. Уходя, он взглянул на меня так, как бы хотел сказать: не беспокойся, долго здесь не засидишься... Ты как думаешь, Паоло?— обратился он к товарищу.

— Думаю, что старый Франц нас не выдаст. Недаром он расхваливал так нашу тюрьму.

Вольский тяжело вздохнул, слушая утешения своих товарищей по заключению. Что мог сделать старик? У дверей стоит караул, замок переполнен французами... Если бы ему и удалось освободиться из этой мышеловки, как он выедет из замка? Нет, видно, француз был прав, говоря о предопределении... Не думал он, что ему придется так рано погибнуть, и притом позорной смертью,

смертью шпиона. Осматриваясь по сторонам, он каждый раз убеждался, что нет нигде ни окна, ни отверстия, которое сулило бы возможность побега. Комната, освещаемая тусклым светом фонаря, была погружена во мрак. Взяв фонарь в руки, Вольский начал ходить с ним вдоль стен, внимательно их осматривая. В самом отдаленном углу комнаты он увидел массивное бронзовое распятие, вделанное в стену, которое не замечал до сих пор. Поставив фонарь на пол и упав перед распятием на колени, начал он горячо молиться. По мере того как он молился, бодрость духа к нему возвращалась, а вместе с нею и надежда, что еще не все погибло, что, быть может, спасение возможно, недаром же старики итальянцы так твердо в него верят. Совершенно успокоенный встал юноша с колен. «Вы не пленник, а мой гость»,—вспомнил он слова прекрасной хозяйки замка. Вспомнил он во всех мелочах происходившее в зале, вспомнил он, как красавица герцогиня клялась памятью своих предков не допустить его смерти, и окончательно воспрял духом. «О, еще мы с вами встретимся, генерал, в поле и тогда сведем счеты»,—рассуждал он с запальчивостью молодости, а образ прекрасной герцогини Элеоноры неотступно стоял у него перед глазами и скоро завладел всеми его помыслами. Со свойственной юности беспечностью забыл он об угрожающей ему опасности, и все его помыслы неслись к чудной красавице...

Оставшись наедине со своим адъютантом, Моро отдал ему приказание строго следить за прислугой замка.

— От этой сумасбродки, герцогини Элеоноры, всего можно ожидать,—сказал он,—я уверен, что она примет все меры к тому, чтобы освободить русского.

— В этом отношении можете быть покойны, генерал,—отвечал адъютант,—старый кастелян замка, по видимому, не разделяет симпатий своей госпожи и отвел для пленника такую келью, какой и в Бастилии не было. Бежать из нее положительно невозможно, так как в нее ведет одна только дверь, у входа в которую Бертоло поусердствовал поставить шесть человек, в железных же ставнях тюрьмы нет не только какого окна, но даже нет ни малейшего отверстия для воздуха. Только итальянская жестокость могла изобрести подобную тюрьму.

— И прекрасно, можете идти спать Пикар, надеюсь, в замке привидений не водится и нам никто не помешает хорошо уснуть,—говорил, улыбаясь, Моро

— Привидений нет, но легенда и здесь существует,— отвечал, также улыбаясь, адъютант.

— Легенда?.. Это очень интересно, вам ее рассказывали?

— Я слышал, как прислуга рассказывала солдатам и сам порасспросил у кастеляна. Много лет, а может быть, и веков тому назад, в замке было совершено какое-то вопиющее дело, какое, никто толком не знает, говорят, что один из владельцев замка насильно постриг своего старшего сына в монахи, с тем, чтобы титул и состояние передать младшему сыну. Двадцать лет провел несчастный без воздуха и света в той келье, где помещен наш пленник, и умер совершенно слепым. С тех пор, как говорит предание, как только в замке над кем собираются произвести насилие, тень монаха появляется, и горе тогда притеснителю...

— Ого, вовремя рассказали всю эту басню. Ведь герцогиня же считает наказание шпиона преступлением, не собирается ли она послать монаха на выручку своего русского гостя? И вы после этого говорите, что кастелян не разделяет симпатий своей госпожи, зачем же он рассказывал вам эту басню?

— Не по своему почину, а по моей просьбе, генерал. Впрочем, он сам же мне говорил, что хотя ему уже и под девяносто лет и он родился в этом замке, тем не менее никогда не видывал таинственного монаха. Помнит только, что в детстве, лет восемьдесят тому назад, слышал от своей матери о появлении ночью монаха, но сам в эту ночь крепко спал и ничего не видел.

— Вы рассказали мне хотя и интересную, но крайне неприятную историю, мой милый,— заметил генерал,— нам с вами, по всей вероятности, в эту ночь не придется так сладко спать, как спал кастелян восемьдесят лет тому назад... Хотите держать пари, что сегодня в замке появится таинственный монах, чтобы не допустить насилия над русским пленником... Ну, а мы во что бы то ни стало должны изловить этого святого человека, и чтобы на будущее время он не мешался не в свое дело, накажем его примерно. Пойдите и предупредите всех солдат, а главное часовых, что им рассказали сказку, чтобы монаха они не боялись и живого или мертвого доставили бы мне.

Адъютант пошел исполнять приказание, а генерал, оставшись один, внимательно осмотрел пистолеты. Он был вполне уверен, что герцогиня, задумав освободить пленника, придумала всю эту басню и при помощи при-

слуги распустила ее среди солдат. Французы не верили в Бога, но дьявола признавали, и это несколько беспокоило генерала, знавшего суеверие своих солдат, храбро сражавшихся с противником, но способных бежать без оглядки при встрече со сверхъестественным. Он решил не спать всю ночь и дозором обходить весь замок.

Время шло, час проходил за часом, замок погрузился, по-видимому, в глубокий сон, везде царила мертвая тишина, только на башенных часах время от времени раздавался звук колокола, погребальным звоном отдававшийся в сердце Вольского. Он начинал уже терять всякую надежду на спасение, часы проходили томительно, несчастному казалось, что близок уже рассвет и вот-вот за ним придут палачи. Не унывали только товарищи его по заключению, старики Пабло и Джиованни. «Мужайтесь, синьор,— говорили они.— Бог милостив и не допустит гибели невинного». Утешения стариков не действовали на юношу, и в молитве к Богу он стал искать утешения. Упав на колени перед распятием, он молился долго и горячо, моля о чуде, так как он сам понимал — чудо могло его спасти из этой железной кельи. И чудо совершилось... В то время когда несчастный с мольбою на устах смотрел на слабо освещаемый мерцанием фонаря лик Спасителя... ему вдруг показалось, что распятие дрогнуло и Богочеловек наклонил к нему свой лик. В ужасе вскочил Вольский на ноги и широко раскрытыми глазами смотрел на медленно отделявшееся от стены массивное распятие. Сперва медленно, едва заметно отделялось оно от стены, вскоре заключенные могли убедиться, что распятие совершенно отделилось, открыв за собою длинный коридор, откуда проникал свет фонаря, две человеческие фигуры входили в железную келью...

— Господин офицер, вы свободны, следуйте за мною, вы также,— обратился к старикам шедший впереди молодой человек,— только торопитесь и не обращайтесь внимания ни на что, что бы вам ни пришлось видеть сверхъестественного, все это делается для вашего спасения.

Вольский не верил своим глазам, все произошло так для него быстро и неожиданно, что он не мог сообразить, в чем дело. Почти бессознательно последовал он за молодым человеком по длинному и сырому, казалось, подземному коридору, освещенному потайным фонарем, который нес старик — спутник молодого. Пройдя шагов двести, беглецы спустились по узким и мокрым ступеням в какое-то подземелье, из которого направились не менее

узким но более сырým подземным ходом, далее шли скоро и молча, Вольскому казалось, что он видит все во сне, желая убедиться, что он не спит и имеет дело с живыми людьми, молодой офицер обратился к своим спасителям.

— Вы, по всей вероятности, посланы владелицей замка, герцогиней Касиньяно,— обратился он к своим спутникам,— не знаю, как выразить вам мою благодарность, но она была бы еще полнее, если бы вы предоставили мне возможность видеть герцогиню и лично принести ей мою искреннюю благодарность за спасение.

— Вам нужно торопиться, господин офицер, каждая лишняя минута, проведенная в замке, может стоить вам свободы, не довольствуетесь ли вы тем, что вашу благодарность мы передадим герцогине? — отвечал молодой человек.

— Если дело стоит только за моей безопасностью,— возразил Вольский,— то позвольте мне ею рискнуть, прекрасная герцогиня рискует больше, освобождая меня.

— Это ее долг, и притом она нисколько не рискует,— отвечал молодой человек,— но если вы хотите, вы ее увидите.

Молодой проводник замолчал и ускорил шаги, Вольский и его спутники сделали то же самое.

«Какое странное совпадение,— размышлял Вольский,— мне, как и отцу, приходится начинать свою служебную карьеру далеко от родины, у того же самого Суворова, и начинать притом, как и отцу, опасным приключением. Мне, как и отцу, на помощь приходит женщина.»

Через полчаса ходьбы лунный свет начал проникать в подземный ход, шедший впереди старик с потайным фонарем завернул его, и беглецы в темноте выбрались на свежий воздух. Вольский и его товарищи очутились на берегу небольшой речки, старый проводник тихонько свистнул, и на его свист из-за кустов вышел молодой крестьянин.

— Марьетта здесь? — спросил молодой проводник у деревенского парня.

— Так точно, ваша светлость, она находится в лодке.

Вольский с недоумением посмотрел на своего молодого избавителя.

«Ваша светлость... Кто бы это мог быть? Джиованни говорит, что в замке, кроме герцогини и ее тетки, никого нет, а между тем этот молодой человек?..»

Размышления его были прерваны.

— Сейчас мы переедем эту речонку, за которой будем в полной безопасности, а к утру успеем добраться до Басиньяны, на которую наступают ваши войска,— обратился к нему тот, которого называли вашей светлостью,— вы тоже отправитесь с нами,— обратился он к Паоло и к Джиованни,— пока здесь французы, вам не безопасно их соседство.— Все это молодой человек говорил на ходу, пробираясь к лодке кустарником. Но вот показалась и лодка с сидящею в ней женскою фигурою и гребцом.

— Я вижу, что мы совершенно оставляем замок,— обратился Вольский с беспокойством к своему избавителю,— вы обещали мне возможность видеть герцогиню ди Касиньяно.

— Она перед вами, синьор,— сказал молодой человек, сбрасывая с себя плащ.

В недоумении некоторое время Вольский смотрел на стройную фигуру молодой девушки, одетой в мужское платье. При лунном свете она казалась еще прекраснее. В восторге Вольский упал пред нею на колени, покрывая протянутую руку поцелуями...

ГЛАВА XXXIV

— Наше бегство заметили,— с испугам вскричал Вольский, заслышав шум и крики, несшиеся со стороны замка.

— Пока еще нет,— отвечала, улыбаясь, графиня Элеонора,— французам теперь не до вас, ваш побег они заметят, когда вы уже будете в своей армии, теперь они сами переживают неприятные минуты; а ведь твой Пьетро,— продолжала она, обращаясь к старику кастеляну,— прекрасно разыгрывает роль таинственного монаха, французы перетрусили не на шутку, слышишь, какой они подняли шум.

— Поднимут они шум еще больший, когда встретятся с графом Суворовым,— отвечал, улыбаясь, старик.

Видя недоумение Вольского, герцогиня продолжала, обращаясь к нему:

— Для вашего освобождения, чтобы отвлечь внимание французов, я воспользовалась старой легендой, существующей в моем замке. Четыреста лет тому назад один из моих предков жестоко поступил со своим старшим сыном, лишив его наследства, он силою постриг его

в монахи и заключил в той самой келье, которую вы только что оставили. Несчастный прожил в ней двадцать с лишком лет и умер слепым, проклиная судьбу и своего жестокого отца. С тех пор, как говорит предание, тень несчастного страдальца время от времени начала появляться в замке. Средние века отличались жестокостью нравов, и мои предки были детьми своего века; многим из них жестокость не была чуждою, и стены Касиньяно видели не мало крови, слез и печали... Быть может, это и послужило канвою для легенды. Притеснение всегда ищет себе защитника, и народная молва не замедлила воспользоваться памятью несчастного страдальца: в народе говорили, что тень покойного в монашеской рясе появляется в замке лишь в тех случаях, когда в нем готовится какая-либо жестокость. Народная молва вначале имела свое основание: жестокий отец надолго пережил своего замученного сына, память о котором терзала его совесть и не давала ему покоя. Его нравственные мучения были настолько велики, что временами доводили его до галлюцинации. Случалось, что, когда он задумывал какую-нибудь жестокость, на память ему приходил сын: в испуге вскакивал он ночью, будил весь замок и уверял всех, что видит сына в монашеской одежде, который неотступно его преследует... Галлюцинации господина и создали легенду для народа. Никто никогда таинственного монаха не видел, но все из поколения в поколение были уверены, что дух его витает над замком, оберегая угнетенных. Легенду эту я распространила через моего Франца среди французов, а внук его, Пьетро, взял на себя роль благодетельного таинственного монаха, и, судя по тому переполоху, который идет теперь в замке, он напугал французов изрядно.

В это время лодка пристала к противоположному берегу, на котором два деревенских парня держали несколько оседланных лошадей.

— Разве вы, герцогиня, не возвратитесь в замок?— спросил Вольский, заметив, что молодой девушке подводят коня.

— В замок? Нет, для меня теперь это небезопасно. Возвратиться домой— значит занять недавнее ваше место в железной келье, но без надежды на спасение таинственным монахом, так как распятие, прикрывающее собою вход в потайной коридор, открывается извне и о существовании его лишь знает Франц и я.

Вольский пришел в ужас.

— Боже мой, сколько несчастий принес я вам!

— Успокойтесь. С приходом Моро я все равно в замке не осталась бы, я решила ехать в Милан, где у меня есть дом и поместья, унаследованные от матери. Ваш план только несколько ускорил мой отъезд, придав ему оттенок бегства, но я уверена, что роли скоро переменятся и беглецами окажутся французы, дни которых в Италии уже сочтены. Если до сих пор мои крестьяне колебались, то мой отъезд в русские войска положит конец их сомнениям и не сегодня-завтра пламя восстания охватит всю окрестность и Моро придется иметь дело не только с победоносным Суворовым, но и с не знающей пощады ненавистью итальянского народа.

Разговаривая, Вольский и герцогиня ди Касиньяно скакали по направлению к деревне Басиньяно, расположенной на берегу реки По, где, как слыхала герцогиня от Моро, русский отряд готовится к переправе. Кастелян, горничная Мариетта, Паоло и Джиовани ехали несколько поодаль от молодых людей. Весенняя итальянская ночь и близость к красавице чарующе действовали на Вольского, он с жадностью ловил каждое ее слово; из ее рассказов он знакомился с положением дел в Италии, с настроением общества в высших его сферах.

Начало светать, и восходящее солнце озолотило шпиль колокольни деревенской церкви, к которой наши путники приближались.

— Вот и Басиньяно,— указала герцогиня рукой по направлению раскинувшейся деревушки, из которой доносились звуки русского сигнала.

— Наши уже переправились, они уже в деревне,— с радостью воскликнул Вольский, и путники пустили коней галопом.

Генерал Розенберг, введенный шпионами в заблуждение, не подозревая близости французов, задумал переправу у Басиньяно, и утром 1 мая авангард его отряда собрался на берегу реки, остальные войска тянулись вдоль дороги. Находившийся при авангарде великий князь Константин Павлович предложил Розенбергу начать переправу сейчас же.

— Мы еще слишком слабы, ваше высочество, нужно подождать прибытия остальных войск.

Великий князь сделал нетерпеливое движение.

— Я и забыл, что вы привыкли к спокойной службе в Крыму, где неприятеля никогда и в глаза не видали,— сказал он едко.

Старый, испытанной храбрости воин покраснел от волнения, но у него не достало характера заставить замолчать свои чувства, и он отдал приказание переправиться. Авангард по пояс в воде двинулся на неприятельский берег. Жители Басиньяно встретили русских с восторгом и сейчас же начали рубить дерево вольности. Великий князь с Розенбергом тоже переправились в Басиньяно, куда с противоположной стороны въезжали Вольский и его избавители. Узнав о присутствии в деревне великого князя, которому он был известен еще по Петербургу, Вольский поспешил ему представиться и представить герцогиню ди Касиньяно как свою спасительницу. Великий князь горячо приветствовал как своего старого знакомого, так и прекрасную герцогиню.

— Мы накануне боя,— сказал великий князь,— вам оставаться с нами, герцогиня, небезопасно, я вам дам конвой, который проводит вас до главной квартиры, Вольский же останется с нами.

Звуки трубы и отдаленная перестрелка прервали разговоры. Авангард Чубарова, двинувшийся по направлению Валенцы встретил высланные Моро из замка Касиньяно французские батальоны и атаковал их. Звуки ружейных выстрелов влекли к себе великого князя, и он, попрощавшись с герцогиней, оставил ее на попечение состоявшего при нем камергера, которому приказал доставить ее в главную квартиру Суворова или куда она пожелает.

— Едем, Вольский,— обратился он к офицеру и быстро поскакал по дороге. Две роты беглым шагом последовали за великим князем, не утрашившись бросившимся в атаку. Французы были смяты, успех был полный, но не продолжительный: извещенный о критическом положении своего отряда, Моро скакал ему на подмогу, предварительно разослав во все стороны адъютантов стягивать остальные войска. На следующей позиции небольшому русскому отряду пришлось уже встретить значительные силы противника. Он отступил и в ожидании подмоги упорно сдерживал натиск врагов, часы проходили, а подмога не являлась, к французам же подходили все новые и новые подкрепления. Чубаров держался с трудом, великий князь сам поскакал за подкреплениями и привел с собою три батальона. Бой снова загорелся, но снова не надолго.

Прибывшие к французам свежие силы начали грозить обоим русским флангам, и Чубарову после 8-часового упорного боя пришлось отступить к деревне, у которой до наступления ночи русские батальоны с непоколебимой твердостью отражали атаки противника, ночью же постепенно начали очищать французский берег.

Жители Басиньяно, недавно еще восторженно встречавшие русских, провожали их теперь ружейным огнем.

Великий князь, бывший в течение всего сражения впереди войск, и теперь, при отступлении, оставлял поле последним, сопровождаемый Вольским и своим адъютантом. Великий князь и его спутники собирались уже пустить своих лошадей в воду, как на них, подобно туче, налетел взвод французских кирасир.

Испуганная лошадь великого князя бросилась вперед и прорвалась через французские ряды, но, избавившись от плена, Константин Павлович рисковал погибнуть в воде. Испугавшись, лошадь занесла великого князя в быстрину, но в этот критический момент подоспел казак Пантелеев, который и спас великого князя. Спасся также и его адъютант, но Вольскому не повезло: лошадь его, раненная кирасиром, рухнула на землю, придавив ногу всадника. Вольского подняли, обезоружили и, узнав в нем беглеца из замка ди Касиньяно, повели к Моро, торжествовавшему победу.

— От судьбы не уйдешь, — язвительно говорил пленнику Моро, — не спасла вас ни красавица герцогиня, ни сочиненный ею таинственный монах. Теперь суд — лишняя для вас комедия... Расстрелять его, — обратился он к кирасирскому офицеру.

При слове расстрелять кровь ударила Вольскому в голову... С энергией отчаяния бросился он на кирасирского офицера и, сбив его с ног, вскочил на стоявшую здесь же офицерскую лошадь. Моро и окружавший его штаб и кирасиры до того растерялись при виде такой неожиданной выходки пленника, что опомнились только тогда, когда пятьдесят шагов отделяло их от скакавшего беглеца. Кирасиры сделали по нему залп вдогонку, но Вольский успел уже войти в реку и пустить коня вплавь. Кирасиры в своих тяжелых латах не решились преследовать беглеца в воде, да к тому же казаки, заметив с противоположного берега спасающегося от преследования русского офицера, убийственно метким огнем встретили преследователей.

Вольский был спасен и через час снова находился уже в свите великого князя.

Это была первая крупная неудача союзников: русский отряд потерял одного генерала, 70 офицеров и до 1200 нижних чинов. Узнав, в чем дело, Суворов был страшно взволнован и написал государю донесение, в котором говорил об опрометчивости великого князя, писал, что поведение его в корне подрывает дисциплину.

Едва донесение это было отправлено с курьером, как в главную квартиру прибыл Вольский. О приезде молодого офицера в армию и о его приключении фельдмаршал уже знал со слов герцогини Элеоноры ди Касиньяно, проездом в Милан побывавшей в главной квартире. Приезд Вольского, отец которого двадцать с лишним лет тому назад был любимцем начинавшего тогда свою боевую карьеру Суворова, смягчил раздражение фельдмаршала. Он ласково принял юношу и, внимательно осмотрев его статную фигуру, горячо обнял молодого человека.

— В сыне приветствую отца,— сказал он.— С отцом когда-то били турок, а с тобой будем бить французов... Свою карьеру ты начал уже хорошо и заслужил уже капитанский чин. Надеюсь, заслужишь скоро и Георгиевский крест... А лошадь французам нужно возвратить,— продолжал он, улыбаясь,— это не военный трофей,— и сейчас же сделал распоряжение об отправке лошади в отряд Моро и сам написал французскому генералу письмо, в котором удостоверял правдивость показаний Вольского и, заканчивая, сообщал: «Надеюсь, генерал, что вы довольны случившимся, так как побег поручика Вольского из плена избавил вас от несчастья совершить ужасную ошибку, которая со временем обнаружилась бы и отравила бы вам совесть. Слову французского офицера я верю, надеюсь, вы поверите слову русского фельдмаршала».

Это письмо спасло замок герцогини Касиньяно от секвестра и от полного разграбления, на которое обрек его Моро в порыве гнева. Расспросив затем Вольского о сражении при Басиньяно, Суворов пришел в ужас от той опасности, какая угрожала великому князю.

— Молодость, молодость,— говорил он, быстро шагая по комнате.— Достаточно он уже наказан за свою поспешность,— промолвил фельдмаршал, несколько помолчав, и сейчас же послал курьера вдогонку за первым, приказав ему с донесением вернуться с дороги. Весь день он был в нервном состоянии и успокоился только тогда, когда оба курьера вечером возвратились.

— Все-таки этого дела оставить так нельзя,— сказал он, разрывая свое донесение государю в клочки, и послал

великому князю приглашение явиться в главную квартиру.

Константин Павлович, чувствуя себя виноватым, боясь упреков главнокомандующего, старался как-нибудь отдалить неприятность и послал к фельдмаршалу находившегося в его свите Комаровского с уведомлением, что прибудет с войсками.

Грозно встретил Суворов посланца великого князя.

— Так-то вы бережете государева сына! — набросился он на явившегося к нему Комаровского. — Вас десять человек не могли остановить юношу от необдуманного шага! Зачем вас государь послал с своим сыном? Я закую вас всех в кандалы и с фельдъегерем отправлю в Петербург, — кричал фельдмаршал.

Комаровский молча слушал его упреки. Такая покорность несколько смягчила быстро ходившего по комнате Суворова, и он, успокоившись, приказал усилить конвой великого князя частью своего и отправить его с Комаровским навстречу Константину Павловичу.

— Очень сердит граф Александр Васильевич? — спросил великий князь возвратившегося Комаровского.

— Меня и всю вашу свиту, ваше высочество, обещал заковать в кандалы, но потом немного успокоился, — и Комаровский рассказал все происшедшее.

Великий князь печально вздохнул и призадумался.

Прибыв в главную квартиру, великий князь скрепя сердце отправился к Суворову.

С низкими поклонами встретил его главнокомандующий на крыльце своего дома и со всеми внешними знаками почтения проводил к себе в кабинет. О чем они говорили, неизвестно, но из кабинета главнокомандующего великий князь вышел взволнованный, с красными от слез глазами. Суворов его так же почтительно провожал до крыльца и, пропустив в дверях из приемной в переднюю, обратясь к выстроившейся свите великого князя, крикнул: «Мальчишки, в кандалы закую!»

Этот случай так подействовал на великого князя, что он проникся к старому фельдмаршалу особенным почтением и послушанием. Посланный в итальянскую армию к Суворову в качестве ученика, великий князь просил фельдмаршала дозволения присутствовать при докладах и решении дел.

— С удовольствием, — отвечал главнокомандующий, — но при одном условии, чтобы мы друг другу не мешали и даже друг друга не видели.

Великий князь согласился и строго выполнял условия: входил тихо, не кланялся и садился где-нибудь в уголке, стараясь быть незамеченным. Суворов тоже как будто бы не замечал своего высокого гостя.

Неудачное сражение при Басиньяно отняло у Суворова лишних несколько дней времени, и, желая наверстать его, главнокомандующий двинул войска на Турин. 15 мая город уже был обложен союзными войсками, открывшими огонь. К вечеру подъехал к осаждавшим и Суворов. Сделав распоряжение штурмовать в три часа город, если к тому времени он не сдастся, фельдмаршал остановился в предместье Баллоне, занятом австрийскими войсками, и, стоя у фонтана, залюбовался прелестью итальянской ночи. Роскошная южная природа, прихотливые очертания деревьев, освещаемых особенным, не знакомым жителям севера, лунным светом, чарующе действовали на поэтическую натуру старого воина. Он, казалось, застыл в немом созерцании красот природы, не замечая того, что французские ядра одно за другим ложатся вокруг него, угрожая каждую минуту смертью. Казачий атаман Денисов пришел в ужас, когда увидел, какой опасности подвергается главнокомандующий. Зная хорошо Суворова и не ожидая толку от просьб, он, не говоря ни слова, подбежал к фельдмаршалу, схватил его поперек и быстро понес в сторону. Озадаченный Суворов вцепился ему в волосы, хотя, впрочем, их и не рвал.

— Ах ты проклятый,— кричал он с негодованием,— куда ты несешь меня?

— Туда, где нужно быть русскому главнокомандующему — в безопасное место. Рискуя собою, ваше сиятельство, рискуете всей армией, потому что армия без вас — ничто.

Суворов продолжал ворчать, но позволил себя отнести в ров, где и провел остаток ночи. На рассвете он приказал князю Горчакову вторично написать туринскому коменданту, генералу Фиорелли, письмо с предложением сдаться во избежание лишнего кровопролития. Но тот отвечал дерзким отказом, говоря, что с подобными предложениями к нему уже обращалось несколько союзных генералов, что предложения эти ему надоели и отвечать на них он не будет. «Атакуйте меня, и тогда я буду отвечать вам», — говорил он.

Главнокомандующий сделал распоряжение к штурму, но жители Турина и национальная гвардия, открыв ворота, сами впустили союзников. Многие из французов не

успели укрыться, и в руки союзных войск досталось четыреста орудий и двадцать тысяч ружей.

В три часа пополудни Суворов во главе союзных войск вступил в город. Население Турина с восторгом встречало освободителей, и приветственные клики в честь Суворова и императоров Павла I и Франца II оглашали воздух. Прием был восторженнее и шумнее миланского. Население, узнав, что в рядах одного из австрийских кавалерийских полков находится сын русского императора, устроило великому князю бурную овацию. Ему был отведен великолепный дворец, от которого он, впрочем, отказался и провел ночь за городом среди австрийских войск, Суворов же занял нижний этаж одного из городских домов. Фиорелла прислал к фельдмаршалу парламентаря с заявлением, что он откроет канонаду по городу, если только войска его не покинут, что он считает нужным наказать жителей за измену. И действительно, ночью он открыл артиллерийский огонь, а утром Суворов доносил в Петербург: «Неприятель поздравлял победителей непрестанною пальбою, градом бомб, картечи и каленых ядер до рассвета, причем убито в городе два обывателя и жестоко досталось черепицам крыш». На деле обстояло несколько иначе: французские ядра начали наносить городу немалый вред, там и сям стали вспыхивать пожары, а во дворе дома, в котором квартировал фельдмаршал, было убито несколько лошадей, несколько человек поплатились оторванными руками и ногами. Парламентарь хотя и бегал по городским улицам с завязанными глазами, тем не менее ухитрился узнать, в каком доме квартирует главнокомандующий, и цитадель осыпала его дом теперь градом снарядов, на которые Суворов, по-видимому, не обращал никакого внимания. Долго крепился донской атаман Денисов, наконец на рассвете решился пойти к Суворову.

— Что тебе, Карпович,— спросил проснувшийся Суворов входившего в спальню атамана.

— Французы, ваше сиятельство, всю ночь бомбардируют город и особенно метко стреляют по этому дому.

— А ну их, не мешай мне спать,— и фельдмаршал повернулся на другой бок, лицом к стене.

— Жители, ваше сиятельство, в отчаянии,— продолжал Денисов, но Суворов ничего не отвечал и сделал вид, что спит, слегка похрапывая. Простоял несколько минут атаман и, видя, что с графом ничего не поделать, пошел из спальни. Он уже выходил на крыльцо, когда услышал

голос Суворова, звавшего к себе своего племянника, князя Горчакова.

— Жаль, Андрюша,— говорил он племяннику,— ведь этак они вконец разорят бедных жителей, а мы им обязаны немало за содействие. Если бы не они, сколько было бы пролито крови на штурме... Напиши-ка французскому коменданту, что стыдно и грешно обижать мирных обывателей и что если он не прекратит канонады, то на эспланаду под выстрелы будут выведены все пленные французы, не исключая и больных.

Через полчаса письмо было отправлено и возымело свое действие: комендант соглашался прекратить канонаду в том случае, если главнокомандующий союзных войск обяжется ничего не предпринимать против цитадели со стороны города. Как ни неприятно было это условие для Суворова — цитадель с городской стороны была слабее,— тем не менее он согласился, и город таким образом был спасен.

Население Турина не знало, как выразить главнокомандующему свою благодарность. В этот же день было получено Суворовым донесение о сдаче генералу Повало-Швейковскому Александрии, капитулировали также Феррара и Миланская цитадель. Эти успехи вознаграждали несколько за Басиньяну, которую, впрочем, Суворов все еще не мог забыть, и время от времени посылал великому князю шпильки, говоря: «Молодо-зелено, не следует не в свое дело мешаться». Семнадцатого мая союзные войска праздновали ряд побед. Утром в квартире Суворова было отслужено благодарственное молебствие по обряду православной церкви, а в полдень главнокомандующий в полной парадной форме, в орденах и знаках отличия поехал в роскошной карете, окруженный генералами союзной армии, в собор. Народ, теснившийся вокруг кареты, приветствовал его восторженными кликами, а при входе в храм он был встречен духовенством.

По окончании молебня расставленная на городском валу артиллерия производила неумолчную пальбу. В этот день главнокомандующий давал парадный обед, к которому были приглашены почетные представители города, представители сардинского короля и генералы союзной армии.

Торжества и празднества не мешали Суворову заниматься и делом. По занятии города он, имея в виду инструкции императора Павла I, сейчас же занялся восстановлением в Пьемонте прежнего порядка вещей.

С первого же дня вступления он решил восстановить Сардинское королевство, королевскую армию и сардинского короля. Довольно значительная, почти сорокатысячная сардинская армия могла быть полезна и ему, так как значительно усилила бы его собственные войска. Еще по пути к Турину он поручил доверенному сардинского короля графу Сент-Андре заняться формированием армии; помогать ему должны были генерал Латурь и один из королевских офицеров. От себя же Суворов издал к пьемонтским войскам прокламацию, в которой говорил, что союзники вступают в Пьемонт для восстановления короля, а потому главнокомандующий приглашает всех присоединиться к избавителям и обещает, что никому другому они не будут присягать, кроме сардинского короля, другая прокламация призывала пьемонтский народ к оружию на защиту религии и собственности каждого... Войска всюду распространяли слух о скором прибытии герцога Аостского, а за ним и самого короля. Исполняя предначертания императора Павла Петровича, Суворов не допускал, подобно государю, возможности своекорыстных замыслов со стороны венского кабинета. Получив известие о занятии Турина, государь писал Суворову: «Коль скоро овладеете Туринскою цитаделью, уведомьте о сем сардинского короля, пригласите возвратиться в Турин и восстановите на престоле».

Действуя в таком духе, Суворов по занятии Турина в тот же день восстановил прежние должности, звания, титулы, ордена и пр., существовавшие в царствование сардинского короля, введение гражданской администрации возложил на верховный совет, возложив управление Пьемонтом на генерала де Латура, губернатором же Турина назначил доверенного сардинского короля графа Сент-Андре.

Делая такие распоряжения, Суворов и не подозревал, что скоро ему же самому придется их отменять... В Вене этими распоряжениями были недовольны, и в то время когда главнокомандующий всецело отдался благоустройству королевства, из Вены ему везли инструкции противоположного характера. Но обо всем этом он узнал позднее, теперь же заботился о скорейшем благоустройстве в городе и в королевстве.

На данный Суворовым парадный обед население отвечало парадным спектаклем.

Туринский театр блистал огнями, улицы и площади переливались различными цветами фонарей, урны с горячей

смолой и факелы освещали перекрестки. Толпы народа в праздничных одеяниях запружали панели и мостовые, оркестры и пение оглашали вечерний воздух, итальянский народ приложил все свое искусство, чтобы как можно пышнее и торжественнее чествовать главнокомандующего, спасшего город от мести озлобленных французов... Но вот вдали раздались приветственные клики, они становились все громче и громче, вскоре показалась и карета, запряженная цугом: то ехали главнокомандующий с великим князем Константином Павловичем, окруженные блестящею свитою генералов и офицеров союзных армий... Толпа ураганом налетела на карету, мигом были отпряжены лошади, и туринцы сами повезли экипаж к театру. Здесь новая торжественная встреча, новые бурно изъясляемые восторги. Театр был переполнен самою избранною публикой, все высшее дворянство Пьемонта собралось как на национальный праздник и искренне чествовало вождя, восстановившего трон, их права и привилегии. Как только Суворов появился в ложе, гром рукоплесканий потряс театр, но главное было впереди: поднялся занавес, и на сцене, представлявшей собою храм славы, он увидел свой бюст, окруженный эмблемами его побед. Старик был смущен и восхищен. Слезы умиления появились у него на глазах, он не мог говорить от волнения и молча раскланивался перед публикой. Началось представление, партер наполовину был занят русскими и австрийскими офицерами, среди которых находились: Вольский и фон Франкенштейн. Молодые люди познакомились в день прибытия Вольского в армию и близко сошлись.

— Мне очень приятно будет засвидетельствовать вашей матушке и супруге мое уважение. Поверьте, дорогой Александр, что для меня тем более приятна встреча с княгинею и вашей супругой, чем она неожиданнее. Много должно быть у них к вам любви, если они решились приехать в армию в то время, когда тыл ее еще не очищен от французов,— говорил Вольский фон Франкенштейну, беспокойно посматривавшему на ложи бельэтажа.

— Однако чтобы это могло значить,— тревожно говорил последний,— сейчас должны поднять занавес, а их еще нет...

В это время дверь одной из лож распахнулась, и в нее вошли три дамы. Вольский остолбенел от неожиданности: с княгинею и Ядвигою фон Франкенштейн входила герцогиня Элеонора ди Касиньяно. Молодая девушка в бальном платье казалась еще прекраснее. Вольский

сидел как очарованный... Он с нетерпением ожидал антракта, не замечая того, что делается на сцене. Но вот занавес опущен, молодые люди поднялись с мест и поспешно направились в бельэтаж. Волнение Вольского было столь велико, что он, прежде чем войти в ложу, остановился на несколько секунд, чтобы овладеть собою.

— Я очень рада видеть вас невредимым,— приветствовала его при входе княгиня, у которой он почти-тельно поцеловал руку,— нужно же было случиться, чтобы из беды вас выручил мой лучший юный друг,— указала она на герцогиню,— встрече с которой вы, без сомнения, рады.

— Тем более рад и счастлив,— отвечал Вольский,— что расстался я с герцогиней неожиданно, и теперь, пользуясь приятною для меня встречей, я рад принести мою глубокую и искреннюю благодарность. Не знаю, буду ли я когда в состоянии ответить рыцарски бесстрашной и благородной герцогине хотя чем-нибудь за то, что она для меня сделала.

— Если вам угодно настаивать на том, что я что-то сделала, то я сделала это не для вас, а для союзной армии, интересы которой мне дороги. Офицер, который в состоянии был, будучи окруженным неприятелем, отнять у него лошадь и пробиться сквозь его ряды— незаурядный воин, и потеря такого офицера для армии была бы чувствительна. Вы видите, следовательно, что не вам меня благодарить, а вашей армии я, как итальянка, более обязана, чем она мне.

Фон Франкенштейн занял место возле жены, Вольскому же княгиня указала стул подле герцогини Элеоноры. Снова поднялся занавес, Вольский снова не следил за тем, что творилось на сцене, не следила за представлением и герцогиня. Они настолько увлеклись разговором, что не видели, когда опустился занавес, и только гром рукоплесканий и новые овации в честь Суворова возвратили их к действительности. Фельдмаршал, стоя у барьера ложи, раскланивался перед приветствовавшей его публикой...

Вольскому казалось, что он уже давно знаком с герцогиней, и был счастлив, получив от княгини приглашение посещать ее запросто: герцогиня Элеонора гостила у княгини, которая знала ее еще ребенком и была дружна с ее покойной матерью.

Преисполненный счастья и юношеских надежд возвращался Вольский домой по иллюминированным улицам Турина.

ГЛАВА XXXV

С момента вступления своего в Италию Суворов имел основание быть недовольным венским кабинетом, стеснявшим его свободу действий; теперь же недовольство его перешло в негодование: едва узнали в Вене о сделанных главнокомандующим распоряжениях по восстановлению сардинского короля, как император Франц поспешил отправить к нему рескрипт, в котором писал, что в землях, занятых союзными войсками, по праву завоевания не может быть признаваемо иной власти, кроме его, австрийского императора, что поэтому все, относящееся до гражданского управления и части политической, должно быть предоставлено распоряжению венского кабинета, пьемонтские же солдаты должны быть призываемы под австрийские знамена, а не под знамена сардинского короля, так как продолжительная война требует пополнения людьми чужих областей, отнятых у неприятеля.

Рескрипт этот открыл Суворову глаза, для него стало ясно, что цели, преследуемые русским императором и австрийским, различны. В то время когда императором Павлом Петровичем руководили рыцарские чувства, желание восстановить троны и веру, низвергнутые Французской республикой, император австрийский таил своекорыстные замыслы — русской кровью, русским самопожертвованием ради идеи округлить свои владения. Вместе с рескриптом к главнокомандующему все внутреннее управление занятым краем вверялось австрийским комиссарам, снабжение же всем необходимым союзных войск — Меласу, от имени которого были опубликованы прокламации к бывшей сардинской армии. В них имени сардинского короля не упоминалось, и потому они не достигали цели: желающих поступить под австрийские знамена находилось немного.

Отношения венского двора к главнокомандующему не замедлили сказаться и в армии. Австрийские генералы, видя, что между главнокомандующим и руководителем венской политики происходит борьба, не замедлили принять сторону барона Тугута и всячески стали парализовать деятельность Суворова. Положим, такой образ действий вредно отзывался на общем деле, но и то сказать, кто и в какие времена предпочитал интересы государственные своим собственным? Недаром же сложилась поговорка: «Своя рубашка ближе к телу». Так было и в данном случае: австрийские генералы знали, что,

подрывая деятельность Суворова, они делают угодное Тугуту, а делать приятное всесильному министру — значит делать собственную карьеру, и делали ее, не стесняясь средствами, следствием чего армия никогда не получала вовремя провианта и боевых припасов, солдаты, проходя по богатой стране, нередко голодали и в лучших случаях питались черным и не всегда хорошим хлебом. Даже неприхотливый русский солдат стал жаловаться на австрийское скряжничество. Рассылаемые главнокомандующим приказания доставлялись не вовремя и получались тогда, когда в них миновала уже надобность или когда обстоятельства дела настолько изменялись, что исполнение запоздалого приказания являлось прямо-таки вредным. Один только маркиз Шателер, проникшийся уважением к Суворову, ясно видел, что Тугутом руководила слепая зависть к успехам и славе иноземного полководца и непонятная ненависть к России. И действительно, Тугут не мог простить России того, что Австрия должна была обратиться к ее помощи. Не так рассуждал Шателер и всячески старался облегчать нелегкий труд главнокомандующего, но этот благородный человек нажил себе непримиримого врага в лице Тугута.

При таких-то условиях готовился Суворов к событиям, окружившим новым ореолом его славное имя и повергнувшим Францию в ужас и уныние.

Находившийся на юге Италии генерал Макдональд шел на соединение с Моро. Допустить их соединиться — значило бы отказаться от приобретенных успехов. Союзная армия была и без того численностью слабее французской, теперь же, наполовину уменьшенная выделением отрядов для осады находящихся в тылу крепостей, она едва ли могла бы противостоять армиям Моро и Макдональда. Во что бы то ни стало нужно было не допустить соединения французских армий и разбить их в одиночку. Суворов со всею своею энергией принялся за необходимые приготовления.

Отдав приказ собираться войскам к Александрии, Суворов сам выехал 20 мая, обгоняя спешившие войска. На одном из привалов он увидел, что солдаты, усевшись на пологом берегу реки, черпают из нее ложками воду и запивают ею твердые, как камни, сухари.

— Вот как кормят негодные австрийцы своих избавителей, — сказал он ехавшему рядом племяннику князю Горчакову, — и это в стране, изобилующей млеком и медом, долго ли тут до мародерства, а кто виноват?

Затем, подъехав к солдатам, он крикнул им с веселым видом:

— Здорово братцы, здорово чудо-богатыри, что это вы делаете?

— Итальянский суп хлебаем, ваше сиятельство,— добродушно отвечали солдатики.

— Дело, дело,— отвечал фельдмаршал и, соскочив с коня, взял солдатскую ложку и принялся вместе с ними хлебать воду.

— Вкусный суп,— сказал он, похлебав водицы,— сыт, теперь очень сыт, а знаете, братцы, ведь французы от нас совсем уже близко, вот добратся бы нам поскорее: знатно поживимся, много у них всякого добра, и про итальянский суп тогда забудете.

— Рады стараться, ваше сиятельство, уж мы охулки на руку не положим.

— Знаю, братцы, знаю, чудо-богатыри, кто может тягаться с героями Праги, Рымника, Измаила.

— Прикажи, отец родной,— кричали солдатики уже в одиночку,— и мы такую зададим баню французикам, что не только грязи на коже, да и самой кожи у них не останется, а то, если нужно, заодно уж и австриякам...

— Тс... они наши союзники,— отвечал фельдмаршал,— с ними нужно жить дружно, а коли начнем и ссориться, не до французов тогда будет, а тут нужно французов бить.

— Побьем, ваше сиятельство, побьем, отец родной,— кричали в восторге солдаты, забыв про свои итальянские щи.

Попрощавшись, Суворов поехал дальше.

— И солдаты замечают проделки австрийского придворного совета,— заметил он племяннику.

— А хорошо бы они сделали, побив французов да задав хорошую встрепку австрийцам,— отвечал, улыбаясь, Горчаков.

— И ты также? Чем виноваты австрийские войска? Они честно и добросовестно исполняют свой долг. Уж коли и следует дать кому встрепку, так это нашему венскому послу, графу Разумовскому... Не умеет он отстаивать русские интересы. Я такого посла в загривок бы,— закончил фельдмаршал с сердцем свою тираду, приправив ее крепким словцом.

Стягивая к Александрии войска, Суворов заботился и об обучении австрийцев. Ожидая войска Бельгарда, он писал князю Багратиону: «Войска Бельгарда придут под Александрию из Тироля необученные, чуждые действию

штыка и сабли, а потому, ваше сиятельство, повидайтесь со мною и отправьтесь немедленно к Александрии, где вы таинство побиения неприятеля холодным оружием Бельгардовым войскам откроете и их к сей победительной атаке прилежно направите. Для обучения всех частей довольно двух и трех раз, а коли время будет, могут сами больше учиться. А от ретирад отучите. Наблюдайте сие крепко и над российскими».

К тридцатому мая под Александрией собралось до тридцати четырех тысяч войск, а второго июня Суворов получил донесение, что первого числа граф Гюгенцоллерн атакован Макдональдом при Модене и отброшен к Мантуе. Положение дел было серьезное: Макдональд грозил напасть на генерала Края и освободить Мантую. Суворов, никогда не терявшийся от неожиданности, не растерялся и теперь: отдав приказ войскам как можно скорее идти навстречу Макдональду, велел Отту с его дивизией держаться между Пармой и Пиаченцей, а Краю отделить все, что можно, от блокадного корпуса и послать на усиление главной армии, в приказе же по войскам предписывалось неприятельскую армию взять в полон, что совсем нетрудно, так как их не много, да и то всякий сброд. Суворов намеренно старался вселить в солдатах невысокое мнение о неприятельской армии, хотя на деле она была далеко не такова. Пока главнокомандующий отдавал приказания, Макдональд пятого июня напал на Отта и после жаркого кровопролитного сражения заставил отступить его от Пиаченцы к С.-Джованни. Австрийский генерал держался очень упорно и в ожидании подмоги, за которой послал к Суворову, энергично отбивал бешеные атаки французов, решившихся уничтожить австрийские отряды поодиночке. Главнокомандующий, узнав о критическом положении Отта, немедленно выслал ему на помощь Меласа, а на другой день выступил и сам Мелас на некоторое время поддержал товарища: благодаря пересеченной местности они успешно отбивали атаки, но французы скоро удвоили усилия и повели атаки не только с фронта, но и с флангов, в обход которых был послан Домбровский со своими поляками. Ураганом налетали польские уланы; не обращая внимания ни на штыки, ни на град пуль, врубались они в австрийские каре, гибли десятками, но австрийцев уложили сотнями. Французская пехота наседала с фронта, австрийцы теряли батарею за батареей. Положение было крайне критическое

— Ничего не осталось, кроме смерти,— в отчаянии воскликнул Мелас, видя последнюю свою батарею, захваченную полками,— французы нас задавят численностью...

— О, если бы явился хотя дух Суворова, тогда мы спасены,— воскликнул с мольбою в голосе генерал Отт,— тот самый, который еще так недавно не видел ничего не обыкновенного в русском полководце и считал его военную славу необыкновенно раздутой.

Небо сжалилось над австрийцами, их отступавшие колонны готовы были обратиться в беспорядочное бегство, когда в тылу показалось густое облако пыли, которое становилось все больше и больше. Сперва оно скрывало движущиеся массы, но спустя четверть часа австрийцы ясно различали казачьи кивера и пики, они ясно видели скакавшего впереди маленького и худенького генерала, далеко опередившего свои полки. Дрогнули австрийцы, но на этот раз не от испуга, а от радости, по рядам обессиленных в неравной борьбе войск пронеслось: «Генерал Вперед скачет, мы спасены». Колонны остановились и с новым приливом мужества встретили французскую атаку.

То был действительно Суворов. Взяв с собою четыре полка казаков из авангарда с его начальником князем Багратионом, он поспешил на выручку австрийцев, поручив командование авангардом великому князю Константину Павловичу. Фельдмаршал подоспел вовремя. Въехав на лежащий впереди холм, он долгим и внимательным взглядом окинул поле сражения... Два казачьих полка, не успев перевести дух после продолжительной скачки, по его приказанию понеслись к полякам во фланг, против же их фронта были посланы драгуны, другие два казачьих полка под начальством князя Горчакова грозили правому флангу французов... Картина боя изменилась: французы, впервые увидевшие казаков, принуждены были оценить их лихость и замедлили свое наступление, казачий же удар во фланг Домбровскому привел поляков в замешательство... На стороне союзников был успех, минутный, но в ожидании подкреплений каждая минута была дорога, что и оправдалось на деле. Великий князь, не обращая внимания ни на зной, ни на немилосердно палящие лучи солнца, не шел, а бежал, колонна растянута на Бог весть какое пространство, и люди, выбиваясь из сил, падали рядами, остальные же продолжали бежать на выстрелы, и скоро голова колонны показалась

на поле сражения; начали подходить и другие полки, выстраиваясь против неприятельских флангов. Суворов быстро отдавал приказания. Повелев своему племяннику ударить в правое крыло, Отту приказал атаковать центр, а Багратиону — левый фланг.

— С Богом в атаку,— говорил он,— не теряйте времени на бесцельную перестрелку.

Пришедшие на подмогу батальоны, потеряв в пути много отставших, были чрезвычайно слабы, и потому Багратион подошел к Суворову.

— Ваше сиятельство,— обратился он вполголоса,— разрешите повременить с атакой, пока прибудет хотя бы часть отставших, а то батальоны слишком слабы: роты не насчитывают и по сорока человек налицо.

— А у Макдональда нет и по двадцати, атакуй с Богом,— отвечал ему на ухо Суворов.

Багратион повиновался.

С песнями, музыкой и барабанным боем двинулись колонны в атаку.

Крайне пересеченная местность скрывала французов от глаз и, наоборот, делала для них союзные войска мишенями. Долгое время союзные колонны несли потери, не видя противника, но огнестрельный бой был не в характере французов, привыкших, подобно суворовским войскам, к рукопашным схваткам... Они сами перешли в атаку.

Суворов все время разъезжал по фронту, не давая энергии солдат ослабевать.

— Вперед, братцы, вперед чудо-богатыри, коли!

Радостное «ура» покрывало слова любимого вождя, и солдаты, еле переводя дух, с ружьями наперевес мчались вперед навстречу стройным колоннам французов.

Как на парад шли батальоны Макдональда; оркестры гремели марсельезу, тысячи голосов с энтузиазмом подхватили мотивы оркестра. Однажды марсельеза спасла их,— правда, это было давно, на швейцарском театре войны. Изнемогавший французский полк под натиском вчетверо сильнейшего австрийского отряда готов был уже отступить, как вдруг горнист заиграл марсельезу. Подхватили ее солдаты и настолько воодушевились, что плохо досталось от их воодушевления считавшим уже себя победителями австрийцам. На этот раз марсельеза не помогла. Как ни были экзальтированы французы, русские батальоны были тверды, как скала, о которую, как волны бушующего моря, разбивались все бешеные атаки французов.

Но вот мало-помалу стягиваются отставшие в пути солдатики, дрогнула скала и стремительно двинулась вперед, движение ее было стихийное: подобно грозной лавине обрушилась она на французов, ломая и коверкая еще так недавно красиво выглядевший французский строй. Не с марсельезой, а с громким, никогда их не выдававшим «ура» неслись герои Праги и Измаила на французские каре; присутствие среди них в огне государева сына воодушевляло войска еще больше, еще больше подвигало на подвиги. Пока пехота наседала на французов, Багратион с казаками налетал на поляков. Польский легион состоял из лучших людей злосчастной Польши; все те, кто не мог пережить позора своего отечества, кто мечтал еще о его спасении, ушли с Домбровским во Францию, унося с собою ненависть к России и Австрии. Можно себе представить, с какой отвагой дрались эти лучшие люди и патриоты с теми, кого считали виновниками гибели своего отечества. Но их героизм разрежал лишь их ряды: отступить поляки не хотели и сотнями ложились под ударами казачьих шашек. Одна французская бригада бросилась было полякам на помощь, но успех затуманил казакам головы и удвоил их нравственные силы: с ожесточением налетели они на французов, и те, несмотря на свою подвижность, не успели перестроиться в боевой порядок, как были уже опрокинуты, и дикие сыны степей неслись уже во фланг отступающему генералу Виктору. Последний раз попробовали французы построить каре, но оно было прорвано и рассеяно. Войска Макдональда с большим трудом успели отступить за реку Тидону.

Пала на землю ночь, а с нею смолкли и выстрелы. На этот раз победа была на стороны союзников, но довершить ее Суворов не решался: слишком уж были утомлены войска и форсированным переходом под знойными лучами южного солнца, и упорным кровопролитным боем с не знающим страха противником. Главнокомандующий поздравил войска с победою и вместе с великим князем отправился на ночлег в С.-Джованни. Генерал Макдональд, думая разгромить Отта, не рассчитывал наткнуться на Суворова, которого считал в нескольких переходах. Если бы он знал, с какою скоростью римникский граф водит свои войска, он не поспешил бы с атакою, не дождавшись генералов Оливье и Монришара, но оплошность была сделана, и теперь, желая ее исправить, французский главнокомандующий отвел свои войска на 7 верст от Тидоны к реке Требии, решив дать

им день отдыха, и 8 июня, с прибытием корпусов Оливье и Монришара, снова атаковать союзников. Но не так думал Суворов: не в его интересах было допускать усиление Макдональда, теперь он одержал победу с войсками, по численности уступавшими французам, к концу же боя число его войск увеличилось явившимися отсталыми отрядами, и наутро он сам задумал атаку. Чтобы воодушевить австрийцев, он отдал пароль «Терезия» и лозунг «Колин». Первая была популярная императрица австрийская, а второй напоминал им о победе, одержанной австрийскими войсками в Семилетнюю войну.

К утру 7 июня в распоряжении Суворова находилось уже до 20 000 войск. К девяти часам утра союзники построились двумя колоннами. Суворов, объезжая их, шутил с солдатами, говоря, что французы дразнят их, не давая себя окончательно разбить.

— Разобьем, ваше сиятельство, — кричали солдаты, — был бы на то ваш приказ.

Так же восторженно приветствовали главнокомандующего и австрийские полки. Суворов, знавший в совершенстве немецкий язык, шутил с солдатами, пересыпая свою речь немецкими народными поговорками.

В 10 часов утра фельдмаршал со своим штабом въехал на небольшой пригорок, еще раз внимательным взором окинул свои войска и впереди лежащую местность, снял шляпу и, перекрестившись, молвил: «С Богом, вперед». Раздался пушечный выстрел, эхом пронесся он по полю и болезненно отдался в сердце Макдональда, не ожидавшего со стороны союзников атаки, но факты были налицо: союзные колонны скорым шагом двигались уже к Тидоне. Пересеченная местность, изборожденная дорогами, плотинами, плетнями и виноградниками, сильно затрудняла движение, и войска только к двум часам дня встретились с противником. Завязался ожесточенный бой, как и накануне; длился он, как и предшествовавший, до вечера; французы в этот раз, как и в прошлый, принуждены были отступить за Требию, но не были еще уничтожены, — напротив, к вечеру подоспели Оливье и Монришар, и войска Макдональда, усиленные свежими частями, получили численный перевес над союзниками. Макдональд начал уже мечтать об атаке и поражении Суворова.

С наступлением темноты смолкли и выстрелы, и по обоим берегам Требии запылали костры. До утра обе армии отдыхали, и лишь к десяти часам утра снова

разгорелся бой. На этот раз наступал уже Макдональд, он был уверен, что в этот день ему на помощь явится Моро и ударит союзникам в тыл, что генерал Лапоит, вышедший уже с лигурийским легионом из Бобио, атакует русских во фланг; но он ошибся в расчете: ни Моро, ни Лапоит не появились. Хотя ожидаемые Макдональдом подкрепления и не прибыли, тем не менее положение союзников было не из выгодных: войск мало, находившиеся налицо — утомлены, в офицерах большая убыль; на стороне же французов численный перевес и свежие, не вступавшие еще в бой силы. Только энергия, только сила духа главнокомандующего могли спасти союзную армию, и спасли. Суворов умел перелить свою энергию в своих подчиненных и тем самым обеспечил победу.

С невероятной настойчивостью французы напирали на союзников: не успевали они отбить одной атаки, как вслед за нею были атакованы новыми войсками. Бой длился уже несколько часов; несколько часов Розенберг с пятью батальонами выдерживал натиск пятнадцати батальонов, наконец удерживать французов он больше не был в состоянии и поскакал к Суворову, одновременно с ним прибыл и князь Багратион. Изнеможенный от солнечного зноя, лежал фельдмаршал в одной рубашке на земле, прислонившись к большому камню.

— Ваше сиятельство, войска изнеможены, патроны на исходе, французы все прибывают и прибывают, необходимо полное отступление, — начал Розенберг.

— Попробуйте, ваше высокопревосходительство, сдвинуть вот этот камень, — сказал Суворов. — Не можете? Ну, так в такой же мере и отступление невозможно. Извольте держаться крепко и ни шагу назад.

Розенберг молча приложил руку к шляпе и поскакал на свою позицию. Суворов, поздоровавшись затем с Багратионом, обратился к нему с вопросом:

— Что, князь Петр?

— Поляки, ваше сиятельство, разбиты и отброшены, но убыль у нас дошла до половины, пороховой грязи столько накопилось в ружьях, что они положительно стрелять не могут. Люди до того измучены, что к дальнейшему бою положительно не годны.

— Плохо, князь Петр, плохо, — отвечал Суворов и затем, быстро вскочив на ноги, крикнул лошадей. В одной рубашке, с кителем в руках, с юношеской ловкостью он прыгнул в седло и понесся на правый фланг к Розенбергу. На пути он встретил отступавший в беспорядке батальон.

— Заманивайте, ребята,— крикнул он солдатам,— заманивайте, шибче, бегом...— И сам поехал впереди бегущих. Сделав сотни две шагов, он крикнул солдатам:— Стой, теперь довольно, пусть-ка теперь попробует француз от нас уйти. Вперед, чудо-богатыри!

Солдаты оправились и с новой силой бросились на неприятеля, а Суворов скакал уже к Багратиону. Едва увидели войска своего любимого начальника, как воспряли духом, исчезла усталость, ружья стали стрелять, огонь усилился и батальоны, по указанию фельдмаршала, бросились на помощь Розенбергу и Швейковскому. Напор был так стремителен, что неожиданно для самих себя они очутились в тылу отрядов Виктора и Русска.

Французы, увидев сзади себя русских, приняли их за свежие подкрепления и поспешно перешли в отступление. Картина боя изменилась. Виктор и Русска были отброшены за реку, и бой кипел лишь на правом фланге. К шести часам вечера все французские войска перешли уже в полное отступление. Суворов хотел было преследовать их за реку, но вид изможденных войск остановил его. Пехота и кавалерия расположились уже на отдых, и лишь артиллерия некоторое время посылала французам снаряды. Отправившись на ночлег, фельдмаршал, маскируя свою усталость, собрал генералов и, поздравив их с трехдневной победою, просил передать его благодарность войскам.

— Неприятель, господа, хотя и разбит, но не сломан, его нужно сломать окончательно,— сказал Суворов и отдал приказание готовиться наутро к новому бою. Но Макдональд боя не принял. Французы, отразив последнюю попытку союзников перейти Требию, сделали все, что могли. Макдональд ночью собрал в Пиаченце военный совет, на котором увидел, что сражаться он больше не может: полки пришли в совершенное расстройство, из двух тысяч поляков осталось триста, много офицеров и генералов убито и ранено, артиллерийские снаряды на исходе, об армии Моро никаких известий, а между тем австрийские отряды генерала Края уже в тылу французской армии и захватили Модену, Реджио и Парму. Генералы единогласно заявили, что продолжать бой считают невозможным. Макдональд решил отступить. Оставив на берегу Требии небольшой кавалерийский отряд для поддержания бивуачных огней, чтобы ввести союзников в заблуждение, Макдональд под прикрытием южной темной ночи начал отступление, спасал остатки своей армии.

Рано утром Суворову донесли с аванпостов, что неприятель ушел, фельдмаршал обрадовался и, приказав начать преследование, разослал по окрестным деревням трубачей с вестью о победе.

ГЛАВА XXXVI *

Триумфатором въезжал Суворов в Александрию; по правую его сторону ехал великий князь, а по левую, как старший, австрийский генерал Мелас. Население города устроило ему торжественную встречу, духовенство с крестами и хоругвями встречало его далеко за городскими воротами. Но восторг победы, победы, повергшей всю Францию в уныние, Вена фельдмаршалу отравила: не успел он расположиться у себя на квартире, как получил от австрийского императора рескрипт, в котором говорилось, что хотя и верит в «опытность, в храбрость и столь часто испытанное счастье Суворова, но подтверждает совершенно отказаться от дальних и неверных предприятий и о всяком важном предположении или действии доводить до его сведения». Постоянные напоминания императора Франца о счастье, покровительствующем Суворову, до глубины души оскорбило старого фельдмаршала, он не мог мириться с такою черной неблагодарностью. Не помня себя от гнева, громко прочитал он рескрипт в присутствии высших австрийских генералов и затем, обращаясь к генерал-адъютанту императора Франца, присланному для инспектирования хозяйственной части в войсках и привезшего императорский рескрипт, сказал:

— Его римско-императорское величество часто изволит говорить о сопутствующем мне счастье. Такие речи мне не новы, еще вчера их говорила в армии ослиная голова.

Генералы молча в ужасе переглянулись между собою, фельдмаршал же, не обращая на их смущение внимания, повернулся к своему племяннику князю Горчакову и сказал по-немецки:

— Напиши, Андрей, реляцию о сражениях при Тидоне, Требии и Нуре. Весть об уничтожении армии Мак-

* Известный труд А. Петрушевского «Генералиссимус князь Суворов» был одним из главных источников, которым пользовался автор. В третьей же части романа, в особенности в последних главах, многие места взяты у г. А. Петрушевского.

дональда, которая до сих пор страшит его римско-императорское величество, пусть будет ответом на рескрипт.—Обращаясь затем к австрийскому генерал-адъютанту, он добавил:—А вы, ваше высокопревосходительство, успокойте придворный военный совет: ваша столица может оставаться в Вене, ее незачем уже переносить в Пресбург, французы у венских ворот уже появиться не могут.

— Ваши слова, граф, я передам по назначению,— отвечал оскорбленный генерал-адъютант.

— Можете добавить еще, ваше высокопревосходительство, мою отповедь вашему придворному военному совету: скажите ему, что генерал-фельдмаршал граф Александр Суворов-Рымникский не наемник, который из-за хлеба им послушен, что он служит из амбиции и волен служить или не служить. Они меня поймут.

Разговор, быть может, принял бы направление, какого не желал и сам Суворов, но, на счастье, ординарец доложил о приезде графини Бодени княгини фон Франкенштейн. Фельдмаршал пошел навстречу дорогой гостье, входившей уже в зал.

— Из Турина, дорогой граф Александр Васильевич, я приехала приветствовать Аннибала наших дней,— говорила она, улыбаясь.

— А ведь и верно, много веков тому назад Аннибал разбил римлян там, где нынче Бог даровал нам победу,— отвечал он, целуя руки графини,— теперь дорога на Рим свободна, как вы думаете, дорогая княгиня, почему Аннибал, одержав победу при Требии, не пошел на Рим?

— Вероятно, и в Карфагене был свой придворный военный совет, который связывал ему руки,— отвечала княгиня, смеясь.

— Помилуй Бог, хорошо, как хорошо, я в вас узнаю прежнюю милую, хорошую графиню Анжелику, которую я когда-то знал на Дунае, хорошее было тогда время,— и Суворов печально вздохнул,— годы ушли, близка и могила...

— Наша жизнь прожита, будем жить жизнью наших детей,— отвечала, улыбаясь, княгиня.

Не радовала Суворова одержанная им победа при Требии, придворный военный совет связывал ему руки и расстраивал все его планы, но как ни было тяжело бросить неоконченное дело, но фельдмаршал начал по-

мышлять об отъезде из армии. В конце концов на отъезд он не решился бы, не случись одно обстоятельство. Как-то развивал он перед Шателером план будущих военных действий. Генерал-квартирмейстер прервал фельдмаршала.

— Виноват, ваше сиятельство, но только что вами изложенное противоречит высочайшему повелению.

— Какому?— удивился Суворов.

— На днях полученному генералом Меласом из Вены.

— Меласом! Вот как,— удивился фельдмаршал,— отдавать приказания помимо главнокомандующего для меня новость, я не привык к такому командованию, пусть же Мелас командует армией... От меня, маркиз, не будет никаких приказаний, будьте любезны, обращайтесь за ними к Меласу,— и, отпустив генерал-квартирмейстера, фельдмаршал сел писать государю. «Робость венского кабинета, зависть ко мне, как чужестранцу, интриги частных двуличных начальников, относящихся прямо в гофкригсрат, который до сего операциями правил, и безвластие мое в производстве сих операций прежде доклада на тысячи верстах принуждают меня ваше императорское величество всеподданнейше просить об отзыве моем, ежели сие не переменится. Я хочу мои кости положить в моем отечестве и молить Бога за моего государя».

Но венский двор забежал вперед, и прежде чем донесение фельдмаршала было получено государем, австрийский посланник принес императору жалобы на главнокомандующего. Не зная, в чем дело, государь написал нашему венскому послу, что Суворов отдан в распоряжение австрийского императора, что в нем нет недостатка ни в усердии, ни в доброй воли, ремесло свое он знает не хуже любого посланника или министра, пусть только предпишут, чего от него желают, и ему останется только исполнять. Получив такой ответ, император Франц не замедлил написать фельдмаршалу, что он отдан в его распоряжение. «А потому,— заканчивал свое письмо император,— надеюсь, будете в точности исполнять мои предписания».

Но ликование венского двора было не продолжительное: получили в Петербурге донесение Суворова, и государь увидел, в чем дело. Немедленно же послал он австрийскому императору письмо, в котором просил принять меры к тому, чтобы придворный военный совет не тормозил деятельности главнокомандующего, во избежа-

ние гибельных для общего дела последствий, графу же Разумовскому государь приказал лично, и притом формально, потребовать объяснений от австрийского императора. Суворову был послан милостивый рескрипт, в котором говорилось о необходимости предохранить себя от всех каверз и хитростей венского двора, «что же касается до дальнейших военных операций и особенной осторожности от умыслов, зависти и хищности подчиненных австрийских генералов», то государь предоставлял это уму фельдмаршала.

Рескрипт императора Павла Петровича развязывал ему руки, дальнейшие военные действия предоставлялись его уму, и он решил в своих поступках придерживаться навязанных ему инструкций постольку, поскольку сам найдет нужным. Такое решение, с которым венский двор не мог никак примириться, подвинуло Суворова к новой не менее славной победе — к разгрому армии Моро.

Моро, шедший на помощь Макдональду, думал сначала напасть на союзников с тылу, но, узнав о поражении при Требии, быстро повернул назад, решив в горах, в которых не опасался нападения, стянуть войска и усилится. В это время во Франции произошла перемена правительства и Моро был назначен на северный театр войны, на его же место прислан молодой талантливый и храбрый генерал Жубер.

Тем временем Мантуя была взята, император Павел был очень доволен этой новой одержанной победой, тем более что сдались Туринская и Александрийская цитадели. За новые победы фельдмаршал был возведен в княжеское достоинство с титулом Итальянского. «Примите воздаяние за славные подвиги ваши,— писал государь,— да пребудет память их на потомках ваших к чести их и славе России». Просил вновь пожалованный князь о награждении и Края, ведшего осаду Мантуи, но государь отказал на том основании, «что римский император трудно признает услуги и воздает за спасение своих земель учителю и предводителю его войск».

Падение Мантуи вызвало ликование и в Вене, но ни венский двор, ни сам император не выказали особенной благодарности главнокомандующему. Такое отношение не особенно его огорчало, к нему он привык, он весь был поглощен приготовлениями к дальнейшим действиям. Быстро начал он формировать народное ополчение, дав им инструктором русского подполковника графа Цукато. С удовольствием шли итальянцы на призыв Суворова,

быстро усваивали они его обучение и вскоре доказали свою восприимчивость в схватках с французами. Не признавая пули, они смело бросались в штыки с криками: «Viva Maria, viva Souvoff!» Вскоре Тоскана и Флоренция были освобождены от неприятеля, а в начале августа от них была освобождена и Южная Италия и неаполитанский король Фердинанд восстановлен в своих правах. В это же время на севере новый французский главнокомандующий готовился дать Суворову генеральное сражение Третьего августа левый фланг французской армии появился у небольшого городка Нови; занимавший здесь позиции Багратион по приказанию Суворова отступил с легкой перестрелкой к Пополо-Форнигаро, но неприятель не вступал в бой, молчал и Суворов, желая дать своим войскам, прошедшим громадные пространства форсированным маршем, отдых. Утром выехал он на позицию Стоило только ему показаться, как со всех сторон начали сбегаться к нему солдаты и офицеры, окружая его тесной толпой.

— Здорово, братцы, здорово, чудо-богатыри, ишь, французы показались немного, да и застряли в горах, ведь их нужно выманить в чистое поле да побить на славу, как били при Требии

— Побьем, батюшка, побьем, ваше сиятельство,— кричали солдаты

— Как не побить, кого мы только не бивали,— говорил, улыбаясь, фельдмаршал и продолжал, разъезжая по позиции, отдавать приказания. Оригинальную картину представляла собою эта поездка: окруженный громадным штабом и блестящею свитою Суворов ехал в одном нижнем белье.

— Жара, не могу,— говорил он племяннику, уговаривавшему его надеть китель,— беды от того, что я буду в одной рубашке, не приключится, узнают попа и в рогожке.

Объехав войска, Суворов оставил свиту и в сопровождении казака поскакал в аванпостную цепь произвести рекогносцировку. Цепь находилась на расстоянии ружейного выстрела от французов, его узнали и открыли по нему огонь. Не обращая внимания на выстрелы, фельдмаршал объехал всю линию и возвратился к свите в хорошем расположении духа; он был уверен в победе и решил, не теряя времени, атаковать неприятеля.

Жубер не решался покидать своей крепкой позиции, почти неприступной с фронта, прежде чем не узнает

о силах союзников. С этой целью утром третьего августа выехал он на высоты у Нови, и то, что он здесь увидел, повергло его в уныние: в зрительную трубу увидел он на равнине как на ладони всю союзную армию, свыше пятидесяти тысяч человек, готовых броситься на него, за ними находился многочисленный резерв, а французская армия едва насчитывала тридцать пять тысяч человек. Вернувшись с рекогносцировки, Жубер созвал военный совет, на котором большинство генералов высказалось за отступление как за единственное средство к спасению армии; не соглашался с своими генералами Жубер, считая отступление по плохим дорогам, ввиду многочисленного и отважного неприятеля, опасным, но в то же время сам не мог сказать ничего определенного и только в отчаянии повторял: «Что делать, что делать?» Продержав бесплодно генералов часа три, он отпустил их ни с чем, обещав прислать через два часа диспозицию отступления, но часы проходили за часами, диспозиции он не слал и ничего не предпринимал. Так настал вечер, наступила и ночь, застав французов на бивуаках, они не заняли даже боевых позиций. Жубер, Бог ведает почему, утешал себя надеждою, что союзники отступят. Эта ничем не объяснимая надежда погубила его.

Не занялась еще заря, как с равнины раздались ружейные выстрелы, мало-помалу превращаясь в немолкаемую трескотню. Увидел Жубер всю тщетность своих надежд и поскакал по направлению выстрелов... Войска Края первыми двинулись в атаку, и французский главнокомандующий первый стал жертвою боя: пуля сразила его, как только он показался в застрельщичьей цепи. Командование армией вновь принял не успевший еще уехать Моро. Чтобы не вселять в войсках уныния, он скрыл смерть главнокомандующего. Полетели во все стороны ординарцы с приказанием занимать боевые позиции, а генерал Край к этому времени успел подойти к подошвам гор и, свернув свои войска в походные колонны, начал подниматься на высоты. Французы с энергией отчаяния, пользуясь невыгодами походного движения австрийцев, надели на них, и после кровопролитного боя Край был сбит с высот и оттеснен на всем протяжении своей боевой линии. Австрийцы, однако, не растерялись и снова пошли в атаку, пользуясь тем, что князь Багратион, чтобы отвлечь внимание

Моро, атаковал городок Нови. Реляция не может дать того понятия об этой атаке, какое может дать о ней сама местность, а местность покровительствовала французам. Изрытая, пересеченная, изборожденная изгородами и канавами, она делала французов невидимыми. Багратиону, Милорадовичу и подоспевшему на помощь Дерфельдену приходилось действовать против незримого противника. Французы были неуязвимы, и им оставалось только уничтожать союзников, изображавших из себя движущиеся мишени.

Несколько раз союзные войска бросались в атаку подобно волнам прибое и подобно им же, разбиваясь о непреодолимые препятствия, отбрасывались назад, покрывая поле кровью и трупами. Видя всю тщетность производимых атак, Суворов обеспокоился и сам бросился в огонь. Ужасная для его солдатского сердца представилась картина: поражаемые невидимым врагом батальоны почти в беспорядке отступали, отступление было похоже на бегство. Не растерявшийся фельдмаршал прибегнул к старому приему, вместо укоризны он обратился к бегущим солдатам с благодарностью:

— Спасибо, братцы, что догадались, так, так, заманивай его шибче...— Проведя несколько шагов батальоны бегом, он крикнул:— Стой, кругом. Теперь пора назад, ребята, и хорошенько их, не задерживайся, иди шибко, бей штыком, колоти прикладом... Ух, махни, головой тряхни! И солдаты, ободренные, снова с жаром бросались в атаку и снова, осыпаемые неизвестно откуда дождем пуль и ядер, поворачивали назад.

С ужасом и негодованием встречал Суворов бегущие батальоны, но они уже не слышали его убеждений... Соскочил с коня фельдмаршал, бросился на землю и, катаясь перед фронтом, кричал:

— Ройте мне могилу, я не переживу этого дня.

Вид, убитого горем любимого вождя заставил солдат опомниться.

— Прости, отец родной,— кричали они,— лукавый попутал, ну да больше этого не будет.

С этими словами они снова повернули назад, снова с жаром бросились в атаку, снова устилали рытвины и канавы своими трупами, но двигались уже вперед безостановочно, не шли, а бежали, отыскивая незримого врага.

И жутко же ему пришлось, когда до него дорвались солдатики. Страшен был для них француз невидимый, незримый, теперь же он сделался для них добычей. С не-

вероятным ожесточением набросились они на врага — и закипел бой, который обыкновенно принято называть не боем, а бойней: дрались не только штыками, но и прикладами, зубами. Люди обратились в зверей и со звериным ожесточением уничтожали друг друга. Не выдержали наконец французы, подались, и русские на их плечах ворвались в город. Здесь новый бой, новое ожесточение, новые потоки крови, впрочем, не надолго: защитники Нови легли костьми — и союзники торжествовали победу. Моро, собрав свои войска, быстро перешел в отступление. Сражение при Нови вплело новый лист в лавровый венок рымникского графа, пожалованного великодушным монархом в князя Италийские, оно наполовину уничтожило французскую армию, а отступление погубило ее остатки.

Наступила довольно свежая ночь, на бивуаках союзников запылали костры, всюду было видно оживление. Утомленный за день Суворов находился теперь в страшном беспокойстве: вместе с победой к нему явилось и горе — Александр фон Франкенштейн, посланный им в критическую минуту боя за австрийскими войсками Меласа, не возвращался. Все попытки разыскать его были тщетны: не было никакого сомнения, что молодой офицер либо убит, либо, раненный, лежит где-нибудь в поле. Суворов отдал приказание во что бы то ни стало разыскать как его, так и исчезнувшего Вольского.

При свете факелов несколько отрядов солдат собрались уже на поиски, как Суворову доложили о приезде княгини фон Франкенштейн и ее невестки. Мать и жена, точно предчувствуя несчастье, поспешили в армию, как только кончилось сражение. По одному виду Суворова они догадались о происшедшем несчастье.

— Пока надежды терять не следует, — успокаивал дам фельдмаршал, — Александр, быть может, возвращаясь от Меласа, сбился с пути и теперь впотьмах отыскивает дорогу... В этом я больше чем уверен, во всяком случае, надо обождать возвращения посланных солдат.

Дамы, однако, ждать солдат не согласились и решились сами отправиться на розыски. Главнокомандующий дал им сильный конвой и остался ждать возвращения...

Томительно тянулось для него время, неизвестность мучила его невероятно. Прошло часа три или четыре томительного ожидания, и к фельдмаршалу прискакал

казак с донесением, что оба офицера найдены ранеными среди груды убитых и что княгиня просит приготовить для них помещение. Просьба эта была лишнею: как только узнал Суворов от казака об успешных поисках, сейчас же распорядился приготовить помещение и чистое белье для раненых. Вскоре были доставлены и раненые. Александр фон Франкенштейн оказался легко раненным в ногу, Вольский же, получивший несколько ран и потерявший много крови, был в обморочном состоянии.

— Только тщательный уход может спасти молодого человека,— сказал доктор, осмотрев Вольского.— Во всяком случае, его оставлять в поле нельзя и как можно скорее следует перевезти в Александрию, где больше удобств и где раненый может найти более тщательный уход, ротмистр же фон Франкенштейн будет здоров через три дня,— закончил доктор,— он пострадал не столько от раны, которая не более как легкая царапина, сколько от того, что убитая под ним лошадь раздавила его ногу. Ротмистр действительно не производил впечатления раненого: радость неожиданного свидания с женою, придала ему силы, он забыл об усталости и чувствовал себя в состоянии снова сесть на коня

На другой день княгиня фон Франкенштейн увезла раненых офицеров в Александрию

ГЛАВА XXXVII

Разбив французов при Нови, Суворов их, однако, не уничтожил совсем. Иностранные военные историки ставят это ему в вину, но такое обвинение неосновательно: не следует забывать, что австрийский император, поручая ему командование армией, хозяйственную часть поручил своему генералу Меласу. Благодаря такой двойственности начальствования, русским войскам приходилось хлебать вместо щей речную воду, заедая ее сухарями. Неприхотливый русский солдат мирился с австрийским угощением, но случалось, что они и такого не давали: обозы с провиантом отставали и запаздывали, и в таких случаях войскам приходилось попросту голодать. Неисправности австрийского интендантства нередко расстраивали планы главнокомандующего, так было и в данном случае: разбив французскую армию при Нови, Суворов отдал приказ немедленно выступить для преследования, но Мелас заявил ему, что выступить невозмож-

но, так как интендантство не заготовило еще продовольствия.

— Но ведь я предупредил вас две недели тому назад, что потребуются провиант, что его нужно заготовить,— вспыхнул Суворов, выслушав заявление Меласа.

Тот невозмутимо пожал плечами.

— Было сделано все, что было возможно, а против невозможного ничто не возможно.

— Слово «невозможно» выдуманно людьми ленивыми и слабодушными. Вы, австрийцы, считали невозможным бить французов, а теперь, как видите, это не так трудно,— съязвил фельдмаршал.

Мелас побагровел, но ничего не возражал.

— Вашим войскам ретирады только знакомы,— продолжал ворчать Суворов, нервно шагая по комнате,— и теперь, когда нужно двигаться вперед, благодаря вам мы принуждены торчать на месте.

— Виноват, ваше сиятельство, я и забыл, что вы генерал Вперед.

— Правда, вперед, иногда оглядываюсь и назад, однако не для того, чтобы бежать, а чтобы напасть.

Долго еще пререкались главнокомандующий и его помощник, но из пререканий ничего путного не вышло: остатки французской армии, хотя и жалкие, ушли в Швейцарию и успели соединиться с армией Шампионе. Суворов продолжал оставаться на пути между Александрией и Тортоной на случай нового нападения, которого ожидал уже со стороны Швейцарии. Сражение при Нови произвело угнетающее впечатление во Франции и вызвало бурю восторгов в Петербурге. Император Павел I, по представлению Суворова, щедро наградил отличившихся, жалованье убитых во время кампании офицеров приказал обратить в пожизненные пенсии их семьям, фельдмаршала же император благодарил милостивым рескриптом. «Не знаю, чем вас и наградить, дорогой князь, вы поставили себя выше всяких награждений»; тем не менее государь придумал для главнокомандующего награду и отдал приказ, чтобы гвардия и все войска даже в присутствии государя отдавали Суворову воинские почести, полагаемые по уставу только особе императора. «Достойное — достойному,— заканчивал государь свой рескрипт,— прощайте, князь, живите и побеждайте французов и прочих, кои имеют в виду не восстановление спокойствия, а нарушение оного».

Сардинский король, принеся императору Павлу глубокую благодарность за все им совершенное для

восстановления прежних порядков, Суворова осыпал высшими наградами, какие только существовали в королевстве: он сделал его великим маршалом пьемонтских войск и грандом королевства с потомственным титулом принца и кузена короля. В своих любезных к нему письмах король называл его бессмертным и изъявил желание служить в армии под его начальством, а братья короля просились даже в русскую службу.

Прошло несколько дней после сражения при Нови; в лагерь при Асти, где находился Суворов, прибыла депутация от города Турина — столицы Пьемонтского королевства. В знак глубокой благодарности пьемонтцев депутация поднесла победоносному фельдмаршалу усыпанную бриллиантами и испещренную благодарственными надписями золотую шпагу. Со всех концов Италии посыпались благодарственные письма и поздравления. В Англии русский полководец сделался тоже героем дня: его имя прославлялось на всех перекрестках, его портреты можно было видеть и во дворцах и в хижинах, за его здоровье пили за обедом и у короля и у народа, лишь только в одной Вене отнеслись сдержанно к новой победе Суворова. Императору Павлу была приятна та справедливая оценка, которую делали его знаменитому полководцу в Италии и Англии. Выразив свою благодарность сардинскому королю Карлу Эммануилу за его великодушную оценку заслуг Суворова и русской армии, император писал Суворову по поводу пожалований сардинского короля: «Чрез сие вы и мне войдете в родство, быв единожды приняты в одну царскую фамилию, потому что владетельные особы между собою почитаются роднею».

ГЛАВА XXXVIII

Со времени описанных событий положение дел сильно изменилось: отношения между главнокомандующим и венским двором становились все натянутее и натянутее. Суворов стремился к выполнению предначертаний императора Павла, венский же двор, преследуя свои корыстные цели, старался об округлении собственных владений и не стеснялся выражать фельдмаршалу свое неудовольствие. Видя свое положение, Суворов окончательно решил покинуть Италию и писал государю, прося его об увольнении в отечество. «Привык я переносить с презре-

нием,— писал он,— личные обиды, но когда наглостью и дерзновенностью союзного благодетельствованного кабинета оскорбляются некоторым образом слава и достоинство моего монарха и победоносного, мне вверенного, его оружия,— тогда долгом поставляю уклониться в мирное жилище. Не понятны для меня венского двора поступки, когда единое мановение вашего императорского величества возвратит войска в империю вашу может ниспровергнуть все заносчивые его умыслы». Император всецело разделял взгляды Суворова, тем не менее просил его остаться, а первоприсутствующий в военной коллегии граф Растопчин писал ему: «Заклинаю вас спасением Европы, славою вашею, презрите действия злобы и зависти, вы им делами вашими с молодых лет подвержены были. Как могут нам заграждать пути те, коих вы научили побеждать и остановили бегущих, забывающих стыд, верность и страх Господень. Молю вас со слезами и на коленях у ног ваших — оставайтесь и побеждайте. Вам ли обижаться гнусными хитростями коварного правления, вам ли ждаться соучастия к главе вашей от гнусных генералов, кои дожили, а не дослужились до сего звания? Вы их оставите — и они докажут, что участь их — или ничего не делать, или быть повсеместно битыми».

Суворов остался, но не надолго: австрийцы считали для себя в Италии все оконченным. Мечтая об округлении Австрии итальянскими владениями, с изгнанием французов они были у цели. Мешал им только русский фельдмаршал, старавшийся о восстановлении тронов итальянских государей, что не входило в расчеты венского двора. Суворова во что бы то ни стало нужно было сбывать с рук — и его сбывали: в Швейцарии дела принимали дурной оборот, и он с русскими войсками был направлен на швейцарский театр войны. В описываемое нами время из русских в Италии оставались только раненые.

Осень — лучшее время года в Италии. Сбор винограда празднуется особенно торжественно. Нынешний же сбор праздновался еще торжественнее обыкновенного, так как совпал с освобождением Италии от французов и с возвращением к старым порядкам, от которых итальянцы так легкомысленно отвернулись два года тому назад и которые оценили за время пребывания в их земле французов. В описываемый нами день или, вернее сказать, вечер деревушка Касиньяно шумно проводила последний день осеннего праздника. По улице двигалась процессия, в воздухе раздавались звуки оркестра и пения...

На веранде замка Касиньяно, укутанный пледом, в покойном кресле сидел молодой человек. По внешности в нем нетрудно было узнать иностранца, только что перенесшего тяжелую болезнь. Облокотясь на руку, он задумчиво смотрел на расстилавшийся перед ним ландшафт, время от времени переводя свои взоры на раскинувшуюся у подножья холма деревушку, откуда доносилось пение. Казалось, он ничего не видел и не слышал, всецело погружившись в мечты... Должно быть, они были приятны, потому что на губах молодого человека мелькала блаженная улыбка. Продолжая улыбаться, он не замечал прекрасной молодой девушки, которая несколько минут стояла уже в дверях и с любовью смотрела на него.

— Как легко и как прекрасно,— вымолвил молодой человек, приходя, по-видимому, в себя от сладких грез.

— Ты не жалеешь, следовательно, что опять попал ко мне в замок?— спросила молодая девушка с улыбкою, направляясь к выздоравливающему.

— Элеонора! Я благодарю Бога и благословляю французов за свои раны,— вскричал молодой человек, поворачиваясь и желая приподняться с кресла.

Молодая девушка, подошедшая уже к больному, остановила его порыв и опустилась перед ним на колени.

— Какая неосторожность! Ведь этак ты не скоро справишься.

— Я так счастлив, так счастлив, что не могу выразить, как велико мое счастье, оно бесконечно, как и бесконечна моя любовь к тебе,— говорил молодой человек с жаром, покрывая поцелуями прекрасную головку, покоившуюся на его коленях.— Что значат те несколько царапин, которые нанесли мне французы, в сравнении с тем счастьем, которое дала мне ты, милая, дорогая Элеонора... О, я не неблагодарный... Клянусь всей жизнью своею заслужить выпавшее на мою долю счастье...

Молодой человек, в котором читатели, без сомнения, узнали Александра Вольского, не dokonчил своей мысли. Прекрасная герцогиня Элеонора ди Касиньяно закрыла ему рот рукою.

— Ты говоришь о своем счастье, счастлива также и я. Как и ты, я должна благодарить Бога за свое счастье, но французов я не благодарю. Посмотри, что они с тобою сделали! Сколько принесли они мне горя и страданий, сколько я провела мучительных ночей в тревоге и страхе за твою жизнь. Ты не знаешь, что значит видеть любимого человека на краю могилы, я и теперь не могу вспом-

нить этих ночей без содрогания,— со слезами на глазах говорила прекрасная девушка.

— Милая, дорогая моя,— мог вымолвить Вольский, покрывая голову ее поцелуями.— Теперь все миновало, и вскоре, по всей вероятности, минует и война, и наше счастье будет бесконечно... Если ты хочешь, чтобы я сидел спокойно — поднимись с колен и садись рядом со мною.

— Вот так,— продолжал он, усаживая Элеонору возле себя,— а теперь потолкуем о текущих событиях... Где находятся теперь наши войска?

— Я получила письмо от княгини фон Франкенштейн, она очень беспокоится о тебе и спрашивается о твоём здоровье, она, кажется, догадывается о результатах твоего лечения,— добавила молодая девушка с улыбкою,— и делает разные намеки, а в конце письма говорит напрямик, что заранее считает себя моею посаженою матерью... Она и князя Суворова посвятила в свои предположения...

— Но где же теперь сам Суворов? Где наша армия?

— Княгиня пишет, что политика Австрии вполне выяснилась, что император Павел крайне недоволен венским двором и если еще не отозвал свои войска, то со дня на день ожидают разрыва, теперь же русские войска находятся в Швейцарии...

— Конец войне — начало нашему счастью,— промолвил с блаженною улыбкою Вольский.

— А теперь ты несчастлив? — надула губки прекрасная его собеседница.

— Элеонора, дорогая моя, ведь ты понимаешь, что я хотел сказать и что выразил так неудачно, я говорю о нашем счастье и о путешествии в Россию. Я хочу познакомить тебя с моим отечеством...

— Разве твое отечество — не мое?

— Полно пререкаться, дорогая моя,— взмолился Вольский, заключая невесту в объятия.

Долго просидели молодые люди на веранде, мечтая о будущем и наслаждаясь настоящим. Смолкло в деревне уже пение, в домах погасли огоньки, в воздухе пахло сыростью, и молодая девушка с ужасом вскочила с кресла:

— Боже мой, тебе давно пора в комнаты.

Вольский покорно встал с кресла и, опершись на руку невесты, медленной походкой направился в ярко освещенный зал.

— Только завтра не было бы лихорадки,— вздыхала Элеонора.

— От счастья не болеют, дорогая моя...

ГЛАВА XXXIX

1 сентября 1799 года... Мгла окутывает скалистые утесы и вершины Альп, дождь льет ливня, холодный пронизывающий ветер сердито воет в ущельях, с дикою яростью врываясь на узкую горную дорогу, по которой медленно, выбиваясь из сил, плетется отряд... То русская армия, вступившая в пределы Швейцарии, вероломно оставленная австрийцами, без обоза, без провианта... Ветер холодный и жестокий насквозь пронизывает измученных и изголодавшихся солдат, одетых в летние кителя и рваные сапоги... Крутая, местами идущая по обрывам над бездонными пропастями дорога затрудняет движение, солдаты падают, упираются в каменистую тропу штыками и продолжают двигаться дальше. Утомление видно на их исстрадавшихся лицах, но не уныние. Напротив, всмотревшись хорошенько в почерневшие, обветренные солдатские лица, можно было прочесть твердую решимость бить врага и побеждать суровую природу. Иначе и быть не могло — среди них находился Суворов, обожаемый своей армией, он находился при ней, деля с солдатами все трудности и невзгоды горного похода в осеннюю пору. Вот он в холщовом кителе и стареньком, подбитом ветром плаще едет на казачьей лошаденке, рядом с ним плетется верхом дряхлый старик итальянец. Это новый поклонник фельдмаршала Антонио Гамма, хозяин того дома, в котором Суворов квартировал в бытность в Таверне. Шестидесятипятилетний старик почувствовал такое сердечное влечение к русскому полководцу, что, забыв свои годы, семью и дела, последовал за ним в Альпы, принося в пути, как проводник, не мало неоцененных услуг.

Долго карабкалась колонна по горным высям, добралась наконец до небольшого плато и расположилась на отдых... Ни деревца, ни кустика не видно было на каменистой площадке, ни прутика не отыскали солдатики, чтобы разложить костер и согреть свои окоченелые члены, а дождь между тем все льет и льет, холодный ветер пронизывает с прежнею силою... Солдаты и офицеры топчутся на месте, потирая посиневшие от холода руки... Но вот показалась на маленькой казачьей лошаденке тощая фигурка главнокомандующего... Он одет теплее своих солдат: белый холщовый китель его покрывает старенький изношенный летний же плащ; но фельдмаршал бодр, его голубые глаза смотрят весело, как бы

улыбаясь. Окинув взором ряды мрачных солдат, он затаил:

Что пригорюнилась, девица красная...

Песенка фельдмаршала вызвала среди солдат взрыв неудержимого смеха, мрачные лица сразу просияли, и не прошло пяти минут, как в солдатских рядах послышались смех, говор, прибаутки, затаили и песенку...

Отдохнул отряд с час и снова выступил в путь. Трое суток под дождем и в непогоду двигалась небольшая русская армия по швейцарским утесам. Не мало погибало народу, сорвавшегося в пропасти, но армия не унывала и готова была к бою не только с французами, но и с австрийцами, внушившими в русских рядах неприязнь к себе.

Но вот приблизились на десять верст к Айроло, занятого передовым французским отрядом. С.-Готард угрюмо смотрел на северных пришельцев, над гигантским челом его точно густые брови нависли черные тучи, время от времени бороздимые зигзагами молнии. Мрачную гору эту охраняла французская бригада Гудоне, другая бригада, Луазона, находилась поблизости. Не велика была сила французов, не превышала она девяти тысяч человек, но местность удваивала, даже утраивала их средства обороны. Особенно неприступна позиция была со стороны Италии: тянувшаяся здесь тропинка пересекала горные водостоки, спускалась в глубокие ущелья и подымалась по кручам. Атака С.-Готарда с этой стороны была невозможной, а потому Суворов послал Розенберга в обход французской позиции, войска же Дерфельдена разделил на три колонны: одна под начальством Багратиона должна была обойти левый фланг, вторая колонна должна была взять правее и третья должна была атаковать Айроло.

Войскам дан был отдых, а в три часа ночи они поднялись уже с своих мест.

Наступило пасмурное мглистое утро; дождь хотя и перестал, но по ребрам гор лепились густые облака. С возможной быстротой двинулись войска вперед, и через несколько часов передовой отряд гнал уже французские аванпосты, а вторая колонна, составленная из русских и австрийских войск, успела к этому времени обойти французский правый фланг.

Но французы умело пользовались каждым оврагом, каждой канавкою и из-за каждой скалы, из-за каждого

камня производили губительный огонь. Еще отважнее стали французы с прибытием подкреплений Луазона...

Три раза войска, воодушевленные присутствием Суворова и великого князя, бросались на штурм французской позиции с фронта, и все три раза неудачно. Французы, скрытые местностью, били штурмующих из-за камней и из-за утесов чуть не на выбор, а Багратион, посланный в тыл неприятеля, все еще не показывался. Войска его, карабкавшиеся по утесам и стремнинам без всяких тропинок, изнемогали от усталости, тратили много времени, а вперед подвигались очень медленно. Вершина горы все как будто уходила от них вдаль или совершенно застилась облаками, обхватывавшими войска непроницаемым туманом...

День склонялся к вечеру. Было уже 4 часа пополудни, до наступления ночной темноты оставалось недолго, и Суворов стал опасаться за Розенберга, о котором не было ни слуха... Фельдмаршал послал войска снова на штурм. С новой энергией бросились солдатики, в это время против неприятельского фланга, на снежной вершине, показалась голова колонны Багратиона. Не ждали этого французы и, быстро покинув позицию, перешли в отступление. Суворов и армия торжествовали победу. С.-Готард был занят ими.

На вершине С.-Готарда с давних времен стоит монастырь, монахи которого посвятили себя служению страждущему человечеству. Если бы не монастырь с его странноприимным домом, не мало гибло бы путников, сбившихся в горах с пути, занесенных снежными заносами. Монахи и их собаки подбирают замерзших, приводят их в чувство и дают у себя приют. Понятно, что обитель и ее братия должны были приветствовать победу вождя христианского над безбожной, упразднившей религию, республикой. Приор с братиею вышел с крестным ходом навстречу победителям и пригласил их подкрепить силы трапезой. Суворов, подойдя под благословение, благодарил за гостеприимство, но просил прежде всего отслужить благодарственный молебен.

Горячо молился старый воин, поражая католиков своею набожностью, но еще более был поражен приор за трапезою ученостью и начитанностью русского полководца, говорившего с ним на нескольких языках.

Суворов очаровал монахов своею любезностью, хвалил не только их обитель и ее христианские подвиги, но и скромный завтрак, состоявший из гороха и картофеля.

Мало-помалу все войска собрались на вершине горы, отдохнули и стали затем спускаться вслед за французами, которые с геройским упорством продолжали оборону, но наступила ночь, силы обороняющего были истощены, а русские батальоны с неугасающей энергией продолжали наступление, пока бешеная их атака не положила конец упорству французов: охваченные с флангов, теснимые с фронта, они дали тыл.

Не дешево обошелся этот первый успех в горной войне; из строя выбыло убитыми и ранеными до 2 тысяч человек.

Французы бежали: одни к верховьям Роны, другие в долину Гешен.

ГЛАВА XL

Бегство французов не было бегством под влиянием паники, это было скорее беспорядочное отступление, но порядок скоро был восстановлен. Командовал ими Лекурб, генерал талантливый, смелый и решительный, достойный противник Суворова. Он мог бы отступить по удобной дороге в Валис, но тогда русской армии открылся бы свободный путь к Люцернскому озеру, на котором находилась французская флотилия. Гибели ее Лекурб не мог допустить и решился на то, что другие, кроме Суворова, считали невозможным: он бросил всю свою артиллерию в Рейсу и под прикрытием темной ночи стал пробираться через дикий горный хребет Бецберг. Ночная темнота и густой туман сильно затрудняли ему и без того невероятный по трудностям путь, где извивались мало-проходимые тропинки и по которому сами местные жители считали движение войск невозможным. Целую ночь карабкались французы по горным высям и скалам, на высоте 7700 футов перевалили они утром гребень и, спустившись к деревне Гешенен, стали на пути Суворова.

Не легкий предстоял Суворову и его армии путь. У деревни Урзрень соединился он с Розенбергом и продолжал движение вниз по реке Рейсе. Здесь дорога по правому берегу врезывается в утесы, отвесно спускающиеся в русло реки, так что сообщение идет пробитым в скалах туннелем, который называется Урнет-Лох, он имел в то время 80 шагов длины и 4 ширины. Несколько ниже по течению реки дорога лепится в виде карниза по отвесной скале и круто спускается к арке Чертова моста.

На этом пространстве Рейса несетя как бы в щели или трещине, между нависшими над ней горными скалами, вода с шумом и ревом низвергается несколькими водопадами, и рев ее слышен далеко в окрестности. Этой дикой, величественной картине суждено было быть свидетельницей одного из выдающихся в военной истории сражений. Едва передовой русский отряд втянулся в узкий мрачный туннель, как французы встретили его ружейным и пушечным огнем. Завязался ожесточенный подземный бой, но не надолго: батальон русских егерей, посланный французам в обход, зашел обороняющимся в тыл, и французы были частью переколоты, частью бежали, но, уходя, они разрушили одну арку Чертова моста, и вместо нее зиял теперь широкий черный провал. Мигом разобрали большой сарай, притащили бревна и доски, перебросили через провал, а офицеры, сняв свои шарфы, употребили их вместо веревок на скрепы. Получились узкие, зыбкие мостики, по которым переправилась часть отряда, продолжая преследование французов. Альторф занят был без боя. До сих пор движение русской армии, хотя и трудное, все же было удачное, в Альторфе же она оказалась припертою к стене. Здесь кончалась дорога и сообщение производилось водными путями, которыми в течение нескольких месяцев владели французы. На сухом пути были только две тропинки, но их проводники не рекомендовали даже одиночным путникам. Правый берег еще хуже: мало-мальски сносные тропинки вели в стороны, противоположные от намеченной диспозицией цели, остальные же две тропинки были доступны лишь смелым охотникам за сернами, привыкшим с малолетства карабкаться по горным ребрам, трещинам, высям и падям. Положение русских войск в Альторфе было безнадежно и тем более ужасно, что Суворов не был к нему подготовлен: отчаянные обстоятельства не складывались постепенно, а обрушились на него внезапно. В такое положение поставил его венский придворный совет, навязав ему свой план. Составляя диспозицию, австрийский генеральный штаб, как оказалось, совершенно не знал топографии местности, принимая непроходимые тропинки за проезжие дороги. В продовольствии чувствовалась крайняя нужда, почти все, что несли с собою люди, было съедено, во вьюках оставалось немного, да и те растянулись в дороге, отстали, часть их погибла вместе со вьючным скотом в пропастях и обрывах. О Линкене, с которым Суворов шел на соединение, не было известий, ходила молва,

что он разбит. Нужна была железная сила воли, чтобы не потеряться. Суворов мог бы выбрать и лучшие дороги, но тогда он обрек бы на гибель Елачича, Линкена и Готце — трех австрийских генералов. Австрийцы так бы и сделали, но не сделал этого Суворов.

Высказанный им несколько лет тому назад афоризм: «Где прошел олень, там пройдет и солдат» — должен был теперь осуществиться. Он выбрал тропинку, ведущую к деревне Мутень, тропа эта была худшая, но более прямая. Трудна была дорога, но не легки были и другие условия перехода: люди измучены семидневным непривычным походом, обувь их разорвана, провиант израсходован, вьючный скот, особенно казачьи лошади, обезножены, сам Суворов болен, истерзан нравственно огорчениями и оскорблениями, кознями и завистью...

При таких невероятно тяжелых условиях русская армия выступила в 5 часов 16 сентября в поход. По мере подъема тропинка становилась круче и уже, а местами на голых скалах и вовсе пропадала. Приходилось двигаться в одиночку, гуськом по голым камням, скользкой глине, рыхлому снегу; забираться как бы по лестнице, на ступенях которой с трудом помещалась подошва ноги, или же по грудам мелких камешков, осыпавшихся от каждого шага. Начавшийся накануне дождь продолжал идти с перерывами, мало было облегчения от того, что он переставал; двигаясь на высоте облаков и туч, люди все равно были охватываемы густым туманом, и платье их промокало насквозь. Дувший по временам резкий ветер пронизывал до костей, ноги и руки коченели. Требовалось большое внимание и осторожность, чтобы не сорваться со скользкого пути и не полететь вниз, а когда туман сгущался и над головою чернела туча, то опасность увеличивалась еще больше, ибо приходилось лезть ощупью и двигаться на авось. Еще труднее было движение ночью, когда при ненастье не было видно ни зги и истощенные дневным походом солдатские силы отказывались им служить. На встречавшихся площадках войска останавливались на привал, но здесь было еще суровее, еще холоднее: ледяной ветер гулял на просторе, а каменистая местность не давала ни деревца, ни прутика для бивуачного костра.

Продовольствием солдатки были тоже не богаты, вьюки отстали, сил подкрепить нечем. Кто позапасливее — тот сохранил муку, розданную в Альторфе, в ожидании огня, чтобы испечь из нее лепешки. Офицеры

и генералы бедствовали еще больше, и солдаты охотно им помогали, чем могли: чинили обувь на привале и делились харчами из своих скудных запасов. Милорадович на бивуаке съел у одного солдатика испеченную им из альторфской муки пригорелую лепешку, похвалил ее, поблагодарил хозяина и прислал ему за это небольшой кусочек сыру — половину того, что имел сам. Солдат не взял сыру, а вместе с другими своего капральства сделал складчину по сухарику с брата и все это, вместе с кусочком бульона, взятого у убитого французского офицера, отнес в узелке к генералу, который принял сердечное солдатское приношение. Временами становилось полегче: переставал дождь, стихал ветер, отыскивался материал для бивуачных костров, и люди приободрялись, словно оживали. Раздавалась тогда захватская солдатская песня с самодельными кларнетами и с рожками.

Однако эти редкие минуты развлечения сменялись многими бесконечно долгими часами трудов, муки и опасностей, особенно когда кончился подъем и начался спуск в долину. Как тяжел переход, видно потому, что на расстояние в 15—16 верст потребовалось более 12 часов времени. Сам смелый до дерзости Лекурб, по его же словам, не считал эту тропинку в числе путей сообщения и не решился бы произвести по ней движение. На многих картах Швейцарии тропинка эта и теперь обозначается «путь Суворова в 1799 году»

Крайняя мера, принятая Суворовым, подействовала на неприятеля внушительно: арьергард Розенберга, два раза атакованный французами и оба раза отбивший нападение превосходящих сил был оставлен затем в покое, и весь вьючный обоз, под прикрытием спешенных казаков, успел втянуться в горную тропинку.

Спустившись в Мутенскую долину, Суворов узнал о том, что Корсаков и Гоце разбиты наголову и даже отброшены, Елачич отступил, сильный французский корпус занял Гларис и Масена стягивает войска к Швицу

После поражения, понесенного Римским-Корсаковым при Цюрихе, войска нисколько не упали духом, они говорили, что побил их не неприятель, а свой русский генерал, и были совершенно правы: только беззаветное мужество войск отчасти восполнило недостаток командования и спасло корпус от окончательного истребления. Правда, силы неприятеля значительно превышали силы Корсакова, но не в этом была причина поражения. Кор-

саков выказал полную беззаботность, войска свои расположил как нельзя хуже, атакованный врасплох, он окончательно потерял голову, и бой происходил без руководства, тогда как у Массены все было обдуманно, все предусмотрено...

Французы преследовали отступавшего Корсакова недолго. Масена был озабочен теперь Суворовым, положение которого ухудшилось еще больше. Поражение Гоце, погибшего вместе с своим начальником штаба в бою, нагнало на австрийцев такую панику, что все австрийские отряды поспешно отступили, бросив Суворова с его маленькой армией одного на произвол судьбы.

Русская небольшая армия оставалась теперь одна на всем театре войны истощенная, вконец истомленная, без продовольствия, без артиллерии, а главное, без всякой надежды на чью-либо помощь или содействие. Масена был непохож на австрийских генералов. Он, воспользовавшись положением Суворова, энергично принялся за приготовления. Стянув войска к Швицу, он усилил генерала Молитора, находившегося в Гларисе, и таким образом надеялся окончательно запереть Суворова в Мутенской долине, как в мышеловке. Он настолько был уверен в гибели крошечной изнуренной русской армии, уступавшей численностью французам, что, уезжая из Цюриха, обещал пленным русским офицерам увеличить в скором времени их общество фельдмаршалом и великим князем.

Правда, успехи последнего времени слишком затуманили Масене голову, и он слишком поторопился похватать, не оценив своих новых противников, но он имел некоторое основание для своей самонадеянности.

Положение Суворова в Мутентале было поистине отчаянное: теплой одежды не было, да и летняя имела вид рубища, а обувь и того хуже. Продовольствия никакого, артиллерии, кроме горной, ни одной пушки, снаряды и заряды почти на исходе... Казалось, что военная репутация Суворова погибла, что армию ждала либо смерть, либо поголовный плен... Тяжелая дума легла на чело фельдмаршала. Всегда веселый, спокойный, уверенный в себе, теперь он не мог скрыть озабоченности от солдат... Суворов решил созвать военный совет. Не для совета он был ему нужен. Армию теперь могла спасти только непоколебимая решимость, полнейшее пренебрежение опасностью, так сказать, полное отрицание ее. Такую решимость, такое пренебрежение

к опасности Суворов чувствовал в себе и хотел теперь перелить их в своих подчиненных.

Первым явился на совет Багратион. Суворов в полной фельдмаршальской форме, сильно встревоженный и озабоченный, скорыми шагами ходил по комнате, отпуская отрывистые слова и едкие фразы насчет парадов и разводов, искусства быть битым, неумения вести войну и т. п. Он не заметил прихода своего любимца, так что тот счел за лучшее удалиться и явиться вместе с другими. Суворов встретил явившихся генералов общим поклоном и, закрыв глаза, казалось, собирался с мыслями. Открыв затем глаза, с огнем во взоре, с одушевленным лицом стал говорить он сильно, энергично, торжественно... Он весь преобразился... Никто и никогда не видал его в таком состоянии... Объяснив в кратких словах, что произошло на Лимате, на Линте и с остальными австрийскими отрядами, Суворов, не скрывая своего негодования, припомнил все затруднения в ходе итальянской кампании, какие он имел от Тугута, говорил, что русские удалены из Италии, чтобы не мешать австрийским захватам, что преждевременный выход эрцгерцога Карла из Швейцарии был верхом Тугутова вероломства, что задержка русских в Таверне носит на себе явные следы измены, что благодаря этому предательству Корсаков разбит, а он, Суворов, опоздал прийти и не успел предупредить столкновения неприятельских войск на Лимате и Линте.

Сказав все это, Суворов остановился, давая время генералам вникнуть в его речь, а затем продолжал. Он заявил, что сухарей у людей мало, что зарядов и патронов и того меньше, что идти на Швиц невозможно, отступить же стыдно, что со времени дела на Пруте при Петре Великом русские войска никогда не находились в таком отчаянном положении, как ныне...

— Помощи ждать неоткуда, надежда только на Бога да на самоотвержение войск, нами предводимых,— продолжал говорить Суворов своим подчиненным с возрастающим волнением, горестью и негодованием.— Спасите честь России и ее государя, спасите его сына...— С этими словами он в слезах бросился к ногам великого князя.

Впечатление сцены было потрясающее... Все генералы инстинктивно бросились вперед, чтобы поднять фельдмаршала, но Константин Павлович, сам потрясенный до глубины души, поднял фельдмаршала на ноги и весь в слезах обнимал его, покрывая поцелуями. Потом все,

как бы по взаимному соглашению, взглядами обратились к Дерфельдену, который помимо своего старшинства пользовался всеобщим уважением за личные и боевые качества. Дерфельден обратился к Суворову с задушевным словом, но с лаконичностью, всегда приводившей фельдмаршала в восторг. Он сказал, что теперь все знают, что случилось и какой трудный подвиг предстоит им впереди, но он, Суворов, также знает, до какой степени войска ему преданы и с каким самоотвержением он любим... Какие бы беды впереди ни грозили, какие бы несчастья ни обрушились, войска вынесут все, и если не суждено им будет одолеть, то, по крайней мере, они лягут с честью и не посрамят русского имени. Когда Дерфельден кончил, все с энтузиазмом подтвердили его слова, клянясь именем Божьим. Суворов слушал Дерфельдена с закрытыми глазами, с опущенной головой. Когда же раздался горячий сердечный крик присутствовавших генералов, поднял голову, взглянул на всех просветлевшим взглядом и сказал:

— Спасибо, спасибо,— теперь будет победа, двойная победа — и над неприятелем и над коварством!

Главная цель была достигнута: нравственная связь между предводителем и войсками была скреплена на жизнь и смерть. Началось совещание о плане действий...

Правы были генералы, давая слово за солдат: с мужеством отчаяния вступили они в бой с врагом. Не зная отступлений, воспитанные только нападать, идти вперед и бить, суворовские батальоны, отступая, не ограничивались сдерживанием нападавших на них французов, но переходили в атаку, дерзко бросаясь в штыки, и не только останавливали неприятеля, но заставляли его осаживать назад... Все безвыходное положение, которое подготовили Суворову и его армии вероломство австрийцев и энергия Масены, окончилось тем, что Суворов разбил наголову Молитора и самого Масену. Долго не мог оправиться французский главнокомандующий, а когда французы пришли в себя, оправились и вздумали преследовать крошечную русскую армию, надеясь подавить ее численным перевесом,— было уже поздно. Суворов успел вывести ее из мышеловки и, окончательно уничтожив Молитора, занял Гларис. Здесь многострадальные воины отвели душу. Согрелись, подкрепили себя горячею пищею и привели в порядок свое истерзанное платье и обувь.

Армия спаслась, пожертвовав всей своею артиллерией, патронов не было, продолжать наступательную войну

было невозможно. Наконец Суворову приходилось выбирать: соблюсти ли интересы своего государя или интересы союзников. Союзники поступили с ним предательски, рассчитывать на них он не мог и решил оставить их самих доканчивать войну, самому же вернуться в отечество, спасая свою армию от уничтожения, которым грозило дальнейшее продолжение войны при подобных условиях. Его решение совпало с волею государя.

Страдала армия в Швейцарии, страдал душою и государь, не зная, что в ней делается. Беспокройство в Петербурге достигло крайних пределов. Оно было тем сильнее, что вести из армии доходили слишком поздно. Радовались и печалились задним числом. Так, например, донесение Суворова о начале швейцарского похода пришло лишь тогда, когда кампания окончилась. Ростопчин писал Суворову о своем беспокойстве за участь Корсакова десять дней спустя после того, как он был разбит. Государь в тревоге писал Суворову: «Вы должны были спасти царей, спасите теперь русских воинов и честь вашего государя, главное, возвращение ваше в Россию и сохранение ее границ». О своих распоряжениях император не велел секретничать, дабы отнять от венского двора возможность, пользуясь присутствием в Швейцарии русских войск, извлекать какие-либо выгоды в «своих мерзких намерениях». Состоялось высочайшее повеление не служить молебнов о победах цесарских войск. Приказано объявить Кобенцелю, что государь не обязан делать, что угодно Тугуту; курьерам, едущим к Суворову, не приказано заезжать в Вену, если нет туда писем, сообщить эрцгерцогу Иосифу, что Дидрихштейн может представиться ко двору и оставаться на праздники, но после них лучше сделает, если уедет, так как государь не любит интриганов.

20 октября в Петербурге были получены наконец верные сведения об исходе швейцарской кампании. «Да спасет Господь Бог вас за спасение славы государя и русского войска,— писал Ростопчин Суворову,— что скажут злодеи ваши и злодеи геройства? Казнен язык их молчанием... До единого все ваши награждены, унтер-офицеры все произведены в офицеры... Дидрихштейн не видел государя, так и уехал... Принц Фердинанд Виртембергский вздумал было худо о вас говорить, но с ним с тех самых пор с самим не говорят... В Вене ваше последнее чудесное дело называют прекрасной ретирадой... Если бы они умели так ретироваться, то давно завоевали бы всю вселенную»

Государь писал: «Побеждая и во всю жизнь вашу врагов отечества, не доставало вам одного рода славы — преодолеть и самую природу, но вы и над нею ныне одержали верх».

Тогда же государь вызвал в Петербург сына, но с тем, чтобы он не ехал через Вену, а Ростопчину повелено: «Если дойдет до объяснения с венским кабинетом, то объявить, что доколе барон Тугут будет в делах — то связи с ним никакой быть не может...»

29 октября государь пожаловал Суворову звание генералиссимуса, сказав при этом Ростопчину: «Другому этой награды было бы много, а Суворову мало». Спустя несколько дней приказал проектировать статую генералиссимуса, утвердил проект и приказал приступить к работам.

Великому князю был пожалован титул цесаревича, все представленные Суворовым получили щедрые награды

ГЛАВА XL¹

Русская армия покидала Швейцарию в то самое время, когда эрцгерцог Карл вводил в нее свою в надежде на совместные с Суворовым действия против французов. Выступление русских было для него неприятною неожиданностью. Он написал Суворову, что сменил собою Корсакова, чтобы дать русским возможность перейти в наступление, что им следует по крайней мере прикрыть Форальберг, что он, эрцгерцог, будет протестовать против оставления русскими театра войны и ответственность за последствия возлагает на Суворова, что он, наконец, требует отменить сделанное распоряжение. Суворов, раздраженный требованием эрцгерцога стеречь австрийскую границу, ответил ему, что преждевременное выступление его из Швейцарии было причиною злоключений русских войск, что бедственное состояние войск может быть исправлено только отдыхом, хорошим довольствием и полным снабжением, а потому они удаляются на зимние квартиры в Баварию. «Такой старый солдат, как я, может быть проведен только один раз, но было бы с его стороны слишком глупо поддаться вторично»

11 октября император Павел послал императору Францу сухое, проникнутое негодованием письмо, в котором виною случившихся несчастий выставлялось преждевременное выступление эрцгерцога Карла из Швейцарии

и в коротких, но категорических выражениях разрывался с Австриею союз. Австрийский император был смущен, Тугут не меньше его. Вскоре, впрочем они приободрились в надежде, что припадок раздражительности и гнева русского государя скоро пройдет и повеление будет отменено. Но на этот раз они ошиблись: Суворову было приказано занять позицию между Лехом и Изером, то есть сделать то же, что он уже сделал, и затем заняться приготовлениями к обратному походу в Россию. Суворов тотчас же приступил к распоряжениям.

Армия нуждалась как в обмундировании, так и в снаряжении, а потому Суворов занял у баварского курфюрста денег, и войска, стянувшись к Аугсбургу, выступили 15 ноября в путь.

В Вене забили тревогу. Император Франц послал к русскому полководцу чрезвычайно любезное письмо с просьбою повременить выступлением, в надежде, что русский государь отменит свое повеление. Еще настойчивее просил эрцгерцог Карл, обещая ему всевозможное содействие, если он останется для продолжения войны, но Суворов отказался категорически. Император Павел, конечно, и не помышлял об отмене своих повелений. Напротив, он писал Суворову, приказывая не обращать внимания на предложения австрийцев, и рекомендовал возвратиться малыми переходами с отдыхами. «Я весьма рад,— писал император Павел,— что узнает эрцгерцог Карл на практике, как быть оставленному не вовремя и на побиение; но немцы люди горные, все могут снести, перенести и унести». Ростопчину же было дано повеление, когда придет официальная нота о требованиях венского двора, отвечать, что «это есть галиматья и бредни». Фельдмаршал, произведенный за швейцарский поход в генералиссимусы, сделался идолом русского общества; вся Россия восторженно ему поклонялась, и во главе всех был император. Все свои рескрипты к нему государь сопровождал изъявлениями самого милостивого к нему расположения: говорил о своем с ним единомыслии, спрашивал советов, извиняясь, что сам дает наставления. «Прощайте, князь Александр Васильевич,— писал государь,— да сохранит вас Бог, а вы сохраните воинов российских, из коих одни везде побеждали оттого, что были с вами, а других победили затем, что не были с вами». «Извините меня,— говорилось далее,— что я взял на себя преподать вам совет, но как я единственно даю его для сбережения

моих подданных, оказавших мне столько заслуг под предводительством вашим, то я уверен, что вы с удовольствием его примете, зная вашу ко мне привязанность». В следующем рескрипте император писал: «Приятно мне будет, если вы, введя в пределы российские войска, не медля нимало, приедете ко мне на совет и на любовь». В новом письме государь говорит: «Не мне тебя, герой, награждать, ты выше мер моих, по мне чувствовать сие и ценить в сердце, отдавая тебе должное». Отвечая на поздравления генералиссимуса с Новым годом добрыми с своей стороны пожеланиями, государь просил его поделиться ими с войсками, если он, государь, «того стоит», и высказывать желание «быть достойным такого воинства».

Знаками внимания осыпали Суворова и иностранные государи. Курфюрст баварский, посылая ему орден Губерта, писал, что так как ордена учреждены в воздаяние достоинства и заслуг, то никто больше Суворова не имеет на них права. Сардинский король прислал ему цепь ордена Анунциаты при письме, в котором писал: «Мы уверены, что вы, брат наш, не оставите ходатайствовать за нас у престола Его Императорского Величества». Спыхватился и австрийский император. Он прислал ему большой крест Марии-Терезии, говоря в рескрипте: «Я буду всегда вспоминать с чувством признательности о важных услугах, мне и моему дому вами оказанных». Звание австрийского фельдмаршала с жалованьем 12 000 гульденов в год было оставлено Суворову на всю жизнь.

В особенности восторгались Суворовым в Англии: знаменитый того времени лорд Нельсон прислал генералиссимусу восторженное письмо. В Европе нет человека,— писал он,— который любил бы вас так, как я. Все удивляются вам подобно Нельсону, но он любит вас за презрение к богатству». Получал генералиссимус приветствия также и от незнакомых людей: какой-то поэт прислал ему написанные в честь его стихи, Суворов отвечал стихами же:

И в холодном краю света
Есть к наукам пылкий жар:
Благодарность для поэта
Вместо лавров будет в дар,
Пусть в отечестве любезном
Он Гомером прослышет,
Будет гражданин полезный,
Вместе с музами живет.

ГЛАВА XLII

К Рождественским праздникам 1800 года русская армия передвинулась на зимние квартиры в Богемию. Несмотря на то что фактически союз с Австрией был разорван, население Богемии радушно встретило русских, стараясь предупредить их малейшие желания. Главнокомандующий был предметом самых восторженных оваций. В честь Суворова устраивались балы, обеды, празднества. Все это не нравилось Тугуту, который во что бы то ни стало хотел выпроводить русскую армию из пределов Австрии, а между тем она расположилась здесь как у себя дома и, по-видимому, надолго. Штаб-квартирой своею генералиссимус избрал Прагу, вокруг которой были расквартированы войска. Сам же разъезжал по окрестностям и частенько со своим штабом гостил у старого своего друга, графини Анжелики Бодени княгини фон Франкенштейн. Последнюю неделю Рождественского поста он проводил в замке княгини, куда прибыл оправившийся Вольский с своею невестою герцогинею Элеонорою ди Касиньяно. Погода стояла чудная, и собравшееся в замке общество весело проводило время, устраивая пикники, охоты, в которых Суворов принимал деятельное участие.

Однажды обитатели замка собирались после завтрака на прогулку верхом, как генералиссимусу доложили о приезде уполномоченного барона Тугута, графа Бельгарда... Суворов просил собравшихся в гостиной не покидать ее.

— У меня не может быть секретов с посланцем Тугута, дорогая княгиня,— говорил он, обращаясь к хозяйке замка,— наконец, ваше присутствие сдержит меня от резкостей. Правда, Тугут заслужил их вполне, но я буду терпелив, и без того меня обвиняют в грубости и бестактности. Тугут говорит, что союз распался благодаря моей резкости в обращении.

Генералиссимус горько улыбнулся и велел просить графа.

— Чем могу служить?— вежливо, но холодно спросил он, идя к Бельгарду на встречу.

— Счастлив засвидетельствовать нашей светлости свое уважение,— начал Тугутов посол, раскланявшись с дамами и занимая указанное ему Суворовым кресло.

— Но помимо того,— продолжал он,— я имею к вашей светлости поручение от нашего министра чисто служебного свойства, для чего осмелюсь попросить особой аудиенции.

— Если я скажу вам, граф, что я нахожусь среди своих старых, испытанных друзей, даже более, среди своей семьи, от которой у меня нет никаких секретов, то вы, наверно, согласитесь со мною, что особая, как вы выражаетесь, аудиенция станет лишнею, и изложите мне цель вашего приезда теперь же.

— Конечно, ваша светлость свободны располагать вашими тайнами по усмотрению, и, если бы дело касалось лично моих дел, я охотно подчинился бы вашему желанию, но к вашей светлости привели меня дела моего государя, и разговаривать о плане будущей кампании в присутствии посторонних я не считаю возможным.

Я вам скажу, граф, больше: вы не считаете возможным разговаривать о плане продолжения кампании при посторонних, а я не считаю возможным говорить с вами об этом и наедине, так как по воле моего государя я прекратил всякие военные действия и теперь веду свою армию обратно в отечество.

— Так почему же вы не уводите ее из австрийских владений? Если вы отказываетесь от продолжения кампании,— уводите как можно скорее свои войска из австрийских границ,— надменно отвечал граф Бельгард.

— Всему есть время, дорогой граф,— невозмутимо отвечал Суворов.— Получу повеление моего государя— минуты лишней не останусь в Австрии, а пока будьте гостеприимны, хотя в той мере, в какой ваше правительство до сих пор к нам относилось. Не разорительно такое гостеприимство для вашего правительства.

— Я приехал к вашей светлости не для шуток,— более надменным тоном продолжал Бельгард,— нам нет дела до повеления вашего императора, я требую именем моего государя, чтобы вы немедленно вывели ваши войска из Австрии. Они нам совершенно не нужны...

— Добавьте, граф: теперь,— съязвил Суворов,— еще не так давно, когда французы, разбив ваши войска на всех пунктах, угрожали Вене, русские были нужны, очень нужны. О присылке русских войск Австрия умоляла тогда русского императора, а теперь?.. Не нужны! Да, tempora mutantur!..

— Повторяю, князь, я прибыл сюда не для словопрепаний, а предъявить вам категорическое требование моего правительства немедленно очистить австрийские земли от русских войск,— не говорил, а кричал уже Бельгард.

Суворов смерил его презрительным взглядом и отвечал:

— В таком случае вот мой тоже категорический ответ вашему правительству: требование его я не исполню

и буду ждать повеления моего государя. Передайте это пославшим вас, а теперь счастливого пути...

Встав со своего кресла, Суворов обратился к дамам с извинением, что задержал их, а Бельгард, сконфуженный, отвесил поклон и вышел, красный от злости.

Все общество собиралось уже покинуть зал, чтобы сесть на коней, как Суворову снова доложили о приезде курьера от сардинского короля.

— Этот, наверно, лучший вестник,— и приказал пригласить курьера.

Посланный короля привез письмо к генералиссимусу. По мере того как Суворов читал королевское послание, нахмуренный лоб его прояснялся все более и более, и наконец он с радостной улыбкою обратился к присутствовавшим:

— Поздравимте жениха и невесту, ведь это письмо вас, дети, касается,— продолжал он, обращаясь к Вольскому и герцогине Элеоноре,— прочтите,— и он протянул письмо молодой девушке.

— «Дорогой брат наш! — читала герцогиня послание короля,— Ничто нам не может быть так приятно, как исполнение желания вашего, тем более что выраженное вами желание так законно, так справедливо. Род герцогов ди Касиньяно — старинный род, много послуживший своим государям, должен был бы угаснуть за неимением представителя в мужском колене, а потому вполне естественно желание сохранить титул герцогов ди Касиньяно передачею его будущему мужу прекрасной герцогини Элеоноры ди Касиньяно. Кто же может носить так с честью этот титул, как русский офицер, русский дворянин, так блистательно рекомендованный вами, проливавший кровь свою за защиту народов Италии и их государей. Вот почему, дорогой брат наш, мне особенно приятно исполнить желание ваше и пожаловать капитану Вольскому титул герцога ди Касиньяно с момента вступления его в брак с молодою герцогинею...»

Элеонора, не окончив чтение письма, бросилась на грудь к Суворову.

— Отец, дорогой мой отец, как я счастлива, бесконечно счастлива, Россия дала мне не только мужа, но и отца. Просив короля, вы хотели сделать приятное мне, но клянусь вам, фамилией Александра я буду больше гордиться, чем своим герцогским титулом... Вольская, мадам Вольская,— повторяла она с счастливой улыбкою. Жених покрывал ее руки поцелуями.

Счастливым и веселым все общество отправилось на прогулку. Дни проходили так за днями, наступили наконец Рождественские праздники. Княгиня, Александр и Ядвига фон Франкенштейн, Вольский с невестою уговорили Суворова остаться встречать праздники в замке. Зная все привычки Суворова и русские обряды, княгиня устроила для старика привычную обстановку, в которой он мог бы чувствовать себя как дома.

Новый, 1800 год Суворов встречал у себя в Праге. Графиня Бодени княгиня фон Франкенштейн с семьей и Вольский с невестой были постоянными гостями генералиссимуса. Суворов, всегда любивший общество, теперь особенно шумно и весело праздновал Святки: устраивал балы и обеды, на которых собиралось все высшее общество не только Праги, но и из окрестностей. Казалось, старик чувствовал, что дни его сочтены, и весело хотел закончить свое земное поприще. Смотря на подвижность и то увлечение, с которым Суворов принимал участие во всех танцах, никто не подумал бы, что это семидесятилетний старик. Празднества, устраиваемые генералиссимусом, не ограничивались одними танцами — он устраивал всевозможные игры: в жмурки, фанты и т. д., добросовестно сам выполняя то, что было назначено вытянутому им фанту. Доставалось же при этом тем, кем генералиссимус имел основание быть недовольным. Сарказм Суворова жестоко того преследовал. В одной из таких игр, в которой из уважения к знаменитому полководцу принимали участие вельможи и дамы, досталось графу Бельгарду.

— Играли Неаполем, мстили Пьемонту, а теперь хотят играть Россией, — сказал он едко по адресу Бельгарда. Впрочем, по отношению к этому генералу он был более бесцеремонен. Когда Бельгард явился к Суворову, большое общество находилось уже в гостиной. Хозяин дома побежал к нему навстречу, схватил по дороге стул, вскочив на него, поцеловал высокого Бельгарда и, как бы поясняя присутствующим свой поступок, сказал:

— Это большой человек... если бы вы слышали, как он кричал на меня недавно.

Проговорив эти несколько слов, Суворов сейчас же перешел к дамам и на Бельгарда больше не обращал внимания.

На званых обедах и вечерах он держал себя точно так же, как и дома, и хотя его поступки зачастую шли вразрез с общепринятыми приличиями и от его шуток и остроумия отдавало лагерною бесцеремонностью

и некоторою распушенностью, ему все извинялось. Преклонялись пред ним как мужчины, так и дамы.

В первых числах января граф Вальденрот, один из видных вельмож Римской империи, давал в честь Суворова бал.

Чудный отель графа блистал огнями, лучшее общество Вены и Праги собралось у Вальденрота — зятя барона Тутугута, ожидали с минуты на минуту приезда генералиссимуса. В ожидании его приезда ему готовили царскую встречу: дамы лучших фамилий Австрии стали шпалерами по ступеням лестницы, хозяин дома ожидал на подъезде... Но вот показалась и карета генералиссимуса... взоры всех обратились на дверцы кареты, многие не видали еще Суворова и поджидали его с благоговением. Наконец карета остановилась, с козел соскочил неизменный камердинер Суворова Прошка и отпер дверцу кареты. При кликах восторга вышел генералиссимус. Он был в полной парадной форме австрийского фельдмаршала и в летнем плаще...

Выйдя из кареты и отвесив общий поклон встречающим, италийский князь и рымникский граф высморкался по солдатски, в руку... Прошка, изучивший манеры и привычки своего барина, сейчас же подал ему полотенце, которым генералиссимус вытер руки. Такой неожиданный поступок великого полководца смутил и сконфузил дам, сконфузился и ко всему привыкший Прошка.

— Эх, сударь, сколько раз я вам сказывал, что не след сморкаться по-солдатски при дамах, ведь мы не на походе, а в придворном обществе,— не говорил, а шипел верный слуга, подавая полотенце.

— Много ты понимаешь, пьяная рожа,— отвечал ему князь скороговоркой.

— Ну ладно, в другой раз полотенца не возьму, вытирайте руки о полы мундира... а еще брат короля,— продолжал ворчать себе под нос Прошка.— Прямо-таки по королевски...

Суворов, не слушая воркотни оставшегося у подъезда камердинера, поздоровавшись уже с хозяином дома, поднимался по лестнице, восторженно приветствуемый дамами, забывшими неприличную выходку генералиссимуса. Едва он поднялся на верхнюю площадку лестницы, как стоявшая здесь молодая красивая дама, запела:

Славься сим Екатерина.

Суворов был растроган до слез. Заметив, что дама была в интересном положении, он перекрестил будущего

ее ребенка, потом ее самое и поцеловал в лоб. Молоденькая дама сперва сконфузилась, но, заметив, что многие из дам высшей аристократии целуют старику руки, успокоилась.

С приездом Суворова салоны графа Вальденрота оживились, начались танцы полонезом, в котором в первой паре с хозяйкою дома шел генералиссимус. На этот раз всеобщее внимание было обращено не только на знаменитого отца, но и на его сына, шедшего с герцогинею Саганской, дочерью недавно скончавшегося герцога курляндского. Аркадий Суворов, пятнадцатилетний юноша, выглядел несколько старше своих лет. Высокий, стройный, белокурый, он был в полном смысле красавец. Ум, благородство, честность и прямодушие искрились в прекрасных глазах его, невольно привлекая всеобщие симпатии.

Герцогиня Саганская, одних лет с своим кавалером, тоже выглядела вполне сформировавшеюся девушкою и поражала всех своею редкою красотой.

Молодые люди были предметом наблюдения, главным образом, пожилых дам, не принимавших участия в танцах.

— Скажите, пожалуйста, *chere comtesse*, похожа эта парочка на жениха и невесту? — спрашивала старушка свою соседку.

— Жених и невеста? — удивилась та.

— Как же! А вы и не знали?.. Правда, помолвка еще официально не объявлена, но герцогиня курляндская дала уже согласие на брак дочери с молодым князем Суворовым. Ожидают только разрешение русского императора.

— Что же, пара подходящая, оба молоды, красивы... Правда, она владетельная принцесса, но ведь и князь Суворов сын знаменитого отца, кузена короля...

— Да, но похожи ли они на жениха и невесту? Не любовь, а скорее скуку можно прочесть на их лицах... В наше время было не то...

Старушка была права: ни Аркадий Суворов, ни герцогиня Саганская не походили на влюбленную пару. Разговор их был далеко не оживлен, а если и прислушаться, то и далеко не любовного свойства.

— Ах, *mon bon ami*, я не говорю, что вы мне противны, — говорила герцогиня своему кавалеру. — Но не можете вы требовать от меня особенной любви. Я с вами откровенна: желание породниться с вашим знаменитым отцом делает для меня мысль о браке с вами сносною.

— Сносной? — горько улыбнулся молодой князь. — Благодарю за откровенность. Но не раскайтесь ли вы впоследствии, что выходили замуж без любви?

— Говорят, любовь приходит впоследствии... От вас будет зависеть, чтобы она пришла поскорее, — улыбнулась герцогиня.

— Постараюсь.

— Вы говорите таким тоном, — продолжала улыбаться молодая девушка, — как бы хотели сказать: «Постараюсь не опоздать к обеду». Не особенно, значит, нужна вам любовь моя... Прав был прусский король и курфюрст баварский...

— В чем?

— В том, что я не должна выходить за вас замуж.

— Да?!

— Да, мне пришлось вынести много неприятностей от коронованных родственников за то, что я согласилась принять ваше предложение... Мне предлагали руку владельческие принцы.

— Очевидно, они были хуже меня, если вы предпочли меня им, — отвечал князь.

— Мне говорили, *mon bon ami*, что вы храбры, очень храбры, а теперь я вижу, что вы и самонадеянны.

— Что поделаете, *chère duchesse*, самонадеянность близко граничит с храбростью и наоборот, — отшучивался князь Аркадий.

Пикировка молодых людей была прервана всеобщей суматохой... Оркестр играл вальс, и гости увидели несущегося по залу генералиссимуса с его адъютантом вместо дамы. Старик танцевал не в такт, но с большим оживлением. Оригинальная пара налетала на танцующих, производила переполох, и несколько пар лежало уже на полу. Гости с недоумением, но снисходительно смотрели на проделку чудака-полководца, который решил в этот вечер вконец удивить хозяина дома и его гостей.

Окончив вальс, Суворов пошел в сопровождении хозяина дома пройтись по гостиным. В одной из них он увидел картину, изображавшую отступление армии Моро. Всмотревшись внимательно в картину, он воскликнул с притворным негодованием:

— Неверно, неверно... Моро не так отступал... Хотите граф видеть, как отступал Моро? — обратился он к Вальденроту.

— С удовольствием, — отвечал тот, не поняв вопроса.

Суворов подобрал фалды мундира и бросился бежать по комнатам. Добежав до танцевального зала и растол-

кав танцующих, выбежал генералиссимус на лестницу и, спустившись вниз, сел в карету и уехал домой.

Выходка генералиссимуса озадачила гостей, обидела хозяина и сделалась темою продолжительных разговоров.

Граф Вальденрот сделал вид, что принимает эксцентричный побег генералиссимуса за милую шутку старика оригинала, но многие видели в ней намеренное оскорбление зятя барона Тугута. По адресу Суворова начали раздаваться выражения вроде: «Варвар, не отполированный цивилизацией» и т. п.

Княгиня фон Франкенштейн горячо приняла своего старого друга под свою защиту, стараясь оправдать его выходки и доказывая неправильность взглядов на Суворова, как на необразованного человека.

Граф Эстергази, сначала тоже считавший генералиссимуса необразованным человеком и разубедившийся впоследствии, явился союзником княгини, доказывая, что образование Суворова соответствует его исполинскому уму.

ГЛАВА XLIII

В то время как Суворова чествовали за границей, в Петербурге, в ожидании его возвращения, готовили ему необыкновенно торжественную встречу.

По церемониалу все войска должны были быть расставлены шпалерами по пути следования генералиссимуса за заставу. Встречать его они должны были барабанным боем. Придворные кареты и эскорт конюшенного ведомства должен был отправиться навстречу герою в Стрельну, откуда и предполагалось начало триумфального шествия... Массы народа съезжались в Петербург, чтобы приветствовать славу и гордость России. Сам государь ожидал своего полководца с нетерпением.

При таких обстоятельствах злоба и зависть должны были примолкнуть. Примолкли недоброжелатели русского цезаря, но от недоброжелательства своего не отказались, они ждали только удобного момента, чтобы пустить все пружины в ход, что было не так трудно при переменчивом характере императора Павла.

Недоброжелатели группировались вокруг графа Палена, тогдашнего петербургского генерал-губернатора. Он, как заклятый, но тайный враг Суворова и как лицо,

близко стоящее к государю, мог возбудить в монархе подозрение, нужно было только действовать осторожно. Прямые наветы и наговоры могли повредить самому наговорщику. Государь не любил наущничества и сплетничества, нужно было задеть слабую струнку больной души Павла Петровича, и граф Пален сделал в этом направлении попытку.

В разгар приготовлений к встрече генералиссимуса генерал-губернатор обратился к государю с вопросом:

— Как прикажете, ваше величество, населению приветствовать князя Суворова? Должны ли выходить для приветствия его из экипажей, как это делается при встрече с вашим величеством?

— Как же, как же, сударь,— отвечал государь,— я сам при встрече с князем выйду из кареты.

Попытка Палена на этот раз не имела успеха, но он не унывал: у него были энергичные помощники и помощницы. Как-то у императрицы вечером собралось общество придворных дам и кавалеров. В собрании присутствовал и государь. Сестра Палена, разговаривавшая с своей соседкой о злобах дня, заметив приближение государя, переменяла тему разговора и начала говорить о Суворове. Приятельницы разговаривали друг с другом, но разговоры их предназначались для государя, который, находясь поблизости, должен был слышать все от слова до слова.

— Да, новый князь Итальянский не похож на графа Рымникского,— говорила одна из приятельниц,— с тех пор как он попал в члены королевского дома, он слишком возмечтал о себе... Его мечты дошли до дерзости. Вы знаете, на ком он хотел женить своего сына?— и говорившая нагнулась к уху своей собеседницы.

— На великой княжне! Может ли это быть?— не то с испугом, не то с негодованием воскликнула та.

— Он считает, что для него теперь все возможно, он считает себя теперь царственной особой... Кузен сардинского короля... Почему же он так и интриговал против Австрии, благодаря ему ведь союз с Римской империей разрушен... Австрийский эрцгерцог Палатин, видите ли, выступил конкурентом его сыну.

— Но ведь это и безумие!..

— Я с этим не спорю... Лучшее доказательство вот то, что он сначала наговаривал на австрийского императора и на барона Тугута, а теперь стоит за возобновление союза с Австрией, а почему? Потому, что он добился, чего желал: помолвил своего сына с владетельной прин-

цессой... Я не удивлюсь, если не сегодня-завтра этот разнузданный солдат выступит претендентом на престол одного из государств Европы... Ведь он во всем подражает Юлию Цезарю. «Цезарь — мой учитель», — всегда говорит Суворов. А учитель начал свою карьеру солдатом и кончил императором.

Слушавший этот разговор государь сначала улыбался, при последних же словах графини брови его сурово сдвинулись и на лбу появились зловещие складки.

Казалось, если цель еще не достигнута, то близка к достижению. Приятельницы торжествовали, и граф Пален возвращался домой довольным собою и своими клеветами.

В то время когда в Петербурге друзья и враги генералиссимуса успешно работали каждый в своем направлении, сам Суворов собирался к выступлению из Праги в поход, в Россию.

Деятельно готовился он к обратному походу, но вести ему войска домой было не суждено... Дни его были уже сочтены... Предчувствие старика, говорившего о новом своем звании генералиссимуса: «Чин слишком велик, он придавит меня» — оправдались.

Еще в Кончанском здоровье Суворова пошатнулось, и болезни все чаще и чаще стали посещать закаленного в боях воина. Призыв государя и новый поход поднял дух и силы генералиссимуса, но с окончанием кампании наступила реакция. Суворов стал болеть и хиреть, в особенности после швейцарского похода: старые раны начали напоминать о себе все больше и больше, особенно на ноге, которая до того разболелась, что он не всегда мог надеть сапог. Кашель усиливался, и чего прежде генералиссимус не ощущал, к чему был нечувствителен — холод стал донимать его.

Болезнь, однако, не изменила его режима. По-прежнему окатывался он холодной водой, ходил налегке и на настояния врачей изменить образ жизни не обращал внимания.

Наконец настал день выступления русской армии в пределы России, а генералиссимус был настолько слаб, что не мог сесть на коня и принужден был ехать в карете.

С грустью провожали его друзья, прощаясь с ним; княгиня Анжелика, Александр и Вольский не могли удержаться от слез.

— Будьте счастливы, друзья мои, молитесь обо мне, я не жилец больше на этом свете,— говорил Суворов, крестя и целуя обитателей замка княгини Анжелики.

С трудом доехал генералиссимус до Кракова. Здесь болезнь окончательно свалила его в постель и заставила приняться за лечение. Он сдал командование армией Дерфельдену и отдал по армии последний свой прощальный приказ, в котором благодарил «чудо-богатырей» за их службу, труды и беззаветную храбрость и завещал им и впредь также служить царю и отечеству.

Ему не суждено было больше увидеть своих чудо-богатырей, и они его больше не увидели.

Судьбе не угодно было свести на ратном поле двух величайших военных гениев. В то время когда больной Суворов покидал Краков, Наполеон Бонапарте, будущий император и победитель половины Европы, торопился в Италию...

С трудом дотащился больной генералиссимус до своего Кобринского имения и здесь слег окончательно. В Петербург он написал, что выезжает через 10 дней, но пришлось пробыть значительно дольше.

ГЛАВА XLIV

Русская армия давно уже вступила в пределы отечества и отдыхала на своих местах, а генералиссимус все еще лежал в постели в своем Кобринском имении, не будучи в состоянии двинуться в дальнейший путь. Здесь болезнь его выразилась в новых, не бывших еще симптомах. Сыпь и вереда, сперва показавшиеся на верхней части его тела, стали распространяться, ноги стали пухнуть, старые раны открываться и гноиться. Долгое время генералиссимус лечился одною только диетой, но вскоре был принужден обратиться и к медицинской помощи и пригласить к себе двух местных врачей.

Еще при въезде Суворова в пределы России бывший при нем неотлучно Багратион поехал с донесением к государю, и в Кобрин скоро прискакали князь Аркадий с лейб-медиком Вейкартом, посланным императором.

Трудно было ладить лейб-медику с упрямым больным. Не хотел он исполнять докторских предписаний.

— Мне нужна изба, молитва, баня, кашлица, квас,— отвечал Суворов Вейкарту на упреки за непослушание,— ведь я солдат.

— Ваше сиятельство не солдат, а генералиссимус,— отвечал доктор.

— Правда, но солдат с меня пример берет.

Такие пререкания происходили довольно часто между больным и доктором. Наконец Вейкарту удалось осилить упрямого старика, и состояние здоровья генералиссимуса стало улучшаться.

Милостивое расположение государя к Суворову было неизменно, Павел Петрович по-прежнему продолжал осыпать знаками внимания своего знаменитого полководца, и такое расположение государя благополучно влияло на ход болезни. Ростопчин писал ему, что все с нетерпением ждут его, что он жаждет момента поцеловать его руку.

Последние приятные новости о готовящейся торжественной встрече в Петербурге привез ему Милорадович.

Добрые вести действовали на больного возбуждительно, крепили его дух.

С приездом Милорадовича он повеселел, завел разговор о милостях государя, о милостях покойной императрицы:

— Ты был еще совсем юн, Михаил Андреевич,— обратился он к Милорадовичу,— приезжаю я в восемь часов вечера на бал во дворец, государыня встречает меня и спрашивает:

«Чем потчевать такого гостя дорогого?»

«Благослови, царица, водочкой»,— отвечаю я.

«Fi donc, что скажут красавицы фрейлины, которые будут с вами говорить?»

«Они, матушка, почувствуют, что с ними говорит солдат».

Вдруг изволит сама поднести мне рюмку тминной,— моей любимой водки. Я выпил за ее здоровье и, обливаясь слезами, упал к ее стопам, успев лишь сказать:

«Твое снисхождение, монархиня, делает меня твоим рабом. Умру за Екатерину, мать мою, умру твоим Зопиром».

«Не хочу, чтобы вы для меня, как тот для Дария, изуродовали себя. Живите невредимо для славы нашего отечества...»

— Один взгляд милости царя дарит нас счастьем,— продолжал он.— Еще и поныне храню я в числе моих знаков отличия и целую ежедневно всемилостивейше пожалованный мне блаженной памяти царицей Елизаветой Петровной рубль, когда я солдатом лейб-гвардии

Семеновского полка стоял в Петергофе у Монплезира на карауле и отдал ей честь. Она изволила спросить, как меня зовут. Узнав, что я сын генерал-поручика Василия Ивановича Суворова, хотела пожаловать крестовик, но я осмелился сказать:

«Всемилоостивейшая государыня, закон запрещает солдату принимать деньги на часах».

«Ай молодец,— изволила сказать, потрепав меня по щеке и дав мне поцеловать свою руку.— Ты знаешь службу. Я положу монету здесь, на землю. Возьми, когда сменишься...» То есть как я был счастлив!

Все окружавшие Суворова радовались его хорошему расположению духа и старались его поддерживать. Разговор коснулся итальянской кампании, и Милорадович начал вспоминать анекдотические стороны ее.

— Один из эпизодов я хочу увековечить гравюрой,— сказал Милорадович.

— Какой именно?

— В Турине два наших солдатика были поставлены на квартиру к старушке итальянке, которая лелеяла их как мать. Тронутые ее ласкою, солдаты словами изъявляли ей свою благодарность, но старушка никак не понимала. Солдаты и так и этак — не понимает.

«Куда как бестолкова старушка,— удивляются солдаты,— кажется, говоришь и по-польски, а она все ни хт ферштейн».

«А знаешь ли что,— обращается один из них к другому,— что ни говори, все одно не поймет. Наденем мундиры да отдадим нашей доброй кормилице честь по военному — к ноге».

Тотчас же солдатика надели мундиры, взяли ружья и вытянулись перед старушкой. Она поняла и расхохоталась.

Рассмеялся и генералиссимус.

— Я хочу, ваше сиятельство, непременно заставить искусного артиста выгравировать эстамп с изображением изумленной старушки и двух наших солдат, отдающих ей честь к ноге, с надписью: «Благодарность русских солдат гостеприимной хозяйке».

— Любезный Михаил Андреевич,— отвечал Суворов,— этот анекдот русский, прибавьте к надписи еще и русскую поговорку: «Хорошо, кто хлеб-соль водит, а вдвое тому, кто хлеб-соль помнит». Вот каковы наши чудо-богатыри!

По мере того как он чувствовал облегчение от болезни, начинал возвращаться к прежнему образу жизни,

читал журналы, вел оживленную переписку. Хвостову писал о мельчайших подробностях въезда своего в Петербург, о последующей жизни и службе. Он писал, что остановится на последней станции для ночлега, что там должен его встретить сын или племянник с запискою о всем ходе торжества. Писал свои предположения относительно отъезда своего в деревню и приездов оттуда в Петербург в торжественные дни, разбирал, когда следует приезжать и когда нет, когда пристойно, а когда неприлично. В своих расчетах и предположениях он заглядывал даже за год вперед.

Жизнь в деревне за время его болезни сделалась любимой мечтой старика. Несмотря на безграничную благосклонность государя, он понимал, что совершенно негоден для военной службы мирного времени при определенных на нее взглядах императора. Предполагал генералиссимус жить не в Кобринском имении, которое хотел променять, а в Кончанском или по соседству. В Кончанском он мечтал выстроить новый каменный дом, каменную церковь и задать здесь великолепный праздник. Когда же ему становилось лучше, он начинал мечтать о продолжении кампании. В этом подогревали его газеты и журналы, в которых он читал об успехах Наполеона Бонапарте и горел желанием сразиться с ним.

— Быстро шагает мальчик, быстро,— говорил он после каждой победы Наполеона,— пора и остановить его, помилуй Бог, пора.

Разговаривая как-то с продолжавшим находиться при нем Фуксом о предполагаемой войне с французами, он сперва задумался, а потом нервно обратился к собеседнику:

— Пожалуйста, поскорее перо и чернила. И когда Фукс вооружился пером, продолжал:

— Да, тактика и дипломатия без светильника истории ничто. Нам нужно вторгнуться в недра Швейцарии. История союза Гельветического повествует нам чудеса храбрости и побед. Блеск славы древних греков давно померк. Марафонское сражение ничто! При Моргартене 1 300 швейцарцев остановили 20 000 австрийцев, положили 600 на месте, а остаток прогнали. Знаменитая победа их шестисотенного корпуса при Земпахе возвышает их над героями Платеи. Баталия при Везене в кантоне Гларисе не сравнится с древнею при Термопилах. Там 300 спартанцев противостояли многочисленной армии персидской. Предприятие отважное, сражение неравное...

Они все погибли, остановя только на короткое время неприятеля. Здесь 350 швейцарцев нападают первые на восьмитысячную австрийскую армию. Десять раз они были отбиты, в одиннадцатый расстроили неприятельские батальоны и обратили их в постыдное бегство. Такими победами утвердила Гельвеция свою независимость и свою славу. Нам надо выигрывать сердца таких героев.

Заметку эту генералиссимус диктовал с энтузиазмом, с неменьшим энтузиазмом записывал ее и Фукс.

Впрочем, не всегда Суворов занимался планами кампании, большую часть времени он отдавал церкви. Был Великий пост, и, воспользовавшись разрешением Вейкарта встать с постели, он исправно посещал все церковные службы, заставляя присутствовать на них и Вейкарта. Пел на клиросе и усердно клал земные поклоны, вне службы же писал свои религиозные размышления. Между прочим, он написал объяснение десяти заповедей. «Первая и вторая заповеди,— писал он,— почтение Бога, Богоматери и святых, оно состоит в избежании от греха, источник же его — ложь, а товарищ ее — лесть, обман. Третья заповедь — изрекать имя Божие со страхом. Четвертая — молитва. Пятая — почтение вышних. Шестая — убийство не одним телом, но словом, злонамерением. Седьмая — кража не из одного кармана, но особенно в картах, шашках и обменах. Восьмая — разуметь в чистоте жизни, юношам отнюдь и звания не выговаривать, не только что спрашивать... коль паче греческих грехов, упоминаемых в молитвах к причащению, отнюдь не касаться, как у нас их нет, и что только служит к беззаконному направлению. Девятая заповедь идет к первой и второй, хотя значит только к свидетельству. Десятая — кто знатнее — идет к интригам, а вообще... не желать и не искать ничего. Будь христианин. Бог сам даст и знает, что когда дать...»

Как ни старался Суворов казаться бодрым и веселым, но это был не тот гостеприимный жизнерадостный, вносивший оживление хозяин, что несколько месяцев тому назад. И окружавшие его, слушая предположения о будущем, только печально улыбались.

Получив разрешение встать с постели, Суворов не мог уже оставаться в Кобринском имении, его тянуло в Петербург, и Вейкарт принужден был дать разрешение на поездку.

Выехал не генералиссимус, а его тень. Поезд подвигался медленно, больной лежал в дормезе на перинах,

всюду были разосланы распоряжения не делать торжественных встреч и проводов. В Петербурге, узнав о выезде генералиссимуса, обрадовались, считая его оправившимся, но вскоре пришлось разочароваться: Суворов ехал умирать...

ГЛАВА XLV

В то время как больной Суворов ехал в Петербург, в дороге ожидал его новый удар. Происки и интриги зложелателей в конце концов сделали свое дело. В то время как вся столица готовилась к встрече победоносного полководца, последовало высочайшее повеление об отмене всякой встречи генералиссимуса. Все недоумевали...

20 марта у Хвостова собралось значительное общество, все надеялись найти разгадку такого поворота у племянника Суворова, но тот был ошеломлен и озадачен не менее других...

— Вероятно, вследствие болезни дядюшки,— отвечал он на расспросы гостей.

Но не в болезни было дело. Приехал Ростопчин, и обстоятельства дела несколько выяснились. Он был невесел и задумчив.

— За неудачный союз с Австрией,— сказал он гостям Хвостова,— намечены четыре жертвы: Англия, князь Воронцов, князь Александр Васильевич Суворов и я. Первые три уже принесены, очередь теперь за мной.

— Быть не может,— раздалось общее восклицание.

— А вот читайте высочайший приказ по армии: «Вопреки высочайше изданному уставу, генералиссимус князь Суворов имел при корпусе своем по-старому неременного дежурного генерала, что и дается на замечание всей армии».

Молчание воцарилось в зале по почтении высочайшего приказа.

— Это же еще не все,— продолжал Ростопчин,— вот копия рескрипта, посланного государем сегодня князю Александру Васильевичу: «Господин генералиссимус, князь Италийский, граф Суворов-Рымникский. Дошло до сведения моего, что в о время командования войсками моими за границую имели при себе генерала, коего называли дежурным, вопреки всем моим установлениям и высочайшему ставу; то и, удивляясь оному, повелеваю Вам уведомить меня, что Вас понудило сие сделать!»

— Опять опала! — воскликнул один из гостей.

— И притом вдвойне незаслуженная.

— Я не допускаю мысли, чтобы государь мог из-за такого пустяка, как восстановление должности дежурного генерала, разгневаться на князя. Сам же государь говорил ему: Веди войну как умеешь». Здесь что-нибудь не то.— И как ни докапывались гости Хвостова до причины новой опалы, все выводы их были чисто гадательны.

— Уж не Фукс ли что насплетничал? — спрашивали некоторые, но, как выяснилось из дальнейших разговоров, Фукс был в числе горячих поклонников генералиссимуса. Пробовали было заподозрить великого князя Константина Павловича, но подозрения эти были сейчас же опровергнуты категорически. Так вопрос оставался невыясненным...

Приехала графиня Уварова.

— Слышали?! — воскликнула она в горе, входя в гостиную.

Ответ на свой вопрос она прочитала на лицах гостей.

— Во всем этом виноват гнусный граф Пален и его не менее гнусные друзья и клеветы. Они сперва стали распускать слухи с тем, чтобы они дошли до государя, что у князя Александра Васильевича с тех пор, как он попал в члены королевского дома, зародились мысли и мечты, верноподданному не свойственные... Каково! Государь, слыша эти сплетни, сперва улыбался, но вчера читал рапорт генерала Бауэра, из которого узнал о существовании при князе дежурного генерала, а должность эта, как вам известно, полагается только при особе императора... Нужно было видеть, как вспылал государь, а сегодня приказ по армии... Непонятно!

— Эх, матушка графиня, в наше тяжелое время ничего нет непонятного. Ужели вы не привыкли к тому, что ныне творится? Кто может быть спокоен за завтрашний день? Никто, а менее всех тот, кого сегодня более других осыпают милостями... Я, по крайней мере, всегда держу лошадей и экипаж наготове, чтобы по первому повелению государя уехать к себе в деревню в ссылку... Что только будет дальше? Раздражительность и недоверчивость государя так развились, что никакая сила их сдержать не может. Никакие заслуги, труды, никакие доказательства не могут убедить его в преданности, и достаточно одного только подозрения, чтобы подозреваемый сошел с арены государственной деятельности. Князь Репнин и князь Александр Васильевич — живые доказатель-

ства, и судьба их — верный показатель состояния больной души государя... Бедный он, пожалеть его надо. Вы думаете, легко ему жить с вечными подозрениями и вечным недоверием не только к окружающим, но и к собственной семье. Ведь он приказал даже доставлять ему все письма государыни и великих княгинь...

В то время как новая опала Суворова повергла в уныние все лучшее русское общество, генералиссимус, ничего не подозревая, ехал в Петербург с светлыми надеждами на выздоровление, на возобновление кампании. Грозный рескрипт государя он получил под Вильной... Не выдержала истрадавшаяся душа война, и он слег в постель. Несколько дней пролежал он в простой избе в деревушке, прежде чем в состоянии был двинуться в путь... Не о торжественной встрече говорил теперь генералиссимус.

— В Александро-Невскую лавру еду, — говорил он окружающим и, как показало недалекое будущее, был прав.

От Вильны до Риги еще медленнее подвигался больной генералиссимус, и хотя по пути было сделано распоряжение, чтобы никаких встреч не оказывали, тем не менее по всему пути следования массы народа стекались, чтобы только посмотреть знаменитого человека, имя которого гремело по всей Европе. Встречи были тихи, молчаливы, но зато сколько сердечности, сколько задушевности и сочувствия можно было прочесть во взорах встречавших...

В Риге больной почувствовал себя несколько легче. Наступал праздник Пасхи, которую Суворов решил встретить в Риге.

Не без труда надел генералиссимус парадный мундир, отправился к пасхальной заутрене, после которой разговлялся у генерал-губернатора. Насилие над собою старику даром не прошло: в первый день Пасхи он снова слег в постель и хотя через несколько дней отправился в дорогу, но принужден был ехать еще медленнее и на переезд до Петербурга потребовалось две недели.

Не смотря на то что немилость государя к генералиссимусу стала известна всем, в Стрельне больного старика встретило многочисленное общество. Правда, из официальных лиц никто не решился высказать свои чувства к герою публично, и потому государственные люди при встрече Суворова отсутствовали, но зато много дам с детьми отправилось к нему навстречу. Дормез был окружен, больному подносили цветы, фрукты... Дамы

поднимали к окнам кареты детей, прося Суворова благословить их. Такая задушевность встречи трогала старика до слез и несколько мирила с грустным положением опального.

Вечером, в 10 часов, 20 апреля в Петербург въезжала дорожная карета. Пробиралась она по глухим улицам и закоулкам, точно крадучись. Глядя на нее, никто не подумал бы, что таким образом въезжает в столицу италийский князь и генералиссимус, покрывший и Россию, и русские знамена неувядаемою славою, тот, кому еще так недавно государь писал: «Не мне награждать тебя герой...» тот, кого он так недавно звал в Петербург на совет и на любовь...

А между тем это было так. Точно тайком въезжал Суворов в Петербург. Карета остановилась на Крюковом канале у дома Хвостова. Бережно вынесли из нее больного, находившегося почти без чувств, и снесли наверх. Не успели еще устроить больного, как от государя явился генерал-адъютант князь Долгорукий.

— По лицу его вижу, с недобрыми явился он вестями, Груша, — говорил Хвостов жене. — Как быть?

— Никак, просто-напросто не пускать к дядюшке, сказать, что князь в обмороке, что видеть его нельзя.

— Но ведь это посланный государя, с государем, сама знаешь, шутки плохи, он не станет рассуждать: болен ли дядя или нет...

— Я сама выйду к Долгорукому, не беспокойся, все устрою так, что недоразумений не выйдет. — И жена вышла в гостиную.

— Как жаль, дорогой князь, — обратилась она к приехавшему, — что вам нельзя исполнить поручение государя, вы, наверно, с поручением, дядя без сознания...

— Мне очень жаль... вдвойне жаль, тем более что поручение слишком неприятное и мне его тяжело было бы передавать его сиятельству. Если позволите — я изложу волю его величества в записке. — И он на листе бумаги написал высочайшее повеление во дворец генералиссимусу не являться.

Несколько дней больной был настолько слаб, что обмороки следовали один за другим. Потом наступило некоторое улучшение, но оно никого не могло обмануть: открывшиеся на старых ранах язвы перешли в гангрену и доктор говорил, что больной живет только силою своего духа.

— Дайте мне только полчаса, и я с ним выиграю сражение, — говорил доктор.

Когда генералиссимус чувствовал себя лучше — его сажали в кресло на колесах и возили по комнате. Он возвращался к прежним своим занятиям, изучению турецкого языка, разговаривал с окружающими, высказывая большой интерес к политическим событиям, обсуждал план возможной кампании против французов... Никто не слышал от него жалоб на судьбу, о немилости государя он ни разу не обмолвился. Друзья посещали больного, и он подолгу беседовал с ними. Приехал как-то Державин.

— Гаврило Романович, дорогой мой, как рад я тебя видеть... *tempora mutantur*. Прежде ты писал стихи в честь моих побед, теперь приходится написать эпитафию мне на могилу...

— Полно, ваше сиятельство, не эпитафию, а оду напишу по поводу вступления вашего в Париж.

— Не в Париж, а на тот свет мне теперь дорога, — с грустью отвечал генералиссимус.

— Бог даст, поправитесь, спросите докторов, они совсем другого мнения о вашем здоровье.

— Ну, не теперь, так потом, а умирать все же придется, не вечный же я. Так вот ты и напиши мне теперь эпитафию...

— Коли суждено будет, ваше сиятельство, тогда и напишу, а теперь не резон.

— Нет, резон: напишешь после моей смерти, и я не буду знать, что ты написал. Напиши теперь, сейчас ж.

— Для вас — это нетрудно и задумываться незачем... «Здесь лежит Суворов» — ничего больше.

— Хорошо, помилуй Бог, как хорошо, — в восторге воскликнул старик и обнял Державина.

Начал вспоминать он минувшую кампанию, но память стала ему изменять. Все то, что относилось к отдаленному прошлому — он помнил с поразительной ясностью, но имена разбитых им в Швейцарии французских генералов он уже забывал.

После непродолжительных минут облегчения снова наступала слабость, больной впадал в забытие. Государь, узнав о безнадежном состоянии старика, видимо, пожалел и послал к нему своего лейб-медика, знаменитость того времени, доктора Грифа. Доктор посещал больного ежедневно, каждый раз заявляя, что приехал по повелению государя. Это доставляло старику большое утешение, и он начинал надеяться, что ни на чем не основанный гнев государя пройдет, настанут прежние

времена... Больной, по-видимому, был прав. Болезнь Суворова печалила государя, и он послал как-то с выражением своего соболезнования графа Кутайсова. Генералиссимусу в это время было несколько лучше, и он принял графа. Когда тот вошел, больной лежал в постели.

— Кто вы, сударь? — спросил его Суворов.

— Граф Кутайсов.

— Граф Кутайсов? Кутайсов?.. Не слыхал. Есть граф Панин, граф Воронцов, граф Строганов, а о графе Кутайсове я не слыхал... Да что вы такое по службе?

— Обер-шталмейстер.

— А прежде чем были?

— Обер-егермейстером.

— А прежде?

— Гофмейстером.

— А до этого времени?

Кутайсов запнулся.

— Да говорите же?

— Камердинером.

— То есть вы чесали и брили своего господина?

— Точно так-с.

— Проща, ступай сюда, мерзавец, — закричал Суворов своему камердинеру. — Вот посмотри на этого господина в красном кафтане с голубою лентою. Он был такой же холоп, фершал, как и ты. Да он турка и не пьяница... Вот видишь, куда залетел! И к Суворову его посылают. А ты, скотина, вечно пьян, и толку из тебя не выйдет. Нет, куда же тебе...

Кутайсов уехал крайне сконфуженным и передал обо всем государю.

Против всеобщего ожидания император не вспылал и не обиделся.

— До гроба верен себе, — сказал он и сейчас же приказал князю Багратиону от своего, государя, имени поехать на другой день проведать генералиссимуса.

Багратион застал Суворова уже в безнадежном состоянии, почти в агонии. Хотя он открыл глаза при входе посланного государем, но сейчас же впал в обморок. У Багратиона градом лились слезы при виде умирающего полководца.

— Давно ли враги трепетали при его имени, давно ли войска по одному мановению его руки бросались на смерть, а теперь... — и князь тяжело вздохнул... — А причащался ли больной Святых Таин? — спросил он у Хвостова.

— Нет, да как ему и сказать об этом, не знаем... Ведь он все надеется на выздоровление, а заикнись ему об исповеди... Нет, батюшка князь, пробовали, из себя выходит.

Тем временем доктор привел больного в чувство. С трудом узнал Суворов своего любимца, улыбнулся слабо и пожал ему руку.

— На похороны, князь Петр, приехал,— простонал он.

— Бог знает что, ваше сиятельство! В Кинбурне не так от ран хворали, поправитесь и теперь, все доктора в этом уверены, а я уверен, что под вашим начальством придется еще совершить поход в Париж.

Суворов простонал в ответ.

— Помолитесь Богу, ваше сиятельство, примите Святых Таин и через неделю на ногах будете.

— Твоя правда, князь Петр. Груша, пригласи-ка священника...

— Не быть уж мне на ногах, лечь бы спокойно в гроб,— стонал старик.

— Вы не в духе, ваше сиятельство, рано вам о гробе думать. Посмотрите на себя, ведь вы, можно сказать, цветете.

— Отцвел, брат, отцвел. Счастье мое, что отцветал на солнце, потому что растения, цветущие в тени, ядовиты.

Пока больной говорил с Багратионом, жена Хвостова, воспользовавшись выраженным им желанием, послала за священником. Генералиссимус исповедался и причастился Святых Таин.

— Твоя правда, князь Петр,— обратился он к Багратиону,— после святого причастия чувствую себя куда как лучше.

— Видите, ваше сиятельство, а через неделю совсем поправитесь.

В это время приехал граф Ростопчин. Он привез генералиссимусу орден, пожалованный французским королем-претендентом.

— А где же сам король? — спросил генералиссимус.

— В Митаве.

— В Митаве... Ему место не в Митаве, а в Париж.

— Богу угодно, ваше сиятельство, чтобы вы восстановили его на троне, как восстановили королей Италии.

Суворов тяжело вздохнул.

— Нет, не сидеть мне уж на коне... «Здесь лежит Суворов»,— повторил он эпитафию, сказанную по его настоянию Державиным.— Не сидеть мне теперь, а лежать...

Засвидетельствуй, князь Петр, мою верноподданническую благодарность и любовь государю... А имение у адмиральши Рахмановой куплено? — спросил вдруг он у Хвостова.

У больного начался бред, а вместе с ним и предсмертная агония, продолжавшаяся несколько дней. Дочь, сын и родные окружали одр умиравшего, но он в сознание почти не приходил. Бред больного говорил о пройденной им жизни. Он бредил боями, сражениями, отдавал приказания, видел себя во главе войск, вступающим в Париж... Временами имя Стефании и Александра срывалось с уст больного. Не задолго до кончины он пришел в сознание.

— Долго я гонялся за славой, — обратился он к окружавшим, — теперь вижу, что все мечта: покой души у престола Всевышнего... Ныне отпускаеши раба твоего... Прага в огне, сколько крови, Боже мой, целое море крови, жгите скорее мост, чтобы ни один солдат не попал на ту сторону, иначе Варшава погибла...

У него снова начался бред, который больше уже не прекращался. Бредил он Генуей, Неаполем, возмущался неблагодарностью Австрии. Мало-помалу слова его становились непонятны, обрывисты и перешли в хрип.

В 2 часа дня 6 мая 1800 года великого полководца и христианина не стало... Мигом распространилась печальная весть по городу, и в 5 часов пополудни вся Коломна толпилась уже у дома Хвостова с обнаженными головами.

Тело было бальзамировано и положено в гроб, в 8 часов вечера духовенство отслужило панихиду. Все улицы были запружены народом; кто не попал в дом, молился на улице за упокой души раба Божьего князя Александра, только из людей, стоявших у власти, никто не решался, кроме Ростопчина и Багратиона, показаться у гроба опального полководца. Даже официальный орган того времени «С.-Петербургские ведомости», еще недавно прославлявший великие подвиги великого Суворова, не обмолвился теперь о его смерти — ни одним словом. Тем не менее печальная весть с быстротою молнии разнеслась из конца в конец столицы, пошла и по России. С утра до вечера квартира Хвостова была переполнена массаами народа, приходившего проститься с тем, кто был славою и гордостью России. Приходили петербуржцы, приезжало много и из провинций.

Со спокойным лицом, точно спал, лежал Суворов в гробу, вокруг которого на табуретах были разложены многочисленные ордена его и знаки отличия.

Панихида у гроба служилась по нескольку раз в день. Похороны были назначены на 11 мая, но за несколько дней приехал флигель-адъютант государя и привез высочайшее повеление отложить похороны на 12 мая.

— Слышали? — обращался после панихиды один из генералов к другому.

— Да, слышал, и после смерти не в милости, — отвечал тот со вздохом.

— А что такое? — спросил сосед.

— Видите ли, гвардия устала после похода, а потому для отдания воинских почестей назначены только армейские полки, из гвардейских идет конный.

— И притом, — заметил один из присутствовавших генералов, — почести повелено отдать по чину фельдмаршала... Значит, флот участвовать не будет.

— Это что-то похоже на разжалование!..

Говоривший не закончил начатой фразы; внимание всех было обращено на входивших четырех дам, по-видимому иностранок. За ними следовали два молодых человека и австрийский генерал с мальчиком, по-видимому сыном.

Вошедшие преклонили у гроба колени... Слезы блистали у них на глазах.

Пока присутствовавшие недоумевали и старались узнать имена незнакомцев, дочь покойного, графиня Зубова, шла навстречу прибывшим.

— Не ожидал, сестрица, что нам придется свидеться при таких печальных обстоятельствах, — говорил один из молодых людей, целуя у графини Натальи Александровны руку... — Вы не знакомы еще с моей матушкой, — и он подвел ее к пожилой даме.

Читатели, без сомнения, узнали в прибывших графиню Бодени княгиню фон Франкенштейн, ее сына с невесткой и Вольского с молодой женою. Генерал и другая пожилая дама были барон и баронесса Карачай с сыном — крестником Суворова. На другой день прибыли и родители Вольского.

Наступило 12 мая. Все улицы от набережной Крюкова канала до Александро-Невской лавры были сплошь полны народа, крыши и балконы домов были заполнены зрителями. Весь Петербург собрался провожать народного героя в место его упокоения.

С большой торжественностью начался в 10 часов утра вынос. Придворное и много столичного духовенства сопровождали гроб... Уныние царило вокруг и отражалось на лицах провожавших.

На угол Невского и Садовой улицы выехал навстречу похоронной процессии государь с небольшой свитой... Показался гроб, и государь снял шляпу. В это время сзади раздались рыдания. Государь обернулся и увидел плачущего генерала Зайцева... Не выдержал император Павел, и у самого из глаз брызнули слезы...

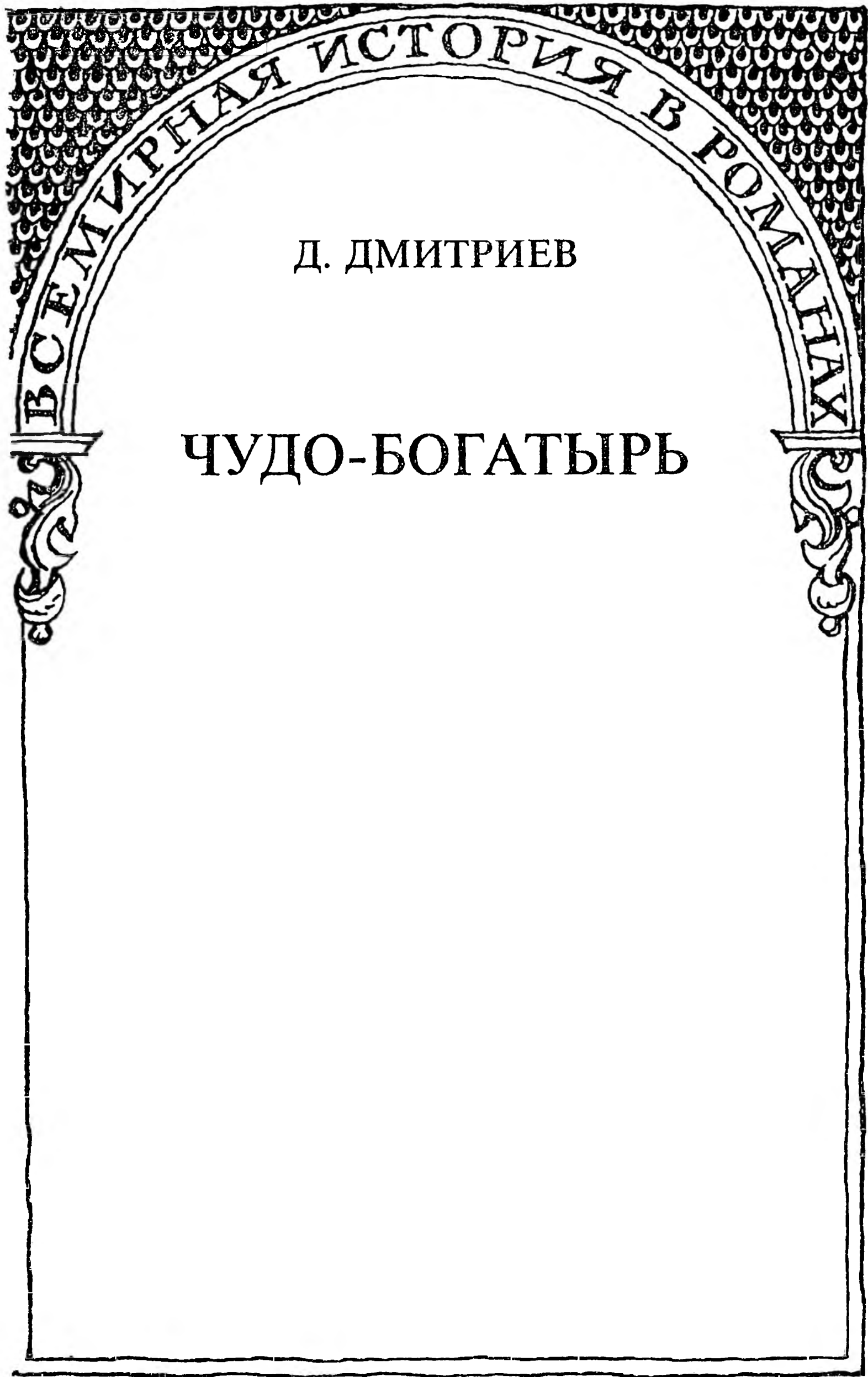
Пропустил государь процессию и возвратился во дворец. Весь день он был невесел, не спал всю ночь, беспрестанно повторяя: «Жаль... жаль...»

Процессия прибыла в лавру, гроб внесли в Благовещенскую церковь... Началось Богослужение... Кончилось отпевание, и залпы артиллерии и пехоты возвестили народу, что земля сокрыла навсегда прах великого воина и христианина.

Медленно начал расходиться народ по домам.

Не стало Суворова... Но Суворов жив вечно... Он живет в русской армии и из списков ее не исключен до сих пор. Живет он в народных песнях, картинах и легендах...

В дремучем лесу, среди болот, лежит огромная каменная глыба с пещерою внутри; ход в нее из-под болота. Дурная слава про это место: там блуждают синие огоньки, носятся бледные тени, слышатся тоскливые, жалобные стоны. Филин не пролетает над седым мшистым камнем, волк на нем не воет; крестьянин, невзначай сюда попавший, обходит дикое место, кладя на себя крестное знамение. Всегда здесь тихо и мертво; только ворон каркает по временам над каменной глыбой да вьется хищный орел, успокаивая клекотом своим старца, почивающего в пещере, внутри камня, неземным сном. Чрез малое отверстие брезжит оттуда тусклый, слабый свет неугасимой лампы да доносится глухое замогильное поминовение князю, рабу Божию Александру. В глубине скалы спит, как говорят люди, сам дедушка, склонив седую голову на уступ камня; давно он спит и долго спать будет. Только тогда, когда покроется Русская земля кровью, боевому коню по щиколотку, проснется великий русский воин, выйдет из своей усыпальницы и избавит отечество от лютой невзгоды!



ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНТАХ

Д. ДМИТРИЕВ

ЧУДО-БОГАТЫРЬ



I

Русское войско под командованием Суворова окружило турецкую крепость Измаил. Крепость эта считалась неприступной: одною стороною примыкала она к Дунаю и была защищена здесь высокой каменной стеной, а с других сторон ограждена была четырехсаженным земляным валом с глубоким рвом. 250 больших пушек и 40 тысяч гарнизона охраняли Измаил под началом опытного и храброго сераскира Аудузли-паши.

У Суворова же было только 28 тысяч солдат, и то ослабленных, изнуренных продолжительными походами и недостатком провианта.

Стоял декабрь 1789 года, хотя от непрерывных дождей всюду были грязь и слякоть.

Суворов немедля приказал готовиться к приступу.

Стали готовить лестницы и фашины ставить батареи в 40 сажнях от крепости; пушек было мало, и турки только посмеивались над русскими.

За несколько дней до штурма в действующую армию под Измаилом прибыл из Бендер князь Борис Пронский, молодой, красивый гвардейский офицер.

Суворов принял князя Бориса, сидя на обрубке дерева перед простым столом, заваленным картами и бумагами. На графе была надета солдатская куртка из толстого зеленого сукна; седые редкие волосы на его голове были взъерошены; бледный, исхудалый, он не совсем еще оправился от тяжелых ран, полученных им в сражении при Очакове.

— Добро пожаловать,— сказал он князю.— Из каких краев изволил к нам пожаловать?

— Из Бендер, ваше сиятельство. У меня есть письмо от его светлости князя Потемкина.

— Письмо? Ну, подавай его сюда... Ты получаешь назначение состоять при действующей армии. Что ж, хорошо! Нашего полку прибыло,— прочитав письмо Потемкина, с улыбкою проговорил Суворов.— Князь советует пустить тебя в дело. Что, славы захотел?— насмешливо спросил Суворов.

— Нет, ваше сиятельство, я не добиваюсь ни славы, ни почестей.

— Так зачем же ты сюда приехал?

— Я дворянин и офицер, и мой долг обязывает меня быть при армии,— тихо ответил Пронский.

— Хорошо,— одобрил Суворов.— Ну тогда иди, устраивайся. Назначаю тебя под команду полковника Кутузова.

Когда молодой князь вышел из палатки Суворова, уже стемнело и солдаты разожгли костры и грелись около них. Князь направился к одному из костров, но вдруг его окликнули.

— Князь Борис, тебя ли вижу?— идя с распростертыми объятиями к Пронскому, весело воскликнул молодой ротмистр Дмитрий Николаевич Жданов, школьный товарищ и друг князя Бориса Пронского.— Какими судьбами?

— Долго рассказывать...

— Пойдем в мою палатку, там за чайком и поговорим.

— Смотри-ка, Хомяк, какого гостя я привел,— войдя в палатку, обратился Жданов к своему денщику.

Прозвище Хомяк денщик получил за свою неповоротливость и за нерасторопность. Старик денщик душой и телом был предан своему господину, молодому ротмистру, и любил его.

— Ах, ваше сиятельство! Вот радость-то!

— Ладно, Хомяк, приготовь-ка нам кипятку для чая да неси ром.

— Сейчас, сейчас! — Хомяк медленно вышел из палатки.

— Ну, теперь скажи, что привлекло тебя на эту кровавую бойню? Ведь ты, как мне помнится, всегда был против войны...

— Знаешь, Дмитрий, я просил бы тебя об этом не спрашивать до времени. Я сам расскажу тебе, только не теперь, — тихо ответил князь.

— Странно!.. Уж не влюблен ли ты? — пристально поглядывая на приятеля, спросил Жданов.

— Нет... нет... — вспыхнув, ответил ему Борис.

Тут беседа приятелей была прервана приходом Хомяка. Он доложил ротмистру, что его желает видеть начальник дивизии.

Жданов поспешил к дивизионному, а князь Борис направился в свою палатку.

II

На крутом, обрывистом берегу Волги красиво раскинулась родовая усадьба князей Пронских, состоящая из огромного каменного дома с колоннами и еще двух домов, где помещался многочисленный штат дворовой прислуги.

К дому примыкал огромный сад и парк. В саду было много фруктовых деревьев, каменная оранжерея и парники, множество статуй, беседок затейливой архитектуры и мостиков, перекинутых через ручейки и канавки.

В двух верстах от княжеской усадьбы, тоже на берегу Волги, стояло большое село Михалково — родовая вотчина князей Пронских.

Семья старого князя была не многочисленна и состояла только из его жены Елены Гавриловны и единственного сына Бориса, двадцатилетнего красавца, офицера-гвардейца.

Нечего и говорить о той любви, которую питали отец и мать к Борису; в нем они видели продолжение своего именитого рода.

Молодой князь тоже сердечно любил своих родителей. Борис с десяти лет жил в Петербурге, в доме своего отца. (У Пронских был на Невском проспекте огромный каменный дом.) Став офицером, он послужил некоторое время, взял продолжительный отпуск и в начале мая приехал в Михалково, после душного, пыльного

Питера родная усадьба показалась молодому князю земным раем.

Воспитываясь в Петербурге, Борис редко бывал в Михалкове и теперь, пользуясь удобным случаем, не выходил из заповедного леса, который находился невдалеке от усадьбы.

Однажды ранним утром князь Борис отправился в лес на охоту в сопровождении своего преданного и верного слуги Митяя.

Проходя лесною дорогой, князь под ветвистым деревом увидел сидящую красавицу, с очаровательным лицом, покрытым матовым румянцем и большими голубыми глазами.

На девушке надета была чистая кисейная рубашка и голубой атласный сарафан. На голове у красавицы был венок из ландышей. Завидя молодого князя и сопровождавшего его Митяя, молодая девушка испугалась и быстро встала.

— Я напугал тебя, красавица? — тихо спросил Борис, любуясь ее красотой.

— Да... я... я не ждала такой встречи.

— Скажи, милая, ты откуда?

— А вам на что, князь! — бойко ответила ему красавица, улыбаясь.

— Как, разве ты знаешь, кто я? — удивился Борис.

— Да, знаю.

— Почему же не хочешь мне сказать, откуда ты?

— Зачем вам знать?

— Как зачем? Чтобы познакомиться.

Молодая девушка громко засмеялась.

— Чудно... Вы князь, богатый, именитый, а я что... бедная поповна...

— Ты поповна? — с оживлением спросил у красавицы молодой князь, поймав ее на слове.

— Ах, глупая, вот проговорилась-то! — спохватилась та.

— Из какого же вы села? — переходя с «ты» на «вы», спросил Борис.

— Из Михалкова.

— Как! Вы дочь отца Василия? — удивился Пронский. — А как вас звать?

— Анной, — ответила молодая девушка.

— Дозвольте, Анна Васильевна, мне бывать у вас?.. Я давно собираюсь навестить вашего отца, с ним я хорошо знаком...

— Что ж... приходите... будем рады...— вспыхнув, сказала красавица.

— Дозвольте, Анна Васильевна, проводить вас до вашего дома.

— Зачем, я и одна дойду... тут не далеко. Простите, князь!

Проговорив эти слова, молодая девушка быстро пошла по лесной тропинке, которая вела в село Михалково.

Долго смотрел ей вслед молодой князь: редкая красота поповны с первого же раза произвела на него сильное впечатление.

Отец Василий, священник села Михалкова, пользовался любовью и уважением всего прихода. Лет тридцать священствовал он в Михалкове; при нем и при его содействии построен был каменный храм, главным вкладчиком и соорудителем которого был князь Георгий Александрович.

Отец Василий жил в своем чистеньком небольшом домике с единственной дочерью Анютой. Прошло уже лет десять, как он овдовел. Первое время вдовства хозяйство у него вела сестра-старушка, а как подросла Анюта, стала и она помогать тетке.

Молодая девушка была хорошая, расторопная хозяйка, а все свободное время отдавала чтению. Книги были единственным любимым развлечением Анюты.

Отец Василий был вхож в княжеский дом. В большие праздники князь приглашал его к своему столу, но ни сам он, ни жена его никогда не заглядывали в домик священника.

Каково же было удивление отца Василия, когда около его домика остановилась роскошная коляска, из которой вышел молодой князь в форме гвардейского офицера.

— Анюта, Анюта, посмотри, кто приехал— от чудеса!— поспешно показывая дочери в окно на князя Бориса, промолвил отец Василий.

Анюта вспыхнула.

Старик поспешил к князю и, ласково и приветливо встретив его, усадил на почетное место.

— Вот я и у вас, Анна Васильевна!.. Не ждали?— проговорил князь, любовно посматривая на молодую девушку.

— Признаюсь, князь, не ждала я вас так скоро.

— И знаете, из-за кого я приехал?

— Нет, князь, не знаю.

— Из-за вас... из-за одной вас.

— Зачем вы так говорите, князь, зачем? — с упреком промолвила красавица.

— Разве правду грешно говорить?

Такой разговор происходил между ними в отсутствие отца Василия, который, заботясь об угощении, сам пошел хлопотать по хозяйству.

Князь Борис почти до вечера пробыл у священника и стал затем чуть не каждый день бывать в домике отца Василия и подолгу там оставаться; он полюбил красавицу Анюту, и молодая девушка тоже не могла не полюбить красавца князя.

Частое пребывание Бориса в доме священника скоро перестало быть тайной для старика князя.

Однажды между князем и его женой, в отсутствие Бориса, произошел такой разговор:

— Что с нашим сыном? — спросил он свою жену. — Неужели он влюбился в простую поповну?

— Большой беды я здесь не вижу, — спокойно ответила Елена Гавриловна.

— Вот как?! — сердито воскликнул старый князь. — Но не забывай — увлечение может перейти в страстную любовь, а любовь — в неравный брак.

— Ну, до этого еще далеко. Наш Борис воспитан и благоразумен. Он никогда не решится жениться на поповне.

— Гляди, не ошибись. А если их увлечение зашло слишком далеко, тогда что делать? — сердито спросил у жены князь Георгий Александрович.

— Тогда... тогда надо обеспечить «поповну» и подыскать ей подходящую партию, — совершенно спокойно ответила княгиня.

Князь вопросительно посмотрел на жену.

— И надо подыскать партию для Бориса, — добавила она.

— Но где здесь, в глуши, найдешь хорошую невесту? — возразил князь.

— Сегодня же я напишу приглашение графу Григорию Платоновичу: он давно собирался к нам приехать погостить со своей дочерью, — улыбнулась княгиня и вышла из кабинета мужа.

Михалковской усадьбой князя Пронского управлял старик Матвей Ильич, из крепостных.

Князь Георгий Александрович, ценя верную и преданную службу Матвея Ильича, дал ему в награду «вольную», вопреки желанию его самого.

— Что вы-с, ваше сиятельство, зачем мне вольная? — сказал князю Матвей Ильич, чуть не до земли кланяясь, когда Георгий Александрович протянул ему официальную бумагу, в которой написано было, что Матвей Ильич с его единственным сыном Сергеем освобожден от крепостной зависимости.

С трудом удалось князю Пронскому вручить вольную своему старому слуге.

Матвей Ильич, от природы добрый, тихий, был любим всеми михалковскими мужиками, — ласково управлял он усадьбой; за то и крестьяне готовы были за своего управителя в огонь и в воду.

Жил он в небольшом отдельном домике, который находился невдалеке от Михалкова и в нескольких шагах от княжеской усадьбы.

Вся семья Матвея Ильича состояла из одного сына Сергея, молодого, красивого парня. Жену свою он похоронил уже давно, — тогда маленькому Сереже было всего только пять лет. Рос мальчик на руках своего отца; когда подрос, стал ходить обучаться грамоте к отцу Василию, где учился вместе с его дочерью Анютой. Отец Василий находился в дружбе с Матвеем Ильичом, он любил и уважал старика управителя, полюбила его сына.

Шли годы, и постепенно у Сергея детская невинная привязанность к поповой дочке обратилась в пылкую пламенную любовь.

Сергей надеялся на взаимность, но жестоко ошибся. Молодая девушка любила его только братскою, родственною любовью. Кто знает, со временем она, может быть, и полюбила бы Сергея, и вышла бы за него замуж, — отец Василий и Матвей Ильич рады были породниться, но встреча ее в лесу с князем Борисом разбила эти его мечты.

Сергей скоро узнал об этом: частые приезды молодого князя в домик священника бросались в глаза.

Однажды Сергей решился объяснить с молодой девушкой.

— Что это князь повадился так часто к вам ездить? — ревниво проговорил он, обращаясь к Анюте.

— Что ж... пусть ездит, если ему нравится! — весело ответила молодая девушка.

— Тебе смешно. А каково мне? Ведь я... я... люблю тебя... — чуть слышно проговорил Сергей, опустив голову.

— Любишь?.. Ты меня любишь?..

Молодая девушка удивилась и испугалась этих слов.

— Да, да!.. Люблю пуще света белого, сильней жизни!..

— Ах ты мой бедный!.. Бедный!..

— А ты?.. Ты?! Князя любишь?! — не спросил, а закричал бедный Сергей.

— Да,— тихо призналась Анюта, и Сергей, застонав, бросился вон из сада.

Матвей Ильич, узнав вскоре обо всем, долго обдумывал, как помочь любимому сыну, как от горя, от тоски его освободить. И однажды утром отправился он к отцу Василию.

— Что это ты спозаранку пожаловал? Или дело есть? — удивился отец Василий.

— Дело, отец, большое дело, серьезное.

— Ну, ну, сказывай, что такое?

— Увези дочь свою куда-нибудь на время... припрячь...

— Ильич, да ты здоров?

Священник с удивлением посмотрел на приятеля.

— Я-то здоров. Вот ты-то, видно, не совсем.

— Я?

— Да, ты. Князь Борис Георгиевич зачем так часто у тебя бывает?

— Ты вот что... Его сиятельство по расположению у нас бывает.

— Эх ты, простота, простота! Ничего ты не видишь, ничего не знаешь!

— Да что видеть? Что знать?

Отец Василий ничего не знал о любви между князем и дочерью. Теперь же слова старика управляющего смутили его душевный покой.

— Твоя Аннушка приглянулась князю Борису Георгиевичу! — тихо проговорил Матвей Ильич.

— Не может быть?! — испугался отец Василий.

— Только ты этого не видишь.

Бедный священник чуть не плакал.

Матвею Ильичу стало его жаль.

— Да ладно, отец... Что сокрушаешься прежде времени. Дело поправимое.

— Поправимое, говоришь; а как его поправить-то? Как? Научи, Ильич, наставь!..

— Говорю, увози подальше дочку; схорони ее от княжеских глаз.

— Да, да, я увезу Анюту, я спрячу ее. Спасибо за совет, друг! Не то, Ильич, у меня в мыслях было: хотел я Анюту выдать за твоего Сергея, скажу тебе откровенно,

— Да я и сам думал с тобой породниться. Ну да не сокрушайся прежде времени; может, наши думки заветные и сбудутся.

— Пошли Господь!

Отец Василий усердно перекрестился.

Священник проводил до ворот своего приятеля и, вернувшись в горницу, прошел прямо в комнату своей дочери.

Молодая девушка только что встала с постели и причесывалась.

— Здравствуй, отец! — весело проговорила она и крепко обняла священника.

— Здравствуй, Анютушка, здравствуй! Ну, как ночку спала, моя голубушка?

— Хорошо, отец, спасибо...

— А я ведь, дочка, с тобой пришел поговорить.

— Говори, отец, я слушаю...

— Видишь ли, я... я хочу спросить тебя про князя.

— Про князя? — удивилась молодая девушка.

— Да... Скажи мне, дочка, откровенно, ты любишь князя Бориса Георгиевича? — смотря в глаза дочери и собравшись с силами, спросил отец Василий.

— Отец!.. — молодая девушка со слезами бросилась к нему и обняла.

— Говори, моя умница, говори... — глядя ее по голове, настаивал священник.

— Я люблю князя!

— Любишь? — совсем упавшим голосом переспросил отец Василий.

— Да, люблю, и он тоже меня любит!

— Любит ли? — возразил дочери отец Василий.

— Любит, любит!

— Ах, дочка милая, княжеская любовь не по нам. Не верь ты той любви! — предостерегал свою дочь священник.

— Любви князя Бориса я верю.

— А к чему эта любовь приведет? Ты думаешь, молодой князь на тебе жениться?

— Отец, об этом я не думала.

— Не думала? А надо, Аннушка, подумать, надо...

— Оставим это! Мне тяжело, отец... тяжело! — со слезами сказала молодая девушка.

— Ну, ну, не будем, дочка, говорить, не будем. Поговорим о другом... Надумал я в гости к сестре Елене в Никольское съездить.

— Когда?

— Да завтра... Может, и ты, дочка, со мной поедешь? — робко спросил у дочери священник.

— Поеду... И мне хочется повидать тетю Елену.

— Вот и поедем! — обрадовался отец Василий.

«У сестры я оставлю гостить Аннушку, пока князь молодой не уедет из усадьбы», — подумал священник.

На другой день, ранним утром, из ворот дома отца Василия выехала простая телега, в которой сидели он сам и его дочь Аннушка. На облучке сидел Ванюха, единственный батрак священника.

Однако не успели ни далеко отъехать, как позади раздался конский топот; кто-то быстро ехал, как видно, стараясь догнать их.

— Кто-то скачет, — проговорил дочери священник.

— Да, я тоже слышу.

Едва Анюта проговорила эти слова, как с кибиткою поравнялся молодой князь Борис Пронский.

— Куда это, отец Василий, вы собрались? — приостанавливая своего коня, спросил князь. — А, и Анна Васильевна! Здравствуйте!

— Здравствуйте, князь, — с улыбкою радости проговорила молодая девушка, ласково смотря на Бориса Пронского.

— Вам желательно, князь, узнать, куда мы едем? — сухо спросил священник.

— Да.

— А дозволейте узнать, ваше сиятельство, для чего вам надо это?

— Я вас не понимаю, отец Василий, — ответил молодой князь, удивленный и сконфуженный резким тоном священника.

— Не понимаете?

— Да, не понимаю...

— Если угодно, я объясню. Иван, останови коней-то!.. — промолвил священник и слез с телеги.

Князь спешил, и они отошли от телеги.

— Так вот, ваше сиятельство, как вы намерены поступить с моей дочерью? — прямо спросил священник.

— А, — понимающе кивнул князь, — стало быть, вам известно о нашей любви?..

— Да, и ничего хорошего от этой любви я не жду-с.

— Почему?

— А потому что вы не женитесь на моей дочери...

— Вы так думаете?

— Да.

— Но я как раз сегодня хотел просить руки вашей дочери.

— Вы... вы хотите...

Священник не договорил: он был взволнован и удивлен.

— Да, я хочу жениться на вашей дочери. Я надеюсь, с вашей стороны препятствия не будет?

— Помилуйте, ваше сиятельство... Это такая честь... Только вот как ваши родители...

— О, насчет этого не беспокойтесь, — отец и мать будут рады моему счастью. Так вы согласны, почтенный отец Василий, назвать меня своим зятем? — спросил молодой князь у священника.

— Я... я душевно рад. Анюта, Анютушка!.. Какая радость-то!.. — взволнованно воскликнул священник, обращаясь к дочери. — Уж теперь мы поездку к сестре отложим!

— Что такое, отец?..

— Да вот... нет... князь Борис Александрович сам тебе расскажет. Иван, поворачивай коней!

Молодая девушка была счастлива: она догадалась, о чем говорил ее отец с молодым князем.

Батрак Ванюха охотно повернул коней обратно в село Михалково и поехал рысцой.

В тот же день у молодого князя с родителями произошел тяжелый разговор, во время которого и отец и мать в один голос сказали князю, чтобы он и думать забыл о женитьбе на поповне.

Отчаявшись переубедить родителей, молодой князь решил ехать на войну. Отец и мать пытались отговорить его, но все было напрасно.

В день отъезда отец Василий в большом зале княжеского дома отслужил напутственный молебен. Голос у почтенного старца дрожал, так так Борис все рассказал ему откровенно...

Несогласие князя и княгини на брак Бориса с Анной причинило отцу Василию не мало горя и печали. Печалился и горевал он за свою дочь. Он знал, что Анна, расставаясь с князем Борисом, хотя и казалась спокойной, на самом деле очень страдала.

Простившись со всеми, молодой князь Борис Пронский поспешно сел в коляску, и четверка здоровых коней рванулась вперед.

Молодой князь Борис Пронский спешил в Яссы, к князю Потемкину.

С молодым князем ехал и его неизменный Митяй.

Дорога шла густым лесом, где царствовал полумрак и стояла необычайная тишина, ничем не прерываемая.

Молодой князь дремал в тарантасе; а Митяй, сидя на облучке, болтал с кучером Никитой.

Постепенно в лесу стемнело. Небо, до того чистое, безоблачное, вдруг покрылось черными тучами, и начался проливной дождь.

Кони по мокрой глинистой дороге шли шагом.

Проехав еще некоторое время, они увидели вдали блестящий чуть заметно огонек и направились к нему.

Вскоре они подъехали к жилью, но горевший в одном из окон огонь тут же пропал, словно его потушили.

Митяй слез с облучка и принялся барабанить в ворота.

Но на его стук никто не отзывался.

— Отпирай, не то ворота выломаем! — погрозил Митяй.

Угроза его подействовала, и скоро во дворе слышались поспешные шаги.

— Кто стучит? — сердито спросили из-за двери; голос принадлежал женщине.

— Пусти нас переночевать.

— Поезжайте дальше, у нас не постоянный двор.

— Мы заплатим, только пустите, — сказал молодой князь, выходя из тарантаса.

— А сколько вас?

— Всего трое.

— Ну, ладно! Въезжайте.

Ворота закрипели на проржавленных петлях и отворились.

Князь Борис и Митяй вошли на двор, за ними въехал и кучер Никита.

Их встретила красивая молодая девушка богатырского сложения. Она пристально посмотрела на князя Бориса и весело проговорила:

— Добро пожаловать, гости незваные. Пойдем, боярин, в горницу, пока твои людишки будут с конями возиться, поужинать тебе соберу.

— Спасибо, есть я не хочу.

— Пойдем, пойдем.

Борис Пронский в сопровождении неизвестной девушки вошел в избу, перегороженную на две половины.

В одну из них молодая девушка и ввела своего неожиданного гостя.

— Садись, боярин. Скажи, как звать тебя?

Борис Пронский назвал себя.

— Э, да какой гость-то у меня именитый.

— А как тебя зовут? — в свою очередь спросил князь Пронский.

— Ульяной.

— Скажи, Уля, ты здесь одна живешь?

— Знамо, не одна. Со старухой нянькой и со своими крепостными людьми.

— Как, у тебя есть крепостные люди? — с удивлением спросил Борис Пронский.

— Есть. Я дворянская дочь.

— Дворянская дочь? И живешь здесь, в глуши, в лесу? Странно!

— И, князь, ничего нет странного. Я вольная, что птица, и живу где хочу.

Вошел Митяй и обратился к князю:

— Коней отпрягли, овса им дали. Теперь, князь, что делать?

— Поужинай, Митяй, да спать ложись! — ответил слуге Борис Пронский.

Никита пошел спать в тарантас, а Митяй расположился спать на полу, у двери той горницы, где на скамье, на постланном ковре, лег молодой князь.

Из предосторожности Борис положил под подушку пистолет.

— Ну, спокойной ночи тебе, князь, — проговорила Уля, собираясь уходить.

— Спасибо, Уля! А ты уходишь?

— Ухожу.

— Куда?

— В лес.

— Ночью в лес? — удивился Борис Пронский.

— Да. Ночью иду в лес! А ты горазд, князь, спрашивать. Тебя я ни о чем не спрашиваю, а ты меня вопросами засыпал! — сердито проговорила молодая девушка и быстро вышла из избы.

— Какая странная девушка, — проговорил князь Борис Пронский, посмотрев вслед ушедшей Уле.

— Да-с, ваше сиятельство, довольно странная и непонятная. Думается мне, дело тут не чистое, — высказал свое предложение Митяй.

— Как так?

— Да так. Думается мне, живет эта Уля здесь, в лесу, с народом, который ночным промыслом занимается.

— Ты думаешь, мы попали в разбойничий притон?

— Да, ваше сиятельство, я так думаю. И потому вы извольте почивать, а я не лягу. Буду стеречь.

— Полно, ложись и спи.

— Нет, уж теперь мне не до сна.

— Ну, как хочешь.

Молодой князь укутался с головой дорожным одеялом и скоро крепко заснул.

А молодой парень из предосторожности запер дверь изнутри на засов, сам сел у окна, положил рядом пистолет и саблю и стал стеречь.

Час прошел, другой, и вдруг на улице послышались голоса. Митяй насторожился и стал прислушиваться.

— Тише, что вы глотку дерете! — крикнул вдруг на говоривших женский голос. Это была Ульяна.

— Что, сейчас с ними прикажешь порешить?

— Не смей и думать о том! — сердито кому-то ответила Уля.

— Как так?

— Да так!

— Разве не велишь их трогать?

— Не велю! Князь молодой — мой гость. Слышишь! — повелительно проговорила молодая девушка.

— Князь!.. Да разве у тебя князь? — с удивлением спросил кто-то у Ули.

— Да, князь.

— Вот где можно пожить-то!

— Если хочешь, чтобы цела была твоя голова, о поживе на этот раз и не думай!.. Слышишь?

— Да слышу...

Весь этот разговор, происходивший между Улей и каким-то неизвестным человеком, Митяй слышал.

Теперь ему ясно стало, что они попали в разбойничий притон и что молодая девушка Уля у них за старшего.

Голоса умолкли, и в лесу опять наступила тишина...

Скоро стало светать. Вот выплыло из-за горизонта солнце и осветило землю.

Время было ехать. Митяй разбудил Бориса Пронского.

— Что, пора? — потягиваясь, спросил он.

— Пора, ваше сиятельство. Солнышко взошло.

Кони были скоро запряжены, тарантас приготовлен.

— А где же молодая хозяйка? — уезжая, хватился князь молодой девушки. — Надо ей заплатить за гостеприимство.

— После заплатите, ваше сиятельство! Где теперь ее искать!

Князь выехал со двора.

Дорогой Митяй подробно рассказал молодому князю о подслушанном им ночью разговоре, и князь был сильно удивлен тем, что, оказывается, ночевал он в разбойничьем притоне и благополучно выбрался оттуда.

Вскоре Борис Пронский благополучно прибыл в город Яссы, а оттуда по распоряжению князя Потемкина отправился к Суворову, под Измаил.

III

Ночь накануне штурма Измаила Суворов провел без сна. Да и никто из наших воинов в эту ночь не спал: все готовились к штурму. В пять утра взлетела ракета — и колонны солдат двинулись к Измаилу, а гребная флотилия снялась с якоря.

Суворов сам вел солдат. Шли тихо. Густой туман скрывал от неприятеля первые движения нашего войска.

Но вот штурмовые колонны приблизились к крепости на 300—400 шагов: на наших солдат вдруг посыпалась картечь.

Турки приготовились к встрече.

Сильный огонь не остановил храбрецов; вторая колонна раньше всех подошла к валу и быстро спустилась в ров. Карабкаясь по лестницам, солдаты вскоре овладели первым бастионом.

Турки делали вылазку за вылазкой, но каждый раз отбрасывались с большим для себя уроном. Теперь уже ворота и мост были заняты нашими егерями; одновременно с сухопутным войском пошли на приступ и войска, бывшие на судах.

Сражение происходило в полумраке: было еще зимнее утро и день не начинался.

К восьми часам утра все укрепления были во власти русских; приступ уже прекратился, продолжалась только одна жестокая резня. Сражались везде, где только могли — на площадях города, на улицах. Каждый клочок земли приходилось брать с боем. Около десяти часов утра в крепость пробился генерал Леслей с тремя батальонами егерей. Турки не устояли и стали сдаваться

в плен. К трем часам дня неприступная крепость находилась в руках русских.

Победители удивились сами, когда днем рассмотрели неприступные рвы и валы, которые перешли они ночью под губительным огнем турок. Первым вошел на стену майор Неклюдов с несколькими вызвавшимися охотниками; в их числе находился и князь Борис Пронский.

Немногие из охотников остались живы, но князь каким-то чудом уцелел и даже не был ранен.

После боя Неклюдова произвели в полковники, а Пронского в ротмистры. Суворов сам наградил его Святым Георгием.

Ротмистр Жданов тоже представлен был к награде.

Князь Потемкин во время взятия Измаила жил с обыкновенною пышностью и блеском в Яссах; он поспешил пригласить к себе Суворова. Он хотел устроить почетную встречу герою Измаила, но Суворов, чтобы избежать этого, приехал в Яссы ночью со своим неизменным денщиком Прошкой.

Князь Потемкин сам вышел навстречу Суворову и, обнимая его, проговорил:

— Чем могу я наградить вас, Александр Васильевич?

Эти слова обидели Суворова, и он резко ответил:

— Напрасно так говорите, ваша светлость: кроме Бога и матушки царицы, никто наградить меня не может. Я — не купец и приехал не торговаться с вами.

Потемкин изменился в лице, сердито закусил губу и, не говоря ни слова, пошел в зал, где Суворов подал ему рапорт.

Расстались они холодно, и вскоре Суворов, вместо того чтобы праздновать свою победу, ехал по поручению императрицы осматривать границу со Швецией.

Лишь смута заставила государыню вновь вспомнить о Суворове. Восстание к тому времени уже распространилось на всю Польшу — от Силезии до Двины и Припяти, а также от Курляндии до Галиции. Польское войско составляло несколько корпусов под началом Костюшки, который поклялся или защитить независимость Польши, или погибнуть.

IV

В числе русских воинов в Польше находились и двое неразлучных друзей: князь Борис Пронский и подполковник Жданов (за покорение Измаила его произвели в подполковники).

Ночью на шестое сентября корпус Суворова прибыл к местечку Крутицы; за болотом, по другую сторону Крутиц, расположился польский военачальник Сераковский с 18 000 отборного войска. Единственный путь к нему для нашей армии лежал через топь по узкой гати, и туда-то направлены были все польские батареи. Поляки встретили наших солдат страшным огнем. «Картечь, гранаты и ядра летели на нас, как стаи скворцов. Солдаты вязли по колено и выше и с трудом помогали друг другу выдираться из трясины» — так пишет об этом один из очевидцев. Но, несмотря на все это, солдаты не отступали, а конница, переправившись через топь, вихрем понеслась на фланги неприятеля, рубя направо и налево. Поляки вынуждены были отступить.

Суворов лично руководил сражением, и за три часа восемнадцатитысячный польский корпус был разбит.

На другой день, при Брест-Литовске, Суворов одержал над поляками другую славную победу.

В 1794 году, 22 октября, наша армия с распущенными знаменами, под грохот барабанов и под звуки труб подошла к Праге.

Солдаты очутились пред огромными неприятельскими укреплениями: назначено было взять Прагу штурмом. Суворов под огнем неприятельской артиллерии осматривал укрепления и отдавал приказы, показывал, где должны быть батареи.

В этот же день неприступная Прага была взята. Уничтожено было 30 тысяч отборного неприятельского войска. С нашей стороны убито и ранено было с небольшим полторы тысячи солдат.

Отдыхало наше храброе войско; запылали костры — все были веселы и радостны. Только один князь Борис Пронский был невесел. Он задумчиво грелся у костра со своим неизменным товарищем — подполковником Ждановым. Оба они принимали участие в штурме и в числе других офицеров получили личную благодарность от главнокомандующего.

Вдруг с неприятельской стороны около полуночи раздался звук труб и громкий барабанный бой. Приятели, несмотря на усталость, быстро встали и поспешили к тому месту, откуда доносились эти звуки.

— Что это значит? — проговорил на ходу Пронский.

— Я и сам удивляюсь... Поляки что не задумали ли!..

Все бежали на берег Вислы, где две лодки отчалили со стороны неприятельского берега и поплыли к нашему.

Это были депутаты из Варшавы с письмом к Суворову несчастного польского короля Станислава Лещинского.

Депутаты просили перемирия на неделю для переговоров.

На это Суворов так ответил через дежурного генерала: «Договоры не нужны. Войско обезоруживается, и всякое оружие отдается русским. Русские вступают немедленно в Варшаву. Жизнь и имение жителей безопасны. Ответ через 24 часа».

Поляки присмирели и на следующий день прислали ответ, что Варшава сдается без боя и что польский воевода выступает с своим войском из Варшавы. Столица отдавала оружие и арсеналы. Польское войско выходило нестройными толпами. Зачинщики бунта бежали. Игнатий Потоцкий, один из главных возмутителей, был прислан королем в русский лагерь. Суворову посоветовали задержать Потоцкого.

— Никогда! Постыдно употреблять во зло доверенность человека, добровольно ко мне пришедшего,— ответил Суворов.

29 октября 1794 года последовал торжественный вход русских войск в Варшаву. Солдаты шли под звуки труб, под гром барабанов, церемониальным маршем, с распущенными знаменами. Главнокомандующий Суворов ехал верхом, в простом вицмундире, без всяких орденов, на простой казацкой лошади.

У моста его встретили представители города и поднесли городские ключи (они и донныне хранятся в Петербурге, в Петропавловском соборе).

Русские пленные, томившиеся в Варшаве в неволе, были немедленно выпущены.

«Всемиловитейшая государыня! Ура! Варшава наша».

Таково было лаконическое донесение Суворова императрице Екатерине II.

Умнейшая из женщин ответила на это Суворову также лаконично:

«Ура, фельдмаршал Суворов!»

За победу над поляками Суворов был произведен в фельдмаршалы.

Суворов посетил несчастного короля Станислава. Станислав, как пленник, встретил героя низким поклоном, но фельдмаршал оказал ему королевские почести.

Король стал просить об освобождении одного польского офицера.

— Если вашему величеству угодно, я освобожу вам больше,— с поклоном ответил Суворов.

И в тот же день пятьсот пленных польских офицеров получили свободу.

Участь Польши была решена: после своей десятивековой жизни Польша скончалась.

V

Великую Екатерину теперь занимала новая мысль, новая дума: ей хотелось примкнуть к союзу европейских государей и положить предел французской революции, которая своими беспорядками наводила ужас на всю Европу.

В этом она рассчитывала на помощь Суворова и с этой целью вызвала его в Петербург.

Проезд Суворова из Варшавы был для него триумфом. Как ни старался великий полководец скрывать свое имя, везде устраивали ему пышную встречу. Во всех городах, по которым проезжал Суворов, встречали его с хлебом-солью, народ толпами бежал за его коляской, оглашая воздух радостными криками:

— Ура, ура, Суворов!

— Видишь, видишь, князек, как меня встречают. Неужели заслужил я, старичишка, такой встречи? — обращаясь к князю Борису Пронскому, говорил великий полководец.

Князь Пронский особенно отличился в деле под Прагою, за что получил чин, крест Святого Владимира и зачислен был Суворовым в число своих адъютантов.

Теперь князь Борис ехал вместе с фельдмаршалом в Петербург.

После торжественной встречи Суворову отвели помещение в Таврическом дворце, и Екатерина Великая среди увеселений и празднеств часто удалялась с ним в свой кабинет и там целые вечера проводила со старцем-полководцем, советуясь с ним о политических и военных планах. Французская революция все свирепствовала и грозила спокойствию Европы.

18 февраля 1795 года был заключен союзный и оборонительный трактат России с Англией, а 20 мая — тот же договор Англии с Австрией.

Весной фельдмаршал Суворов принял начальство над армией; главная квартира его находилась в Тульчине, на

Днепре. Нетерпеливо ожидал старый вождь приказа двинуться за границу.

Уже австрийцы воевали на Рейне. Наконец приказание было получено. Суворов поздравил офицеров и солдат с походом.

Но вдруг военные и политические дела мгновенно изменились. Во Франции последовала перемена правительства, конвент сменился директорией, а в 1796 году Европа в первый раз услышала имя Наполеона Бонапарта. Победы его в Италии заставили призадуматься союзников; императрица Екатерина нашла нужным остановить движение нашего войска. Суворов получил приказ расположить войска на зимние квартиры.

Этот указ пришел в то время, когда старый вождь приготовился к походу.

— Хоть я и стар, но с корсиканским выскочкой еще поборемся,— так говорил Суворов про Бонапарта.

— Говорят, он замечательный полководец, ваше сиятельство,— сказал Суворову почти безотлучно находившийся при нем князь Борис Пронский.

— Александр Македонский, Юлий Цезарь были лучше Бонапарта, но и то ошибались и проигрывали сражения.

В комнату к фельдмаршалу вошел другой его адъютант с запечатанным пакетом в руках.

— Что это?— спросил Суворов, принимая пакет.

— От императрицы вашему сиятельству.

— Посмотрим, что пишет мне царица-матушка.

Суворов распечатал пакет и стал читать присланное Екатериною приказание Суворову остановить движение нашей армии.

По мере чтения лицо старика вождя бледнело.

— Боже, а я думал... надеялся!— тяжело опускаясь в кресло и закрывая лицо руками, со слезами на глазах проговорил фельдмаршал.

В том же году фельдмаршал Суворов получил печальную весть о кончине императрицы.

VI

Император Павел I в начале своего царствования был очень милостив к Суворову. Однако после восшествия его на престол были прерваны все приготовления к походу за границу и войскам указано было возвратиться домой.

Государь стал вводить в русском войске прусский воинский устав. Новые приближенные к Павлу вельможи, как-то: Румянцев, Панин, Репнин и другие — были поклонниками прусского устава.

Суворов же был против этих заимствований и смело высказывал свое мнение относительно различных нововведений в войске.

Государь, которому исправно доносили о всех высказываниях полководца, сердился на него, был недоволен, и вот 6 февраля 1797 года последовал указ об отставке Суворова.

Суворов, оставляя дивизию, трогательно простился с солдатами и уехал в Москву. Вместе с ним, взяв отпуск, отправился и Борис Пронский.

Никто, кроме подполковника Жданова, их не провожал.

VII

Вернемся к героине нашего романа.

Анюта, расставшись с молодым князем, стала вести жизнь замкнутую: она редко куда выходила и все время проводила в своей девичьей комнатке и в небольшом садике, который примыкал к домику ее отца.

Разлука с милым тяжело отразилась на молодой девушке: она стала худеть, яркий румянец на щеках сменился бледностью; Анюта стала молчалива и задумчива.

Так прошло лето, наступила осень, и потянулись длинные дождливые вечера.

В домике священника стало еще печальнее и мрачнее.

Однажды в горницу к отцу Василию вошел старик управляющий, Матвей Ильич.

— Здорово, отец Василий! — сказал Матвей Ильич и подошел к священнику под благословение.

— Здравствуй, Ильич, рад тебя видеть.

— Да вот я пришел, отец Василий. За сына пришел твою дочку сватать. Или мой жених не по нраву тебе?

— Нет, как не по нраву. Я рад с тобою, Матвей Ильич, породниться, рад.

— Так за чем же дело?

— За Анютой. Надо у нее спросить.

— А знаешь, кто меня надоумил идти к тебе?

— Кто?

— Сама княгиня. Она и приданое обещала дать.

— Понятно,— задумчиво проговорил отец Василий.

— Так, стало быть, по рукам?

— погоди, Ильич, спешить. Надо спросить у Аннушки! Да вот и она сама, легка на помине-то.

В горницу вошла молодая девушка и ласково поклонилась старику управляющему.

— Здравствуй, здравствуй, красавица,— отвечая на поклон, проговорил Матвей Ильич.

— А ведь у нас, Аннушка, с Матвеем Ильичом про тебя была речь,— пристально глядя на дочь, проговорил священник.

— Про меня? — удивилась молодая девушка.

— Да, про тебя. Матвей Ильич сватает тебя за своего сына.

Анюта побледнела.

— Отец, разве ты не знаешь, что замуж я ни за кого не пойду!

— Так ли, красавица? — вставая, насмешливо спросил у молодой девушки старик управляющий.— И за князя Бориса Георгиевича не пойдешь?

Анюта вспыхнула, и на ее глазах выступили слезы.

— Ильич, Ильич, зачем так говоришь? Зачем обижаешь бедняжку? — упрекнул отец Василий старика управляющего.

— Не я говорю, отец, а горе мое говорит; ведь мой Сергей так любит твою дочь, что ее отказ теперь убьет его.

Проговорив эти слова, Матвей Ильич вышел, сердито хлопнув дверью.

Старик управляющий был прав, говоря, что отказ Анюты причинит его сыну большое горе.

Сергей страстно любил Анюту. Со злобой и ревностью смотрел он на князя, когда тот останавливался у дома священника и входил в него. И как он обрадовался, когда услышал, что молодой князь поссорился со своими родителями и уезжает на войну.

Надежда обладать красавицей поповной снова тогда воскресла у него.

Но вернувшийся от священника Матвей Ильич разбил все его счастливые мечты.

— Опять отказала! — не сказал, а злобно крикнул Сергей, когда отец передал ему слова молодой девушки, и поспешно вышел на улицу, где как раз в это время проходил его приятель Иван по прозвищу Забулдыга.

— Что, парень, приуныл? Чего головушку повесил? — полунасмешливо, полусерьезно проговорил Иван Забулдыга, идя ему навстречу.— Или с лапушкой своей по-вздорил?

— Отца своего посылал я сватать...

— Ну, и что же?..

— Отказала...

— С того ты, Сергей, так и раскис?..

— Раскиснешь, брат, да еще как!

— Неужто других пригожих девок нет на свете?

— Без поповой дочки мне не жить!

— Ну и девка... А ты вот что; коли волей за тебя поповна не идет, так ты возьми ее неволей.

— Как так? — удивился Сергей.

— Да так.

— Я не пойму.

— Хочешь научу?

— Научи.

— Только не даром... пойдём в кабак, там и учить буду.

— Пойдем, пойдём!

Приятельки направились в кабак.

Там они сидели долго и о чем-то тихо разговаривали; точнее, говорил больше Иван, а Сергей слушал. На прощание он крепко обнял Забулдыгу и тихо ему проговорил:

— Устроишь мне это дело, Иван, получишь хорошую награду, а теперь вот тебе покуда полтина.

— Спасибо! Только и ты не плошай: как говорил, так и делай,— сказал Забулдыга, опуская деньги в карман.

— Ну, прощай, Иван, завтра в лесу свидимся.

Приятельки расстались.

На следующий день Анюта, управившись по хозяйству, в сопровождении работницы Пелагеи отправилась в лес по клюкву.

Осень в ту пору стояла хорошая, сухая, яркое солнце весело играло своими лучами по пожелтевшим листьям.

Они далеко углубились в лес и только хотели свернуть с дороги на тропинку, которая вела к болоту, как вдруг выросли перед ними какие-то два мужика, закутанные в мужицкие сермяги, с нахлобученными на глаза шапками. Сильный удар по шее поверг Пелагею без памяти на землю.

— Разбойники, что вы делаете! — громко крикнула молодая девушка и приготовилась защищаться, схватив в руки толстый сук, валявшийся на дороге.

— Анна Васильевна! Не храбрись и брось сук!.. Лиха тебе не будет! — услышала молодая девушка знакомый голос.

— Сергей?! — с удивлением воскликнула она.

В одном из закутанных мужиков она узнала сына Матвея Ильича.

— Он самый! — ухмыляясь, ответил молодой парень.

— Давно ли ты, Сергей, стал разбойником? — смотря ему прямо в глаза, резко спросила молодая девушка.

Этот вопрос невольно заставил смутиться Сергея.

— Разве я разбойник?.. — как-то растерянно проговорил он, отводя глаза.

— А разве честные люди нападают на беззащитных женщин!

— Любовь к тебе заставила меня бесчестным стать! — с жаром ответил Сергей.

— Вот как! Что же ты задумал?.. Скажи?

— Со мной пойдем!..

— Никуда с тобой я не пойду...

— Пойдешь!..

— Что ты с ней разговариваешь, Серега!.. Тащи ее в телегу, — грубо посоветовал своему приятелю до того молчавший Иван Забулдыга.

— И Забулдыга здесь! Ишь нарядились, не скоро признаешь. Значит, силой меня потащите? Только знайте, у меня не дрогнет рука этим суком разбить вам головы! — смело проговорила молодая девушка.

— Вот так девка! Люблю таких, право! За Сергея не хочешь замуж, так выходи за меня!

И Забулдыга залился громким смехом.

— Брось сук! — крикнул Сергей, приближаясь к Анюте.

— Не подходи, ушибу! — замахнулась суком молодая девушка.

Но что значит ее сила против двух здоровенных парней? Анюте быстро накинули на голову какое-то одеяло и потащили на дорогу. Там дожидалась их пара коней, запряженных в телегу с крытым рогожным верхом.

Бедная девушка, потрясенная нападением, потеряла сознание. Так ее без чувств и положили в телегу.

Иван Забулдыга поместился на облучке, а Сергей — в телеге. Забулдыга тронул вожжами, и сытые кони понеслись по лесной дороге.

Когда девушка очнулась, был уже вечер и они ехали уже не по лесу, а по какой-то узкой изрытой проселочной дороге.

— Куда ты везешь меня, злодей? — слабым голосом спросила Анюта у Сергея.

— Успокойся, Анна Васильевна, в плохое место тебя не повезем, — тихо ей ответил молодой парень.

— Я кричать буду, народ созову!

— Кричи, никто тебя не услышит, жилья близко нет.

— Ты говоришь, что любишь меня?

— И теперь скажу то же.

— Хороша твоя любовь, нечего сказать. По-разбойничьи напал на меня... Или силою моей любви добиться хочешь? Так ошибся, парень! Я скорее руки на себя наложу, чем полюблю тебя, злодея! — с гневом проговорила молодая девушка.

— А вот увидим!

— Что же ты, или силою меня с тобою венчаться заставишь?

— Зачем силою, и так со мною под венец пойдешь!

— Не бывать тому, никогда не бывать!

— Спорить с тобою я не хочу... Вот мы и приехали!

Иван Забулдыга остановил коней у небольшой избы в два оконца, которая находилась в стороне от дороги, близ леса. К избе примыкал крытый соломой двор, ворота были новые, с резьбой и с перекладиной; в окнах светился огонек.

— Выходи, Анна Васильевна, приехали! — промолвил Сергей, помогая молодой девушке сойти с телеги.

В дверях избы встретил их какой-то седой как лунь старик. Он держал в руках светец.

— Добро пожаловать, гости дорогие, добро пожаловать, — зашамкал беззубым ртом старик, низко кланяясь.

— А где же Ульяна? — осматриваясь, спросил Сергей.

— Сейчас придет, вышла недалеко, скоро вернется. Какую кралечку привез ты, добрый молодец! — осматривая с ног до головы Анюту, проговорил старик.

— Ну, ладно! Ступай в свою конуру! — крикнул Сергей на старика.

— Или я негоже что сказал? — оторопел старик.

— Негоже и есть!

— Ну, так не взыщи.

Старик проворно убрался за перегородку, которая делила избу на две части.

— Что же ты стоишь, Аннушка, садись!

— Молчи... дорожный разбойник!..

— Эх, Аннушка, из любви к тебе я разбойником стал. Пожалей ты меня, несчастного! — чуть не плача, проговорил Сергей.

— Одного прошу я: выпусти ты меня, выпусти, если есть в тебе хоть капля совести.

— Об этом не проси! — хмуро ответил Сергей молодой девушке.

— Не выпустишь?

— Нет!

— Ну, так знай: я убегу!

— Не убежишь, — проговорив эти слова, Сергей вышел из избы, оставив девушку одну.

Анюта после его ухода тщательно осмотрела избу, заложила двери, ведущие в сени и к старику за перегородку, на крючок, помолилась Богу, не раздеваясь, легла на широкую скамью.

Стук в дверь перегородки переполошил ее.

— Кто стучит? — испуганно спросила она.

— Я, я... — послышался старческий голос. — Влас...

— Я тебя не знаю, — ответила Анюта.

— Вот те раз, у меня в гостях, а хозяина не знает.

— Так это изба твоя, дед? — спросила Анюта, откидывая крючок и выпуская из-за перегородки старика.

— Моя, голубка, моя!

— А кто ты будешь? — спрашивала Анюта у старика.

— Я-то? Я тут на пасеке живу... с дочкой Ульяной.

— А как ты познакомился с Сергеем? — спросила у старика Анюта.

— Да снял у меня он эту избу на месяц, хорошую деньгу дал... Сказал, суженую свою привезет... Вот и привез.

— Какая я ему, разбойнику, суженая! Он силой завез меня сюда.

— Как силой? — удивился старик.

— Да так... по-разбойничьи напал на меня и увез.

Тут в избу вошла дочь Власа-пчельника Ульяна. Они познакомились, и когда Анюта рассказала ей, как в лесу на нее напали и силою привезли к ним в избу, Ульяна обрушилась целым потоком брани на Сергея и на его сообщника.

— Ах они злодеи! Ах разбойники! Да как это они осмелились!? Разве они суда и наказания не боятся?!

— Где боятся! Отпетые они, — промолвил дед Влас.

— А ты, милая барышня, не сокрушайся! Я вот улучу время, когда злодеи-то твои отлучатся куда-нибудь,

и выпущу тебя, непременно выпущу, и дорогу покажу, куда тебе идти,—ласково проговорила Ульяна, беря за руку припечалившуюся молодую девушку.

Между тем Пелагея, очнувшись, стала припоминать, что с ней и Анютой случилось. Удар, нанесенный ей по голове, был так силен, что отбил у нее память. Но мало-помалу она все вспомнила. И даже вспомнила, кого ей разбойники напомнили.

— А где же Анюта? — встретил ее отец Василий.

— Уволокли ее, сердечную, — со слезами проговорила работница.

— Что, что ты сказала? — меняясь в лице, переспросил ее священник дрожащим голосом.

Пелагея рассказала про нападение в лесу.

— Не заметила ли ты, кто эти разбойники? — со стоном спросил бедный священник.

— Как не заметить! Сергей, сын управителя, и Ванька Забулдыга.

— Куда же они потащили дочь мою?

— Про это ничего не скажу, не знаю, без памяти была. Немедля отец Василий отправился к управляющему.

— Что с тобой, отец, на тебе лица нет? — испугался старик управляющий, увидев священника.

Тот рассказал ему все.

— Как, Сергей, мой сын?! — воскликнул старик.

— Да, Ильич, так сказала Пелагея.

— Врет, врет она, подлая! Сергей не таков!

— Пелагея уверяет...

— А ты ей не верь! Забулдыга был не с Сергеем, а с другим. Мой сын где-нибудь здесь, я побегу его искать!..

Бледный, взволнованный старик побежал искать своего сына: он звал его, бегал по двору, по саду, посылал людей, — но Сергея нигде не было.

Прошел вечер, настала ночь, а Сергей все домой не возвращался; ни его, ни Забулдыги нигде не могли найти.

VIII

В Москве фельдмаршал Суворов поселился в небольшом домике на Покровке.

Князь Борис Пронский нанял себе большую квартиру, неподалеку от жилища Суворова, и часто бывал у престарелого полководца.

Однако прожить в Москве Суворову довелось недолго. Вскоре ему было приказано безвыездно жить в сельце Кончанском, родовой вотчине Суворовых. Простившись с Пронским, Суворов вместе с Прошкой отправился туда.

Небольшое сельцо Кончанское лежало в глуши лесов, болот и озер, в Боровическом уезде Новгородской губернии, и было населено преимущественно корелами; глушь была непроходимая, леса без конца...

Разбитым, больным приехал старец-фельдмаршал в свою усадьбу.

Господский дом Суворова был небольшой, деревянный, расположен на высокой, крутой горе; к дому примыкал большой сад; за домом находилась старинная деревянная церковь.

Суворов, одинокий и, казалось, забытый всеми, не упал духом; терпеливо, великий полководец переносил свою опалу. Он был по-прежнему весел и разговорчив.

Старец фельдмаршал вел простой образ жизни, вставал рано, с «петухами», и сам лично шел на сельскую колокольню звонить. Отзвонив, Александр Васильевич с благоговением входил в церковь слушать заутреню и обедню.

Нечего говорить о той любви, которую питали кончанские крестьяне к своему господину. На Суворова они смотрели как на своего отца и благодетеля; шли к нему со своею нуждой, зная, что отказа в помощи не будет.

По воскресеньям или по праздничным дням заходил он к сельскому священнику на пирог; выпив рюмку водки, фельдмаршал закусывал пирогом. Обедал он всегда дома и всегда один.

После обеда Суворов отдыхал, а потом отправлялся гулять по селу. Вечером же Суворов принимался за карты, планы и книги.

IX

Бонапарт тем временем гремел на всю Европу.

Французы заняли все важнейшие германские крепости, затем захватили и папскую столицу — Рим. Сам папа увезен был пленником во Францию и Рим объявлен республикой. Женева была присоединена к Франции, французские солдаты вступили во владения сардинского и неаполитанского королей победителями.

Император Павел не мог оставаться равнодушным к завоеваниям Бонапарта.

В конце 1798 года Россия, Англия и Австрия заключили договор о войне с Францией и с ее союзниками. Целью войны было восстановление прежнего порядка в Европе, уничтожение революции и возведение дома Бурбонов на престол Франции.

Помышляя о делах столь важных, император Павел не мог не вспомнить об опальном полководце, однако понадобились просьбы Австрии и Англии, чтобы Павел назначил наконец Суворова главнокомандующим союзной армией.

Рескрипт об этом был послан государем с гвардейским офицером Суворову в его Кончанское и привел старого полководца в восторг — старец плакал от счастья и поспешил на зов государя.

Князь Борис Пронский, услышав о назначении Суворова главнокомандующим союзной армии, тоже поспешил в Петербург, чтобы присоединиться к полководцу.

Х

Печальное происшествие, случившееся с дочерью священника, дошло и до старого князя Георгия Александровича. Он немедленно призвал своего управляющего и резко спросил его:

— Ты знаешь, Матвей, какие слухи ходят в Михалкове про твоего сына Сергея?

— Знаю, ваше сиятельство.

— Его обвиняют в страшном деле, и если его поймают, то ему не миновать Сибири...

— Что же мне делать, ваше сиятельство? — чуть не плача, проговорил старик управляющий.

— Ты, Матвей, должен отыскать, где находится твой сын, и вырвать у него поповну.

Жалела молодую девушку и княгиня Елена Гавриловна; жалела она и отца Василия, который сильно убивался о своей дочери.

А между тем Аня уже не было в избе старика Власа: ее спасла Ульяна.

Как-то раз Сергей ушел на охоту в лес, оставив стеречь Аняту Ивана Забулдыгу. Уходя, он строго наказал своему товарищу отнюдь никуда не отлучаться и зорко стеречь попову дочку. Забулдыга обещал, а сам, подождав, отправился в кабак, благо деньги у него были.

Ульяна воспользовалась его отсутствием, поспешно вошла в горницу, где томилась в заключении молодая девушка, и сказала ей:

— Пойдем скорее, пока твоих врагов нет.

— Как?!.. Разве они ушли? — обрадовалась Анюта.

— Оба ушли. Торопись.

— Да я готова. А где дедушка Влас?

— В город пошел; вернется не скоро.

Никем не замеченные, они поспешили уйти с пасеки старого Власа и без особых приключений дошли до села Михалкова.

Невозможно описать радость бедного священника, когда увидел свою дочь, вернувшуюся в родной домик; отец Василий и плакал, и смеялся, обнимал и целовал свою дочь.

Эта сцена тронула Ульяну: стоя в стороне, она тихо плакала, вытирая свои слезы рукавом грубой рубахи.

— Отец, вот кому я обязана своим спасением, — проговорила молодая девушка, показывая на Ульяну, и подробно рассказала о своем освобождении.

Священник сердечно поблагодарил Ульяну и стал давать ей деньги, но та отказалась от них.

Анюта насилу убедила ее взять на память золотое кольцо с бирюзой и немного денег и, угостив, проводила за околицу села.

О возвращении к себе домой дочери священника узнало все село Михалково, и все были рады.

Узнал об этом и старый князь Георгий Александрович и, не мешкая, послал священнику учтивое приглашение «пожаловать в усадьбу» с дочерью. Отец Василий и Анюта поспешили к нему.

Старый князь принял их и ласково попросил дочь священника все подробно ему рассказать.

Слушая ее рассказ, Георгий Александрович сильно волновался и не скрывал своего гнева на Сергея, сына управляющего.

— Негодяй!.. Да он просто разбойник!.. Ну, это безнаказанно ему не пройдет, — он ответит. Я прикажу изловить его и предать в руки правосудия, он будет строго наказан! — проговорил князь Георгий Александрович, когда молодая девушка окончила свой рассказ.

— Пусть будет Бог ему судья! Хорошо еще, что он на честь девичью не успел посягнуть, ваше сиятельство! — сказал добрый священник.

При этих словах Анюта вся вспыхнула.

— Нет, нет, я сейчас же пошлю людей в лес на пчельник с приказанием поймать негодяев и доставить их ко мне. Прошу простить меня, отец Василий, что беспокоил тебя и твою дочь.

— Помилуйте, ваше сиятельство!

Священник и его дочь стали откланиваться старому князю, намереваясь уйти.

— Нет, без обеда я вас не отпущу! Вы покуда пройдите на половину княгини, она тоже очень заинтересована судьбой твоей дочери и рада будет выслушать ее рассказ.

Князь сказал правду: старушка Елена Гавриловна с нетерпением ожидала прихода священника и его дочери и, когда они к ней вошли, засыпала их вопросами, а когда Анюта удовлетворила ее любопытство, то обратилась к ней с такими словами:

— Я очень, очень беспокоилась за тебя, Анюта. Ну, теперь, слава Богу, все окончилось благополучно, и я очень рада этому.

Отец Василий и его дочь вплоть до позднего вечера находились в княжеских хоромах; обласканные, с дорожными подарками вернулись они к себе домой. Княгиня Елена Гавриловна подарила Анюте нитку крупного жемчуга и кусок дорогого атласа.

Молодая девушка произвела как на старого князя, так и на княгиню хорошее впечатление.

— А хорошая она девушка, и собой красавица, и нравом хороша,— проговорил князь Георгий Александрович по уходе священника и Анюты.

— Да, очень! Неудивительно влюбиться в такую девушку.

— А все-таки Борису она не пара!

— Конечно, конечно! — согласилась с мужем княгиня.

А между тем Забулдыга, вернувшись на пчельник пьяным, завалился спать, даже не справившись об Анюте, которую он должен бы был стеречь.

Наконец вернулся и сам Сергей.

Каковы были его удивление и гнев, когда он обнаружил, что молодой девушки, а также старика Власа и его дочери Ульяны на пасеке нет. Сергей кинулся к Забулдыге, спавшему беззаботным сном. Немалых трудов стоило ему растолкать его.

— Где поповна, сказывай?..

— Как где?.. В избе!..— ответил Забулдыга,

— В избе нет ее, дьявол!.. Поповна убежала!.. Что же ты, проклятый, ее не стерег?..

Сергей с кулаками кинулся на Забулдыгу.

— Ты, потише!.. А то сдачи дам!..— огрызнулся на него Забулдыга.

Сергей бросился в лес, в погоню за Анютой и наткнулся там на дворовых князя Пронского, которые как раз ехали на пчельник по приказу князя.

— Стой, молодец, тебя-то нам и надо!— проговорил один из дворовых.

— Зачем?..— несколько смутившись, спросил молодой парень.

— Узнаешь после! Вяжите его, ребята!..

Сергей стал было сопротивляться, но что значило его сопротивление против десятка здоровых людей?

XI

Сергея привели на княжеский двор. Бледный как смерть, понуря голову, стоял он, окруженный дворовыми, которые с любопытством посматривали на сына управляющего. О его поступке уже знали все.

На крыльцо вышел князь Георгий Александрович, сердито посмотрел на Сергея и сурово проговорил:

— Что, голубчик, попался! Ты разбойничать задумал, среди бела дня на беззащитных женщин нападать! А?

— Я не разбойник,— хмуро ответил князю тот.

— А кто же, честный человек?.. Ну, что молчишь, отвечай, подлец!

— Отвечать мне вам нечего... Судьям я отвечу, а вы, князь, не судья мне.

— Вот как ты, негодяй, заговорил! А если я своим судом хочу тебя судить и наказывать?

— Вы так не сделаете!

— Почему?

— Вы, ваше сиятельство, не вправе этого сделать,— смело проговорил Сергей.— Пусть суд меня судит, а не вы.

— Прежде я прикажу плетьюми угостить тебя, разбойник!— выходя из себя, проговорил старый князь.

— Не можете!

— Не могу?..

Георгий Александрович задыхался от гнева.

— Да, князь, не можете. Я не крепостной ваш. Я вольный человек.

— А вот увидишь, подлец! Эй, тащите его на конюшню! — крикнул князь своим дворовым.

Дворовые, исполняя княжеский приказ, потащили было Сергея, но их остановил старик управляющий: он с плачем кинулся к ногам князя и стал его просить за сына.

— Ваше сиятельство, помилуйте сына, простите! Не ради него, разбойника, а ради меня, ради, ваше сиятельство, моей верной службы вам простите. Не позорьте!

Матвей Ильич обнимал ноги князя.

— Да встань, встань, Ильич!

— Не встану, пока не простите моего несчастного сына, ваше сиятельство!..

— Ведь я, Ильич, ни при чем... Надо тебе просить священника и его дочь, — мягко проговорил князь: ему жаль стало бедного старика.

— Отец Василий и его дочь простили Сергея. Я сейчас вымолил у них прощение. Теперь я у вашего сиятельства прошу прощения для сына.

— Хорошо, ради тебя я прощу его. Прощу только с тем условием, чтобы он в Михалкове больше не жил; ты, Ильич, можешь отправить его в другую мою вотчину, подальше отсюда.

— Слушаю, ваше сиятельство.

— Развяжите и пусть он убирается с моего двора.

Сергею освободили руки от веревок, и он, ни на кого не глядя, быстро вышел с княжеского двора.

Следом за сыном, понуря седую голову, вышел и старик управляющий.

— Сергей, что же это ты? Как на такое дело решился? — чуть не плача, проговорил Матвей Ильич, когда догнал сына и пошел с ним рядом.

— Грех попутал, батюшка.

— Ведь за такое дело в Сибирь посылают, плетью наказывают.

— Знаю, знаю!.. Но что же мне делать, батюшка? Поповна совсем меня сгубила, без нее нет мне жизни! Пойду я в солдаты!

— Как! Что ты говоришь? В солдаты? Зачем? — дрожащим голосом спросил у сына Матвей Ильич, это для него было новым ударом.

— Не останавливай меня, батюшка, а благослови! Останусь — опять беду какую-нибудь сделаю. А в солдатах, может, и про свою любовь забуду...

И сколько ни уговаривал старик управляющий своего сына, тот остался непреклонен. Скрепя сердце Матвей Ильич благословил сына на военную службу.

Князь и княгиня, узнав о таком решении Сергея, похвалили его. Георгий Александрович прислал ему на дорогу десять рублей. В день его отъезда в дом Матвея Ильича пришла Анюта со своим отцом.

— Я пришла с тобой проститься, Сергей,— тихо проговорила она.

— Как!.. Как, ты не сердишься на меня, простила?— радостно воскликнул Сергей.

— Не сержусь, простила.

— Господи, вот счастье-то!.. А я думал, ты проклинаешь меня, Анна Васильевна.

— За что я стану, Сергей, тебя проклинать? Нет, я не сержусь на тебя, а жалею. Я стану за тебя молиться,— тихо, дрогнувшим голосом, проговорила молодая девушка.

Отец Василий отслужил напутственный молебен, по окончании которого Сергей сердечно простился со своим отцом, с Анютой и со священником и уехал из Михалкова. Его сопровождал Иван Забулдыга,— его тоже простили. Забулдыга пошел по стопам приятеля и свою разгульную жизнь решил променять на солдатскую.

Оба они были посланы в действующую армию, в Италию.

ХII

Суворов прибыл в Верону. Для жительства ему приготовлен был дворец. Вечером весь город был иллюминирован; горели щиты с вензелями Суворова; пели песни и стихи, в его честь сложенные.

В приемной дворца Суворова дожидались русские генералы. Временный командующий русской армией, генерал от инфантерии Розенберг, стал представлять фельдмаршалу генералов, называя чин и фамилию каждого. Суворов молча кивал незнакомым генералам, а со знакомыми беседовал.

— Генерал-майор Милорадович!— произнес Розенберг, подводя к нему 28-летнего генерала.

— А-а, Миша, ты?— быстро воскликнул Суворов, узнав своего боевого соратника в турецкой и польской войне.

— Я, ваше сиятельство!

Суворов крепко обнял и поцеловал Милорадовича.

Очередь дошла и до князя Багратиона. Суворов обрадовался еще одному своему сподвижнику.

— Вот и опять с тобою мы вместе, князь Петр, и опять будем, помилуй Бог, врагов побеждать, их крепости брать. Так ли я говорю, голубчик?

— Так, ваше сиятельство!

— Помнишь, князь Петр, наши славные походы?

— Не забыл и не забуду до самой смерти, ваше сиятельство!

У Суворова русских солдат было всего 18 тысяч да 44 тысячи австрийцев.

Приняв начальство от австрийского генерала Меласа, Суворов, не мешкая, изменил «оборонительно-черепаший» план австрийского гофкригсрата на свой «стремительно-наступательный».

Наш авангард, которым командовал князь Багратион, двинулся к городу Лекко. Тут произошла битва с французами, и после 12-часового сражения неприятель поспешно отступил вниз по реке Адде, потеряв убитыми до 2000 солдат. Пленных Суворов отпустил.

— Ступайте домой и объявите своим землякам, что Суворов здесь! — сказал при этом он.

Средняя колонна союзных войск, переправившись через Адду, у Кассано напала на неприятеля, который был разбит наголову так, что сам главнокомандующий, генерал Моро, едва спасся от плена. Неприятель потерял более 3000 убитыми, 14 пушек и 11 знамен.

При деревне Вердерия союзники одержали снова славную победу.

Здесь французские генералы, видя безвыходность своего положения, сдались в плен с 3000 войска и с 8 пушками.

В день святой Пасхи, 18 апреля, Суворов торжественно вступил в Милан с союзным войском. Встреча была торжественная: духовенство и множество народу вышло навстречу герою; во главе духовенства находился архиепископ с крестом в руках. Суворов, с благоговением поцеловав святой крест и руку у архиепископа, проговорил:

— Император Павел прислал меня восстановить папский престол и привести народ в послушание монарху его. Помогите мне в этом святом долге.

Князь Борис Пронский и подполковник Жданов стояли при фельдмаршале и сопутствовали ему во всех делах.

ХІІІ

В одном из сражений с французами князь Борис Пронский был послан фельдмаршалом Суворовым к князю Багратиону с важными бумагами; Пронского сопровождали только трое казаков.

Выполнив приказание, князь возвращался в главную квартиру; он спешил и, не обращая внимания на неприятеля, ехал в виду его. До главной квартиры оставалось уже недалеко, как вдруг Борис Пронский был окружен десятком французских гусар. Казаки стали защищаться, но скоро меткими выстрелами были убиты; человек пять французов тоже валялись на земле в предсмертных муках, остальные напали на князя Пронского. Борьба была неравная: он один, а французов пятеро.

— Сдавайся! — крикнул один из гусар, прицеливаясь из ружья в Пронского.

— Лучше смерть, чем плен, — по-французски ответил молодой князь, продолжая отбиваться.

Он уже приготовился к смерти, как вдруг два метких выстрела положили на месте двух французов. Два русских солдата-кавалериста спешили на помощь князю Борису.

Гусары, нападавшие на князя, ускакали.

Князь Пронский посмотрел на своих избавителей, и крик удивления вырвался у него из груди: в одном из солдат он узнал сына управляющего:

— Сергей, ты ли?

— Я, ваше сиятельство.

— А это кто? — показывая на Ивана Забулдыгу, спросил молодой князь.

— Я был вашим крепостным, ваше сиятельство, прозывался Забулдыгой, — ответил, нисколько не стесняясь, Иван.

— Стало быть, вы мои избавители? Чем же мне отблагодарить вас?

— Ничего не надо.

— Нет, нет, расскажу об этом главнокомандующему. Но скажи, Сергей, что заставило тебя покинуть Михалково и пойти в солдаты? — спросил по дороге до главной квартиры князь Пронский.

— Не спрашивайте, ваше сиятельство, — тихо ему ответил Сергей.

— А как там мать и отец, как Анюта?

Сергей покраснел и смутился.

— Что же ты не отвечаешь? Уж жива ли она?

Князь Борис не понял причину смущения Сергея и подумал, не случилось ли какого несчастья с молодой девушкой.

— Попова дочка жива и здорова.

— С чего же ты так смутился? Ты что-то от меня скрываешь...

— Будьте покойны, ваше сиятельство, с поповной ничего не случилось,— проговорил Сергей, стараясь успокоить молодого князя.

Борис Пронский щедро наградил Сергея и Ивана Забулдыгу за свое спасение.

XIV

В сражении при Басиньяне наши солдаты снова одержали победу над французами. Особенно в этом сражении отличился молодой генерал Милорадович. Во время стычки под ним были убиты две лошади.

Между тем другой ученик Суворова только с шестью батальонами и двумя казачьими полками вступил в Генуэзскую крепость, храбро сразился с неприятелем и положил на месте 2500 неприятельских солдат.

Крепости итальянские, занятые французами, сдавались русским одна за другой.

Главнокомандующий французскою армией, генерал Моро, отступал; но Суворов не увлекся его преследованием и разгадал тактику Моро: если бы союзники стали преследовать неприятеля, то очутились бы в незавидном положении,— Моро соединился бы с корпусным генералом Макдональдом и встретил бы Суворова с 70 000 своего войска, отрезав его от австрийцев.

Суворов стал препятствовать соединению двух неприятельских генералов, Моро и Макдональда; он хотел разбить их порознь.

Главная армия Суворова не шла, а летела, бежала, несмотря на нестерпимый итальянский зной. Сам великий полководец то и дело переезжал от головы к хвосту колонны, повторяя:

— Вперед, солдатушки! Вперед, чудо-богатыри! Голова хвоста не ждет!

Он встретился с войском генерала Макдональда на берегу реки Требии. Неприятелей было больше чуть не вдвое, но для Суворова это ничего не значило. Во время сражения при Требии он сам разъезжал по фронту.

— Вперед, солдатики-молодчики, вперед! Коли! Руби, бери!

Отпуская князя Багратиона атаковать французского генерала Макдональда, он сказал:

— Спеши, князь Петр, атаковать Макдональда: у него нет и двадцати тысяч войска. Атакуй—с Богом! Ура!

А на самом деле у Макдональда войска было 28 тысяч; но Багратион, несмотря на то что солдаты были изнурены быстрым походом, атаковал неприятеля; русские ударили в штыки и сбили французов за Требию. Но на второй день битвы французы сильною колонной, под прикрытием сильного огня своих батарей, перешли Требию и, опрокидывая все преграды, ринулись в середину нашей линии и прорвали наш фронт. Наши солдаты начали отступать, и лишь вмешательство Суворова и подход свежих подкреплений спасло наше войско и помогло ему выиграть битву.

После еще одного сражения Макдональд с остатками своего войска удалился в Тосканскую область, а потом приказал своим солдатам соединиться с генералом Моро, а сам поехал в Париж залечивать раны.

От французской 35-тысячной армии не осталось и половины; одних пленных и раненых было более, 12-ти тысяч человек.

Союзное войско потеряло убитыми тысячу человек и около 4-х тысяч ранеными.

Последовала быстрая сдача итальянских городов и крепостей, так что победители едва успевали получать ключи от них. Сдалась союзному войску и одна из самых сильных крепостей Европы—Мантуа, с 675 орудиями.

Успехи Суворова дошли до Бонапарта, будущего властителя полмира. Он в то время воевал в Египте и, узнав обо всем, воскликнул:

— Безумцы, они погубили все мои победы! Суворов уничтожил в один поход годы трудов моих.

XV

— Ваше сиятельство, вас какой-то солдат спрашивает,—входя в палатку князя Пронского, проговорил денщик.

— Что ему надо?

— Не сказывает, ваше сиятельство!

— Ну, пусть войдет.

Князь Борис Пронский, после жаркого дела при Требии, приготовился было отдохнуть немного и расположился на койке.

— Тебе что надо? — не совсем ласково спросил у вошедшего солдата князь.

— Простите, ваше сиятельство... я... я... потревожил вас.

— А, Иван; а я тебя, братец, не узнал! Что надо — говори?

Князь Борис встал и подошел к Ивану Забулдыге.

— Сергей умирает, ваше сиятельство, — печально произнес солдат.

— Как? Что с ним?

— Ранен в голову... Чуть жив лежит.

— Где он?

— На перевязочном пункте... ваше сиятельство, он-то и послал меня к вам.

— Пойдем.

Князь Борис накинул на плечи шинель и в сопровождении Ивана быстро направился на перевязочный пункт.

— Вот он, ваше сиятельство, — проговорил Иван, подводя князя к смертельно раненному Сергею.

Тот тихо стонал с закрытыми глазами.

— Сергей! — тихо позвал его князь.

Умиравший открыл глаза.

— Ваше сиятельство, пришли... Спасибо... — слабым голосом заговорил Сергей. — Хочу перед смертью попросить у вас прощения.

— У меня? За что?

— Я... я любил попову дочь.

— Ты... ты любил Анну? — воскликнул князь Борис.

— Любил, крепко любил, в солдаты нарочно ушел, смерти искал... Невмоготу была мне жизнь: не любила меня Анна... Простите...

Сергей заметался в предсмертных муках.

— Несчастный!..

Из глаз князя Бориса текли слезы.

— Скажите ей, князь, что и в предсмертный мой час я не переставал ее любить... Отцу моему поклонитесь от меня, пусть он за меня молится... Умираю...

— Батюшка, прочтите над умирающим молитву, — останавливая проходившего мимо священника, сказал князь Борис.

Старец-священник покрыл голову умирающему епитрахилью и дрожащим голосом стал читать отходную молитву.

Когда он окончил, Сергея уже не было в живых.

XVI

Война в Италии с французами, продолжавшаяся пять месяцев, окончилась. И за это время Италия была полностью освобождена от французов, было взято 25 крепостей, 3000 орудий, 200 000 ружей, 80 000 пленных.

Выполняя повеление царя, Суворов двинул войска в Швейцарию.

Суворов ехал на казацкой лошади, в довольно поношенном синем плаще, а рядом с ним ехал князь Борис Пронский. Другой адъютант графа, Дмитрий Жданов, был сильно ранен в сражении при Нови и был отправлен лечиться в Петербург.

— Князь, чай, ни разу тебе не приходилось видеть швейцарские горы? — приостанавливая свою лошадь и добродушно улыбаясь, спросил Суворов у Бориса Пронского.

— Нет, не доводилось, — ответил князь.

— Горы здесь высокие, взбираться на них нелегко! Боюсь, ворчать солдатушки будут на меня, старика.

Предчувствие не обмануло Суворова. При переходе через неприступные горы с их ледниками, большими водопадами, бездонными пропастями среди солдат пошел ропот.

Об этом узнал Суворов. Он приказал выстроить те полки, которые недовольны. Солдаты смотрели и удивлялись: перед ними роют глубокую могилу.

Вот вышел Суворов, бледный, встревоженный, и стал упрекать солдат:

— Вы бесславите мои седины; подумайте, я водил к победе отцов ваших, но вы не дети мои, я не отец вам! Ройте мне могилу и положите меня в нее... Я не переживу моего стыда и вашего позора, — громко проговорил Суворов и подошел к яме.

Это так поразило солдат, что они все как один человек крикнули:

— Веди, отец наш! Веди куда хочешь. Мы все готовы с тобой умереть!..

Сентября 14-го русские солдаты стали спускаться к знаменитому Чертову мосту. Здесь колонны Суворова соединились с корпусом Розенберга. Солдаты шли по правому берегу реки Рейсы. Дорога преграждена была громадными утесами, которые отвесно врезались в самое русло реки. Сквозь эту естественную стену пробито было узкое и низкое отверстие, называемое «Урнерская дыра». Этот проход был довольно узок, так что два человека в ряд едва могли пройти. Проходя этим подземельем, солдаты выходили на узкую тропинку, которая огибала гору в виде карниза и круто спускалась к Чертову мосту, перекинутому над бездной между двумя отвесными утесами. Внизу ревела стиснутая скалами река.

И эту неприступную позицию отчаянно защищали французы.

Чертов мост был ими разрушен, но русские ратники быстро его починили, сломили сопротивление французов и двинулись далее, пока не достигли Мутенской долины. Солдаты были усталы и измучены, и им необходим был продолжительный отдых.

Здесь от жителей долины Суворов услышал неприятные известия: при Цюрихе Римский-Корсаков потерпел поражение, так же был разбит австрийский генерал Готц. Еще узнал Суворов, что неприятель стягивает свою армию к Швицу, чтобы запереть нашим солдатам выход из Мутенской долины.

Был назначен военный совет.

— Корсаков разбит и прогнан за Цюрих! — громким голосом начал говорить Суворов. — Австрийский генерал Готц пропал без вести, и корпус его рассеян. И прочие австрийские войска, шедшие для соединения с нами, тоже опрокинуты и прогнаны. Боевых снарядов и продовольствия для солдат у нас почти нет, так же нет лошадей и вьючных животных для перевозки артиллерии. Нам все это австрийское правительство торжественно обещало доставить, но обмануло. И мы очутились без оружия, без провианта, благодаря союзной с нами Австрии!

Тут Суворов умолк, закрыл глаза и погрузился в задумчивость.

Но это продолжалось недолго. Великий старец опять заговорил:

— Полагаю, теперь идти нам на Швиц невозможно; у Масены солдат свыше шестидесяти тысяч, а у нас нет полных двадцати. Идти назад... стыд! Я не привык отступать!

На минуту он умолк, но потом, окинув быстрым взглядом всех находившихся на военном совете, громко сказал:

— Но мы — русские! С нами Бог! Мы разобьем врага! Да, да, мы победим его! — воскликнул Суворов, подошел к столу, на котором лежала карта Швейцарии, и стал говорить: — Здесь и здесь — французы, мы их разобьем и пойдем сюда. Пишите, пишите.

Все находившиеся принялись записывать план фельд-маршала.

«Мы вышли от Александра Васильевича с восторженным чувством, — пишет Багратион, — с твердым намерением — победить или умереть, но умереть со славой — закрыть знамена наших полков телами нашими. И сделали по совести, по духу, как русские... сделали все, что только было в нашей силе: враг был всюду бит, и путь наш, через непроходимые до того, высочайшие, снегом покрытые горы — нами пройден. Мы прошли их, не имея и вполовину насущного хлеба, не выдав ни жилья, ни людей... Грязь со снегом были нашею постелью, а покровом — небо, сыпавшее на нас снег и дождь. Гром, раздававшийся над нашими головами и гремевший внизу, под нашими ногами, был вестником нашей славы, нашего самоотвержения».

Пробираясь из Мутенской долины, генералы Милорадович и Ребиндер штыками очистили путь, положив на месте около 4-х тысяч французов и забрав более тысячи пленных.

В знаменитый поход через Швейцарию французы потеряли много офицеров, одного генерала и 4 тысячи рядовых; пленных взято около 3-х тысяч человек, в том числе был один генерал, 3 полковника и до 40 офицеров; с нашей стороны убитыми потеряно 661 человек, ранеными 1361, в том числе было 5 генералов, среди которых были князь Багратион и Горчаков.

Суворов соединился с остатком корпуса Корсакова и перешел Альпийские горы.

XVIII

По дороге к Петербургу тихо ехала карета, запряженная четверкой сытых лошадей. В карете на мягких подушках полулежал князь Борис; он так был худ, что едва его

можно было узнать: глаза ввалились, нос заострился.. Он скорее походил на скелет, обтянутый кожей, чем на живого человека.

Во время перехода по Альпийским горам князь Борис был тяжело ранен: пуля почти насквозь пробила ему правое плечо; с поля сражения его подняли полумертвым.

Кроме того, в горах князь Борис сильно простудился, схватил сильнейшую лихорадку, так что жизнь его была в опасности.

Когда русская армия вышла из Швейцарии и направилась в Россию, верный Митяй купил для князя карету и лошадей, и, отдохнув несколько дней в одном из немецких городов, Борис отправился в Петербург.

Больным, полуумирающим подъезжал молодой князь к северной столице.

С ним в карете сидел Митяй, а на козлах с кучером — денщик Иван, прежний Забулдыга. После смерти Сергея князь взял его к себе в денщики.

По приезде в Петербург догадливый Митяй позаботился найти для князя Бориса удобное помещение, отыскал полковника Жданова и рассказал ему о состоянии своего господина.

Дмитрий Николаевич Жданов, излечившись от ран, жил в Петербурге на отдыхе, пользуясь продолжительным отпуском.

Известие, что жизнь князя Бориса в опасности, опечалило его.

— Что же говорит доктор? Неужели рана князя так серьезна? — спросил дорогой у Митяя он, спеша к своему приятелю.

— Доктор сказал, что надо быть готовым ко всему, — с глубоким вздохом ответил парень.

Свидание друзей было задушевное. Жданов сколько мог старался успокоить больного приятеля. Он пригласил к князю лучших докторов того времени и чуть не со слезами просил их помочь своему другу; доктора обещали приложить все свои знания, но все-таки болезнь у князя нашли серьезной: изнурительная лихорадка сменилась признаками чахотки.

Однажды в разговоре князь Борис намекнул Жданову, что он очень бы хотел свидеться с Анной.

— Я не дождусь того дня, когда можно мне будет ехать в усадьбу. Но доктора меня не пускают. Говорят, надо повременить; а чего ждать в этом душном Питере? — говорил князь Борис. — В деревне я бы скорей поправился.

- Надо подождать, Борис.
- Чего же ждать, ведь я здесь умру, задохнусь.
- Полно, Борис... Вот хоть немного поправишься и поедешь в усадьбу... Хочешь,— и я с тобой поеду.
- Я буду так рад, так рад! Ведь ты мой единственный, лучший друг. Даже больше, ты мне родной брат.
- Знаешь, Борис, что я тебе посоветую?
- Что? — спросил у Жданова князь.
- Тебе надо бы уведомить отца и мать о твоей болезни.
- Зачем — это расстроит их.
- А все-таки уведомить надо.
- Пошли к ним Митяя.
- Хорошо... Только помоги мне написать письма.

На другой день, ранним утром, Митяй на лошади выехал из Петербурга в княжескую усадьбу «Раздолье». Кроме писем к родителям и к дочери отца Василия от князя, он имел секретное письмо к ней от Жданова, в котором тот писал о почти безнадежном состоянии князя Бориса и просил ее, чтобы она поторопилась приехать в Питер.

XVIII

Митяй благополучно доехал до княжеской усадьбы «Раздолье» и явился к князю Георгию Александровичу с известием от Бориса.

Узнав, что сын болен, князь Георгий Александрович и княгиня Елена Гавриловна решили было тотчас же ехать в Петербург; остановило их только обещание Бориса скоро приехать в усадьбу.

— Стало быть, Борис обещал скоро приехать? — спросил старый князь у Митяя.

— Так точно, ваше сиятельство. Как только их сиятельство поправится, то, не мешкая, приедут в усадьбу.

— О, дай Бог, чтобы он скорее приезжал! Его приезд нас успокоит.

Старый князь и княгиня немного успокоились, когда Митяй заверил их, что молодой князь болен неопасно. Сделал это он по приказанию самого Бориса.

— А как мой Сергей? — дрожащим голосом спросил старик управляющий.

— Он умер!.. — тихо ответил солдат.

Старик зарыдал, и Георгий Александрович стал утешать своего верного слугу.

Митяй тихо вышел и направился к домику священника.

Он застал отца Василья с дочерью в саду.

— Митяй? — удивилась молодая девушка, увидя его.

— Откуда Бог принес? — спросил у Митяя священник, благословляя его.

— Прямо с войны...

— Что князь Борис Георгиевич?

— Шлет вам поклон и вот это письмецо! — ответил Митяй и вручил дочери священника письмо.

— Это не его рука, — посмотрев на конверт, проговорила молодая девушка.

— Князь Борис Георгиевич писать не могут.

— Не может! Почему? — с удивлением спросила Анна.

— Их сиятельство ранен в плечо.

— Боже, Боже!..

Молодая девушка побледнела, быстро сломала печать и стала читать.

— А это вот письмо от полковника Жданова, — проговорил Митяй и вручил Анне другое письмо.

— От кого? — с удивлением переспросила молодая девушка.

— От полковника Жданова.

— Я не знаю его! — не решаясь читать письмо, сказала Анна.

— Полковник состоит в большой дружбе с князем Борисом Георгиевичем.

— Прочти, прочти, Анюта, что пишет господин полковник.

Молодая девушка стала читать, и по мере чтения лицо ее становилось все бледнее и бледнее.

— Отец, мне надо ехать в Петербург! — окончив чтение, проговорила Анна.

— Зачем?.. Что ты!..

— Князь Борис серьезно болен; за ним необходим хороший уход... Я решила ехать!.. — твердым голосом проговорила молодая девушка.

— Постой, Аннушка, постой! Как ты поедешь одна в такую даль?

— Я поеду с Митяем. Митяй, ведь ты должен опять вернуться в Петербург?

— Так точно.

— Но это неудобно... нельзя.

— Почему же, отец?

— Лучше переждать.

— Чего же ждать, отец? Пока князь умрет? — с горечью проговорила молодая девушка.

— Как, разве князь так плох?

— Вот прочти.

Анна дала отцу прочитать письмо, присланное полковником Ждановым.

— Да... дело серьезное... Что ж, поезжай, Аннушка... Поезжай!.. Благослови Господь тебя!

Молодая девушка стала быстро собираться в дальний путь.

Через два дня Митяй выехал обратно из усадьбы в Питер в сопровождении дочери священника.

Путешествие Анны в Петербург было для всех тайной. Отец Василий пустил слух, что его дочь поехала погостить к тетке.

XIX

Император Павел призвал генералиссимуса Суворова в Петербург; он желал скорее видеть и воздать должное герою.

В Праге Суворов простился с солдатами, которых водил на неприступные швейцарские горы.

На прощанье он хотел что-то сказать им, но слезы помешали, и от волнения он не смог выговорить ни слова.

Ряды солдат печально безмолвствовали; они словно предчувствовали, что видят своего любимого военачальника в последний раз.

Командование над войском Суворов сдал генералу Розенбергу; при себе оставил он небольшую свиту.

Смотря на веселого, живого старца-полководца, кто бы мог подумать, что дни его сочтены.

В Моравии, в городе Нейштеттине, Суворов пожелал поклониться праху Лаудона. Долго он стоял перед гробницей великого человека; потом прочитал длинную латинскую эпитафию, где перечислены были все дела и чины Лаудона.

— К чему такая длинная надпись? — проговорил он. — Когда меня не станет, то на моей гробнице напишите только три слова: «Здесь лежит Суворов».

В Кракове Суворов захворал «фликтеной»: сыпь и водяные пузыри покрыли все его тело. Он поспешил в свое поместье Кобринно и там слег в постель.

Болезнь Суворова встревожила императора, и он немедленно прислал к больному генералиссимусу своего лейб-медика Вейкерта.

Ежедневно из Кобрина в Петербург скакали курьеры с известием о ходе болезни Суворова.

Искусство лейб-медика и хороший уход благотворно подействовали на Суворова, и он стал выздоравливать.

Наконец настал день, когда лейб-медик разрешил ему ехать в Петербург, только не более 25-ти верст в день.

Суворов простился со своими дворовыми, поблагодарил их за верную службу и всех щедро наградил.

Теперь ехал он не так, как прежде,— на простой телеге,— а в удобном дормезе, на перине; его сопровождали несколько врачей.

В пути великий старец получил от императора Павла рескрипт, в котором государь изъявлял величайшую радость, что «вскоре обнимет героя всех веков, Суворова».

XX

— Ну как, дружище, себя чувствуешь? — проговорил полковник Жданов, крепко пожимая руку князя Бориса Пронского.

— Мне лучше — боль в плече совсем прошла, только вот рука...

— Что, не владеешь?

— Да... Калека я теперь, — с грустной улыбкой сказал молодой князь.

Рана на правом плече у него почти зажила, но губительная чахотка, несмотря на все усилия докторов, не проходила, сильная боль в груди с мучительным кашлем не давали ему покоя. Доктора, лечившие князя, старались скрыть от него чахотку, — и боль в груди и кашель объясняли ему другою болезнью; князь Борис верил им и надеялся на свое выздоровление.

— Ах, Дмитрий, как мне хочется поскорей уехать из Питера.

— Зачем спешить... подожди! Скоро Суворов придет в Питер.

— Ведь князь Александр Васильевич тоже хворает, едва ли он скоро придет.

— Он уже едет.

— Как?.. Неужели? — обрадовался князь Борис.

— Да, да... получено известие, что князь Суворов выехал из своего имения и едет в Питер.

В этот момент дверь в горницу вдруг быстро отворилась, и в дверях появилась дочь священника, красавица Анна, в сопровождении Митяя. Крик радости и удивления вырвался из груди Бориса Пронского, когда он увидел свою возлюбленную.

XXI

Увы, у гениального Суворова было не мало недругов и завистников при дворе, среди приближенных к государю. Пользуясь болезнью генералиссимуса и медленным его путешествием в Петербург, они сумели оклеветать и очернить его в глазах монарха, рассказывая о своеволии и непослушании полководца.

Известие, что император Павел Петрович разгневан, было роковым ударом для больного Суворова. Выехав из Вильны, старец услышал, что не почести, но гнев и негодование государя ожидают его в Петербурге, что торжественная встреча отменена, а войску не приказано отдавать почестей.

Все это так поразило Суворова, что болезнь его усилилась, и он не смог ехать дальше.

Однако через несколько дней болезнь на время оставила Суворова, он ожил и снова начал свое путешествие.

На Страстной недели прибыл он в Ригу и первые дни Святой Пасхи провел там. Дальнейший путь Суворова от Риги до Петербурга походил на похоронное шествие: он лежал в карете и все время стонал, лошади шли шагом, потому что быстрая езда причиняла старцу мучительную боль. Народ толпами выходил к нему навстречу, но приветствовать его радостными криками боялись. Встречали и провожали безмолвно; плакали и молились за умирающего полководца.

Апреля 20-го, вечером, тихо ехала по петербургским улицам карета с больным генералиссимусом. Суэта столичная встречала и обгоняла ее. Никто не знал, что в ней Суворов.

Остановился он в доме своего племянника, графа Хвостова, в Малой Коломне, против Никольского рынка.

На его выздоровление уже не было никакой надежды: он постепенно терял память, забывая даже свои многочисленные победы. Но бывали минуты, когда Суворов ожи-

вал, тогда он просил перенести его с постели в кресло, начинал говорить о своих походах в Турцию, в Италию.

За несколько часов до смерти Суворов исповедался и приобщился Святых Христовых Таин; потом простился со всеми окружающими, поблагодарил их за верную службу.

Находившиеся около умирающего героя громко рыдали, не в силах удержать своих слез.

— Зачем плачете, молитесь за меня. Я... я рад смерти... пожил... достаточно... Благодарю Бога!..

6 мая 1800 года, утром, Россия потеряла великого героя своего. Со словами: «Генуя!.. Сражение!.. Вперед!.. За мной!..» — Суворова не стало.

Смерть Суворова произвела сильное впечатление и на императора, и на весь Петербург.

По словам современников, скорбь была общая, сильная; все оплакивали героя.

Проститься с Суворовым приехал и больной князь Борис Пронский. Поддерживаемый с одной стороны полковником Ждановым, а с другой — красавицей Анной, одетою в траур, он приблизился к гробу Суворова, перекрестился и поцеловал руку усопшего с глазами, полными слез.

XXII

Князь Борис Пронский стал поправляться: искусство врачей и хороший уход подействовали на него благотворно, — рана на плече почти зажила, а быстро развивавшаяся чахотка так же быстро была прервана опытными врачами. Для полного восстановления здоровья молодому князю посоветовали немедленно уехать из Петербурга в деревню.

Все это время отчаявшаяся Анна не отходила от больного; она целые ночи проводила около него и лишь изредка уступала свое место Жданову.

С выздоровлением князя Бориса воскресла и молодая девушка. Счастье ее было безгранично, когда она узнала, что опасность миновала и на выздоровление князя есть надежда.

— Поздравляю вас! Вы вырвали от смерти князя Бориса Георгиевича! — пожимая руку Анны, весело проговорил ей старый, опытный доктор, лечивший Бориса Пронского.

— Как! Есть надежда на выздоровление? — спросила молодая девушка, замирая от радости.

— Есть, полная. Теперь — прочь печаль, настала радость!

— Ах, доктор, как я рада... Как рада! — сказала Анна, и крупные слезы заструились по ее лицу.

— Рады, а плачете.

— Это — слезы радости, доктор.

— Очень, очень сожалею, Анна Васильевна, что мне не придется пировать на вашей свадьбе.

— На моей? — удивилась девушка.

— Да, на вашей... Вы удивлены?

— Да, доктор, очень удивлена. Про какую свадьбу вы говорите?

— Как про какую?.. Про вашу!..

— Про мою?

— Да, про вашу; ведь вы выходите за князя Бориса Георгиевича?

— Я?! Нет... — смутилась девушка. — С чего вы... — она не договорила.

— Странно, — улыбнулся доктор, — а мне показалось, что князь Борис готов сделать вам предложение.

Девушка покраснела и, ничего не ответив, выскочила из комнаты.

На следующий день князь объявил об отъезде из Петербурга.

Путешественники ехали в двух дорожных каретах: в первой сидела Анна с прислужницей, которую везла с собой из Петербурга; во второй находились князь Борис Пронский и полковник Жданов; на козлах с кучером сидел Митяй.

Путь от Петербурга до княжеской усадьбы «Раздолье» был неблизкий, к тому же ехали не спеша, поэтому, доехав до Москвы, решили там немного передохнуть. На Большой Никитской улице у князей Пронских был большой дом; там и остановился князь Борис со своей невестой и приятелем.

Старик дворецкий Ипатыч с раболепными поклонами встретил своего молодого господина. И удивился, когда услышал от князя Бориса такое приказание:

— Ипатыч, приготовь для Анны Васильевны две комнаты на половине моей матери. Понимаешь?

— Слушаю, ваше сиятельство, понимаю-с!.. — ответил с поклоном Ипатыч, но на самом деле он ровно ничего не понимал.

Дворецкий Ипатыч постоянно жил в Москве, в княжеском доме, и что делается или происходит в княжеской усадьбе, почти ничего не знал... До Ипатыча дошел только слух, что молодой князь Борис Георгиевич влюбился в поповну и хотел на ней жениться, а старые князь с княгинею восстали против этой женитьбы и от большого огорчения молодой князь уехал сражаться с французами.

Теперь он не мог не удивиться, как поповна очутилась вместе с князем.

— «Уж не женился ли секретно молодой князь на поповне... может, теперь она уж не поповна, а княгиня?»

А когда наступил вечер и в княжеском доме везде погасли огни, дворецкий Ипатыч, запершись в своей камерке, вооружился большими круглыми очками и усердно водил гусиным пером по бумаге. Он писал донесение старому князю Георгию Александровичу о благополучном прибытии в Москву молодого князя Бориса Георгиевича и о том, что прибыл князь «сам-третей с господином полковником Ждановым, еще с неизвестною мне девицею; сию девицу называют Анной Васильевной. По обличью и приметам та юная девица очень походит на дочь попа Василья. Его сиятельство соизволил поселить сию девицу в доме вашего сиятельства, на половине княгини-матушки, о чем всепокорнейший ваш раб, дворецкий Ванька, имеет честь донести вашему сиятельству!.. Всенижайше ожидаю от вашего сиятельства дальнейших приказаний...»

На следующий день, ранним утром, дворецкий Ипатыч отрядил с письмом в княжескую усадьбу тайно одного из дворовых и стал с нетерпением ожидать ответа.

Князь Георгий Александрович не замедлил ответить. Получив это письмо, дворецкий пошел с ним на половину князя Бориса.

— От вашего батюшки, князя Георгия Александровича, я получил письмо,— заплетающимся языком проговорил дворецкий.

— Ну, и что же?

— Вот-с, извольте прочитать, что пишут их сиятельство,— подавая письмо молодому князю, проговорил Ипатыч.

Борис стал читать письмо, присланное отцом Ипатычу: «До меня дошел слух, что в моем доме проживает девица сомнительного поведения, которая может выдавать себя за невесту моего сына, князя Бориса; поповна

никогда не будет моей невесткой. Поэтому, по получении моего письма, немедля высели ее из моего дома. Если же она не послушается, пригласи полицию. Если же ты, старый дурак, не выполнишь моего приказа в точности, то очутишься на поселении».

По мере чтения лицо князя Бориса то бледнело, то краснело; не легко было ему читать эти строки.

— Ну, что же ты стоишь, старик, беги скорее за полицией, выгоняй мою невесту, а кстати и меня с нею! — дочитав задыхающимся от гнева голосом, сказал князь Борис. — И это пишет отец... родной отец!

— Я... я, ваше сиятельство, не виноват.

— Вон, мерзавец!.. Я знаю, это ты известил отца!

— Помилуйте, ваше сиятельство... смею ли я?..

— Вон, говорю, иначе я убью тебя как собаку!

Хитрый старик выскочил из кабинета, чуть не сбив с ног полковника Жданова.

— Что с тобою, князь? На тебе лица нет.

— Вот прочти, — подавая приятелю письмо отца, желчно сказал князь Борис.

— Жаль Анну Васильевну, — прочитав, сказал Жданов.

— Знаешь, Дмитрий, я все равно женюсь на Анне.

— А твой отец?

— Больше я не стану просить у него разрешения...

— Благослови вас Бог! Ладно, князь, ты куда переговори со своею невестой, а я пойду искать вам квартиру. Оставаться здесь ни тебе, ни Анне Васильевне больше нельзя.

— Да, да... Ни одного часа, скорее вон из этого дома!..

Полковник Жданов ушел; а князю Пронскому надо было объясниться со своею невестой, сказать ей, почему они переезжают на другую квартиру, ничего не говоря об оскорбительном для нее письме старого князя.

— Анна, ты должна скоро выехать из этого дома! — мрачно сказал молодой князь невесте.

— Я знаю, милый. Мы поедем в усадьбу.

— Нет, Анна, туда мы не поедем. Мы останемся в Москве. Дмитрий пошел искать для нас квартиру.

— Борис, я тебя не понимаю.

— Не спрашивай, Анна, наши обстоятельства так сложились, что ни я, ни ты не можем оставаться в этом доме...

— Твой отец приказал выгнать меня отсюда?.. Ведь так? — голосом, полным слез, спросила у Бориса Пронского молодая девушка.

— Ах, милая, не спрашивай!

— Расстаться надо нам, Борис.

— Что ты говоришь?! Ведь ты знаешь, что я люблю тебя.

— И эта любовь причиняет нам одно несчастье.

— Неправда, Анна; любить тебя доставляет мне большое счастье.

— Но твой отец, мать?

— Что мне до них — ты меня ведь любишь, да? — обнимая красавицу, спросил у нее князь Борис.

— Что ты спрашиваешь. Разве не знаешь?

— Я решил, Анна, на тебе жениться... Вот переедем на новую квартиру, тогда примемся и за свадьбу. Откладывать больше нечего.

Спустя некоторое время в одной из московских церквей происходило венчание князя Бориса Пронского с дочерью священника, Анною. Как со стороны жениха, так и со стороны невесты приглашенных было мало; обряд венчания происходил без особой пышности; но зато жених и красавица невеста сияли счастьем.

ЭПИЛОГ

Шел грозный 1812 год. Император Наполеон, победивший почти всю Европу, с полумиллионным войском вторгся в пределы России и быстро шел к Москве.

Князь Борис Пронский счастливо жил со своею молодою женой,— у них было два сына и дочь. Старшего сына князь Борис в честь своего отца назвал Георгием; это был стройный, красивый десятилетний мальчик,— лицом он очень походил на мать; младший походил более на отца, звали его Борисом, а дочь, Анна, была еще грудным младенцем. Князь Борис купил себе небольшой домик на Лубянке и жил в нем замкнутой семейной жизнью. Он редко куда выезжал и у себя принимал только искренних друзей, среди которых, конечно, первое место занимал Жданов, получивший производство в генералы за храбрость в одном из сражений с Наполеоном. Со дня своей женитьбы князь Борис ни разу не был в усадьбе своего отца.

Женитьбу на дочери священника старый князь, а также и княгиня-мать никак не могли простить Борису: в припадке гнева князь Георгий Александрович даже написал духовное завещание, в котором весь свой капитал отказывал на благотворительные учреждения, а имения и усадьбы — в пользу своих родственников; сына же своего отстранял от наследства. Но когда гнев прошел, старый князь разорвал свое завещание.

Князь Георгий Александрович не прочь был примириться с сыном, звал его к себе в «Раздолье», но только одного,— молодую княгиню Анну Васильевну он не считал своей невесткой, а также и детей Бориса — своими внучатами.

Это оскорбляло князя Бориса, и он не ехал в усадьбу.

Тем временем разгорелась война против Наполеона.

Русские дворяне стали из своих средств составлять полки ополченцев. Князь Георгий Александрович тоже задумал составить два полка, но не знал, кого поставить начальником над ополченцами, и решил обратиться за советом к сыну Борису.

На этот раз князь Борис решил ехать с семьей к отцу. К тому же в Москве стало жить опасно,— Наполеон находился уже недалеко от нее.

Князь Борис с женой и детьми, захватив с собою все необходимое и ценное, покинули первопрестольную и благополучно доехали до усадьбы.

Князь Борис поехал прямо в усадьбу, а молодая княгиня с детьми остановилась в домике своего престарелого отца.

С большою радостью встретил отец Василий дочь и внучат; с такой же радостью встретили старый князь с княгиней своего сына, князя Бориса. Но ни он, ни Елена Гавриловна ни слова не спросили у князя Бориса о его жене и детях,— их как будто не существовало.

Князь Борис остановился в доме отца и занялся составлением полков из крестьян; конечно, у жены бывал он всякий день.

Однажды князь Георгий Александрович, прогуливаясь утром, случайно подошел близко к домику, в котором жила его невестка с детьми.

Князю попались двое прехорошеньких мальчиков: одному было лет десять, а другому лет семь; оба они были одеты просто, но прилично.

Князь Георгий Александрович хоть и догадался, что это за мальчики, но все-таки не утерпел, чтобы не спросить у старшего:

— Вы, видно, приезжие?

— Да, мы недавно с папой и мамой приехали сюда из Москвы.

— А кто твой папа, мой милый?

— Князь Борис Георгиевич Пронский! — просто ответил мальчик.

— Так, так. Сюда ты приехал в гости? — спрашивал взволнованным голосом старый князь.

— Да, к дедушке. У меня здесь два дедушки — одного я знаю, а другого нет. Дедушку-князя я даже никогда и не видел! — грустно проговорил мальчик.

— А тебе хочется на него посмотреть?

— Разумеется, — он мне родной.

— И мне хочется; папа нам говорил, что дедушка наш добрый. Мы за него молимся Богу! — вступил в разговор и младший сын князя Бориса.

— Скажите, как вас звать, мои милые?

— Меня звать так же, как зовут нашего дедушку, Георгием! — ответил старший.

— А меня, как папу — Борисом.

— Так вам очень хочется посмотреть дедушку?

— Очень, очень!

— Смотрите, милые, я ваш дедушка!.. Ну, что же вы стоите, обнимите меня!..

— Дедушка!..

— Милые!..

Мальчики бросились обнимать своего престарелого дедушку, который от волнения не мог скрыть своих слез.

С того дня молодая княгиня Анна Васильевна вступила в дом своего свекра полной хозяйкой. Княгиня Елена Гавриловна все свое хозяйство передала в руки молодой невестки. Старый князь и княгиня скоро полюбили ее, как родную дочь. Мир и согласие настали в княжеской семье.

Но недолго князь Борис Пронский наслаждался семейной жизнью. Он со своими ополченцами поспешил примкнуть к русской армии, которая постепенно уничтожала «великую» армию «великого Наполеона». Бог и народ спас Русскую землю! Наполеон с жалкими остатками своей армии выгнан был с позором из пределов земли Русской.

С чином генерал-лейтенанта и с крестом Святого Георгия вернулся князь Борис Пронский в свою родную семью; с ним вернулись и его ополченцы, но не все,— многие из них окончили дни свои славной смертью на полях сражений.

А герой Багратион,— любимый ученик великого Суворова,— смертельно раненный на Бородинском поле, скончался; также не стало и храброго генерала Жданова: он был убит в битве при Бородине.

СОДЕРЖАНИЕ

П. С. Васильев. СУВОРОВ	5
Д. Дмитриев. ЧУДО-БОГАТЫРЬ	533

**«ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ»
«ВЕЛИКИЕ ПОЛКОВОДЦЫ РОССИИ»**

**П. ВАСИЛЬЕВ. Суворов
Д. ДМИТРИЕВ. Чудо-богатырь
ИСТОРИЧЕСКИЕ РОМАНЫ**

Редактор Н. И. Суворова. Художник Н. Б. Егоров. Корректор
М. Г. Курносенкова

Лицензия ЛР № 071084 от 22.09.94 г.

Сдано в набор 18.10.94 г. Подписано к печати 13.12.94 г. Формат
84 × 108¹/₃₂. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Бумага книжно-жур-
нальная. Тираж 50 000. Заказ 129. Цена договорная

Издательство «Новая книга». Москва, ул. Академика Челомея, д. 4, а/я 489

Отпечатано в Государственном ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного
Знамени Московском предприятии «Первая Образцовая типография» Комитета Российской
Федерации по печати. 113054, Москва, Валовая, 28



